ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

1

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 1

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

БАРСУКИ
Роман

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ТЕРРА TERRA
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE
КНИГОВЕЯ™
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Л47

Внешнее оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ

Леонов Л.
Л47 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Рассказы; Повести; Барсуки: Роман / Вступ. ст. З. Прилепина. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 768 с.

ISBN 978-5-4224-0730-9 (т. 1)
ISBN 978-5-4224-0729-3

Леонид Максимович Леонов (1899–1994) — русский советский писатель, прозаик, драматург, публицист. Творчество Леонида Леонова пронизано глубокими раздумьями о судьбах русского народа, искренней любовью к своей Родине. Произведения его переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. В данное собрание вошли самые значимые работы из литературного наследия Л. М. Леонова. Помимо них, каждый том включает в себя тексты, неизвестные широкому читателю.

В первый том вошли рассказы, повести и роман «Барсуки». Рассказ «Деяние Азлазивона» и повесть «Унтиловск» при жизни писателя не публиковались.

Книга рассчитана на массового читателя.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4224-0730-9 (т. 1)
ISBN 978-5-4224-0729-3

© З. Прилепин, состав, вступительная статья, примечания, 2013
© Л. Леонов, наследники, 2013
© Книжный Клуб Книговек, 2013

Неизвестный Леонид Леонов

В истории русской литературы долгожителей, подобных Леониду Леонову, больше нет.

Он родился в 1899-м и дотянул нить своей жизни до 1994-го.

Есть известная фотография, где вместе запечатлены Леонов и Есенин. На дворе 1925 год, перед нами два, кровь с молоком, красавца – первый поэт России и претендующий на звание первого прозаик (через пару лет во мнении, что Леонов лучший, сойдется и советская критика, и антисоветская).

А лет эдак шестьдесят спустя, режиссер Никита Михалков спросит у отца, баснописца и автора гимна, Сергея Михалкова: «Папа, а Леонид Леонов еще жив?» – «Жив». – «И все еще соображает?» – «Соображает, но боится». – «Чего боится?» – «Соображать» — ответит Михалков-старший.

К 90-м годам большая часть не только читателей, но и некоторая часть литераторов будет уверена, что Леонов, изображенный на фотографии с Есениным – и Леонов, живущий ныне, – это два разных человека. Как же один и тот же человек может быть и в 1925 году и в 1991-м? Невозможно же представить себе Есенина, встречающегося с Горбачёвым.

Впрочем, долгожительство сыграло с Леоновым странную шутку.

Так сложилось, что история литературы XX века в России зачастую воспринимается как история борьбы писателей с советской властью.

Проще говоря, чем больше в писателе антисоветского – тем выше его шансы попасть в литературные святцы.

Впрочем, иногда годится и вариант, когда советского писателя застрелила или затравила безбожная советская власть. Такие тоже берутся в расчет, но прежде все советское из них вытравляют уксусом. Так из нынешних времен воспринимаются, скажем, Бабель или Пастернак, всю жизнь или большую ее часть прожившие правоверными советскими литераторами, а не узниками совести, как может показаться теперь.

Если б Леонова застрелили, скажем, в 1937 году, место в святцах, наряду с вышеназванными, ему могло бы быть предоставлено. Но вот не застрелили.

Если б дали Нобелевскую премию (а потом еще бы свои же и отняли б) – тоже был бы шанс. Но не дали, хотя трижды рассматривали как реального претендента.

Теперь, если произнести фамилию Леонова в приличном культурном обществе, есть отличная возможность увидеть сведенные вялой иронией челюсти: ну да, ну да, Леонов, помним, помним, «Русский лес», «Барсуки» и прочие бруски в цементе...

Вместе с Леоновым, к слову говоря, в пыльное небытие могли б отправить и Шолохова, но тут как раз Нобелевская премия сыграла свою роль, сиятельная компания Бунина, Солженицына и Бродского – смолчать-нельзя-помиловать. Неприятно, конечно, но пришлось как-то считаться с этим казачком. Отсюда, кстати, и мнение некоторых ведов, что Шолохов не писал «Тихий Дон». Потому что, если не писал, — задача похорон советского литнаследия существенно облегчается.

Выросло целое поколение литературной челяди, уверенной, что раз советский проект был черной дырой и тупиком истории, то и литературы у этой дыры с тупиком не должно быть никакой.

Ну, разве что Алексашку Толстого можно иногда вспомнить, потому что граф и циничная сволочь, это мы втайне ценим, а так бы долой и Толстого; Фадеева — потому что застрелился, а так бы к черту Фадеева; Катаева пустим петитом, потому что дал дорогу шестидесятникам в «Юности» и написал мовистские повести, иначе не было бы никакого Катаева; Твардовского, потому что — «Новый мир» и благословил Солженицына, а так бы Твардовского куда-нибудь в чулан к Павлу Васильеву и прочим крестьянам... кто еще?

В общем, нет никакой советской литературы, закрыли вопрос; что у нас там на обед, «Собачье сердце»? Несите.

Расклад невеселый, упрощенный и пошлый. Писателей уровня Леонида Леонова на мировом небосклоне – горсть. Но мы сами свои звезды топим, в нелепой надежде, что свет их не проникнет из-под толщи вод.

Проникнет; иначе мы – не мы, и нет больше никакого имени у нации.

***

Леонов вырос в Москве, в Зарядье, оба его деда были купцами. Пацаном, он читал своим дедам церковные патерики вслух: это очень запомнилось Леонову.

Леоновского отца, поэта и журналиста, в 1910-м сослали в Архангельск: он много и громко разговаривал о тяготах народных, и тем быстро надоел властям.

Юный Леонов пишет стихи, подрабатывает уроками, в 1917-м заканчивает гимназию, и отправляется в Архангельск к отцу переждать начавшуюся смуту.

В те дни у отца и сына имеют место быть активные правоэсеровские настроения: большевиков они, прямо скажем, не любят.

Отец издает газету «Северный день», и Леонид Леонов за пару лет понапишет в ней такого о новой власти, о чем впоследствии не раз пожалеет. Большевиков, к примеру, бойкий на язык юноша называл не иначе как «социал-палачами».

Тем временем в Архангельск вошли английские и французские войска – началась интервенция.

Отец Леонова возглавил Общество помощи воинам Северного фронта. Вскоре подошло время призыва в ряды Белой армии и самого Леонида.

Так одна из центральных фигур советской литературы — писатель Леонид Леонов, впоследствии шесть раз награжденный только орденами Ленина, — стал белогвардейским офицером.

Офицерить ему, правда, пришлось совсем недолго: Северный фронт развалился самым позорным образом, «союзники» сбежали первыми, следом уплыли в туман белогвардейские генералы. Когда части Красной армии входили в Архангельск, оставшимся в городе белым уплывать было уже не на чем.

Леоновы, впрочем, были достаточно близки к верхам – им бы место нашлось, если б захотели уплыть.

Сложись история так, стоял бы Леонов совсем в другом ряду. Не Горький—Фадеев—Шолохов—Леонов... а Бунин—Набоков—Леонов—Газданов.

Но Леоновы не уплыли.

Через три дня после взятия города леоновский отец был арестован комиссией при ВЧК за контрреволюционную деятельность.

Молодой Леонов отправился то ли в губком, то ли в ревком и прямо спросил у кого-то из местного начальства: «Отца задержали, меня нет. Раз я на свободе — не дайте умереть с голода. Хочу работать».

А какая могла быть работа в Советской республике? Красная армия — вот самая главная работа.

«Ты у нас в Артиллерийской школе учился? — спросили у Леонова. — Нам артиллеристы нужны. Иди-ка ты повоюй».

Леонид оформляется как доброволец.

И легла дорога теперь уже красноармейцу Леонову на Южный фронт.

В Архангельске, вскоре освобожденный из тюрьмы отец, будет доживать оставшиеся ему годы в постоянном страхе нового ареста. Что до Леонида Леонова, то он больше в этот город не вернется никогда.

С этого момента и начинается его правоверная советская биография.

Красноармейским артиллеристом он пробыл недолго — хваткого и образованного юношу быстро прибрали в состав политотдела делать дивизионный бюллетень.

Тем временем архангельские чекисты, разобравшиеся в документации, сохранившейся после ухода белых, нашли конкретные данные по Леониду Леонову и по нескольким другим бывшим офицерам, поспешно мобилизованным в Красную армию.

Вскоре в дивизию, где тянул службу Леонов, пришла соответствующая депеша: найти и разобраться.

На леоновское счастье, проходила она, естественно, через политотдел, к которому он был причислен.

Инструктором политотдела служила, как ни странно, бывшая княжна, вступившая в компартию. Она сверяла списки бывших офицеров, которые нужно было переправить в дивизионный трибунал, и обнаружила там фамилию Леонова. А он, надо сказать, был тогда удивительно милым — просто ангелоподобным. Не знаем, что там у него происходило с княжною, но она просто вычеркнула его фамилию из депеши, и все.

Остальных, попавших в список, немедленно арестовали и увезли. Больше Леонов их не видел.

Только тогда Леонов во всей полноте осознал ужас своего положенья. Это как клеймо — в любую минуту обнаружится — и все, Лёня, снимай будёновку, не позорь красную звезду, бесстыжие твои белогвардейские глаза.

Но, забегая вперед, скажем, что факт леоновского белогвардейства так ни разу и не всплыл за всю его писательскую жизнь.

Зато сам Леонов, став литератором, со своей неоднозначной биографией не раз играл. И это была не самая безопасная забава в те времена.

***

Его демобилизовали, и, с декабря 1921 года начинается писатель Леонов. В течение года он создает несколько замечательно сделанных, в орнаментальной манере написанных рассказов и повестей.

Постреволюционная Москва приняла его с восторгом.

Многим тогда нравилось думать, что этот замечательно красивый, большеглазый, белокожий юноша возник буквально из ниоткуда, был вылеплен из воздуха и света, как торжество долгих читательских ожиданий, как расплата за неустанное унижение великороссов и печальное расставание с отчалившей невесть куда Россией.

Унижали-унижали — отчаливала-отчаливала — и тут такой дар! Такой несоизмеримый — с юностью, кротостью автора — писательский талант.

Художник Илья Остроухов писал в те дни Фёдору Шаляпину: «Послал мне Бог икону <...> Это икона совершенно сохранная величайшего и талантливейшего нашего мастера XIV века Андрея Рублёва <...> Второе явление еще более нежданное, невероятное».

Что же может быть невероятнее обнаруженной иконы Андрея Рублёва? Вот ответ.

«Несколько месяцев назад объявился у нас гениальный юноша (я взвешиваю слова), имя ему — Леонов. Ему 22 года. И он видел уже жизнь! Одни говорят “предвидение”, другие “подсознание”. Ну там “пред” или “под”, а дело в том, что это диво дивное за год 16 таких шедевров наворотило, что только Бога славь, да Русь-матушку!»

В июле 23 года Леонов женится на дочке издателя Михаила Сабашникова. Посажёным отцом Леонова на свадьбе был Александр Дмитриевич Самарин, бывший камергер двора его императорского величества, московский губернский предводитель дворянства, некоторое время занимавший должность обер-прокурора Святейшего синода.

И остальные гости (и, кстати, ценители прозы Леонова) были под стать Самарину.

Это характеризует тот круг, в котором вращался недавний красногвардеец и будущий советский классик Леонов.

Лучшим свадебным подарком для Леонова стали издания двух его книг в издательстве Сабашникова: повести «Петушихинский пролом» и сборник из трех рассказов.

Уехавший в эмиграцию писатель и критик Михаил Осоргин в том же году пишет: «Несомненно одно: Леонов в нынешней российской литературе единственный типолог. Как бы ни относиться к еще немногому, написанному Леоновым, но, кажется, лишь на него можно указать как на наметившуюся надежду русской литературы, не сегодняшней, а большой, настоящей».

Почти на весь 24-й год Леонов заканчивает с рассказами и повестями, и делает большую вещь — «Барсуки», первый свой роман.

В центре романа – два малолетних брата, которых вывезли из деревни в Москву на заработки.

Пышнотелая Москва позволяет эпическому дару Леонова развернуться: он селит молодых братьев в Зарядье, где вырос сам.

Братья работают в доме лавочника на побегушках; одного зовут Семёном, другого — Павлом.

Семён – чувствительный, по-деревенски, неловкий, но внимательный к миру, постепенно, понемногу набирающий непокорную, мужицкую силу. Он станет бунтарем, выберет путь, поперечный большевистской власти.

Павел – нелюдимый, тяжелый или, как Леонов говорит, – «камнеобразный». «Пашка глядел на мир исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему». Когда Пашку начали бить сельчане смертным боем, мальчик «молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду». Ему впоследствии и выпадет стать большевиком.

Разругавшись с хозяином, озлобленный, уходит Пашка из дома и пропадает чуть ли не до последних страниц романа.

Первую часть книги «везет» на себе Семён. Леонов подмечает, что Семён «не особенно огорчился безвестным отсутствием брата. Павел служил Сене постоянным напоминанием о некой скорбной посюсторонней черте человеческого существования: одна земная юдоль безо всяких небес. Крутая, всегда напряженная, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, — жизнь без Павла стала ему легче».

Павел, к слову, с детства хромой, и это типичная леоновская заковыка: стремление всегда наделить большевика и физическим недостатком, и неким душевным разладом.

Далее действие романа перебирается в черноземную русскую губернию, в две деревни: одной названье Гусаки, другой — Воры. В названиях этих таится очередная, недобрая леоновская шутка.

В Гусаках и Ворах и будет происходить и революция, и контрреволюция, и партизанщина, и подавленье бунтовщиков. В каком-то смысле деревушки эти олицетворяют и саму черную, тягловую Россию, и весь русский народ.

Что характерно: два враждующих этих селенья образовались в свое время из одного, называлось которое — внимание! — Архангел.

Вот так вот наивысший ангел распался на вора и самодовольного гусака. Есть тут очевидная, жестокая ирония по отношению к народу-богоносцу, и эту иронию вскоре очень оценит Горький, который мало что так не любил, как русскую деревню.

Но в своей несусветной и дерзкой иронии Леонов идет еще дальше: у него и революция начинается с того, как Воры с Гусаками начинают делить спорную территорию – Зинкин луг: «...а был обширен и обилен Зинкин луг, четыреста пятьдесят десятин, на все четыре стороны вид – небо».

Новая власть над создавшейся проблемой долго думать не стала, и росчерком пера разрешила спор: «Отдать весь Зинкин луг Гусакам. У Воров и своего добра с излишком».

Так мужики-гусаки стали сторонниками новой власти, а мужики-воры, в свою очередь, большевиков невзлюбили люто и горько.

Саркастичный Леонов свел зачин мужицкой драмы, классовой борьбы и назревающей Гражданской войны, по сути, к анекдотцу.

Приехавший в уезд большевик Павел узнает, что бедокурит в уезде его кровная родня, пересылает брату-бунтовщику записку, и назначает ему встречу в лесу.

Беседовать братьям поначалу сложно: говорят, как камни ворочают.

Павел, не вставая с места, все ищет грибы, принюхивается, приглядывается – ему кажется, что они есть где-то неподалеку, ими пахнет, и в поиске этом виден интерес к живой жизни, к миру, во внутренности которому так любопытно забраться.

« — Не хочешь, значит, о домашних-то спросить?» — удивляется тем временем Семён.

«— А что... умерли?» — откликается большевик Павел, и тут только слепой не разглядит, что для этого человека кровные связи уже нисколько не важны. Зато крайне любопытен человек как таковой – как бы так его вывернуть наизнанку, чтоб он соответствовал своей великой роли и текущей задаче по переустройству мира.

«Мне вот третьего дня в голову пришло: может, и совсем не следует быть человеку? – делится раздумьями Павел. — Ведь раз образец негоден, значит – насмарку его? Ан нет: чуточку подправить – отличный получается образец!»

Тут, по Леонову, вся большевистская философия заключена: человек негоден, но мы с ним справимся, резать будем по живому, и в итоге получится то, что нужно.

Большевик Павел упрекает бунтовщика Семёна: «Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь!»

Долгое время слова эти трактовались исследователями Леонова, как авторская, и, по сути, просоветская позиция. Но смотрим на следующую же фразу, произнесенную Павлом:

«— А вот и грибы!» — восклицает он радостно: недаром строитель «процесса природы» так долго чувствовал их запах.

«— Это – поганки... — вскользь заметил Семён и встряхнулся».

Вот тебе и переустройство мира! Вот тебе и строители его, лишенные всякого чувства природы и почвы!

Легко прочитать этот роман как антисоветский – но не стоит, не стоит, и ниже мы объясним почему. Хотя сегодняшнее спокойной прочтение «Барсуков» все равно оставляет в недоумении: как же злая эта вещь входила в святцы советской литературы – что она там делала вообще?

***

В 20-е Леонова в просоветской критической среде никто за своего и не считал. Самые ретивые большевистские критики его били – и, как мы видим, имели для того некоторые основания.

Литературные вожди были настроены миролюбивей, но тоже отдавали себе отчет, с кем имеют дело.

Главный редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский писал тогда: «Творчество Леонова реалистично <...> но его едва ли можно назвать попутчиком революции. Тем более он чужд коммунизму».

Схожий взгляд был и у наркома просвещения Анатолия Луначарского. «Леонов, — писал он, — несмотря на свои молодые годы, конечно, крупнейший писатель современной России. За таких людей придется выдержать немалую борьбу. Две души живут в их груди».

Какие именно «две души» Луначарский не поясняет, но догадаться можно. Одна — приемлет революцию, вторая – явно реакционна.

Это свое раздвоение Леонов с еще большей силой покажет в следующем своем романе «Вор», завершенном в 1926 году.

Центральная фигура романа Митя Векшин – бывший красный офицер, разочаровавшийся в революции и ушедший в «медвежатники». Он и есть тот самый вор, закавыченный в заглавии книги.

Сначала Векшин растрачивает свою душу на обиду и злобу, а потом начинает в каком-то смысле воровать души тех, кто доверился ему, — своих друзей, своих любимых женщин.

«Вор», по сути, роман-разочарование – тогда, в эпоху НЭПа, многие, глядя вокруг, испытали отторжение: разве для этого делалась революция? Неужели во имя торжества рвачей и мещанства страна претерпела такие жертвы?

Первое критическое перо эмиграции Георгий Адамович вскоре скажет: «Конечно, ни Бабель, ни Всев. Иванов, ни

Булгаков или Федин не могли бы написать “Вора”, — или подняться до художественного уровня этого романа. Среди “молодых” у Леонова сейчас соперников нет».

Эмигрантские души долгое время «грело» саркастическое отношение Леонова к большевистской власти.

Ситуация несколько изменилась, когда, в 29-м, был опубликован очередной леоновский роман «Соть» — о социалистическом строительстве в России.

Казалось бы, что может быть скучнее, чем написать о возведении бумажного комбината! Однако Леонов умудрился создать на эти темы книжку, которую увлеченно читали несколько поколений людей в Советской России.

После выходы «Соти», конечно, сменила тон большевистская критика. В газетах писали: «В результате побед социалистического строительства Леонов увидел способность Октября уничтожить моральное подполье... переродить “мелкого человека”... в участника великой стройки...» и проч., и проч.

Зато после «Соти» в Леонове разочаруется значительная часть эмиграции: он им больше не «свой», почувствовали там.

Проблема, однако ж, в том, что Леонов «своим» никогда не был ни здесь, ни в эмиграции. Он всегда был сам по себе.

«Роман написан если и не на заказ, то все же под давлением тех лиц и настроений, сил и веяний, которые ныне литературой в России управляют», — утверждал Георгий Адамович.

«Леонов спустился с тех “вершин”, на которых <...> он держался в “Воре”, на гладкие полянки “производственной беллетристики”, где героем является не столько человеческая душа, сколько какой-нибудь турбогенератор», — продолжает Адамович (Сквозь зубы, признавая, правда, при этом, что «Соть» — книга вовсе не разубеждающая в том, что у Леонова «среди молодых русских романистов почти нет соперников».).

На самом деле не правы оказались и совкритики, и эмигранты. И первые, и вторые были ангажированы в равной степени. Одни — глобальной насущной задачей, перед которой меркли любые метафизические метанья. Другие: пожизненным унижением и изгнаньем, отравившим навек вкус всему, что им недоступно даже для лицезрения.

Влияло на восприятие книг Леонова и время, которое не очень ценило полутона, предпочитая ясные и простые цветовые решения: красный, белый, черный, свой, чужой.

Хотя и в «Соти» смысловые каверзы, авторскую, упрямую иронию и привычные леоновские зарубки по пути к извечной теме можно было бы разглядеть уже тогда.

В центре повествования несколько большевиков.

Самые тяжелые смыслы уже в самом имени своем несет главный герой Увадьев Иван Абрамыч. В фамилии его отчетливо слышны «наваждение», или, верней, «навада»: слово, означающее дурной соблазн. Он будто детище того самого призрака, что бродил по Европе, навые планы свои вынашивая.

Первое же появление Увадьева в романе является ключом к его образу. Пробираясь на телеге сквозь лесные дебри к месту будущего строительства, Увадьев на минуту останавливается возле муравейника и протыкает его пальцем.

«Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок, — напрасно они тащили ее на расправу к своему нещадному судье», — так описывает Леонов произошедшее в муравейнике.

«Лишь забава двигала рукой человека», — пишет Леонов, употребляя очень важное свое слово «забава».

Растревоженные и раздавленные муравьи «угомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло». Отметим и определение «недоброе».

«Он шел, — пишет Леонов об Увадьеве, — и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна».

«Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы», — говорят Увадьеву свои же, соратники по строительству, во время важной беседы. Леонов слова эти, обращенные к Увадьеву, трактует как «непонятную» шутку, хотя сам все прекрасно понимает: Увадьев выпивает содержимое, оставляя внутри пустоту.

А если содержимое не поддается... Монахи, чей тихий и бесполезный век в скиту с приходом строительства окончен, догадываются об Увадьеве: «...царь-де ременной плеткой стегал, а этот, поди, железную привез».

Растревоженный приездом большевистских активистов, кричит игумен: «В Соловецки-те времена, бывало, наедут, башку отмахнут, да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смертного закрутят. А в конечный день, как тряхнется земля и колыхнется небо, утерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться начнут... заревет труба, на гору положена... тоды я тебя вопрошу <...> хде был? <...> Эх, метла-метелка; балы, машкарады, смрад их тебя прельстил?»

Смрад – это адский запах, запах бесов.

Мотив бесовщины, точнее сказать – чертовщины, в «Соти» неотвязный и навязчивый.

Слово «черт» вообще одно из самых упоминаемых в тексте.

Мать говорит Увадьеву: «Жги, да пали, да секи, да руби единородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете? На всех не хватит, так хоть из ситчика пошейте, черти неправедные».

Сам Увадьев такие приказы отдает рабочим: «Работайте, как черти! Про вас песни сложат».

Да и говоря о себе, черта поминает он как присказку: «Но, черт, я одет в мясо...»

Неудивительно, что само понятие «душа» кажется Увадьеву насмешкой и пустотою: «Душа, еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло... я делал их, ел или держал в руках... я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа».

Когда на Соти свершается крестьянами Крестный ход, в воду погружают крест, и поп говорит: «Гарь идет!» Как будто пропиталась чертовщиной земля в тех местах.

«Держите тишину, дьяволы!» — так обращаются к строителям на собрании. И тому подобное: «...вывози своих чертей...», или: «Черти вы, черти... обеднили нас до лоскутка!»

Один из героев «Соти», Лука, накануне начала строительства своими глазами видит нечисть: зайца с красной головою, выскочившего из трухлявой сосны.

«...пошли косноязычные всякие толки, — пишет Леонов, — будто на опушку близ местности Тепаки выходил корявенький старичок, луня седей и рыся звероватей, нюхал веселый щепяной воздух, хмурился... И тут будто встретился ему московский комиссар Увадьев, которому щеку чирьем разнесло. И якобы, пробуя напугать власть, сказал старичок: “Я тебя, дескать, и не так еще тяпну, во всю харю прыщ насажу: топором не вырубить!”»

Но молодые, злые, сильные и бодрые черти все равно выдавливают старых изо всех их щелей: «Миллионы существ, если считать всю домовую насекомую нечисть, потеряли в те дни покой и жилище. По дорогам сломя голову бежали тараканы, скулили домовые по ночам».

Монахи в ужасе: «В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоуменьям, но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово: антихрист. И верно: две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой».

«И верно — антихристы! » – вот что утверждает прямым текстом Леонов, совершенно не прячась.

Сам Увадьев, едва появляется в скиту, в темноте мнится монахам как бес.

«— Трудишься, отец? – полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. – Видно, и вас-то даром не кормят!

— Ямы вот чищу, — охрипло отвечал казначей.

— Чего же присматриваешься, аль признал?

— Ты бес...»

И далее: «...туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды». Как будто начинается новое мироздание: в тяжелых сотинских водах.

Увадьев вроде бы кажется героем положительным. Но для приметливого читателя, изучающего образ Увадьева, автор тут и там оставляет свои метки.

«Его мало кто любил, но уважали все», — пишет Леонов про Увадьева. Жене этого человека «бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки».

Увадьеву детей Бог не дал. Жена Увадьева, возвращаясь из церкви, поскользнулась в гололедицу, и случился выкидыш. И то, что она именно из церкви возвращалась, совсем не случайно. У Леонова вообще нет никаких случайных деталей, но, напротив, именно из них и формируется реальная картина мира.

«Одна горсть сохраненных подробностей даст оправдание книге», — так он говорил.

Второго ребенка задушила пуповина, а что муж? Увадьев, забыв о жене, «которая десять лет проторчала под рукой как походная чернильница», пошел к иным женщинам. «В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса; в короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения».

А потом Увадьев, «не страшась причинить горе», угощал жену шоколадом, «который оставался у него в кармане от другой».

Начиная строительство, Увадьев мечтает о том, что все нынешние, трудные свершения – они делаются во имя некой будущей девочки. В мечтах Увадьев дал ей имя Катя.

И здесь очень важный момент: первой случайной жертвой стройки становится именно маленькая девочка — ее убивает вырвавшимся из земли саженным брусом.

Постепенно вытравив все человеческое из Увадьева, в середине повествованья Леонов пишет о своем герое, что он вылит из красного чугуна. Увадьев еще видит сны, но и во сне ему снится «красный шар, громоздко катившийся с востока на запад». Подминая все под себя, надо понимать.

Портрет героя довершается так: «В привычках Увадьева было рубить с маху там, где и без того было тонко:

— Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне!»

Вот они – новые люди, строящие новый мир.

Леонов смотрит на них честно и безжалостно.

Такой Увадьев просто не мог не завершить стройки.

Возможно, никто иной и не смог бы. Этот чугунный черт, сломав по пути несколько судеб, сделал свое дело вопреки бунту природы и темноте мужичья.

«Я не боюсь моих ошибок, им со временем найдут громовое оправданье», — такова позиция Увадьева.

Философия самого Леонова, несомненно, иная. И ее, как нам кажется, формулирует в одном из диалогов книги инженер Бураго: «Я строю заводы, Увадьев, и мне не важно, как вам необходимо назвать это. Я буду с вами до конца, но не требуйте от меня большего, чем я могу. Социализм... да... не знаю. Но в этой стране возможно все, вплоть до воскрешения мертвых! Приходит новый Адам и раздает имена тварям, существовавшим и до него. И радуется <...> Нет, я уже старый: я помню и французскую революцию, и несчастие с Икаром, и библейскую башню, и позвонок неандертальского человека в каком-то французском музее. Вы много моложе меня, Увадьев».

Увадьев отвечает:

«— Бураго, есть вопрос. Река пойдет в трубы?

— Непременно.

— Целлюлоза будет?

— Твердо».

Леонов знает, что река смирится и будет целлюлоза. И радуется вместе со всеми новому Адаму, новым именам, иным свершениям. Но Икар упал, и башня разрушилась: об этом он тоже знал. Потому что нет ничего превыше Бога.

Леонов ничего не скрывал!

Но, например, Горький ничего этого вовсе не заметил или заметить не захотел:

«...прочитал “Соть”, — писал он Леонову, — очень обрадован – превосходная книга! Такой широкий, смелый шаг вперед и – очень далеко от “Вор”, книги, кою тоже весьма высоко ценю... Имею право думать и утверждать, что “Соть” — самое удачное вторжение подлинного искусства в подлинную действительность и что, если талантливая молодежь прочитает эту книгу, она – молодежь – должна будет понять, как надобно пользоваться материалом текущего дня, для того чтоб созидать из этого материала монумент текущему дню...»

Жуть. «Монумент...»

Еще с «Барсуков» началась, а в «Воре» и «Соти» была продолжена история, которую вполне можно именовать «эффектом Леонова».

Всю жизнь пишет он о своей главной теме: неудаче божественного эксперимента с человеком. Человек, согласно Леонову, – не получился у Бога. Быть может, ситуацию могло исправить великое революционное переустройство... но, похоже, и оно не справилось с «человечиной» (леоновское словцо).

Тем временем Леонова записывали то в антисоветские писатели, то в советские, то в революционеры, то в реакционеры.

А он-то совсем о другом!

***

В начале 30-х годов Леонов становится одним из крупнейших писателей Советской России. На одной из встреч со Сталиным, Горький говорит о Леонове, что «он имеет право отвечать за всю русскую литературу». Сталин полминуты смотрит в глаза Леонову, и, наконец, говорит: «Я понял... Понял».

В компании с Шолоховым Леонов несколько раз попадает на посиделки к вождю – проще говоря, на какое-то время становится избранным, приближенным.

Но с середины 30-х Леонов — видимо, сам того не ожидая, — становится одним из объектов показательных порок и головомоек. Пропесочивали его нисколько не меньше Зощенко или Платонова.

Почему он не попал в маховик репрессий, понять уже невозможно – его имя фигурирует в нескольких делах. Леонов объяснял свое спасение тем, что выдержал рысий сталинский взгляд, не отвел глаза.

Ну, не знаем.

Для нас куда важнее, что в самые трудные времена он ни разу не изменил себе как писатель.

Лучший, пожалуй, его роман — «Дорога на Океан» (1935) — замечательный пример тех самых леоновских забав, о которых мы упоминали выше.

В романе два главных героя – член армейского реввоенсовета, назначенный **начподором** Волго-Ревизанской железной дороги Алексей Курилов и начальник депо на этой дороге — бывший белый офицер, естественно, скрывающий свое прошлое, Глеб Протоклитов.

Курилов с самого начала повествования подозревает Протоклитова; они несколько раз общаются, но самый их поединок происходит даже не во время кратких встреч, а в преодолении каждым из них тех или иных жизненных обстоятельств. Леонов неустанно выясняет меру мужества обоих.

Противостояние в романе Протоклитова и Курилова, безусловно, является аллюзией на отношения Леонова и Сталина, и отчасти даже посланием писателя к вождю. Леонов мог быть уверен, что в Кремле его прочитают внимательно.

«Игра его была огромна», — пишет Леонов о Глебе Протоклитове в самом начале романа, имея в виду, насколько

продуманно и точно строит бывший белогвардеец, а по сути, смертник, новую свою биографию.

Но насколько огромна была игра самого Леонова!

Сам он неоднократно говорил, лишь давая наживку торопливым своим исследователям, что «Дорога на Океан» — наивысшая точка его веры в социалистический эксперимент.

Все, конечно, стократ сложнее и любопытнее, как, впрочем, почти всегда у Леонова.

Основным носителем социалистической идеологии, как мы понимаем, является в романе упомянутый Курилов.

Если воспринимать возглавляемую Куриловым железную дорогу как символ Великой Советской Дороги на Океан, а значит, и самого социалистического строительства, — то прототипизация Курилова становится совсем прозрачной: он на этом железном, грохочущем, трудном, полном сложностей пути — главный.

Сходство Курилова со Сталиным очевидное и в некоторых деталях даже дерзкое.

Начнем с того, что Курилов обильно усат. Неустанно курит трубку.

Леонов общался со Сталиным, наблюдал его, и ненавязчиво наделил Курилова его приметами, его повадками, разве что не сделав осетином – но это уж было бы слишком. (Тем более, какой Сталин осетин?)

Леонов вспоминал, как однажды участвовал в сталинском застолье; вождь выпил много и чуть охмелел, тогда Николай Бухарин заботливо посетовал: «Может, хватит, Коба?» — кивнув на бокал. И тут, — вспоминает Леонов — за внешним спокойствием Сталина он почувствовал такое огромное бешенство, что пришел в ужас.

И та сцена, в которой появляется Курилов в начале книги, она словно бы со Сталина списана, с натуры.

Курилов, вышедший на новую работу, впервые собрал подчиненных: «Совещание превратилось в беглый перекрестный опрос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на всех страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро, а он один, но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его – от бешенства».

О пресловутой сталинской простоте, к слову сказать, не писал в те годы только ленивый.

При описании взаимоотношений Курилова и служащих дороги Леонов подмечает замечательно точные детали: так, во время обхода места крушения поезда идущий рядом с **начподором** стремится «даже не наступить на тень Курилова».

Несколько лет спустя эту деталь у Леонова позаимствует Алексей Николаевич Толстой для своего Петра – тоже, к слову, откровенно срифмованного со Сталиным.

«Большие, в жилах, руки» Курилова – сталинские. Ну и рябоватым сталинским лицом наделил Курилова Леонов.

Воевал Курилов под Царицыным – и тут уже намек совсем явственный: там же, напомним, Сталин воевал в Гражданскую; и именно в начале 30-х царицынским событиям 18-го года стали придавать основополагающее значение.

Но и этого Леонову показалось недостаточно, и в самом начале романа у Курилова умирает жена. «Дорогу на Океан» Леонов начал писать в 1933-м, а жена Сталина Надежда Аллилуева погибла в 1932-м. Вот это уже дерзость со стороны Леонова – тем более что большевик Курилов, персонаж, вроде бы обязанный быть едва ли не идеальным, лишь отойдя от постели умирающей жены, тут же вроде бы ненароком начинает строить известные отношения с подвернувшимися женщинами.

Не менее самоубийственно было бы срисовать Протоклитова с себя – это уже в известном смысле явка с повинной. Но внимательное, с прищуром, рассмотрение этого героя сомнений не оставляет: Леонов знал, что делал, и делал это умышленно. Это было его и забавой, и аккуратно расставленной самому себе западней.

В фамилии антагониста Курилова скрыт корень «прото» — первооснова, прототип; впрочем, элементарная перестановка букв в фамилии составляет нечто созвучное слову «проклятый». Протоклитов — проклятый прототип его самого, Леонова, тоже своего рода большого мастера на той самой Дороге на Океан.

Одновременно, если помнить о греческом корне «клит», расшифровка фамилии может иметь и другое значение: званый. Проклятый, но званый — а, верней, призванный! – не так ли воспринимал Леонов свое предназначение в литературе?

Протоклитов и Леонов почти ровесники (как, кстати, Курилов и Сталин). Точный возраст Протоклитова не называется, но ему «вряд ли было больше тридцати девяти» — ко времени выхода романа Леонову — 36.

«Спокойная, расчетливая воля светилась в его глазах, — не без любования пишет Леонов портрет своего героя. — Этот человек был бы хорошим летчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С таким не бывает случайностей в жизни».

Создается ощущение, что Леонов произносит это, спокойно глядя в зеркало.

Сам писатель, безусловно, был собеседником отменным и, да, недурным шахматистом, и техникой интересовался се-

рьезно и вдумчиво. В середине 30-х Дом советских писателей организовывал обучение дисциплинам, нужным литераторам в творческой работе, и полтора десятка литераторов занимались на дому историей и общественными науками, а Леонов – физикой, химией и математикой.

Леонов пишет, что у Протоклитова «египетские» глаза – то есть отражающие древность, скрывающие некую тайну. Посмотрите в леоновские глаза: не то же самое увидите вы и там?

Дальше – больше, Леонов дарит Протоклитову одно из самых важных своих детских воспоминаний. Помните, как он деду читал церковную литературу? – с этих чтений и начался писатель. Вот и Протоклитов ребенком читает вслух, но только матери, а не деду «всякие патерики, сказания о Святых Отцах и прочие церковные выдумки».

Точнее сказать, деталь эту из своего детства Протоклитов выдумывает специально для Курилова, но это мало что меняет.

Собственно, Протоклитов вешки биографии писателя Леонова и черты его характера выдает за свои, словно бы отражаясь в нем как в кривом зеркале. Протоклитов — бывший гимназист, самоучка, высшего образования не получил, но «книги всегда у меня были основной статьей расхода», — признается он; выпивал, но бросил – и «теперь ни капли не беру» (во второй половине 30-х Леонов вовсе перестал прикасаться к спиртному – в отличие от многих своих коллег, не вынесших страшных температур времени и пристрастившихся к алкоголю).

Далее Леонов пишет: «Конечно, то была случайность, что однажды Глеб приехал на каникулы к отцу, а городок был отрезан белыми и студента путейского института мобилизовали на восстановление государственного порядка, растоптанного большевиками».

Тут уже прямой отсыл к архангельской истории Леонова, единственное отличие которого от Протоклитова в данном случае лишь в том, что он не успел поступить в институт.

У Протоклитова, уже весьма прочно вписавшегося в советскую жизнь, неожиданно объявляется прежний, с белогвардейских времен сослуживец – Кормилицын. Он присылает Протоклитову письмо, «шесть убористых страниц, начиненных благодарностью, пересыпанных множеством интимных признаний, почти улик, и украшенных восклицаниями вроде: “Молодец ты, Глебушка, наши нигде не пропадут!”, или: “Мы на тебя издали смотрим, любуемся украдкой и гордимся тобою...”, или: “Уверены, что дойдешь до высоких степеней; но зная твой темперамент, просим – не торопись!”»

Это как будто письмо самому Леонову пришло из далекого прошлого. Знаменитый литератор, постоянно мелькавший на страницах советских газет, секретарь Союза писателей, вполне мог получить подобное послание, неожиданно признанный ожившим призраком из архангельской артиллерийской школы или из 4-го Северного стрелкового полка, где служил юный Леонов. А может быть, Леонов даже получал подобные весточки?!

Кормилицын вскоре приезжает к Протоклитову и селится у него. Тут и узнает от бывшего товарища, что он принял новую власть и хочет строить свою жизнь в соответствии с новой реальностью. Ну, почти как Леонов.

Не до конца понятно насколько искренен Протоклитов, но он явно не собирается идти поперек пятнадцать лет назад обрушившейся на Россию и устоявшейся уже нови. Опять же, как Леонов.

Тем более что сама фигура Сталина, его нечеловеческий эксперимент над человеческим веществом куда больше волновали Леонова, чем социализм как таковой.

Безо всякой иронии Глеб Протоклитов говорит однажды о Курилове:

«— Этот человек играет большую роль в моей судьбе. Он как громадная планета, и я – ее ничтожный спутник. Пятнадцать лет я вращаюсь в ее орбите и все не могу вырваться».

В другой раз Протоклитов думает о Курилове так: «...искатель человеческого счастья, **человекогора**, с вершины которой видно будущее».

«Дорога на Океан» появилась в четырех последних номерах «Нового мира» за 1935 год, а в начале 36-го года в «Известиях» публикуются стихи Бориса Пастернака о Сталине: «А в те же дни на расстояньи / За древней каменной стеной / Живет не человек — деянье, / Поступок ростом в шар земной».

Процитированное очень созвучно тому, что пишет Леонов или, точнее сказать, что Протоклитов говорит и думает о Курилове.

Создание этого стихотворения сам Пастернак называл «искренней, одной из сильнейших (последней в тот период) попыткой жить думами времени и ему в тон». Напомним о словах Леонова, что время написания «Дороги на Океан», 1935 год – наивысшая точка его веры в социализм, и добавим, что в том же 1935 году Булгаков начинает всерьез обдумывать пьесу о батумской молодости вождя. Что-то в воздухе было разлито тогда, охватившее таких разных и таких честных людей...

В ответ на слова Протоклитова о планете и «ничтожном спутнике», не умеющем вырваться, собеседник сочувствует ему, говоря, что это, верно, «паршивое ощущение».

«— Нет... если быть справедливым. Я лучше стал из страха, что он увидит меня дурным», — отвечает Протоклитов. Едва ли бы от этих слов отказался и сам Леонов.

Скажем больше, это — его слова и его признание в верности, хоть и не столь откровенное, как у Пастернака. Сталин, прочтя про трубку, Царицын, рябоватое лицо и набредя на множество иных меток, расставленных по тексту, должен был все услышать и понять.

При том, что сама картина окружающего в «Дороге на Океан», привычно вытканная Леоновым из мельчайших деталей, как всегда, малоприглядна.

«Все соревновались на показатели лучшей работы, все состояли членами всяких добровольных обществ, все до изнеможения выступали на совещаньях, все повторяли то же самое, что говорил и он (*Курилов. – Примеч. З.П.*) Здания станций, столовых, управлений, даже диспетчерских кабинетов были утеплены стенгазетами, профсоюзными объявлениями, лозунгами, плакатами и еще множеством серого цвета бумажек, на которых было написано что-то мелко, торопливо и плохим карандашом. Но качество перевозок оставалось прежним, и катастрофы время от времени напоминали массовые древние жертвоприношения».

Собственно, с описания крушения поезда и начинается роман, и гибелью паровоза, ведомого молодым машинистом-комсомольцем, завершится.

Помимо прямой авторской речи, Леонов применяет иной проверенный способ общения с разумным читателем, доверяя свои самые злые и сокровенные мысли героям вроде бы отрицательным.

Вот они и говорят на страницах романа: «Жизнь ноне производится не в пример слабже супротив прежних времен, а только суеты гораздо больше».

«Ну, а все-таки грузооборот на Каме выше довоенного?» — спорит Курилов с бывшим купцом и пароходчиком Омеличевым.

Курилову отвечают:

«Э, ты ловок... с довоенным-то себя сравнивать. А?.. Я спать бы стал эти шестнадцать годов? Думаешь, расти – это только тебе дадено?»

Однажды Омеличев проговаривается о сокровенном своем, купеческом: «Ты возьми у меня все, но дай мне аршин, один аршин земли... и я выращу на нем чудо. Ты увидишь дерево, и птицы на нем гнезда станут вить посреди золотых яблок. Но чтобы аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего...»

Ой, как слышен тут сам Леонид Максимович, внук ухватистых и домовитых лавочников.

Курилов не унимается, и не без усмешки теребит Омеличева:

«Что, легче жизнь стала на Каме?»

«У кого мозги попроще, тем легше», — отвечают ему.

Впрочем, и сами большевики о своей работе не самого высокого мнения.

«Мы не успели сделать все, что хотелось.., — говорит один из них. – Многое нами сделано начерно и наспех».

Машинист на дороге, молодой татарин, недавно получивший работу, боится, что к нему приедет из деревни первая деревенская его любовь, Марьям, и вернет ему любовные письма со словами: «Возьми, это написано тобою; не стыдись. Ут алсын аларнэ, — пусть их съест огонь! А то кто-нибудь прочтет и донесет, что ты любил дочку кулака и тебя прогонят отсюда старой метлой».

Мать этой девушки умерла с горя после раскулачивания.

Такие вот приметы советского бытия.

Машинист возвращается в свою деревню после того, как стал виновником аварии на дороге, запивает, его должны вскоре забрать и судить. Мать суетится возле спящего сына. «Время от времени она безмолвно и строго глядела на портрет Сталина, и с той же пристальностью Сталин всматривался в нее со стены».

Это тоже писательский знак вождю, просьба о милости к людям.

В своих спорах о будущем с Куриловым Леонов, самолично несколько раз появляющийся в романе в качества повествователя, просит оставить в будущем **живого** человека – со всеми его слабостями, а не пытаться населить новь тяжелыми статуями и херувимами.

Курилов не соглашается.

Есть своя теория будущего и у Протоклитова, в которую, согласно авторской ремарке, бывший белогвардеец «пытался верить»:

«— Новый человек создаст себе железных рабов по образу своему и подобию. Словом, он станет богом. Он будет душою громадных механизмов, заготовляющих пищу, одежду и удовольствия. Эти железные суставчатые балбесы будут трудиться, петь песни, пахать землю, плясать по праздникам на манер Саломеи, даже делать самих себя. Человеку не потребуется изнемогать от работы, он должен будет только знать...»

Как мы видим, подобно Леонову, Протоклитов не только искренне желает уверовать в будущее, но и пытается лично его конструировать, тем самым усиливая свою веру.

Курилову, впрочем, до этого нет никакого дела.

Шаг за шагом, проявляя железную большевистскую выдержку, Курилов, как зверя, загоняет Протоклитова, кожей чувствуя в нем чужого.

Протоклитов мысленно репетирует диалоги с Куриловым: бывшему белому офицеру тоже хочется жить.

«Мне противна эта слежка, пойми меня», — такие слова хочет сказать раскаявшийся белогвардеец **человекогоре**. — «За один квартал меня посетили шесть всяких бригад. Обследуют все кому не лень. Пойми, что это дискредитирует меня как начальника. Дешевле и проще было бы снять меня вовсе с работы!»

В этом протоклитовском монологе вновь проявляется сам Леонов – писатель, постоянно находящийся на подозрении, периодически терзаемый критикой, проходящий унизительные фининспекторские проверки.

Там еще будет характерный эпизод с появлением гадких карикатур, изображающих Протоклитова, в железнодорожных газетках: о, как это близко Леонову! Сколько он перевидал в прессе таких карикатурок на себя!

«Мне противна эта слежка, пойми меня», — отчаявшись, кричит Протокликтов Курилову, а верней, Леонов — Сталину. На «ты»!

Сослуживец Протоклитова Кормилицын спрашивает у него однажды: «Ты предан этой, **новой** власти?»

И здесь из уст Протоклитова звучит еще один воистину леоновский ответ:

«— Я сам эта власть. И я делаю свое дело честно и искренне».

Но, видимо, еще не наступил тот момент, когда честность и искренность будут способны перевесить груз прошлых грехов.

В романе Глебу Протоклитову сначала устраивают чистку – снова очень похожую на многочисленные диспуты по поводу романов Леонова; и в финале этой чистки бывшего белого офицера неожиданно разоблачают. Теперь гибель его неизбежна.

Понимая это, Леонов идет на последнюю дерзость.

В финале романа писатель безжалостно убьет Курилова. Мало того, он уничтожит его посреди снежной (в романе вообще очень много снега и льда) Дороги к Океану: Курилов с детства болел желанием увидеть огромную, бескрайнюю, всепоглощающую воду, и, став начальником дороги, едет к ней, но – не судьба.

Леонов словно бы говорит этим: да, ты **человекогора**, и моя жизнь в твоих руках, но ты не ценишь и не щадишь меня,

и, значит, покажу тебе, на что я способен: я тоже демиург. И я тоже убью тебя, если твои подручные несут мне смерть.

Огромна была игра Леонова. Едва ли не больше жизни...

***

В самый трудный и мучительный момент огромной своей жизни, в 1938 году, Леонов начинает работу над самым лирическим и нежным своим сочинением — повестью «Evgenia Ivanovna».

Сюжет ее не сложен: в Гражданскую, в том самом 20-м, когда был призван в Белую армию Леонов, провинциальная девушка Женя уходит вместе со своим женихом, молодым офицером Стратоновым, за рубежи.

«Матери благословили их в дорогу и все пытались навязать по сундучку с прижизненным наследством. Молодые бежали в наемной бричке, добытой по кулачному праву эвакуации. Брачная ночь состоялась в степи под открытым небом. Первый снег кружился в потемках, лошадь стояла смирно, нераспряженная, пахло прелой ботвой с баштана. Бесшумная пятерня нашаривала в степи беглецов, и этот смертный трепет умножал ненасытность Стратонова. У Жени озябли коленки...»

Через полгода Стратонов бросит ее одну в Константинополе. Женя, перебравшаяся в Париж и находящаяся на грани самоубийства, случайно знакомится с английским археологом по фамилии Пикеринг.

«Слава Пикеринга, литератора и лектора, не уступала его известности искателя сокровищ, а ему всегда зловеще везло как в поисках их, так и в азартных играх вообще. Одна его лекция о мумифицированной пчеле из погребального венка принцессы Аменердис, полная эрудиции и поэтического блеска, обошла все школьные хрестоматии Запада, потому что знакомила с Египтом двадцать пятой династии полнее иной многотомной биографии».

Он берет ее к себе на должность секретаря, в предстоящее путешествие в Месопотамию.

Женя – та самая Evgenia Ivanovna — уверена, что ее Стратонов мертв — еще в Париже она получила случайное известие о его гибели в составе Иностранного легиона. Прямо в путешествии она становится женой Пикеринга.

Он предлагает ей вернуться домой транзитом через Россию. Пикеринг на хорошем счету в СССР, и, вполне издевательски, Леонов объясняет почему: «...в одном газетном интервью перед самым отъездом в Малую Азию ученый отвел России почетную, хотя незавидную участь горючего, чуть ли

не вязанки хвороста, в деле великого переплава одряхлевшего мира, однако советский корреспондент и за это поторопился внести британского археолога в немногочисленный пока актив влиятельных друзей Октябрьской революции».

Молодая семейная пара попадает в Тифлис, и здесь Женя встречает Стратонова. Он работает гидом. Тогда, из Константинополя, он бежал через границу домой. В него стреляли, но он выжил.

Стратонова роднит с упоминавшимся выше Глебом Протоклитовым только одна, но очень важная вещь. Оба этих леоновских белогвардейца – и этого никто не замечал! – отчего-то говорят о Советской России – «моя», «наша»: как будто жаждут ее присвоить, раствориться в ней, а не быть изгнанными из нее на пустой белый свет.

Вот один из центральных монологов Стратонова в повести, который никак не напоминает привычные белогвардейские монологи той поры.

«Хорошо... но разрешите по-русски: об **этом** трудно на иностранном диалекте, — волнуясь начал Стратонов. — Великие светочи России давно пророчили ей особую, героическую, в смысле отсутствия европейского эгоизма, историческую миссию... которая долгое время служила темой яростных споров целых поколений у нас и поводом для юмора пошляков за границей. Между тем тут опасно скалить зубы... речь идет о стариннейшей и, главное, всеобщей людской потребности в мире, добре и правде, то есть об установлении на земле высшей человечности... условно назовем это мечтой о золотом или праведном веке. Не поблекшая от многих противоречивых толкований, осмеянная и преданная столько раз на протяжении столетий, она доныне теплится <...>. И вначале утоление этой ненасытной жажды было предоставлено доброй воле и отеческой совести государей, духовенства и вообще старших лиц, но потом, ввиду разочарований и задержек, младшие сами попытались сдвинуть дело с мертвой точки. Я веду к тому, что все прежние революции надо рассматривать лишь как разведку боем: генеральная битва начинается здесь и завтра. Вы сейчас увидите, **почему** и **что** именно объединяет **нас**, в этой стране, сегодня».

И чуть ниже он добавляет про «огромную Россию, взвалившую на свои плечи предсказанный ей подвиг. В сущности, это все тот же путь к звездам, но в отличие от прежних – окольных, — **через небо**, здесь предполагается двинуть **туда** кратчайшим, земным маршрутом, сквозь гору и напрямки».

Казалось бы, какого черта бывший белогвардеец излагает теорию революции, оправдывает и объясняет ее: неужели

ж для этого не нашлось других уст? Но для Леонова только такой расклад является самым правильным.

Однако в отличие от Протоклитова Стратонов, помимо весьма сомнительного греха своего белогвардейства, несет в душе иной, действительно тяжкий грех. И тяжесть этого греха отменяет и рассеивает всю его истовую веру в Россию, и русский, через революцию, путь к небу.

«...когда союзники России покинули ее в беде, — произносит голосом Стратонова свой очередной монолог едва ли не сам Леонов, потому что слово “союзники” — ровно из его архангельской юности, — я вынужден был временно уйти за границу... пока не решил вернуться домой, приносить посильную пользу отечеству... пусть даже на осушке болот! Для этого мне пришлось защемить в себе душу, предать свою мечту, даже совершить подлый поступок, воспоминание о котором сжигает меня доныне...»

Стратонов, да, бросил свою женщину, одну, на чужбине – и чего бы он теперь ни говорил о будущем родины своей, понятно одно: на небо, даже самым «кратчайшим маршрутом» не попадешь, волоча за собой такой грех.

Не себя ли корил Леонов в том, что не просто оставил в Архангельске отца – помочь он ему в 1920-м ничем не мог, — а в том, что бросил его могилу без присмотра, — отец умер в 1929-м, — и за несколько десятилетий суровой и страшной русской жизни так и не добрался туда ни разу?

Что до философии всей повести, то она, по сути, страшна. Стратонов вернулся на Родину, словно притянутый непреодолимой магнитной силой, но бросил на произвол судьбы самого близкого человека и тем самым проклял себя, растоптал душу свою. Женя, Родину покинувшая, – зачинает дитя именно в тот недолгий визит в страну Советскую; но, вернувшись в Англию, умирает. Послеродовым осложнением объясняют ее смерть медики, но все чуть сложнее.

Русская Родина, по Леонову, не отпускает от себя ни одного честного своего ребенка, и, кажется, питает себя их жизнью, их душой, их плотью.

И дело тут вовсе не в революции, она в конечном итоге лишь выявила то, что изначально было заложено в человеке.

Человеку, согласно Леонову, так и не хватило сил на тот самый кратчайший маршрут. То ли люди, собравшись в дорогу, были слепы, как слепцы на картине Брейгеля, упоминаемой в повести, то ли они были просто — люди. То есть те, кому изначально и вовеки с земли на небо пути нет.

О том и повесть.

О том, скажем больше, и все иное, написанное Леоновым.

***

«Пирамида» — итоговое сочинение Леонова, он начал работу над ним в 1940 году. В 1947-м первый вариант книги под названием «Ангел» был готов, но неторопливый Леонов решил подождать.

В итоге роман вышел в 1994 году — и только что справивший свое 95-летие Леонов успел подержать в руках первое издание главного своего труда.

Леонов рассказал однажды, что импульсом к написанию последнего варианта «Пирамиды» стал вопрос: «Может ли человек обвинять Бога?»

Пришлось на этот вопрос отвечать добрые полвека.

Признаем честно: с точки зрения Православной церкви роман-наваждение «Пирамида» — карусель ересей. Ситуация усугубляется тем, что главный разносчик этих ересей — священник — о. Матвей, один из главных героев книги.

В известном смысле размышления и многие поступки о. Матвея — провокация пред очами Бога. И цель провокации одна — докричаться: дай знать о Себе! Объясни, зачем мы Тебе? Если Ты еще есть. Если Ты еще в силах.

Размышления о. Матвея, а на самом деле самого Леонова, начинались вот с чего: «На стыке фанатической веры и благочестивого вольномыслия насчет кое-каких явных логических неувязок и вознамерился батюшка последовательно, догмат за догматом, разъяснить весь Филаретов катехизис на уровне, доступном даже для сельского населения. <...>. После уймы бессонных ночей, которые провел за сапожным верстаком, мысленно исследуя ускользающую от ума непреложную истину, наткнулся вдруг на каверзный и никем дотоле не поднимавшийся вопрос — а, собственно, зачем, в утоление какой печали Верховному Существу, не знающему наших забот, потребностей и вожделений, понадобились вдруг грешные, дерзкие, скорбные люди и почему никто пока не усомнился в туманном богословском постулате об изначальной любви к своим завтрашним творениям, ибо как можно заранее полюбить еще не родившихся?»

Вопрос этот можно продолжить: мало того, что Ты полюбил не родившихся, как можешь Ты любить родившихся вот такими — ничтожной человечиной!

Или уже не можешь?

Если брать всех предыдущих героев Леонова, так или иначе схожих с ним, то их сомнения еще было кому разрешить и заблуждения — опровергнуть. А вот сомнения и заблуждения о. Матвея разрешить и опровергнуть уже некому. Он обращается со своими ересями поверх человечества — сразу в небеса.

И те безмолвствуют.

Казалось бы, у другого героя книги, ангела Дымкова могли бы возникнуть какие-то ответы на мучащие о. Матвея вопросы — но нет, в романе он говорит о чем угодно, рисует Никанору Шамину модель вселенной палкой на снегу... а вот о том, зачем Бог создал человека и как сумел полюбить еще не родившихся, он не рассказывает ничего. Скорее всего, предположим мы, просто не знает: Дымков ведь всего лишь ангел.

Или отчего у ангела Дымкова никто не спросил: какой Он, Бог?

Пусть бы ангел рассказал людям земным!

Или Бога, в отличие от модели вселенной, палкой на снегу уже не нарисуешь?

...Но и об этом никто не спрашивает.

О. Матвей неустанно размышляет о Боге, но само присутствие Бога в «Пирамиде» не ощущается вовсе. Есть дьявол, есть заплутавший и запутавшийся ангел, есть люди, погрязшие в слабости и ничтожестве... И постоянное, тайное, непроговариваемое вслух чувство пустого неба над ними.

В этом контексте важна сама история, как о. Матвей решил стать священником — о чем он однажды рассказывает сыну Вадиму.

«То ли по болезненной затруднительности речи, то ли из опаски рассердить сына, — пишет Леонов, — только о. Матвей не сразу ответил, что ему была показана **бездна**. Произнесенное слово подразумевало вечное, с мистическим оттенком, вертикальное падение <...>. На повторный вопрос: что за **бездна** имеется в виду и что там прежде всего самое характерное бросилось в глаза отцу? — тот сказал, что ничего особого не бросилось, так как наблюдал ее лишь снаружи и без следов какой-либо внешней необычности».

Бездна, по-видимому, является синонимом ада — и пусть его обычность никого не обманет: так же обычна была достоевская банька с пауками.

Выходит, что будущий священник решил прийти в Церковь не столько в уверенности о всеблагом и милостивом Господе, но, напротив: заглянув в ад, в обычную — и оттого еще более страшную! — пустоту.

И засасывающая человечество пустота эта с каждой страницей «Пирамиды» становится все более навязчивой, безысходной, всеобъемлющей.

О. Матвей ни разу не молится Ему. Кажется, он вообще забыл, что такое молитва, разуверился в ее смысле. Он — священник, почти растративший веру, опустошенный не столько даже жизнью, сколько собственными навязчивыми сомнениями.

В силу этого дух его становится все слабее и слабее, все более о. Матвей подвержен искусу, все чаще свершает вещи, никак не соотносимые с его саном.

Книга начинается с того, что о. Матвей «из малодушной боязни разгневать хозяйку» не оказал посильную помощь многодетному, потерявшему всякие средства к существованию дьякону Аблаеву, принявшему решение за скромную мзду и обещание хоть какой-то работы прилюдно, в советском Дворце культуры, отречься от веры.

Более того, за день до аблаевского отречения, общаясь с дьяконом, о. Матвей в пустом храме открывает тому свою еретическую догадку о пришествии Христа. Согласно священнику, «оно действительно состоялось, сошествие с небес, во исполнение первородного греха... весь вопрос — чьего? Не потому ли, что вдоволь наглядевшись на горе людей, обусловленное их телесною природой, и порешился отец небесный предать палачам возлюбленного сына своего, чтобы испил чашу неведомого ему дотоле страдания нашего?»

Проще говоря, Христос не людские грехи искупал на распятии, но грех изначально виновного пред людьми Бога-Вседержителя!

Столь же еретично последнее напутствие о. Матвея дьякону о том, что «...сам Иисус будет стоять рядом с ним на помосте и совместно пригубит чашу горести его».

Разве ж устояло б в мире христианство, если б подобным образом рассуждали первохристиане, и вообще все те, что верили во Христа и под страхом смертной муки не отказались от Него?

Стоит вспомнить, как фактически изгнанный из собственного дома собственным сыном Егором о. Матвей на прощание советует остающейся с детьми попадье: «За хозяйством само собой приглядывай да парнишку сразу-то в хомут не впрягай, надорвется без одышки, еще мальчик <...>. А пуще о Дунюшке разум кровью обливается: такая за нас с тобой сердечко свое в омут житейский кинет. Помнишь, как Сонечка у Достоевского, вместе читали, синим огоньком сгорала без единого попреку! Телом своим прегради ей скользкую дорожку <...> На худой конец сама умертвися, прикинься, будто угорела, деток от себя облегчи. А Бога не бойся, он свой, войдет в твое положение, простит».

То есть это священник предлагает собственной жене свершить чудовищный грех — наложить на себя руки.

Апофеоза Матвеевы метанья достигают в дни его болезни. В горячке предстает ему гигантский исход народов, за которым наблюдает сошедший с фрески Христос.

И здесь, пишет Леонов, о. Матвей понимает, что в Христе не осталось ничего от пророка и сына Божьего, потому что он «вчистую роздал себя людям», «растворился в самой идее человеческой».

В видениях о. Матвея человечество уходит в неведомое, растворяется там, и Христос остается один... Один!

***

И здесь нам, наконец, стоит остановиться, и посмотреть на все несколько иначе. «Пирамида» имеет подзаголовок «Роман-наваждение».

Леонов не случайно так обозначил жанр своего последнего и самого важного романа. Он писал его полвека, у него было время подумать.

Слово «навада», как мы знаем, было спрятано еще в фамилии большевика Увадьева — главного героя романа «Соть». И уже там оно таило в себе изначальный свой недобрый смысл.

Буквально «наваждение» — это видение, внушенное злой силой с целью соблазна.

Слова о смерти Бога в романе произносит дьявол-искуситель. Апокалипсические картины будущего видит больная душевной болезнью Дуня. И даже видения о слабости Христа приходят о. Матвею в горячечном бреду.

Ничего не остается, как внять простейшей разгадке всего происходящего в «Пирамиде»: не стоит верить ее ересям, ибо это обманка, подлог, соблазн — сам Леонов нам об этом говорит сразу же.

Книга заканчивается описанием сноса Старо-Федосеевской обители, где и происходило основное действие.

Леонов пишет: «Столбы искр взвивались в отемневшее небо, когда подкидывали новую охапку древесного хлама на перемол огня. Они красиво реяли и гасли, опадая пеплом на истоптанный снег, на просторную окрестность по ту сторону поверженного наземь Старо-Федосеева, на мою подставленную ладонь погорельца».

Самоопределение «погорелец» может означать крушение веры Леонида Леонова: ангел, пришедший на землю сквозь дверь в Старо-Федосеевском храме, улетел в небо, сам храм снесли с лица земли, и стоит земля пустая, и посередь земли человек на сквозняке, не нужный Богу.

Однако можно вложить в определение «погорелец» и несколько иное значение: сгорела не вера, а навада.

Наваждение, так долго мучавшее человека, истаяло...

И, значит, есть Бог, и есть еще человек, сберегаемый любовью, благодатью и верой.

И, быть может, у нас еще есть малая надежда сберечь себя и свою землю.

***

С середины 1920-х книги Леонова выходили почти ежегодно (кроме нескольких сложных лет накануне и во время войны) в течение семи десятилетий. Многие романы выдержали свыше двадцати переизданий. И книги эти многие годы имели своих благодарных читателей, Леонову присылали тысячи писем.

Произведения его переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. Библиотека научных работ о Леонове — огромна, она в сотни раз превышает по объему написанное им и включает труды специалистов большинства европейских стран.

Влияние Леонова на всю русскую литературу глобально и не изучено во всей полноте.

Впрочем, что мы все о литературе и о литературе...

Понятно, что, по словам самого же Леонова, «биография писателя — это его романы»; но и о жизни этого писателя тоже есть что сказать.

Он прожил без малого век, и судьба его стоит вровень с этим страшным и небывалым столетием. Леонов в разные годы века бывал и очарован, и оглушен, но никогда он не был раздавлен и унижен настолько, чтобы опуститься до бесстыдства и подлости.

До последних дней он сохранил ясность рассудка: белый, сухой, как древнее дерево, старик, он многие годы строил свою «Пирамиду» и в 90 лет, и в 91 год, и в 92. Глаза стали слабеть — так он держал в памяти десятки телефонов своих редакторов и помощников.

Смешно даже вспоминать имя того самонадеянного остроумца, мимоходом сказавшего в одном из своих романов: «...хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове».

Смешно от того, что имя Леонова — самое неудачное из числа тех, что он мог бы выбрать для своего суесловного рассуждения. Те, кто Леонова называл своим учителем, — первые среди литераторов, ставших сутью и крепью литературы второй половины века.

Леонову посвятил Виктор Астафьев одну из первых своих повестей. Под благословляющим именем Леонова он начинал свой путь.

Учителем называл Виктор Астафьев Леонова, уже сам будучи стариком: хотя какие, вроде бы, в такие годы могут быть учителя! А вот могут...

Космической мощью Леонова восхищен автор нескольких воистину великих романов о войне Юрий Бондарев.

«Где сейчас, в каком пространстве гений Леонова? — спрашивает он. — Там, в других высотах, в неземных декорациях, вокруг него не очень многолюдно, так как из миллионов художников только единицы преодолевают границу для дальнего путешествия к потомкам».

Валентин Распутин, классик безусловный, говорил в дни юбилея Леонова: «Два великих события на одной неделе — столетие Леонова и двухсотлетие Пушкина. Это даты нашего национального торжества. Дважды на этой неделе вечности придется склониться над Россией».

Слышите? «Вечности склониться!»

А у нас есть другая возможность: привстать на цыпочки и в вечность заглянуть.

Что нужно для этого? Внимательно читайте Леонида Леонова.

Захар Прилепин

РАССКАЗЫ

БУРЫГА

В. Д. Фалилееву

I

В Испании испанский граф жил. И были у него два сына: Рудольф и Ваня. Рудольфу десять, а Ване еще меньше.

В средних еще годах профершпилил граф все свое состояние на одной комедиантке заезжей, а к старости остался у него лишь пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было. Тогда же жена графова от огорченья и померла.

...Вот живет граф в нижнем этаже, там еще хоть мебель осталась, а в парадных залах, наверху, живому не житье: крыша протекает, зимой топить нечем, — там графовы дедушки на портретах помещаются, им-то все равно. Сам граф на почте главным служил, ребята его испанскую грамоту учили, кухарка суп варила; так и жили.

Да пришел к ним в одном студеном декабре случай непредвиденный: пошла ихняя кухарка на реку белье полоскать, нашла детеныша-нос-хоботом. Вышла она к реке, глядит и видит — сидит в сугробе этакой мохнатенький, замерзает, видимо. Из-под рубашонки копытца торчат, а нос предлинный, нечеловечий нос, — ручонками он его трет.

Жалостлива кухарка была, руками всплеснула, головой замотала:

— Экой ты! Ведь замерзнешь!..

А тот поглядел на нее исподлобья да басом на нее:

— Ну-к што ж... обойдется!

Разволновалась баба, схватила детеныша в охапку, запихала под белье, домой пустилась опрометью... Всю дорогу детеныш из корзины трубел:

— Ни к чему все это, пустяки одни! Зря это ты, баба...

II

Принесла домой, отрезала ему хлебца с фунт, шубейкой накрыла, стала насупротив, удивляется:

— Откудова ты, экое дитятко? И не обезьяна и на дитенка не похож...

Урчит детеныш с набитым ртом:

— Мы не тутошние!

А сам ухватился за краюху, жрет, — только хвостик из-под шубейки вздрагивает. Был у него хвостик так себе, висюлькой, а рожки конфетками.

Тут вышел на кухню сам испанский граф самовар поставить, увидел детеныша, отскочил даже сперва, а потом на кухарку наступать начал:

— Этта что такое?.. Где такое диво выискала? Зачем он тут?

Стала кухарка сказывать:

— Как вышла я этто к реке, вижу, — сидит в снежке, ножонки поджал, замерзывает...

Гмыкнул граф, поближе подошел:

— Н-да! И нос у него, действительно.

Задумался сперва, а потом взял детеныша за нос, дернул слегка.

Заворочался детеныш, взъерошился, буркнул прямо в упор графу:

— Дурак ты, паря, чего привязался?

Дал ему граф за такие слова затрещину, но потом погладил ласково, спросил:

— Так вон оно как, даже разговаривать можешь... Тебя зовут-то как?

Протянул деловито:

— Буры-ыга!

И как вымолвил это детеныш, обрадовался граф, захохотал, как из бочки, посуда на полках запрыгала, канарейка

спросонья с жердочки свалилась, заслонка у печки грохнулась. И откуда глотка такая: сам никудышный, сквозь пиджак ребра видны. Хохотал-хохотал, да вдруг взугрюмился, боясь кухаркино уваженье потерять, показал бабе на Бурыгу, прикрикнул и настрого приказанье дал:

— Ты его мылом карболовым да с нафталинцем протри опосля мытья. Мы его в лакеи приспособим!

И ушел граф спать, про самовар забыл.

Весь вечер ел Бурыга кухарке в диковину, а Рудольф с Ваней весь вечер проспорили: настоящий это детеныш или так, только нарочно. И уж под самую ночь, когда все спали, а Бурыга лежа дожевывал четвертый фунт, притащили графовы ребята сигару детенышу, у отца стащили. Бурыга взял сигару, молча съел, причмокнул и сказал:

— Ну-к што ж, ничево! Приходите, когда не сплю, — расскажу кой-што там, бывалое...

Но тут замотал головой, втянул носом воздух, как насосом, и пронзительно чихнул. Ваня вздрогнул и вылетел из кухни стрелой, другой за ним. А Бурыга чихнул им вдогонку еще раз, зевнул и стал засыпать.

В кухне пахло щами, тараканами и карболкой. И уже спросонья мечталось Бурыге так:

«Э-эх, бруснички ба!..»

III

Хорошо жилось Бурыге в зеленом приволье леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку, оно свое там, знакомое. Там затянет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги... Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, клубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный — то земные радости плывут.

Выходит из своего логова детеныш Бурыга, — он летом в норке мшистой живет. Он спросонья на пни натыкается, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцом идет... Вот он сядет на прога-

линке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит,— жмурится и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет... А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд... Шесть их по счету, и весело им поэтому.

...А уж и вечер. Солнце спряталось, по небу обсосанная карамелька, луна, ползет. Тут и начало развеселой гулянке ночной.

Шагает Бурыга к старому лохматому пню, там живут его приятели и знакомцы — Волосатик и Рогуля. Волосатик, он и кругленький и мохнатенький, вроде как бы лешев внучек, гнилая осина мать ему, а Рогуля — полосатый, серое с зеленым, сухой да тонкий, как аршин, кривулинка на ножках. Он все больше насчет божественного любил: откуда свет пошел, кто лешему набольший, почему вода мокрая... Волосатик же покуролесить страсть любил, похихикать, Бурыга — бруснику.

...Как оденет влажный падымок озерки, зазвенят жалобно комариные клубки, — повалятся с дерев, как желуди, вылезут из-под земли, выскочат из пней, вышмыгнут из ерника болотники да окаяшки разные, нечисть лесная.

Вот крадутся по земле длинноногие и коротышки, взрачные и никудышные, гораздые и мразь. Уж они рассядутся по пням, по выпученным корневищам, облепит лужайки беспутная, срамная, нечистая чадь, — калякает по-своему лесное сонмище, игры разные как бы устраивают, а некоторые, срам сказать, на балалайках-самодельщинках трынкать навыкли.

Тут заурчит дурак-пугач, векша зашевелится в кустарнике; порскнет, пугаясь ночных кустов, заяц; шарахнется нетопырь — чертова игрушка. А в небе снова месяц стал — не карамелькой уж, а необычайным пером райской птицы. Тогда с тайной сладостью затенькает вверху соловей, и вдруг осторожный хруст за болотной топью сменится отчаянным смертным криком: то зеленоглазый окаяшка оседлал подвернувшегося зайца. Лихо идет по бору гул да уханье...

Но едва пролетит полночь но небу, тогда сразу куда что денется: комарье в болотную труху, окаяшки — кто

в землю, кто в воду, под желтые купавки уйдут, а кто зацепится железной когтей за сук, да и провисит так до завтрашнего вечера на манер осиного гнезда.

Бурыга уж и спит. Уткнул нос-хоботом в трухлявую прошлогоднюю листву, дрыгает во сне ножонками, а из носу у него свист и пар: ни одна букашка бесприютная или загулящий жук-фуфыра не решатся пристроиться на ночлег в Бурыгином носу.

Идет по бору зеленый храп. Качаются сонно багуны да лютики. А из-под красных козырьков мухоморы угрюмо смотрят: шесть их по счету, никто их не видит, и обидно им, и не спится им поэтому...

IV

Осенью развешивал вечер по небу мокрые тряпки, выжимал насухо, и из них шел на землю серый скучный дождь.

Давно уж на бору оталели бусы рябин, отшуршали краснолистые осины, примета: лесной твари спать.

Рогуля лазил на зиму в самое болото, в зеленое нутро, в теплую тинку туда мороз не дощупает: сидел там, размышляя всю зиму о таинствах естества божья. Волосатик у знакомого медведя в берлоге угол снимал, а Бурыга все бродил по лесу, ждал, не выползет ли солнышко. Солнышко не выползало, а заместо него карабкались по небу мокрые тучи.

Пробовал Бурыга шапку-непромокайку из старого воронья гнезда смастерить, да только вышло из этого огорченье одно: дожди шли сильные, а в том вороньем гнезде черноголовые мураши жили... Бродил по лесу.

А тут по лесу бродить нельзя: на Ерофеев день, на волчью свадьбу, уставлено нечисти пропадать. В ту пору ходит дед по бору с дубиной, а в самом скука, и сам весь всклокоченный. Ему попадись тогда под руку, он тебе либо хребет перешибет, либо доведет до смертной икоты.

А Бурыга вот ходил, хныкал, спрашивал заблудную ворону, не видать ли где солнышка; каркала ворона, а Бурыга воронья-то языка и не знал... Да если б и знал, не легче б было!

И уж когда пропадала совсем вера в нем, залезал в дупло незанятое и ворочался там без сна всю зиму. Точила его тоска, да и холод на бору не тетка!

V

Зато весной, бывало, на бору-то не наглядеться! Развертывает по снегу алые ленты весна. Радуется дерево солнцу, земля проталинкам, душа весне...

Да вот не дождалось раз весны такой озорное племя, пришло горе горькое. Однажды утром громко запели топоры, они хряснули весело сизыми ладонями, они пошли гулять-целовать: куда поцелуют — там смерть. А еще тем же утром жестокими зубьями заскрежетали пилы, загрызли громко, запели звонко, — не замолишь слезой их лютого пенья. Встал на бору железный стон.

Всполошились окаяшки, да уж тут что поделаешь! Зимой другого жилья не сыщешь, против железа не забунтуешь; смирись, подставь глотку под синие зубья, молчи.

Выскочил Бурыга из своего дупла сохлым листом, шмыгнул в орешину никто не видал, помчался в дедову берлогу.

— Дедь, а дедь... Там лес рубят, там топоры пришли...

Безволосыми ресницами заморгал старик:

— Какие такие топоры? Ничево, милачок. Вот я их ужо, вот я им покажу...

— Да што уж тут показывать... Идут, завтра здесь будут!

— Завтра, говоришь? Пущай, милачок! Вот я их ноне ночью и попужаю...

Успокоенно пробурчал Бурыга:

— Дедь, так я уж у тебя здесь ночку посижу, а?

— Сиди, милачок, сиди.

Пошел ночью дед лесорубов пугать: захохотал страшно, гугыкнул дважды, вдарил оземь прелым осиновым пнем, чтоб треску больше было, на четвереньках пробрался к прорубям. Глянул из-за орешины — затрепетал весь: там затоптана сапогами лесорубов высокая лесная папороть, полыхают веселые костры, дремлют возле них

усталые топоры, а ребята похлебку варят: на поверженных березах в кумачовых рубахах сидят, поют. И песня их, с дымом мешаясь, по земле стелется. Лежит любимая дедова береза по земле, лежит, как зеленая лесная хоругвь.

Постоял дед, поморгал глазами, понял, что уходить надо: парни — в плечах сажень, любой с удару сосну собьет. Побрел дед обратно, а завидел детеныша — проскулил ему жалобно:

— Беги, милачок, куда знаешь, а здесь ноня не житье нам боле, беги-и!

Поворчал Бурыга, и в ту же ночь разошлись они в разные стороны: пошел дед к своему племяннику — тот лешим в соседнем бору состоял. Была у него в котомке страшная святочная харя — про всякий случай, паспорт на имя какого-то Мокея Степанова, с подписями и приложением казенной печати — не подцарапаешься, а на самом армячок мужицкий.

А Бурыга бродил-бродил, вышел на деревню. Та деревня, Власьев Бор, невелика, да в ней люди добрые проживали.

VI

Жила-была на деревне бабка-повитуха, люди Кутафьей звали. Про нее разное сказывали: она-де зла может принесть; она-де девку присушит — кости из кожи, как пух из перины, вылезут; она-де, ежели в ссоре с кем, так и килу может, и хомутик подкинуть сумеет — станет не человек, а безногая кабацкая затычина. Только неправда все это: Кутафья — добрая бабка. У ней в красном углу Неопалимая висит, и всегда перед ней лампадка оправлена; у ней в красном углу и страстотерпец есть такой, что от тридцати трех болезней помогает, и пузырек с ерданской водицей, из Святой земли привезен.

К ней и забрел Бурыга по снежному первопутью: забрался в клеть, в комочек свернулся, сидит-повизгивает. А Кутафье и снадобилось, как на грех, туда по делам пойти. Вошла бабка и застыла — холодной водой по спине: сидит мохнатый, кто бысь — не видно, визжит да словно бы топорище греет. Старуха к нему:

— Ты что это, супостат? Ты по каким таким делам по чужим клетям таскаешься? Эка, уж не обворовать ли меня, бабку, вздумал?!

Бурыга зубами стучит.

— Я, — говорит, — сдыхать к тебе, бабка, пришел.

Видит бабка — не вор, значит — добрый зверь.

— Да ты кто таков, чем займаешься?

— Да вроде ничем! Оттудова мы, из лесу. Лесные...

Бабку недоумок взял:

— Ну, ладно. Холодно мне с тобою растабаривать, подь в избу, там столкуемся!

И впрямь столковались. Вымыла его бабка в бане, чтоб избу не поганил, дала ему мужа покойного валеные, картуз дала мужнин вроде рукомойника. Стал Бурыга у бабки жить, на полатях спать, стал Бурыга словно бы деревенский мужичок.

Кутафье занеможется — детеныш в зимнюю пору и за дровами на огород сходит, и воды принесет, и курочку у соседа скрадет для хворой бабки. А людям и невдомек спросить, что, мол, это у тебя за дитенок, Кутафья, объявился. Думали все — внучек порченый.

Бурыга на Власьевом Бору обжился, иной раз и на девичьи вечерки хаживал. Придет, встанет в угол от ребят порознь, глядит исподлобья; девки его за блажного считали, насмехались все: над блажным посмеяться — тебе не грех, а тому души спасенье. А одна девка, Ленка, — вот насмешница:

— Выходи, — смеялась, — за меня замуж, Бурыга... Ой, я тебя в жаркой баньке попарю, спать с собой положу, а любить-то я тебя как стану-у...

Ворчал Бурыга себе под нос, оглядывал Ленку с головы до пят, — Ленка крутобедрая, парни зубами лязгают, — трубел хмуро:

— Врешь ты все! Не будешь ты меня любить, не за што...

А Ленка пуще изгилялась, в самые глаза Бурыгины заглядывала:

— Да я уж и ума не приложу, как тебя замуж-то взять... Уж больно целоваться-то с тобой неспособно, ты мне своим носищем все глаза повыколешь!

Сопел.

VII

Да вот что потом случилось.

Приехал на масленой в деревню Власьев Бор барин-брюки-на-улицу, при часах и штиблетах, в руке заграничная палка, толстый, из города. Приехал-то он по делам: к Семёну Гирину лес торговать, а Бурыга, как на грех, по воду о ту пору и шел. Увидел его барин, смекнул в башке, помчался в Кутафьину избу, пристал к бабке как банный лист. Уговаривает бабку, в лицо ей винищем так и разит:

— Он что, внучек тебе, што ли?

— Внучек, батюшка, внучек.

— Врешь, бабка, — энтот экземпляр не человечий... Ты мне продай, бабка, детеныша! Человек я хороший, ему у меня неплохо будет. Буду его колбасой кормить, научу на велосипеде ездить, буду людям за двугривенные показывать... Продай, бабка, тыщу не пожалею.

Бабка и туда и сюда; и жалко, и как будто ни капельки: все одно к лету сбежит, а барин из себя важный, да и тыщи на полу не валяются. К тому же, скажем так: давно хотелось бабке для праздников платье такое иметь, — чтоб шурстело, и в горошек коричневое.

— Что ж, — сказала, — возьми, не нехристь же ты, кормить-поить станешь... Да только мало уж очень, сынок, тыщи-то, пожалей старушку, прибавь три рубли.

Барин тут гоготать взялся. Прыгает у него на грудях золотая цепка, брюхо, того гляди, из-под жилетки вывалится. Достал барин портмонет, отсчитал сто рублей копейками, благо, старуха неграмотна, а от доброты еще три рубля прибавил и за сговорчивость полтинник дал.

Расцвела Кутафья, помогает барину в мешок Бурыгу укладывать, а тот было отбиваться стал, барина зубами за варежку. Зашипел барин:

— Я вот тебе, чертище...

Дал детенышу под микитки, тот и стих: много ль безродной окаяшке надо!

Просунул барин в мешок хлебца краюху, чтоб с голоду детеныш в дороге не подох: сто три с полтиной — деньги не малые, швырнул мешок в сани, погоготал еще по-жеребиному и уехал. Даже у подрядчика не побывал: заспешил с чего-то барин.

Долго потом тосковала Кутафья, что за Бурыгину кофту придачи с барина не взяла.

VIII

На станции переложил барин Бурыгу из мешка в чемодан, еще хлебца дал, ключом защелкнул, залез в вагоне на верхнюю полку спать.

Всю дорогу зверем храпел. Поспит, проснется, просунет руку в чемодан, дернет Бурыгу за нос сонного, а то и ногтищем в нос прищелкнет для собственного удовольствия, и конфетку даст.

Было в чемодане душно, но было и еще кой-что: прямо в живот Бурыге уперся железной своей головой граненый флакон и как будто насквозь Бурыгу хотел проткнуть. Но детеныш надувал живот, и флакон нехотя отодвигался в сторону. Тогда свирепела щетка, бывшая у Бурыги в головах, и всеми своими тонкими иглами, как шильями, впивалась в Бурыгину шею. Бурыга огрызался как мог, плакал тихонько и закусывал корочкой.

...Барин из пролетки вылез возле большой деревянной коробки с облупленной вывеской и строго глянул на извозчика. Тот виновато поморгал рыжими глазами, стыдливо почесал кнутовищем лошаденкину спину и вдруг лихо выбросил:

— Двугривенничек!

Барин молча протянул ему фальшивый четвертак и важно прошел в подъезд. Человек, сидевший за конторкой, дважды сложился ножиком и благоговейно застыл. Барин грохнул чемодан на прилавок — флакон и щетки сразу напали на детеныша! — и проговорил с достоинством:

— Гривен за восемь...

Ножик зашипел, подсовывая грязную большую книгу:

— Распишитесь... фамилию-с!

Барин расчеркнулся: Гейнрих Бутерброт... и, уже уходя, бросил к вящему ножикову недоумению:

— Пришлите самовар и таз!

Войдя в свой номер, он неторопливо распаковал детеныша, налил из самовара в таз кипятку, вкось пощурился на сжавшегося в углу Бурыгу и сказал хмуро:

— Мыла-то вот и нет у меня... Ну, да ничего, я тебя, тварь, и щеткой славно обработаю!

У Бурыги при тех словах шерсть шишом встала. Но барин, не теряя времени, сунул его в кипяток и принялся тереть головной щеткой.

Щетка восторженно заходила по Бурыгину телу, неожиданно прыгала с детенышевой ноги прямо на шею и там оставляла свой свирепый след. Потекло с Бурыги родное, зеленое, а барин отдувался, скоблил разными острыми предметами Бурыгины копытца, сопел сильно, утешая изредка:

— Ничего, чертище, потерпи... на человека зато похож будешь!

Уж он рассердиться собирался, лесной детеныш, но тут кончил Бутерброт, снял простыню с кровати, вытер истово Бурыгу насухо. Слиплась мокрая шерстка на детеныше, согнулись зябко коленки, хвостик понуро повис. Оставил его барин, за котлеты принялся, ел их, широко открывая беззубую пасть, — зубов у него было всего четыре, и то спереди только, для видимости. Бурыге же снова хлебца дал.

Вечером барин Гейнрих Бутерброт спрыснул Бурыгу одеколоном, запер в чемодан и повез в цирк. А Кутафьину кофту ножику отдал:

— Старьевщику продадите — можете себе взять. В наши, — говорит, — дни и гривенник деньги!

IX

Вот дела-то: Бурыга — человеком стал. Его портрет на бумагу пропечатан, и сам он уж в сюртуке ходит, волосы бобриком стрижет. Но серыми мутными утрами, когда зашевелится в бесьем сердце лесная тоска, ворует он рюмками у Бутерброта коньяк.

А Бутерброт разбогател: себе в пасть золотые зубы вставил, а мог бы и брильянтовые, да отсоветовал один там: непрактично, говорит. Купил машину самоезжую и парня в шубе к ней, купил шляпу ведром. Разбогател Бутерброт, собирая двугривенные за Бурыгин позор...

Беда Бурыге! По утрам вертел его барин так и сяк, пока у детеныша зеленый пот не проступал, а вечером

Бурыга сам уже привычно лез в чемодан и защелкивался изнутри ключиком.

...В цирке сам Борис Исакыч Меер выводил Бурыгу вместе с рыжим клоуном Осипом Иванычем на арену: там ждал их подсобный малый с лицом истязателя. Он ловко швырял Бурыгу с подкидной доски вверх на трапецию, а Осипу Иванычу одновременно совал в нос щепотку белого порошка, от которого плохо видели глаза и страшно чесалось в носу. Бурыга кривлялся там, наверху, а Осип Иваныч ходил, припрыгивая, по арене и мучительно чихал под оглушительные аплодисменты публики.

Бросали иногда Бурыге конфеты и яблоки, — их тотчас же за кулисами съедал Бутерброт, а однажды какой-то жизнерадостный мальчуган швырнул Бурыге апельсин и попал ему в нос. Бурыга и на это проговорил хрипловатое, увесистое «мерси», а ночью поплакал от обиды.

Вскорости Бурыге совсем конец пришел. Цирковой мучитель был выпимши и не сумел дошвырнуть Бурыгу до трапеции. Детеныш лепешкой ударился об песок, и его на руках унес за кулисы Осип Иваныч под безудержный хохот весельчаков.

Когда нес его клоун, — Бурыге было очень больно везде, — они глядели друг другу в глаза. На них в свете ярких ламп смотрели тысячи зорких глаз, и никто не заметил ничего; их слушали тысячи длинных ушей, и никто не услыхал ни слова из того, что говорили эти двое скоморохов друг другу. А они говорили вот что: — Я тебя ужасно полюбил, Бурыга... — И я тебя тоже, Осип Иваныч... очень! За то, что уж больно ты на нашего брата, лесного, похож.

Сломаться в Бурыге было нечему: костей в проклятиках не бывает, но Бурыга наутро не встал. Барин Гейнрих Бутерброт был в отчаянии, барин Гейнрих Бутерброт рвал себе волосы на висках, — на других местах не рос у него волос... Барин Гейнрих Бутерброт хотел с горя в запой удариться, но тут подошло ему избавление.

X

Заехала совсем случайно в тот самый городишко одна испанская купчиха. Муж-то ее еще год назад выиграл на билет двести тысяч и помер от радости, а купчиха постави-

ла на мужа памятник, стала жить да поживать, деньги проживать, кататься в полное свое развлечение по белу свету. Везде побывала баба, все главнейшие вавилоны объездила.

Давно уж она сердцем беспричинно тосковала, а как увидела Бурыгу, детеныша-нос-хоботом, так и вострепетала вся. Ворвалась к Бутерброту через неделю после Бурыгина падения, с ножом к горлу пристала, — так ей захотелось Бурыгу себе заладить:

— Продай ты мне, купец, детеныша... Возьми сколь душе твоей угодно, а доставь мне такое полное удовольствие!

Бутерброт заломался сперва:

— Помилте-с, — возразил, — он мне, можно сказать, как сын: в одной кровати, можно сказать, спим... из одной тарелки кушаем!

На дыбы взвилась купчиха:

— Ах, нет, нет! Уважь ты меня, господин!.. Я его наукам обучу, человеком в свет выпущу, доброе дело сделаю за мужнин упокой!

Бутерброт рожу скривил: в душе-то он и сам был не прочь от детеныша избавиться, — хлопот больно много стало с ним: то ученые приезжают, мерку с Бурыгиной головы снимают, через телескоп на него глядят, то газетчики оравой наедут, пристанут с расспросами: «А может ли он по-французски разговаривать, а может ли гвозди есть...» — страх!

Чавкнул вставными зубами Бутерброт:

— Мильон... — Да испугался, что купчиха так уедет. — А с вас только пять тыщ возьму... Извольте адресок и задаточек, — упакую-с и пришлю-с.

Купчиха ему все деньги сразу выложила.

— Твой, — говорит, — товар, мои деньги: получай за наличный расчет.

Рассовал барин бумажки по карманам, надел шляпу ведром, поехал деньги пропивать.

И Бурыга уж у купчихи выздоровел.

XI

Не все же по заграницам шататься, пора и домой: отправилась купчиха в Испанию. Тут множество она неприятностей вынесла: у Бурыги паспорта своего не было, а за

сына родного его принимать непригоже купчихе, — засмеют земляки. Пришлось за Бурыгу заплатить дорогую пошлину, как за продукт иностранного производства.

Ехал детеныш в теплом ящике, закутанный в одеяло, которое купчиха взяла на память при отъезде из гостиницы, по испанскому обычаю.

Ехали-ехали — и приехали.

Дома у купчихи стал детеныш Бурыга третьим: первой была купчихина комнатная моська Аннет, с человечьими глазами, вторым попугай Зосима, которого покойный купец в свободное время обучил ругаться неприличными словами. Бурыга же третьим стал.

Кормили у купчихи плохо: утрами к зеленой бархатной подушке, где выздоравливал Бурыга, приносила горничная крохотную чашечку кофию и просвирку за упокой купчихина мужа. Бурыга съедал это немедленно и немедленно же принимался за поиски съестного в купчихином доме: крал пищу у попугая Зосимы, выпивал масло из лампадок — у купчихи их до сотни висело, жевал купчихины валенки под диваном, а однажды стащил втихомолку с кухни три с половиною фунта ядрового мыла. Окаяшке все на подхвате давай сюда. Бурыга все ел, и все ему было мало.

Но как только он насыщался, тут и начинались его смертные муки: выходила купчиха обучать его разным наукам — арифметике, географии, закону божью и всякому глубокомыслию, от которого тоскливо коробилась кожа на лбу и уныло морщилась бесья душа.

И думал тогда Бурыга:

«Куда уж Рогуля премудрость любил, а и то сбежал бы... Ей, сбежал бы!»

XII

В яркий день на зимнего Николу — в Испании и по воскресеньям мороз щиплет! — вышла купчиха на урок в розовом капоте. Волосья у ней на голове, смирившись под деревянным маслом, дорожками пролегли, а на затылке были так туго заверчены, что вот-вот масло с них закаплет.

В тот день вселилась радость в купчиху: обещал к ней главный испанский архирей приехать. Третьевось у обедни насчет Бурыги ее расспрашивал и так высказался: «Наслышан я об вашем, с позволения сказать, детеныше... Непременно нужно его, знаете ли, в испанскую религию привести, а потом в лес пустить: пущай он и там нашу веру разводит». А купчиха так и расцвела усердием послужить своей испанской вере.

Вот вышла она к детенышу, села на стул, стала молитвы спрашивать. Прочел ей Бурыга испанскую «Богородицу», рассказал ей про тамошнего чудотворца, что по морям пешком ходил, — отчетливо рассказал; не удержалась купчиха и погладила его по шерстке, по головке. Погладила, да и нащупала бесьи рожки... Посинели тогда купчихины щеки, волосья поднялись из деревянного масла, а из глотки такой полоумный визг выкатился, что стало вдруг детенышу не по себе. Посмотрел он исподлобья на купчиху, и не стерпело окаяшкино сердце, — расшеперился проклятик, боднул и разок и другой купчиху, хотел перестать, да уж размахался очень: и по третьему разу боднул.

Завизжала купчиха, как немазаная дверь, затявкала шавка эта ее несчастная, зубами в Бурыгину ногу вцепилась... суета поднялась... И пока поили нашатырным спиртом обезумевшую хозяйку, удрал Бурыга в одной рубашонке, как был, из купчихина дома.

Верст десять с воем бежал, копытца в снегу вязли, нос туда-сюда мотался, да наконец силы не стало: повалился в сугроб у реки замертво. Тут его и нашла графская кухарка.

А купчиха в тот же день два водосвятных, один за другим, молебствия отслужила — по случаю избавления от беса.

XIII

Готовился граф к именинам. Неизвестно, когда его свят-ангел по испанским святцам, а только Бурыга заранее по суматохе догадался.

За неделю стал граф к празднику готовиться: пирог испекли в сажень, колбасы корзину целую купили; сам

граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах настаивал.

К тому времени не столько во избежание простуды, а забавы ради сшили Бурыге мундирчик с эполетами из валявшейся на чердаке попонки, — совсем шутяка гороховой масти стал. Вот наступил торжественный день. Пришел графов дядя, лысый старикан под названием Иван Сергеич, прикатил испанский архирей со свитой, прибыла та испанская купчиха, соседка графова; притащилась одна глухая барыня и невест с собой привела: две дочки как бочки, а третья сухая черная загогулинка в кисейном платье... И другой мошкары уйма налетела.

И пошло среди них веселие отчаянное: развалились гости на диванах, пьют наливки, колбасой закусывают, лимоны чисто репу жрут. Сам граф вприсядку поперек квартиры ходит, лимонад и наливки бутылками гостям раздает, былые времена раздольные вспоминает.

— Пейте, — говорит, — пейте, пожалуйста. Упивайтеся заместо вина, для здоровья! А я вам тем временем сюрприз подготовлю!..

Собирался граф одним секретцем своих гостей подивить, показать им напоследях детеныша-нос-хоботом.

А как подошло то время, — гости песни орут, архирей шатуном меж столами бродит, — снарядил граф Бурыгу подносом, на поднос бутылок наставил, выпустил его через дверь на середину. Трется нос о поднос, идет Бурыга.

И вышел он посередь, да как завидел купчиху — грохнулся поднос о пол, на полу винное море, по нему стеклянные острова пущены.

Купчиха-то и не разобрала спросонья, с чего грохот пошел, на голову она слаба была, а граф рассвирепел: вытащил Бурыгу за дверь, там ему потасовку смертную дал и в заключение ногой пристукнул.

С этого Бурыге болезнь пристала.

XIV

Лежит на кухне под кроватью, половиком накрыт, детеныш-нос-хоботом: лежит — сопит, в нутре искры шипят, в голове смолу варят, из ног нитки тянут: граф

ему главную жилу надорвал. Дает кухарка Бурыге огуречный рассол пить, да ведь только рассол против отбития и перешибу не помогает.

Лежит Бурыга, и идет от него по кухне тяжелый дух. Скучно ему так лежать, нет-нет да и выползет на середину, на солнышко... Тут и быть беде: вошел граф неслышно на кухню, — у него к ногам резина приделана, — вошел и увидел Бурыгу.

Зашипел испанский граф, зубами так и хрустнул, — глазом вертит, руками машет — стал кухарке так приказывать:

— Выкинь его за ворота, там его подберут... Или нет, ты его лучше завтра утром соседу в колодец брось! — У графа с соседом давние нелады были.

Накричал, вышел и дверью шибанул.

Заплакала было кухарка, но снизошло на нее тут просветление: снесла кухарка Бурыгу в конуру к Шарику. Графского распоряжения ослушаться не смогла баба из боязни потерять место.

Шарик же был пес сторожевой, бывалый зверь, усы у него седые. Шарик кухаркин первейший друг, к нему и поселили Бурыгу.

И подружился детеныш с Шариком, делились они костями и спали вместе, как родные.

Тогда зима еще не кончилась.

XV

Раз — в Испании февраль свежи случаются! — одна ночь холодна была. Спали весь день два лохматых в собачьей конуре, друг дружку грели, — ночью на двор вылезли.

Луна в небе, звезды к краям ползут, — ночь глубокая. Посидели дружки на синем снегу, на луну повыли в голос, а потом домой вернулись, залегли, укрывшись старым лоскутом, — кухарке доброе здоровье.

Вздохнул Бурыга, стал Шарику свои странствия рассказывать:

— Происходим мы из лесу, откуда сюда солнце приходит. Кроме меня, еще Волосатик там жил, а с нами еще

один — Рогуля... И жил в том бору один старец справедливый, Сергий, — он бога славил и всю земную тварь любил. Раз в зиму одну... а у нас зимы лютые: там утром примерзнет солнце к самому краю земли и встать не может, темь весь день! — раз в ту зиму, — некуда нам деваться, теплин ни одной не было, — мы и залезли к старцу в трубу печную, там и проживали. Знал это старец и молчал, и оставлял иногда нам, как бы случаем, на шестке то хлебца корочку, то щец в плошке, а мы и сыты...

Да вот пришла Волосатику пустая блажь — старичку тому табачку нюхательного подсыпать. Посмеяться и мы были не прочь... А старец, надо сказать, строг был: блоху жалел, себя же еженощно терзал по-разному.

Откудова достал, не знаю — и посыпал Волосатик табачком старцеву просфору... Затихли мы в трубе, ждем. А Волосатик мне хвостом ноздри щекочет, смех меня разрывает...

Тут мы слышим вдруг чихание и гневный клич: «Ты, говорит, Волосатик, сгоришь золотым цветом на Иванов день. Тебя, говорит, Рогуля, зашибет дед на Ерофея до смерти. А ты, — это мне-то он говорит, — Бурыга, с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле сдыхать, — не сдохнешь, но завоняешь...»

Вот как вышло. Нету теперь моих приятелей... один я, да ты у меня.

Завздыхал Шарик, душа в нем не по-людскому отзывчивая. Думает Шарик свои думы, Бурыга свои... Тепло в конуре, шерсти много.

А за конурой идет бледная луна, остановилась синяя ночь, звезды по небу, повыть охота!..

XVI

Раз как-то в начале марта случилась такая же пронзительная ночь.

Лежал-лежал детеныш да повернулся к Шарику, взглянул на друга — и как взглянул, так в самом дух и замер:

— Шарик, а Шарик...

— Ну, чево тебе?

А Бурыга замолчал. Потом опять:

— Шарик...

— Да чего тебе, право, не лежится?

— Я, Шарик, домой собрался... туда!

У Шарика под сердце подкатило:

— Зачем тебе туда?

— Не то у вас тут, у нас лучше... Тебе, Шарик, не понять. Я туда пешком пойду.

Опять оба замолчали.

...В небе синяя ладья. В ладье той плывут неведомые сны, по земле цветут синие снежные цветы, — кто Хороший посеял вас?

Только здесь Шарик с ответом собрался:

— Ну что ж, валяй... Оно ведь как, у каждого свое влеченье сердца!

И спиной повернулся к Бурыге. Потому и повернулся, что не хотел показывать свои собачьи слезы.

Бурыга спросил обеспокоенно:

— Ты с чего это, Шарик?

Проскулил Шарик грубо:

— Так это, пустяки у меня... видать, от старости.

В эту ночь они в последний раз на луну сообща повыли. Больше лун не было, — крались исподтишка по небу сырые низкие тучи, караулили весеннее солнце.

И однажды собрался.

Март на исходе, — у Бурыги в тряпку кости завернуты, хлебца кус там же, на самом кофта ватная старая — кухаркин подарок. Добро вам, три добрые!

Постояла кухарка на крыльце, поглядела на окаяшку, прошептала жалостливо, как молитву:

— Ну, ступай!.. замерзла я тут с вами. Да смотри под машину не попади! Эка нескладный зародился...

И ушла.

Подсел Бурыга к Шарику, лизнул его тот в носхоботом и опять спиной повернулся: собачьи глаза слез не держат.

Вышел Бурыга за калитку.

И опять в небе ночь была. Она шептала молитвенно вниз:

— Ступай, Бурыга, ступай... Я тебя, где нужно, в тьму закутаю, где нужно — на крыльях пронесу, — ступай.

...В ту ночь до утра выл Шарик на дворе. В одиночку выл, вытянув в небо круглую свою глупую волосатую морду... И выл и выл, не давал графу спать, не давал тишине землю сном окутать...

Понятно: собачья тоска — не фунт изюму!

Так дед Егор из Старого Ликеева рассказывал.

Январь 1922 г.

ДЕЯНИЯ АЗЛАЗИВОНА

Г. А. Рачинскому

На средину нескончаемого бора пришел шесть годов назад о дождящую осеннюю пору рослый детина, нестарый мужик, Ипат. На нем был черно-мурый кафтан под кушаком, был сам он видом лих, а ликом ряб, в бороде же нежданно пробегла седина. И были еще двадцать пять с ним, таких как он, отчаянных, а меж ними Гараська-ясаул, буявый крепыш, за пазуху баран влезет.

Допрежь вышагивали с кистенями да с песнями столбовые дороги, обдирали проезжих, вычесывали подчистую случайных незадачных людей, обрабатывали купцов на скорую, немилостивую руку: лошадей под уздцы, купцу нож и вознице тож, чтоб языком не сболтнул глупое слово в мимоезжем кабаке. Тем и проживали, покойно и весело,— место широкое, а нож остер.

С ними тогда случай случился. О неверную рассветную пору вытряхнули из возка богатого купца, полоснули без писку, заглянули, а в возке баба барахтается, купцова жена. Светало, спешили, а баба окричала попусту душегубами Ипатовых робят.

А был во хмелю Ипат. Шибануло ему винным паром в голову, надвинулся на бабу растопыркой, гаркнул по всю грудь:

— А ты, непутная, встречного молодца не отведав, не хули!

Вдарил ее наотмашь ножом, глухим концом, сердце вон вышиб.

Тут робята розняли на ней кохту, — бабы-де, золото на грудях прячут, а там, увидели, образок небольшой расколот разбойным ножом. Новгородский Нифонт,

попалитель смущающих, на нем. Распался его взгляд надвое, и обе закосившие половинки того взгляда нелюбно в Ипата глянули.

Словно взнузданный затрепетал Ипат:

— Коней-то в овраг поставьте, ино пригодятся еще...

Да и не договорил.

А ночью у них пьяней пьяного гульба была. Жрали убоину, пели гулкие гулевые песни у трескучих костров. Потом спать пошли.

Вот спит Ипат, — Ипатовым храпом зайца насмерть запугать возможно. Гараська рядом носом воздух чешет. Тут в сонном явлении предстал Ипату Нифонт. Не зажил еще ножовый след на лике его, полыхает гнев из разрубленного взгляда.

— Отступлюсь от тебя. Тебе без меня на бору крышка!

Сказав так, тряхнул ризой, исчез. Повернулся Ипат на другой бок, захрапел пуще прежнего. День как день, прошел и нет его. Пели птицы, шумели сосны, — день. В ночь другую сызнов явился Нифонт к Ипату, еще грозней стал. Брызжет огонь из глаз, а слова его тяжелы, как камни:

— Уйду отселе. Отрекусь от того места, где ты!..

Заворочался на койке Ипат, поныло сердце. Однако, полежав да Гараськин свист носовой послушав, натянул тулуп на голову, заснул.

Днем сумрачен был. Шел бором ветер с севера, к земле прилегали кусты, а в небе трясла осень сито с водой. В третьем сонном явленьи лишь перстом погрозил мизинным Нифонт Ипату, дверцы теплины в размах захлопнул, ушел.

Скочил Ипат в холодном поту, не до сна стало. Замерещилась по углам теплины его беспятая разная тварь — супротив нее кистень не выстоит. Сбудил ясаула Гараську:

— Я, Гарась, три ночи маюсь, для четвертой во мне и места нет. Сзывай робят в круг!

Собрались, заспанные, вкруг костра все двадцать пять. Метнулся Ипат на средину, швырнул на пень шапку да кистень, объявил тихо:

— Конец, робята. Когда козыри все выйдут, так без козырей какая игра? С Нифонтом у меня с той поры, как

бабу стукнули, врозь пошло. Мне теперича дорога под черный кафтырь, ухожу завтра. Кто со мной — становись сюда. Кто в мир — бери хламья, сколько в подъем возьмешь, забывай Ипата, незабытое забывай!

Робята втихомолку смекать стали, а Ипат дальше вел:

— Примечено у меня место одно, на возгорьи тихом, у мочагов. Там скит поставим. Не неволю, робята: кафтырь не брачный венец, молиться — не с бабой спать, вот...

Не удивленье ли! — все двадцать пять туда стали, куда Ипат указывал. Знали Ипата. Любили, как отца: с Ипатом ночь не в ночь, с Ипатом огонь не в огонь, а кафтырем какому не любо прошлые дела прикрыть? Усмехнулся Ипат, радость как бы крыльями его помела, сказал:

— Все со мной? Когда так, нам попа надоть. Без попа наше моленье, как без кнутовища кнут. Нам попа след! Ты вот, Анфим, да ты, Иван,— вы скачите на купцовой тройке в Коноксу. Как Деркачевски яруги минете, оттоле берите все правей восхода. А в той Коноксе, там есть поп Игнат. Дурень он и пьянец великий, но чином удостоен. Его и привезите, хоть силком. А мы его всей ватагой во врата райские протащим за то.

Поскакали, глухо звякая подвязанным бубенцом.

В ту ночь напоследок гульба была. Песни в ту ночь отчаянней были. Пустела круговая до дна, а сердце досуха. Тем Ипат себе кончину справлял, Сысоево рожденье праздновал.

Двум медведям в одной берлоге, двум попам в приходе — не жить. Только что зубы поломать да людской срам принять страшатся. В селе богатом Коноксе поп Игнат да протопоп Кондрат, двое, друг другу супротивники.

Поп Кондрат объемлет, вдарит себя по брюху — гул пойдет, а лик у него — как бы блюдо церковное красной меди. Толст он голосом, толст и телом, зато и добротою толст. А Игнат — попик-клопик, винная пробка. Ела его жадность, телом тонок, и душою тонок и голосом тонок, а прозванье ему в Коноксе? Моргунок. Жил он в бедной конурке одиноко, лишь в престольные праздники сослужал Кондрату, — стоял возле, бороденкой в купол, завистно пыхтел от обиды. И молитвы его злы:

— Да-ай, Осподи, чтоб дочка у Васьки Гузова рабеночка б от заезжева молодца понесла...

— По-одай ты мне, Осподи, приход вроде Коноксы, только побогаче. Да чтоб протопопица-т как кулебячка была!..

— Подай, Осподи, отцу Кондрату сломление ноги...

На такового-то и заохотились Ипатовы робята. Прискочили на купцовой тройке поутру, спросили:

— А где у вас тут поп Игнат будет?

Им ребятенки со смехом:

— Моргунок-то? Да эвона, кабаку насупротив...

Загрохали по Игнатову крыльцу, в дверь ногой. Разговор был короток:

— Ты Игнат?

— Кабысь я, ребятки. А вы пошто?

Кинулись, закатали в тулуп, зыкнули на ухо — «заорешь — пришибем», вдарили по пристяжкам. Ахнул скорбно и пронзительно развязавшийся бубенец.

Кричал Иван, на Игнате сидя:

— Ух, поддай, Анфим, Ипат бранить станет!..

Пристяжные в мыле, коренник птицей несет. Пристяжные пали, коренник солнце опережает — гнали бешено. На последней пойме, где дорога в лес вдавалась, храпнул коренник, зашатался, и конец ему. В тряскую овражину скинули возок с конем вместе, вытащили из тулупа Игната за ворот. А тот очумел, молит, грозит:

— Вы б мене, робятки, не трогали! Яз попок слабенькой. На мене дохнуть несторожно, яз и дух вон, и лапти кверху. А вас за то Осподь сразит!..

Те же, в бока поддавая, прямо на место вели. Привели пред Ипата, сказал Ипат:

— Знаю тебя, ты Игнат. Виду-то не очень в тебе: гунька да отопки на нос надеты, вот и весь ты. Ты распоп, у мене ж поп будешь, службу нам будешь водить. Маши себе кадилом, а я тебя спасу. Тебе мой сказ: не греши! Вышвырну в бор, сдохнешь. Держись за скит, Игнат!..

Так нашел себе Ипат иерея.

В вечер тот и ушли все двадцать пять, Ипат шестой, Игнат седьмой, в темную непроходную дебрь.

А уж там-то, где сосны да ели в обнимку, тесно стоят, где возгорье зеленой лысинкой полегло в середку нехо-

женых, немеряных лесов, там загрохали разом топоры, повалились деревья.

День-другой, кельи рядками повыросли. Третий-четвертый — частокол, а за ним ровик, защита от блудящего зверя. И в конец второй недели, нежданная, как цветок на болоте, маленькая церквушка зеленой маковкой зацвела во имя новгородского Нифонта.

В исходе той недели опять пришел Нифонт к Ипату.

— Отступаюсь от тебя на десять годов. Безустанным моленьем да зорким глазом сам себя все десять лет храни. Приступит к тебе Азлазивон, бес. Сам Велиар посетит тебя в месте твоем. Будь крепок. Сустоишь — приду, превознесу имена ваши.

То случилось на Агафона-огуменника. Но уже и тогда бушевали дни дождями, а болота тянули сырьем.

Кто сей Азлазивон? Кто сей, чьи искушенья страшно обступают Сысоеву обитель? Бес он. Безобразен видом и крут нравом. Носом протягновен и покляп, а телом гол и рыж. Сильны и неодолимы дела Азлазивона, беса, в Коноксянской округе. За то и князем был сделан и превознесен и над многими.

Там, где скит Сысоев стал быть, — была бесья берлога. В соседнем омуте и болотах округи всей жили нижние бесы долгие годы. Обвыкли они тут, по жеребью ходили в окрестные селенья совращать правильных людей. А как восстал посередь бора крест, не стало бесам житья. Не то чтоб шерсть им жгло или корчами в корешки их сводило, — неприятство поселилось в бесах и тревога. Тот Сысоев медноокованный крест солнцем в солнце горит, чистым серебром в луне светит.

И приступили бесы ко князю Азлазивону, сидящему во мраке адского огня, и стали ему жалобиться:

— Этак нам от Сысоевых робят житья нет. Мы их и ране того боялись. А как стал Сысоем Ипат, так житья прямо нет, хоть сымай сапоги да вон беги. В тихом глубоком омуте дом наш, ноне же трепещет там осьмиконечный крест. Нам лучше в мухоморы скинуться, нежели в том бору быти...

Шевельнув единым рогом, гаркнул Азлазивон в темный потолок адской храмины лютое слово:

— На искус их!

Сотрясаются адоградские стены бесовским радованием. Один голым хвостом в барабаны бьет, другой железными гремит цепьми. Третий мертвой белой костью трясет, а в ней пересыпаются бараньи котяхи. Среди гула ликованья их изрыгнул Азлазивон, бес, приказ верным своим служкам:

— Обступите стеною Ипатов город. Не давайте упокою им ни в день, ни в ночь. Идите туда во всю пору бесовскую, нет там Нифонта, там мы.

Поскакали, понеслись враги. Слепились в клубок тесный. К небу самому взмыв, заплелись перепончатыми крылами. Пошла тьма-тьмой, числом велико, глазом необъятно. Движется будто по небу черная проклятая расшива, бурно идет, гулко плывет — облаки пред нею в ужасе бегут.

Как долетели востроголовые до бору, то и рассыпалась расшива черным угольем вниз. То бесы в поход пошли на Сысоя.

Встали над бором морок и муть, затрепетали сосны попаленными вершинками. Грянул как из ведра гул бесшабашный, а потом тишь мертвых. Засели по сучьям, по пням, по корягам, в мох и в тишину и в ничто ушли, смолкли в засаде. Тут начинается наваждение Азлазивона, беса.

В последний день погожий, летопроводца Семёна день, робята за дело принялись. За частоколом, во мшистой ровни, где ручейки шустрые к омуту живой водой журчат, кряжевые расселись и зарылись пни — их ноне корчевать. Помолились, разошлись на четыре стороны, лопаты в землю, топоры по пням.

Расходились робята, принялись махать. Приятна их раздувшимся ноздрям острая осенняя прохладка. Пошел по земле стук топать. Закряхтели, вылезая с насиженных мест, пни. По ним гнилая ихняя, земляная, проступает кровь.

Вот рубит один, зовут Никифором его. Сквозь рубаху пар с него валит, а только знай себе помахивает. Сам он надрубит корневища, а Максим, косматый мужик, кирку смаху подсадит, да и рванет всем телом на сторону. Полверсты прошли робята, голо-место-рябо осталось позадь них. А руки шире машут, а топоры железней клох-

чут: раннему месяцу под стать серебром выбелились разгоряченные кирки...

Тут случилось неслыханное. Взмахнул Никифор над пнем, а пень-то поднатужился, да и плюнул ему в рожу самую. У того и топор из рук повалился и сам пластом рухнул. А из пня выпорскнул черный мыш. А Максима тряхнуло как бы дуновением ветра.

Сбежались робята на Максимов крик, пень крестят, Никифору на голову воду горстями льют, — весь ручеек вычерпали. Тот лежит невосклонно, руки раскинув свои, встать не может.

Стал с той поры Никифор как бы порченым. Стал на карачках ползать. Заросла щека его синим бородатым узором, как текла по ней пневая слюна...

С этого и началось.

Стоят леса темные, от земли и до неба, а на небе ночь. Положен на небо ковш, ползет ковш по небу, сползает ко краю — тут выливаются на землю сон, покой и тишь...

Спит все. Спят травы и сосны, спит доброе зверье, а недоброе рыщет тайно и темные и острые на них. Прошел по бору — ноги у него бревен толще — престрашный див, терзатель немоленых снов Бардадым. Тихо, словно тишину ниткой шьет, заплакала на разбитой ели красноперая Тюфтярка, в лукавой тоске своей положив голову под крыло. Стрелой летучей промчался меж деревьев, огненной шерстью обжигая сухой валежник и палый лист, пестрообразный зверь жарких людских страстей Тырь.

И вот они, гурьбой чинной, приплясывая, как шуты-смехотворы, идут блазнители верных, Азлазивоновы слуги, а впереди — горбоносый бес Гаркун. Он ведет их блудное полчище к Сысоеву скиту, идут спасенников бороть по приказу князя и господина своего.

Стоят леса темные, от земли и до неба... Ой, лес-лес, ты не спишь, все шумишь, все тайны караулишь, все прячешь их под спудами болот... За тебя облаки в беге ночном цепляются, в тебе ветры, заблудившись, детскими голосами плачут... Но творят в тебе замысел вражий, и не знаешь ты. Трясучая осина в позднюю осень не цветет в тебе поганым кровяным листом, а нечист ты. И прозрачный ладан сосен твоих неспроста черную копоть точит!..

Стоят леса темные... А в них церковка свечкой теплится, узкими оконцами раскосо в лесные мраки глядя. В ней идет полунощное бдение, сторожко, как сосуд хрупкий, несут моленье глухие разбойные голоса. В ней вздохи мечутся — места себе не находят моленьем сожигаемые сердца. А на виду у всех замертво припал к некрашеному полу в покаянной муке Сысой.

Ровно солнце, склоненное на ночь, потух румянец на крепком его лице, а глаза побурели, а веки запухли, а грудь высохла. Твердый и тихий, правит он всеми двадцатью двумя: Игнат не в счет, а троим недочет за те шесть годов. Один ушел бессаванный в болотную пучину. Другого лесиной придавило, матица сорвалась, как сарай на гумне возводили. Третий морозам и волкам ушел навстречу, обуреваемый плотью и скорбью о покинутом прекрасном мире.

Безотступные слезы проливая, осели как-то в самих себе все двадцать два. Необоримы порывы их душ, и горьки их слезы, как алая болотная вода. Но порой, пронзаемые немощью, приволокут к Сысою черные свои тела, в ряд гусиный становятся, молят куколями о пол:

— Ох-хоньки, одолели нас вконец. Из каждой щели острый глаз глядит. И противно, и смутно, и горестно. Эвон в нас они какую думу внедряют: топорами друг дружку порубить!..

Выходит Сысой к братье, усмехается, говорит:

— Души-то в вас как завшивели! То невыплаканные слезы в вас гниют. Жальте сердце скорбью, и отойдет смутитель, и позабудет путь к вам!..

И опять выходили от Сысоя гусиным рядком все двадцать два, а стыд им новые силы подавал. Пуще прежнего и яростней били тогда о пол самодельные кафтыри. Во полунощах на скиту стон стоял.

А в ту ночь приступили бесы к Азлазивону, князю, сидящему во славе и безмолвии, и рекли:

— Стеною мы обложили Сысоеву пустынь. А дороги на бору мы, как паутину, метлой спутали. К самым рвам мы втайне подступили. Скажи слово нам, господине, мы вринемся и место его геенским пламем попалим.

Был ответ от Азлазивона:

— Ступайте. Въяве взойдите за частоколье. Вылейте на братию искус и страх. Приступите к самому Ипату, по-

палите ему бороду огнем, ибо ярость душит меня, а гнев не дает покоя.

Повернулись бесы уходить, крикнул Азлазивону набольший средь малых Гаркун:

— Не наша воля, твоя воля во всем. Будь на твоей воле.

И ринулись скопом в дремучий бор. И там, где упали, попалили многая.

Вот в день другой и пришла в обитель белогорлистая собака. Она бегает по любым местам, нигде никакой ей преграды нет. У ей глаза белы, и злоба в них.

Она у колодца землю ела, видел пекарь Пётр, по воду шел. Она, вытянувшись страшно, в колокол била, тревогу в скит звала, — видел ключарь Мелетий из окошка в лунную ночь. Она на Сысоя в Ипатов день, третьего июля, лаяла, и огорчился тот.

Но однажды подкараулил он ее в воротах, окатил суку ведром священой воды. С грохотом провалилась в дыру собака, а из дыры пламень. Лизнул пламень в самое лицо Сысою, выел ему разом и брови и бороду. Был и без того ряб, а тут стал и с бритобрадцем схож, даже неприятен глазу.

А собаки не стало впредь.

Но не успели еще робята собаку с памяти скинуть, как новая мереста явилась в скит. На второй неделе после собаки у Филофея-чернеца в подпольи Рогатица завелась. Имел беседу Филофей с Гарасимом, как заметил, и сказал ему Гарасим:

— Эта от сырости она, ты печку себе подтопи!

Только ни печка, ни ладан не помогли.

А Филофей в скиту всех старее, старей Сысоя годов на десять. А Сысою пятьдесят шестой с зимнего Ипата повелся. У Филофея-боголюба лицо старенькое, приятное, глазки малесенькие и носик тютелькой. Трудно могло вмещать старое тело его в себе дух сильный, а потому и не мог не покоряться сну.

Тут-то и начинала Рогатица каторжничать. Выйдет из подполья сквозь сучковину, за ней всякая мышиная нечисть лезет, — и давай орудовать. Ходит по келье и плюет, и плюет, на каждый предмет по плевочку. И раз, смеху для, взяла да и прикрыла Филофея, спящего, бабьей юбкой, а вошла тут братия внезапь и был срам.

Сносил сперва, а потом забеспокоился, жалобиться ходил к Сысою Филофей:

— Моленья, отец, не дают вести. Надысь встал на правило, а шиши-то и лезут из стен... А один, отяпа этакой, стал подле да цыгарку вертит. Псом от них прет, сил нет! Закрестил я, скинулись мышами по углам...

Порешил Сысой у Филофея просительное молебнование служить, чтоб не развелись Рогатицы на всю обитель. Притащили чернецы темного старого Спаса к Филофею в келью, к стенке прислонили, зачали кадить. А как затянул пискучим голосом Кир-Филофееву молитву Игнат, худой попок, был удар в земле, как бы барабан лопнул, — Рогатице конец...

И пуще тому бесы озлились: Рогатица-т Гаркунова сестрица была!

Тут же три смерти разом в скит пришли. Один за другим ушли от Сысоя Зосима-инок, Игнат и Никифор-порченый.

Днем весенним, на вешнего Нифонта, случилась в скиту маета от песьих мух. Налетел мимолетный табун, загнанный сюда Гаркуновым дуновением, и унес неприметную жизнь Зосимы.

В ночь, когда, истомившись, прилег отдохнуть Зосима, заползла в него песья муха и в сердце ужалила. С того помер.

Хоронили его в скитском саду, под рябинкой. Цвела она и горние весны собою славила, а покойник был синь и раздут. На многих из братии смущение нашло. И не кончался страх их, пока не выгнал внезапный снег желтобрюхого того табуна.

А Игнат — тот умер буйно, в майскую ясную ночь.

Шел от полунощницы, и вдруг ему сусенило. «Вот-де, Сысой поста безотступно требовает, а чуть что возрыкает на мене лютым словом, а яз телом слаб. В месячину в Коноксе-т куда больше насберешь, чем здеся за год дадут. Эк, кабы мне да крылья! Взнялся бы я, как сокол, полетел бы к протопопу с повинной. Там и винцо, и бабы, и ситного прорва, а постеля как пух...»

И задумал сбежать. Стащился тихой татью на пекарню, уворнул оттуда каравай да Петра-пекаря тулуп, пролез в подворотню, как таракан в запечную скважню,

незаметный, и побежал мелким ходом, ряску на голову подвернув: все на живых выйду, думал.

Так он шел всю ночь и весь день, а к ночи другой приустал. Залег в овражке едином, где зеленые лебеди пухом землю устлали, — каравашек под голову, храпнул дважды и заснул накрепко.

Ему приснился смертный сон. Будто на койке, в чулане у Кондрата, лежит он с протопопицей Афимьей в блуде. Она его руками охапила, пускает на Игната губами мерзкий ветерок. Ее огненные слова Игнату сладко уши жгут. И тянется к ней бессильный Игнат:

— Ты што-де, протопопица, любишь меня, аль што?..

Афимья грубым рыком ему:

— Люблю, Игнат, ибо мой ты.

Игнат раскрыл глаза и увидел в объятьях своих смердящего, острого. Увидев, умер. Но не скорбел в скиту Сысой по Игнатовой пропаже, говоря так:

— Ушел от нас Игнат. Ино так лучше. Не хочу, чтоб даже малая скважня была в корабле моем. Впредь сам буду службу править. Мирской поп — адов поводырь.

...А третьим окончал течение жизни своей Никифор-порченый.

Раз, ночью следующего месяца, в девятый день по ущербе луны, молился он так:

— Осподи, неподобно мне тебя на карачках-то славить. Ты дай мне ноги. А я уж тебя стоя славословить буду, столпником у Сысоя стану.

В ту же ночь спящему был слышен голос:

— Встань. Грядет к тебе Спас. Даруется тебе благость. Ты будешь лику светлых сопричислен, сподоблен судьбы Еноховой и Ильиной.

Восстал Никифор, видит. Грядет к нему в облаке как бы сам Исус. Свет слепит глаза, раздвинулись стены настежь, келья как поле, пенье блистающих сладко застилает уши. И поклонился им Никифор трижды и четырежды от усердия своего, а то бесы были.

Его посадили они на колесницу и понесли быстрей ветра над скитом. Летит Никифор по небу, Спасу бок-о-бок, рассуждает, руками разводя, так:

— Вот сподобился-т! Не иначе это как за святость мою. Эк, меня угораздило, каб меня мамынька увидала таким!..

Но тут грянул гром, исчезла обманская колесница, наддал острый Никифору коленком в зад... Полетел тот вниз головой, пал на острый зуб моря, разбился пополам. Так исцелился Никифор от жизни сей.

В скиту двадцать стало, Сысой не в счет.

По седьмому году скитского жития зима холодна выпала. Кряхтели деревья по ночам, а омутья промерзли до самых доньев, и даже острых много поморозилось. Небо же поднялось в неизвестные выси, давая ветрам прямые пути.

И случилась ночь, был мороз крепок. Вдарили в ту единую ночь рукавицами по земле Севера полунощники, заледенели всякие дыханья и утвердился надолго мороз.

Шел-гудел стоверстными шагами северный ветролом. Летели по ветру смертные ледяные стрелы: в кого попадут, тому не живот.

А в скиту тепло, в дровах живут — в тепле-то и молитва пристальней. У рва избушка пузоватеньким грибком стоит. В ней ведет жизнь свою ключарь Мелетий, неистовый в моленьях.

Вот он молится, и дремота его берет. Он и так и сяк, гороху под колена насыпал, луком докрасна глаза распалил — бьет свирепые поклоны. А дремота сильна, а дремота лукава. Потухает Мелетия взгляд, повисают руки оббитыми плетьми, тело вялое покоя просит. И сызнов вскакивает и глаза таращит Мелетий, и сызнов лбом ровно б гвозди заколачивает в пол. А дремота не спит, а дремота, как молодая жена, паутинкой ему руки вяжет, клонит ниже, зовет ко сну... Уж он боролся-боролся, да и запрокинулся, да и захрапел.

Тут явился к нему некий муж в блистающей одежде и говорит в нем гнев:

— Вот ты молишься, вот ты каешься. А у дома твоего стоит юнош, просящий приюту. А ты молчишь. А ночь свежа...

Прискочил Мелетий с полу, ухом к окну: впрямь в ворота кто-то накрепко колотит. Вылетел ключарь, манатью подобрав, к воротам, — ожгло его холодом, окликает в том стоячем морозе, щуря дремотные глаза:

— Ты кто-о? Ты пошто в ворота бубни-ишь?

А за воротами голос молодой:

— Укрой меня к ночи. Свежи ночные ветры, а на бору темь и волк, а я молод. Не дай погибнуть, брат!

В подворотню так и прет боровой ветер, сечет и сушит. Заныло в Мелетии сердце и причудился ему за воротами ноготь кривой, стоящий в ожидании, однако отвечал так:

— Ты погодь, парень... Я к набольшему сбегаю. Ты попрыгай там, я часом и вернусь!..

Помчался Мелетий по скрипучему снегу к Сысою, влетел в сенцы:

— Осподи, Сусе...

Сысой ему аминь отдает:

— Ты што это, Мелетий, в таком волнении?

— Отец, там человек стучит... Полунощники вдарили! Волки... Приюту просит!

Благословился старик:

— Пусти к себе, а наутрия ко мне веди. Ино замерзнет еще, грех на весь скит примем.

Подобрав манатью, вприпрыжку унесся Мелетий к воротам. Ключом в замок тычет, попасть не может. Засов толкает закоченелым кулаком, сил нет, примерз засов. А за воротами торопит:

— Ой, руки-ноги отморозли... Ой, поспеши, брат!

Наконец, рванул Мелетий на себя, распахнулись половинки настежь. Впереди черная темь. В ней летят со свистом синие смертные стрелы. А возле наружного рва опустился на снег в последнем бессильи жизни молодой человек. Махом мигнул он в ворота, в руках у него как бы узелок малый да берестяник расписной.

Мелетий зубами скрипит:

— Подь-иди в келью скоренько, приду счас, ворота замкну...

Запахнул ворота кое-как и не прибавил аминя, забывшись добротою дела, и не взглянул, откуда за скитом в снегу такое множество копытного следа.

Вбежал в келейку, видит: у печки юнош сидит, прекрасный лицом. Он щеки руками трет, они у него совсем синие. Мелетий, оттаяв:

— А ты б разулся, брат, — говорит. — Этак без ног тебе весновать придется. Ох, и стужишша ноне, напор какой!..

Отвечает юнош:

— Отойдут, плюново дело. Я лучше едой займусь...

Мелетий за просвиркой было полез, да остановил его ночной гость:

— Не трудись зазря, брат. Тута у меня в узелке всего напихано!

Отрезал от каравашка тонехонький краешек, рыбку достал. Ест, покашливает, молчит.

Мелетий говорит юношу:

— Ложись, брат, на койку, а меня моленье мое ждет. Спи, а завтра к Сысою сказаться поведу.

Встал в угол Мелетий и до утра поклоны бил. А гость лежал в другом углу и грел ноги под Мелетиевым тулупом.

Неспокойно горела Мелетиева свеча, словно дул кто на нее, насмехаясь. Да еще необычно скрипел снег в морозе. Но притихли бесы в ту ночь. Таково было приказанье Гаркуна, ныне лежащего на койке неистового Мелетия.

Утро развернулось, ровно алая роза в снегах. По сугробным макушкам сосен утренних в сизом небе, ковыляет как бы медный таз. Синие и лиловые тени бегут, струи воздуха резвы и гибки.

В скиту било гудит, сзывая к работе. Из пекарни дым повалил в небо скрученным натугою прямым снопом. Пятеро манатейных в бор ушли, дровоколы. Мелетий ночного юноша к Сысою повел.

Стучит Мелетий в келью скитским обычаем:

— Осподи Сусе...

Юношу всего тут передернуло, и в волнении стукнул он ногой, однако, спохватившись, сказал:

— Адов холод у вас тут!..

Мелетий ему улыбнулся кротко:

— А ты, што? Был там, аль как?

А уж из кельи голос Сысоев:

— Аминь, войди, брат!

Входит Мелетий с юношем. У Сысоя в келье умильно, доска голая, а на койке хоть бы половичок. Сысой спрашивает:

— Ты что за человек, пришел ночью. Каки тебя сюды ветры завеяли?

Юнош начинает:

— А я Матвей, а отец мне богописец Фёдор из Тотьмы. И я тож, по родству моему, боженятами живу...

Сысой подумал: да-кось я его попрошу Нифонта нам списать.

— А отколе ездишь, что по таким глухим местам. Сюда и волк нечаст!

Юнош, в глаза Сысоевы лбом уперевшись, сказывать стал:

— А ехали сутемень я да отец мой, Фёдор, в Верхнюю Пучугу храм писать. Нас настигли трое—пятеро гулевых, вроде как бы Ипатовых. Хоть ноне про Ипата и не слышно стало. Говорят, молоньей их сожгло враз...

У юноша на лбу синие жилы разбежались. Глаза долу опустив, виновато шепчет Сысой:

— А дальше как?

— Как? Во всю конску пору гнали мы, а сугнали нас. Вруч сперва ударились... Да шибанул один, плешак озорной, отца-то ногой в утробу. Отец пал, а я бегом ушел, узелок схватив. У меня в нем и прибор весь, и пищи кусочек...

Смотрит юнош в Сысоя, встают пред Сысоем виды, незабываемые ввек. Вот бьет Ипат кистенем купца. Вдарилась кость о кость, распалась голова с удару. У толстуна того бородавка под глазом сидела большая, черной поговицей, как бы треглазый. А то старуха на богомолье ехала, Гараська зашиб. Много добра взяли, одних телогрей всем по паре достало. Лежала старая, руки раскинув по снегу, кровь по снегу брусникой цвела. А с ней девочка была, в атласной телогрейке, огоньки по алой земле, все просила: «Меня не тронь, дяденька, я баушкина внучка!» Ипат ее Проньке Милованову подарил.

Кровь застилает глаза Сысою, волос седой шевелится. Но осилил себя:

— А к нам попал как?

Не отводит черный юнош глаз:

— Шел, вижу — крест в луне. Думал, без пенья стоите, ан, а брат отворил мне! — на Мелетия указывает.

Сысой головой трясет:

— Экой встряс, был-убили! А мы и не слыхали, чтоб недобрые вкруг нас гнездились. Ну так вот, живи у нас

бельцом до весенья, келью дадим. У нас в четвертом годе от мухи один погиб, живи в его келье. Да вот, кстати, парень... Образ Нифонтов, усердно молю, учини ты нам. Очень большая надоба!

Побезмолвствовали. Потом говорит Сысой:

— Ступай, обживись, согрейся, дело подождет. Скит бельцу не гроб, не неволим моленьем да ладаном...

Забурлило пламя в Гаркуне, и в волосах его, благообразно расчесанных, встрепенулся незримо кривой его рог.

И закрылась за ним дверь, и сказал Сысой:

— Слава вся сотворившему благая...

Дали Гаркуну, предводителю малых, Зосимову келью, стали братом его звать за приятность лица и ласковость речи. Стал жить Гаркун у Сысоя за пазушкой, а вечерами пришедшей весны, когда свет ровен и благость таится в воздухах, писал Гаркун неспешно преславного Нифонта.

Потемки бором идут, роняют сосны хрустальные слезы. Солнце край неба плавит, белой тканью по болотам стелется весенний парок.

Негромко скорбит на Сысоевой колоколенке великопостная медь. И несется звон птицей по весеннему ветру, сядет на сук, вытянет к востоку медноперую шею свою и тоскует так.

На землю приходит великий покой.

Сысою надо идти служить вечерю. Гарасим заходил: робята в сборе. Встал с лавки, недужилось. Сысой двинулся манатью надеть, а манатья-то и пошла к нему сама, широко раскинув воскрылия. Но не подвигнулось сердце Сысоево нимало:

— Уйди, ты, иду вечерю служить.

Тогда, трепеща крылами, падает манатья черной птицей к ногам его.

Новопринятый белец Нифонта пишет. Вода в стеклянном шаре, а за ним лучина полыхает и круглым ярким светом бьет но левкасной доске. На ней стоит грозный Нифонт как бы жив: лицо его одутловато и насуплено, червонны уста, пламенем горит чернь молитвенных глаз. Вот-вот задымит кадило в шуйце и двинется двуперстьем вохряная десница.

Ныне расписывает белец доличное. Тронул празеленью, радостные сверкнули березки. Тронул киноварью,

зацвели позади всехвального Нифонта благоуханные цветы райского сада. Теперь бесов написать надобно, попираемых преподобным.

Встал черный белец середь кельи, хлопнул в ладоши дважды и четырежды, полезли из подполья, толкаясь и сопя, беспятые. Им зашипел Гаркун, на доску черным словом указывая:

— Ступайте сюды, да скоро, да чтоб гладко было.

Полезли шершавенькие на доску, прилипли к доличному письму, расплющилось листом подпольное племя и замерло под пятой преподобного, живей и не придумать.

Грозен здесь Нифонт и строг. Но нет в этих глазах прощенья. Ужасен здесь Нифонт и величествен, но вот-вот задрожат в смехе длинные стрелы черных Нифонтовых ресниц.

А тем временем смерклось, и ночь пришла по следам смеркоты. Вытек на небо звездный ручей, омывать ему до конца веков нехоженые нами, невиданные голубые страны.

Выходит зверь страстей, Тырь, просовывает морду в тайники бора, пьет ненасытно благостное молчанье весенней земли. Зацветают травы, прозвенело как бы ручейком, темной тучкой отразилась в синих омутах неба Сысоевых людей скорбь.

— Беги-кось в сборню. Нифонта счас святить будем. Неистовый Мелетий уж за Сысоем побёг!

Суетятся манатейники: вот благодать на нас через Нифонта-т снизойдет! В сборне все двадцать, без Сысоя, а двадцать первым Матвей. Он тут же стоит, а напреди деянье рук его, суровый, двуперстый Нифонт. А рядом с Матвеевым Нифонтом темный Спас, — лик широк, очи мудры, некудрява бородка.

Сысой вошел, ногой словно змия давит, крепкий у Сысоя путь. Прошел, стал наперед.

— За молитву... отец наших...

Робята аминем откликаются.

А вечер был. И словно б птички ласковые в сборню налетели: вечернее светило косо упадает в оконца. Сели птички на пол, на стены, желтые по черным манатьям, того гляди щебетаньем своим о далеких странах суровое моленье спугнут.

Птичка одна к Нифонту прыгает, а другая к Спасу. Не может первая на Нифонтову доску взобраться. Спасова же прыгнула прямо на чело Спасу, зажгла гневом запавшие очи.

А уж водокрестие минуло. Опускает Сысой мутовку в окованное ведерце, кропить, взмахнул над головами, — полетели по кругу радужные капли, и случилось лютое чудо.

Прыснули бесы с иконы врассыпную, кто куда, скрипя жестоко зубами. Понесло легонько паленой псиной. Поднял беспамятно архирейские ризы свои Нифонт и, за голову схватясь, ринулся в дверь стремглав. Копытами простучал, пхнул Сысоя плечом, Мелетия рогом хватил наотмашь... И нет никого, — и пусто, и голо, и лукаво.

Тут робята расшестоперились, Матвея ищут:

— Ах, мы вора убьем да воронам его в ров кинем. Эй, ишши, смутщика!

К двери кинулись, и не остановил их Сысой, подавленный смыслом сего вечера. Рогатиной пронзилось его сердце, сквозь щель рогатины той надежда вытекать стала.

К ночи догадало робят в келью Зосимову зайти, не найдется ли там лукавый белец. И вбежали, а там пакость сплошь, пол в дырьях, а из дырий лезут хлад и вонь. И у притолоки будто Матвей стоит. Вдарил его, обезумев, Гарасим толкачем в темя и убил. Наклонились: Мелетия убила Гарасимова рука.

Большое горе было. Туже, как тугой петлей, затянули себя в подвиг Сысоевы робята. Келью досками забили, а на двери осьмиконечник углем вывели: да устрашатся!

А Мелетия-т не вернуть ведь...

Перед восьмой осенью случилось: пришел Сысой с ночного моленья. Мерестило в глазах, ноющую спину гнуло к земле: семнадцатый день в посте проводит Сысой, кроме лебеды, нет у него другой еды. Нетвердой ступью вошел он в сенцы, тут ударило ему в нос томлеными свиными щами. Только и сделал Сысой, что лицом скривился.

— Не к лицу мне от тебя бегать. Грудью на грудь встречу и поборю тебя.

Распахнул дверь Сысой и сощурился: радуга мирская на столе у него. Сысой щурится, Сысой ноздри топырит, Сысоево сердце тревогу бьет...

Горшочек зеленой поливы, а оттуда кружит голову просоленных грибков можжевелевый дух. Жбан-чурбан посередь стола стоит, а в нем стынет густой, прозрачный мед. Шатает Сысоя. Эх, пей, Ипат, взахлебку... В первый раз за восемь-то годов околицей добредешь до неба!

А из-за хмельного того чурбана выпучила глупый глаз свой семга. У ней мясо алое, а в спинке сметанка запрятана, стоющего едока ждет. Не разрезать той спинки — большое прегрешение, в рот не положить — смертный грех!

Онемелый стоит Сысой, как свинцовая чушка никнет голова, в гроб просится отощалое тело. А на краешке самом, на дубовом резном кругу развалился важно ситными ломтями пшеничный хлеб, — ноздри он раздул белые и пуховые, как у нежной невесты. А кулебяка, рядом, плоха? Или масло из нее в жаркой печи повыпотело? Или палтусинки прелой насовала в нее скаредная хозяйкина рука? Нет, кулебяка жирна и прекрасна, человека услаждает и вводит в тихую земную радость грустное его бытие. А посереди правой стороны безлапые ноги высоко задрала, гузно выставив, в кипучем масле трижды прожаренная кура... Что ж ты стоишь, Сысой? Голодному нет греха!

У Сысоя губы высохли, вытянулся деревяшкой язык изо рта. Елозит мутным взглядом Сысой по столу. Натыкается глаз, куда ни повернуть, то на капустку с хитрыми морковными глазками, то на окорочок немалый, в меру обрумяненный на огне, то на кувшин, толстопузый чван: горло у него дудкой, а в дудке хмелевая романея.

Слюна и слезы из Сысоя текут и алыми пятнами по скатерке расплываются. И не сдержался, зверем схватил хлеба немалый кус, и смялся тот пухом душистым в широком его кулаке. Но закричал в нем пронзительно, ушам больно, стыд в душе его... Швырнул кус в сторону, ногами затопотал в ярости и, выхватив лучину из рощепа светца, смаху всадил ее в остекленевший свой правый глаз и повернул ее, как кол в яме.

Тут вонючей струей вздыбилась в потолок романея, закудахтала хохотом бесьим кура безголовая и заковыляла к двери на обломанных ногах, и семга лениво в дверь уплыла, и каленым угольем засверкал ей хлеб вдогонку... Не стало радуги — смердь, тлен и кал.

...Ввечеру, попозже, призвал к себе Сысой кузнеца Гарасима, скитского ясаула тайно от всех. Ему дал он приказ заковать себя в железную цепь, а на шею кольцо, а грудь стянуть накрепко железным хомутом.

В разлив ревел Гарасим, как на одноглазого хомутные заклепки накладывал. А Сысой поднял руки в небо и крикнул глухо, и услышал Гарасим смертную жалобу в крике его:

— Пою Осподу моему, доньдеже есмь!..

Был в той цепи Сысой, как медведь плясовой.

Одесную Велиара воссевшему Азлазивону предстали острые и предводитель их, и рек:

— В третий раз приходим к тебе, господине. Невмоготу нам боле. Блистает осьмиконечник на скиту Сысоя. Спрятался от нас в железный хомут Сысой и оттуда нас своим пеньем дразнит. За что ж это нам такое!

Тут изрыгает Велиар слово, и оно катится круглым косматым зверем по ту сторону геенского града:

— Иди сам туда, Азлазивон, и утверди имя мое на бору том.

Вдарили в ладоши, сволоклись в кучу... Колом встала бесчинная их песнь. Среди того гулу восстал Азлазивон, и голос у него с хриповатиной:

— Сам иду упредить и наказать.

Двинулись острые из стен града и махом приступили ко скиту.

...А на бору тем временем соловьиный щекот стоял. Вечер не вечер, луна лик кажет, а солнце не тухнет на край земли. Идет вечер чернью, манатейный монах. Волком идет на солнце, хочет солнце есть и не может.

Ходит черт по мхам, по лесам, по болотам, гудит в длинную дуду, головой направо-налево вертит.

— Ты что гудишь, хохлик, грязный лешачонок?

— А я гужу, бесов бужу. Наш князь, Азлазивон, грядет!

Сотрясались под шагом Азлазивоновым непроходные крепи, ходуном ходили мочаги.

Пётр-пекарь, веселый чернец. Кол на голове теши, а он все славословья тянет. Прямехонькой, чистенькой дорожкой втихомолочку к раю идет.

Но порой, на голодуху слабый, поддавшись смутьянской козни, приворнет пекарь Пётр каравашек себе, и сам кругл с того, как припрятанный каравашек. Ради смеху

лишь приползала к нему разная лешень. Случалось — востроносый Зосима перстом костяным в келью к нему постучит, а выйдет Пётр — дерево. Случалось — баба грудастая, молодка, на койку его покличет, пошел, а на койке — длинноногий переверт — язык пялит ему...

В пятницу по Духовом дне вошел Пётр на пекарню, а из квашни здоровущий хвост торчит, и на конце его рыжий волдырь. Обиделся Пётр, подскакнул к кади, да и зачал крестить. До поту Пётр несчастную кадушку аминил, запыхался весь. Заглянул в кадь, а там черный ком. Пыхтит и топорщится вкруг него посиневшее тесто.

Злость Петра взяла, кадь запоганил, щенятина. Повернулся Пётр к Сысою бежать, а из кади хрипучий глас к нему:

— Пётру-ух!..

— Ну?

— Разбей кадь-от, выпусти...

— А ты пошто лез? Тебя кто пяхал?..

Побежал Пётр, вдарился каравашком в Сысоеву дверь, еле дышит:

— Там-от у меня в кади он пыхтит. Я его зааминил, а он пыхтит. Тесто вон лезет.

Распрямился весь, Петра заслышав, Сысой. Черная молонья мелькнула в целом его глазу и потухла.

— В било ударь, да покличь братью. Приду ужотко.

Застонало било на весь скит. Того била звуки, как ослепшие толстоголовые птицы, по всему скиту мечутся. А чернецы уж бегут, глупые, с кольями: беса колом не убьешь, а руку вывихнешь!

Натеснилось в пекаренку, впору стены разводить. Молчат, кулаки сучат, ждут. Вдруг тишь, расступилась братья — шел Сысой грузно, с клюшкой в руке, сердитый.

Подошел к тестяной кади, глянул пустым оком в потолок, потом в кадь, вдарил клюкой о кадь, спросил тихо:

— Я — Сысой. А ты кто там?

— А я Азлазивон, князь бесам.

Помолчал Сысой, удивляясь, и губу отпятил.

— Сидишь, значит? — спросил.

— Сижу... — ему хриплый ответ.

Развел плечами Сысой.

— Хоть ты и князь, а что ж, расправа наша короткая. Ройте, робятки, яму-сажонку, туда кадь, а сверху кол.

Был стон из кади и слова:

— Ты меня выпусти, а я тебя и не трону больше!

А Сысой промолчал.

Полезли заступы в болотную сырь, кадь на веревках спускали в яму.

Пузырилось и клубило горелым смрадом замученное тесто. А над скитом реяла многокрыльная птица, буйная песнь:

— Да воскреснет... И разыдутся...

Яму засыпали и кол вбили, и стали чернецы на княжью могилу по ночам за нуждой бегать. И всегда слышали в земле безустанный Азлазивонов плач.

То случилось в пятницу.

А в пятницу другой недели приступили бесы к самому Велиару, сидящему на высоте огненного престола, и застонали, сколько их было, враз:

— Князь и военачальник наш в кади. А над ним кол. А сверху крест. Он там пыхтит, а нам позор. Чернецы над ним насмешку лютую ведут, всю шерсть изгадили, а князю Азлазивону великий от того труд, а нам стыд.

Свирепо поднялся Велиар, ударил о пол, мощенный желтым камнем, голым своим хвостом, испустил огнь. С визгом попадали бесы, не вынесли величия, рожденного от кромешного огня. Предстал ему Гордоус, адов ключарь. Стоит Гордоус колом, жмурится, толстую морду пружит:

— Что прикажешь, господине?

Сказал Велиар:

— Иду туда. Прекращу лунный бег, расколю землю надвои, попалю их!..

Вострепетали острые в радости и воскликнули:

— Веди нас, господине, куда поведет воля твоя!..

Видано было Филофеем в тот вечер знаменье над скитом: в облачном кругу змей триглавый.

Встало с заката облако, в нем крутится грозный смерч. Тихое стадо испуганных березок увидало и зашуршало вдруг повянувшим желтым листком, как о позднюю осень. Зачинается погибель скита.

Сдирает демонская рука голубую кожу с неба, а за ней ночь. Та ночь Сысою разоренье несет. На бору змеи тревогу свищут. Галочье племя тряпками черными по небу перекидывается. Красною башней встает из-за бора ленивый

огненный язык... Заметались по бору разбуженные шорохи и трески. Потом стихло. Потом снова глухой, неровный трепет и жар приползающего огня. Свист неизвестный вздыбился и хлестнулся над бором, как бич. То легионы дух из себя дуют, покорное пламя гонят впереди.

Кричит на скиту суровое било, сильно кричит, гибель слышит. Подходит лихо к сумежьям самым, до огня и версты не уложить.

Разные, — один застыл, другой плачет — бегут манатейные в скитской храм. Сысой с Гарасимом об руку прошел. Гарасим-кузнец черен и могуч, а в лице твердость и покой. Застучала Сысоева клюка по паперти, заскрипели под двумя, сильными, половицы враз. Прошел Сысой наперед, ударил земных по счету, повернулся говорить.

— Радость в сердце чую, вас ради, робятки! Диковалось мне синочь неспроста, приходили ко мне сильные, гнали меня из бору вон. Они меня за волосья дерут, в бок попихнут, за чепь торгают. Плевали в мой единый глаз и, отдохня, вдругорядь за меня примались, а я молчу... Ныне смерть идет... Ей ли устрашимся, уйдем от спасенья в пустые, дальние места, куда и огню проходу нет? Огнь встал стеной, встал смертной... Яз, худой, слепой Сысой вижу сам: зацветут за ней в день века голубые цветочки под серебряными облаками. Ой, как вам, робятки, тогда просторно будет. Ну, выбегай отсюда, в ком страх, ну! — и руку протянул Сысой к дверям.

Повернясь к Спасу, постоял так Сысой и на клирос тихо отдал:

— Клади начало, отрок!

Затянули хором манатейники Кир-Филофеево моленье:

— Житием своим... удивил еси...

Низкие голоса по полу стелются:

— И бесовские разгнал еси полки...

А на бору предсмертно деревья хрипят и лопаются, свиваясь, — точно сучит их кто проворными нездешними перстами. Вьюнцом шестокрылым вползает в небо душный серый дым. Лихо огненное идет, а впереди четыре черных бури метут путь Велиару...

То не ветер играет лоскутом шемаханского красного шелку, то геенна облаки грызет, весело трепеща. Лихо пожигает лицо земле, на стороны разбрызгивает темные,

небуйные воды мочагов. Зверь сна, Тырь, сустрелся под ноги лиху, и разгневалось и вдарило молоньей по расступившейся тишине. Краснoперая Тюфтярка летела на четверть от земли, на лету и запламенела, взвилась высоко, упала углем далеко.

Вот уж и ров скитской, а за ним старого человека об едином глазе убогий домок. Полетели с бору головни, чертя ночь огнем, занялась колоколенка огнем Сысоева. Летят, что стрелы, головни, и темные, острые на них... Вот головешка одна в колоколец самый двинулась, и закачался бессильным плачем колокольный язык, Сысоева сердца покаянная медь.

Ввалилось сонмище на скитской двор, поднялся гомон, скок, свищ и плищ. Вот один, хвост винтом, уголье в пригоршнях по кельям разносит, а другой, спина корытом, на колодезный журавель влез и в колодезь пакостит, а третий-то сам Гордоус. Келейки уж огнем неугасимым зашлись, а над овином топочет в поганом плясе рыжий дед, соломенный огонь.

Из окошек узких яростно моленье летит:

— Огнем молитв своих попалил еси...

То чернецы, обезумев, кричат, повалились в страхе на колена. Гарасим, тот рыком рычит, зовет Нифонта. Пекарь Пётр брюхом вверх залег, и глаза его ручьем ручьят. Филофей-боголюб с четверенек подняться не может, что-то покрикивает. Лбы стучат. Дым гари великой змием ползет, плещется геенна в окна, грозными пучинами углы глядят. Тут горелое дерево постряхнуло искры вниз, куполок еще на сажонку осел. К робятам, лицом обернясь, страшно в дымной душной мгле кричать хотел о чем-то Ипат, но рухнули бревна, расчерчивая багровые мраки ада, и пуще разметалось пламя алыми языками во все концы.

На то место наступил пятой Велиар и раздавил прах и пепел и прошел дальше, как идет сторож дозором, а буря полем...

...Ноне-то по тем местам уж пятый молодняк сустарился.

Декабрь 1921 г.
Москва

ГИБЕЛЬ ЕГОРУШКИ

М.В. Сабашникову

I

Каб и впрямь был остров такой в дальнем море ледяном, за полуночной чертой, Нюньюг-остров, и каб был он в широту поболее семи четвертей, — быть бы уж беспременно поселку на острове, поселку Нель, верному кораблиному пристанищу под угревой случайной скалы. Место голо и унынно, отдано ветру в милость, суждено ему стать местом широкого земного отчаянья. Со скалы лишь сползают робкие к морю, три ползучие, крадучись, березки, три беленькие. Приползли морю жаловаться, что-де ночи коротки, а ветры жгучи. А море не слушает, взводнем играет, вспять бежит.

Над Нюньюгом по небу в зимние ночи полыхают острозубые костры сияний северных. За Нюньюгом, в морской глубине, летними ночами незаходимого солнца пожар стоит. А по болотным нюньюгским местам расползлась на все восемь разноименных сторон невеликая ягодка клюковка, единая радость голого места за полуночной, последней чертой. Еще растет по Нюньюгу брусничка, клюквина сестричка, матушке морошке сноха. Птица, протяжным криком осеняющая нюньюгскую весну, клюет ее. А еще курчавится в зыбинах мох белый. А на самой последней тупине, где ночные воды лижут непрестанно зуб-камень, встала посередь кукушкиных ковров единая сосна, рослая старуха, глухо шумящая на ветру.

Приходил сюда один самоедин смелый, молодой человек, по взбудному следу зверя. Ветер душу его к сосне

пригвоздил. Провисела душа на гвоздике долгое множество лет. И состарилась. И скатилась к морю гнилым дуплом, безглазым отрубком.

II

Олень не тощ, а нарта справна, а малица не ветром стегана, — выехать тебе из Нели поране, к обеду сумеешь до Егорушки берегом домчаться. Там забудешь под пресветлым взглядом его и про всякую скорбь жития и про то, что с головой тебя завеять сбирается встречный снег в кривом овраге над Выксунью.

Тихое неветреное небо живет в Егоре. Было утро однажды, чайки гнали криком воронью зиму, — белый ошкуй, на ледяном откосе с Егорушкой встретясь, земно поклонился ему, теленком мыча.

А в пору ту, когда рыхлой земле сырой от роду еще не боле трех дней было, наступил морской Никола нечаянно, землю дозором обходя, на смутную грань моря и суши первозданных и след свой оставил здесь... Промелькнули потом буйной оравой неуловленные в память дни, канули в пустотные тартарары вся сотня сотен и тьма тем. И в том Николином следу вырубил отец Егорушкин хижинку себе двуглазку и сараюшко к ней. А чтоб неповадно было косоглазым бурьям под крыши заглядывать, придавил он крыши каменными, круглыми лепехами.

Отошел однажды Егорушкин отец; деревянное распятье могилки его еженощно хорява-ветер целует, отправляясь на разбой. Прикупил тогда себе Егорушка карбасов новых два, сплел себе сильны яруса, взял жену себе, узкоглазую Иринью, Андрея Фомича дочь из поселка Нель... Иринья, вот она: в глазах ее щебечут серые ласковые пичуги, сердце же подобно обители веселых зайчат. Два лишь года отделили Егорушкину свадьбу от нонешнего дня.

Так и живут они. Ходит Егорушка на грудастом карбасе по заливчику, снимает яруса, а жена ему веслом привычным правит путь. Ветер им песню котенком мурлычет. Волны бегут, торопясь разбиться. Глазу широко, и душе легко.

III

Зачнем рассказ свой с единой рыжей осени.

Вечер обозначил лиловой тучей в закате поздний путь свой. Полнеба в огне, полнеба в пене морской. А по Нюньюгу расползлись туда и сюда огненных колымаг колеи.

На зализанной морем отмели, возле карбасов, сидят два. Колеблет ровный ветер пасмурную зелень моря и немногие былинки, касаясь и головы Егорушкиной, осиянной светлым льном волос. Торчит несуразно у Ириньи под холостинной юбкой выкругливший полной луной живот ее. И это хорошо, что на девятом месяце она. Скоро-скоро, недолго ждать осталось, заплачет маленький на острову. И отмерит Никола рыбной благодати нескупо на сынишку Егорушки, нагоняя рыбу в заливчик подобно весеннему тюленю. Что ж, выедет Егорушка в утрее время, да и подцепит пикшуя пудов на двенадцать... Вот дивень, на таком и в Соловки обыденкой скатать возможно!

Сидят два. Неторопливым ручьем разговор идет. Одиночью не замутить сердец их.

— Сергей-то Яковлич, хорошо, мучки догадался.

— Наказывал я ему про мучку, с весны еще наказывал.

— И сахарку тожь. Для маленького-то ко времени подошло.

— И сахарку.

Золотой буерак в небе из пены вылез. На нем замечательный, неувядающий расцвел раскидисто небывалый огненный цвет.

— Егорушка, слышь, звон идет.

— Зво-он!

— Может, с Кондострова то?.. в набат колотят?

— Пора не пожарная. Вечерний то звон.

Порождая смиренство духа на встречных кораблях, на малых островах, на рыбных ловах, в кораблиных становищах, идет по соленой ряби моря ледяного Саватеево благовестие.

Побурели болотца радужной ржой. Тащут ветры в синие погреба грузные ижемки свинцовых облаков.

А небо великим пожаром журлит, клокочет цветным, как пасхальная в Нели ярманка.

— Иринь, а ведь пора-б ему быть. Когда девятый минет?

Круглым животом ластится к мужу Иринья:

— Пора, пора. Парус ставлю намедни, а он и трепыхается, птенчик-то! Чать, в неделю эту прибудет.

Взрезали тут, там и еще подале зеленую гладь острые, играющих рыбин хребты. Заплескалось, ослепляя, драгоценное, потухающее каменье.

— А назовем-то мы его как?

Егорушка думает:

— Варламом мы его назовем.

— Так ведь, может, девочка придется!..

Машет Егорушка рукой:

— Ну, вот, скажешь тоже, девочка. К чему ж девочка, раз мне в помощнике нужá!

Тихо улыбается Иринья, полузакрыв глаза. Как в бреду:

— И будет он Варлам Егорыч зваться... И будет он на быстрых ёлах по белым морям ходить. Женится...

Радость низошла на нюньюгских двух.

— Шняку себе купит! Намедни в Нели норвежин один, пьяный, шняку свою продавал. Отец сбирался купить, не знаю. Хорошая шняка, птичкой, зря не купил ты!

— Пьяный мне не продавец.

Чайки плещут крыльями по серебру. Идут в закат стадами сгорать золотые невиданные звери.

— А што я думаю, Егорушка... До неба, небось, и в пять годов не дойти, каб лесенку туда приставить? — Хе, жена: откуду-ж плавнику ты на такую лесенку наловишь. Туда лесу прорва пойдет!..

Под простором белых крыльев ночи нюньюгской не цветет, не расцветает алый цвет. Зато невидимо расцветает по Нюньюгу маленькая душа Варлам Егорыча. Ну да, ну конечно! Станет Варлам Егорыч бородатым промысловым купцом, суровым капитаном своей посудине. Будет он низкое небо мачтой веселой ёлы чертить, будет процеживать ветровые потоки парусами, а море карманами. Будут здоровкаться его покрученники со встречными в ледяном море караблями:

— Ма-арк Кузьмичу, на-аше ва-ам!..

— Варлам Егорычу, пожалста, здравствова-ать...

— Как пожива-аешь Варлам Егоры-ыч?

— Ничево-о-с! Никола не забывает да Елисей Сумской...

Нюньюг, ты, Нюньюг, рыжий теленок, унынный ты! Через двадцать восемь дней отстегнут морозы пуговку-клюковку. Выскочит и оглянется белый зверь. Синим, снежным облаком пушистым разволнуется болотная твердь. И замрешь и повянешь под черным небом непроходной ледяной стороны...

IV

Потому ли, что была то пятница первозимнего октября, ночью взбесилось море, взбеленилась буря, закричала больно, как полярный сыч глазастый, в куропачий силок попав.

Словно море зубами скрипело, — трещали, сталкиваясь, в обширных пустынях ледяные тороса. В брюхе у страшного Сядея урчало с голоду, — волны исступленную пляску на отмелях завели.

Ветер слонялся и проваливался в бездонные ржавые кисели. Злился, с маху бил по средине воздуха, по киселям, по рыжему, покорному теленку. А воздух несся и гудел подобно ошкую, ужаленному меткой острогой прямо в глаз.

В такую-то ночь и опросталась Иринья. К утру заплакал маленький Варлам, и громкий плач его сменил трудные стоны Ириньины. И улыбнулась мать, услыша у сердца сыновний голос.

Восписуется в небе первой радостью радость матери, а второю — радость впервые узревшего свет.

...В то же утро пошел Егорушка на колодезь за водой, для надобностей Ириньиных, с бадьей, а вернулся с ношей. Была ноша черна, на голове же напяленный клобук воду высачивал. Сама же ноша кряхтела сильно, словно не Егорушка ее, а она Егорушку тащила.

Повалил ношу на пол:

— Счас вернусь. Пущай полежит человек сей. Бадью захвачу!

Приподнялась Иринья на печке, видит: лежит человек, монах. Облепила черная крашеная холстина занемевший его сухожильный костяк. Растекается лужа по полу, из-под рясы же торчат, узкими носами вверх, на деревянной подошве бахилы. И вот открыл правый свой, потом левый глаз и пошарил Иринью невидящим взглядом и всем животом под намокшей холстиной вздохнул, и встретились взгляды, два. Ребенка от груди оторвав, потому что ахнуло внезапь испуганное сердце, вскрикнула Иринья — выскочили два слова и замерли:

— Ты кто?

Сквозь семерых передних зубов гниль, сквозь рыжую щетину моржовых усов, словно горстка воды перелилась, сказал синеющими губами:

— Слуга богов, Агапий я.

Не остановилась Иринья:

— А черный такой зачем?

Закрылись глаза, ноги колодками обозначились по мокрой рясе, замер деревянный лик, имеющий подобие осенней тундры с чахлым кустиком облетелой, осенней сихи под губой. Лежит безответно морской подарочек, сопит. И вот страшно закричала Иринья, и ребеночек звонко заплакал, ручонками тарахтя, вместе с матерью.

Тут Егорушка взошел. Закидала его Иринья словами:

— Егорушка, зачем он тут?.. — зачем у него глаза голые? Маленький напугался наш...

Бадью на лавку, чебак на гвоздь:

— Буря его к нам выкинула. От Саватея, небось, монашек-то. Пущай, не трожь, приютить надо. Со вчерась лежал, головой сюда, а ноги в воду.

Утро тянулось в окна серым, закрученным в жгут полотенцем. Капала с него по капельке тусклая поганая муть на душу. Днем, когда отобедали:

— Егорушка, ей не лгу, на лукешку он похож! Я на картинке, в девках, у отца видела. Ты б его назад снес, ну его!

Упреком распрямились Егорушкины глаза:

— Зима, куда ему ноне?

— Егорушка, боязно!

— Самой себя бойся, люди ни при чем.

Так и было порешено об Агапии-монахе, в котором сызнова начинало биться сердце.

А на синие берега выползал мочливый ветер. Облака неслись, опускались за краем и наново выбегали с обратной стороны. Туманилась и блекла крайняя черта моря в мелких и частых переметах дождя.

V

Упрямо, угрюмо и гордо, с Успеньева дня дó льду, бороздят крепкими носами промысловые суда в осеннем тумане зыбь. Шарят сети тонкими пальцами по дну, вытягая полезную людскому брюху тварь. Гонит тогда прямо в сети обезумевшую рыбу тюлень.

Большому кораблю все моря от края до краев путь, но Егорушке заказан лишь кусочек тот водного места, у которого сидит домок его.

Вчера сказал Агапий Егорушке, из-за стола встав:

— Конешно, постник я, поелику возмогаю при немощи тела. Однако не желаю и корочку хлебца у тебя задаром есть. Буду тебе помогать в делах твоих.

Ему Егорушка всем сердцем:

— Дело твое. Хлебом не затруднишь, рыба — вон она. А за подмогу спасибо, Иринье с маленьким легче!..

Так говорили вчера. А ныне ходит уж карбас по ярусам, сбирает дань. В карбасе двое, и вторым, на веслах, Агапий. Уж больно дикой он в чебаке-то, — чистое водяное пугало, рыжая голова!

Тянет намокшую, медленно, тяжелую веревку из-за борта Егорушка, Агапий же глушит колотухом несчастливых рыбин. Когда бьет, складываются губы его властно, одна на другую. Плещется рыбная благодать серебряными боками, и все глубже усаживается карбас в упругую зелень вод. А вперемежку, между ярусами, ведут они разговор. Агапия слова суровы и остриями тверды:

— Вы так, значит, без церкви и живете?

— А для ча?

— Для ча, для ча... Грех молить!

Засмеялся Егорушка:

— Гре-ех? А ну тя, монаший ты человек, к богу в рай!

Ходит карбас утюгом. Осенний ветер брызжет пеной над головами, дует свежестью в ноздри рыбаков. Нашел Агапий, что искал:

— Вот смеетесь вы часто. Иринья вчерась в захохот чуть не впала. А Исус, скажи, знали ли смех уста его?

Карбас беззвучно к ярусу подскользнул, снова зашевелился Агапий:

— Тебе правила-т подвижников-то как, жук нагадил?.. паук наплел? Василь Великой смех-от начисто запретил, тебе как?

Кустик под Агапиевой губой к носу задрался, а глаза прижали к доске тихую душу Егорушки. Нет ответа у Егорушки, он молчит.

Под взмахом гибкого весла, в порыве верного ветра идет к берегу рыбарья посудина, внезапным парусом указуя жизнь на дальнем сем море. Когда к берегу подходили, Иринью с младенцем, сидящих на берегу, завидя, молвил Агапий как бы невзначай:

— Дохлый у тебя паренек-то. Не выживет!

Когда говорил, дрожали у него руки крупной дрожью. Когда сказал, семь больших раз и еще два раза завертелась в ветровом водовороте случайная чайка, в смертной судороге упадая на крыло.

Громко закричало Егорушкино сердце: «Зачем ты говоришь мне все это, зачем?»

VI

Затягивает тина морская белых ночей решето. Море темнеет ликом, рыба уходит в глуби, затяжелевшее небо ночью нависает вниз.

Сломала первая метель недолгого лета весло, зашвырнула промысловые суда в серые кораблиные закутки. Гнусавую песню о погибающих в море, о разбивающих душу свою о камень — тянет ветер.

Клочьями мокрого снега рассыпались над Нюньюгом остатки октября. Ледяной коростой устилают морозы свирепым братьям-декабрям путь. Опустели окружные камни, птиц нет.

Приходит ночь, встает ледяное молчанье, — клюковка пала, мороз ей ниточку перегрыз. Начало наступило.

Шаманит тундра, а в мерзлом воздухе олени роют снег. Стоит на сугробной дали Сядей-Махазей вьющимся снежным столпом, слушает, как плачет маленький Варлам Егорыч у отца на заливчике.

Еще он слушает, как поет самоедин в нартах, уныло и длинно на пути к чуму своему:

«У меня триста оленей. У меня к осени будет пятьсот. У меня в чуме много добра. Я убью нерпу и продам Марку, а Марк мне даст водку и острый нож... Я пойду на лед и добуду ошкуя. Будут говорить русаки: "Тяка ошкуя руками задушил". А я буду сидеть на его белой шкуре и точить нож, который мне даст Марк».

Еще он слушает, как колдует в становище Нель потный шаман в душной избе, беспамятно скрежеща ногтями в бубен.

Потом в снежном затишье, — неизвестно: зверь, птица или ветер, — был крик.

Паром застоялась изба. Пар идет из плошки, а в плошке щи. Сидят вкруг три живых человека, с половиной. За половинку считай Варлам Егорыча, друг!

Тянется ручонками на кашу Варлам Егорыч. Тихо внутри себя смеется Егор. Полная материнской гордости, улыбается Иринья.

Как бы просветлившись, берет Агапий на руки ребеночка, кидает, подкидывает вверх-вниз, сам же затягивает грубым, как канат тугой, голосом:

— Ходи в петлю, ходи в ра-ай...

Остановится да подмахнет рукавом — и сызнов, словно и нет у него других песен:

— Ходи-и в дедушкин сарай...

И вот негромко, но все неистовей и громче, зашелся ребячьим плачем Варлам Егорыч. Покраснело голенькое, анисовым яблоком, маленькое тельце. А тот все:

— В петлю... в рай...

Встрепенулся в страхе внезапного понятия монаховой сущности Егорушка и крикнул:

— Не пой, не пой так, Агапий!

А уж поздно было: и смех и горе. Вышло, что замарал ребеночек Агапию черную его рясу ребячьим. Тяжело Агапий, дух переводя, поворочал язык за скулами,

потом хмурую допустил усмешку на деревянное свое лицо.

— Не петь...? а тебе што? Тебе анхимандрит грамоту из Синода прислал, чтоб не петь?

Набежала тучка на слабый Егорушкин умок:

— Да нет, не присылал... Ох, поди, вытри рясу-ту поди снежком. Изместил тебе Варлам Егорыч!

— Что ж, и пойду, и вытру. Не годится на монашьей одеже подобный орнамент носить.

Иринья, ложку бросив, сует Варлам Егорычу полную грудь, но тот кричит, захлебываясь и замирая. Покуда оттирал Агапий шершавым снегом ребячий поминок, зябко топчась на снегу, пришло Егорушке спросить и спросил ввечеру:

— Агапь, ведь ты поп?

— Поп.

— А где-ж он, крест-от, у тебя?

Смиренно опускает глаза Агапий, и неслышно, но слышал Егорушка:

— В море потерял.

VII

Затягивается ночь, как петля, на шее всяческой души.

Спят в избе, а за избой всякие нечаянные звуки сторожит тишина. Шла большая ночь и шла маленькая. Среди той, большой, и среди этой, маленькой, проснулся Егорушка, словно за руку его кто потянул и сказал: выдь и слушай.

В душном сонном мраке похрапывала долгим и ровным храпом Иринья. Не выдалась она ростом, да недаром из колмогорских Андрей Фомич: грудь у Ириньи крепкая и тяжелая... Ей помогал, подхрапывал по мере сил, Варлам Егорыч: отставал, нагонял, опережал даже порою.

Во тьме пощупал место рядом, на полатях, Егор. Заморгал, удивляясь: пусто место, нет Агапия. Соскочил разом, и пимки словно бы сами на ноги ему наделись. Подбросил в очаг поленце на пламенного уголья поту-

хающий тлен. И не скрипнула дверь, и другая в сенях не скрипнула... Вышел и напряг ухо.

Высоко, от моря этого до всех других ледяных морей, шатались, ходили, местами менялись смутные морозные столбы. Была такая тишина, что, кабы крикнуть, не погас бы звук, покуда не устало б слушать ухо. Сердцем угадав за сараем Агапия, пробрался Егорушка, согнулся и выглянул. Не обманулось сердце.

Черный и клобучный стоял голыми коленками в снег, а лицом в поле, Агапий. Руки порой вздымая к полыхающим в небе кострам, звал он кого-то без имени. И то падал всем костяком на разброшенные ладони, то закидывался назад, обнажая деревянное лицо, обостренное мольбой и мукой. Было чудно глазу и непостижно уму видеть такое, и не поверил Егорушка. Схватив снега горсть, сунул в горячую пазуху. Когда же обожгло там холодом, замер, прислушиваясь:

«И еще известил меня дух твой, что Егор с Нюньюга сыном твоим наречется. Не могу преступать путин твоих, но молю: пусть в горниле испытания умудрится дух его. Пусть...»

Не от слов ли безумного Агапия бушевало все сильней и сильней морозное пламя неба?..

«И пусть умрет сын его, Варлам. Пусть порвутся яруса его и лопнут щепьем карбаса его. Пусть останется с единой душой да с телом, как Иов. А тогда ударь его в голову...»

Не дослушал Егорушка, выбежал к заливчику, рухнулся всем лицом в острый снег. Ужалила его стужа тысячью тупых игл в колени, в руки и в лицо. И возопил он голосом, полным дикой тоски:

— Эй-ва, вы там, господин Никола милосливый, Зосим с Саватеем, настоятели, — дайте немому слово сказать. Ничего не боюсь, все пусть! Эй-ва, только бы мне насчет Варлам Егорыча...

Не знал продолженья мольбе своей нюньюгский Егор. Встал. Растаявший снег жег кожу за пазухой. Огляделся: синее безмолвие висит, а ночь идет, а на снегу отчетливы собственные следы.

Вошел, а монах уж на полатях под малицей ворочается. Хриплым спросонья, не своим, голосом, словно

полуда в глотке отпала, закашлялся надрывно Агапий. Прокашлявшись, замолк, и сказал ему Егорушка, как бы оправдываясь:

— До ветру ходил. Светлынь на дворе-то!

Агапий почесал ногу, потом отвечал:

— А я тебя во сне тут видал. Будто снимки с полагушки сымаешь...

С печки сонно спросила Иринья:

— Полагушка-то как, с верхом, ли наполовину?.. не полна, так болесть в дом!..

Агапий не отвечал. Маленький с плачем заискал материной груди. Опять закашлялся монах, колодой подкидываясь на досках. Егор все думал о чем-то и не мог додумать до конца, разума не хватало. А Иринье виделось: идет странник, — сзади крылья, спереди собачья голова. Тут жучок ползет, но странник наступил сапожком и прошел. Вели блистающие крылья собачью голову вперед...

К утру забыла сон свой Иринья, — тому не до снов, кому хлопот полон рот.

VIII

А по прошествии восьми дён весело гудело самопрялково колесо, прыгало проворное в ловкой Ириньиной руке веретено, и тянулась нитка — как ночь, а ночь — как нитка. Длилась та же большая ночь, и не ближе была весна, и не короче пути снегам.

Егорушка из пыжиков шапку Варлам Егорычу кроит. Жадно и сухо горенье Егорушкиных глаз. Агапий повествует на память негромко, водя перстом по воздуху, и глядит глазами в трепетную тьму углов. Коротко и трескуче горенье жира в плошке.

— «...довелось читать в старой книге Вила, игумена Лифазоменского монастыря. В стране, имеющей имя Египт, произошло так. Был там искусный музыкант, Василид по имени. Слава о нем шла до самых Белых Гор. Он радовал уши египетцев чудными песнями из инструмента своего, покуда утробы их наполнялись мерзостями пищи...

...однажды пришел Василид от одного вельможа, осыпанный дарами, сел и почуял мысль о смерти, кото-

рая не спит никогда. Тогда разбил он с плачем дивный свой инструмент, роздал нищим изобильное имущество, сам же сел на горбатого зверя велбуда и поехал к старцу Патфитану, который ушел в пустыню искать скорбь. Приехал и сказал: Авво, укажи путь мне!

...сказал старец: раздай нищим пожитки, приходи ко мне. Я живу в темной змейной пещере. В одном углу живет птица стратон, она приносит мне пищу. В другом — лев, он охраняет меня... Сказал Василид радостно: все оставлено, опустошена жизнь. Нет у меня ничего, кроме как в душе любовь к малой моей дочери. Сказал старец: "Разбей о камень душу. Возвратись и заколи дочь свою и приходи ко мне. Иди и делай».

...погнал Василид велбуда. Трижды останавливался на пути, крича в небо: "Авво, дочь — единый мне свет в близкий канун мрака!" Но молчало ему, и с новой силой загорался в нем дух...

...приехал, вошел в дом и вознес нож над спящей дочерью и не мог сперва. Оглянулся, жутко ища, — не видать нигде, ни в углах, ни под матицей, десницы, протянутой удержать нож. Тогда, крича сердцем, ударяясь душой о камень...

...и вошел нож в дочь его. И умерла та. Снова на велбуде бежал Василид к старцу. Лев облизал ему убившую руку, а птица стратон поклонилась ему. Так разбил душу свою музыкант Василид в рыжей стране Египт...»

Звонко-звонко тут зашелся маленький на печке, подтвердило ветром в трубе. Ахнул, на пол приседая, Егорушка, визгнула с разбегу самопрялка, замертвевшим колесом порывая нитку. Пошел Агапий к ушату, зачерпнул ковшом и выпил, потом вбил последний гвоздь лжи своей:

— Справедливы дела времен прошлых во вся дни!

Склоняясь головой, спросил Егорушка с надеждой:

— Хорошо сказываешь, как по книге. А старик твой безумный что?

Нехотя продолжил Агапий:

— Старец-то? А когда нагнулся Патфитан обнять Василида, возрыдавшего перед ним, не принял тот поцелуя. Вскочил Василид и проклял имя бога Патфитанова. И до конца дней ходил он по земле, сам себя отвергая от путей к небу.

Расступилась тишина и в нее вошел клином стон Егорушки:

— Как же все вышло-то так?

Словно прямую черту провел, отрезал монах:

— Так вот оно и получилося.

IX

Каб родился Исус не в Вифлеемской земле, а на Нюньюгской, не пришли б к нему волхвы на поклоненье. Но пришел бы Егорушка, принес бы пикшуя в пуд. Пришла б бобылка Мавра из Нели, принесла б морошки лукошко да клюквы короба два. Пришел бы самоедин Тяка, третьим пришел бы, подарил бы Исусу пимки малюсеньки да песенку б спел про себя, про Тяку веселого.

Днесь рождается царь на Нюньюге, Исус имя ему. А морозы белыми козлами тундру жуют в тишине Вифлеема нюньюгского. И гуляет, гуляет по всей бескрайней снежной глубине легкий вьюжный вьюнок, белый медвежонок.

В полночь выходили Агапий и Егорушка с женой к снегам петь о Рождестве. Христосовали, стоя лицом к востоку. Егорушка смотрел в ночь и все хотел легким тенорком поусердствовать, Агапий же скрипел, словно бочку-тресковку с дробью по земле катал, пугая Варлам Егорыча, сидящего на руках Ириньи... Выходило так: два младенчика — быть одному из них рыбаком, быть другому царем. Поймает рыбак рыбу и принесет царю.

Но к пробужденью упала та звезда, которая с Вифлеемской собиралась в шаг идти: заболел Варлам Егорыч. Лежал, хрипло надувая тяжелым воздухом живот, Егорушкин первенец, борола его болезнь. А был ли то утин, или горлянка, или черный монаший сглаз, не дознаться было. Каялась после ужина мужу Иринья:

— Мыла его, побежала... стукнул кто-бысь в окошко, дверь не прикрыла...

Но молчал Егорушка, обезумел в нем дух. Не переставала течь бабьими неутешными слезами Иринья. Восписуется в небе первым горем горе матери, а вторым — закрывающего навек глаза.

Запоздно, перед сном, подкараулил Егорушка Агапия в сенцах:

— Слушай, Агап. Я помру — сгнию, ты помрешь — лишний чин примешь. Но съели б рыбы тебя и праведность твою, когда б не я о прошлую осень!..

Спросил Агапий:

— Жалости просишь?

— Не жалости, а правды. Был ты слаб, а я силен, теперь я слаб...

Усмехнулся Агапий:

— В хлебе попрекаешь?

— Не в хлебе, а к разговору токмо...

— То-то, к разговору! Вспомни Василида и не дай умереть душе.

После чего внезапно чихнул Агапий и вышел в дверь.

X

Вот пошли двое на тюлений лов: ходили долго, видели лед, не видать было зверя. Держали остроги да крючья наготове, а некого было бить. Уж собирался назад Егорушка, как вдруг выникнул из промыва усатый мурластый морж... Хотел бежать морж, да замешкался самую малость. Тут и зашвырнул ему Агапий острогу в угон. Вскорости был морж положен на санки и волочен к дому.

Егорушке с утра, как встал, сердце щемит. Ныне же, идя с монахом по охотничьей узкой тропке, постигает Егорушка неисповедимые пути Агапиевой справедливости... Важно, как сосуд небесный, несет Агапий свою голову. Глуха и торжественна речь его:

—...затрубят витые трубы на низкие лады. Восстанут моря от лон, упадут на города. И будь ты хоть солдат, хоть праведник, аль в новехоньких полсапожках, все мы снидемся тамо, на страшное господнее судилище...

Покорно тащит тяжелые сани по еле заметной тропке Агапиев слушатель. Зубчатой ледяной стеной, золотым гребнем, радужной лентой возгорается и перебегает небо. Смотрит мертвый морж в ночь, а ночь идет над ним спокойная, ровная, не в обхват большая, бесшумная, как на лыжах.

—... утренней зари сам Савоф. Солнце покажет красный язык и умрет, — тут уж не надо солнца! Выйдут силы и тьмы и протянут над миром мечи свои и сабли. А в мире будут стоять тьмы и толпы народу всякого, мужики и бабы. Изыдет Сын и сядет одесную...

Очи широко в снежную тьму раскрыв, остановился Егорушка, изнемогло в нем сердце. Остановился и монах. Рукой в варежке так и рубит он морозный, тугой воздух.

—...отец сыну. И повторят горы речь его: «Сын мой, Исус. Ты приходил к ним светом тихим, а они гвоздями тебя... Ты висел, Исусенька, страдая и зовя, а я сидел вон на том облаке да бороду себе рвал. Не мог я остановить пути твоего. Ныне ж пришел я распять их...

Ждет Егорушка, шатает его. Словно оловом каплет жидким Агапий на голый череп Егорушкиной души.

—... и промолчит Исус...

— Врешь!! Ты мне вчера то же ко сну говорил, и я тебе не верил...

Так закричало неистово ущемленное Егорушкино сердце. Весь трепеща крупной задрожью, бросил себя камнем в сугроб, ища там приюта помутившемуся взору своему. Склонясь над кричащим человеком острова Нюньюга, шептал глухо и страшно Агапий:

— Успокойсь, парень! Тебя он в перву голову к себе призовет. Подь, скажет, Егорушка, ко мне на два слова...

Стеная, навзрыд кричал человек в снегу:

— Не хочу, не хочу. Пускай моего Варлам Егорыча назад берет!..

Долго они так: один кричал, другой уговаривал.

А когда подъезжали к дому с моржом, выскочила с воем простоволосая Иринья. Закатились у ней глаза. Крепко прижав к полной напрасным теперь молоком груди голенького Варлам Егорыча, завизжала, порезая безмолвие ледяное криком, как ножом, — завизжала сильно:

— Помер!! Варлам Егорыч помер...

Запушила пена Ириньины губы, и упала баба, не сгибаясь, наземь и загрызла зло и жадно снег. А Варлам Егорыч, богатый промысловый купец, скатился к санкам и там застыл личонком вверх.

Неугасимо колебались в безветренних вышних пустынях желтые и в прозелень синие широкие столбы.

Подуло холодом. Бормотал Агапий молитву, избавляющую от удара. Иринья лежала, как спала, а поодаль, заснувшая навек, лежала мертвенькая благостынька нюньюгского рыбаря.

Не знал, где потерял свою ушанку, Егорушка. Все силился вспомнить и не мог. А вдруг увидел: шевельнул мертвый морж оскаленным, закровянившимся клыком и вроде подмигнул тот, другой, рядом.

Два дня, раскинув руки по снегу, выла баба на острову.

XI

Загоготала малица, спрыгнула с нарт. За ней совик прет, кулек несет, порядочный кулек.

— И-га-го! Здорово, кобелики! Стречай тестя, кунья голова...

Олени паром зашлись, заморил их Андрей Фомич, чуть хорей не поломал, в зады им тычучи. Вошла малица в дом, легла малица задом на пол.

— Стаскивай малицу-т! Какой ты есть зять? Ох, да рук-то пожалей, небось, самовару и тому рук жалеешь... А я еще бегаю, живой и-га-го!

Соскочила малица с крикуна, очутился в избе толстый мужчина, корноухий, — пьяного семь лет назад сова цапнула, сам сказывал.

Андрей Фомич все лицо Иринье мокрыми усами и бородищей закрыл.

— Грешен человек, до баб я слаб, слаб — зато и ласков.

Егорушке руку повертел.

— С чего, паря, стоишь, как помороженный?

Руку повертел и всего прижал, обжигая винным духом щеку. Увидел монаха, устремился на него залпом:

— Монах-в-клобуке, Енарал Кузмичу. Здорово, чудак-рыбий-глаз, отвечай — здравия желаю!!

Обиделся Агапий:

— Я тебе, купец, не рыбий глаз, а слуга бóгов.

Загрохотало, словно телега с бочками опрокинулась. Кланяется купец низко, рукой до земли:

— О! Когда так, отцу-монаху мир, пойдем в трахтир! Молчу, молчу, отбрил во все концы...

А сам Егорушке на ухо:

— Хорош у тебя работничек, этакий отпоет, и не услышишь!

Вдруг огляделся Андрей Фомич:

— Да вы что, рыбья чума вас одолела?

Отвечает за всех Иринья, всхлипывая и глядя в пол:

— У нас тут ребеночек помер, четвертый день нынче, как зарыли...

Не понимает Андрей Фомич.

— Я что-то не пойму, чей ребеночек?.. монахов?

Будь у Агапия рот пошире, проглотил бы купца и с пимками и с ремешками. Иринья:

— Не-е... наш ребеночек, Варла-ам Егорыч!

Помолчала Андрей-Фомичева туша, хлюпнула раздумчиво губой и вновь смехом разъехалась.

— И-га-го, греховодники, а я то думал... Выходит — ладил тесть на Новый год, попал на поминки. Та-ак! Помянем, помянем молодого человека. Эй, чернота, кадило найдется?

Пуще насупился ушатом черный клобук:

— Отстань, ответишь.

Взыгрался Андрей Фомич:

— Ох, да не гляди ты сычом на меня, еще напужаешь. Вишь, я слабенькой, меня вострым взглядом насквозь проткнешь! Но какой же, однако, есть ты монах, бескадильный-то? Жулье, один водопровод, значит! Ты не серчай, нечего тут. Андрей Фомич сразу видит: духовный финьян, альбо гусь лежалый! О-он ви-идит!!

И одним толстым указательным перстом с серебряным обручем покачал Андрей Фомич перед самым носом обозленного Агапия. Все молчали и сопели. Вдруг у тестя недоумок на веселую половицу встал:

— Эха, уж и накачаю я вас ноне. Чтоб в голове шумело и в пятках темно было, накачаю! Григорий, ты што-о гробовиком в дверях стынешь? Вынай балалайку, куль разгружай. Балалайка-то цела? Я надысь чуть голову Гришке балалайкой не пробил, баловаться винишком стал. А ну,

дай ему, дочка, посудинку под водку. Э, да нет, покрупней тащи! Давай сюда, в чем младенца крестили, во!

Над Нюньюгом в небе вдруг погасли огни. За Нюньюгом в море ухнуло отдаленно, и узкорылый серый зверь стал красться обходом на избу. Вязкие и низкие, над самой головой, скрутились жгутами тучи. Будто ударило по барабану, заплясал передний вал, прищелкивая ветром. Собаками зарычали овраги. Поднялась тундра...

А в избе затихло. Сердце просит упокоя, стонет жалобно душа. Булькает ледяная водка в выпрямленное Егорушкино горло. Вскакивает он и опять садится. Всем своим объемистым животом налез на него через стол пьяный тесть.

— Как, жжется?

— Ух, Андрей Фомич, здорово жжется!

— Так, воистину. Селедочки возьми, а то и семужки. Ну как, играет?

— Играет, Андрей Фомич, очень. Чихнуть охота!

— Ничего, чихни... На, пей еще. Да сразу, как из ружья стреляют, пей!

Булькают, друг на дружку налезая, глоткú. Руки потирает, языком щелкает Андрей Фомич. Жадно глядит в винную посудину полупьяный Агапий. Иринья кашляет, жалобно и стыдливо загораживаясь кулачком. Всю душу навыверт вытряхивает Андрей Фомич: — Пей, дочка, нако тебе вот наперсточек, не ломайсь! Был бы муж, а ребята будут... Эх, глядеть на вас — глаза ломит. Рази в наше время так пили? Моему дядьке под Кемью ворон глаз клевал, а он и не слышал, выпимши! Вон как у нас... А ты, Гришка, ну махни по струнам, приходите девки к нам. Шпарь, и жарь, и самоварь... А ну!

А за стеною свирепеют дали. Первым ударом в бок избы опрокинулся ветрового прибоя вал. Снеговые колеса заскакали по тундре бешено. Белые козлы по пятеро в ряду копают снег. Ах, и как тут не пить, как тут не кричать, головой не биться о каменные локотки, коль от земли до неба полтора вершка!.. Потому и душе приволье, хоть рассудку и теснота. Весь клокочет, распухая от хмеля, тесть:

— Даве еду... и-га-го! над Выксунью, а изо льда личность на мене глядит. Я ему — ты что, черрт?! А он мне —

бя-а, бараном, сволочь, ословый хвост! Напужать мене хотел, умо-ора...

Иринья, с непривычки хмельная, Егорушку за шею потными голыми руками обняв, лопочет, а глаза у ней смутные:

— Егорушка, другой у меня скоро... Варлам Егорыч будет... Чую, будет!

Трудно лоб наморщив и губы поджав, отстраняется Егорушка:

— Не трожь, не трожь...

И Агапий — налилась бесстыжая слякоть в небесный сосуд. Кряхтит он на ухо Егорушке:

— Плюнь ей в глаза, срамотной. Другую завтра у бога вымолим, плюнь!

Гуляет и уж пляшет в одиночку Андрей Фомича живот:

— Вот, я ему: ты что, черрт..? А он мне... Эй, Гришка, поддай, поддай, а то ноги стынут. Дочка, становись! Андрей сам Фомич плясать будет. Вы рази мужики? Вы кто? Кобеляточки ... А я? А я — будьте здоровы! И-га-го...

Подмахивает платочком Иринья, бабьим озорством глаза налились. Похаживают Ириньины пимки по кругу, —дзинь,брынь,тарарынь, ты пляши, пляши, Иринь! Агапий палец грызет. А Гришка, потный весь и очумелый, вконец балалайку меж ног задавил. Пищат струнки от такого обращения, а одна все навзрыд, навзрыд прыгает. Поддудакивает балалайке тесть кулаками по собственному брюху, стаканы зеленым звоном звенят. А вот и сам пошел...

Бурлит во тьме за стеною снежная яростная пьянь. Карбасу лежать невмоготу стало, пляшет и он, кружит восьмеркой по берегу. Сдвигаются тороса теснее в груду хороводной оравой на Нюньюг... Держись, Нюньюг, держись, малый, держись, кунья голова!.. Дым коромыслом, спина горбом. Андрей Фомич вприсядку, брюхом по полу, идет. Не рак клешнем, не морж хвостом, — ногами половицы разметает на стороны тесть.

Застекляневшими глазами смотрит захмелевший Егорушка, видит нехорошо. Нависая над деревянной бадейкой, приплясывает на подвесе глиняный рукомойник, отфыркиваясь водой во все концы... И вот в захо-

хот впал Егорушка, бьется о стол, волосами по винным лужам, по селедочным костям. Но сразу тишиной их накрыло всех. Вскочил Агапий, второпях напяливая на голые глаза клобук.

— Стой, стань, купец! Баба, застынь! Я теперь буду, я вам фок-пок покажу, вот допью только. Счас, счас... будет вам чудо-юдо по половичке гулять!

Тинькнула порванной струной, срыву замирая, балалайка. Сизым удушьем задымила новая лучина. Вылупились в тревожном ожиданье три пары пьяных глаз, Гришка — тверезый, черт. Берет Агапий стакан, полный в обрез водой, шатко ставит на клобук, замирает весь, даже глазом не поводит застылым:

— Ну... пьян? Пьян. Донесу?.. донесу!

В тишине, подобной волчьей стойке, делает Агапий первый шаг. Остановился: половичка, не дергайся! Вновь остановился: не сплеснись! Мерит Агапий косым глазом четвертый намеченный шаг.

Исподлобья, недоверчиво глядит Андрей Фомич. Ворот расстегнул. Бродит в нем водка синим пламенем. Иринья, за рукав мужа схватив, пугливо ждет. В Егорушке замедлилось дыханье, тени от лучины резко пролегли по лицу.

Посинели губы у Агапа, — пятый. Закруглились брови, — шестой. Бегут капельки пота из-под клобука, повисают на губах. И тут ахнул навскрик Егорушка, не выдержал, а лицо руками запахнул. Грузно — как у него лоб кровью не лопнул? — вскочил Андрей Фомич, рванул как на покрученника в мурманску страду:

— Хватит... черт!!

Тогда закачался стакан на монаховом клобуке и вдруг ахнул брызгами стекла и воды по полу, вразлет. С виноватостью глядел протрезвившийся Агапий. Нехорошее молчанье вошло посреди людей. И, точно дырку желая заштопать в распьянющей этой ночи, высоким голосом грянул было песню Агапий, но сломалось веселье. В избе захолодало. Хмурый, не глядя никому в глаза, напяливал на себя поддевку тесть.

— Сунь, Гришк, балалайку-те в мешок. Наигрались, хватит. Эй, зять, баба с дуплом, подушку давай, я тут на лавке пристроюсь. Ох, ты мне, ословый хвост!

Сонными, выгоревшими в винном пару глазами, словно разбуженная, глядела Иринья, как подгибался на сторону черный и тонкий уголь лучины.

XII

Бегут дни, а незаметно, что бегут. Как ни глянь — все ночь, как ни кинь — все темь. Тундра спит, еле тлеет под снегами тихая лампадка единой земной радости за полуночной чертой, — клюковка.

Поет самоедин в тундре:

«Сказал Сядей Тяке: “Тяка, хочешь быть солнцем?” Сказал Тяка Сядею: “Нет”. Спросил Сядей Тяку: “Ты будешь резв, как собака, а красив как олень, — зачем не хочешь?” Ответил Тяка Сядею: “Потому что Тяка я!..”»

По льдам, обреченным на таянье, по снегам, по водам, где есть, проходят странных трое: Трифон из Печенги, Иринарх Соловецкий, Елисей Сумской. Украшается бытие твари нюньюгской радостным благовестием о приходе вешнем.

XIII

Средь глубокого сна, когда по голубому в тонком плывешь, вышло, будто разбудил Агапий Егорушку. В пимах и совике, весь готовый, сказал он Егорушке:

— Слышь-ко, птицы человечьи счас полетят. И нам пора...

Сонно и покорно отвечал Егорушка, из сна пробуждаясь в сон:

— Пойдем.

Скуп и резок Агапиев голос. Наспех оделся Егорушка, с порога оглянулся назад. Сквозь вершковые наросты на окне пробивались на лавку невнятные лучи ночи. В свете ее валялись недошитые на лавке Варлам-Егорычевы пыжики. Дернулось злоба поперек Егорушкиной души, но оглянулся на него Агапий с суровой укоризной. Смолчал Егорушка, и только проглотил соленые непрошеные слезы.

Вышли, пошли. Неведные, чуть не заячьи тропки ведут их. Лыжами до первого таянья будет обозначен по снегу к месту гибели Егорушкиной нечеткий, лукавый путь. Вот поднимаются в гору — кольцом черная, спускаются с горы — обступила ночь. На восточной тупине, у сосны, стоящей в одиночье и слушающей песни нюньюгского ветра, сказал Агапий, приближая деревянное лицо свое к запустевшим Егорушкиным очам:

— Как полетят, хватайся за птичью ногу-то, лети. А в тех птичьих краях, куда лететь, там твой-то в голубенькой рубашке, поясок шелкóвый, а волосики расчесаны, ходит. Там-то золоты яблочки на серебряных деревах растут! И я туда, за тобой...

Не смекает речей монаховых Егорушка, присел в снег, голову закинул, ждет. Небо черное, как для бега ровное, матерь холода и ночи, насело вниз. В снег же опустился монах. Так сидели. Много ли ночи протекло — некому было мерять.

— Ну, летят. Не бойсь, парень, только б захватиться крепчай!

Тут приблизилось движенье воздуха и крякот низких птичьих голосов. Мерно и грузно хлопанье тяжелых птичьих крыл. Еще тут крохотный кусочек ночи скользнул. Вдруг просунулась в синем мраке шумная, низколетящая стая медленных белых птиц. Вперяет в гудящую мглу измученный, ждущий взгляд свой Егорушка, — закосились вконец глаза, заломились брови, как женские над головою руки, — видит: летят впереди пять белых птиц человечьих снов — у них головы как палки, а глаза мертвые — недвижные, глядят в ночь.

— К последнему, к последнему цепись, — так шипит Агапий и головой трясет и за плечо Егорушкино хватился крепко.

Мрак синь и широк, а птицы и белы, черны и розовы. Взмахи крыл шумны, а ночь ровным-ровна. Метнулся Егорушка со снегу, с маху вцепился обеими за корявую холодную ногу, проносимую в согнутом положении, подтянулся и застыл, неживой. Подивилась птица сонным кряхтом, и вся стая повернулась мертвыми глазами, — не нашли; мерно поднялись ввысь, к потолку неба, понес-

ли. Холодом и пустотой ударило Егорушку в лицо, было здесь еще синее — слепительная, бескрайнего, ледяного покоя синь. Тут его крылом задело, как огибала птица синий в небе холм. Зажмурился и застонал Егорушка и рот раскрыл от боли, а сбоку Агапий:

— Не кричи, парень, не кричи... всякий крик тут попусту.

Рядышком, к ногам длинной, худящей, остроклювой птицы нацепясь, летел головой вперед, разметаясь по небу заиндевелым совиком, Агапий. Самое небо скользило над ихними головами, веяло стужей смерти, обступало каменной стеной. Чиркали порой остроперые крылья по небесной черноте, обдавало лица ледяной пылью, коченели тела двух, летящих к небывалой Варлам-Егорычевой стороне.

— У меня, Агапь, руки зашлись... — скрипливо покричал Егорушка.

— А у меня конь-от тощ попал, сдавать стал, не жирен... — в голос ему Агапий, половчей перехватываясь за облезлую птичью длинную шею и паром дыша.

Так они летели из мрака в мрак, из холода в холод, ледяное небо плыло, а птицы стрункой, как низаные, направляли к дальнему краю широкие весла крыл. И тут пришло Егорушке вниз глянуть. Что там позади остается, как там земля пошла? И подогнул голову и бросил вниз взор свой...

Увидел он ночные ровни, выстланные снегом. Моря увидел он, — они крутились как бы на осях, и слали неумолчные льды во все края... Глушь и пустоты увидел, где жил и ждал Варлам Егорыча, ныне гуляющего в голубенькой рубашке по берегам небывалых рек. И всходило с восточного конца весеннее солнце, и было прекрасно, и таяла вместе с весенним снегом душа, и как бы хотелось вырасти, чтоб заполнить самим собою безвоздушную ледяную пустоту. В неугасимой тоске безумия своего навзрыд закричал Егорушка:

— А-а-а... Птицы-птицы!

Обернулся конь Егорушкин и стебнул черным клювом прямо в голое темя, — давно провалилась в снежный низ шапка Егорушкина, когда летели не то над морской пучиной, не то над глубокой дыркой в пустоте. Руки рас-

кидывая от острой зловещей боли, ринулся Егорушка вниз. Воздухи его подхватили, вертали задом и передом, кидали в сторону и, сжалясь, с маху метнули вниз. Внизу было море, — оно позыбилось и расступилось, впуская в себя. В море и заглох крик нехотения Егорушкина, как заглох в поднебесьях сонный крякот сонных птиц.

Страшного крика мужнина не слыхала спящая Иринья.

XIV

Трижды радостная проходит за полуночной чертой весна. Робкие, нечаянные зори осеняют не сгинувшие покуда льды.

Вечером первой белой ночи сидят трое на берегу, на серой отмели. Агапий сидит поодаль и все раскидывает — пришли в Нель весенние корабли, ли нет. Ветер идет над ними сильный, он ест снега, гонит льды, треплет черную тряпку монахова клобука.

Голову спрятав в коленях жены, безмысленно смотрит в серо-синее небо Егорушка и слушает Ириньину песню:

Брателка Романа убили-и,
В серы-ый мох схорони-или...

Не слышно ни для кого зацветает клюква на голом лице болот. Не наступи на нее, идущий на зверя: пожалей, брат!

Вдруг вскакивает Егорушка и кричит:

— ...и станет он Варлам Егорыч зваться!

Голову от земли подымает монах.

— Завтра идти мне в Нель. Пора кораблям. Саватей гневается...

Иринья, — отцвели у Ириньи губы:

— В Нели-то скажи отцу, чтоб наведался. Придавило, мол.

Монах:

— Скажу, зачем не сказать. А вы молитесь чаще, оно помогает.

Иринья, острым взглядом щупая щебневой на отмели камешек:

— Помолимся!

Пожаром встает незаходимое. Бегут волны и тают на песке. Ветры гудят в высотах. Чайкам привольно, глазу широко, а душе легко?..

Март 1922

ТУАТАМУР

I

Арба, имеющая две оглобли, идет прямо и хорошо. Арба моего счастья имела только одну.

Мать моя — Зенбиль-ханым. Верблюд, который принес мою жизнь, унес ее. Она была из поколения Кенкит. Она была бурджигин. Я — сын Дарбутая, который был сын Аймура, сына Ярим-Шир-Букангу, — мир ему. Я родился на месте Кадан-Тайши, где потом в семидесяти котлах варил Чингис мятежных тайджутов, где за полосами рыжего песку лежит белая гора, — ее зовут Кунукмар, потому что она все равно что нос большого убитого человека.

Когда родился я, никто не сказал: «Вот родился, который будет счастлив, у него голубое лицо». Но все говорили: «Вот родился улуг-дудурга», — так как в руке моей был зажат комок крови. И потому я плакал тогда так сильно.

Я — Туатамур, тенебис-курнук и посох Чингиса. Это я, чья нога топтала земли, лежащие по обе стороны той средины, которая есть средина всему. Это я, который пронес огонь и страх от Хоросана до Астрабада, от Тангута до земли Алтан-хана, который сгорел в огне.

Мы — тьма, мы идем твердо. Это я, который вместе с Джучи-ханом, сыном Солнца, уничтожил имя страны Тумат, где сидел сильный Татула-Сукар, и попалил землю найманов. Вместе с Джагатаем, который убит у стен Бамиана, я измерил высоты гор глупых меркитов. Токтабики бежал к найманскому Буюруку, а потом за Ыртышь. Я догнал, я зарыл его в землю. Сабля Тули-хана и моя сарцинская сабля выбрили наголо поля выносливых джурджитов, поклоняющихся камню и умеющих

делать из овечьего молока напиток, который поднимает уставшего в бою. Копыта моих коней растоптали зеленые равнины джабдалов, — у них кожа черна от солнца, они умеют камнем пробить грудь врагу на расстоянии пяти полетов копья.

Я сказал, — вот одиннадцать султанов, двенадцатым султан Эврума, платят исправно ясак в сорок тысяч эшрефов каждый год. Я ударил, — вот балдакский кариф стал ежегодно присылать тюки серебряных мискалей, стада верблюдов, много алого сукна, бахты и ковров. Я сказал и ударил, — вот галапский султан, Сари-Махмуд, отдал Чингису дочь, ее имя Сероктен, она была подобна луне. Когда отдавал — плакал и ел землю, но Сероктен родила Ытмарь. Да будет неувядание красоты ее всюду, и там, куда ушла!

Я — Туатамур, тень смерти и радость каана. Я приносил ему добычу и те цветы, какие есть в степях. Каан любил меня, покуда не выпали мои острые зубы и не взошла над степями гордая звезда Кирагая-юлаши.

И вот я лежу у шатра чужой жены, солнце лижет мне темя, а если бы хвост был у меня, — я вилял бы им, потому что — ныне кто назовет меня иначе, чем дряхлой собакой Чингиса, ушедшего в закат?

Вот слушайте: я любил Ытмарь, дочь хакана. Чингис, покоритель концов, — да не узнают печали очи его, закрывшиеся, как цветы дерисунха, на ночь, чтоб раскрыться утром! — отдал бы ее мне. Это я, который снял бы с нее покрывало девства, когда б не тот, из стороны, богатой реками, Орус, который был моложе и которого борода была подобна русому шелку, а глаза — отшлифованному голубому камню из лукоморий Хорезма.

Пусть засыплют песком мою кровь, — слушайте! Так говорит Туатамур, последняя собака и тень Чингиса.

II

Ытмарь, дочь каана!

Она не носила кызыл-джаулык, ее волосы видели все, кто хотел видеть. Они были черны и свешивались с седла. Но ее лук весил десять батманов.

Ытмарь, — она была гибка, как павлинья джига праздничного феса мурзы. Она скакала по степи верхом, быстрая, подобная камню, выпущенному из пращи. Никакой ветер не мог ссадить ее со скакуна.

Она не страшилась боли нисколько. Аммэна, — когда тяжелая стрела найманского барласа приколола ступню ее к боку лошади, — я видел: поднялся на дыбы ужаленный жеребец, усмешкой удлинились губы Ытмари. Тогда догадался я, что пьяны и сладки поцелуи Ытмари, как первое молоко кобылиц.

Ее внимательно слушали в собраниях грая древние мурзы и атабеки, качая вышитыми тубетеями, — не потому только, что была она дочь каана.

Смятые, растерявшие стрелы и надежды, ряды моих дада, моих нукеров, устремлялись вперед по ее первому зову — не потому только, что был ее голос тверд, как красный камень в тюрбане хоросанского Джелла-леддина, и нежен, как качанье бубенца в теплом ветре весны.

Бросался, распахнув руки, на копья трех Мстиславов, ища смерти, Туатамур, — не потому только, что надоело старому тенебису-дудырге видеть, как, прекрасная, орошает сожженную степь луна, и слушать, как мурлычет на вечернем ложе любовную песню маленькая Бласмышь, прося ласки.

Ытмарь, дочь каана! Когда б хаканом я был, я прославил бы с минаретов Хорезма губы твои. Я выбрал бы среди молодых земли — красивейшего, я вырвал бы сердце из него, чтоб не смело оно биться для другой.

Дочь каана!

III

В год Коровы, когда кибитка третьего полнолунья той осени остановилась над улусами Иллиджака, — Дурбан, инак хакана, пришел в мой шатер и сказал:

— Великий хакан хочет, чтобы Туатамур, тенебис, пришел к хакану.

Я встал. Я надел синюю джапанчу. Я пошел в шатер каана.

Тогда был вечер, как и теперь. Невдалеке за ордой, по ту сторону стана, плакала в сукае ночная птица. Был треск, — бурханы били в две палки, а в стане звонко доили кобылиц.

Я распахнул белый занавес. Я трижды упал ниц. Я поднял голову. Я увидел хакана. Чингис — мир ему! — лежал на ложе из белого войлока и глядел в прорезь шатра. Он думал. За шатром ночь вышивала небо бисером, подобно Ытмари, которая возле хаканского тахта вышивала синий халат отцу. Она вышивала турпана, пожирающего птенца. Она не взглянула на меня. Она журчала песню неполным голосом, а мне показалось, что моя Бласмышь поет эту песню лучше, чем Ытмарь. Тогда Туатамур еще ласкал Бласмышь и тех тридцать, которые баюкали сон Туатамура, а среди них Нунашь.

Вот я сел на войлок. Я сказал:

— Да будет свято имя твоей матери, которое есть Улунь.

Потом я молчал, опустив голову. Вот я услышал слова каана:

— Туатамур, верный мой! Везирь Киренен сказал вчера так: в направлении стрелы третьего Разбойника ночного неба живет буйное племя Дешт-Кипча. Они не платят нам ежегодно двадцать тысяч котловых овец, они не слыхали полетов наших стрел... Ты пойдешь туда. Ты возьмешь с собой Джебе и Субут-бия. Первый молод, второй стар. Решимость и хитрость — буякши!

Я стал думать. Когда бывает третье полнолунье осени, тогда надо ждать первого новолунья зимы. Когда бывает зимний ветер — коням трудно рыть снег, людям скрывать следы, стреле летать далеко. Пятигодовалый верблюд сломает ногу, если попадет в мышиную нору. Я сказал про это каану.

Чингис — мир ему и радость сада! — раздумчиво теребил гагатовую пуговицу халата. Он закрыл глаза и запахнул халат. По халату были черные и красные полосы: одна — черная, другая — красная, но между ними белая звезда. Справа Чингиса сидела Бурте-Кугинь, мать сыновей, и та, черноволосая Кенджу, которою хотел откупиться Алтан.

Я повторил про верблюда. Тут вскочила Ытмарь. Женщина скорее дабылбаз укроет у себя за пазухой, не-

жели крупинку гнева в глазах! Я удивился: у меня было много шрамов от залеченных ран, а рана сообщает воину бóльшую мудрость, нежели женщине ее красивость. Она крикнула:

— Тенебис! Мне говорили мои разведчики: туда девяносто дней езды. Весна принесет победу. С тобой хакан отпустит меня, а — где я, там не бывает кривого удара стрелы. Ты не так стар, чтобы бояться, что кости заболят от долгой езды!

Мне было тогда лет четыре с половиной раза по двенадцать. Я взял городов втрое, а ран у меня — вчетверо. Я сжег Нишабур и Термиз. Я пробил стены Балха и Бедехшана. Я снял ворота с Конкирата. Расстояние между моими ногами было в пятьдесят фарсангов. Я был батырь-дудурга.

Но я склонился с покорностью верного к подножью престола. Чингис любил Ытмарь. Хга, никто не знает счета своим будущим дням!

Я спросил:

— Когда прикажешь, хакан, созвать курултай?

Каан сказал:

— Сегодня в ночь.

Я повторил:

— Сегодня в ночь. Эйе! Когда поход?

Чингис сказал:

— Завтра, — когда Железный Кол наклонится над юртом.

Я повторил:

— Завтра.

А Ытмарь хлопнула в ладоши, и клубок синего шелка, ненужный в военном обиходе, покатился прочь.

— Завтра на рассвете бить в большой барабан.

Я встал. Я отдал приветствие. Я пошел домой. Ночь проходила светлая и чистая, словно омытая верблюжьим молоком. У костров говорили про меня.

Один сказал:

— Вот идет Туатамур-воитель.

Другой добавил:

— Он суров. Его брови соединились, как половинки лука, у которого натянута тетива. Это сулит поход.

А третий шепнул:

— Поход? Буякши! Война дает добычу, а добыча — новую войну.

Я думал: трудна равнина зимой. Я знал многое, но не знал до конца. Это хорошо, что не знал. Познанье конца расслабляет героя. Я был герой, я мог сильным кулаком сваю вколотить в песок, мокрый после дождя, но я был рожден женщиной. Рожденный женщиной не живет, когда пробито сердце насквозь. Аммэна, Туатамур — сильный батырь Чингисовых улусов. Он мог ломать четырнадцать связанных вместе копий ударом о колено.

Вот слушайте: я переварился в боях, как ячменное зерно в брюхе верблюда! Я лежу у шатра чужой жены. Мне трудно поднять высохшую руку, чтобы взять чашку кумыза, которую мне дает Иналь-ханым. Солнце лижет мне голое темя, а ночь насыпает на грудь холодный песок. Кто даст хоть один пул, пробитый ножом, за голову Туатамура?

Мин улымь!

IV

Поутру, когда звездное соединенье Уркура спешило спрятаться в голубой траве, барабанный бой разбудил солнце. Оно, хромая, поползло над ордой. Заржали кони поутру. Скрипуче запели кибитки и арбы. Загыкали встревоженные верблюды с бараньими жирными тушами и с тяжелыми тушами стенобитных баранов. Столпились стада за рвами, гурты и табуны. Все ждали, пока хакан не взмахнет тупой каанской саблей и не крикнет священного слова: алдында.

Я посмотрел на луну. Она желтой коровой уходила в розовое большое облако, обещавшее кровавый дождь. Я посмотрел кругом. Складками серого грязного войлока, затоптанного тьмой, лежала равнина. Я посмотрел на Чингиса — мир ему! Он не спал в ту ночь, но искры не потухли в его глазах, а на лбу и в углах рта, скошенного решимостью, запечатлелась мудрость Худды. Ему было уже много лет, — пять Мышей пробежали в небе, и чуткое ухо слышало ровный трепет крыльев разлучающей навсегда.

Вот он огляделся. Вот крикнул:

— Алдында! Кагер тушсун душманга!

Больше я не видел Чингиса. Когда в третью осень года Барса я послал к нему каберчи Алака с рухлядью кангитов, — на престоле хакана сидел Угэдэй.

И он крикнул. Блеснула молния клинка красным. Священный кумыз пролился на землю. Крик нукеров загудел, ворвался в меня, смял мне душу. Вот вспомнил я большой курултай на реке Онкопе. Тогда душа моя, как стебель травы, срезанной под корень, склонилась вниз.

Билегез кышилерим! У Чингиса было два сердца. Одно было твердо, как круглые медные щиты галапских бойцов. Стрела ломала жало свое о них. Другое — сердце Ытмари, — розовый, нежный плод солнечного дерева, цветущего в долине Джауфрата. Когда я, большой, как верблюжья туша, лежал распростертым на зеленом войлоке курултая, склонился ко мне Чингис. Первое сердце сказало:

— Иди, меным итаатлим! Я и мои семь предков с тобой. Жги и коли: кровь не оскорбит землю.

Второе прибавило глухо:

— Худда да охранит тебя в твоих путях, Туатамур!

Я поднял сухие глаза. Я пристально взглянул в хакана. Когда он был вознесен в шатер деда, Исукая-Багадура, он был другим. Он был молод. Он был как клинок сабли. То было давно. Тот чатыр был на холме. Холмы стали над Онкопом. Чатыр белого атласа с парчовым верхом. Уйгур Мурда сделал по нему сивую лань, которая любовно соединяется с бурым волком, чтоб родить Темуджина.

Я глядел. Но вот отвернулся я. Чингис бессильно — картка кайга! — повел челюстью, и белая капля слюны выползла на серебряный цветок халата...

Тут гулко ударили бесчисленные кони тысячами жестких копыт в прах. Они, щуря привычно-умные и в бешеных скачках глаза, пошли топтать страны, где я нашел богатую добычу, но потерял себя.

Когда родился я, — никто не сказал: «Вот родился, который счастлив, — у него голубое лицо!» Когда я родился, Худда переломил первую оглоблю арбы, в которой мое счастье.

Мой верблюд шел первым. Вторым шел белый верблюд под зеленым сукном. На том верблюде был золоче-

ный балдахин. В балдахине сидела Ытмарь. А мои батыри качались в седлах, сгибая упругие станы, и пели. Им подпевали колеса кибиток, копыта коней, стрелы в колчанах подпевали им:

«Улымь душманга! Чингис посылает Туатамура. У Туатамура острые зубы и верные люди, — бис дженебис! В колчанах много стрел, в сердцах много ярости, а впереди Ытмарь...»

В небе выникнул ястреб из облачного куста. Он мерил крыльями даль и не сбивался. Справа от меня угрюмый, с носом как ржавый терпуг, ехал на рыжем азбане Гемябек. Вайе! Вскоре после прихода на место кипчакский князь вырвал глаза Гемябеку и насыпал туда соль. Я отмстил.

Слабый утренний ветер скользил по золотому шитью его эмирского тубетея и пригибал на сторону селезневое перо.

Я сказал Гемябеку:

— Ястреб в небе, стрела в колчане, победа в поле, — болсун шулай!

Гемябек ответил:

— Эйе.

Тогда заплясал вдруг в воздухе,— так пляшет красивая плясунья на пиру, — голову через крыло, ястреб и упал комом жирной земли подле меня.

Я почуял тоску. Я словно бы услышал позадь войска мелкие шаги осторожных зверей, которых дело — поедать трупы. Я оглянулся на верблюда Ытмари. Всё по-прежнему над зеленым балдахином, как хмельные в солнце цветы, реяли перья каанского опахала.

Впереди был последний перевал между двух озер. За озерами не было ничего. Сзади, совсем далеко, белыми птицами уселись по иссера-зеленой глади растоптанной бессчетные шатры покинутого стана.

Сабля слушала тяжелое уханье сердец. Ухо слышало издалека идущий глухой рев покинутых улусов.

В углу неба выползала на мое темя черная, синими свитками, туча последней осенней грозы.

Равнина была широка. Сильный станет великим в ней, слабого убьет унынье. Мы называем эту равнину — Улуг-Ана, потому что она родит великих. Я знаю — сам

Чингис не смог бы докинуть копья до ее края. Первые брызги дождя упали мне на лицо и руки, держащие поводья.

Я почуял так: к сердцу присосалась пустота. Я ударил себя в грудь, потом ударил коня. Орда пошла быстрее.

В середине мелко и глухо зарычал барабан. Тяжело по влажной равнине, заросшей сукаем, стелилось мерное дыханье наше.

V

Вот слева, на путь двадцати алачей, гора, а где-то справа луг. Мы на голом, мокром и красном, как обожженная глина, песке.

Вот слева стало две горы, а не одна, вдруг. Мудрый знает: гора родит гору. Верный верит: когда Худда рассердится на людей, он спустит на них горы. Сильный скажет: болсун шулай... Эй, Худда, беним юраклы алаимны сакла!

Я остановился на день. Для победы нужны хлеб, стрелы и отдых. И еще милость Худды. Кто думает иначе — тому первое копье в грудь. Дождь бьет в полотно моего походного шатра. За кибиткой звучно жуют кони. Сквозь частые удары дождя слышу, как в третьей по первому ряду палатке ругается со своей Хатимэ, которая стала старой, кутлыбек Гайсан. У Гайсана спина широка, как расстояние между колесами арбы. Эвва, Гайсан!

...Сегодня тринадцатый день похода.

Барабаны дождя выбивают тревогу, но взгляд покоен мой. Мне поет песню Бласмышь. У нее маленькие груди, а глаза — как полевые мышата. Я не люблю ее, но мне приятно слушать песни, которые поет она. Вот она поет, и покрывало ее, подобно белой кошке, прилегает к ее ногам. Бласмышь — красивейшая из тысяч, Ытмарь — из ста тысяч!

А я пью бол из деревянного иракского в серебре ковша, и мне хорошо. Никто не сказал: «Я видел спину Туатамура-воителя». Никто не скажет, эйе!

...Вчера, в полдень осеннего дня, я выехал вперед искать следы. Я нашел в поле мертвую голову человека. Дожди вымыли кость. Ветер и пыль отчистили ее до

блеска. Она была бела, как зуб молодого коня. Я ударил кость копьем, ибо не смеет мертвый глядеть в живого глазами, как у покорителя. Тогда из кости выскочил крот. Он не успел отбежать на полторы стрелы. Я наступил на него конем, ибо не должен жить в голове человека крот. Со мной была Ытмарь.

Я сказал:

— Кто-нибудь прицелится хорошо, и я вот так же лягу под голой луной, посередь чужого поля, головой в закат...

Сказала Ытмарь:

— И я.

Сказал я:

— Но я не буду умирать. Я буду слушать потрескиванье дерисунха. Я буду гадать по ночному небу о судьбе тех, у кого есть судьба, если ворон оставит мне глаза...

Ытмарь сказала:

— И я.

Вот песня, которую поет Бласмышь:

«Мне даст Худда бело-пурпурные шаровары и туфли, вышитые, как хаканский тубетей. Мне скажет Худда: пляши, ханым! И я закружусь, как ветер вкруг копья, и перегнусь, как сабля аганы Туатамура, а бубен звоном, нежным, как поцелуй цветка, забьется над головой. И скажет Худда: ты хорошо пляшешь, ханым!..»

...Глухие барабаны дождя выбивают тревогу. Небо не прояснится до весны. Скоро-скоро Обезьяна родит Курицу. Бурхан сказал, что пятое новолунье Мыши даст победу острейшему копью. Буякши!

Я пью бол. Бол даст приятность сердцу. Я сплю.

Кургакам моим шепчет Бласмышь:

— Сеид-ата Туатамур спит. Пусть не поднимет голоса никто...

...Эй, Худда, беним юраклы алаимны сакла!

VI

Ытмарь ошиблась: мы шли не девяносто, но сто двадцать дней. Четвертая луна рождала серп, когда Джебе на пути своем разбил ясов, а Субут — касогов.

Ытмарь сказала правду: мои батыри — я знаю, ни один не отвратил бы лица и от барса! — не роптали, если вьюга за ночь наносила в шатер вороха острого снега, если люди вмерзали в грязь, а лошади убывали так же быстро, как убывали уши и носы у людей.

Аммэна, то было смешно! Женщины бранились. К весне у меня было пять тысяч безносых и безухих людей, эйе. Я составил из них передовой отряд и дал им атабеком немого Хагадакана. Они были выносливы, как каменная плита, положенная на пороге большого шатра, а быстры — как звук серебряной трубы на каанской охоте. Скажу так: стрелу, которая летит быстро, может остановить только сердце врага. Они были храбры, эти добыватели Темуджиновой славы. После первого удара по Кипче, эйе, Ытмарь отдала им священное перо птицы Гармы. Хагадакан носил его на своем малахае как акам. Эджегет Хагадакан! Он лег головой в закат на Тангутской равнине.

Хга, все ушли теперь от Туатамура. Один он. Он лежит у шатра Иналь-ханым и шамкает собакой, напрасно скаля пасть, в которой нет зубов. Где Гемябек? Ушел! Где Джебе, где Субут? Кагер, его голова моргала мне с копья проклятого Мстислаба. Где Котлубяк? Ему влетела в рот стрела, когда он пел о победе. Где батырь Толгый? Ушли! Ушли с Чингисом в закат, на пир Худды. За чашами весеннего кумыза они не вспомнят про Туатамура, старшего покинутого брата. Кручина болезни и старости — ярмо мое, вайе!

В закате сто двадцать первого дня ко мне пришел эмир Гемябек. Он сказал:

— Хаким-ата! За полдень езды правее солнца, которое уходит в сторону Терис-Тустук, мои разведчики видели табуны коней и большие стада овец. Всаднику объезжать их четыре дня. Мои убили кипчакских сторожей.

Он замолчал. Я спросил:

— Е, таген?

Гемябек сделал пальцами щелк-щелк.

— Они привезли пленного хана. Его настигли на охоте. Он бился хорошо. Когда его привезли, в рукаве нашли два ножа.

Я приказал:

— Приведи сюда.

Тогда была уже ночь. Небо синим войлоком накрыло степь. Теплый ветер приносил в шатер мой тихое дрожанье земли и созвучные, дружные шумы отдыхающей орды.

Тогда была весна, и скот мой радовался зелени, — ее было много. Степь под весенним солнцем, буякши! Это — Бласмышь, которая вот надевает на себя зеленую ханджаулык, чтоб учить меня любви.

Я услышал шаги. Шли трое. Один — был Гемябек. Другой был толмач. Третий был гибок и хорош ростом. В его глазах сверкало бесчинство, а в мочке уха красным камнем серьга. Руки его были стянуты ремнем за спиной. Рука, стянутая ремнем за спиной, синеет быстро и скоро делается как чужая.

Я сидел и молчал. Я смотрел. Его грудь была зашита в кожу, а кожа была раскрашена. Я увидел красного зверя, голубую птицу и желтое дерево. Я понял, что он храбр, и спросил его:

— Какого ты аймака и кто ты?

Он молчал. Неистовство дернуло его челюсть. У него было волос под губой столько, сколько ног у коня. Лицо его было молодым. Я пожалел его молодость. Я спросил его:

— Ты нем?

Он молчал, но если бы он сказал «эйе», я отпустил бы его. Гемябек — у него был красный лоскут над сердцем! — ворчал:

— Шайтанга! Давеча он ругался, и слова его были ядовиты, как сок травы Бармык. Намажь им стрелу, и она родит смерть!

Я спросил:

— Ты башкурд?

Хга, толмач был не нужен, — пленный знал наречие моих дада:

— Собака лучше башкурда!

Во мне рванулось сильно, так, как если бы сам Голубой Бык обломил себе рог, напоровшись на камень:

— Слушай, ты, у которого не две, а одна голова. У тебя есть спина. На спине есть кожа. Аммэна, ею я обтяну барабан, и завтра же он двинет моих на твои кочевья. А ты — ешь грязь! — ты...

Он прервал меня. Его глаза стали красны в цвет серьги. Он закричал:

— Называй меня «сеид-ата», раб, — я сын хана.

Я хотел встать. Мне захотелось видеть, как он умрет. Он закричал еще. Хрустнула кость в сердце стоявшего передо мной. Он крикнул кипчакским наречием восемь бесчестных слов, эйе! Он плюнул в огонь, я слышал имя Чингиса — мир ему! — в его устах. Я видел, как испуганно закрыл рябое лицо руками толмач, упадая в страхе на колена. Потом я видел: мыча, скакнул на пленного Гемябек. Аммэна, так прыгает дикая кошка из заросли саксаула на суслика! Он прыгнул и рванул серьгу из уха, вместе с ухом, прочь. Я подался, чтобы видеть. В руке Гемябека рваным краем лежало красное и чужое, а там, где было ухо, не было серьги. Я узнал: горяча кипчакская кровь, как красная эмалевая пряжка астрабадского серебряного стремени, накаленного солнцем.

Потом я узнал еще. Того, которому Гемябек вынул ухо и проломил сердце кингаром — кингаром о трех гранях, — звали Улган. Его отец был Котян, — пусть жалит его змея!

Вот что было потом. Улган обнажил зубы и замычал, и хлюпнуло обидой внутри его. Ударь собаку ногой в брюхо, она вот так же зарычит — бессильно и жалобно.

...Слушайте все, кому не стыдно слушать. Вот Угэдэй ударяет меня в лицо золотым каанским буздыганом и говорит: «Ты стар, Туатамур, глаза твои сожжены солнцем и хотят плакать. Они видят не дальше, чем на двенадцать ячменных зерен, уложенных в ряд. Ты передашь алам тенебиса Кирагаю, которому два Барса дали победы, а третий власть дает». Так же тогда хлюпнуло пронзительно и во мне, — Туатамуру хотелось тогда кричать, как женщине, рождающей копье!

Гемябек пыхтел, кулаки его ждали душить. Я отвернулся. Темнело.

В ночном небе тогда кочевал Уркур, и девяносто весенних ветров неслись по птичьей дороге неба.

Это случилось в закате сто двадцать первого дня. В утро, которое пришло на смену, я повел своих дада за холмы.

VII

Мы тьма, мы твердо идем. Когда мы идем, трава перестает расти, а камень кричит в поле, покрываясь росой, красной, как кровь. Земле трудно тогда дышать от ударов и падений тел.

Мы вышли на заре. Когда соленое озеро, обросшее бударaном, осталось влево, — мы увидели чужих всадников. То были Дешт-Кипча.

Мы увидели коней с большими гривами и железными ногами. Люди на конях были невысоки, — может быть, от того, что прилегали к седлам. Оскалив копья зубами, они стремили на нас.

...Был у меня славный воин — Азарбук. В его сердце жили барс и конь. Смешной, — он так любил коней! Когда одичалый, загнанный найман подбил моего серого тулпара, он плакал, грызя древко своего копья. Это про него говорили, что он родился с конем. Сюкэмли, гайретлы яш, горный ручей!

Теперь он выехал вперед орды, легкий, как покрывало Ытмари. Он помчался. Его копье было славное, хорошее копье, оно было наперевес. Из рядов Кипчи выехал другой, тоже с копьем, на коне, достойном хакана. Орда затаилась. Топот двух коней был отчетлив уху. Они ударились крепко. Я ждал, что искры попалят землю. Но у Азарбука сломалось копье. Милый, сюкэмли яш! Я видел, как из спины его, разрывая бектер, показало мне острый язык кипчакское копье. Мне вдруг стало тесно в груди, я почувствовал, что это старость. Я выпрямился в седле, дрожа, как тетива. Я крикнул, — моя ярость смогла бы прожечь камень:

— Дам кибитку, сбрую и коня... Яшасын кагерман! Дам тарханный ярлык с тамгой хакана, кто принесет мне глаза того, в сафьяновом малахае!..

Мои ринулись волной. Аммэна, — это прекраснее весенней степи, набухшей цветами, чтоб родить, двадцать тысяч алтабасных тубетеев на храбрых головах. Но тот бежал. Я видел его спину. На ней была нарисована красная птица, а нужно б туда крота! Эйе, у них были воровские глаза, и я не жалел их. Я приказал ударять их только по разу. Страх наносил им второй и последний удар.

Вот я увидел Ытмарь. Семеро вознесли над головой ее копья. Одно из них разорвало сафьян нагрудника, и вот я увидел грудь Ытмари с царапиной копья. Я не двигался. Стрела сорвала мой фес и приколола к груди нукера, но я глядел. И вот закружила Ытмарь саблю, как бубен в пляске, над головой. Тогда трое упали с коней, как кожаные сабы с кумызом. Четвертый бежал. Я убил пятого. Но в глазах Ытмари была досада. Она дышала тяжело:

— Ты сделал плохо, тенебис. Ты оскорбил. Защита и помощь другу не признанье ли слабости его?

Слушайте все, тут я полюбил ее. Я был тогда не стар. Я мог три дня носить на плечах четыре хорвара пшеницы на пятерых лошадей. Я сказал:

— Ытмарь, дочь каана! Туатамур хочет любить тебя...

Она ответила быстро, как быстр на тонкой нити бисер:

— Я пою песни, но умею петь только про войну. Я умею вышивать, как всякая другая, но вышиваю только коня, колчан и воина. Я не знаю песен про любовь, Туатамур!

Тут она ударила коня хлыстом. Хлыст висел у седла. Конец хлыста был пучком алой шерсти. Было так, словно коснулся хлыст лица моего, с которого я не стер крови.

...А гаскеры Илдуркин-юрта были уже далеко. Я поехал туда. Я бился тогда хорошо. Я не жалел никого.

Мне было смешно, когда воробьиной стаей налетела слева на меня борзая орава кипчакских ребят. Хга, они пришли отмстить за отцов. Они кричали и плакали, пуская стрелы, а я смеялся громко. Эйе, я смеялся, — ребячьи стрелы не жалят сильно! Мои прошли по ним своими конями. Я кричал моим:

— Меным батырлар ытагатлы, тынлагез! Тот сделает хорошо, кто не даст щенку стать собакой. Кынá!..

...Приходил вечер. Кожаные дабылбазы громыхали победу. Аммэна, мои устали поднимать сабли. Мы возвращались. Вода в озере была соленой и пропиталась закатом до дна. Я говорил своим дада так:

— Тынлагез! Согеш ве улымь! Вы все батыри, все — заставляющие дрожать. Каждый достоин надеть эмирский бешмет. У вас косые выцветшие глаза, — какие глаза

красивей? У вас широкие скулы, — чьи скулы красивей? Ваши станы прямы, как путь взбесившейся стрелы. Кто красивей вас?

Так говорил я, а в душе не смолкал восторг перед Ытмарью. Ровно в полночь, — Колчан в небе встал прямо, как колос ячменя, — я услышал: жмется ко мне Бласмышь, прося ласки. И вот я вспомнил Ытмарь. Вот я выгнал Бласмышь из шатра.

Была ночь тиха. Дада, когда спят, прячут дыханье в себя.

Была ночь тиха, а я лежал и дышал — один, как те тридцать ханов, которых мы убивали в Хорезме, у стены.

Я знаю, люди говорят: «У Туатамура бычье сердце, большое, как кузнечный мех. Он может вобрать в себя запах всех цветов невытоптанного луга и стать вдруг жестким, как пара досок, положенных одна на другую».

А я стонал, и никто не слышал.

VIII

Трусы, шакши кочиклар! Для неудач в бою они выдумали слова «пощада». Трусы и вынудчики, — они послали в Орус скорых, как хвост зайца, карбекчи просить о помощи. Прошаки и кроты! Тесть послал к зятю, Котян к Мстиславу. Мстислаб продал свое войско за стадо буйволов, женщин и коней.

Я послал сказать в Орус:

— Я не вас коснулся, но Кипчи. Они конюха и рабы Чингиса. Кипча — донгузлар, у них воровские глаза. Я пришел наказать Кипчу, — вы не Кипча.

Мстиславы подкоренили моих послов.

Я послал им еще сказать:

— Если у вас воинов тысяча, — у меня их впятеро. Если их у вас двадцать тысяч, у меня вдесятеро! Но я не коснулся вас. Копье не сломается о сноп соломы.

Тогда Мстиславы собрались в большом городе, где золота на их дворце больше, чем воинского разума в головах. Они решили пойти на нас.

Я выслал сторожей и ждал.

Курица, рожденная Обезьяной, родила седьмую луну.

IX

Тогда настала страшная жара. Сильные дымы шли. Горел куст. Горел курган. Горел камень.

Если медный котел, в котором варят бол накануне большого похода, накаливать четырнадцать дней, — он станет бел, и глядеть на него нельзя. Земля под ним растрескается. Аммэна, — солнце у Кипчи было подобно тому котлу. Оно расширилось во все небо и накрыло степь. У человека, который ляжет в полдень на земле, — к закату лопнут кость головы и жилы в ногах. Земля могла гореть, как смола, которой мажут кожу. И я поверил Чегиркану, что не было в этой стране дождя с того самого дня, когда великий Угуз-хан убил в Кашмире Ягму.

...В глазах заволакивало смертной мутью. Все высохло. Я вырыл сто двадцать глубоких колодцев, но только десять давали воду. Мои гаскеры жаловались, что увяли их стрелы в колчанах и стали как руки женщины в брачную ночь.

Лошади падали, люди хотели любого конца. И я решил, что пора быть концу. Не живет крот в сердце того, у кого на плече алам воителя.

...В те дни Мстислабы обходом взяли мои стада и убили сторожей. Я не хотел боя. Двенадцать малых кругов времени они шли по моим следам. Эйе, у Туатамура широкие следы, их найти нетрудно!

Они перешли большую реку. Они не отставали. Днем солнце жгло, а вечерами жужжали стрелы, но я молчал.

...В полдень, раскаленный добела, весь в пыли, прискакал на распаренном коне Ташукан, брат Гемябека, с черным ремнем на хребте. Голосом, который был не его голос, он сказал:

— Худданыз джяр болсун! Хаким-ата, Гемябека нашли в кургане. Котян выжег ему оба глаза и положил туда соль.

Я не ответил. Я встал. Сердце воспламенилось к истреблению. Потом я сказал:

— Мыши... заплатят вдевятеро. Каждый сын их, каждая дочь их — рабы!

Я приказал остановиться. Я приказал провести три перекопа. Цветной лоскут с тамгой Чингиса вяло повис в безветренном дне над моим шатром.

А жар был силен. Когда повелит Худда, чтоб горы потоптали всех живущих, поднимется тогда такая же жара — от дыхания людей и коней.

Между мной и Мстиславами легла река. Они ее звали Калка. Мы никак ее не звали, так как была она подобна мокрому хвосту паршивого коня. Ее суслик перебегает вброд.

На том берегу сидел Ярун-бий кипчак, на моем сидел и слушал немой Хагадакан.

X

Была ночь. Я вышел из шатра.

Степь была широка. В степи было светло. Луна, полная, как вымя кобылицы, струила над степью молоко. Степь гола — буякши: глаз не наколется на опаленный куст вдалеке.

Калка была ручьем. Ее начало потерялось в озерах лунного молока. Калка была как серебряная уздечка, потерянная в степи батырем, который объезжает небо на Голубом Быке. По берегам к реке скользили люди, чтобы напиться. Кроме того, приятно каждому дыхание холодного ручья.

А звезды в небе были как белые шатры. Луна была кругла, и я вспомнил песню про царевну, которая бродит в небе, выгнанная отцом.

В степи было светло. А мне хотелось Ытмари. В жилах ворчала обезумевшая кровь. Я вернулся в шатер. Я лег. Но вот увидел я, как наяву, грудь Ытмари с царапиной копья за лоскутом зеленого сафьяна.

...Теперь кружка кумыза и ячменная лепешка, — больше не надо ничего. Хга, Туатамуру было этого мало! Я встал. Я снова вышел из шатра. Вот я пришел в шатер Ытмари. Перья каанского опахала над шатром были как крыло лунной птицы. Сквозь прорезь в шатре упадала луна. В изголовье, влажном от лунного молока, я увидел лицо Ытмари. Она спала. Я сказал:

— Ты прекрасна. Луна — рабыня тебе. Твои губы — как цветок кералыня. Я люблю тебя.

Но я не сказал этого. Это сказали мои глаза. Я склонился к ложу Ытмари, и я раскрыл перед ней ковер моего сердца, прося прийти. И я сказал:

— Хатунь! когда коснутся тебя губы мужа твоего — я увижу звезду Омур-Зайя. Я уйду в закат.

Но я не сказал этого. Это сказало мое сердце. Она спала и не знала. А мне захотелось перебить себе кость, чтобы была боль. Мне захотелось иметь голубое крыло. Я беру Ытмарь на руки, я взмахиваю крылом девять раз. Я кладу Ытмарь на легкое облачко, плывущее к луне.

Как бы стрела вошла глубоко в мою голову, и я вскочил с места. О, кривая стрела любви! Я бежал к реке, я лег грудью на влажный песок, и если б послал тогда Ярун кипчакскую стрелу в меня, я не жалел бы, эйе.

Стали приходить дуновения ветра. Все молчало. Я услышал голос Субута. Он говорил в кругу атабеков:

— Хаким-ата слушает, что говорит земля. Земля говорит о победе. Земля говорит, что завтра степь изменит запах, а река — цвет.

Эй, Худда, да сохранят пучины Ытмарь, добычу сердца Туатамура!

XI

Утром я снова ходил по лагерю. Подобно насекомому, созданному, чтоб жалить, выкатывалось в тусклое небо небесное колесо. Шайтан бил по нему палкой, и оно катилось ровно, изредка прыгая вперед. В тот день одна треть потерявших жизнь была насмерть ужалена солнцем в темя. Они почернели к концу дня.

Ночь и утро были холодны. Калка дымилась. Ее серебро алело, зная о кровавом дне. Мои нукеры не спали. Они лежали прямо по земле, прижав к телу копья, сабли и стрелы.

Атаклы балалыр! Я понял тайный смысл. Они хотели, эйе, отогреть оружие, чтоб сабля стала гибкой, стрела быстрой, копье не устающим бить. Я знаю, железо любит греться о теплое — будь то солнце, кровь или огонь.

Я поглядел назад: нас было много. У всех были бритые головы и узкие глаза. К бою я назначил только четыре больших томана всадников: я хранил людей.

...Пыль прилегла за ночь, и я не просил дождя. Дождь прибивает стрелу, расслабляет тетиву кызылбашского лука. Но я хотел туч. Туч не было. Небо было как закопченный голубой камень.

Вдруг пернатыми хвостами засвистали стрелы. Вот, таясь в тишине, заворчали барабаны в нашем стане, закричала труба за рекой. Субут не спал. Бдительность — добродетель воина. Яшасын кагерман!

Хга! На левое крыло моих рядов, там, где был край вала, упала стая стрел. Там захрапели лошади и люди. Зашлепали удары железом о мясо. Переплелись, как в дожде, копья. Молодая ватага с молодым же князем — эйе, я не видал его спины, я видел лишь три белых кисти его неудержимого копья! — хлынула внезапным валом. Потом подошел еще людской поток, все стихло, но вот тишина и трубы родили визг и гул, а через Калку все шли и шли они.

...Вот я вижу Ташукана. У него убили коня, — копье в глаз. Ташукан ревел и тряс головой, а рубил — как батырь смерти. Аммэна! Он знал хороший удар: клинок через голову, вправо и в грудь. Я был спокоен за него. Так он бился с кипчаками. Кипча билась с ним по пятеро в кругу звездой.

Тынлагез! Я увидел молодого князя. Он был как розовое дерево весной. Свои кричали его Джаньилом. Это у него борода была как русый шелк. Вайе, Ытмарь хорошо ударила его саблей, и он хорошо принял удар, не качнулся в седле. Ему на подмогу летел четвертый Мстислаб, мыча, как немой. Но он не успел опустить меча. Он упал с коня одновременно с ним самим, ударив подбородком в луку седла.

Катилось медленное солнце вверху, и оловом безумства наливались головы. В меня метили хорошо. В меня нельзя не попасть: я большой, я широкий, у меня конь — как я сам. Вот длинная стрела, треть копья, сорвалась с тетивы толстого орусского барласа в красном колпаке. Она впилась мне в руку выше локтя. Аммэна, хга! Я вырвал

стрелу и бросил ее обратно. Колпак стал еще красней, а толстый упал грузно вниз, как турсук с вином, пробитый ножом сквозь.

День приходил к концу. Олово начинало стынуть. У меня растрескался язык и мешал дышать. Калка запрудилась. И вот тут случилось это: мои дада дрогнули. Юк, — они не бежали, нет, они стали оглядываться на меня, то хуже. Тогда я ударил немым Хагадаканом в толщу людского затора, и вот он разорвал ряды, как ветер тучу...

Я сразу увидел тысячу согнутых спин. Мои рычали. Их лица, смоченные потом и кровью, покрылись коркой пыли. Их лица были страшны. В каждом был Чингис, а я почуял вдруг, что не один, а тысяча таких, как я, гневно ревут в моем сердце.

Мы перешли Калку. Барабаны хрипели о победе уже за три фарсанга впереди. Стрелы не достигали нас. Я пустил узбеков добивать.

Над самой Калкой, на том холму, который был невысок, два Мстислаба окружились кольями. Они не хотели терять ни надежды, ни жизни, — крот, раздавленный копытом, все же ползет к норе. А третий Мстислаб бежал. И того, который бегал так хорошо, оруслар звали Удалым. Я Борзым его назвал, он был непостижимой быстроты. Мстислаб Борзой, буякши! Он был толст, конь спотыкался под ним. Он перешел большую реку. Он сжег лодьи. Он не оглядывался. Может быть, у него было лицо ночной мыши, я не узнал.

Я приказал словом хакана:

— Догнать, хотя бы он уцепился за небо. Аммэна, — всунуть в него палку и вертеть, покуда не отдаст жизни, не нужной и камню!

Вайе, Хагадакан не сумел догнать. Смелый бегает, как лунный поток, трус — зайцем. У волка острые зубы, но заяц бегает быстрей.

Засевших в кольях окружил Чегиркан с людьми Ташукана. Ташукан не был на моем пиру. Ташукан ушел в шатер брата. Полдневная рана в живот означает конец, будь то конь или воин.

XII

...А ночь пришла лунная. Лунное холодное молоко текло, все текло. Степь и ночь, пропитавшись им, делались прозрачными, стыли так. Семь Воров Неба натянули луки в Горного Козла.

А на большом поле с пустыми колчанами, с пробитыми головами лежали мои, победившие, добыватели славы. Так же, обнимая друг друга, держа стрелы в глазах, лежали и не мои, никого не победившие. От них пахло сыромятным ремнем: запах свежей раны, куда поцеловала смерть. Голова моя начинала тяжелеть, и я снова припомнил про старость, но это было не то. Лежали по земле, среди тел, стяги и колчаны. Подобные безлистым палкам бударана, торчали копья и стрелы из тел.

Я поехал по полю. Луна текла мне навстречу. Вот, перегнувшись спиной надвое через разорванное брюхо коня, лежал лицом вверх князь. На его шее золотая цепь, а на груди вышит красным шелком человек с крыльями, как у птицы. Левый глаз его был закрыт, а правый прищурился в небо. Его лицо показалось мне храбрым. Я повернул человека, ища раны. Я нашел рану. Рана была ниже спины, осколок копья в локоть торчал оттуда, как хвост. Я ткнул мертвого один раз ногой, ибо что стоит сердце мертвого труса? Я засмеялся ему в лицо. Я сказал, подставляя ему грудь, на которой не было даже кожаного нагрудника:

— Ты трус и заяц. Бей!

Он промолчал. Я сказал:

— Ты грязная собака. Бей!

Он опять молчал. Я отъехал прочь. Зверь, который съест его сердце, умрет, не увидев луны следующего вечера.

Потому, что я услышал тихий плач с реки, я поехал туда. Я увидел. Я сотрясся. Согнувшись над человеком, лежащим неподвижно на песке, лицом к лицу, негромко плакала Ытмарь. Я подъехал.

Ее косы были гладко заплетены. В луне мерцал бледно-золотой шелк ее наха. Вайе, кривые стрелы! Я приподнял ее за плечи. Она взглянула на меня глазами жеребой кобылицы, у которой рана в живот. Ее глаза были туманными от тоски. Она не увидела меня.

Я наклонился к человеку. Я узнал его. Это был тот, молодой эджегет орус, Джаньил. Его девятиглазая байдана была пробита и порвана лоскутом. Кольца сияли в луне. В дыре я увидел сгусток крови в ладонь.

Я взглянул в небо. И вот теперь я почуял, что сломана вторая оглобля моей арбы. Я дрогнул. Я увидел в небе звезду Омур-Зайя и понял, что ресницы мои сосчитаны. Она висела надо мной, острая, подобная тригранному кингару. Она незаметна для тех, про кого говорили: «Вот родился, который счастлив, ибо у него голубое лицо...» Я сказал тихо:

— Ты хорошо бьешь, Ытмарь. Одним ударом — трех.

Тынлагез баргузда! У него были синие глаза, а у меня — цвета обожженного камня. У него была борода, как русый шелк, а у меня подбородок давно опалился солнцем и огнем.

Его глаза! Они наполнились лунным молоком, как чаши Худды, но там, на дне их, я увидел две черных точки смерти, малых, как срез конского волоса. Два укуса разлучающей навсегда!

Он был как мальчик. У него был вид, словно он не переломил ноги ни одной курице. И он стонал. Аммэна! У него была одна рана, и он стонал, а у меня были четыре раны, я прокусил язык, чтоб не упасть с коня, и я молчал... Аммэна, я молчал! Кто слышал?

Я слез с коня и сказал:

— Не надо плакать. Мертвым обидны слезы живых.

Она не оглянулась, но вздрогнули в ее волосах горячие зеленые камни буттака и тесней сомкнулось гагатовыми зернами чернобусое ожерелье у нее на шее. Гагат растворяется в луне, как соль в воде, и луна делается горькой, как вкус гохай ширгкэк, вырастающей из безводного камня.

Луна текла в небе. Мертвые караулили живых! Из куста над обрывом вырвалась птица чибис.

Ытмарь, раскачиваясь, пела одними губами. Эйе, никто не целовал их — только луна, как сестру, — она пела песню.

Я прислушался, я услышал. Я понял все, и мне захотелось, чтобы кто-нибудь другой встал под кингар смертной звезды. То была старость. Текла луна. Мертвые

караулили живых. В замутневшее, неостылое небо покойно глядели недвижные голубые глаза. Ытмарь раскачивалась, подогнув ноги, и пела неслышно про царевну Луну, полюбившую батыря Дубарлана.

Я встал с колен. Эвва, кто мог знать, что завтра же пика в черном войлоке встанет над юртом в знак смерти дочери Покорителя Средин?

Текла луна.

«...И тогда пришла Луна в шатер Дубарлана. И заглянула ему в глаза. А он... был... мертв...»

XIII

В пору, когда ложатся спать, — тогда была старость шестой луны, — карбекчи принесли мне две вести.

Один сказал:

— Чегиркан взял колья. Плоскиня выдал князей. Их шестеро, а седьмым он сам.

Плоскиня был бродник. Он целовал мне землю, но перешел к князьям. А когда перешел — изменил им. Он изменил дважды. Разжиревшая собака кусает хозяина. Я приказал:

— Плоскиню повесить на шею верблюда и бить кнутом.

Второй вестник сделал руками щелк-щелк, боясь слов. Я сказал, чтоб говорил. Он сказал потом:

— Ытмарь... убила себя.

Хга, теперь я умею только лаять, а тогда я умел рычать. Вот я зарычал: дым гнева исшел из моей гортани. Я с маху вонзил саблю в землю по рукоять. Я бросил горсть земли за пазуху. Я вскочил с войлока и разодрал на полы свой эмирский халат. Голосом, как медь, я крикнул на весь стан:

— Бетты юлды хакан кызы! Доски и князей сюда! Мы сядем на грудь князей. Мы будем пить бол и есть самусек. Тело их — еда собакам. Кагер душманга! Здесь голубые глаза жалят сильней стрелы...

Я рычал, эйе! У меня были четыре раны, а про пятую не знал никто. Люди закрывали лица, чтобы не видеть моих глаз.

Тогда принесли доски. И тогда привели князей. Они жались друг к другу. Ытлыр, — на каждой из моих скул сядет по одному! Мои глаза раскосились назад. Я сложил их, князей и зайцев, как тангуты кизек, и положил на них доску.

Тогда в котлах принесли бол, и к ногам, подобные собакам, прилегли покорно сабы с кумызом. Вот мы сели, двадцать, на одну доску, буякши! Мы стали пить. А в тот вечер небо набухло громами, и ветер был в сторону Кипчи. Я приказал зажечь степь. Аммэна, — дочь хакана уходит в голубые улусы Худды!

...Небо пылало закатом. Закат будто сошел в степь. Она пылала, и мы были как в небе. И мы не знали, где начинается небо и кончается степь. Я был как пьяный. Тысяча подобных мне, столпясь в табун, выли во мне, как волки в зимней степи. Кто слышал?

А мои гаскеры, добыватели славы, пели у костров:

«Чингис поцеловал Туатамура. У Туатамура острые зубы и верные люди. Люди как зубы, зубы как люди, — мы перегрызаем всё. В колчанах много стрел, в сердцах много ярости, — победа цветком алым на новом щите!»

Шестеро стонали под досками, песня заглушала стоны те. Эвва — только один из них просунул ко мне голову и крикнул громко. Его голос был грозен, он был подобен реву хаканской трубы:

— Не хочу, чтоб поганый твой зад раздавил мне сердце. Хочу копья в грудь!

Я вытащил его из-под доски. Я поглядел ему в глаза, в них не было страха. Там были покой и ненависть воина. Я сделал так, как он просил.

Хга, пусть смелый плодит смелых. Пусть у смелого будет пестрый дом с золотым очагом! Сделай то, о чем тебя просит смелый!

А мои дада всё пели и пели всё. Приятен сердцу воина напев победы.

«Туатамур принесет добычу каану. Хакан скажет: алды реза болсун, Туатамур! Мы не плачем о мертвых. У нас косые глаза. Чьи глаза косее? У нас бритые головы. Кто красивей нас?»

...То была последняя ночь в степи. В ту ночь пришли тучи и пролились вниз. Я приказал покрыть головы

князьям и проломить спины. Они трусливо легли один к одному, в чужом поле. И глаза им засыпали песком.

А сам я лежал на войлоке в пустом шатре. А в шатре Субута, слышу, смеется Бласмышь. Это хорошо, что она не со мной. Женщина не должна видеть слез воина.

XIV

Когда герой ищет смерти — слух об этом поднимает волю сильного и вселяет в сердце слабого страх.

Я ураганом прошел по степи. Потом я ударил по юрту кангитов. Там, на широком тогае, я потерял глаз, а хотел потерять жизнь. Когда небо свершило три оборота и Мышь родила Корову, я пошел домой.

Я не застал Чингиса. Он умер в год Свиньи. Солнце ему тубетей!

Вот, когда я пришел к Угэдэю, я принес ему не лесть, я привел ему стада овец и верблюдов, нагруженных дорогою рухлядью. Я привел ему двадцать тысяч сивых коней и двадцать тысяч черных и еще двадцать тысяч белых. Я привез в его юрту много хорваров хлеба, а ему самому белого кречета с красными ногами. Я простерся на войлоке перед Угэдэем и сказал:

— Худдай сакла ханный бир она узун кымер!

Но он ударил меня золотым каанским буздыганом в лицо и выбил зубы. И женщина Букяй, вторая жена каана, смеялась над моей кровью. Я понял, что мстил он за смерть сестры. Тогда я встал на колени и так выполз вон.

И я не показывал никому лица своего, пока три новолунья не загладили шрама. А на восходе другой луны он прислал мне стрелу без перьев и кафтан без пояса. Почему не прислал ты мне и мертвую мышь?.. Но я не сказал никогда, что черно сердце хакана, как дно походного котла!

...Тогда всходила над равниной Углу-Ана сильная звезда Кирагая-юлаши. Ныне ходит он с мечом по чужим полям, и мои гаскеры поют ему:

«Угэдэй поцеловал Кирагая. У Кирагая острые зубы, и сам — как зуб. Оклар куб калды! В сердцах много ярости. Над нами в небе ястреба...»

И вот, кто даст хоть один пул, расплюснутый копытом, за голову Туатамура, лежащего у порога чужой жены? В беззубый рот мой глядит ночь. Луна — как золотой чурбан, с которого упала голова Ягмы. Ныне я — дряхлая собака Чингиса, ушедшего в закат.

И я не хочу видеть, как завтра взойдет луна. Слушать, как доят вечерних кобылиц, вдыхать ветер, идущий с цветов первого круга, — не хочу...

Мин улымь!

Май 1922

СЛУЧАЙ С ЯКОВОМ ПИГУНКОМ

Все дело у Якова Пигунка было в бороде. Была она спутанная и черная от дыма и копоти и свисала низко, на манер мочалки, которой печные горшки моют. И ведь, право, до чего дело дошло: полтора года жил в Пигунковой бороде паук, Иван Иваныч. Пигунок так про него и думал: живешь — и живи; каждая тварь должна себе пристанище на земле иметь: пес в конуре, дьякон на фатере, береза в лесу.

И паук, ничего, жил: сделал в бороде шалашик такой и прятался там в пасмурные дни, а в вёдро выползал Иван Иваныч на Пигунков нос, оглядывал оттуда окрестные божьи места и дышал чистым воадухом. Случайно попал он на заре своих зрелых дней и весеннего утра под лапоть Якова Пигунка, и Господь принял в лоно свое вопль издыхающего гада.

Это-то и определяет бытие и сущность Пигунка Якова. Яков есть сонный старичище. Жил он много лет. Дни текли своим чередом, а он своим. И боялся Господь вынуть из него душу, потому что вся она пропиталась дегтем насквозь. Куда такую пустишь?!

Тут-то и надо сказать главное. Якову Пигунку от рождения еще было суждено дегтярником стать: годовалым мальчишком полчашки дегтю выхлебал. И стал он вскорости после этого — дегтярник.

Но!! Деготь гнать — это, извините, даже глухой сумеет и немой поймет! Нет, а ты вот сам набей бересто, да натащи короба его к шалашу, да снасть устрой, а там уж и гони!

Яков Пигунок все делал сам. Силы в нем,— ей! На четырех генералов хватит. А почему? Да потому, что деготь он уж очень любил. Заболеет, к примеру, у Пигунка

Якова нога, — сейчас он выпивает кружку дегтю и снова на ногах.

Деготь! Да ведь как и не любить-то его: с дегтем, извините, даже чай пить приятно, и ничего в нем поганого нет, а только чистота березового сока и всякое прочее. В жилах у Пигунка — это можно доподлинно теперь сказать — заместо кровей деготь протекал. Вот потому-то и сидела у него жмань паучком в каждом суставчике.

Жил Яков в лубяном шалашике, вроде, скажем, пустынника, а шалашик стоял над ручьем в лесу. Был тот лес березовый, верстах и двадцати от села Долдоньев Кус, а на полпути лежали «Гурмачи», именье генерала Васютина. Мы этого гонерала припомним и на пальце загнем: пригодится нам потом генерал, да и дьякон из Долдоньева Куса тоже.

Господи, березка!

Березка с языка божественного обозначает жизнь. Березка, — это когда девушка смеется жениху. Каб на земле не росла березка — не стоило бы жить нам тогда. Мне сама Филимониха сказывала: сколько в году берез срубят, столько в году народу перемрет. Я Филимонихе верю: она хоть и на помеле, да в Ерусалим ездила.

Веснами — когда бурно зеленится апрель — ты отдели ножичком береста лоскуток, лизни там,— вот-то сладко!

Веснами — если ты не вор и умеют твои глаза небо видеть — ты наземь в березовой роще брюхом упади, думай про живую щуку — она от нечисти хороша — и слушай. По прошествии двух часов услышишь, будто кто ногтем скребет,— это зелень: ты плюнь, и перестанут. Потом сопенье с кряхтом слышишь, будто к тебе бревно ползет,— это от грибного росту. Напоследки услышишь тихое журчание медового ручейка,— это деготь рекой в земле течет. Тогда уж ни звука не пропусти!

Тут, представьте, слетает к вам светлый луч и говорит:

— Послушьте, господин хороший! Заместо того, чтоб ничком лежать да, конешно, пинжак портить, вы бы лучше молитву сотворили какую ни на есть между прочим...

А вы ему:

— А ты кто есть?

— А я — ангел, должон я нынче из вас душу вынать.

А вы ему так тогда:

— Душу вынай: твое дело. А про пинжак не беспокойсь!

Березовые рощи — приятно.

Был вечер. Май, уходя, соловьем в зеленях пел. Все кругом, и даже солнце, невидное за лесом, пропиталось животворящей зеленцой. И небо было очень хорошее, и будто мостик через небо все.

Упомянутый дед Яков Пигунок сидел на пеньке возле шалаша и дремал бородой и обоими глазами. В котле ровно трещало бересто, в подтопе прыгали желтые язычки, как ребята через прыгалку, а в корчагу — затвердели по ней дегтевые отеки — выкапывали медовые, густые слезки. Попахивало майским тленом прошлогодней листвы, немножко деготком и просыревшей землей, из которой должен вылезть вскорости ласкового июня цвет.

Вдруг глаза сонные раскрыл Пигунок: запершило, заворочалось в корчаге желтым пузырем, захенькило нечисто в подтопе вдруг, и будто что-то вот так:

— Яшк, а Яшк...

Тут бы Пигунку и заснуть снова, а он взял да и подумал про чертенков. Ему б заснуть, а он нет: протер глаза да и подумал, а как подумал, так оно и приключилось.

Я надысь Филимониху спрашиваю: «Баушк, говорю, а где ж это черти живут?». А она мне: «А везде, говорит, сынок, живут: где подумал, там и живут».

А Пигунок не только подумал, а даже приглядываться стал и тем самым окончательно он нечистое бытие утвердил. Вылезает из корчаги.

Да нет! Ему б тут заснуть, а он возьми да и подумай. Вот и вылезла из корчаги небывалая коришневая голова — без носа, без рога, глазищи как шилья, но шильев острей. Притом же — голый весь.

Пигунок молчит: к блазне-то привык он. Еще когда из солдат пришел — повадилась к нему скакуха одна по ночам приходить. Посадит Пигунка сонного на спину себе и давай скакать. Да ведь как! Все губернии, все уезды, бывало, за ночь-то перескачет! До луны прыгала скакуха! Одинова, как Яков башкой-то об луну-то стукнулся, чуть ума не тронулся. Да стал Пигунок сыро-

мятный ремень с гусиной головой на поясе носить, тем лишь и избавился.

А в позапрошлую осень пришел к Пигунку мужик выше лесу, в сибирке, усы вниз, и говорит: «Хочешь, говорит, Яков, я тебя лесиной хрясну?!» А Пигунок-то чуть ему наговором-то божественным хребет не переломил.

Научился Пигунок блазну назад в нечистое ведро вгонять.

Тут вылезает из корчаги голый, коришневый, ростом в аршин с вершком, прямо неприличный, и даже шестипалый на левую ногу. И прямо на Пигунка.

А Пигунок начинает наговор читать, — тот остановился. Дошел Пигунок до трех святителей, как они камень Алатырь в воде хоронили, да и забыл дальше. Лаптем досадливо в землю постучал Яков, — не идут на память слова. Ладошкой затылок потер, — забыл. Ворочается растерянно Пигунок, в ногах даже от досады закололо, глаза таращит, а тот ему:

— Ты, Яшк, брось, говорит, ты не то читаешь! Я банничек, а ты на лешаков читаешь.

Опешил Яков. Он хоть и сонный, да добросовестной:

— Постой! Как же это так? Я на банников-то и не знаю. Ты погодь тут, я на тебя гусиную голову из сундучка достану, притащу счас.

Рванулся было, да тот ему дорогу заступил:

— Смирись, дед. От меня не отботаешься гусиной-то головой, ни-ни! Тюря!

В Якове сила его обиделась:

— Ты чего же, это, ругаешься-то? Я на тебя управу найду! Ты мне деготь весь запоганил, — да еще ругаться тут.

Смеется только ненашик, — зубы показал. Гребешком у него зубы, прямые — землю грызть.

— Смирись, не то хуже будет... Все равно, знай, буду теперь я у тебя жить.

Слезливо заморгал Яков, бороду затеребил растерянно, да вспомнил вдруг Иван Иваныча и только рукой махнул:

— Живи-и... У, тварюга... Живи у меня...

А солнце так мягко шелестело в зеленях веселых берез. Кукукнула кликушей птица там одна. И шел полдень

синим и светлым, до боли, небом, бурля, как расплавленная медь.

Снизошел на землю молитвенной стопой поздний час июня. Сидели оба возле шалаша: Яков все выдумывал, чем бы это блазну банную назад вогнать, а блазна сидела около да зубы скалила. Со стороны — нехорошо так.

Ушло солнце с засиневшего к ночи неба. За орешиной в копортнике шевелился кто-то изредка: знамо, не живой!

Чайничек одиноко повис над костром.

Заговорил ненашик ласково:

— Ты вот что, Яшк, ты меня сынком зови... Я тогда смирным буду... Ты мне, старик, по душе очень. Ты меня сыном, а я тебя Яша.

Разозлился дед:

— Какой же это ты мне сынок,— шестипалый-та! Ты блазна, ты скакухи вроде, ты недоросток. Я тебя Долбун буду звать, — всю ты мне своими словами голову продолбил!.. Блазна безносая, пра-а...

А тот вубы скалит, голую коленку гладит себе:

— Зачем же — Долбун! Ты уже лучше Кирюшей меня покличь,— будто человек я... Мне и приятно... И потом: скаку-уха. Скакухи на горах живут, а я банничек. Я и скакать-то не могу...

Дед и отвернулся, и плюнул сгоряча.

А вечер протекал тихо, как светлый ручеек. Омой в нем лицо — и будешь светлый!

А свет ручьился с неба вечерней тишью... В березовой роще всегда ласково. Всегда в ней слышно, как зеленые херувимы воркуют на сучках. Приди сюда хоть конокрад, но защебечет в нем душа херувимом, и станет спасенником конокрад.

В березовых рощах рождаются райские птицы из зеленой тишины позднего часа.

Яков Пигунок отошел:

— Ты от какого ж блуду повелся-то такой?

Долбун ртище свое до ушей расстегнул:

— Ха, откуда! Это ты хорошо спросил: я люблю сказывать. Пашка плотник, когда лавочнику Столбунову баньку строил — подкинул ему гвоздик ржавый под закладное-то

бревно. Вот я из гвоздика и повелся. А раз пошел сам-то Степан Максимыч со Столбунихой париться, а я ему из каменцы-то кашлянул, да и пискнул, «топи, говорю, баню крепчее,— подымется дух жарчее». Пискнул, не смеху для: да самое-то Столбуниху и попарил веничком. Глуп был — вылез из чугуна — тут меня и накрыл шапкой Столбунов сам, а потом щуку живую подпустил... Едва убег я...

Слушает, — сидит он на сундучке,— Пигунок да на ус мотает. Из бороды Пигунковой деготь можно гнать.

— Ты что же, ненаш, боишься, значит, щук-то?

А Долбун-то и распустился весь, руку к тому месту прижимает, где у нас сердце, а у зеленей — кила.

Мне Филимониха надысь сказывала: «У зеленей, — говорит, — нету сердца, у зеленей у всякой вместо сердца кила, и корешки из ей растут»...

Разошелся Долбун:

— Да я всего боюсь: и щук, и мышей. Мне баушка Василиса напророчила: тебя, говорит, либо крапива загрызет, либо мышь летучая голову откусит...

Наматывает Яков:

— Та-ак, значит, щучка? Та-ак...

Вдруг спохватился Долбун. Снова отточились гневной яростью шилья в глазах, навострились зубы гребешком.

— А ты что, меня назад вогнать собрался? Ты брось, дед, думать... А не то я тебя во сне чуркой хлопну, да-а...

Пигунок, — эх! Сила-то в нем сонная! — Так и осел, а тот пуще, пуще:

— Я у тебя зиму и лето жить буду, так и запомни! Ну теперь есть давай мне... Есть хочу!

Пигунок, — что же! Он и паучка не тронул: каждый может себе на земле фатеру какую ни на есть иметь.

— Вон, говорит, бери: каша в горшке. Бери, тварюга!.. Каша хорошая, — пшенная...

Расшипелся Долбун:

— А-а, ты, никак, насмехаться вздумал? Кашу? Нет, дед, — я только землянику есть могу, — ты поди вот насбирай мне землянички туес! Ну!

Чуть не плачет Пигунок Яков, за бороду ухватясь:

— Да что ты, тварюга! Окстись, Долбун проклятух! Как же это ты, неправославный-то, да землянику... Рази же это возможно? Шестипалый!

Визжит Долбун, как хорек на привязи:

— А-а... А я шестипалым стал из-за кого? Из-за тебя! Ты меня в корчаге передержал. Я тебя два часа ждал. Поджидал, пока подумаешь... Вот что, дед. Я тут вот спать прилягу — ежель ты мне к утру туеса не насбираешь, я тебе бороду головешкой спалю! Так и знай!

Мотнул Пигунок головой покорно, — фатеру дал, давай и пропитание! — выбрал туесок, который помене, и побрел дед в лес...

И огорчился Пигунок, и бороду уныло повесил. Эх, хоть бы дождик, что ли, пошел!

Прошел шагов двадцать, вернулся опять в шалаш, а Долбун уж храпит. И храп у него нечистой; храпит, словно ножик точит.

Наклонился над ним дед на коленки, бормочет:

— Долбун, а Долбун!

Спит. Не слышит банная тварь.

— Эй ты, тварюга, долбунишша проклятая, слышь-ко, чугунная рожа!

Проснулся тот.

— Чево, Яшк, зря ты пристаешь ко мне?

Чуть не плачет дед:

— Долбу-ун! А как же я тебе зимой-то землянику стану искать, — не растет ведь!

Зевнула блазна и только вильнула досадливо хвостом:

— Не горюй! Будешь ты для меня в теплые страны ездить. Я тебя на помеле летать научу...

Ссутулился дед: то скакуха на его спине, то мужик лесиной, а то вот на — сам он, Пигунок, на помеле, за земляничкой, на-кось!

В зеленой тиши березовых лесов сладкое шуршанье вечерней листвы дороже мне материной колыбайки.

Святись, душа!

В березовой зелени лесной тиши сладко шуршит листвою вечер.

Пой!

Низошла на березовые рощи голубая тишина. Долбит в нее крепким носом дятел. И когда продолбит дырочку — выглянет оттуда, из голубой-то тишины, первая звезда.

И дороже мне та звезда материной улыбки надо мной, когда смутный ветер мяукнет в трубе, прячась от дождя...

С туесом идет по лесу Яков Пигунок, горбясь от нежданной беды. Пришла та беда, села на ворота, взяла Пигунка за ухо, говорит беда:

«Стой, Яков, не трясись: я у тебя на постой встану».

Горько Якову Пигунку, ох, горько. Землянику собирай для банной блазны, ох! И Филимониха-то, небось, ушла уж на богомолье: сбиралась давно. Разорвись, а корми блазну земляникой!.. А что есть земляника? Березовая пречистая кровь, вот что: всегда она на березовых порубях, на березовых палах капельками тает под солнцем на горках гнилой листвы...

Трудно сгибаться Пигунку. Двадцать лет у дегтярной корчаги продремал дед, а тут — на. И ничего тут стыдного для Пигунка нет! мало ль что бывает... Бывает и красив, да глухой, и умен, да кривой, — разное.

Надо непременно тут речку вам показать.

Протекала за лесом речка. Прекрасная речка, — назовем, чтоб не узнали, Шепелихой. Рыбу в ней ловить — толстящий невод можно порвать, не об корягу, а от рыбного множества.

Не широка, но глубока. Не длинна — зато богата и красива, как девица под венцом, золотым обручем заката. Дед бродил-бродил — а в туеске только днище закрыто, пока — ноги закололо и туб... Вышел дед нечаянно на реку. Несомненно, тут Провидение сказалось. Мне Филимониха сказывала: «Без господней воли — чирей не вскочит, лист не завянет, кура яйца не снесет». Я Филимонихе верю. Вышел, — видит: греются лиловые тучки шелковыми поясками в последних лучах, а еще ближе — «Гурмачи» видны, — васютинский белый дом как на ладошке, — а на берегу речки — мужички копошатся, два...

Как завидел Пигунок, сообразил в три счета, так и подлетел веником к ним, быстро. Кланяется, — туесок на песок, — ласковый:

— Здорово, ребятки!

— Что ж, здорово, коли не шутишь...

Один, постарше, глаза вскинул:

— Чтой-то чумазый ты, как домовик... Не домовик ли?

Подхихикнул Пигунок веселому рыбаку:

— Не-е! Дегтярник я... Вы не Конешемски ли?

— Костриковские мы...

Заглянул одним глазом Пигунок в бадейку — ворочаются оттуда здоровенных три щучьих хвоста. Как увидел, — даже затрясло всего.

— Вы, никак, ребятки, рыбкой занялись?

— Не-е, мы дрова рубим, — помоложе который...

Опять подхихикнул Яков Пигунок, будто не дрожь в нем, а непомерное веселье:

— Ребятки-и... А дайте мне щучку одну. Очень уважите. Блазна меня одолела...

Рыбаки глаза вскинули:

— Какая блазна?

— Банничек. Залез в корчагу, а ноне, — сбирай, говорит, земляничку, а то чуркой в затылок или в бороду, говорит, головешку суну, когда спишь.

Засмеялись оба:

— Так, ежоли банник, так ведь его не щучкой. Это он тебе сказал про щучку — обшеловить тебя хотел. Его на уголек надо...

— Как это, на уголек?

— Эка, как! Сто лет прожил, а ума не нажил! Ступай, да к полночи на уголек возле его масло лей. Как он тебя спросит: ты, скажет, Яшк, зачем...

Так и прискочил на месте Яков Пигунок, дегтярник, — борода подсказала, что неладно тут:

— Ой, робята! Постойте-ка! Откуда ж вы меня за Якова-то знаете. Я ведь вам не сказывал. Христос с вами. Я молчал...

Тут протирает Пигунок глаза: пусто место, и следов на песке нет. Легли туманы белым дымом по лугам. Стекает сверху густая синь на сонные поляны.

А щучки, три, в бадейке трепыхаются.

Почесал Пигунок бороду: вот те и на! Рыбачки-и! Такой рыбачок подденет на крючок, — вертись!

И стало вдруг тоскливо Пигунку: все один да один, никого возле. Посетил было гость, и тот чертом оказался.

Схватил Пигунок бадейку да бежать. Кипит в нем досада ключом, катышом застилает глотку досада. Четко шлепают лапти по мокрой траве.

Мелькнул знакомый пень, покатилось из-за него круглое в свалилось в овраг на самое дно, дребезжа водянистой кожей по сучкам. Знает Пигунок.

В овраге — зелень, плюнь и перестанут. Зелень, — это не страшно: зелень — дыханье майских дерев, старых пней, прелой земли, тайных трав дух... А шалашик — вон он, светится в темноте лубяной крышей, как простыня на суку.

Подкрался в тишине к шалашику, видит: в мерцающем потуханье уголья от костра — чайничек как висел, так и висит — спит Долбун. Присмотрелся Пигунок — голый; поворчал в бороду — у, проклятух! Ножик точишь?! Блазь! Достал щучку за хвост, на руку золы посыпал горстку, чтоб не скользнула, — размахнулся, ворча, — борода как парус надулась, — хлоп с маху щучкой Долбуна по спине!

Вскочил этот, глаза засверкали, зубы длинней оклычились:

— Ты что, Яшк, хлестаться? Я тебе бороду спалю. Ты забыл, что я тебе говорил даве...

Пыхтит Яков, отводит щучку назад, молчит. А Долбун вдруг тихим ребячьим голоском ему:

— У тебя, дедушк, что в руке-то?

— В руке-то?.. У меня-то?.. Щучка.

Как сказал Пигунок это слово, так и умчало этим словом блазну. Только издалека, тáя в тишине, выплакала она жалостливо:

— Эк ты, дедушк... Я к тебе всей душой, а ты ко мне всей спиной! Ты б меня Кирюшей, — я бы смирный был!..

Прорычал Пигунок:

— У, тварюга. Погодь, часом доберусь до тебя...

Хрустели по рощам шаги выгнанной блазны.

Луна вскорости на небо вышла, — толстая, красная, на Столбуниху похожа.

Столбуниха! Это женщина?! Это не женщина, извините, а...

Гуляла луна по небесным пустырькам, май, уходя, соловьем свистел, зелень ползла в траве, ползла куда-то.

Эх, ползунки вы, ползунки! Береза плакучая!

«Гурмачи» лежали в туманах и спали, спали благородные цветы, спали две благородные канарейки, в парке спал голый мраморный арап, но генерал Васютин, Никанор Иванович, рвал и метал.

Он в бешенстве ходил по кабинету, испуская зловещие стоны. И это понятно станет каждому: у генерала Васютина болел зуб.

Было поздно. Генеральша видела конец четвертого сна. Столбуниха пыхтела, выхваляясь вверху всем своим неприличием. Свечи на столе оплыли, впрочем не столько от долгого горенья, сколько от нежного дуновения слабого ветерка, надувавшего занавеску, словно за ней чужая спина была. Ветерок тот блуждал по кабинету.

Генерал Васютин был не молод. Он был даже стар. Даже больше: он был и стар, и лыс, и плюгав, но он был храбр. Под Бородином одна и та же бомба оторвала ногу его отцу и голову деду.

В жилах Никанора Васютина текла, правда теперь немного с плесенцой, но все же бурная когда-то кровь генералов Васютиных.

Конечно, был храбр и он, генерал Никанор Васютин!

Но при чем же тут храбрость, если болит зуб? В зубной червоточине гибнут навсегда все добрые порывы и внутренние спасительные помыслы. И вот Никанор Иванович совсем не страдал недугом пьянства, но он выпил полбутылки коньяку. Он выпил и даже намазал щеку коровьим маслом, но эти фланговые удары ему не удались: зуб вел себя по-прежнему и производил вылазку за вылазкой. Тогда Никанор Иванонич решил ударить с фронта. Он со стоном пересел к зеркалу, поставил на подзеркальник свечу и чернильницу с керосином, а потом раскрыл рот. Зуб — это был последний собственный зуб — сидел близко-близко, убийственно направив свою червоточину, как мортиру, в самое искаженное лицо генерала.

Никанор Иваныч обмакнул спичку с ваткой в керосин и решительно сунул ее в дупло... Зуб, скрежеща, подпрыгнул от неожиданности, ошеломленно молчал первую минуту и вдруг свирепо вскрикнул глоткой генерала Васютина и всей своей зазубренной пастью вгрызся в генеральскую щеку.

Генерал согнулся, разогнулся, испустил вздох и, решив сызнова ударить по флангам, допил коньяк.

Зуб не сдавался и контратакой ударил на Васютина. Это вышло потрясающе.

В этот момент в дверях появилась белая фигура, фигура была со свечкой. Это была супруга Никанора Иваныча, Клавдия Николаевна. Между прочим, конечно, это была прекрасная женщина, — кто же не знает Клавдии Николаевны?! Женщина строгих добродетелей и неотразимых прелестей, но, извините, усы все-таки более подходят исправнику, нежели такой женщине, как Клавдия Николаевна. Не может женщина безнаказанно усы носить.

Клавдия Николаевна остановилась в дверях и собиралась заявить, что Никаноров зуб не дает ей спать, что она четвертую ночь спит из-за этих воплей где-то на терраске, что у нее... Но она не сказала: она ахнула.

Ахнула она потому, что именно в эту минуту и произошло появление Долбуна. Занавеска стала отдуваться все больше и подозрительней, потом отогнулся край, и оба супруга ясно увидели коришневую неприличную спину Пигунковой выдумки...

Никанор Иванович сразу понял суть дела и молча, с некоторой укоризной, взглянул на пустую бутылку. Он испуганно вдавился в кресло, но, боясь выдать себя генеральше, молчал и ждал: Клавдия Николаевна не переносила винного запаха.

Ясно: тут бы и послать человека за Филимонихой в Долдоньев Кус, но Никанор Иваныч был дряхл и недогадлив. Когда кровь претворяется в грибную подливку, значит, плохо дело, тут только Филимониха может. Генеральша тупо глядела вперед.

Влезшая тварь была, конечно, Долбуном. Тварь злобно посмотрела на страдательное лицо генерала и промычала:

— Ну, вот что: я у тебя буду жить. Меня Яшка-дегтярник Долбуном назвал, — я ему штуку подкину. А ты меня Кирюшей зови!

В душе генерал уже догадывался: недаром вино с кислинкой было, но все же он тайком ущипнул себя за подбородок, — ощутительно, помножил одиннадцать на одиннадцать — вышло верно.

Генеральша шагнула несколько шагов вперед и вдруг прорвалась:

— Это ужасно! Нет, это ужасно... Голый парень лезет в окно, я здесь, и вы молчите... Вы кричите всю ночь, как угольщик. Я прихожу к вам, а вы суете мне в лицо голого парня... это возмутительно!

Генерал соображал туго,— мешал коньяк. Зуб притаился, прислушиваясь к начинающейся истории, и выжидал только удобного момента, чтоб гаркнуть васютинской глоткой.

Этим-то и воспользовался Никанор Иваныч. Он ожесточенно выскочил на Долбуна и взвизгнул в безудержном гневе,— тут ему помог, конечно, зуб:

— Что-с? Потрудитесь называть меня превосходительством! Я — майор-с! Я вам не рядовой-с! Вы ногтя моего не стоите-с! Я вас в форточку выкину-с!

Насчет форточки, — это он, конечно, напрасно: окно было раскрыто. Никанор Иваныч и спохватился:

— Что-с? в форточку? Вы хотите в форточку! Я вас в окно-с! Я вас под суд отдам! Вы хам-с!

Долбун растерянно глядел на обоих, по очереди переводя взгляд но на него, то на генеральшу. Та, наконец, не вынесла:

— Ах! Да дай же ему хоть абажур, пускай прикроется. Я же не могу глаз раскрыть! Голые в моем доме. От него смазным сапогом пахнет! Защитите же меня, он меня укусит. Это сумасшедший. Это не человек, а зверь!

Генерал наступал по всем правилам, размахивая руками, и вот сурово постучал пальцем по столу:

— Вы ответите! Потрудитесь сообщить немедленно ваше имя.

Потом опять не удержался:

— Я тебя в каторгу, в Сибирь-с! Про-хвост!

Долбун видел уже, что дело складывается неблагоприятно, но на всякий случай выдохнул ласково:

— Зови меня Кирюшей, будто человек я, — мне и приятно. Ты мне нравишься, лысенький, ровно банничек.

Генерал отскочил и вдруг, начиная понимать, протяжно прошептал:

— Так ты кто же?

— Я? Я вроде как бы черту свояк. Вот хлопну тебя по лысине, и станешь — белый кот.

Именно в этом месте генеральша пронзительно ахнула, ибо увидела у голыша длинный хвостик, и, как подкошенная, свалилась на ковер. Генерал испуганно визгнул. И конечно: при чем тут, право, оторванная нога отца и голова деда?! Разрешите Никанору Васютину быть Никанором Васютиным до конца! Пусть лицо его почернело со страху.

На шум прибежали васютинские люди: босой кучер Федька — он бы самого Вельзевула в бегство мог обратить, потом Марфушка, васютинская горничная, чуть не голышом — известная она бесстыдница, да еще там двое-трое.

Федька оторопело глянул на Долбуна, смекнул вслух: «анчутка», перескочил через барыню и закричал так, что генеральский зуб затих сразу:

— Эй, гей! запирай, Марфуша, окна... Мы его в бочку посадим, потешимся. Эй, запирай!..

Но Марфуша, несмотря на все свое бесстыдство и другие гибельные для девушки качества, склонилась над бездыханной барыней.

Федька сигнул на Долбуна, но тот кувылькнулся в окно, показал коришневый язык из-за ноги обалдевшему Федьке и прошипел уже из-за клумбы, — а на клумбе росли разные благородные цветы:

— У-у, падúны!

Федька отпрянул от окна...

В небе было чисто тогда. Слава тебе, Господи: Столбуниха-то спать пошла. Пора, тетенька!..

И ведь какие случаи происходят: в ту же ночь у Васютина серого выездного жеребца со двора свели!

Ночь катилась медленно. Над полями, над дымящейся синим сладким паром травой разлеглось ночное небо, широкое, как луговина в цветах. По траве елозит тихая зелень в ночной звездящейся тишине. И каких ведь здесь только нет: «большой, автоматический — выбор-с»,— как лавочник Сумянкин на Конешемского говорит. И, главное дело: никому и в голову не придет ведь, что зелень-то эта и есть самое счастье. Мне Филимониха сказывала: «Расщепи, — говорит, — пень на Духов день, да поймай и рощеп-то черта носом: что ни попросишь — все будет;

хочешь — денег мешок, хочешь — масла горшок, сруб, корову ли, жену».

Вот над Долдоньевым Кусом пролетело по небу большое, — сзади хвост помелом. Только не Филимониха то: она на богомолье сбиралась.

Долдоньев Кус! — Сто сорок домов да церква Благовещенска. В Долдоньевом Кусе — ох, конокрадов много! Сказывали, будто даже Трифоныч сам по ночам на промысел ходит. Я не поверил: с такой-то бородой, с такими-то глазами? Но врал, конешно, Митька Кузяков неспроста.

Храм зато обширный, благолепие! Конокрад и пить может, и убить может, и Бога не забудет. Конокрад есть русский человек.

А при храме есть, между прочим, дьякон Логин. Труба! Труба, а не дьякон, — зверь! Многолетие зачитает, — беги, убьет! Достигает дух диакона Логина до первого небесного круга, простирается нутро Логиново необъятно. Еще когда в стихарь посвящали — крепко пил: труба промывки требовала. Был неоднократно потому в крайней опасности жизни. О! Ему б полководцем быть! Саблю, пушку и коня!

Ныне пьет он от тоски, — третий день. Дьяконская тоска — это когда дерево трещит, ломаясь. Да вот, загляни в раскрытое-то его окошко: необычайный лик и на нем нос лиловым бутоном. И ведь недаром: у Логина порядок такой — бутыль в день. Днем на сеновале пьет.

Вот в приливе грусти допил стакан, повесил голову на руки и задумался. Логин всегда думает вслух. Слушаем:

— Суета сует. Кому повем печаль мою! Эх, застрелиться, что ли?..

— Нет, ты лучше утопись!

В необъятное изумление впав, повертывает голову налево Логин, видит черта. А это был не чёрт, это был Долбун. Отчетливо понимает дьякон нечистое появление: после трех-то бутылей и не такие посетят.

Рассуждает Логин:

— Та-ак-с значит, до точки дошел. Та-ак. А почему же ты не страшный? Почему у тебя хвост веретеном, а без кисточки? Почему рогов нет? А ну-ка, бодни меня рогом, ну? Не-ет, меня, брат, не проведешь! Самозванец... Ты лучше бы змием явился ко мне!

Конфузится Долбун:

— Я рычать могу-у...

Логин руками развел, — я, мол, тут ни при чем:

— Чудно́, рыча-а-ть! Я тоже рычу, а вот я не черт, а пятнадцать годов — дьякон! Черт есть зло! Какое ж ты есть зло? Ты погань и винный осадок, ты есть пьяное недоразумение моего дьяконского воображения!..

Долбуну сразу обидно стало.

— Не надо ругаться... Я из тебя могу клок волос вырвать. Могу сделать, что хромать будешь...

А Логину и смешно: пил-пил, думал, явится допивать самый главный, — глаза как уголья, из ноздрей смрад, — а тут на — голый поганец, и даже без рогов. Спрашивает дьякон, смешно ему:

— Поцелуй-ка вот тот подсвечник.

Рад ненашик доказать, что ошибается Логин, целует умильно подсвечник коришневой губой, скосив глаза. А дьякон хрипит винным хрипом:

— Какой же ты есть черт? Да разве ж черт может церковный предмет лобызать? Ты ведьмак! Иди вон, я тебя не боюсь. Ты тень пустой бутыли... Уходи...

Чуть не плачет Долбун:

— Я у тебя жить буду... Ты меня лучше Кирюшей зови, я смирный буду. Я врал это, про клок-то волос. Меня Яшка выгнал, меня Никанорова барыня чуть не съела. Я же добрый ведь...

А Логину спать охота, берет дремота его. Не боится он чертей: таково есть дело дьяконское — за бутылями с чертями воевать.

— Ну что ж, живи! Я тобою попа по праздникам пугать буду, злобится он на меня. Лезь в бутылку, там и живи... Я тебя мухами кормить стану. Идет?

Плаксиво носом хлюпнул Долбун:

— Му-ухами? Ты лучше меня Кирюшей зови...

Но Логин храпел уже. И не посмел Долбун нарушить дьяконский сон. Постоял, поглядел. Слеза набежала, — проглотил. Обидно стало, — смолчал.

Влез на подоконник, поморгал, оглянулся. Возит дьякон по полу стопудовый храп. Дьякона Логина волоса полстола застелили рыжей пряжей. И вылез Долбун за окно. Была в нем звериная грусть, хотелось пореветь и палец прокусить кому-нибудь.

Поднималось медленно солнце сбоку зеленого благовещенского купола, меж зеленей березовых, дальнего леса, куп.

Пели утренние петухи. Мычала корова, просилась на луг. В утреннюю прохладу тоненькими ручейками протекали запахи веселых зеленых полей.

Эх, живут долдоньевские конокрады в земном раю...

Пигунок сидел и дремал.

Все дело у Пигунка было в бороде. Борода-то и клонила его в дремоту, потому что каждую ночь паучком бродил по ней сон.

Дремал.

Дятел долбит — кукушка тоскует, мне Филимониха надысь сказывала. Кукушку не так спрашивать нужно — «сколько мне лет жить», а вот как — «кукуш-кукуш, сколько бы мне дней, столько тебе детей» — завсегда она тебе сорок раз по сорок сороков тогда прокукует.

В подтопе желтые дразнятся язычки, — шустрые такие. Заливает жаром небо, но утренних птиц до полдня не унять! Эй, вы, конокрады! Не ходите вы в церкви, ходите в березовые рощи слушать пенье птиц... Просветятся души, и будете вы, как березки, сами в белых рубашках по земле гулять!

Закрыл глаза Пигунок свои, хорошо ему. Течет деготь под землей, течет деготь за берестом белых стволов, течет деготь в жилах Пигунка Якова. Вдруг слышит Яков жалобное:

— Дедушк-а-а...

Знает дед: помстилось; опять:

— Дедушк... Пигуно-ок!

Открыл глаза, ба — Долбун стоит!

Закипятился Яков вдруг:

— Я вот тебя щучкой хвачу ноня!.. Прокляту-ух!

Остановил Долбун Якова, — печаль в нем:

— Не подействует на меня щучка. Щучкой меня не взять! Ты на меня хомут надень — я и пропаду весь...

Не понимает Яков, — пальцы растопырил:

— Это зачем же пропадать. Ты живи, как все живут, имей себе фатеру для своего удовольствия, где хочешь, и не трогай никого...

Горько Долбун усмехнулся, — «пожалей Долбунца, банную блазну — всякая жалость в небе засчитается!».

— Не жилец я тут... Как пни вы. Надень на меня хомуток, дедушк-а... Но могу боле!..

Недоверие в Пигунке.

— А потом пакость какую ни на есть выкинешь? Будешь деготь поганить мне. Блазна...

Но увидал слезинку Яков, — поверил.

— У, ты и впрямь так? Эк тебя закорежило за одну-то ночь! Ну-к, ладно, посиди здесь... Подложи дровец под котел, — посмотри. Поду принесу счас...

Пошел дед. И, пока ходил, думал: что ж, кажный обязан свою погибель иметь; дьякон гибнет от запоя, кура от чумы, береза под топором принимает смерть.

А Долбун сидел на корточках, глядел на корчагу, на небо, на Пигункову шапку, старую и рваную, добавок к бороде. Было ему нехорошо. Притащил Пигунок. Старый хомутище, с залыселым войлоком — цепной пес напугается... Таким бы хомутом да скакуху! Просит Долбун, как безногая дворняжка под телегой, от деда отвернясь:

— Только ты сразу, дедушка, чтоб не больно... Я тебе, Пигунок, врал тогда про головешку ту. Вра-ал...

Поднял Пигунок хомут, но опять опустил — и головой качнул неодобрительно.

— Нет, уж ты лучше живи! Ты только уходи от меня. Хошь — так я тебе шалашик устрою и пшенца отсыплю. Ты тварь, и я тварь, какая разница...

И сел, было, опять на пень Пигунок, да в ноги упал Долбун.

— Надень! Изнемог я. Меня дьякон обидел, — захирел ноня... Ты меня, дедушка, уважить должон.

Поднялся сызнова дед.

— Правильно сказал: должна тварь твари уважение сделать. Сиди!

И произошло. Как накрыл Долбуна хомутом — не стало блазны, лежит ржавый на травке гвоздик, и головка погнулась у него. Пигунок гвоздик этот в березу вбил и повесил на гвоздик шапку — добавок к бороде. И опять сел и стал сидеть.

В корчагу каплет, дятел долбит, бересто высочивает деготь, Пигунок спит.

В небе мостик перекинулся от облака к облаку. Вот бы гулять-то по тем мостикам.

Шумит, шумит березовая роща. Отрадно сердцу слышать шум этот. Тут слетает к вам, представьте, светлый луч и говорит:

— Я — ангел господень. Я вам благодать принес...

А вы ему:

— Положь, ее, друг, на травку и не мешай! Слушаю я, как березки поют!

Мне Филимониха надысь сказывала: «Береза, — говорит, — затем поет, чтоб деготь гуще был».

Знаю и верю. А поют они, как девушки в хороводе на Троицын день...

Июнь 1922 г.

ПОВЕСТИ

ПЕТУШИХИНСКИЙ ПРОЛОМ

И. С. Остроухову

I

Ходил раз один этакий старичок-моховичок за мшарины, где выгон петушихинский потом, за голубикой, насбирал сколько надо, больше некуда, — идет домой, тянет богородичну молитву, озирает сенокосные луга — все ли там в порядке. Тишина вокруг него вечерняя, как медовая сыта в глубоком голубом ковше, — не расплещи дара божьего!

Тут пролетает над старичком — вот крыльями хлопает! — вихирь ночной. Подымает старичок голову поглядеть, какой такой шутуляк тишину поганым крылом колотит, — поднял, да зацепился за кочку лапотком: и сам тут хлоп, и голубику рассыпал. Присел потом на пенек, плачет да ряской прохудалой вытирает глаза...

А тогда пролетал через воздух пчелиный рой. Подлетает к старичку пчелиная матка:

— Ты што, почем плачешь, деушк?..

— Во, — голубику рассыпал... Весь день сбирал! Такто обидно, пра-а, труды свои потерять!..

— А ты не плачь, не по чем. Счас мы ее тебе сызнова сберем!

И не успел старичок последнюю слезу обмахнуть, взвились пчелы, ударились оземь проливным дождем, разлетелись. И собрали ему голубику всю и в туесок поклали, а промежду прочим подсунули медку в каждую ягодку, чтоб слаще старичку. И не знали, что старичок-то Пафнутий сам.

И воспрянуло сердце Пафнутьево к радости, и стало словно б преображенье на душе. И захотелось ему радость

этому месту луговому приустроить. Хотел сперва церкву. «Нет,— говорит, — от церкви земле тяжело». Хотел потом дом постоялый либо колодец, да порешил вот:

— Пускай на сем месте люди будут жить. А обок деревне — пчельник где-нибудь возле ручья. Вот и ладно будет.

А не знал Пафнутий, что на месте слез его случится великий пролом не в одном человеческом сердце.

Так и стала быть Петушиха тут — семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идет. Источены были сильно петушихинские избенки осенними ветрами да зубастыми напастями.

А Петушихой она не потому, что первым здесь человеком человек Петухов Абрам был, а потому, что пели в тот день предосенний за линючей неба облачной занавеской знойного лета голубые петухи.

Так Пафнутий сам повелел Петушихе быть. Тому двести тридцать лет.

II

Петушихинские жители наперечет все. Конечно, во-первых, Петухов, главный, Василь Лукич, в городе пирогами вразнос торгует, — большаки его потом увезли. От горькой осины яблочка не жди: сынок у Василь Лукича — носатая верзила, непьющий, жадоба, — Лукой по деду. Жил бы он в Петушихе, стал бы он старостой, была б у него бородища в аршин. Помер, — полили б его попы елеем, и вбили б люди в смертную память ему матерного слова кол. Нам с ним не встречаться, по миру вместе не ходить, — бог с ним! От Палагеи добра и ждать было нечего: могла ль такая каркодильная утроба с толком разродиться.

Еще есть человек Фёдор. Был он кузнец, глядел в жизнь, — ныне загуменная безногая колода, в смерть глядит: впредь не станешь, дядя, хворых старух из огня таскать! Подкармливает отца, по силе возможности, парень молодой воровским своим рукомеслом, — кто ж не знает, что Талаган вор? Сторожите семеро гнедого мерина, не смыкайте глаз, — сведет! Зато и песни поет он, как

никто во всей округе, зато и пляшет — холодеют груди у молодок, запирает дух у стариков... А потому, что шапка на затылке, пояс за голенищем, голь в глазах! Поймали б, избили б смертным боем: ребрышки б Талагановы об коленку пополам, да не попадался, как карась склизкий и черен как ночь, взад-вперед измеренная зорким конокрадовским шагом.

Петушиха знает вся, Петушиха ведает: Аннушка, вертоглазая бобылка, худое слово зря, — Талаганова прихехенька. У ней дом шалашом, ляжешь на полати — небо видать, да петух деревянный, вырезной над крыльцом, да бусы вокруг шеи красным горохом, и шелковый повойник алый, три с четвертаком, — на!

...Раз в Троицу,— гоготала зычно Петушиха шатуновскую гармонную песнь,— пристал к Аннушке рябой Петруха-лавочник, Василь Лукича братан:

— Вы уж очень завлекательные-с, Анна Устинна, приятные-с! Дозвольте ущипнуть?

Аннушка бровью взмахнула, брови — коромысла, носят они ласку ведрами Талаганову сердцу:

— Уйди...

Красную тогда хмельную рожу подкачнул к Аннушкину уху лавочник, руки за спину заложив, и шепотком:

— Напрасно вы этто карачитесь, жаль мне вас! Опосля первого же брюха бить он вас станет. Э-эх-ха, зарежет тебя Талаган, бусы на тебе больно красные!

Потянулась Аннушка лениво, — что для ней, мирского человека, конокрадовой ярости нож:

— Уж уйдите вы, Пётр Лукич. Уж больно рожа у вас, словно муравли проточили. Глядеть не могу...

Проглотил Петруха, козырек послюнил:

— Покорниче балдарим, на поминках будем!..

Зарезать-то ее потом зарезали, только не Талаган.

... Есть и еще в Петушихе люди, заплелось в пестрый жгут племя человека Петухова, смешались кумовья с деверьями, золовки с невестками, добрый все народ — а попроси под окошком водицы умирающий, скажет Аннушка та же:

— Не знаем мы ничево. Пил один надысь, да ковш стянул.

Скажет Талаган:

— Эк ты, человек, несообразительный! Я сплю, а ты мене понапрас тревожишь!..

Выглянет из окошка Палагея заспанным, свиным глазом Лукичова жена:

— Подь на колодец, да и лакай. Ишь пристал, барабан солдатской!

Вот и пойми тут волчье их родство: бегут волки стаей, все други, подкачнись на бегу,— сгрызут.

Ошибусь ли: сия Петушиха процветет еще тихим цветом скупым, как бурьян подзаборный, двадцать лет. Опосля того приедет сюда барин с кокардой, да нехрист с аршином, да купец с кошелем — выстроит тройня сия кирпичный завод... И будут они здешней земли каленые пряники на мужицких, за рупь с копейками, подводах к железной дороге возить. И прославится Петушиха, место на земле, сперва хлюпкими дорогами, черт шею своротит, потом монастырем Пафнутьевым прославится, а пуще прославится полновесной шестивершковой кирпичиной.

Экое веселие покоишь ты в себе, рыжая ты земля, по оврагу, петушихинская!

Но покуда теплится в Колушовском лысистом овраге дедушка Хараблев Савосьян, пчелинец по слову Пафнутия, не полетят, — так сердце верует,— над медоносными лугами черные мухи копоти заместо золотых, звенящих круглым крылом пчел. Ибо зажалили б пчелы барина, Сёмкина кобыла перепелесая залягала б нехриста, зарезал бы купца с кошелем Талаган.

...Вейтесь, вейтесь над Петушихой людского сердца, золотые хлопья пчел!

III

Ныне вставало над оврагом Колушовским прохладное, голубым сквозное утро июньского дня. Птицы-то — когда поют, не затуманятся глаза печалью, хоть тут же медвежьей лапой по небу нежданная гроза ударь! Так вот: пели в то утро птицы.

Савосьянов овраг вроде ижицы: два крутых сбежались в один с пологими склонами, и в месте сбега их пчелиных

двадцать три пенька. Сказывают, будто давно, когда еще Пафнутий по земле пешком ходил, текла здесь река, а вокруг леса были. Потом с мужичками сообща да с божьей помощью принялись монахи за лес и свели. В последний час поднялась река к небу, опрокинулась прощальным диким проливнем на опустевшие поля, и нет ее. И стало место пусто, и стали пни гнить, а люди мельчать, а в зеленеющем лоне реки бывалой объявился Савосьян и с ним Алёша, белый мальчик, — бог над ним!

В это утро медовое ходил с дымящейся гнилушкой Савосьян по ульям, задувал серые кольца дымка в ототкнутые летки: по-пчелиному — пчел подкуривал. Были пчелы вялы, был пудовый дурман и в лапках и в надкрыльях у них. Но взлетали, щетинясь гневным гудом крыл, щетинясь жалом и переливным взглядом тысяч глаз, а сам-то Савосьян был ух смешон в плетеной морде, надетой поверх: прямо леший либо полевик, — только б вот ему костыль цепом.

Ломал мед, любовно складывал в липовое корытце восковых сундучков многие тысячи, бело-прозрачным липовым же медом налитые до краев. Пахло воском, и было солнечно над головой. Всякий знает: мед от пчел, а пчелы от солнца, а солнце гость чудный — здравствуй, гость!

Подбежал к старику Алёша, внучек, зажимая игластое, круглое в полу рубахи синей:

— Деушк, а я в омшанике ежа поймал... Вошел, а он под колодой, в которой, помнишь, летось мыша нашли... Торчит чернота, — я его рукой, он иглой, — тут я его и взял. Колючий, на!

Дед, пятерню в бороду запустив, зорким взглядом на Алёшу сквозь сеть проскользнул:

— Ну-к ладно, подь тащи в избу, молочка ому. Он, еж, мышей ловить горазд!

Гладит осторожно Алёша ежиную колкость, говорит тихо:

— Я ему, знаешь, ежиху найду, чтоб не скучал... Деушк, бывают они, ежихи?

Стенку в пеньке открыл и улыбнулся не без лукавства:

— Как же не бывать, бывают! Раз еж, значит, и ежиха... Ежи, они все женатые!

Поднялись Алёшины тонкие брови:

— А колючие-то как же они?

Роями взвиваются пчелы, ищут, кто, недобрый, с ножом в руке вошел в дом их.

Смеются Савосьяновы глаза:

— Колючие-то как? Так вот и колючие. Осподь помогает, значит. Беги... ох, матка б не уплыла! Да глянь, щи не ушли бы там...

Засверкали пятки Алёшины по траве, июньские росы теплые, — солнечные кудри у тебя, Алёша! Издалека кричит, похваляясь:

— А мне Талаган ножик даве наобещал, — во!..

Ворчит Савосьян:

— О, связался шут с младенцем! Наградил господь сынищем кузнеца. На меня б его, Талагашку!..

...Солнечно блестит в корытце мед; две корчагитетехи медом доверху. Да и вся земля медом густым была до краев полна.

...А тогда распускался медленно над ржаными полями, над мшистыми порубями знойного дня цветок. Липы и дикие яблони, опушки обступив, белые русалки петушихинских весен, простерли поверху лапы и руки свои. Но там, над ними, верстами превыше их, поднимался в небе мальчик тихий, несущий пасмурную песню другого утра в красных и вялых устах своих. Он шел ровно, как Алёша ходит Хараблев, приближался тихо к тому месту неба, прямо над головой, где, знали люди, если встанет солнце, быть тогда смертной беде живым.

IV

А когда отходил Пафнутий, повелел Единый темной ночи быть. И была ночь.

Трудно расставался дух его с телом,— и не нужно было, чтоб видел чужой какой-нибудь мимоходный глаз, как сгибалось на подстилке из прошлогоднего, палого листа в убогом шалаше Пафнутия худое тело, как, свистя, рвался горячим паром дух жизни из ноздрей, как предавалась земле серым налетом подернутая персть и великий конец становился началом.

Стояла ночь. И склонялись под мокрым ветром голые березы и осины и случайная темная ель, укрывая Пафнутья от дождя. И умер. И расступились деревья, давая пройти. И прошел. И зашумели.

Свалился тогда возле лисьего жилья дряхлый гриб-трясовик, запоздавший сгинуть, ибо давно осень была, а накануне целый день проплывали журавли по небесным дорогам промеж облачных гор, — бегли от холода, от голода, от зимней поры. А солнце росло и пухло не теплым желтым одуванчиком, а негреющим красным маком, который ровно уголь из потухающего под дождем костра.

Потом — так говорили попы — гнал мужик лису по первозимнему следу и нашел нетленного Пафнутия, и будто бы иконка в головах. И не дознаться было, кого привела лиса к Пафнутьевой нетленности: мужика с ружьем, ли попа с крестом. Но была великая неправда в том, в лисе.

...А потом еще годы шли мерно и строго, как слепые старики на богомолье. И случилась вдруг часовенка негаданно, а потом монастырек как-то ненароком, — в нем и поныне тридцать монашков черными локтями да мужицкими крепкими лбами в медную рая дверь стучат. Достучался ли хоть один, кто знает? Да и стоило ль стучать по-настоящему: от добра добра не ищут! А игумен здесь податливый, именем Мельхиседек.

Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и похабник был, торговал скобяным товаром, и звали его, по пьяному делу, Митрохой Лысым. Слух ходил, что однажды, в пьяном образе, прокатался он целую ночь по городу верхом на свинье, когда же, вдребезг пьяненький, успокоился в канаве, то явился ему будто на утрий час Пафнутий и велел: «Будь у меня игуменом». И стал, преобразясь в Мельхиседека.

Еще в начале самом бил поклоны пламенно, и был сладок ему горький елей монашеского жития. Воздержан был: дважды падал, истомясь, широкой спиной у заутреней, а потом с чего-то трудней стало в безмолнийное небо мертвые камни молитв швырять. Потянулись надоедливо монастырские дни, — тихоходное бессловесное зверье. К тому же случился с ним тогда большой перелом.

Наложил раз на монаха эпитимью за бурное слово, а сам встал на колени и молился весь день и всю ночь. Был обилен пот, нескупы слезы, и на рассвете, когда заломило огненным сверлом в спине, придвинулась душа его ко краю, и, на коленях стоя, высунул он Пафнутию прокушенный свой, в бешеном исступленье, багровый язык. Ибо требовала в последний раз душа его пламенем сверкающего чуда, но не было чуда, и ни молния, ни гневная морщь в Пафнутьевом темном лике. А зорко глядело из Мельхиседековой груди озорное сердце Митрохи Лысого. И когда не стало чуда, сделалась заместо сердца коряга, и коряга та свиной щетиной поросла.

С той поры залоснились Мельхиседековы щеки, голос позычнел и походка утруднилась обилием тела.

...А слухи о Пафнутьевых останках стали дымом распространяться по земле, потом претворились слухи в славу, — трухлявый господин заезжий ревматизмы вылечил, — а слава в буйную разрослась молву.

И шла она, молва, людским трезвоном по полям бездорожным, по лугам заливным. Входила молва в мужицкие избы, придавленные горем; залезала в уши к безногим мужикам на полати, к бесплодным бабам в сердца, в головы пустые к невидящим старухам, тем, которые с растопыренными пальцами и с глазами, налитыми темной водой, вымаливают благостыньку на больших дорогах пространной нашей земли.

И плелись они, бабенки с пустыми глазами, конокрад свихнувшийся, бобыль с бородой, — богомольная, нищая босота, каменное горе под юродным крестом, — с клоками сена в волосах, с колокольцами в сердце, ползли безногие на мозластых пятернях, и там, перед серебряным сундуком, слепые подымали головы, провидя страшные выси в куполах, мертвым взглядом угадывая Пафнутия, возлежащего в славе, перед собою, бесплодные выставляли вперед пустующие брюхи, и рычало в жалобном ожиданье нутро их:

— Пафнуть, освяти, подай мужичка родить, — назову Пафнутием, — крикунка махонького!!

О, сколько раз протягивали вы Пафнутию корявые тяжелые ладони, копейки ваших душ...

...А когда на обеднях затаенными голосами пелась херувимская и кричали навзрыд кликушами пучеглазые Мишки Кукареку, двоюродни Митрохи Лысого, торжественный, как каменный Ваал, стоял Мельхиседек на ковровой игуменской вышке и потел от скуки, а сердце, спрятанное глубоко в черном, не ускоряло к вечности бега своего.

И по мере того как окружалась Пафнутьева нетленность серебром лампад, мерцающих горе лукаво, окружалось жирком бренное игуменское тело и славой неугасимой — белые стены монастыря.

«Что ж, Митроха, живешь неплохо, — поговаривали иные,— поистине претворился полынный елей монашества в сладостное уединенья вино!»

V

Озорует каждый год, проступает цветным, сквозь вековечные заплаты, три дни пьяная пестюрьковская подмонастырская округа, на Ильин день.

Пестюрки — село обширное, на горе, а под горою, в тенистом лозняке проползает безназванная речка мелкая: окуню впору, налиму в самый раз.

Гуляет, позвякивая в дырявом кармане ножом о непропитый грош, лапотная удаль, гуляет пестюрьковский поп с попадьей под цветастым зонтиком, гуляет степенный мужик на два с полтиной, Аннушка гуляет, Василь Лукич... Ухает презычно луженая ярманкина глотка, весело таращится в небо пьяный глаз с бельмом, а в небе туча, и в ней Илья. Катится лапотный вал за валом, щурится раскосым взглядом, хромают гармошки, давясь плясовой, дороги пылят... Подкатываются тележки к ларям окрайным, к трактиру, к божьей церкви, — пять белых над ней куполов. Тут ударяется вал о глухую стену, вливается в пустые жилы ярманочных рядов черная, мужицкой гульбы кабанья кровь.

С вечера задвигалось цветное, с ночи загудело громко, засверкало с утра. Раздвинулись ноги в сторону, грудь колесом, похваляясь, что быстро кровь бежит:

— Ба-аранки, баранки... Копейка штука, сдобы пуд!

На голову крендель трехфунтовый напялив, орет шаромыжной глоткой мужичина страшенный, масленую рожу выставив из холстинного шалаша, — и та же гульба за скошенным на мальчишку взглядом, и та же буйная сила, связанная юродством крепко, в корявом, зазывающем персте.

— Ай вот ситец, ситец, ситец... дарма отдам! Э-гей, вековухи, ситцу...

Бабы грудью наперли, девки ходят колесом вкруг ларя, — камка, китайка, синее с голубым: «Энтот почем с каемочкой?» — «Не напирай, баба, не скотный двор!» Треплет незлой июньский ветер кумачовый печатный платок на жерди, — желтые розы цветут пасхальным колером по его красному полю, до первой стирки цветут! По радужным ситцам тем прыгает деревянный хозяин, скачет как полоумный щербатый да замызганный аршин.

В расписном ларе — ребятье беловолосое, Митьки, Никитки, Васятки тож, никнут неутоленно к маковым медовикам, никнут к вохряным бокам ларя: стопками разлеглись друг на дружке меж изюмных мешков удалые сверкающей радугой пряники... А по пряникам скачут храбрые Ерусланы, алые солдаты сахарные на кургузых конях, а по пряникам цветут нетутошние, удивительных стран цветы, — был бы ты барин, весь век бы ел!

Течет, кипя разнозвучным гулом, ильинского дня бесшабашная ярь, расплясался с пономарем заедино достоенского колокола на колокольне развеселый, запьянцовский звон. А небо распростирается синей степью над головами, и по той степи летит, звеня серебряной подковой, свирепого Ильи гривастый конь... И небо все — как кибитка, быстронесомая тем конем, и пляшущий гик поповского трезвона, и ярманкино сердце как кибитка, которая не знает: обрыв, дорога или удерж где...

— У-ай, подходи... плошки, корчажки, обливные горшки... кому уважу?.. Не стукайте, не стукайте, ишь звон какой! Эй, рыжак, ногой передавишь...

Так заливается круглая баба с воза, голосит, красноголосая, над поливным своим товаром, над черным горшком.

...По второму ряду, на самом краю, встал житель петушихинской, Мирошка, — бороденка у него без аршина

вершок, а хитер, как слепой на свадьбе, невелик-мелкий человек. Горы целые щепного товару позадь него: тут и дубовая пудовка на мерной стоит, тут и березовых скобленых оглобель розовые частоколы, — мятным ли тестом, горькой ли осиной несет от них, не поймешь... И шкуреные дуги, на жердях, как калачи, лесной товар — товар праведный, дуб, береза и липа тут.

Стоит Мироха, прищуря оловянный глаз, слушает слезливую песню мимо идущих слепцов, их трое: два заросших и безбородый один, — у него красные, ветром полевым высушенные веки:

А-а ишоо по-омяни, о-споди-и,
Та-а-во кня-азя бла-аверн-а-ва...

И поводыренка голубоглазого голос знакомо летит в Мирохины длинные уши:

— Па-адайте, дяденьки, невидущим Христа-ра-а-а...

Знает что-то свое про поводыренка там, внутри, и, застыдясь невзначай, сует мальчонку в руку:

— Это тем, бог с ними, а это беспременно на гостинец тебе!

И вдруг, заметив смешливый взгляд соседа, завопил, срываясь с цепи:

— Ну-ну, не застаивайся! Ишь вылупился баран на новые ворота...

А уж издали слепая песнь из-за гама ярманочного, — пахнет дегтем и ситцем, мятным коржиком и навозом конским развеселый гам тот:

А во то-еей ли там це-еркве бо-ожией,
Там пы-илали за престолом семь свечей!

И тонкой струнной поводыренок в голос:

...се-емь све-ечей...

И тут со стороны, слова вразброд, лапти с гиком в стороны, Тимошка, жарь! —

А-ах, дома нечево кусать,
Сухари да корки.

Па-ашла плясать,
— Скидавай опорки!..

Лаптями, локтями, винным духом пробивают для плясу столбовую дорогу в крикливой сутолоке пьянымпьяных два, — узит смехом глаза пуговичник седатый, худой как гвоздь, из-за убогого лотка соседке, бабе с пирогами, — она как пуговица:

— Хы-ы, ледоколы-ы!.. Ну и публика... во народ!

Облака идут бесконечно, белых облаков стада по голубым чистопольям неба; оседают лиловой морщью за селом ильинские те облака, ждут поля громов и ливней скорых... Деревья вытянули сучья по ветру, и стали листья пеплового цвета, и затемнилось небо, — будет дождь.

За трактирными столами у Маныкина, в горячем кухонном пару, кипением кипит трактирное действо. Шпарят себе китайским кипятком досыта набитые утробы разношерстные торгаши, жрут, потеют и снова пьют, и великая благодать спокоя за свое унынное раздолье, за вольное под голым небом обширных полей наших житье, теплится из потемневших благодушно глаз.

Савосьян, как продал две привезенные пудовки, пошел было чай с Алёшей пить, но сидели недолго. Как снег на голову — шум неистовый, голоса рычат, визг бабий; столпилось шумливое и грозное за двором, где кормушки, кулаки гневные вздымая вверх. Бросил трактирному мужику пятак на стойку Савосьян и вышел с Алёшей вон, и спросил Савосьян:

— Скажи, человек, с чего это люди шумят?

Блеснул зубами мужичонко, оживленно потрясая ладонью, вытянутой кверху:

— Конокрада пымали, счас бить будут...

Тучи всё оседали и рваными клочьями неслись над головами, ярманка гудела приглушенным гулом, как шмель, забывший дорогу, телега проскрипела над самым ухом, солнца нет, — с возу баба охриплая закричала:

— Ма-ашельник... учить их надоть! Чего глядите? Ишь, кобели, расставились...

Тогда рыкнуло головастое сборище, кидаясь вперед, и что-то хряснуло сырым ударом, и опять голос, скрипучий, как колодезное кольцо:

— Ты ему в грудь, в грудь наддай за чужую лошадку... по ногам, по ногам тож!..

Расступились, давая четверым, озверившимся, бить. Кинулся Алёша, увидел Талагана там, лежащего в кругу. В крови были Талагановы губы и нос, в крови и руки, — ими он растерянно проводил по кровяным течам, и глаза, направленные в небо, были как угольные ямы: черные, ждущие, приемлющие смерть.

Топталось вокруг него четверо: барышник один губастый, весь острый и кривой телом, как рогожная игла, потом Василь Лукич, петушихинец, он все тыкал кулаком в восковые скулы Талагана, сперва не сильно, но крепче час от часу, — не жалел, что размочалится кулак, он все ярился, и глаза вращались, как жернова, тяжелые, не знающие милости... Потом был мужичонка тот горластый, глядел взглядом застылым, место выбирал, ударить куда, а четвертым пономарь пестюрьковский, плюгавый, но старательный в битье человек: все плясал вокруг да около сумасшедшей блохой, приглашая созерцателей:

— Эк, здорово я ево... Подь, дай ему пинка,— человек он казенный ноне! Хороша лошадка, на погост бы ему на ней, а? Счас на ребро ему насяду...

Пропускали некоторые смех сквозь неумолимую суровость свою:

— Ишь ты-ы, кулаком-то как поп орудует... как поп кадилой!

— Зуда ево берет, пузастово... вот и орудует!

— Клещ прямо!

Тут с маху, дрожащий и красный, вдарил Василь Лукич лаковым сапогом в Талаганов бок, как в мешок с паклей, — не пожалел Василь Лукич нового сапога для дела обчественного. Сперва стихло, удивленное, вокруг, водя отупелым взглядом, и в кладбищенской тишине той остро и хлюпко сказал крупный, черный мужик, скаля цыганские зубы:

— Бей, чево там, кончали б до дожжа!..

Сдвинулось, топоча, захрипело, — хлынули черные сапоги на вздувшуюся смертным вздохом Талаганову грудь. В общем кряхте кто-то грохнул страшными словами, заглушая рьяный шум ярманочного пляса:

— Да не бей, не бей в морду-та, девки любить не станут. Ты ему в живот, в брюхо жарь!..

И тут-то закричал пронзительно Алёша, руки заламывая над головой, и, рухнувшись наземь среди застылых в тревожном ожиданье мужиков, лягушкой заквакал, лягушкой прыгая из черного кольца. Савосьян к нему, — тот мужик большой грозно чвакнул пьяными словами, ворочая широкой медвежьей губой, над Савосьяном:

— Порченых водят... Сам сед, а ума нет.

Вытащили Алёшу, из бадьи поливали водой. Толклись и кричали над Талаганом.

А небо, как половиками, тучами устлалось сплошь. Громовый ветер обнажил вдруг солнце на единую минуту, оно было исполнено гнева. Потом снова предночная тишина... И тут вьянула с разбегу буря в гробовые доски туч. Молнии прошли скрозь, осенили синим, и ливень ильинский хлынул ручьями вниз.

Тогда разорвалась людская петля Талагана вкруг, и побежали, и первым бежал Василь Лукич, держа руками брюхо, чтоб не упало. Талаган лежал красный и мокрый, удалецкая поддевка в скоморошьих лоскутах, живой. Благодарствуй Илье, Талагашка: Илья конокрада от лютой смерти упас!.. Потом перестал ливень, выглянуло солнце, омыло ярманочных ларей расписные ряды, вымыло сельской площади стоптанную зелень, омыло людей.

Подошла старуха старая к лежащему, вытерла лоскутом Талагановой же рубахи кровь с лица, сказала обыденные слова:

— Небось матка есть... Видно, матерня-то молитва об тебе, ох, плоха-а!

Сквозь кровяной сгусток обеззубевшего рта протянул, как мальчик, гнуся кровью:

— Бауска-а...

А уж там, возле колокольни, отзванивали плясовую по висячим бутылкам карусельные вертуны, — шпарили, крутили в синих бабьих кацавейках, валяными сапогами перебирая грязь... Летали вкруг облитой копеечным зеркалом башенки карусельные чуда-юда. Тут и конь Сабатан с пламенной гривой, — не жалел маляр бакану! — и птица Аксафат горняя, семьдесят семь крыльев сере-

бряных на ней; тут и Махметан на карачках, в нагбенном положении. И, сидя верхом на них — на конях, на слонах, на деревянных Махметанах, под веселых двадцати семи бутылей дрынканье, под кабацкую, заливную, забубенную гармонь ухает оголтелое ребятье, катит все вокруг да около дребезжащего радужного, пустого места, девки визгают, чуть не кудахчут зазывно, как куры в первый апрельской пасхи день... И над ними, озорными, визгом покрывая бутылочную чечетку, орет проголодавшийся Петрушка и в который раз за трудный нынешний день колошматит липовой орясиной деревянного попа в накрашенную залихватски рожу, честно зарабатывая горстку медных пятаков на верещащего хозяина.

Когда оправился Алёша, и глядел вяло, и словно слезами внезапными исцарапались голубые глаза, и весь как кукушонок покинутый был, — повел Савосьян Алёшу к горшечной бабе, сказал Алёше:

— Выбирай, — вишь, какой товар навален!.. Свистульки, пистульки, ребячьи утехи...

И выбрал Алёша средь глиняной рухляди Егорья глиняного. Долго глядел перед выбором на него, как сидел он на круглошеем коне, а заместо копья струганая палочка, как сверкала красным и синим вычуром под полуденным солнцем Егорьева броня. А потом погладил ласково, как гладил ежа накануне. Стоил, оказалось, Егорий двенадцать медных копеек лишь. Потом сел Савосьян на подводу — и домой, в свой двуединый овраг, обок Петушихе, осьмнадцать верст песками, лесом и горой. Ехал-ехал и обмолвился благодарно:

— Эк, обожаю дожжик!

Каждый год заходит в громовую тучу солнце, полуденный пряник ильинской ярманки. И до вечера позднего, покуда пьяным храпом не устлалась земля, горланили неугомонные Пестюрьки.

— Ай-гой, кому остатки... вот тут кудель, пенька и веревка. Э-эй, зипун, подходи!

— Почем конец вот энтот?

— Энтому четвертак вся цена...

— Четверта-ак? Ну-к сам на ем удавись!

До самой утренней зари, — избитого, кровоточащего Талагана в канаве, возле ямщицких кормушек, неча-

янно найдя, — плакала сурово злыми, бабьими слезами Аннушка, лила, не жалея, водку в запекшиеся губы, щупала синеющую полуаршинным кровоподтеком грудь и живот, раздувшиеся страшно. И, грозя бессильным бабьим кулаком, звала огненную, нищую беду на пьяную, рыкающую округу.

VI

Висит месяц над осиновым пнем, глядит пень унылым глазом в месяца, и знает месяц, что есть подле низового бора глупый, осиновый пень. И знает пень, что есть месяц светлый в облачных пучинах вверху. И так они одиноких два: бродит один, ищет, — сиднем сидит другой, знает — «не найдешь!».

Раскинулись широко по небесам большие пастбища лилейные, неужто же травы на них не растут, прикрыш не ползет, донник, гулевая трава тоски, трын-трава, не цветет тусклым цветом, цветком-бельмом?

Плавают ночные блудливые тени в синем молоке вечерних рос. Проходит, наскрозь проходит свою землю Пафнутий, чует беду.

Порхнула мышь сквозь ночь.

Прикидываются тени людьми, люди — зверьми, звери — пнями; присядут на корточки в кромешной тиши, и не разберешь тогда: ли пень, ли тень, ли человек с ножом, ли рысь усатый, но взмахнет хвостом, заиграет рогом, — увидишь: див.

Не ходите в полночные леса, девки, по ягоды, мужики — по дрова, трухлявые старухи — за грибами: встретишь дива, он куражиться горазд, гаркнет — станешь пень.

Ходит див по полям то гадюкой сереновой, то галкой нелетучей, то зверем ночным о двух хоботьях. И где покрестит Пафнутий, там плюнет див. Нет больше месяца над осиновым пнем: сизое облако на него набежало. Береза по-вдовьи над камнем плачет, сыч надрывно кричит. О чем тут плакать, о чем кричать?

Разве затем лишь небо, чтоб облака в нем плавали?

Разве затем лишь глотка, чтоб кричать навзрыд?

VII

Дадено Савосьяну не храпеть никогда. Знамые люди сказывают: у кого в сердечнике щель, тот не храпит, — щель мешает.

Он спит хорошим сном сорока праведников, коим обетовано царствие... А месяц стоит опять в небе, а на месяце сидит мальчик и песенку поет, мальчик-сон, болтая из серебряного лычка лапотком вниз. Спит и Алёша, — да охранится от дива некрепкий сон его. Под тулупом волчьим Савосьяна, где спит он, пусть приласкает мальчик-сон его девичье сердце!

А на подоконнике, весь под светлым месяцем, стоит Егорий глиняный, и коня его раскрытые чутко ноздри слушают прохладные запахи полночи, которая течет за окном. Егорий вот каков: на самом три ладка, и конь дудкой тоже, — подуй ему в хвост, зажми ладок умелым пальцем, и запоет Егорий, и потеплеет глина, и содрогнешься весь.

Проползают, пробегают под самым окошком легкие и тяжкие, пузатенькие и тощие крапивные сны и пряничные, проходят мимо, заглядывая в окошко лунным глазком.

Куда послал вас Мальчик, милое, ночное зверье?

— Бабка Аграфена счас помирать будет... Обступим, чтоб легчае было!

И тут слышит Алёша гудочек тихий сквозь сон и открывает глаза и видит. Пляшет под Егорьем на залитом луной подоконнике глиняный его норовой конь, и гудочек призывный — из окна. Не сводит темных, потому что увидели другое, глаз строгих Алёша... А месяц стоит в окне, а яблони молчат в луне, и небалаканые воды тишины текут в глухом овраге, как давняя, забытая река.

Спрыгнул конь на пол, дрогнуло Егорьево копьецо. Раскрылась дверь, и вышагнул конь, и засиявшее Егорьево лицо осветило темные сенцы: решето на стене, два корытца липовые и прялку старую,— Савосьянова бабка пряла семь годов назад. И, позванный одним немым взглядом, пошел Алёша за Егорьем, — вышел и застыл, пораженный радостно.

...Обступили кругом камни, страшной силой раскиданные между великих гор, на них леса взмахом до неба,

над ними дикие пучины черных небес. С камня перескакивая на камень, с горы на гору, нес Егорья чудесный конь. И рос и рос на коне Егорий глиняный, — вот стал ростом в семь дубов больших, вот затерялся в сером облаке мимо бегущем золотой его шишак. Обрадованный, шел за ним Алёша по бездорожному каменью и синие пучины, в синей рубашонке сквозь вечную ночь. И когда блеснул месяц негаданный меж двух обширных гор, догадался Алёша: да не подкова ли серебряная коня Егорьева — в осенних ночах встающий месяц?

А как перестал видеть Егорья, увидел Алёша пещеру, — рос вокруг пещеры красный перец и острогон. Он вошел в пещеру и увидел трех, сидящих рядом дьявоилов на свинцовом сундуке, руки — словно вилы навозные. Один был хвостач, другой крылач, а третий рогач.

Догадался Алёша про бесов, говорит:

— Здравствуйте, бесы, три.

Отвечают дьявоилы хором, нестройным рыком, Алёшиного взгляда голубого сторонясь:

— Мы не бесы, мы полубесы...

Говорит Алёша тихонько:

— Здравствуйте, полубесы.

Отвечают бесы, озираясь пугливо, орлиным клокотом:

— Мы не полубесы, мы вертопрахи...

В третий раз говорит Алёша, желая дознаться:

— Здравствуйте, вертопрахи.

Чуть не плача, отвечают дьявоилы скрипом хрипучим надломленного дерева:

— Ох, мы не вертопрахи, мы Радости человечьей сторожа...

И тогда понял Алёша: там, в свинцовом сундуке обширном, на дне, связанная лежит в неволе Радость. Усмехнулся этому Алёша и вышел вон. И, пройдя еще немного, увидел как бы большого идола-болвана, седяща на камне с дом. Глядь, а это не идол, а чугунный слепой дед что-то в ступе толчет. Поднял дед на Алёшу невидущие глаза:

— Ты кто?

— Я Алёша. Будь здоров, дед,— Алёша говорит.

— Как же мне здоровым быть, когда меня, может, и нет совсем! — отвечает дед.

Сурово бровями шевельнул Алёша, удивляясь:

— Как же нет, раз в ступе толчешь?

— А может, и ступы-то нет!..

Улыбнулся дед про себя. Глянул ему на руки Алёша, удивился: по три ногтя у деда на каждом пальце.

— А что же это толчешь-то ты?

Насупились чугунные брови над пустыми глазами:

— Толку землю твою. Растолку — пущу по всем четырем ветрам, двадцати поветерьям. Пущай по всем краям полымем процветет.

И усмехнулся Алёша, и пошел прочь, и тут увидел стеклянную гору и мужика в ней, вертящегося бешено, косматого. Покачал головой Алёша, вошел в гору, поклонился в пояс мужику:

— Ты с чего ж это, дядя, вертенье-то принял?

Остановился мужик, отер страшный, разбойный лик рукавом рубахи рваной:

— А верчусь, вознестись чтоб; тыщу лет верчусь. Меня дикие напасти грызли и лютые болести точили, а я вертелся все... Вознесут меня шестикрылые, поведут под руки в райский-то сад, а я плюну им в рожи и назад уйду.

— Куда ж уйдешь ты?

— Здесь, в стеклянной горе сызнов вертеться буду, чтоб грех замолить.

И опять глубоко понял Алёша косматого мужика, усмехнулся про себя, помолчал, а потом спросил:

— Тебе, может, водицы принесть, дяденька?

— Не, мне не надоть. А ты закрой глаза, на меня нельзя долго глядеть,— сам вертеться станешь!

И закрыл Алёша, занавесил сонным шелком ресниц ласковый взгляд свой, да потом захотелось Алеше взглянуть: какая борода у мужика — черная, ли рыжая. Раскрыл — и увидел, что сидит он на лавке, у себя дома, съехал на пол дедов тулуп, и все по-прежнему: месяц в окне, Егорий на коне...

Что-то вспомнил Алёша и усмехнулся и протянул, принимая тулуп с пола:

— Чудно-о...

И снова сном тихим стали смыкаться глаза. А мимо окна, пузатенькие и безбрюхие, уже в другую, обратную сторону,— крапивные и пряничные бежали сны.

— Ты откуда бежишь, кочевая, мирская скотинка?

— Мы от бабки Аграфены — успокоилась нынче бабка.

— Что ж ей снилось, бабке, отходила когда?

— Снилось, будто черная туча, а она ведет, сама Аграфена, к близкой деревне, где в девках жила, белого, за рога, барана. И будто голос из тучи: спеши, спеши, Аграфена, — счас, как пройдешь, гроза будет. А она спрашивает: кака гроза? А голос ей: «людская!»

...Месяц в окне, Егорий на коне.

VIII

Раз в сто лет кричит Мизга в болотах, обмахивая гнилые колья затона черным бесперым крылом. Когда кричит,— купи у Воронкова в Пестюрьках миткалю недорогого аршин десять, отдай радушке своей — пусть саваны загодя шьет на обоих вас. Раз в сто лет расцветает диким розаном калужница в болотных топях, и кто б ни был ты,— поп, судейский, нищий с сумой, баба на кочерге, лесная страховуля, ли ноздрастый черт,— беги на деревню, бей в набат. И как сберутся толпы разных людей на поля, разбуженные твоим набатом, ори что силы есть:

— Бя-да-а-а!..

По четырнадцатому году слышал прохожий юрод в пестюрьковском болоте безродную Мизгу, видела Аннушка калужинный розан в трясине, что за Большими Песками. И впрямь: застучали барабаны в городах, стали трехгодовалые ребятишки все больше в солдатов играть, а потом прискакал красномордый урядник из волости, объявил на сходе, что-де вот, мол, война, в солдатах большая надоба,— так нет ли молодых у вас, для войны, призывных людей. Вспомнили мужики Талагана.

— Вот,— говорят,— был один, Талагашкой звали, да сплыл!

— Каков Талагашка? Как его по-крестьянски-то? — будто не понял урядник.

— Этово мы не знаем. Про это надо у отца спросить.

— Где ж он, отец?

— У Савосьяна, пчелинца, живет ноне, — приятелями с малолетства они.

Пошел урядник на колушовский пчельник:

— Твой Талаган?

Сидел Фёдор на порожке, колоду долбил:

— Мой, кабысь.

— Где ж он, когда твой?

— Били ево летось на ярманке, пропал весь.

Вспомнил урядник конокрада, видались как-то при неприятностях, да захотелось потешиться: любил доспрашивать пьяных, темных и иных людей.

— Этта за что ж его били-то? Вот меня, к примеру, не трогают!

Тут вступился Савосьян:

— Эк ты, человек, человека не жалеешь! Ты ево приласкай, а потом и мучь...

Хараблевской бороды устыдился урядник, но успел безногий выдохнуть:

— Конокрад был, сам знаешь.

Закрутил урядник карий ус и уехал на дрожках. Потом шли раз некрута через Петушиху,— было веселей им под гармони осеннюю грязь толочь.

Останавливались у колодцев отдохнуть.

— Куда, робятки, путь ваш? С кем хотите воевать-та?

— Не знаемо,— с ерманцем, сказывают. Поп по газете изъяснял, будто ерманец землю отымет, а мужиков всех в Сибирь сгонит.

— Како-ой, в Сиби-ирь... Ишь ты-ы!

Так прошел год. В темные, раздрябанные вечера осени, если раскрывалось над моросящей далью желтое око зяблой луны, после сходов, а то и так, амбаров возле, на бревнах, на завалинках толковали про то, про се, а про войну ни крохотного слова:

— В Хрыму, говорят, будто круглый год апельсыны растут. Будто на березах даже...

— На березах?.. в Хрыму? Брешут.

...А Мельхиседек в своем как-то захиревшем за войну монастырьке преклонял заплывшее колено пред Пафнутием, вымаливая победу серошинельному, боголюбивому воинству. И горели опрятно лампады и поредевшие свечи, и, опровергая всей тяжестью подспудного баса звонкую аллилуйю молодых монашков, рыкал с амвона гривастый Никодим.

...А воинство шло и пело, штыками синими блестя в утренних хмурых начатках дня. И была у тех, кто краснощек, страшная тоска в глазах. И была у тех, кто не краснощек, жуткая, угрюмая, зловещая чернота в лицах. И когда умирал какой-нибудь, елозя пробитым животом по несжатому полю, копошилось в нем безответное рыдание и делалась суета души. Небо же брюзжало беспрестанно оловянным осенним дождиком, все моросило да брызгалось.

...А в городах, встревоженных далеким уханьем, деловито и поспешно шили кисеты под махорку, в лазареты к калекам носили на постном масле вкусно прожаренные с капусткой пирожки.

...А по деревням сперва была тишь грозовых пор. Потом прокрались серые, далекие дымы, и стал гул. Потом доползла до бабьих сердец красная змеища бабьего отчаяния, — шуршала змеиная кожа. Спрашивала мать Егорку:

— Штой-то Марфушка-то даве больно выла?

Отвечал мальчонка, прилаживая к змею мочальный хвост:

— К ней Серёга без ног приехал.

И пуще тревожилась баба за своего Серёгу, который собственной еще покуда рукой писал редкие писульки из неведомого огненного далека.

...Были ветры, пахли дымом.

Потом еще прошли года. Была зима первого года, но ушла зима, и стало лето. Лето было как зима, а цветы в полях были без запаха. Был второй год, был третий. Мы все их знаем, все их помним, проклятые, свинцовые года!

А однажды крякнуло и надломилось. Опять слухи пошли мимо дорог железных, мимо телеграфных столбов, по полям пешком, по оврагам ползком. Зарождался слух из руки безрукого солдата, из городской тротуарной тумбы, из гнилого пня в осеннюю ночь, пору звездных дождей и снов диких.

Открылось, что царь больше не царь, а заместо царя — епутаты. Говорили, будто попов больше не надо и бога не надо, так как на поверку оказалось, что бога нет, а заместо бога просто дыра в никуда. Мирошка петушихинской ловко про это слукавил:

— Что ж, епутаты,— что ли они на подзорных трубках в небо лазили, никого там не нашли?..

Вскорости после того,— тогда подходила крайних стуж унылая пора,— сказывали приезжие, что епутатов всех выгнали помелом взашей, а заместо епутатов незнамые ныне люди, большаки...

Хмурился Мельхиседек, чувствовал с тревогой, что нет в нем теперь, когда нужней всего, ни веры, ни надежды, ни любви ни к чему. Косился хмуро на тусклый Пафнутьев сундук и сердился, что не видно сурьезных мужиков на обеднях,— одни слабоумные юроды верещат истошно, да старых баб ржаными устами зацеловано вконец линялое золото Пафнутьевой басмы...

Приехал в Рождество Василь Лукич на Петушиху, зыкнул с разбегу на одуревшую от радости Палагею свою и весь день зачем-то гвозди в стену вбивал, полки ни к чему, озираясь, делал, а назавтра запряг с утра свою перепелесую кобылу, покатил в Пестюрьки, к рябому братану, пить.

Там рассказывал Василь Лукич, что-де все солдаты нонче в большаки пошли и наотрез сражаться отказалися с врагом отечества, а города-де загажены паршивым плевом и что, мол, город скулит ноне, как пес дворовый без еды. А люди-де теперь не люди стали, а так себе, тараканьих какашек вроде, псивые. Был сильно растерян, а хмур оттого, что встретил на дороге случаем Талагана, и долго ему Талаган вослед глядел глубокими чернослывными глазами,— в них тайная, острая была усмешка.

Талагана же встретил днем как-то и Савосьян. Возвращался старик от обедни, видит — солдат, на нем рваный военный лохмот. Пригляделся — Талаган.

Усмехнулся пчелинец встречному:

— Ты хрещеный?

— А что?

— А што не кланяешься?

— Незачем,— голове, а не бороде кланяются!

И тут закашлялся Талаган, а Савосьян увидел на рукаве продранной шинели его, когда тот губы вытер, вроде кровь.

— Э, ты не большаком из войны-то вышел?

— Большевик, да-а... — сурьезно так Талаган протянул, по-настоящему.

Угукнул Савосьян. Незачем ему было больше выспрашивать, дальше пошел. Дома сказал Фёдору:

— Большака стретил.

— Чей?

— Не наш...

Пожалел Савосьян Фёдора.

...И опять годы шли вперемежку с сильными днями, когда сверкало полымя из дней, как из ружья, опаляя ястребиную зоркость смелых глаз, затеняя черной копотью глаза тихих и ввек слепых. Случилось однова: на второй год, на пасху, Василь Лукича увезли. Приехали люди от исполкома, чужие, с ружьями,— сильно один меж ними ерепенился, кричал все, пистолет у него за поясом запросто, как колотушка: взяли, увезли. Догадались мужики: Талаган виной, видели много крат Талагана. Аннушка-то у него забылась, видно, — черное баба из бабушкиной скрыни стала на себя надевать, и про это бабы сообразили.

И вдруг нá: как прикрепили Петушиху за малолюдством к Семёновскому сполкому, заехали мужики в волость, для города пропуск брать, а там Талаган сидит, и все его — товарищем Устином. Поняли: вылупился после боя из озорного Талагашки сурьезный мужик Устин, — харкал кровью, говорил мудреные слова и, когда говорил их, горел весь и чаще собирал в этакую тряпочку кровяные сгустки изо рта.

Тут опять дни пошли тревожные и непонятные, черные и белые, как зубы собаки гнилой. И чуял Савосьян, к примеру, что воздух полегчал будто, и все ждал, что зацветет после грозы вся земля озорным, весенним цветом,— глина произрастит яблоню, а чертополошный песок горючий, трудный мужицкому колесу, великий барыш и душе, и карману даст. Но было с чего-то тревожно и что-то не выходило, как следует для порядка.

А однажды приехал на Петушиху кожаный человек с граммофоном. Показал десятскому, по-теперешнему — председателю, мандат, револьвер, созвал мужиков да баб,

какие налицо, завел пружину,— стал граммофон говорить. Что, мол, вот нонче на шее сидеть никто не имеет никакого полного на то права, и все в таком-то роде. И про фабрики, и про землю, и про дома...

Как дошло дело до домов и про то, чтобы всем вместе, заворочались старики, а Мироха и тут поспел:

— Как же этто сообча, ежель у нас каждый человек, можно сказать, во-о-р? Не-ет, нам этто ни к чему!

Тут кожаный человек поправил револьвер и объяснил, что, мол, это называется коммуна и что тогда совсем хорошо будет жить. А мужику что? Коммуна так коммуна, лучше так лучше: валяй, значит, Тимошка, жарь!

Потом смеху-то что было: вот начинается новая пружина, уперся граммофон на слово и давай поднажимать: ...голова-ва а-а-а-а... Хр, хр, хр... А-а-а...

Марфушка долго слушала, потом не выдержала:

— С чего это, девоньки, завякал-то он?

Савосьян тут как на грех случился:

— А это,— говорит,— он нас убеждаеть!..

И больше всех смеялся кожаный тот человек. Объяснил потом и про пружину, и про то, как граммофоны делают, и про большаков, кстати, захватил, и попов ругнул. Два дня опосля того разговоры по Петушихе были:

— Здорово это он про попов-то! Энто, говорит, пауки, и дальше этак-то, как на тройке под гору... во, ему б в попы-то! Эк, человек пропадает зря...

— Пустобрех, с завода он... его семеновски знают!

Девчонка одна слово вставила:

— Ево б про ведьмов-то спросить, как они — летают, ли ползком.

Смех смехом, но заугрюмились мужики, тронутые новой думой.

А Савосьян шел к себе в овраг, и яма росла внутри его, и в яму проваливались степенные года его и телесная немогота. И удивлялся всю дорогу: с чего это левый глаз чешется, руку ломит, ровно б всю неделю оглоблей махал, разгоняя ворон с огородов, а ноге вот почему-то захотелось в пляс...

IX

За неделю узнала округа Петушихинская: большаки в ту пятницу приедут Пафнутья вскрывать. Ворчали:

— Добрали-ись!

— На земле тесно большакам, на небо захотелось...

— Эко дерзновение, пра-а, святого перетряхивать!

...Тогда дул вешним ветром Федул теплый, и по низинам морщилась зима. Но еще противился водяному зною закоченевший лес, и цвела еще, цвела, случайная, в ближней овражине лесной, сосна нетающими снежными цветами.

В пятницу забили к утрене, но был то не утренний, а черный звон. Хотел Мельхиседек преобразить ту пятницу в страстную пятницу, велел бить медленным, отрывным ударом, раз от разу уменьшая силу. Не ждала чуда запустевшая душа его.

Накануне, созвав монахов, усадил их рядышком, тридцать живых, и смиренным голосом, переползая от одного к другому, умаливал их о прощении, а какого греха,— не сказал. Некоторые плакали, а некоторые кукиш в карманах казали, а еще некоторые все слушали, все слушали и не понимали ничего. А нужен был игуменскому сердцу порыв какой-то, и порыва этого ради преклонял ныне пред братией смиренные колена он.

А когда разошлись все, не к молитве, нет, а пугливо думая о завтрашнем дне, постучался поздно ночью в Мельхиседекову келью монах Ермоген. Был Ермоген из строевой колоды вытесан, был оглобельного роста, а лик у него был черный и плоский, и были ручищи в грабли и ладонь в поднос. Мельхиседек чайком занимался в то время, когда пришел Ермоген, а славился Ермоген своим великим послушанием.

Он уселся без спросу против игумена и долго глядел исподлобья в Мельхиседека, ожидая гневного пастырского взгляда: был бы ему утешителен гнев игумена, но молчал тот. И сказал Ермоген как бы ненароком, исподлобья пуская слова и прилипая страшным взглядом:

— Вот придет завтрий день... придет день после ночи... и грянет гром над головами их!

Мельхиседек обронил глухо, бегая взором:

— Не грянет, нет.

И, как-то по-своему поняв ответ игумена, поднялся Ермоген, и вдруг пугачевское озорство и удаль бродяжная,— был до пострига бродягой Ермоген, — пробежали у него в синяках глаз, и, протянув дрожащую руку вперед, с дерзостью небывалой потрепал игумена по плечу... Засматривали в вымытые окна голые, бесприютные липы из ночных глубин.

— Так, может, не давать им? Ворота на запор и в набат? А то и так: Пафнутья к тебе под кровать спрячем,— скажем, что ушел, мол, ночью, а?

Угрюмо поднялся Мельхиседек. Голосом,— словно гвозди рассыпались по камню,— густым и звенящим, произнес со страшной, умиротворяющей силой:

— Иди, Ермоген, с миром. Накладываю на тебя тыщу поклонов, а по прошествии еще поговорим.

И когда ушел Ермоген, темнее ночи ставший, но без единого слова, и это было плохо, — послал игумен верхового обыденкой к викарному в город с письмом: не найдет ли, мол, его преосвященство возможным поприсутствовать на завтрашнем увеселении. Так и было написано в посланье: «...Извещены мы, что приедут завтра холуи, опосля заутрени увеселение над Пафнутием, мужикам на посмех, производить. Так вот, уведомляя о сем преосвященство ваше, просить всепокорнейше осмеливаюсь поприсутствовать на холуйском сем увеселении. Все это к тому, что и вы знаете, и я знаю все, так скрывать нам нечего...» Писано было это письмо рукой Мельхиседека и душой Митрохи Лысого.

Поздно ночью прискакал игуменский посланец назад: викарного большаки накануне увезли в комиссию, духовные чины в смятении, ожидают больших бед. Сказывал это верховой, стоя в дверях, а Мельхиседек, в одном белье, слушал из смежной комнаты, свесив с кровати отекшие ноги, и морщился порой, словно от внезапного прилива тошноты. Потом, уже перед рассветом, подошел к шкапчику,— по бокам висели черноклобучные его, в вечном успении, предшественники,— и привычно-сторожким, чтоб не разбудить старичка келейника, движеньем достал оттуда бутыль с перцовкой. Но пить не смог, — рукой махнув и воздыхая дубовой грудью, бес-

сильно ввалился в кровать и увял неспокойным, коротким сном до утра.

Игуменские окна смотрели прямо на собор. Был собор семиглавый, и золоченые кресты были хороши в апрельской утренней лазури. На голом суке ближней липы сидела ворона и как будто вороненок с нею молодой,— они кричали все утро, до самого благовеста.

X

Их приехало четверо, и между ними Талаган, и еще семеро солдат, но одетых не по-солдатски, с ружьями. И все эти четверо были такие, что придраться к ним взглядом никак было нельзя.

Один был в поярковой шляпе и в очках, темных, но ослепительных, когда становился против солнца. На боку у него сложенной гармошкой висел аппарат. «Позор-то, ох, позор-то. Осподи-осподи, владыко живота...» — так раз семь прошептал игуменский келейник, завидя мышиные глаза гостя в очках. Другого звали товарищем Арсеном,— был это высокий, голубой весь человек: иссера-голубые глаза, рубашки ситцевой бледная голубизна выглядывала из-за распахнутого нагольного полушубка, и даже слова его немногие, какие произносил он тихо, настойчивым по-женски тоном, отливали голубизной, и даже жилки виднелись голубые на виске, где удивительно среди жилок этих пробегал голубой шрам. Но происходила голубизна Арсена Петрова от железа. Третьим был Талаган, теперь — товарищ Устин, а четвертым длинный человек с фамильей Якайтис.

Когда все четверо шли в игуменскую келью с бумажками единообразными в руках и безоружные все четверо, шел товарищ Устин позади, спутанный, затаившийся и темный, и весь, как мокрый мышь. В голове Мельхиседека, глядевшего из окна, с облегченьем мелькнуло тут: а пиджак-то на тебе, братец, чужой, чужой!..

У товарища Арсена нашлись вот какие голубые слова:

— Мы приехали произвести вскрытие находящихся здесь мощей... вы получили уведомление? Мы сделаем

все, чтоб не оскорбить ни ваших чувств, ни чувств молящихся граждан. Наши мандаты вот.

Мельхиседек грузно и через силу улыбнулся при слове «мандаты» и, взяв в руки целую пачку проштемпелеванной бумаги, неуверенно проглядел их, но документы, по рассеянности, держал некоторые верхом вниз.

Арсен Петров заметил, но продолжал:

— Ну, так вот. Вы уж поприсутствуйте на вскрытии,— вам придется протокол подписать потом. Вам ничего покуда не угрожает, так что можете быть в полном спокойствии. Фамилии наши вот,— это на всякий случай, мало ль что,— может, обидитесь. Моя — Арсений Петров, а это товарищи мои — Порфирий Мохлин, Устин Петухов, от местной власти, и товарищ Якайтис... это вот он.

Якайтис моргнул с головокружительных высот своего роста.

Мельхиседек острым, насмешливым взглядом уставился на Талагана:

— Личность мне ваша знакома. Видались с вами при неких обстоятельствах на Нижних Плёсах. Вы там у нас, в скиту, помнится, коня свели.

Тут голубой человек, знавший все про Устина, встал между ними и заступил мгновенно вороной, запрыгавший Талаганов взгляд:

— Ну, так вот и ладно, прошу любить да жаловать... Люди знакомые, значит, свои все.

Талаган глухо, всем своим кровяным нутром, закашлялся в кожаный картуз. Красный весь, пыхтя от обиды и смущенья перед Талаганом, сказал тихо, по-игуменски выпрямляя стан и разводя перед собой тяжелыми руками, Мельхиседек:

— Сколь ни отяготительно всем нам присутствие ваше, однако, в промысел веруя, не боюсь... А памятуя, что благоприветливость есть украшение всяческого человека, даже и в трудный для него момент жизни, осмелюсь пригласить вас выкушать чайку, поелику гости вы. И поелику с дороги, можно приказать... яичек тож.

Но голубой человек уже отвернулся, пряча клинок внезапной насмешки в морской синеве глаз, и слова тут выросли в нем простые, корявые, мужицкие, несуразные, как поленья:

— Нам это ни к чему, отец. Не в гости приехали... Хлопотливость ваша зазря! Ведь в ладонях стер бы, каб тебе власть?

Мельхиседек молчал, глядел в пол, и они ушли, тихо притворив дверь один за другим, четверо. И тот, которого звали Якайтисом, все щурил, оглядываясь, близорукие, беззрачковые глаза. А Мельхиседек почуял себя, как отрок в печи Навуходоносоровой: огонь, но не жарко, напротив, пальцы захолодали холодным липким потом нехорошо.

Подошел к нему келейник-старичок, глуховатый, безбровый монашек:

— Большаки-то ишь, — большаки ведь, а поют-то, как ангелы...

— Аггелы! — гаркнул ему на ухо разбойным гуком Мельхиседек.

XI

Всей тебе, земле моей, нескончаемому человечьих слез кольцу, и людям твоим, волчьему стаду, гонимому ветром, поклоняюсь духом своим. И еще кланяюсь кирпичному заводу и рыжему прянику земли петушихинской, крепкому шестивершковому кирпичу, новому твоему сердцу, поклоняюсь.

Хозяйка — хозяйка, хочешь — желуди рожай, хочешь — яблоко жизни вечной, хочешь — волчьи ягоды,— все в тебе.

Вижу стены твои и народы приходящие, — и ты даешь им огненной пятерней. Вижу башни твои, взнесенные в небо, горящие в заре, как свечи, семь. И когда затрубят росных утр твоих серебряные трубы, привяжу на горбатую спину мою вешнего ветра крыло, полечу, взвиваясь звонко, над балакаными водами твоей весны.

Свет тебе и мир.

XII

Когда они вошли, Савосьяна, пришедшего говеть, придвинула глазастая толпа людская близко-близко к серебряной раке, где Пафнутий.

Расширился Савосьян в плечах за ту весеннюю неделю, и налились синевою густою апрельских вод глубокие чаши старых глаз. И еще висела смешно и грустно в бороде Савосьяновой заблудившаяся и мертвая теперь пчела: всю неделю оправлял ульи, прислушивался, как просыпается пчелиная жизнь в медоносных колодах, как жужжит в омшанике буйный пчелиных крыл взлет. Тогда сходили снега, вылезала на солнцепеках сморщенная благостыня апрельских зеленей. А вербы в монастырской ограде совсем белыми стали, и белость их просвечивала зеленцой.

Печальнее, чем всегда, был той пятницы великопостный звон. Едва вошли они, следом вошел Мельхиседек и камнем встал на игуменской вышке. Четверо пошептались, и тот, который носил название Порфирия Мохлина, принял у близстоящего монаха спокойным поворотом руки серебряный ключик от раки и всунул его в замочную щель, — замок оказался со звоном. И тотчас же, как бы пугаясь предстоящего, быстро наклонился к уху Арсена Петровича товарищ Устин с короткими суетливыми словами. Но тот укоризненно повернул к нему голубые глаза, мельком взглянув и на застывшего Мельхиседека, и на все это, замершее в пугливом любопытстве, сборище:

— Стыдитесь, товарищ, об этом раньше нужно было думать.

И Устин, голову словно от грома втягивая в плечи, протянул неуверенно руку — поддержать приподнятую крышку раки. Тут бабий вздох:

— Ох, осподи, полымем бы их!..

За кружевным серебром крышки лежало тяжелое золото парчи. Бледный, но спокойный видимо, Арсен Петров приподнял парчу. И тогда пахнуло неуловимо затхлой, сырой гнильцой в зорко растопыренные, сторожащие ноздри Савосьяна.

А солнце шло над полями, разрывая облачные путы, и беззаботные под солнцем чирикали воробьи на нестаявшем снегу, в углу сорном двух монастырских стен. Тогда была ледоходная, бурливая пора, и на пестюрьковской безназванной речке тронулись льды. И шли ватагами

теплые ветры, и когда подходили к колокольне монастырской, сами веселым гулом гудели колокола.

А за парчой, обнаженные дневным светом и не одной сотней остановившихся в безумном ожидании глаз, голые лежали на лиловом блеклом шелку темные немногие кости Пафнутия и малый череп его. Некая серость была в нем, и дряблость распадающегося дерева, и грустная умилительность горько обиженного ребенка. Потом жуть правды, выставленной напоказ, была.

Стояли в первом ряду Савосьян с Алёшей, две бабы — одна бельмастая, другая брюхата на седьмом, мужичок с хохолком напереду и слепец-нищий, зорко внимавший шелушивым ухом свершающегося пролома ходу. Едва стихли все... на весь храм слышно стало, как соседка соседке жарко шепнула: «Чего жмуришься... глянь-ка лучше, что лежит перед тобой!» И та отвечала тем же смятенным шепотом: «А чего ж, он тебе любым предметом прикинуться может: на то и святой он!» И тут, приседая плечом, ворочая затекшей от напряженья головой, как-то нечаянно,— никто не ждал,— взял слепец вытянутой сухой рукой череп Пафнутия и, большие, черные свои пальцы вложив в глазные костяные Пафнутьевы впадины, произнес негромко — скрежещущим плясом отдавали слова:

— А вот тут у нево, у старичка, глаза были... и не стало. Эко дело!..

И тогда в тишину, которая как омут, острым колом ввалился надрывный, сверлящий крик забившейся кликуши. Пробегал мелкоСемёнящей рысцой игуменской вышки Устин Петухов выводить припадочную бабу,— проснулся мгновенно Митроха Лысый в Мельхиседеке, а в Митрохе злой персюк, и звенящим голосом, как плевком, обрушиваясь на Талагана, гаркнул яро Мельхиседек:

— Конокрад!..

Сомкнулись бормочущим кольцом; ропота шорох глухой, но растущий быстро, прошуршал осенним листком. А Мельхиседек, вконец покинутый духом смиренномудрия, терпенья и любви, не смыкал разверстой Митрохиной глотки:

— Эй, ты, дьякон,— гони их взашей! Подсвешником по шеям, сволоту...

В разбредающемся гуле медленно повернул вместе с головой в Мельхиседека пегие навыкат глаза Якайтис и шею побагровевшую почесал карандашом и рванулся нерусским словом:

— Ччито-о?

Но остановился, как остановилось все, смиренное железным взглядом голубого человека:

— Нну, вы!!

И продолжал:

— Вы б потише, отец, здесь как-никак церква, а не кабак-с.

Поворотясь к человеку Порфирию Мохлину, проговорил полным голосом:

— Вот вы о деликатности говорили... Э, какая тут к черту...

А толпа, раздавленная благоговейным испугом, и монахи, тревожно разинувшие помутневшие глаза, растерянно слушали тяжеловесные лохмотья шумов, криков и шорохов, перелетавших гулким эхом в невысоких куполах... И не знали: бежать ли, кричать ли, хватить ли оглоблей по клобуку расходившегося игумена или укусить за ногу приезжего латыша...

Стоял Мельхиседек с лицом, разорванным надвое: в одной половине — отчаянье, в другой — гнев. И, палец закусив, не расплакаться чтоб, покачивался возле него келейник и все ждал, ждал чего-то от игумена. А тот, все еще вылупив налитые волчьей кровью глаза в Пафнутьев образ, повешенный серебряному, раскрытому сундуку наискосок, глядел и глядел, не моргая, глотая ведрами воздух, сквернословничая обезумевшей мыслью своей... И вдруг ясно различил ответное, жестокое действо там, на доске: кротко усмехнулся с басменой доски Мельхиседеку святой.

Остальные-то и не заметили. Гармошку свою раздвинув на Пафнутьевы останки, щелкал пружинкой Порфирий Мохлин и вынимал, и новые вставлял, и опять щелкал,— теперь уже всех: и народ глазеющий, и всхлипывающего молоденького монашка на темном клиросе, и диким взглядом, как оглоблей, размахнувшегося игумена.

Лицом неладно бледнея, сбросил с себя клобук Мельхиседек, и тут все увидели, что игумен был лыс. Угрюмым солдатским шагом, раздавливая захрустевшую картонку, пошел он к двери, из собора вон. Чуялось в его твердом шаге неслышное величие уходящего мертвеца.

Но этим не кончилось: ему, уходящему, заступил путь монах Ермоген. Он жевал губами,— может, язык свой жевал! — и, на вершок выпячивая каменную свою челюсть, проговорил отчетливо:

— Что ж, молчишь!.. ты меня водицей святой поил, когда я без ног лежал. А хошь, в ухо дам тебе?..

Суровой рукой, широким оглобельным движеньем отведя монаха в сторону, вышел из собора Мельхиседек.

Когда ушел, в растерянности общей, чуточку колеблясь, но снова овладевая собой, выкинул Арсен Петров голубую улыбку, как мяч, в посеревшее лицо Савосьяна:

— Ну, что, как, — видел, дедушка?

Разводя руками, словно на жмурках, вытянул из себя размашистые, недопускающие и скрытные слова Савосьян:

— Что ж, оно конешно! Наше дело махонько: живем в лесу, молимся колесу...

Алёша был с дедом и видел все.

Кончился день так: пришли когда к игумену подписать протокол, увидели, что игумен висит у печки. Оказалось еще, что кружкой глиняной было разбито стекло в иконе: глиняные черепки вместе с лампадными осколками были разметаны по полу в масляных густых пятнах там и сям. Буянил, видно, сильно сам с собой перед смертью игумен. Сделали в протоколе приписку, что, по независящим обстоятельствам, игумен руку приложить не мог. Тогда же железом своим понял Арсен Петров: не захотел Мельхиседек махать пустым кадилом, — ни ладану, ни жару в нем.

У Талагана была черная охотничья собака, любил ее очень: когда харкал кровью, она его, единственная из живых, жалела, руки лизала. Воротясь в тот вечер домой, запер дверь на крючок и бил растерянную, визжащую, плачущую по-собачьи, голым дрожащим кулаком.

...Где-то по дороге домой Алёша черемы белой благоуханное облако увидел.

XIII

Установилась мокредь. И когда гулял в Пестюрьках мужик, опившись самогону, не знал, куда и бубенцы навязывать: на дугу ли, к саням ли, к веселой таратайке.

Далеко еще, хоть и не особо, было до медвяных рос мая, но уже несла, несла Евдокея лето за пазухой, — стужищам конец...

Вечерами, вечера весенние — светлые, раскидывал тихий ветер шелковые облачные невода, ловил месяц, и когда кувыркался тот испуганно, порывая облачный шелк, — было и смешно и хорошо. Но росли опять слухи и на людей шли, темные и пасмурные, словно горы сдвинулись с мест. О, кто послал их на людское племя, — первую б пулю тому!

Притихшие, по вечерам, говорили у колодцев, у изб, расходясь с редких сходов:

— Пашке в городе сказывали, будто семнадцать енаралов на нас войной пошли...

— Чужих, говоришь?

— На нас. Прут со всех концов. Талагашка-то тож добровольцем удрал... Кровью человек исходит, — куда ему!

— Ишь ты, прыткай.

— Еще надысь видел кто-бысь, — монах один, от Пафнутья-то в большаки пошел... С револьвертом ходит. Хоть бы бородишшу-то рыжую свою снял!

— В большаки? Дяла-а... Да и тово ль от нас ждать можно. Сами-то: осподи-осподи, а чуть что — и в ухо норовим...

Потом еще:

— Говорят, будто Китай за нас.

— За кого за нас?

— Как за кого? Да вопче...

— То-то и оно!

Бывали и такие разговоры:

— Аннушка-то Талаганова с комиссаром связалась!

— Ей-бо? Заместитель, гы-ы...

— Хо-хо, осподи!

Так сидели и говорили, пищали и шамкали беззубыми ртами, пока дороги пылились копытцами верещащих баранов; пока коровы, глаза плошками выпятив и выме-

нем переполненным болтая, приходили; пока кони сбирались у водопойных корыт.

Пастуху Павлу Коркуну, когда гостевал у Палагеи, рассказывала между делом, подставляя тугие свиные щи:

— Большаки-то, слышь, хлеб будут отбирать... Приказ вышел, будто мужикам и без хлеба ладно!

— Жулье народ, да-а...

— Мы, говорят, ваши, а раз ваши, — хлебец-то и выкладай!

— Ишь ты! А-а-а... Молодцы робяты!

Кровяные лошадиные глаза супил, не понимая к Палагеиной досаде, Павел, гладя бороду, пахнущую полями, придвигая поближе щи.

XIV

...И был день в той весне, который сменился ночью. И опять текла тишина в Колушовском двуедином овраге, как давняя забытная река.

А сны бежали под окошком, заскакивали мимоходом к Алёше на лавку; на ухо ему шептали ладные песни, и было сладко это спящему, как если бы проводил кто-нибудь уставшего пушистым, мягким соболем по лицу.

Среди ночи скрипнуло что-то, и потом гудочек. Проснулся Алёша и сел. Видит: темнота. Слышит: Фёдор на полатях храпит. Тишина вползает из оврага через подоконник. И в чуткой тишине — Егорий на коне.

Прыгнул конь на пол, словно крылья помогли глиняным, незаправдашним ногам, — и в дверь. И все так же, как давно когда-то, пошел Алёша за Егорьем вслед, ступая по тропинке кремнистой среди черных, превысоких гор на босу ногу одетыми лаптями.

Вот вырос конь с гору, и красным, как кровь, сверкнул месяц-подкова меж серых облак, словно истекало кровью копыто Егорьева коня. Обернулся Егорий, спросил нестрашно, но жалобно:

— Ты кто?

— Я? Алёша.

— Иди.

И увидел пещеру, и вошел. Стоял там свинцовый сундук по-прежнему, но дьявоилов трех не видать. Обернулся Алёша, ища, — увидел: все красным залито, и трепещет красное и горит нескончаемо.

Усмехнулся Алёша: «Вот, мол, я человечества-то Радость и погляжу счас». Поднял крышку и увидел там темное, холодное, пустое место, и не было дна той нехорошей пустоте.

И поклонился Алёша сундуку и вышел вон.

Идя дальше, увидел камень, на котором прошлый раз слепой чугунный дед толок Алёшину землю. Не видать было деда, а ступа стояла каменная, и пест в ней. Выходило, будто позвали деда обедать наскоро, он и оставил. И усмехнулся Алёша и заглянул в ступу. Был камень в ямках весь изнутри, и не было в нем ничего.

И поклонился Алёша ступе и пошел ко стеклянной горе по памяти.

Там сидел косматый, прежний мужик и горько плакал. Были слезы его тяжеле золота, и была печать людского горя на лбу.

— Ты с чево это так, — спросил Алёша, — зачем не вертишься?

Поднял мужик отчаянные глаза:

— Вертелся-вертелся, думал — вознесусь, плюну. Вознесся, ан плевать-то и некуда, — пустое место там... Вот я плачу.

— Ишь ведь ты вертун какой,— сказал Алёша и пошел вон, а поклониться-то и забыл. Вернулся с дороги поклониться, а мужика-то и нет. И горы нет. И ничего нет. А сидит он, Алёша, на лавке. И в мертвой тишине Егорий на коне.

Тут пошел дождь.

XV

Весенние дожди теплые, — давай их бог ежедень!

Утром расклонились повсюдно зеленые горки, — зеленые горки, чтоб яйца катать. Был то понедельник страстной. Шумел березовый, круглый, молодой — и над оврагом продольный, плакучей ивы, лист. Хоть сегодня идти бы

девкам венки завивать. Но был у солнца в то утро особый ястребиный взлет. И потом, — того никто не видел, — мальчик неба, несущий тихую песню утра в устах своих красных и вялых, встал негаданно в отвесное место над головой.

Савосьян, места не находивший всю неделю, где сесть, где лечь, где плюнуть, в то утро молча встал на лавку и достал Пафнутьеву иконку из угла. Потом вынес ее за дверь, прислонил к косячку, — моргая слезливо, сказал тихо,— но двинулась из тихости его суровость взбунтовавшегося духа:

— Ну, вот што! Теперь ступай, Пафнутий... Ты мужик, я мужик, — наши с тобой разговоры коротки... Ноне и в лесах ночевать тепло.

Воротясь в избу, сел на лавку и вот принялся дно у бадьи щупать. Спроси его тут: что, Савосьян, работаешь? — не ответил бы.

Оторвался Фёдор от сапога, глянул в красный угол:

— А где ж он, Пафнуть-то, у нас?

Вот что Савосьян ответил:

— Уходить я ему велел.

На лету поймал приятелевы слова Фёдор:

— Как же это ты теперь без Пафнутья?

— А так вот и без Пафнутья, — выпрыгнуло из Савосьяна железное слово, как пуля.

И вдруг, всхлипнув, бросился за дверь, где осталась икона.

Там стояла у косячка, прислоненная тылицей, пустая доска, а Пафнутья на ней не было. Доска желтая, олифы много, древоед по краям проточил. Внес бережно пустую доску и поставил на подоконник рядом с Егорьем глиняным и махоткой закисшего молока. И про себя, для себя, не для Фёдора, выплакал строго, но строгость ребячья, — стар ты стал, Савосьян!

— Как же ты ушел от меня, в такую-то лукавую минуту! Возмог как?

Вбежал в ту минуту Алёша, ясный как день.

— Дедушк, пчелы-то, глянь-кось,— пляшут и падают, пляшут и падают... и не жалят совсем!

Но, видно, крепко захромала Савосьянова голова, не вышел и все посматривал украдкой на пустое от Пафнутья место.

А нужно б было к пчелам выйти; нашел на пчел диковинный мор: взлетали и падали в траву, и в жалкой тряске шевелили лапками, твердеющими смертно. Савосьян тут же залег на печку, а Фёдор на карачках выкарабкался кое-как к ульям. Там взял он горстку мертвых пчел на руку — золотых с чернью и немеющих навсегда,— и ответил Алёше, начинавшему догадываться:

— Кончено. Энто на них пчелиный чемерь налетел...

Вечером слез Савосьян с печки, показал Фёдору на пустую доску, спросил:

— Видишь Пафнутья?

— Вижу, вон он!..

— Врешь, ушел Пафнутий.

XVI

Люди называют голодом, а мы смертью назвали воскресной тот мертвый год. Видно, и впрямь мертвыми телами обозначен путь наш к светлым небесам!

Будут дни, взроем поля машинами, обрастут раны свежим мясом, а разутые ноги шевровыми щиблетами, — и будем вспоминать, как в страшные проломные, бессолнечные дни, когда переходили через горы, опрокинулась на наши головы из синей выси лютая огненная бочка.

Пройдут неладные дни, наденем бархатные штаны, сядем за электрическими самоварами, — вспомянем, вспомянем, как плясали обезумевшие от бездождья ветры, черные старики, за деревенскими околицами, как без гробов, без саванов шли безвинные наши Митьки, Никитки, Васятки тож на обчественный, бескрестный погост. А погост — вся она, от края до края луговая земля.

А еще вспомянем, как отбивали мы волю нашу кумачовыми быть, босые, раздетые, с глазами, распухшими от жестких предзимних ветров, как закусывали соломенным хлебом боль пролома, как шли на штурм, кутаясь в ворованные одеяла от холодной вьюжной измороси да от вражьих пуль, как кричалось в нашем сердце больно: колосколос, услышь мужичий голос, уроди ему зерно в бревно!

Все припомним сразу, чтоб в жизни будущего века навсегда забыть!..

XVII

Шел Савосьян полем.

Уж как-то слишком сильно разрослись к той осени полынь, крапива и репей, голодные жесткие травы. Всюду они лезли из земли, сухой, как палка, пыльные, наглые, твердые, туда-сюда колючим будыльем.

Все лето из круглого, железного неба в самое темя целилось испепеляющее солнце, — потому-то так легко и подымались первое время колосья: нет в них зерна.

А земля была ладная: выросли б заместо ржаных колосьев чертовы, холодные пальцы по ней, меньше б удивленья жуткого и обиды горькой было в мужиках. И картошка не лучше: не яблоки ядреные, по фунту, а так себе, земляные штучки в ноготок.

Встречались два в поле, говорили:

— Бедуха!

В голос ему другой:

— Бя-да-а...

Но еще оставались припрятанными где-то, может, за пазушкой, на сердце самом, мучки ржаной мешок, да еще лошадка на дворе про всякий черный случай стояла. Потому-то, расходясь, и напоминали друг другу:

— Будто, говорили, уж где-бысь за глину мужики принялись.

— Неуж за глину?

— Глину.

— Вот и мы доживем, коль дожжа не будет.

— Доживем...

И расходились, и каждый нес в сердце своем гвоздь, вколоченный крепко.

И так все лето: днем — зноем пропитанная даль опаляла вконец потускневшие в безнадежье глаза мужиков. Ночью метались над испепеленными полями бесплодные, впустую брюхатые тучи... И крались ночи, как куницы к курятникам, к человечьим сердцам, последнюю выпивали надежду.

А когда стало поздно, — глухие, не наши ветры чесали железными гребнями пустые колосья, тонкие, как бабьи волосья, не поправишь их и обильным недельным

дождем, — смирились, сложили руки, стали ждать. И тишина стала, словно покойник в доме.

Пришли осени страдные дни, но страд не было, а был как бы праздник. И вдруг потом, на! — дожжичок необильный прошел. Резали на задворках последнюю корову, а хлеб с осиновой мешали корой; злобно глядели на старух, завистливо — на птиц, улетавших к теплому морю, посылали вдогонку им крепкое слово, — эх, некому вас в синем небе жрать!

Вдруг безработным стал Павел Коркун — не людей же на подножный гонять, раз скота не стало! — в город ушел.

Ерепенились некоторые, у кого кровь кипятком: сеять пора, озимое время. И все глядели в небо, — а из неба кукиш, и в закрома заглядывали, — а там пустота. Были и такие: по вековечной привычке своей, с последним лукошком обреченных на бесплодье зерен, шли на полосы, взоранные не съеденной еще клячей, — ветер ей орать помогал, — там швыряли полными горстями зерно направо-налево и прямо под себя, измороси настежь распахивая ввалившуюся камнем грудь. Была некая хмельность в их швырках, а хмель был от ужаса. И только хитротца лукавого «авось» сеяла надежонку махоньку-невелику в продырявленном мужицком сердце.

А однажды раскрылись небесные прорвы, и полновесных дождей осенних страшные бороны со свиным хрюком поздних громов повлеклись по мужицкому сеянью.

И сидели в избах озверевшие мужики, шевелили из заплаканных окошек несытыми глазами, как тараканы из щелей, — и крушил какой-нибудь тяжелым, смертным словом, как дубиной, и царя, и бога, и разноличных епутатов... И костил собственную мать, голодную, слепую Аксинью на печи, породившую его на свет не для солнечных утр, а для лихого матерного зыка.

И грянул мор, и мерли ж! В Петушихе по пятеро в день, а всего-то в ней домов, в Петушихе: семь дворов, пять ворот, из подворотен дым идет, — земля мерла!

...Шел полем Савосьян, — часто он так ходил за последние дни, и все глядел, и все думал, что не всегда слепым худо быть. И сжимался крепко кулак на невидного

врага: плевком доплюнешь, а кулаком не достать. Распадался в пыль Савосьянов дух, и падали крупинки по дорогам, где проходил. Слушай: ежель уродятся стоеросовые люди с кистенями вместо голов по дорогам впредь, — так это, знай, Савосьян сеял!..

Услышал тихий голос старик:

— Савосья-ан...

Не с трех, а с одного раза поняв, — кличут! — не подымая к небу головы, чтобы не увидеть, спешил, спотыкаясь, пчелинец в свой овраг, где ни пчел ныне, ни яблок, а колючее логово осеннего ветра лишь.

Когда прибежал, — слег, и не вставал больше... Было ему написано умереть.

Что ж, помереть, значит, снова вырасти, — жалеть тут не приходится! В каждом великом племени мужик мужика родит.

XVIII

Приятели, известно, завсегда вместе: и в кабак, и в острог, и на погост. Умирали они вместе, Савосьян с Фёдором.

Алёша, — хранил его покуда Егорий,— ходил пó людям, в кусочки, да мало оставалось людей, мало подавалось и кусочков.

Временами, особливо по утрам, находила на Фёдора туманность, и тогда, под полушубком ежась, все просился домой, со слезой и жалобно, а Савосьян, он крепче был, смеялся беззлобно, — так смеется белый лунь, малым клювком метясь в пробегающую рыбу:

— Куда тебе, домо-ой... У нас дом один, — здесь. А тама мы с тобой как есть бездомные!

...Тот день был единственным среди всех соседних дней. Подморозило и цепным льдом понакрыло вчера еще глубоватые лужи. И солнце стояло невысокое, не имеющее жара, лишенное силы и крепости, румяное по-стариковски, как печеная скрижапь. Был жуток вид бурых лугов и голого неба безветренный пустырь, и все это, лежащее ныне перед мысленным взором нашим, все было как большой, дохлой бабочки увядшее крыло.

Вечер давно наступил, и ни шорох ветра, ни острокрылый свист быстромелькающей вечерней птицы не нарушали покоя замертвевших полей. Стало некому кричать об этом: ушли в неизвестные разные места все те, кого еще двужильные ноги таскали, да кто сберег захудалую кобылу на лихой конец. Сказывали, будто голос им был: «Куда хотите, туда и идите»...

Пуста Петушиха, жерди крыш обнажились — ни человека, ни собаки, ни паука за мокрыми порогами. Кажется: занесет Петушиху снегом, не верь в Петушиху, брат!..

Сказал Фёдор:

— Это ты, Савосьян, ты к богу за пазуху полез. Вот и помираешь!

А тот:

— И ты до завтра помрешь: даве все домой просился... на тебя темь находила.

Тут ветер ночей совиных с маху ударил в окно, и за дверь, которая распахнулась рывком, скользнул молнией, бледный, весь трепещущий Алёша. Швырнув на пол суму пустую, пустую третий день, схватился, будто в нем судорога, за дверную ручку, не выпуская ее ни на минуту, словно боясь, что войдет кто-то и подавит все кругом темным, неморгающим оком, — а сам взвизгивал нечеловечьим, заглушенным визгом.

Первый спросил его Савосьян:

— Ты штой-то, Алексей?..

Забормотал невнятно в ответ, — трудно было понять его:

— ...столб, черный столб идет. За мной всю дорогу шел... От Семёновска бегом драл. Два их было... один над Петушихой рассыпался!..

Переглянулись старики, у них стало холодать в спинах. И слышали, покуда замолк Алёша: над проклятыми, обеспложенными полями звенело темное солнце, как навозная желтая муха в цепкой паутине беды.

Переждав мгновений двадцать, приоткрыл дверь осторожно Алёша, выглянул и, визгом страшным и предельным потрясая звенящее молчанье, — упал, мягко и сильно, затылком чавкнув об зашарканный косяк лавки.

Так и остался лежать. Звал его Савосьян, да и Фёдор тоже, разов семь подряд, а подняться сами не могли: «Алёша... Алёш... Алё-ёшенька!» Ответа им не было.

К вечеру начались у них, у обоих почти сразу, смертные перехваты, — у Савосьяна у первого. Он лежал и все поскребывал трудно одеяло, словно чесалось одеялу, костенеющей рукой. Что-то неслось, увлекающее, темное и густое и липкое до противности, перед мутнеющими взорами, наваливалось на живот, и потом, — будто гумно не полото.

— Фёдорушко, а Фёдорушко, чево ж это гумно-то у нас бурьяном заросло... заросло, и монашки ходят!..

Но Фёдор молчал долгим, упорным молчанием. Опять встрепенулся Савосьян, захрипев:

— Марь, Марья, заткни леток, — улетят ведь!.. А его не зови... не зови. И зачем, ушел ты зачем?

Тут как раз стало Фёдору холодно, — ночь шла Колушовским оврагом, глубокая, мутная, без креста, без звезд. И увидел Фёдор: воздвиглась перед взором слабеющим облачная церква, а креста-то на ней и нет. И пошел будто Фёдор к церкве той, а Савосьянов отдаленный голос сзади:

— Ох, Фёдорушко, и зачем же страшно-то мне?

Обернулся Фёдор и закричал приятелю:

— А ты не бойсь, ты с закрытыми глазами иди, тогда не страшно... Ты корачиться-то не надо!

И вошел Фёдор в церкву. И когда вошел, все кончилось.

...В темноте ледяным дождем брызнуло в окна, а в голых сучьях притаился ветер. А потом ка-ак взмахнет! И пошло, и пошло...

XIX

Ночью очнулся Алёша и услышал гудочек. Открыл глаза Алёша и взглянул в вышину над собой. Увидел: в беззвездной страшной вышине — Егорий на коне.

Обступили толпы его большие, много средь них и петушихинских, — и все со страхом взирали на Егорьево черное лицо, искаженное мукой.

Крикнул тут Егорий:

— Веди их, Алексей Хараблев, к свинцовому сундуку. Пускай сами узнают. Прямиком веди. Дорогу помнишь?

Ответил Алёша громово:

— Знаю.

И пошел впереди. И будто горы вместе с ними шли.

Ты ли, ты ли, Алёша милый, волчьего стада безвестный поводырь?..

Октябрь 1922 г.

УНТИЛОВСК

Странное дело: столько губительных мечтаний засоряло российские головы с древнейших времен, но ни в одну не всходила благая затея облагодетельствовать гнилую версту унтиловского пространства торговыми банями. Вследствие того сонные унтиловцы от века навыкли справляться с банными потребностями чисто домашними средствами. Мылись и в корытах, как это делал на моей памяти сам о. Иона Радофиникин, местный протоиерей, или же лазили для этой цели в русские печки, кому позволяли возраст и здоровье. Иные же не мылись совсем, от лета до лета, когда светлеют и теплеют чуть-чуть воды быстро бегущего Курдума.

Долгое время всех нас пугало да и еще и теперь путает в догадках незнание наше, что подвигнуло Илью Петровича Редкозубова соорудить себе капище банной утехи, по определению того же о. Ионы. То ли что Редкозубов, имея очень высокий рост, самой природой был поставлен в необходимость отказаться от корыта. То ли хотел он выставиться перед друзьями и укрепиться в памяти унтиловских поколений. То ли имелись его поступку особые причины, корни которых лежат в гнилой унтиловской земле, не дающей никакого ответа на духовные запросы неугомонного унтиловца.

Сидит Унтиловск на Курдуме, притоке большой и неспопутной реки, потому что то она разливается, то мерзнет, то еще что-нибудь, а течет в такую сторону, куда никто еще не пускался по здравому уму и доброй воле. В пору половодий и осенних дождей торчит этакий шиш посреди серых, липких вод, а на шишу — наш Унтиловск, и туман над Унтиловском. Думаю, что неспроста в географиях избегают нас и неспроста наделяет молва раскольника

Устина Грачёва, сосланного сюда при Екатерине и крепко вошедшего в унтиловскую мифологию, героической способностью переплюнуть городок сей в семи любых направлениях. Не кроется ли здесь, кроме обидного указания на величину Унтиловска, еще и оскорбительного определения места его среди иных городов земных?

Катит Курдум на север холодные воды, охлестнувшие Унтиловск полукольцом. Той же мертвой Курдумовой водой как бы налиты унтиловцы, того гляди выхлестнет она из глаз.

Знаю, что нет нам за это ничего, кроме поношения, но разве хоть раз оскорблялись мы? Не Гусаткин ли, трактирщик, идя в ногу с веком, спалил свой «Шанхай» и, получив страховые денежки, навсегда отряхнул от валенок своих сыпучий унтиловский снег? Тем более ценю я решение пытливого редкозубовского разума отыскать соломинку спасения в мутной луже унтиловской скуки, где барахтались все мы. Всю свою наличность, скопленную годами лишений на поездку куда-нибудь в необыкновенность, в Италию например, ухнул он со щедростью сумасшедшего на постройку бани. Не баню, нет, но самого себя жертвовал он тем самым Унтиловску на вечные времена.

Не обойду молчанием примечательного сего строения, ставшего на редкозубовском огороде, над самым Курдумом. Здесь, как нигде, быть может, в цельном мире, процветало банное искусство. Уходящее искусство! Ломаются времена, и переменяются нравы, и кажется людям глупой забавой суровый обычай старины! Сруб восемь на девять окружала высокая, под самое оконце, плотная завалина, не допускавшая, как и двери, нескупо обитые кошмой, просачиваться холоду вовнутрь. Молодой березовый листок, богато насыпанный на верхний настил, отдавал банному пару тонкий березовый вкус, который при соприкосновении с ноздрями парильщика сообщал последнему то степенную сосредоточенность горнего места, то неистовый земной порыв. Все тут было любовно продумано до самых ничтожных мелочей. Неумелая, но вдохновляемая бурной фантазией одиночества редкозубовская рука расписала каменку и кадушку со щелоком затейливым рисунком холостого

содержания. Даже и потом, когда дым черной бани заволок от взора посторонних это украшение, мы и под копотью различали веселую забаву хозяиновой руки. Баня, конечно, черная — в черной пар слаще. В зимние месяцы, когда Унтиловск дремал под толстым одеялом снега, представлялась мне баня эта кусочком жизни и весны, мудро тлеющим до поры в огромном мертвенном сугробе.

Со времени возведения этой бани Илью Петровича стали наперебой приглашать и на свадьбы, и на похороны, и на крестины, и просто так, чтоб приходил в любое время, пил-ел и делал, что ему нравится. Илья улыбался на льстивые превозношения унтиловцев и в баню льстецов не допускал. Тогда отвергнутые посулили спалить когда-нибудь баню вместе с долгоногим ее хозяином и ретировались восвояси.

Совсем не следует, однако, что Редкозубов в одиночку предавался банным утехам. Порок эгоизма совсем не был свойствен Илье. Именно за открытую, хотя и несколько угрюмую приветливость и обожали Редкозубова мы, его друзья. Правда, нас было немного, но зато не бросился ли бы каждый из нас свершать тысячу всевозможных глупостей по первому же зову Ильи! Вот мы-то и сопровождали его в баню каждую пятницу: суббота обычно занималась о. Ионой под всенощную.

Все пятеро мы сбирались в пятничные утра на квартире у Буслова и, посидев малость, отправлялись по узким и покатым унтиловским мосткам к редкозубовскому дому, ведя беседы о предметах, радующих сердце и не утомляющих ума. Он уже поджидал нас, Илья Петрович, с ключом от бани в зубах и с тазами под мышкой. Теперь мы шли на огород по узкой тропке меж снегов, и тогда казалось, что весь мир, молчащий вкруг нас, есть один обширный сугроб и во всем мире есть одна только эта благословенная тропочка, что ведет нас в редкозубовскую баню. В полном молчании отряхивал Илья снег с себя и входил первым, а мы за ним гуськом. Баня к этому времени бывала уже приведена в соответственную готовность самим хозяином, великим искусником в топке бань. Он, со знанием кладя каждое поленце, умел умерять огонь и накалять каменку с неуклонной постепенностью. Оттого-то тепло получалось сухое, тонкое и

деликатное и не коптило парильщика, как какую-нибудь пикшу. Оговорюсь за себя и за друзей моих: труды по бане были равномерно распределены между нами. Виктору Буслову, как самому неукротимому средь нас, доверялось носить воду и колоть дрова. Мы с Манюкиным исполняли мелкие банные услуги, причем Манюкин, сверх того, услаждал нас необыкновенными историями. А природная мечтательность и сан не мешали о. Радофиникину честно блюсти свою обязанность по заготовке веников. Начиная со второй половины лета хаживал Иона каждое утро на прогулку по близокрестным местам и каждый раз приносил по три веника, собранных с самых молодых и пахучих березок. Укажу кстати, что в это время, вблизи Петрова дня, самая пора для веника: лист в ту пору на нем крепкий, гладкий и прочный.

Раздевшись первым, я вбегал в баню и окачивал стены ледяной водой, чтоб она вобрала в себя вредный угар. Затем развешивал на веревочке вдоль устья каменки пять веников и только после того поддавал несколько ковшей. Клубы легкого свистящего пара били по веникам, а те шевелились и свистели, расправляя сморщенные листки... И вот уже щекотало наши ноздри подлинным весенним духом, и вот уже обнимал нас зудящий прекрасный зной, и вот уже готов был к употребленью веник. Не суесловя, размещались мы по своим местам. Горячий березовый листок, коротко и властно ложась на тело, вызывал этот кусочек к новой жизни, заставлял его дышать прерывистей, почти задыхаться от неги, почти кричать о достигнутом блаженстве. Не ставили мы никаких мер себе в этой великолепной забаве. Камень-бурляк, который обычно выдерживает в каменке трехлетний срок, у нас снашивался за зиму.

О, забываемое искусство и незабвенные друзья! Как наяву вижу я вас, расположенных по степеням здоровья, сил и внутренней сущности вашей. Лишь теперь познаю я всю глубину изречения о. Ионы, что истинный человек познается только в бане. Вот на самом верху, в грозе и зное, крупно хлещешь себя ты, Виктор Григорьич, лежа под самым потолком с окаменелым лицом. И вижу рядом с тобой: на корточках сидя и хитроумно просунув руку между ног, мелко-мелко забавляется веничком Илья

Петрович; длиннота рук позволяла даже и в таком положении доставать до самого затылка. О, милые люди! Не забуду жуткого того и смехотворного дня, когда парились вы, два, на спор, кто кого перепарит. Целый день продолжался ваш поединок, пока не перестал бурляк давать нужный градус тепла. Пять веников сносились вчистую, но кто назовет Илью выносливей Виктора или Виктора превознесет над Ильёю!

Ступенькой ниже подхлестывает себя Иона, с неуловимой быстротою приговаривая так:

— Ножки-то... они больные, ножки! Они ходили, ножки... они устали, ножки. Поясничка-т, поясничка-т! В ней все жилы сходятся, которы и сюда, которы и туда бегут...

Без рясы он выглядел моложе и даже приятней, чем в рясе. Еще ниже на ступеньку старательно мылит себе лысеющую голову Манюкин, рассказывая о роскошествах прежней своей жизни. И уже в самом низу, на полу и в шапке, потому что имею слабое темя и недостаточен здоровьем, сидел я, внимая манюкинскому словоплетенью и восхищенно созерцая неистовую забаву приятелей моих.

С величайшей живостью помню я ту октябрьскую пятницу, с которой положил я описать чреватую происшествиями кучку унтиловских дней. Даже помню, что не стояло в календарном листке того дня, никаких особенных святых... но зато попыхивало солнышко на молчащие вкруг Унтиловска леса... а пар в бане, будучи необычно мягок, почему-то отзывал малиной. Я даже осмелел и, когда Буслов выбежал окунуться в Курдум и кстати переменить смочалившийся веник, я влез на последнюю ступеньку, к Илье, и немножко попробовал себя веничком. И минута эта не потеряла в памяти моей ярчайшей своей окраски: Манюкин все плетет, сыпя смешки и разные слова, а в оконце стояла розовая снежная даль. Тут Манюкин поддал на каменку квасу с мятой. Пар стал жестче, и усиленней застучало в голове, но зато вода открыла какой-то сокровеннейший свой смысл, и черный потолок бани возымел небесную глуботу.

— ...И вот парюсь я эдак-то раз, а банщик и говорит мне: «Барин, у вас фимиам идет! Из рук зеленый,

а из локтя голубой...» — повествовал как ни в чем не бывало Манюкин, отодвигаясь немножко от Редкозубова, захлеставшего вдруг себя с удесятеренной яростью. Это и верно: остерегайся хорошего парильщика, когда он в действии.

Ошметки веника так и летели. Это же вдохновило и Иону. Весь и без того распаренный до опасного румянца, он заплясал как бес, щекоча себя веником и переходя в словах границу возможного. Тут и я забылся и не соразмерил притока сил. Квасной пар в такой степени замутил мне голову, что я не ощутил предчувствия готовящегося удара. В этом месте Илья Петрович обдал себя холодной водой и сообщил такое, что разом ошеломило нас и прибило к земле, как ветер прибивает колосья.

— Эй, вы, соколики... — произнес он коснеющим языком и как бы в исступлении, — приходит, соколики, второй пункт моей жизни!..

То было небывало, почти чудовищно. Во избежание же недоразумения я поясню кратко, что всякий унтиловец измеряется в компании нашей на пункты. В первом пункте рождается человек, волнуется и кричит, бунтует и вершит подвиги, прославляющие человечество или уничтожающие его. Второй пункт, когда он женится и как бы подшибает самого себя, есть прекращение всех этих напрасностей, возмущающих ход времен. Самым вхождением во второй пункт он приуготовляет себя к третьему пункту, окончательному и неминуемому для всех нас. Промежутки же между пунктами заполнены бывают всяким малозначащим, в подобие тому как на зимние сезоны кладут между окнами разную цветную ерунду.

Молчание все висело над нами. Буслов, достававший щёлок из кадки, выронил ковш и кадку и оторопело обводил пальцем железный ее обруч.

— А как же мы! — вымолвил он наконец с прямою укоризной.

— Ведь этим не шутят, Илья Петрович... — прибавил и Манюкин дрогнувшим голосом.

Илья собрался отвечать, но я не слышал. Мята ринулась на меня, навалилась на грудь, замкнула уши. Я только хотел крикнуть Манюкину, чтоб не ставил он дружбу свою на путях влечений собственного друга. Я не крик-

нул, ибо, оглушенный и смятый, я полетел с осклизлого полка вниз. Если бы не руки друзей, подхватившие меня на лету, очень вероятно, что я, минуя второй свой пункт, сразу перешел бы к третьему пункту земного нашего существования.

В этом месте позволительно мне сделать недлинное отступление, прямая цель которого осветить неясности, имеющие встретиться в повествованье нашем. Унтиловск наш, по зрелом размышлении, не является одним только глупым недоразумением природы, за которое и расплачиваются-де унтиловцы. Не без гордости отмечу, что Унтиловск есть в некотором роде оборотная сторона медали. Медалью я обозначил тут все российское государство. Уже во времена исторические был избран город сей как бы складом, куда ссылались всякие, временно негодные к общественному обиходу. Все, что было не к лицу на главной стороне, на орле, переправлялось на заднюю сторону, на решетку. И кого только не повидали мы таким образом!

По прошествии сроков этим временно негодным удалось повернуть медаль задом наперед. Тогда они уехали и прислали на свое место других, непригодных по какой-либо причине к обращению в государстве. Наученные подобным опытом, мы и взирали на всех ссыльных как на временных постояльцев, путь к славе которых по резвости характера их пролегает непременно сквозь Унтиловск.

И правда, кроме тех, кого умерщвлял мертвый холод и гнилой зной болот наших, никто не задерживался дольше срока в Унтиловске. Минуя, по понятным соображениям, себя, подчеркну, однако, что Виктор Григорьич Буслов составил собою ярчайшее исключение, мало оправдываемое и характером его, и всем течением его жизни. Виктор Григорьич, окончив университет, вступил в духовную академию и уже кончал ее, готовясь к высшим степеням, когда некий самоотверженный человек кинул бомбу под одного титулованного прохвоста.

Движимый в своих поступках, кроме глубокой веры, еще и справедливым сердцем, Буслов отслужил панихиду по убийце, причем по младости ума разослал приглашения разным значительным особам, и в том числе перво-

присутствующему Святейшего синода. Ясно, что Синод рассвирепел, как четыре маленьких собачки, и вскоре после того коллекция унтиловских людей навсегда обогатилась расстригой Виктором Бусловым. Историю эту записал я с чужих слов, сам же Буслов отвечал на все расспросы наши отрицательным мановением бровей.

Он приехал к нам с молодой женой и старой своей нянькой, а поселился у купца-зверобойщика Ключенкова. Жену он очень любил, даже превозносил, чему не может быть никаких недоумений. Через два месяца с огромными трудностями привезли им пианино из Петербурга, и многие из наших в то время добивались бусловского разрешения прийти поглядеть, что это за машина, и хотя бы раз щелкнуть в нее пальцем. Однако Виктор Григорьич почти с рычаньем оберегал свое счастье, унтиловцев прогонял одним только выражением огромного своего лица и держался особняком даже от прочих ссыльных. Лишь потом, окольными путями, дознался я, что жена бусловская уже кончала консерваторию, когда разразилась беда над ее мужем. Сколь велико было ее любящее сердце, которое заставило ее бросить все и ехать с мужем в холодную нашу трущобу, чтоб здесь приукрашать своею лаской его безрадостные дни!

Я квартировал тогда у Капукариных, что через улицу, ключенковскому дому наискосок. Тайком, из-за ситцевой моей занавески, силился я наблюдать расстригино счастие, но это мало удавалось мне из-за природной слабости зрения: кроме поцелуев, я не улавливал ничего. Зато я имею тончайший слух. В противоположность многим я почти знаю, шорохом какого тона движется облако, упадает первый снег, распускаются деревья и приходит сон. Я все слышу, я весь мир слышу, я укарауливаю каждый звук, несущийся в пространстве не для меня и помимо меня. Конечно, я не мог не слышать, как играет бусловская жена.

Летом она играла при раскрытом окне и ночью, когда все спали. О томительные сумерки одиночества моего, сколь много перечувствовано в вас. Солнце, не закатываясь, стояло на мертвом кольце унтиловского горизонта, и не двигались листки на хилых ключенковских березках. Чистейший утренний воздух, в ко-

тором воздымались какие-то непонятные звуки, рвал мне грудь. Она играла что-то совсем незнакомое мне, но длинное, что мне особенно нравилось. Тогда необъяснимая странность случалась со мною. Я сидел неподвижно, но вдруг начинал безумствовать, хотя и не выходили из предела сил мои безумства. Я кусал пальцы себе, однажды — деревянный угол стола, почти ел, например, бумагу, набивая ею рот себе в предупреждение крика. Как мне смешно все это теперь, когда и я, окрепнув от жизни, издеваюсь вместе с вами над разными такими чувствительными проявлениями человечинки. Тогда же я был моложе, и как мне было не есть бумаги, о белые унтиловские ночи!

Часто, не дослушав до конца ее игры, я убегал за Унтиловск и там, на Овдевом болоте, торопился выкричать из себя все ласковые слова, удушавшие меня и сожигавшие мне сердце. В почти горячечном бреду моем верил я, что мои слова лучше, громче, торжественнее тех, которыми наполняет ее жизнь Буслов. Мне даже казалось, что при всей несущественности, так сказать, моего лица я имею многие неоспоримые преимущества в смысле величия, например, души. Мне снилось во сне страшное: будто у меня необъяснимо отрастают когти и клюв. Мне даже приснилось однажды, что меня торжественно сажают на лицевую сторону медали. Я упирался изо всех сил и проснулся в холодном поту.

Я, может быть, сходил с ума в тот день, но я не кляну своей тогдашней смелости и теперь, когда воспоминания прошлого лежат предо мной, как раскрытые, замусленные карты. Заранее обдумав, я пробрался во двор ключенковского дома, где обитали Бусловы, и, присев под ее окнами, между дров, затаился. Необходимо пояснить, что Виктор Григорьич обычно колол дрова, когда она играла. Впоследствии я усвоил, что, уж разумеется, не из пренебрежения к любимой женщине выбирал он именно это время для колки дров. Раскалывая тяжелые комли и суковатые плахи, он нарочно выматывал из себя ту негибкую и непонятную мне силу, которая так бурно кидала его на дыбы перед жизнью. Он колол дрова с неутоляемой яростью; черные длинные космы, оставшиеся от его поповства, налипали ему на лоб. В то время я осуждал его

и презирал его вздутые мышцы, непрерывно играющие под взмокшей рубахой. И разве могло быть иначе!

К той белой ночи и относится мой первый разговор с Бусловым. Я сидел между дровами и, кажется (ибо я мутно помню это), вел себя нехорошо, переполнясь самыми невозможными чувствами. Судьба, погонщица людей, толкнула Виктора Буслова в мой закоулок. Он вошел нежданно, а я сидел на полене, как на эшафоте.

— Что ты тут делаешь? — крикнул Буслов, но я не испугался, когда он, ширя выпуклые свои глаза, замахнулся на меня тяжелым колуном.

— Слушаю музыку, — тихо ответил я, отводя глаза в сторону.

— Пошел отсюда! — сказал мне Буслов, как-то чудно усмехаясь, и откинул в сторону колун, жегший, вероятно, ему руку.

Я встал и ушел, не оскорбившись, потому что, я знал, и Буслов глядел вослед мне тяжким взором оглушенного быка. Но с тех пор все мутное и расплывчатое, что безотчетно плавало во мне посреди вод, стало крепнуть во мне и соединяться в твердое. Как бы Бог вошел в меня и отделил сушу от жидкого. И на сушу эту я поставил свой собственный Унтиловск — оборотную сторону моей медали. Медаль в данном случае — это я сам. В этот Унтиловск я ссылал все, что было ненавистно мне самому, но порой и тут становился Унтиловск столицей... Впрочем, довольно об этом: я не настолько глуп, чтоб показывать, будто я особенно умен, и не настолько умен, чтоб представляться особенно глупым.

Я уже не ходил мучиться под бусловские окна, и бумага моя лежала в полной сохранности в грязном языке кухонного моего стола. Никакие сны не посещали более моих спокойных ночей. Я остался совершенно невозмутимым и продолжал бриться даже и тогда, когда старуха Капукарина, прибираясь в моей комнате, сообщила мне однажды осенним утром, что бусловская жена сбежала с политиком.

Я спросил:

— Когда?

Она ответила:

— Вчера вечером.

Я спросил:

— А он что?

Она ответила:

— С дровами бесится, — и хитро подмигнула мне.

Я выгнал старуху и продолжал бриться. Потом, вытирая бритву тряпочкой, я глядел на бусловские окна, где уже замолкла навсегда и всякая музыка жизни. Вдруг что-то толкнуло меня: с сумасшедшей поспешностью бросился я затирать мыльной грязью и просто ладонью обгрызанный в пору безумств моих угол стола. Я не умею объяснить этого моего движения и теперь, когда все остальное понятно мне с непрекословной точностью.

Целый месяц высидел я в моей засаде, а через месяц, когда уже не хватало сил, Ключенковы вдруг позвали меня морить в бусловской квартире мышей. Я взял свой инструмент и пошел туда как ни в чем не бывало. Войдя вовнутрь, я наткнулся прежде всего на тяжелый взгляд самого Буслова. Он, и сам огромный, сидел на огромном полене, которое приспособил под кресло. Почему-то мысленно я сравнил его в этот раз с пойманным слоном, уныло ждущим своей участи. Он сделал вид, что не узнал меня, но пошевелился и спросил:

— Это ты и есть крысодав?

— Да, я морю... — неуверенно отвечал я, кося привычным взглядом по углам.

— Ну мори, мори, — покойно сказал Буслов и листал какую-то книгу, но я видел, что он все время следит за движеньями моих рук.

Несмотря на близорукость, меня сразу и неудержимо повлекло в левый угол комнаты. Имея привычкой никогда не сопротивляться своему чутью, я прошел туда, вытягивая шею. Там стояло пианино сбежавшей бусловской жены. Крышка была открыта, как будто только что играли, но на клавишах лежала толстая пыль. Быстрым взглядом я обежал все и запомнил. На подставке стояла столь же пропыленная не дочитанная до конца нотная тетрадь. Почти падая на клавиши, я различил, что страница была восемьдесят шестая. Неуловимое, почти таинственное желание шевельнулось во мне и поползло к руке. Мне захотелось тронуть пыльную клавишу, чтоб услышать звук. Но это было не тем же самым, что застав-

ляло и унтиловцев добиваться того же. И я уже протянул палец, стремясь придать ненарочность моему поступку; в ту же минуту Буслов вскочил со своего обрубка.

— Не трогай, — странным голосом приказал он, ударяя книжкой небольно по моей руке, которую я не успел даже убрать. — Не смей трогать...

Он стоял возле меня и не мигая глядел мне в лоб, в то место, где начинаются вопросы. Он был выше меня ростом.

— Там... там норка есть. В норку насыпать надо, — сухо сказал я, кивая за пианино. — Они оттуда и ходят. Отодвинуть бы, я бы и насыпал!

— Мори где хочешь, здесь нельзя, — строго отвечал Буслов и дождался, пока я не отошел от пианино.

Я добросовестно потрудился в тот раз. Не жалея себя, я елозил по всем углам и насыпал мору. Уходя, я обменялся с Бусловым учтивым, но безмолвным поклоном. Я пришел к нему снова только через две недели, сделав намек, будто забыл что-то в прошлое мое посещение. Он сидел опять на обрубке, опять с книгой, а возле пианино лежала собака, с ленивым взглядом и пестрая.

— Подморить вот пришел, — объяснил я, кратко улыбнувшись. Буслов не ответил мне на улыбку, и я понял, что до улыбок еще рано. Я стоял в дверях и сощуренными глазами наблюдал собаку. — Собачка у вас! — заметил я вскользь.

— Да, и кусается... — так же неопределенно объявил Буслов и переложил ногу на ногу. Он носил в то время поддевку.

— Вы поманите ее к себе, я туда пройду, — попросил я, ужасно кляня природную мою боязнь собак.

— Нет, зачем же... — возразил Буслов, переворачивая страницу. — Пускай уж она там и лежит! — И, предоставляя меня себе самому, он вышел из комнаты.

Я угадал нарочность его ухода. Все же, оставшись наедине с собакой, попытался я разными хитрыми приемами обмануть собакину бдительность. Пес урчал и, не поддаваясь ни на лесть, ни на уговор, смотрел в меня такими же глазами, как и я в него. Еле подавив в себе острое желание встать на четвереньки и полаять на него, я принялся за дело. Я уже догадался, что Буслов из какой-нибудь

тихой щелочки с пристальным любопытством наблюдает за мной. На этот раз я оставил всякую мысль коснуться бусловского пианино и, ходя по комнате, трогал разные вещи рукою, мстя этим Буслову за его выходку со мной. Вдруг, подойдя к подоконнику, я заметил бутылку водки, стоявшую просто за ситцевой занавеской. Я взял бутылку и оглянулся, прикинувшись, будто собираюсь пить прямо из горлышка. Этим я выманивал Буслова к себе, и Буслов вышел.

— Что ж ты, братец, из бутылки-то прямо! Ведь кружка рядом стоит, — с презрительным спокойствием сказал он, довольно быстро подходя ко мне.

— Голую пьете? — ответил я вопросом, кивая на бутылку. Я уже не боялся сжатых его кулаков, полный злой решимости начать сегодня же свое наступление на Буслова.

— Голую, — отвечал Буслов как бы с ленцой.

— А вы бы настаивали ее на чем-нибудь... и потом сахарку-ммм... под ликерчик, очень хорошо! — тихо и задумчиво посоветовал я, наливая в кружку.

— Да я сладкого не люблю, — неохотно протянул Буслов.

— Конечно, это уж кому что нравится... — согласился я и выпил с равнодушным видом.

Мы стояли у самого того окна, под которым полгода назад застал меня Буслов. Теперь за окном, ослепительный и спокойный, лежал снег, а на снегу попрыгивали какие-то четыре пичужки.

— Обратите внимание, — начал я, ставя кружку на подоконник, — какой у нас замечательный снег! Легкий, в нем весу совсем нет. Спокойный! Зато ночи, уж извините... главное, длинные. Всю зиму можно проспать... конечно, кто в состоянии! А то и надоест: утром в штаны, вечером из штанов... Ужасно бедная выдумка у этого вот... — Я покосился в Буслова, но он промолчал. Да, снег!.. — повторил я, вникая, так сказать, в музыку слова.

Он почти не шевелился, а мне не молчалось.

— Я очень люблю снег, замечательная вещь! Когда снег идет, душе как-то щекотно, а щекотка — это и есть самый акт наслаждения жизнью. Даже и холод наш

люблю! Он сближает людей и способствует дружбе. На холоде люди жмутся друг к другу.

— Ты знал, что я подглядывал сейчас за тобой? — спросил Буслов, глядя в меня с величайшим вниманием.

— Знал, — ответил я без тени смущенья, ибо меня нельзя смутить нечаянным вопросом.

Он неторопливо налил себе, отпивал мелкими глотками и не морщился, точно хотел удивить меня. А я нарочно не удивлялся. Я глядел на снег, мне было в самом деле грустно, я барабанил пальцами в стекло. В ту минуту я был равен ему в силе, и он это чувствовал.

— ...Белый, пушистый, — тихо говорил я про снег.

— И ты всегда такой? — строго прервал меня Буслов, тоже глядя на снег.

— А какой? — притворился, что не понял, я.

— Да вот экий! — Он, овладев собой, брюзгливо поиграл пальцами, изображая подобие мое в виде мелкой пружинчатой спирали.

Я пожал плечами и не ответил.

Лишь через три дня я посетил его снова, и именно этот день должно считать началом нашего небывалого поединка. Мы играли с ним в шашки, искусно скрывая обоюдную ненависть и запивая ее всяческим винным, что только можно достать в Унтиловске. Он любил играть белыми, и он волновался — обыгрывал неизменно я. Чтобы хоть несколько смягчить минуты молчания нашего, я выдумывал разные истории, якобы имевшие место в ходе развития моего шашечного таланта. Так, однажды я рассказал, как я обыграл одного мужа на серебряный подстаканник и женин поцелуй. В другой раз даже я сам удивился той легкости, с которой вылилась из меня веселейшая история, как я посадил в калошу греческого короля Аполлинария на всемирном шашечном турнире. У Манюкина подобные истории выходят неизмеримо лучше, и потому я не возлюбил Манюкина. А Буслов слушал меня с рассеянной недоверчивостью, изредка прерывая меня хрипливым замечанием: «Врреошь!» Именно в те времена и выработалась у него эта поговорка.

Все винное поставлял аккуратно я. Когда размеры нашего поединка увеличились, я стал продавать разную

дрянь из своего обихода, употребляя деньги на спаиванье Буслова. Я даже продал свою флейту, единственную утешительницу пяти моих ссыльных лет, сделавших из меня то, что я есть теперь. Вдвоем с милым сердцу моему Редкозубовым выигрывали мы из себя томление холостых одиночеств. О, как длинны унтиловские вечера! В своем размахе я не пощадил и флейты. Я приходил к Буслову и днем, и ночью, присаживался к шашечной доске и, вынимая из карманов приношения мои, почти умоляюще глядел в воловьи, так они были велики, расстригины глаза. Я его почти любил тогда, почти жалел. А он пил крупно, дико, величественно, кидая изредка презрительные слова приказаний, или вопросов, или ленивое свое: «Врешь». Мы думали об одном и том же, но ни разу мы не проговорились о ней. Я даже взглядом не касался более бусловского пианино, но он и за это ненавидел меня. Один раз, после трех нарочных проигрышей моих, он предложил мне играть со ставкой. Он сказал:

— Если выиграешь — можешь! — и кивнул с усмешкой на пианино.

— А если проиграю? — спросил я, бледнея от прихлынувшей вдруг силы.

— Тогда я тебя... — Он не договорил, а только как-то очень выразительно выпятил нижнюю, всегда влажную губу и залпом допил стакан.

Мы играли, и я выиграл. Но я простил ему его проигрыш, хотя это и стоило мне значительных усилий. Все же, уходя в ту ночь, я потрепал его по огромной его руке, лежавшей на столе, и сказал мягко:

— Так-то, Виктор Григорьич. Ембаргирьгирьгам!

— Чево-о? — поднял он опухшие глаза.

— Ничего, пустяки... — испугался не на шутку я.

Во мне происходило тогда вращение медали. Унтиловск выпирал из меня. Мой маленький Унтиловск и Унтиловск большой бороли Виктора Буслова. Но он был сильный, он долго барахтался и сильно колотил раскинутыми руками по мутным водам унтиловского бытия. А мои наблюдения говорили мне, что унтиловская вода уже входит в него и замедляет его силу. Он стал спокойнее, стал даже интересоваться мной, расспрашивал о причинах моего ухода с химического факультета, о при-

чинах высылки и о разном, имевшем хоть какое-нибудь касание к моей особе. И он уже не ходил колоть дрова, а, например, спал. Целых две зимы шел на унтиловское дно Виктор Буслов, и все то время я цепко держался за его ноги, помогая тонуть без лишних мучений. Я говорю об этом совсем открыто, но кто оценит меня?

Камуфлет судьбы и некоторые политико-экономические причины столкнули Буслова с Радофиникиным и Редкозубовым. Мы пришлись по вкусу друг другу, и с тех пор на бусловском столе лежали две шашечные доски и четыре стакана ждали четырех хозяев. Считая работу свою оконченной, я тихонько отошел в тень и не мешал даже Буслову сделаться условным, так сказать, председателем содружества нашего. Он пил по-прежнему, но уже без ревности о Господе и сбежавшей жене, а так же привычно и рассудительно, как и Радофиникин, например. Даже выработалась мера нашему пьянству: пили квадратными аршинами — бутыли, которые предстояло осушить, должны были занимать определенное количество квадратных аршин. Иногда ради развлечения устраивали мы и сибирскую окрошку: крошили в темную унтиловку, налитую прямо в плошку, хлеб, лук, а иногда и лимон, если бывал под рукою, и хлебали полученный результат солдатскими ложками. Обычаи эти, как и всякие традиции, необыкновенно способствовали укреплению нашей дружбы.

Лишь на четвертый год единения нашего проговорился Виктор Григорьич нечаянным словом, показывавшим, что еще не совсем разъело вино весь давнишний бунт бусловской души. И случилось это за шашками же.

— Эй, Сухоткин! — позвал он меня, делая очередной ход.

— Ну? — отозвался я и сжался, предугадывая нечто.

— А ведь ты и отравить меня мог! Помнишь?

— Мог, — недовольно согласился я, переждав, впрочем, одну умную минутку.

— Как собаку мог отравить! — повторил с нажимом Буслов и так стукнул кулаком по столу, что все шашки подпрыгнули с доски.

Я только засмеялся и заговорил о пустяках с бусловской нянькой, показывая этим Виктору, что кончил глупый разговор наш в отместку за нарушенную игру.

Но через некоторое количество лет (мне лень высчитывать — пять или семь) произошло, как известно, вращение общегосударственной медали. Орел сел на решетку, и наоборот. Виктор Григорьич задвигался, заволновался, собираясь покидать Унтиловск. Теперь я ходил к нему чаще, чтоб вплотную и пристальнее наблюдать за ним. Все вещи в квартире его сдвинулись с обычных мест, всюду лежали увязанные узлы и ящики — имущество не его, а скорее няньки его, Пелагеи Лукьяновны. О ней я не говорю отдельно, так как она достаточно объяснится и в последующих словах. Как-то получалось, что я всегда заставал одно и то же: нянька копошилась над узлами, а Буслов глядел, как в черном лаке пианино играют зеленые блики — отражения травы с ключенковского дворика, щедро окрашенной майским солнцем. Я подошел к пианино и наклонился поглядеть ноты, что проделывал в каждое мое посещение. На толстой пыли не виднелось по-прежнему отпечатков чужого любопытствующего пальца, а страница была та самая, которую я заметил в самом начале рассказа моего.

— Восемьдесят шестая, — сказал я вслух.

— Да, — сказал Буслов.

— Едете? — спросил я мельком.

— Еду, — отвечал он, глядя в меня вопросительно.

— Ну-ну, поезжайте... — одобрил я.

Потом я подошел к няньке и глядел, как она старалась впихнуть дырявый цветочный горшок в донельзя переполненный узел.

— Шиш на тебя! — махнула она рукой мне, улыбавшемуся. — Еще сглазишь, мутник!

— Мой глаз добрый, потому что голубой. Он не может производить вреда! — пошутил я и, обернувшись, пальнул в Буслова: — А ведь вам не уехать, Виктор Григорьич. Черт их там знает, трамваи, машины... Вам не кажется, что вас непременно трамвай задавит?

— Н-ну, ты шутишь... — насильственно прохрипел он; короткий румянец облил ему опухшее лицо.

Я понял, что сделал глупый ход, и поспешил уйти.

Целых два месяца лежали связанными узлы, но мы, трое, приходя вечерами, делали вид, что не замечали их. А уже пропадал весенний блеск с Курдумовой воды, и

уже посещали нас пароходы. Суетились рыбацкие лодки у пристани, и какая-то крохотная и желтогрудая птаха жизнерадостно чирикала на моем подоконнике каждое утро. Веснами я болел, пенилась моя муть. Овладевали мною удлиняемые дни, и ручьи, и всякое это молодое. Я не ходил никуда или же только на берег Курдума, причем ужасно любил бросать пустые бумажки на воду, чтоб плыли, неся куда-то весть обо мне. Это все тайное, о чем вполслуха. А вот явное и полным голосом: по миновании времени я заметил, что узлы бусловские стали снова распаковываться, а вещи постепенно заняли привычные свои места. Немедленно побежал я с этой вестью к Редкозубову. Однако во имя правды сообщаю, что, при всей своей какой-то внутренней несущественности, Илья был все же порядочный человек.

Буслов не уехал, как не покинули Унтиловска в свое время и Редкозубов, и я. Мягко-снежное унтиловское пространство дает возможность разлечься так, как захочется, и, уже лежа, наблюдать за биеньем всей земной жизни. Постоянная смена людей в Унтиловске позволяет любознательному унтиловцу быть в курсе всех вещей, что творятся на подлунной. Ибо всякому, только что присланному сюда, не только приятно, а и лестно порассказать о тех точках в культуре, до которых дошло человечество вкупе с ним. Я имею в виду Манюхина, который хоть и барабоша, по необдуманному выражению редкозубовской невесты, все же, как оказалось, не был лишен некоторого смысла и чувств. Он был прислан к нам не столько за то, что был где-то уездным предводителем, а, думается мне, скорее за какую-то размягченную унылость, именно — размагниченность своего наружного вида. Четыре негустых волоса украшали волнистый его череп, но они были уже совсем седы, эти четыре.

Будет кстати сообщить подслушанный мною разговор Буслова с только что приехавшим Манюхиным. К сожалению, я застал только конец его.

— ...Вот так же ловят слонов, — говорил Буслов, глядя в пол. — Подпиливают дерево, а когда слон приходит почесаться, дерево падает, и слон валится на специальные колышки...

— Их ведь тоже как-то и в ямы ловят! — деликатно посочувствовал Манюкин.

— И в ямы... — свистел носом Буслов.

Я же, подслушивая, с удовлетворением вспомнил, что я еще и раньше самого Буслова сравнивал его с пойманным слоном. Впрочем, о том, что тут было обозначено колышками, я только смутно догадывался.

Переходя к течению повести моей, я припоминаю, какую сверхъестественную радость испытывали мы в последующие дни, примирившись с мыслью о редкозубовской женитьбе. Доброе редкозубовское сердце, прости нас! Но всех нас обступала и коробила мертвящая скука — так же вот острый мороз после гнилой осени скоробит уцелевшие на дереве листки. Вместе с тем замешательство незнания охватило нас: кто, какое сверхъестественное существо нанесло любовную рану редкозубовскому сердцу?.. Илья молчал и подмигивал; только благодаря логике о. Ионы и неоднократным выслеживаньям, произведенным мною, удалось наконец выяснить имя загадочного сего существа. То была Агния Ларионна, вторая отрасль некоего гравера Лариона Пресловутого, сосланного к нам в давние времена по недоразумению фальшивомонетного свойства. Первая отрасль сего Пресловутого была тоже Агния, но в момент появления второй на свет Пресловутого как раз судили в окружном. В суматохе забыли про первую дочь, и вторая получила имя первой. Какие забавности случаются на наших глазах, а мы и не замечаем!

Неоднократно встречал я Агнию Ларионну в потребиловке, где заведовал Редкозубов. Я ходил туда за сахаром и табаком, но по рассеянности как-то не замечал ее. Впрочем, знаю, что сия востроглазая блюла себя ретиво, в противоположность старшей своей сестре, которая, уже утеряв надежду на замужество, просто стремилась хотя бы пощекотаться о встречного мужчину. Сплетня — самое приятное и дешевое времяпрепровождение унтиловцев — неспроста связывала имя старшей Агнии с унтиловским юродом, остававшимся как исторический пережиток от раскольничьих времен. Юрода сего подкармливали унтиловцы, храня для развлечения. И он жил, славя Бога во святых его, поедая тугие унтиловские яства, вещая о сро-

ках времен и царствий, терпеливо переходя через зимние стужи чуть не босиком, имея странное и даже дикое прозвище: Фонька-Рыжий-Каретой-Едет. О нем упоминаю только для придания красочности унылой этой странице.

Старшая эта привлеклась было редкозубовскими прославленными бровями, столь развесистыми, будто он их мазал усатином. Но недаром славился он также и неуязвимостью своею в амурную пяту. Вот тогда-то и приметил его косоватым взглядом Пресловутый. Он стал чаще ходить в потребиловку, и я уже не знаю, какие штуки он выделывал с Ильёю и чем он так пленил намеченную жертву. Если Илья прямотой души и слова походил на нож, то перо мое само собой уподобляет Лариона Пресловутого маслу. И вот, выражаясь поэтически, масло приступило к ножу, и нож стал рубить масло. Но масло обступало и стыло, и вот уже торчала из масла ножовая рукоятка, с победоносной наглядностью показывая тщету всяческих земных борений... Я хочу сказать, что Илья спасовал перед второю Агнией.

На тайном совещании поэтому мы и решили устроить достойные проводы бровастого холостяка в сладкие тенета второго пункта. Размер празднества устанавливался чрезвычайный, а именно — три с половиной аршина. Началом торжества определены были шесть часов пополудни, а местом назначалась бусловская квартира. Собравшись за час до срока, мы бегали, размещали на столе установленные аршины, чуть не елозили с опасностью для жизни по стенам, приукрашая их елью.

Отклоняясь чуточку в сторону, замечу почти мельком, что настоящие вина до нас никогда не доходили, застревая в губернских и уездных городах. Да мы и не грустим об этом: никакие Лиссабоны и гобарзаки не сравнятся в крепости удара и изяществе вкуса с напитками унтиловского производства. Некоторые семьи достигли теперь апогея, так сказать, в области приготовления крепких жидкостей. Этому немало способствовало запрещение вина и елея в общегосударственном масштабе: прадедовское уменье умудрилось ухищреннейшим опытом. В случае вторичного запрещения пьянства полагаю, что значение Унтиловска весьма возрастет и густая унтиловская бражка выйдет из берегов

своих, бурно, как полноводная река, разливаясь по всей стране.

Подобающе украсив внешность, мы принялись и за содержание и не без успеха выполнили задачу. Посреди стола возвышалось Ионино сооружение: пушка из бутылок всевозможных калибров. Смысл ее был написан на бумажке и приклеен к бутылке пшенного самогона, славного глубиной и сладостью вкуса. Левый фланг занят был сибирским пирогом, еще не пропеченным, так как он употребляется в раскаленнейшем виде. Из распоротого желтого стерляжьего брюха выглядывали мелкие рыбки, повязанные бантиками, в чем заключался особый намек на отличие жизни холостой от жизни семейственной. Затем, вдоволь порадовавшись плодам нашего воображения, мы подкрепили утраченные силы и сели поодаль в ожидании героя.

— Вот уж и снежок! — сказал я с зевком, начиная дружескую беседу.

— Снежок хорошо, — зябко ерошась, согласился Буслов и пошел открыть отдушину уже истопленной печки.

— Снежок! — подзевнул Манюкин.

Предавшись настроениям, мы помолчали приличный срок, что никогда не тяготит нас, ибо приятно внимать убегающим минуткам.

— Как повалит, как повалит, так нас всех и завалит! — опять начал я, еле справляясь со смыкающимися глазами.

— Да уж повалит, — сказал Радофиникин и, подобрав рясу, выглянул зачем-то в окно. — Не идет еще! — объяснил он и покрестил зевок свой.

Я встал и пошел неспешно к пианино взглянуть на ноты. Страница была прежняя, беспокойству не было причин. Я крепко потянулся, чтоб скинуть с души непонятное томление духа.

— Вчера последний пароход ушел... — дрожащим голосом сообщил Манюкин. Еще не привыкнув к молчанию, он заговорил опять: — А вот почему бы это... к нам пароходы еле ползут, а от нас так прямо в одну минутку скрываются? Ах да, течение в ту сторону! — непомерно быстро догадался он.

Тут мы сидели в ожидании, кто ковыряя в зубах, кто — например, Радофиникин — щупая себе ногу сквозь сапог, возле большого пальца.

— Ишь ведь... навья кость из мене лезет, — удивлялся сам про себя Иона. — А ведь раньше и не было, а теперь вот какая... — Он встал и налил себе из средней бутыли, темного. — А у мене новые постояльцы, — вдруг похвастался он, садясь на бусловский келькшоз, каковым словом называлось подобие дивана, сделанное из поленьев и серого войлока. — Очень приятная женщина, а супруга, ки-ки, хмурится! — Он выпил, а вслед за ним выпили и мы и опять расселись полукругом.

— Чего ж ей хмуриться-то? — вставил я. — Не медовый уж месяц!

— А что ж, я еще в соку мужчинка! — потормошился Иона и убавил голос. — Удивительно, как это можно... Даже к обоям ревнует!

— Ну-у, вре-ошь! — зевал Буслов.

— И по-моему, невозможно, — решился Манюкин.

— Не нанимался я врать-то, дурачки-и! — засмеялся Иона. — Ссыльный у нас жил, всю он комнату и зарисовал девочками! В разных видах...

— Очень интересно поглядеть! — заключил я и потянулся до хруста в суставах.

Разговор прервался, а тут вошел бусловский пудель и сел у пианино. Он был уже очень дряхл, и мне показалось, что он и сам знает оставшееся количество своих дней. Кстати, его звали Хвак.

— Глядите, глядите... тоже зевает! — вскричал Манюкин о собаке.

Приятельская беседа наша вскоре после того приобрела научный оттенок, причем Манюкин похвалился новостями в науке: будто где-то в Москве собираются случить молодую французскую женщину с обезьяной — для антирелигиозной пропаганды. Имея в виду поддразнить Иону, я тут же начал высказываться в очень крутом стиле сперва об электромагнитных материях, а потом и по поводу небытия бога. Я очень люблю такие темы, потому что от нечего делать можно допустить тысячу толкований, накручивая их и с той, и с другой стороны. У меня при этом даже как-то в пальцах зудит.

Внезапное появление Редкозубова прервало меня на полуслове. Он ворвался, полный жгучей жизнерадостности, он обнял нас всех по очереди, каждому дыша в щеку из прокуренного рта.

— Паша, — вскричал он мне, — как я рад тебя видеть!

Воистину, доброта этого человека была беспредельна. Ионе он сказал, что всю ночь видел его во сне, Буслову — что готовит ему сюрприз, Манюкину — что сегодня утром снова прослезился о его судьбе. О, великое сердце, зачем я познал тебя до конца!

— Прямо от нее! — расплываясь в лице, самодовольно подмигнул всем нам Илья. — С тестем о делах говорили! — сказал он почти сурово, но и через суровость перехлестнула доброта. — Ах, какой это... это...

— Ну ладно, не ищи. Отощали мы тут без тебя, — сказал я.

— Эх, Илюша, съест тебя Ларион! — горько сказал и Буслов.

Перебрасываясь суждениями, мы усаживались за столом. Иона пропел что-то коротенькое для освящения еды. Стемнело, и висячая керосиновая лампа входила в свои права. Все же какой-то унывностью были наполнены несколько минут последовавшего затем молчания. Безмолвные и как бы хмурые, сидя вкруг, мы глядели в кружки наши, полные хмельной и жидкой черноты. Высокие чувства переполняли нас. Как бы перекрестились пики, и на пересечении жал их лежит нагая и трепещущая дружба наша, незыблемая до сей поры. И как будто вот клянется биеньями своими редкозубовское сердце не изменять, хотя бы тысяча Пресловутых с приплодами препятствовали намеренью этому. Сладостное безмолвие наше могло бы длиться до бесконечности, ибо приятна всякая грусть, не влекущая материального ущерба... Но Радофиникин не понимал этого.

— Какая сухая лета нынче была! — возгласил он со вздохом и, отхлебнув из кружки, чтоб не расплескать, поднял ее над головой. — Ну, со свиданьицем, значит!

— И за незыблемость союза нашего! — сказал Манюкин восторженно.

— И за Илью, чтоб не унывал, — прибавил Буслов.

— И за пиджак его! — предложил я, кивая на замечательный, цвета яростной гаванны, пиджак, в котором он пришел.

Илья откликался, чокался и положительно исходил добротой и светом; он как-то даже отупел от этого. Вскоре мы уже покончили с первым аршином. В комнате, несмотря на обширность ее и щелеватость окон, стало совсем жарко. Кровь значительно быстрее стала обегать мозги. Разговоры, которыми мы перемежали приемы пищи, заиграли всеми цветами радуги. Мы тешились и резвились, как молодые котята на весенней траве, а Редкозубов уже хохотал, вращал ушами, что он умеет делать в совершенстве, и как-то особенно махал руками, производя впечатление дерева, сошедшего с ума. Веселье шло с курьерской быстротой. Милую и отмирающую добродетель эту — веселиться без боязни показаться дураком — чту я выше всех других качеств в человечестве.

Но странное дело, я отчетливо ощущал, будто Пресловутый сам сидел посреди нас и разглядывал нас с презрительным вниманьем, как смотрят на кормление зверей в зверинце. Он сеял себя посреди нас, выражаясь фигурально, и в дальнейшем нетрудно будет понять смысл этого моего выражения. И как бы в подтверждение сего вдруг заговорил Редкозубов, бросая в сторону недоконченное суждение свое о влиянии солнца на половую сферу.

— ...А все-таки блистательный, невозможный человек! — громко заявил он, бойко перегрызая гусиную косточку.

— Ты про кого это, опять про Лариона? — осведомился Буслов с набитым ртом.

— Да, да... и тысячу раз да! — откликнулся Илья, отплевываясь. — Обширнейший ум. Я, говорит, хочу сделать человека и добьюсь своего. Ты, говорит, должен сделать все, чтоб выставить свое усердие на вид. Употребляй в кажном, говорит, разговоре... — тут Илья испуганно пошептал что-то в свой кусок сибирского пирога, — и даже, говорит, пугай всех этими вот самыми словами. Таким образом ты проложишь себе дорогу в делегаты, а там и в люди — и так далее, до златых эполет! До златых эполет, каков, а? Каково выраженьице? Я ему говорю, что ведь

нету, мол, теперь эполетов, а он и не слушает. Ты, говорит, одевайся порваней, будто у тебя не хватает! А голову полезно выбрить... Полезно, говорит, и брови! Брови... ведь каков, а? — восхищался Илья, вытирая губы красным платком и заискивающе подмигивая нам, но я отвернулся.

— Брови-то зачем же? — не выдержал жалостливый Манюкин.

— А для показания, что-де вот я каков! Что-де я есть серьезный человек и всякое такое от меня отпадает! — Впрочем, к счастию, лицо Ильи выражало в ту минуту мятущуюся нерешительность и тягучую муку. — Он теперь заставляет меня который день по пять строк из толстой книги заучивать... для развития. Это, конечно, трудно, но ведь и все трудно! Ведь вот, Сергей Аммоныч, учились же вы!

— Как же, как же!.. — затрепетал вдруг Манюкин, точно электричеством коснулись его. — В римском праве, например... о сервитутах... очень трудно!

— И заучиваешь? — спросил хмуро Буслов.

— Заучиваю, — сжался Илья.

— И понимаешь что-нибудь? — продолжал Буслов, двигая отяжелевшие от хмеля веки.

— Нет, — кротко сознался Редкозубов. — Даже названья не упомнил...

Все мы дружно засмеялись, и это взорвало Илью. Всегда тихий, тут он побагровел, и потребовалось целых полчаса (причем Иона приводил тексты из Священного Писания, а я, в пику ему, из греческой истории), чтоб усмирить взыгравшего Илью.

А уж было время приступить к последующим аршинам празднества. Мы этим и занялись, пустую посуду составляя в уголок. Только на втором аршине отогнали мы от себя невидимые веянья Пресловутого. Ничто более не препятствовало веселью друзей. Тогда, очень кстати вдохновившись, Манюкин уселся на краешек келькшоза и принялся подвирать.

Не пожалею времени и места на описание сего должным образом. Он начинал искусную вязь свою с видом грустного смирения и даже разочарованной усталости. Потом его уже сильнее одолевали воспоминания. И вид-

но было, как он борется с ними изо всех сил, и не может побороть их, и они проступают из самого нутра его помимо его воли. Он врал с легким жаром наивного вдохновенья: так мчит над снежной тундрой баловной ветерок, не ведая конечной цели своему легковейному бегу. Исключительная склонность моя к правдивому изображению событий толкает меня на столь поэтические сравнения, хотя вид у Манюкина, вообще говоря, был такой, как будто он держал за щеками по куску постного сахара. Сдвинувшись теснее, мы безмятежно наслаждались, под шум хмеля в голове и ветра за окном, замысловатейшим орнаментом манюкинской выдумки.

— Живали... — начал он свой разбег, и мгновенная горечь сломала ему пухлые его губы. — Славно живали, пока... пока...

— Ну, до товарищей, одним словом, — подсобил ему я взлетать скорее.

— Вот-вот, и рубище это когда-то новехонько было и цену имело другую. — Он горько потрепал рукой по обтрепанному обшлагу, и все мы подбодрили его взглядами. — Все рассыпалось... Скушали и спасибо не сказали!

— Человек яко трава и дние его яко цвет селный! — задумчиво и уместно припомнил Иона.

— Вот только носки и остались от прежней жизни! — криво засмеялся он, ища сочувствия, но глаза его уже затеплились блеском с той стороны. Заграничный трикотаж, все равно что медные! Да вот, не угодно ли пощупать... если не противно? — и приподняв бахромчатую часть, свисавшую на заплатанный штиблет, предложил глазами Илье Петровичу.

— Да, замечательно, — отметил строго Илья. — И как это они могут? Наука, высота!

— А позвольте и мне, — попросил о. Иона и, потрогав, сказал: — Злато и топазия! И как мы от них отстали...

— Ну так вот, — запел Манюкин, удовлетворя свое тщеславие. Жизнь буйно играла на его лице. — У меня редчайший случай из тех времен был, я вам его вплоть до интонации расскажу! — Посулив так, Манюкин пересел на свободный стул и попробовал плечами, плотно ли сидит. — Захожу летом как-то к Потоцкому, а он пасьянс

раскладывает. Увидел меня: «А, Серёжа!» — и лобызаться лезет. Ну, он меня в плечико, а я его вот сюда... — Манюкин ткнул себя куда-то ниже кадыка. — Мощной красоты был человек! Его потом солдаты укокали...

В этом месте Радофиникин почесался и прервал.

— Чешется... к чему бы это? — оправдывающимся шепотом сказал он.

— «Что это, — говорю, — у тебя, дорогое превосходительство, рисунок лица какой-то синий?» — продолжал Манюкин, бледнея чуть-чуть. — «А это, отвечает, — от тоски — горькой-ягоды!» — «А что, — говорю, — за тоска? Чем тосковать, так ты лучше уж семечки шелушил бы!» — «Да вот, — говорит, — купил кобылу завода Карабут-Дашкевича... Лошадь — верх совершенства! Дочь знаменитого киргиза Букея, который в Лондоне скакал, на всемирной выставке, семь медалей! а кубков... кубки потом отдельным вагоном доставляли!» — «Ну так что ж?» — спрашиваю. — Да вот уж шесть воскресений усмиряем... в санях по траве объезжать пробовали. Не выходит, две упряжки съела!» Я же... — и тут Манюкин подбоченился — ...стою вот так, посмеиваюсь да Гришку по плечу потрепываю... Гришка-то? А Григорий Захарыч Ланской, правнук того, знаменитого! Мухобой, арап и пьяница, но дворянин, можно сказать, чистейшего Мальтийского ордена! Даже матерщинка у него и то какая-то бархатная... — Манюкин уже разогнался, брызгался и уже не владел сверкающими глазами. — «Барабан ты, граф, — говорю, — право барабан. Гляди мне в лицо, заметно? Нет? А я, братец, вчера, три месяца не поспав, шесть, братец, мильонов золотом в один присест проиграл! Понял?» — И пальцем ему в нос щелкнул.

— А какой пробы?.. — спросил Буслов с видимым удовольствием.

— Мильоны-та? Пятьдесят шестой, как следует! — отмахнулся наотмашь Манюкин и мчал дальше, подобно необузданному коню, скачущему по долам, не блюдя головы своей. — «Шесть, — говорю, — мильярдов золотом... а разве я плачу? Гляди мне в лицо, разве я плачу? А ты уж и от кобылы сдрюпился. Эх, барабан, барабан! Ты бы сам-то сел!» А он только глаза заводит. «Куда ж,

говорит, — она уж двух жокеев к чертовой матери отправила... Корейцу Андокуте руку съела, а Василью Ефетову, человек трех вершков, брюхо вырвала. А я ведь как-никак член Государственной думы!» — «Зубами?» — спрашиваю. «Зубами!» — отвечает и синеет уж до полной безрассудности. «Тогда убей, — говорю, — чтоб не иметь позора!» — «Жалко, — говорит, замечательного ритма лошадь. Часы, а не кобыла!» — Манюкин небрежно выставился грудью вперед. — А я, надо сказать, с четырнадцати лет со скакового ипподрома не сходил... пятнадцати лет я уж всех жокеев, наездников, барышников и цыган знавал... на восемнадцатом мне уж сам Эдуард Седьмой золотой кубок присудил с брильянтами, за езду! Я ведь колоссальной силы ездок, потому что я везде ритм ценю, гармонию! — Манюкин бодрой рукой погладил тощие свои икры. — И потом, уж прямо сознаться, с детства я обожаю красивых лошадей и резвых женщин... то есть наоборот, черт! Ну тут и забрало меня! О, я ведь экземпляр был! У меня размах, я не могу жить в свинстве. Что я в Париже, например, выделывал! Помню, раз голых француженок запряг в ландо, двадцать голов... на ландо гроб, а на гроб сам сел в лакированном цилиндре в шотландскую клетку, верхом... да так и ездил четыре дня по Парижу, красота! Впереди отряд дикой дивизии наигрывает на тубафонах, а на запятках полосатых негров этово... восемь штук. Президент, конечно, взбесился...

— Так разве бывают... полосатые? — с недоверчивой осторожностью осведомился Иона, косясь на меня.

— Да разумеется ж! — небрежно вспорхнул и хмыкнул Манюкин. — Нарочно из Южного Конго выписывал, семеро по дороге перемерли... Они где-то там, на какой-то рио гнездятся! Ну, взбесился президент. «Я, — говорит, — тебя, Иван Манюкин, сотру с лица земного шара!» А я не боюсь, за меня тут сам Папа вступился, потому что накануне как раз все козни и мерзости разных там иностранных этово... — Манюкин совсем захлебывался, — педерастов разоблачил! Чуть до войны не докатилось, хотели меня тайно извести... Ну посланники меня тут уговорили не затевать. Плюнул я, показал президенту язык и переехал в Люксембург. У меня тогда новая затея вспыхнула: положить под Монблан ихний этак трио-квардо-бильон

пудов мелиниту да и грохнуть этак во славу Российской державы!.. Глядите, мол, чертячьи дети, как мы этово... можем!

— Ну а с графом-то, с графом-то как же? — жадно облизал губы себе о. Иона, безусловно, доверяя манюкинскому вдохновению.

— Ах да, граф! — спохватился Манюкин и отупело провел себя по четырем своим сединкам. — Ну что ж, разошелся. Меня хлебом не корми, а дай усмирить бешеную кобылу! У меня уж бирка такая, нрав. Себя убью и лошадь покалечу, а уж доберусь до корешка! Разошелся... «А где, — спрашиваю, — Буцефал твой стоит, задом его наперед? Давай его сюда, четырехногого! я ему счас задам перцу!» — Манюкин дико повращал глазами и даже засучил для чего-то правый рукав. — Ну, тот остолбенел, глазам не верит, жену позвал. «Маша, говорит, — посмотри на идиёта! Хочет кобылу Грибунди усмирять...» Та меня отговаривать, замечательного ума женщина, с Папюсом переписывалась... сырая вот только...

— Вот и у меня тоже супруга сыровата, — с поспешностью вставил Иона. — Велелепием лица не отличается, но умнейшая женщина в Европе.

— Тоже внематочная беременность? — налетел вихреподобно Манюкин.

— Не-ет, что вы, что вы... — опешил Иона. — Спаси Господи...

— Ну а эта от внематочной погибла! — жестко скрипнул Манюкин, и стул одновременно скрипнул под ним. — «Не ездите, — говорит, — Серж, вы погубите себя!» А у меня уж гонор. Моя бабка, которая и выпестовала меня, полька ведь была! Прославленная старуха... танцевала кадриль с Александром II ста четырех лет и трех месяцев! Он ей после того золотой портрет с эмалью прислал... Это она его и надоумила мужиков-то освободить!

— Ста-а четырех! — вытаращился Редкозубов и почесал в затылке, еле приходя в себя.

— Что ж тут странного, — взъярился Манюкин. — Полина Виардо в девяносто пять лет только еще краситься начала! Разошелся я. «К чертовой матери! кричу. — Давай сюда седло!» — «Да седла-то, — говорит, — нету...

все седла в починке». — «Ага, нету. Тащи мне сюда чресседельник и подушку... и я сделаю восьмое чудо света... девицы Ленорман!!» Ну, ведут меня под уздцы... то есть нет, под руки, чтоб не сбежал, во двор. Дело равнинное, в Веневской губернии, именье во весь уезд! Такая ровень, потому что там кусок Солигамского озера приходился... Гости высыпали, народу — синедрион! Выводят ко мне Грибунди, в железном хомуту, на арканах. Глаза мешковиной обвязаны. Осматриваю: казинец чуть-чуть, но золотой масти, ясные подковки, ржет... Графиня на чердак спряталась и ваты в уши напихала... на целых два пальто хватит! А я уж вконец освирепел. «Поставьте, — скриплю зубами, хряпкой ее ко мне!» Поставили. «Подвязывай подушку чресседельником!» Подвязали. «Сдергивай мешковину!» Я покрестился на образ матери, который всегда в сердце ношу, да как гикну, да гоп на нее... В воздухе ножницы сделал и даже, помнится, платочком помахал. Даю шенкеля — она ни с места. «Да это старый осел, — кричу, — а не лошадь!» Публика орет, хохочет... Вдруг затормошилась иноходью: хлюп, хлюп, хлюп... И тут я вижу, что платочек-то следует мне в кармашек спрятать! Вдруг трах... — тут Манюкин чуть не свалился сам со стула, — как она махнет через прясла да в поле... и воли не слушает! А я еще по глупости дал ей хлыста и попытался вольт сделать! Тут как она прыгане-от... Налейте мне, — внезапно попросил Манюкин, еле переводя дух.

Ему налили, и не успел он даже губы вытереть, как вновь подкинуло его вдохновением.

— ...Как прыганет! Да шесть раз в воздухе и перкувыркнулась... Даже взвизгнул, помнится. Подушка выскочила, и уж чресседельник под животом болтается и по ногам ее хлещет. Беру на повода — никакого впечатления! Начинаю пороть ее арапником и по крупу, и по морде... хлыщу — ничего! Уши заложила, морду окрысила — так хребтом и кидает... Уж я тут и смекать стал: не только, думаю, костюм мне порвет, а, пожалуй, и без потомства оставит! Представьте, сижу ровно собака на заборе... Но все-таки намотал уздечку на руку, начинаю ломать ей правую шею — рьян! Левую ломаю — рьян! Осипла, несет меня с вывернутыми глазами прямо на овец... там стадо паслось! Рву ей гриву по щетинке... Как я однаж-

ды на одном конкурсе Закастовщика ломал, семь тысяч в восторг привел! А тут рву, уздечку так натянул, что деготь оттекать стал и все мне белые перчатки вдрызг! Рву, а скотинка закусила себе удила... — Манюкин поскрипел зубами, изображая Грибунди, — и прет и прет все... и давай тут по овцам гулять. Я даже глаза зажмурил, только повизгиваю... и чувствую, как она копытом в брюхо овце попадет — брюхо вдребезги! А тут еще жалкое блеянье это... Тут уж она и на задних по ним гуляла, и на передних гуляла. Пена, понимаете, как из бутылки, и притом, заметьте, электричеством, праной этакой так от нее и несет. Несет меня прямо в лес, все сшибить норовила... все бока себе в кровь, морду в кровь, меня в кровь. А за лесом Ока шла, глиняный обрыв восемнадцать сажен! Ну, думаю, Сергей, пропала земная твоя красота... Тут в дерево ба-бах...

Манюкин покряхтел, крепко вцепившись в стул, на котором сидел, точно стул и был взбесившейся Грибунди. Редкозубов, выпятив челюсть, сосредоточенно сопел. Радофиникин то запахивал, то распахивал рясу свою, в просторечии нашем называемую эклегидон. Буслов качал головой, приговаривая: «Поэт, поэт...»

— Лежу, — оканчивал Манюкин упавшим голосом, — и этакие, знаете, зеленые собачки в глазах прыгают! А уж тут Ланской бежит с коллодием: «Жив ли ты, Серёжа?» — «Жив, — отвечаю, — в галопе замечательна, но не показывайте мне ее, я ее убью!» А куда ж убить там, коли лежит этакой пестрый кавалер в розовых брюках, то есть совсем без оных, и чуть не полбашки нету! Ну, залили мне голову коллодием... отнесли. Ох, даже язык вспотел, тошно мне... — простонал нежданно Манюкин, весь потный, дыша с высунутым языком. — У меня язык-то быстрей, чем голова, работает, она и не поспевает! Вспотел...

— Да и вспотеет, — посочувствовал Илья, — не мудрено!

Манюкин ощупывал ошалелыми руками голову себе, точно ощущал еще на ней страшную рану недавнего удара, точно, видя еще не остылую от скачки лошадь, стремился удостовериться в собственной целости.

— Да, туда-то с платочком... а оттуда полпуда в весе потерял! — прибавил он, жалко посмеиваясь и вытирая лицо платком.

В комнате и в самом деле стало не в меру жарко.

— Ну-ка, дай пощупать твой нос, — заговорил Редкозубов, только теперь усвоив всю пленительность манюкинской выдумки. — Говорят, кто хорошо врет, у того нос гнется...

— Постой, дай же ему отойти, — остановил Буслов Илью.

— Нет, я вот что... — задумчиво говорил о. Иона. — Как же это прыгала-то она под вами, ведь не блоха!

— Блоха не прыгает, она сигает! — рассудительно вставил Редкозубов.

— Все равно, кобыла не может сигать. Я не видел, — с наивным недоверием настаивал Иона.

Это совсем взорвало Манюкина, уже успевшего перевести дух.

— Так ведь это черт, черт был, дьявол, понимаете? — закричал он таким тонким голосом, что я невольно зажмурил глаза. — Черт, с рогами, поняли? — И, сделав рожки, боднул Иону в бок с резвостью, прямо непостижимой для его возраста.

Иона отшатнулся, и вслед за тем лицо его приняло злобно-досадливую несимметричность.

— Странные вы люди, Сергей Аммоныч, — прошипел он, запахиваясь в эклегидон, что всегда служило признаком гнева. — Не можете вы жить без упоминания нечистой силы... Вот за это вас и присылают к нам! — Он подождал минутку и своенравно отметил: — А кобыла все-таки не сигает!..

— А вы и в черта верите? — с внимательным интересом спросил Буслов, и уже видно было, что его начинает развозить.

— Не поминайте его задаром, а то я уйду, — жалобно ответствовал Иона. — Я во все-с верую, Виктор Григорьич! Вы вот в третий раз спускаете его с уст своих, а принимаете, между прочим, пищу. А он, может, вон там... — прикрыв глаза козырьком, Иона значительно кивнул в темный угол за пианино. — Может, он там пря-

чется и ждет, когда и его позовут в гости. Я во все верю. — Голос Ионы наливался колкой неприязненностью. — Я, миленький, когда на молебен от засухи езжу, то зонтик с собой беру, ибо верю, ибо горжусь... — Иона встал, постоял с поджатыми губами и снова сел.

Однако возможность ссоры мгновенно уничтожилась, едва мы вспомнили об остающихся аршинах. Чокнувшись за прекрасность многих вещей и дружески пожурив Илью, что не захватил с собой гитары, чтоб спеть хором и плясануть для продвижения крови, мы снова принялись вспоминать небывалые случаи из жизни. Состояние наше было уже несколько шаткое, а Илья уже надел себе на нос темные очки, что делал для сокрытия глаз своих. Хмель не овладевал ни телом его, ни головой, а только глазами.

— Гу-гу! — сказал шутливо я, тоже восчувствовав румянец поэзии на щеках своих. — Хвак, поди и сядь у ног моих и слушай.

Пес подошел, и я погладил его по шерсти, которая обильно лезла.

— Так вот, товарищи, иной раз словно в волшебном фонаре живешь, до того непонятно...

— Не мешкай, Паша, — сказал Редкозубов. — Вечер уж не длинен, а нас ведь пятеро. Козыряй насколько можешь!

— Вот и этот сейчас нагородит врак, — подзудил меня Иона, и эклегидон его распахнулся, обнажая белое колено. Это обозначало величайшую степень благодушия его хозяина.

— Подкрепитесь, — сказал Манюкин, поднося мне.

— По прошлому году случилось, в именины мои. Поразительный случай, как я с одним в шашки играл и, обыграв, три раза в уголок его засадил. Просыпаюсь ночью...

— Постой, — прервал Буслов и прислушался. — Постой! — И я видел по тому, как сбегала с лица его багровая краска, что он узнал нечто необычное и в растерянности слушал шум из кухни и слабые голоса. — Ну, вали теперь!

— Итак, просыпаюсь ночью... — возобновил было я.

— Погоди, давай выпьем сперва, — снова оборвал Буслов, направляясь к столу.

— Вам бы довольно! — нерешительно пискнул Манюкин.

— Вали-вали... рассказывай теперь! — прикрикнул Буслов, залпом опустошая кружку унтиловки. Потом он еще налил и еще выпил. То был большой емкости человек, но и его границы были уже прейдены.

Потом он стоял, шевеля губами, и я не упустил из внимания хмельной задумчивости раскосившегося его взгляда. Он как бы считал до десяти, но сбивался, и сердился, и принимался сызнова, и опять сбивался, и каждый раз дергал лицом. Лампа горела буйно и ровно. Духота усилилась. Бусловский лоб блестел испариной.

— Просыпаюсь ночью, — в третий раз начал я, зорко наблюдая за Бусловым. — Просыпаюсь... — Я нарочно медлил, стремясь ошеломить друзей. — Проснулся ночью и чиркнул спичку на часы посмотреть, много ли еще ночи осталось. И тут же не то чтобы напугался, а звук у меня из горла вылился как-то сам собой. Сидит на стуле возле стола моего скелет, в мужских ботиках. Самый такой настоящий, махровый даже... вместо глаз дырочки, но платочком почему-то обвязан и бантик поверх черепушечки торчит...

— Тут уж спичка потухнуть должна, — заметил тоном знатока Манюкин.

— Она и потухла, — любезно вильнул я. — Но она с холоду потухла, смертный холод прямо был, от неизвестной причины. Я тогда свечечку зажег... Огарочек валялся, я его и зажег. И сел на кровать. «Ты что?» — спрашиваю. А он не то чтобы смеется, потому что кость этому не подвержена, а как бы пальчиком в стол барабанит. «Давай, — говорит, — сыграем в шашки». — «Так ведь ты ж, — говорю, — покойник!» А он: «Ну что ж, — гнусит, — это ничего не значит». Меня даже в пот бросило. «Так позволь, — отвечаю, — как же это ничего не значит, раз ты костяной? Ты скорей имеешь сходство с пуговицей, нежели с живым человеком!» А сам глазами по комнате рыскаю, уж не жулик ли, не бритву ли пришел украсть. У меня бритва была удивительная...

— У Ланского, у Гришки, — быстро вбежал в речь мою Манюкин, — бритва была необычайной востроты... лезвия не видно! И в руки не брал, а уж порезался! Он ее в берлинский политехникум подарил...

— Не перебивайте меня. Вы когда врали, я молчал ведь, — озлился я. — Нет, думаю, не жулик, уж больно костюм несоответственный, сквозной весь! «Нет, — говорю, — я с тобой играть не согласен, мне с тобой играть впустую. Ты ж голый весь! с тебя и взять нечего!» — «Ботики», — говорит. «А к шуту ли они мне, дырявые твои ботики, ежели я...»

— Стоп! — крикнул вдруг осатанелый Буслов и бацнул кулаком в стол.

Все разом повскакали с мест, пугаясь остановившегося его взора, все, кроме меня. Угадывая, что хмель кинет его в какую-нибудь любопытную несообразность, я остановил бег рассказа моего безо всякой обиды.

— Баста, — повторил он, но уже другим голосом и молча глядел в точку, где средоточилась, видимо, его идея. — Ну, теперь моя очередь, — сказал он с тяжкой иронией, относившейся неизвестно к чему. Все лицо его сдвигалось и раздвигалось, как гуттаперчевое, каждая точка его лица бегала как полоумная, приковывая к себе испуганное вниманье наше.

— Может, вот и выпить теперь? — предложил я, теряясь в догадках.

Никто не поддержал меня.

— Постойте, в голову ударило... я счас, — топтался Буслов, все еще стоя у стола. Он не глядел на нас, точно нас и не было в той же комнате. — Вот я совру так уж совру... и без скелетов жарко станет. — Он попробовал засмеяться, и, право же, то было неприятнее крика. — Ну вот... Жил-был поп в столице. Большой, и говорили, что красивый. И сильный был... сила иной раз спирала грудь, и он как бы задыхался. Тогда он лез на рожон и на все подымал руку. С католическим пошибом был: в Бога верил и ходил украдкой на футбол глядеть... — Виктор Григорьич говорил отрывисто, и между каждыми двумя словами можно было сосчитать до трех. — Раз он выходит от Исакия после митрополичьей службы... ну, давка. Прут, рожи потные, даже скрип стоит такой. И видит: барышню в дверях сдавили. До слез, а такая тоненькая. — Бусловский голос булькал, точно последнее выливалось из огромной бутылки. Громкость его голоса становилась подозрительной, но те не останавливали его из боязни,

а я из любознательности: хмель мало вредит моему рассудку. — Он пробрался к ней и, одним словом, вытащил. Такая тоненькая... Она говорит: «Мерси», — а он ей ответил: «Са фе рьян». Тут и познакомились, а потом и поженились. Ну, Манюкин, нравится тебе начало? — Буслов, усмехаясь, пригнул подбородок к груди.

— Не-ет, ничего... — осторожно согласился Манюкин, поджимая губы. — Я бы только... тут еще ввернул, что он там ее из пожара вынес, на плечах все волосы обгорели... а все-таки она его этово... полюбила. И потом, например, будто в нее Альфонс Десятый был влюблен, приехавший инкогнито... Привлекательнее так-то!

Манюкин принялся развивать скорость, а Буслов опустошил тем временем Ионину кружку, стоявшую неподалеку. Он стоял, прислушиваясь, но только не к манюкинскому вранью. И вдруг я понял, что все мы только дураки, что игра ведется помимо нас, а мы только дрянные фигуранты, микрофоны, в которые вот записывают слова о чужой жизни. Прищурившись от обиды, я накренился вперед, как и все, впрочем, словно предстояло нам взять какой-то необыкновенный барьер.

— ...А жил человек в Италии, который любил делать скрипки, — продолжал Буслов, издеваясь над чем-то, неизвестным мне. — Амати его звали, Андрей Амати, понимаете. Он делал скрипки тонкие, чистого и сладкого звука. Думали даже некоторые, что он колдун, а он не колдун, а просто любил... Вы мелочь, разве можете вы понимать! — так ковырял нас Буслов, и я уже видел, что он совсем пьян.

— Нет уж, разрешите, — обидчиво заерзал Радофиникин, натуго запахиваясь в эклегидон. — И мы можем понимать и кверху подниматься можем! Амати!.. А то еще вот Дарвин за границей был, с него и началось. А то еще Вольтер-Скот был... скоту себя уподобил...

— Батюшка, да замолчите же! — шептал сбоку Манюкин. — Вы же видите, человек по краешку ходит!

— ...Так вот, та, о которой говорю, она была как скрипка Андрея Амати, чистого звука. И поп ее любил больше Бога. А звали ее Раиса. Пашка, повтори!..

— Раиса Сергевна, — вдумчиво и тихо повторил я, улыбаясь единственно лбом моим.

— Так... А попа все кидала его сила. Он был дурак, в истину верил. А где она? Через две тысячи лет все тот же вопрос задаю: где она? И какая сволочь посмеет мне сказать, что он знает истину?.. Ну а тут одну дрянь убили, отъевшуюся. Поп взыграл, отслужил панихиду... отслужил панихиду... отслужил... — Буслов, видимо, терял мысль. — Отслужил, и его расстригли. Тогда он пошел объясняться к архиерею, который слыл там человеком утопической доброты. В беседе, говоря о православном смирении, архиерей сказал ему: «Если вселенские патриархи прикажут сжечь Евангелие — сожгу!» — Буслов почти плакал, гудя голосом. Отчего-то выходило такое впечатление, будто огромным веселком мешали тягучее, сырое, непокорное и клейкое. — Тогда поп плюнул ему в бороду и сказал: «Вытри... еще хочу раз плюнуть!» Тот вытер, потому что под смирением прятал холуйство и ничтожество свое. Но поп не захотел плюнуть еще раз и ушел...

Повествуя со чрезмерным пылом о не совсем словесном поединке своем с утопическим архиереем, Буслов ударил кулаком в воздух, и тогда произошла эта маленькая глупость, которая, я считаю, придала большую остроту некоторым положениям впоследствии. Буслов потерял равновесие и, падая на стол, сильно толкнул рукой в край блюда. Блюдо резко приподнялось, и жидкое, бывшее на нем, плеснулось в наклоненное бусловское лицо. В следующую минуту мы устремились к нему, и я в числе прочих, чтоб помочь встать, но он не допустил нас до себя. Небрежно обмахнув с бороды и лица сметанную подливку, медленно скапывавшую на его поддевку, он продолжал нелепый и потрясающий рассказ свой про невзгоды буйного попа.

— Тогда попа сослали... даже не в монастырь, а в дыру... вроде как в гнилом зубе. — Он не досказал мысли; сила перекинула его дальше, лицо же его выразило тысячу мимолетных ощущений. — Ну, скрипка поехала с ним. Дурак думал, что он только и есть единственный смычок, который может извлекать из нее звуки. Звуки! Поняли? Редкозубов, повтори!

— Звуки... извлекать... — угрюмо, почти с неприязнью повторил тот.

— Ну вот! Сперва все ладно шло. Она все пекла пирожки, играла на пианино, целовала попа. А поп колол дрова, выбирая покряжистее, и славил паршивое небо, что висело над той червоточиной.

— Чтой-то он ровно по книге читает? — спросил у меня шепотом Иона, но я молча показал ему кулак, и он стих.

— ...И видел уж, что Унтиловск ей не по плечу, но не благодарить же ему было, не показывать же, что вот ты, мол, святая, крест несешь, а я вот картуз таскаю на каторжной голове! Я молчал... Пашка, скажи, почему я молчал?

— Что ж, дело простое, — отвечал я, конфузясь, потому что догадывался. — Говорить ей об этом значило подвиг весь ее приуменьшать и себе ее приравнивать.

— Молодец! — крикнул Буслов и продолжал пугать нас звуками своего голоса: — А пирожки она пекла с творогом и потом еще с этим вот... ну вот... из коровы достают...

— С ливером... — подсказал Иона. — С ливером это хорошо!

— Да, с ливером. И все слабей играла скрипка, словно в сырости повисела, все глуше...

— Язык-то, язык-то... совсем поэтический! — нарочито громко восхитился я, имея в виду стащить вниз с вершин пьяного его пафоса.

— И тут произошло, — говорил Буслов и как будто жевал. — Пришел один за книжкой и остался есть пирожки. Фамилия Клюкен, Александр Гугович, на жука похож, из эсеров. Этаким шлепой прикидывался, а продувной, просто так себе, мерзавчик с маленькой буквы... мы даже подружились с ним! Мечтал весь мир перевернуть и уже пробовал подсунуть под него свою соломинку. Мы стали его звать Гугой и пирожки ели с тех пор втроем. Я молчал, даже нарочно уходил колоть дрова, оставляя их одних.

— Но ведь это вы же правду рассказываете! — в ужасе вскричал Манюкин.

Буслов же не внял жалостному его крику.

— И вот раз, под вечер, снег шел. А она сидела у меня на коленях. Я нянчил ее, делал ей агу и козу-дерезу. Вдруг

она сказала мне чистыми словами: «Знаешь, Витя, какие чудные сны бывают...» — и покраснела. Я не добивался, а баюкал этак ее... теми же словами, которыми ты, Пашка, начал наступление на меня: «Вот снег идет, легкий, пушистый... ночи длинные... засыпет снегом». Она не слушала и вдруг сказала: «Знаешь, мне приснилось, будто я с Гугой...» Она не досказала и глядела туда же, в окно, этакими счастливыми, чистыми глазами. А я увидел, что скрипка моя наполнилась прежним своим, счастливым звуком... и я ощутил такую тоненькую боль в себе. Я спросил: «И что же, приятно тебе было?» — «Представь себе, да...» — ответила она как-то совсем просто и пошла к пианино играть...

Я стал ощущать мелкую дрожь от бусловского рассказа. Все поры и скважинки существа моего стали наливаться ощущением незримого присутствия Раисы Сергевны. Одно мгновение мне показалось, что я уже знаю все, и я больно зажмурил глаза, боясь рассеять свою догадку. Поэтому я и не заметил, как Буслов перешел к пианино и сел там, косясь на пыльные клавиши.

— Она потом еще с недельку попекла пирожки...

— С ливером, — злобно вставил я, и мурашки злого холода побежали по мне, а тело зудело в предчувствии каких-то напряженных действий.

— С ливером, — упавшим голосом согласился Буслов. — Все пекла пирожки и вдруг забастовала. А Клюкен все ходил разговаривать, как он приустроит мир. Жук, ублюдок жука, гомункул! Такие в мебели и дровах живут, с усами... И все выходило у него, что главное на свете — колбаса и отрезы на брюки. Этакое развесистое счастье сулил он миру! А раз поздно было, и я ждал, когда он уйдет, чтоб идти спать, но он не уходил. Я сидел вот так же за пианино и подбирал одним пальцем чижика. А они там за моей спиной... И тут словно молоко мне в глаза хлестнуло. Я обернулся к ним, а сам...

Буслов со всего маху, с неистовством пьяного человека, с силой, достаточной, чтоб убить, хлестнул кулаком по клавишам, по пыли, которую копил все эти годы. Высоким рвущимся шумом ответствовало Буслову пианино.

— Послушайте же, вы, Виктор Григорьич! — заплетающимся языком закричал Илья Петрович, подбегая

к нему и глядя на вдавившиеся клавиши. — Разве можно так со струной... ведь она ж порвется!!

— Не губите понапрасну душу! — воскликнул и Радофиникин, не решаясь, впрочем, подойти.

Манюкин протягивал кружку с брагой, но залить ею начинающееся извержение вулкана, который долгое время все мы считали потухшим, ему не удалось. Буслов справился, Манюкин отступил. Я же столь поглотился созерцанием бусловской красоты, что совершенно упустил появление бусловской няньки. Я обратил на нее внимание и, разумеется, подбежал ближе разглядеть только тогда, когда она заговорила.

— Витечка, — сказала она в дверях, мелко и виновато моргая еще не остывшими от слез глазами. — Витечка... — Виновато закусив дрожащие губы, старуха оглянулась на дверь. — Витечка... Рая ведь приехала! — умоляюще произнесла она наконец, уже не стыдясь нас.

Теми же глазами, вздрагивая в плечах, точно подкатывали туда приступы злого хохота, Буслов глядел куда-то за няньку, куда глядели и мы.

— Набуздался! — со злой укоризной и всхлипывая сказала нянька и, уже не скрываясь, закрыла себе лицо концом драного оренбургского платка. — Раечка, погляди, каков стал. Поди сюда, Раечка!..

За неделю лишь до нелепого происшествия сего передавал мне Илья, как группа мужиков соседнего уезда нашла в поле неразорвавшийся шестидюймовик, грозную памятку по Колчаке. Полные глухой ненависти вообще к Гражданской войне, они долго глядели на полуисточенную ржой поверхность снаряда, словно старались проникнуть в зловещий смысл молчания его. Наконец один сказал, пыхтя и обминая бородищу в кулаке и прищуривая глаза: «У, змея спящая. Об шошу ее!» И все повторили злым криком: «Об шошу, об шошу ее». Шоссе, кстати, проходило невдалеке. Вытащив туда снаряд, бородачи раскачали его и кинули носом в щебень, почти под самих себя. Это рассказал Редкозубову один уцелевший чудом, привозивший муку в унтиловскую потребиловку.

Мне вспомнилась эта история потому, что она нелепым концом своим уподобляется в моих представлениях с появлением Раисы Сергевны. Образ неожиданно разо-

рвавшегося снаряда в достаточной мере отображает всю степень растерянного недоуменья нашего. Начать с того, что Манюкин, забыв всякие светские приличия, чихнул или что-то в этом роде, причем усугубил проступок свой знаменательным заявлением:

— Извиняюсь... сорвалось.

О. Иона, напротив, выказал даже некоторое воодушевление, узнав в вошедшей ту самую свою постоялицу, о которой намекал уже в начале вечера. Я видел, как целый рой не осмысленных еще догадок суматошно пробежал по его лицу. Последняя омаслила ему глаза и умилила всю его наружность. С распахнутыми руками и твердым шажком, словно и не был причастен к употребленью сокрушительного пойла, он подбежал к ночной гостье.

— Голубушка, солнце мое! — взмахнул он руками, и тотчас же эклегидон его непристойно распахнулся. — А мы тут чревоугодничаем...

— Запахните рясу, отец Иона, — подсказал Манюкин со стороны.

— Детка моя, да как же вы порешились? Как вас собаки-то не загрызли. Полно у нас собак, полна коробочка! Иные по семь штук держат! — Я даже и не предполагал в Ионе такой словесной резвости. — Намедни старуху одну среди бела дня до смерти заели! Как порешились-то вы? Вот праздник счастья для нас! Ах, да что ж это я, садитесь, петушинка вы моя. Дозвольте шубку...

— Смотрите, жене скажу, — вставил я. — Это уж вам не обои, отец Иона!

— Кш ты, — пошипел Иона, пробуя устрашить меня глазами. — Ах, а я не знакомлю вас... сейчас, сейчас. Это вот Манюкин, специалист по женским болезням. А это вот Паша Сухоткин, у которого Пушкин Онегина украл, знакомьтесь. А это македонский буян Виктор Григорьич, воинствующий! Не глядите на него, солнце мое, не в благообразии...

— Перестаньте, Радофиникин, — сказал я, несколько вылезая вперед. Непристойный вы человек!..

— А это вот Редкозубов, счастливый женишок, и потом, баня еще у него!

Илья как будто только и ждал этого. Он выступил вперед и сделал вроде танцевального балансе правой

ногой, причем очень выразительно выгнул правую же руку.

— Редкозубов из Курска! — сказал он с апокалипсическим спокойствием. — Дед еще был сослан мой... за избиение городничего.

Имея вкус к чудесным явлениям природы, я нарочито замедлил с описанием той, появление коей так уместно сопоставил с разрывом снаряда. Всячески изыскивая в памяти подробности того вечера, я не умею найти причин, почему Раисино лицо ошеломило всех нас в такой степени. Глядеть на нее — все равно что гладить какого-то необычайно пушистого зверька, какого еще не создавал фокус природы. Лицо ее было наделено чуть бесцветными и мучительными глазами, а впечатление пушистости создавалось тем серым и меховым, что намотано было вкруг шеи и спускалось на грудь. Впрочем, я больше смотрел ей на руки: меня поражала какая-то непрекращающаяся игра в них. Я понял, что выкину непременно какую-нибудь ерунду, но уже остановиться не мог.

Она глядела на Буслова, как глядят в степь, или в тундру, или в море, или в какую-нибудь бескрайность, расстилающуюся перед пришедшим издалека. Она глядела, точно отыскивала знакомые точки, где остановиться взгляду, и не находила. То была мертвая сцена, годная хотя бы и для театра. И каждый из нас с рабской покорностью повторял движения лица бусловской жены. Являлось даже опасение, что кто-нибудь из нас не выдержит и закричит. Полный самопожертвования, я выдвинулся вперед, приготовив на языке нечто сумбурное. В ту же минуту Буслов встал и пошел к жене, не шатаясь, к моему разочарованию, ибо больше всего люблю эффект в событиях жизни.

Он подошел вплотную и глядел взором тяжким и безразличным. Опухший, со сметанными потеками в бровях и в бороде, он был невообразимо жалок и вместе с тем непобедимо силен своею жалкостью. Тут у него сорвалось нечаянное движение, почти необъяснимое для меня: он протянул руку и погладил ее мех несгибающейся рукой. Только теперь я понял, до какой степени презирал он всех нас, если допускал подобную интимность в нашем

присутствии. Они стояли друг перед другом, и тоненькая боль, о которой говорил Буслов, коснулась висков моих, когда я увидел, как она, легонько отпихивая его руку от себя, благодарно опустила глаза. Впрочем, каждый пояснил это движение по-своему. Пелагея Лукьяновна, доселе молчавшая с опущенной головой, решила, что примирение уже состоялось.

— А мы уж совсем старички стали, — сказала она Раисе заискивающе и хотела даже взять ее руку, но та пугливо не дала. — И собачка старенькая! — кивнула она на пуделя, который подозрительно обнюхивал полы гостьиной шубки.

— Ты бы помыл его хоть раз! — выступил я, чтоб отвлечь гостьино внимание на себя, покуда Буслов оправится. — А у них ведь от этого чума бывает.

— А вот Диоген жил в бочке и не мылся совсем, — удивительно глупо вырвалось у Манюкина. — Не из тех ли соображений, что и у меня? — И умер, съев живую каракатицу! — докончил он почти с отчаяньем.

Она вряд ли что поняла из сказанного им.

— Это ты для меня все рассказывал? — тихо спросила она. — Я слышала...

Буслов был смят; даже больше, он как-то отмякнул до полного упадка сил, до некоторого самоуничижения в своих поступках. Он вдруг заговорил быстрыми, бессвязными словами, неуловимыми для записания. Он объявил, впрочем, что вот сегодня справляют редкозубовский мальчишник, что непьющих в Унтиловске почитают за людей опасных и вредных, что она непременно должна выпить за благополучный исход редкозубовского сумасшествия.

— Так ведь я, может, и не женюсь еще! — лягнулся вдруг Илья, и обычно землистые уши его накалились до ярчайшей пунцовости.

— Веди себя прилично, Илья. Ты пьян, но не показывай виду! — сказал я и не без скверного удивленья приметил, что дерзость эту мне внушила самая противоестественная ревность.

Впрочем, не вдаваясь в остальные подробности неудавшегося торжества, я поспешу указать, почему столь многими словами оттягивал я конец этой главы. Причина видна будет из последних строк, причина —

не только стыд мой, но и торжество мое. Буслов сидел против жены своей и украдкой старался вытереть с себя следы недавнего происшествия. Эшафот его, употребляя уже знакомое сравнение, был не менее жуток того моего, полузабытого, когда любовь и мерзость соединились во мне, под ее окном.

В этом-то вот месте и начал Манюкин свой возмутительный тост, разрешивший тяжкие сомнения, мучившие и меня, и Буслова. Выгнувшись в талии почти с придворным лукавством, он приступил к таким словам.

— Виноват, — защебетал он, приятно воздымая места, где обычно бывают брови. — Возьмите, пожалуйста, кружки ваши. Величайшая откровенность, какая только доступна человеческому существу... искренность, обуславливаемая подлинным прекраснодушием, всегда являлись главным украшением истинного славянина. Раскройте нашу историю и возьмите наугад... но я оставляю это, ибо не в этом речь.

— Не икай... — вставил Илья: очки ему уже не помогали.

— Удел высочайших душ, переполняемых чувствами и потому раскрывающих и карман, и душу, есть наш удел! Потому-то и пожирали нас разнообразные волки на всем историческом протяжении этого... нашей истории. О, славянин двадцатого века Виктор...

— Одерни его, ишь завез! — попросил я Илью, но он был мало способен теперь понимать человеческую речь.

— ...Виктор Буслов, мы любим и ласкаем тебя! — Находясь рядом с Бусловым, он попытался положить руку ему на плечо, но своевременно одумался и не положил. — Только что мы видели кипящее море твоих страстей. Но это все не важно, а важно иное. Супруга Виктора Григорьича вернулась к покинутому, разрываемая поздним, но плодотворным раскаянием на части. То была ранняя пора, когда бушует ветреная младость, по вещему слову поэта. И разве плохо, что она бушует? Бушуй, бушуй, младость, бушуй. И незрелые плоды твои слаще зрелых плодов осени. Бушуй, хоть и ведет тебя порой темное крыло греха. Но непорочная-то любовь всегда непрочная, а с изъянцем покрепче! И вот я припоминаю величественный случай моей юности.

Васька Пылеев вином хвастался. В моих, говорит, подвалах...

Только здесь Раиса Сергевна, бледная и растерянная, поднялась из-за стола и отставила свою кружку.

— Простите, — проговорила она с жалкой улыбкой. — Мне кажется, что вы ошиблись относительно причин моего приезда в Унтиловск. Я совсем... совсем... — Она искала слово и нетерпеливым ноготком царапала скатерть. — Совсем не значит, что я вернулась к Виктору Григорьичу. Я приехала с мужем, который эсер... ну, вы понимаете. А пришла я сюда, — она передохнула и распустила душный мех, — пришла помириться с Витей. Он хороший, и я, мне кажется, не совсем плохая. И еще... — Она заметно путалась в изображении целей своего прихода, но об этом я вспомнил только впоследствии. — И, кроме того, мне было любопытно, в чем каюсь совершенно открыто, почему... почему Витя не уехал отсюда в революцию. Я ему посылала письма...

Обернувшись влево, я увидел, что бусловские плечи прыгали. Потрясенные, мы стояли вкруг стола, один только он сидел. И тогда спазма схватила мне грудь; что-то сорвало меня с места. Движимый прекраснейшими чувствами, я подбежал к Буслову и обнял его за плечи.

— Виктору Григорьичу незачем уезжать из Унтиловска, — сказал я твердо, глядя на Раису с уничтожающей злобой. — Ему и здесь не пыльно! А относительно писем ваших, так, вероятно, вы без марок посылали их! Почту разбираю я, потому что я служу на почте, и писем на его имя не приходило!

— Нет, я с марками... — слабо сказала она.

Она глядела на меня так, что я понял: необходимо было совершить акт какой-то героической решимости, чтоб придать себе хоть какое-нибудь значение в ее глазах. Все клокотало внутри меня и как бы выстраивалось по ранжиру. Я обнял еще раз Буслова и сказал ему с возможной убедительностью, гладя его по голове.

— Виктор, — сказал я, — не плачь, а лучше иди спать. Ты устал, и, кроме того, ты выпил лишнее. Я всегда с тобой, верь мне. Я не покину тебя, хоть ты и пьян теперь...

Вот тут-то и получился этот скандал, о котором вспоминаю с содроганьем и говорю ради указания,

что и мне свойственно правдивое освещение событий. Виктор Григорьич привстал и с вытаращенными глазами ударил меня куда-то... я не помню куда, но кажется, что между щекой и носом... Последнее, что я услышал, был звенящий крик Раисы Сергевны и сиплое дыханье Редкозубова, который бросился спасать меня от Буслова, уже навалившегося мне на грудь. Я лежал среди опрокинутых стульев в стыде и очевидном ничтожестве и не хотел подыматься.

— Так это вы, солнце мое, и доводитесь ему супругой? — воскликнул тогда Радофиникин тоном величайшего изумления. Он это понял только теперь.

Какие тупицы обитают землю, а иногда удостаиваются и сана. Со злым и восторженным вдохновеньем, достойным лучшего употребления, скрипит перо мое о жгучих и дрянных подробностях унтиловского существования. Сам я, сидя на шатком табурете и почти приплюскивая нос к бумаге, криво дивлюсь, что совсем не такими выходят портреты друзей моих, чем я их задумал вначале, чем они в действительности. Лучше не верить мне, когда я превозношу их и когда я клеветнически унижаю их цену. Они ни то ни другое; может быть, они-то и есть цвет земной материи, не искалеченный цивилизацией или чем похуже. Они-то и есть то море, по которому плывут ладьи великих и к восходящим солнцам возвеличения своего, и на острые камни падений. И не их самих, а земную их крепость и мудрость, столь своеобразные, превозношу я ныне и даже тогда, когда она отзывает заведомой глупостью. Однако точка. Имея в виду, что рукопись моя, если не изведут ее на обертку в унтиловской потребиловке, может попасть к индивиду, по природе не склонному к размышлениям о сущности жизни, о людской дружбе, о возможностях, заключенных в человеке, и о многих других немаловажных пустяках, перехожу к действительности.

Еще не просыпаясь, я ощутил свет в окнах, отраженный и усиленный выпавшим снегом. Ленясь открыть глаза, я потянулся, отдаваясь чувству какой-то подщелкнутой бодрости. Высунув руку из-под того теплого, что лежало поверх меня, я намеревался взять табак и бумагу с табурета, но рука моя не нашарила ничего и возврати-

лась в теплоту. Неожиданная боязнь быть застигнутым врасплох охватила меня. Я раскрыл глаза и капельку растерялся.

Был уже полный день, в тесные окна сочилась белесая и скудная пасмурь. Я сидел на полу у Буслова, а сам он дремал на своем келькшозе, запрокинув неподвижное и бледное лицо и выставившись вперед беззащитным горлом. Я долго разглядывал его, дивясь устройству человека, пока не утихли в памяти моей воспрянувшие было события прошлого вечера. Вдруг мне стало отчего-то ужасно обидно, я кашлянул каким-то тонким и продолговатым звуком, и тут Буслов открыл глаза.

— А, ты проснулся уже, — сказал он, растирая ладонями лицо.

— Где я? — спросилось у меня само собою, и мне не понравилась дрянная томность моего голоса. — Где я и что я делаю?

— Да что с тобой? — подивился Буслов. — Ты сидишь на тулупе и находишься у меня.

— Я знаю, что у тебя, — полузакрыл я глаза, — но я не помню, кто ты.

Это случайное «ты», сорвавшееся с языка, я решил удержать в разговоре как первое завоевание мое.

— Я Виктор Буслов. Чего ты ломаешься? — и он встал.

— Я не ломаюсь, — отвечал я холодно, но решил переменить тон. — А просто у меня ослабела память. Скажи мне, что это случилось вчера?

Он поглядел на меня вопросительно, но я сделал вялый взгляд, и он поверил.

— Да ничего не случилось, — нехотя сказал он, — так, паршивая история. Ну, пили и врали наперебой...

— Да-да! — вскричал я. — Помню... я злоупотребил вином и свалился под стол. А ведь знаешь, мне нельзя пить. Это разрушает меня и приносит мне медленную смерть. И потому я видел ужасно жестокий сон, мне приснилось... какие-то белеклические блюки снились сперва...

— Ты посиди, я за чаем схожу. Чай прочищает голову, — перебил он мой поток и ушел из комнаты.

Оставшись один, я огляделся. Скверный содом стоял в комнате. Между опрокинутыми стульями стояла

темная лужа разлитого пива, и в ней плавал трехкопеечный бон, заерзанный в чьем-то кармане до необычайной гнусности. Дым табачный отстоялся низкими пластами и прокис. Сильно дуло от окон, как будто острые ножи пропихивались в щели: унтиловская зима вступала в права. Уверившись в безопасности окружавшего меня молчания, я сбегал к пианино; вдавленные клавиши верхнего регистра и полусметенная рукавами пыль живо напомнили мне разрушительность бусловского взрыва. Осадок вчерашнего хмеля и неполная ночь сна ознобили меня, но мне было отчего-то хорошо, и мне не стыдно признаться в этом.

Я едва успел сесть обратно на пол и прикрыть ноги тулупом, как вошла Пелагея Лукьяновна.

— Прислал с тобой посидеть, — объявила она, поглядывая на меня с нехорошей остротой.

Я встал и расправил гримасами слежавшееся за ночь лицо, потом пересел на келькшоз. Снова бодрость охватила меня и мысли напружились, как мышцы, готовые к работе. Но я старался не думать, стараясь продлить приятнейшее ощущение бодрости. Четко встали в моем воображении все обстоятельства появления Раисы. Как это ни странно, так чувствует себя тот, кто, уйдя из острога, приходит на нежилую землю и влажными глазами смотрит на дикую ее прелесть. Мнятся ему тогда и веселые дымки будущего поселка, и скрипы сотен лопат, и говоры крепких людей, которые придут за ним. Он счастлив уже тем, что понимает бедность своего воображения, отягощенного памятью о безрадостных предыдущих днях. Не питая никаких особенных надежд на успех у Раисы Сергевны, ибо понимаю глупую никчемность и лица моего, и личности, я все же рад был ее приезду, как камню, который кинут в отстоявшуюся скуку нашу. Но были у меня и другие соображения...

Нянька сидела против меня и гладила Хвака, вылезшего из-под келькшоза.

— Послушайте, Пелагея Лукьяновна, — приступил я, чтоб только не задремать. — Вы эту собачку любите? — Она подняла ко мне сухое свое и маленькое лицо. — Собачку эту, говорю, обожаете вы или нет?

— Это Витечкина собачка, — строго сказала она, по-детски отстраняя Хвака от руки моей, протянутой погладить.

— А вот китайцы, как по-вашему, зачем их бог творил? Нужно им жить или нет?

Она ответила не сразу.

— Что ж, и они дышут, — подозрительно уклонилась она.

— А что, по-вашему, лучше... чтоб Хвак околел или десять китайцев утонули, а?

Она отпихнула собаку и долго глядела на меня, покачивая головой.

— Ишь ведь ты какой, — с непримиримой отчужденностью отрезала она и стала прибираться в комнате, не скрывая резких, негодующих движений, я же так и задремал, пока не пришел Буслов с чаем.

— Вот, пей! — протянул он мне кружку. — Я тебе вкладку положил.

— Виктор, я только что думал о тебе, — сказал я, отхлебывая обжигающий чай. — Ух, какого ты горячего нацедил! Все прежнее, что ты сам считал забытым, нахлынуло на тебя, и ты борешься.

— Говори-говори... очень глубоко! — засмеялся Буслов.

— Меня всегда очень злит, что ты или молчишь, или смеешься. Я не знаю твоих карт и оттого теряюсь. Ты смеешься, считая меня за ничто с тремя нолями... а вместе с тем ты боишься меня, — прибавил я осторожно.

— Просто я не замечал тебя до вчерашнего вечера, а вчера ты был не в меру назойлив... но я ничего, вообще говоря, не имею против тебя! — прибавил он с заметной поспешностью, и я заметил это.

— Да, но ведь не будешь же ты оспаривать моего влияния на тебя, — засмеялся я, радуясь откровенному разговору.

— Меня Унтиловск споил и мое чувство, о котором я не желаю тебе говорить, — определил Буслов.

— Но ведь Унтиловск — это я, это все мы, которые пришли к тебе и которые выедают из тебя нутро! Вот, откровенностью я плачу за твою вчерашнюю неосторожность. Мы едим тебя не потому только, что хорошего

приятно есть, а тут, так сказать, диффузия, понимаешь, обмен веществ! Унтиловск это любит — унижать и возвеличивать, выворачивать кость и опять вправлять, разрушать и пытаться сделать заново. И вот ты борешься, а ты еще не познал Унтиловска до конца...

Пересев к столику в угол, я попросил у Буслова клочок бумаги, и он дал. Тут же, часто поглядывая на него, я написал краткое, но явственное заявление в место службы Буслова. В заявлении этом, вдоволь выказав мои прекраснейшие намерения, я просил, во-первых, отстранить Буслова, как бывшего священника, от должности обучающего тех, которые впоследствии...

— Что это ты на меня поглядываешь? — усмехался Буслов.

— Для вдохновения! — ответил я, продолжая писать.

...Будут поворачивать колесо истории. Кроме того, я просил не предавать моего имени гласности, так как эту свою заслугу я не ставлю себе в счет. В молниеносном действии моей бумаги я не сомневался. Кстати сказать, довольно любопытные мысли гнездились во мне в то утро. Я думал: какая увертливая и угодливая расцвела бы на земле подлость, если бы принцип доноса провести одновременно во всех странах в законодательном порядке. Крохотное уменье вовремя подглядеть, взвесить и сопоставить могло бы преобразовать всю человеческую расу. Обширнейшее поле для научных наблюдений! Трехлетний ребенок превзойдет в качествах деда, и изощренный отрок будет страшен, как само зло. Как легко будут рождаться прекраснейшие слова на шершавых острых языках! Весело представить нам, унтиловцам, как на последней точке существования земли последний человек будет холуйничать и вывертываться наизнанку перед своею собственной собакой. Впрочем, это только так, игра взволнованного воображения. И не до таких еще столпов может дойти хваленый человеческий разум!

Запечатав заявление, я наклеил марку, одну из тех, что по служебной привычке постоянно имею в кармане. При этом я еле удержался от желания попросить Буслова снести это письмо на почту. «Благоразумие, Паша, благоразумие!» — сказал я себе и положил письмо в боковой карман.

— Ну, как ты теперь себя чувствуешь? — осведомился Буслов, глядя на меня как-то зевающе.

— Ничего, — значительно отвечал я. — В спине немножко сверлит.

Мы перемолчали минутку.

— Впусти собаку, — нарушил я молчание. — Ишь царапается!

Он впустил.

— Слушай, Виктор, — озабоченно и в который уже раз приступил я. — У меня есть основания полагать, что ты скоро лишишься места. Сегодня у нас тридцатое. Ну, я думаю, что к среде ты освободишься совсем. Ты будешь нуждаться, разумеется, и я предлагаю тебе дружескую помощь. Чего нам скрываться! — Я подошел к нему вплотную и улыбался в глаза. — Нам скрываться нечего!

— Буслова на содержанье принять хочешь? Ты? Меня? — он хохотал с исступленьем человека, который не боится ничего. — Ах ты, Мефистофель унтиловский!.. гороховая ерунда!..

— Я не хотел тебя обидеть, — сказал я оскорбленно, — а если не хочешь брать мои деньги, я тебя не неволю!

Я отправился домой и просумерничал весь вечер у окна, глядя на падающий снег. Уже смерклось совсем, а я все сидел, пока с наступлением ночи не запотели окна. И конечно, я думал о том новом, что ввалилось негаданно в наше унтиловское бытие. В непонятном оцепененье я подошел к окну и ногтем мизинца написал некоторое слово на затуманенной его поверхности. Но вдруг бешенство охватило меня. Мне причудилось, что кто-то из грязного уголка, куда я бросаю окурки, подхихикивает над моим сантиментом, который, может быть, был самое лучшее, что я сделал в жизни. Благодушия, с которого начался тот день, как не бывало. Вошедшую зачем-то Капукарину я схватил за руку и подтащил к окну.

— Вы мерзкая старуха! — кричал я, захлебываясь грубостью и уравновешивая ею невольную мою мечтательность. — Я вам квадрильон раз говорил, чтоб вы не смели сушить белье в квартире! Видите... видите... — И я мазал ее пальцем по стеклу еще и еще, вытирая со стекла написанное имя. — Я вам объяснял ведь, что сырость вредна мне, вредна, вредна!..

— Чего ты меня лаешь-то, я тебе не мать, — грубо отвечала Капукарина, уже привыкнув к моим нападкам. — Это мать смолчит, а я вот так тебя отшлепаю, что...

Сновидения в ту ночь я объясняю исключительно ухудшением пищеварения. Мне слышалось, будто говорили два голоса. Один произносил какие-то имена, а другой отвечал с сердитым скептицизмом: «Это что! Это все белеклические блюки!»

Пропускаемые мною дни ничем не отличаются от предыдущих. Правда, удавился в соседнем доме сапожник, но значительность этого события все же можно оспаривать. Я заходил туда и мог наблюдать воочию, до какой степени чужая смерть повышает людскую жизнерадостность. Ходил я и на службу в эти дни, но ничего, что могло бы дать повод к размышлениям, не нашел ни в разговорах, ни в письмах. Впрочем, тут как-то в среду, когда мы банничали вне очереди, одна новость всколыхнула мое воображение: Редкозубов собирается венчаться в церкви, но для соблюдения служебных приличий церковь будет украшена красными флагами. Мне этот факт бесконечно понравился, так как подтверждал мою теорию насчет параллелограмма сил. Вместе с тем я немножко и грустил по Илье. Я представил себе с невыразимой ясностью, с каким самодовольным видом выскребает Илья грязь из своей берлоги, как отсчитывает Ларион Пресловутый перины, самовары, шубы и царские рубли, Агничкино приданое, прикидывая на глазок различные способы оседлания зятя. Милый Илья, думал я с наморщенным лбом, вот сплетет тебе Агничка сытное гнездышко, и будешь ты с чувством остервенелой тоски дометывать замусленные карты жизни своей между потребиловкой, перинкой и банькой!..

Так, размышляя об этом вполума, шел я домой со службы, близоруко щурясь и жмурясь от снежной синевы. Снег летел и летел, а я шел и шел. И вдруг, поскользнувшись на покатости, отчаянно взмахнул руками. Я ушибся бы, если бы рука моя не вцепилась в воротник шубы, шедшей навстречу мне. Таким образом, мы полетели вместе с высоких мостков прямо в сугроб, причем счастливо вышло как-то, что я оказался сверху. Выбравшись кое-как из снега и отряхиваясь, мы стояли

друг против друга и пялились, превозмогая взаимное негодование.

— Очень сугробистое время! — сказал я вместо извиненья.

— Что-то лицо ваше приметно мне, — сказал человек, имевший в лице своем что-то от штопора. Присмотревшись, я даже поразился: он ужасно походил на меня, но когда я буду в старости.

— И очень возможно, потому что тесно у нас, — раскланялся я. — Когда в колоде всего пяток карт, так ни одну шестерку невозможно утерять из памяти.

Оба мы потерли уши и глупо продолжали стоять.

— Уж больно резвоньки вы, стариков подшибаете! — вкрадчиво сказал человек, и вдруг в лице его стал змеиться этот самый штопор. — А позвольте узнать, — спросил он, беря меня за рукав, — женаты вы или нет?

— Холост, — не успел я сообразить, нужно мне врать или нет.

— Необходимо жениться, тогда приобретете рассудительность!

— К чертовой матери! — вполне рассудительно отвечал я.

— Как? — нечаянный собеседник мой отступил.

— Поговорка у меня такая! — Затем, сделав ему реверанс с воздушным поцелуем, я пошел домой, приятно ощущая негодующие взоры моего остолбенелого встречного.

Странным образом дарил меня тот день сюрпризами. Дома я нашел записку от Ильи. Бестолковым языком и на листке оберточной бумаги приглашал он меня посетить его послезавтра вечером. «Пир на весь мир, пир, пир даю! — писал он четким бухгалтерским почерком. — Ввиду же некоторых дам выставлю всего один аршин на всю братию, так как, сам знаешь, нехорошо кавалеру напиваться при дамах до полного изблеву. Но не говори об этом никому, секрет, секрет!» Приподнятый тон записки подсказал мне, что вечер одарит меня новыми развлечениями.

В назначенное время я зашел было за Бусловым, но он уже ушел вместе с Хваком. Пришлось идти одному. И вот тут, идя по пустым, перекосившимся улицам, осве-

щаемым у нас лишь редким лунным блеском да разреженным светом из случайного окна, я размечтался, в чем опять открыто каюсь. Почти неугадываемая возможность встретить Раису Сергевну у Редкозубова возжигала меня. Я опустил воротник и вдыхал темный снежный воздух. Я почти знал, что мне удастся остаться с ней наедине. Я не знал еще слов, которые сымпровизирую я тогда, но именно нарочное незнание их сообщало мне радость. Каясь до конца, не умолчу и о последнем, за что кляну себя по сие время. На пустынном повороте, что у церковного пустыря, черт меня дернул произнести вслух и несколько раз некоторое ласковое слово, причем я придавал голосу ту бархатистость, которой, видимо, надеялся обольстить Раису. Даже больше, я закрыл при этом глаза и, когда открыл их, увидел возле себя... Семёнящего Манюкина. Он бежал бодрой рысцой, так как иначе он замерзнул бы в своей совсем не предводительской, а какой-то моржовой куртчонке.

— Кому это вы? — деловито спросил он, протягивая мне красную, опухшую от холода руку.

— Так, напеваю... — угрюмо ответил я и в самом деле попробовал изобразить небольшой кусочек мелодии.

— А, напеваете, — поверил деликатный Манюкин. — И я когда-то вот тоже пел! У меня, знаете, меццо-сопрано было. Черт его знает, от каких причин... и родители-то безголосые были... но великолепнейшее! Послушайте, Павел Григорьич, — схватил он меня прямо за бок. — Я никогда не рассказывал вам, как в меня принц Наполеон Мюрат влюбился. Я ведь из-за голоса вынужден был в женском платье ходить... И как он меня на руках через лужу переносил, не рассказывал.

— Сергей Аммоныч, — сухо отвечал я, не справляясь с досадой. — Мне надоело слушать эти ваши арии. То вы лошадей укрощаете, то вы всю Южную Америку покупаете, то вы специалист по женским болезням... Я сам вру не хуже вас, и поверьте, фантазии ваши не сводят меня с ума.

— Тогда пардон... — виновато сказал он, обрываясь, и уже бежал позади и поодаль меня.

Забегая несколько вперед, я оговорюсь. Несмотря на очевидное убожество свое и провал этого человека,

сохранялся в нем какой-то кусочек от подлинного человека. Конечно, предки его когда-то благодаря мужичкам, мужичкам и еще раз мужичкам строили культуру Российского государства, а сам он выполз уже из величия, так сказать, исторической перспективы и в убожестве вырождения своего измерял прадедовскую библиотеку на квадратные сажени... «Сто семнадцать квадратных сажен!» — восклицал он неоднократно, и Радофиникин, этот древоед с опресноком вместо лица, заключал в почтительном страхе: «Премудрость!» И вместе с тем умел Манюкин значительно молчать о своем горе, не искривляя позвоночника своего. Это он однажды крикнул нам в пьяном, правда, виде: «Жалейте человека! не пренебрегайте человеком! Духа человеческого не убивайте!» Дерзость его, таким образом, достойна всяческого примечания, хотя я и узнал потом, что слова эти он скрал у апостола Павла. Но хвалю и за повторение прекрасного, если своего нет.

Илья Редкозубов встретил нас с непонятным одушевлением, даже изобразил туш на губах. И было видно, что возбуждение его происходило не от вина. При появлении нашем он рассказывал что-то человеку не то чтоб скучноватому, а скорее убийственному; Илья шевелил длиннющими пальцами, а тот целился вилкой в грибки на столе.

— Ты знаешь... знаешь, — подлетел ко мне Илья. — Она будет!! Знаешь, я у ней с визитом был, — обжег он мне ухо дыханием. — Шикарнейшая женщина!..

— А в ухо-то зачем же плеваться, — приспустил я его немножко с высоты, придавая словам незначительность шутки. — Ты, Илья, сальный какой-то стал... — И я решительно отстранился от его объятий.

— Ну вот, уж и обиделся! — недоумевал он.

Почти одновременно пришел Радофиникин с супругой, рыхлой и маслянистой женщиной сороковатых лет. А следом ввалился и Буслов с Хваком, заходивший куда-то.

— Ну, помирились вы? — спросила Ионина супруга у Буслова, кивая на меня. — Мой-то говорил, будто щелканул ты его.

— Отец Иона вообще невоздержан на язык... — быстро ввернулся я, не глядя на покрасневшего Виктора

Григорьича. — А вот в отношениях молодых женщин, — тут бросил уничтожающий взгляд на сжавшегося Иону, — так я вам, матушка, доложу...

— В беззакониях зачат... соблазны обступают... — замямлил он, делая одной половиной лица приятную улыбку, а другой умолял меня молчать.

Я уже предвкушал целый фонтан горючей брани со стороны возгоревшейся матушки, даже уже почти слышал звуки некоторых шлепков, даже приготовился на защиту Ионы, говоря: «Что же вы его по щекам-то хлыщете! Как же он, битый-то, литургию преждеосвященных, например, совершать станет?» Однако в ту же минуту в дверях почти неслышно объявился мой уличный знакомый, которого я так ловко вывалял в снегу. Он вбежал, метнулся вперед и в сторону и, остановясь в трех шагах от двери, посуетил глазами вправо и влево. Сзади него повторяли все его движения две его дочери. Одна очень приятная и круглая девушка с надутыми губками, другая же роста несколько необычного для женщины; при этом для увеличения прически был всучен в голову у ней здоровенный бант из упругой ткани. По дочерям я и догадался, что это и есть пресловутый Ларион, унтиловский змей и злая эпиграмма на человека.

— А, вот ты где, мошенник! — фамильярно прокричал он и помахал, как бы зовя, но я не двинулся с места. Тогда, подбежав, он потормошил меня, окаменевшего. — А, здравствуй, здравствуй! Пришиб ты меня, да ничего, не робей, я не сержусь. Хоть сватайся — не откажу!..

Я промолчал, наблюдая это своеобразное явление во все глаза. Ничего от штопора не было больше в его лице. Он вытискивал скороговорчатые слова сквозь мелкие и частые зубы, которых, казалось, у него было больше тридцати двух, положенных человеку для жевания. И еще он имел какую-то беспокойную косинку в глазах, позволявшую ему видеть несравнимо больше должного. В спине чуть сутул, а ноги держал растопырив, движенья имел быстрые, и волосы шли у него через лысину, от одного уха к другому. Особенно ловко орудовал он указательным пальцем левой руки: левша. Из-под пиджака какого-то злого и отъявленного цвета выглядывала косоворотка, вышитая почти с безумной

пестротой. На это и воззрился Буслов, когда здоровался с Ларионом.

— А это старшенькая у меня резвится! — пропел Ларион про вышивку, правой рукой цепко держа Буслова за руку, а левой легонько посунул ему в живот. — Во всем дочкином хожу, до исподнего! Старательна и неугомонна, надоеда такая... и все-то ластится. Да женишки вот гадят, не хотят. — Виктору Григорьичу становилось и дрянно, и жарко, а тот все ерзал голосишком и выкидывал штуки. — А вы все дома, сидидом этакой... никуда не кажетесь. А мы вот возьмем да и женим, доберемся до бычка! — И опять тряс бусловскую руку, время от времени игриво посовывая в живот. — Очень, очень приятно совокупиться в приятном и полезнейшем знакомстве. Старшенькую-то у меня тоже Агничкой. Симметрия-с!

— Пусти... — прохрипел Буслов и хотел уже отпихнуть этого хихикающего дракона в пиджаке прямо на улыбавшихся дочерей. Но рука бусловская пришлась в пустое место.

Потому что Пресловутый уже трепал Манюкина по ладошке, уже благословлялся у Ионы, уже пытался слобызать попадью, все еще минуя хозяина. Затем, проделав несколько замысловатых рейсов, Пресловутый встал в уголок и покашлял.

— Гляди, гляди, незваный пришел! — в тоске теребил меня Илья. Проведал и приплелся. Что теперь будет, что будет!..

Он собирался и в третий раз повторить то же, но лицо его, выражавшее безмерность отчаянья, исказилось. Восклицая с силой: «Ах, про самовар-то я и забыл!» — он полетел на кухню. Впрочем, с полдороги его вернул стук в дверь. Рискуя вывихнуть себе позвоночник, Илья молниеносно повернулся и исчез в сенях. Вслед за тем как бы струйка свежего воздуха вбежала в затхлый мрак сообщества нашего и пробудила шепоты, таившиеся в углах. Но не на нее, вошедшую, глядел я теперь, а на гостей. На Радофиникине увидел я вместо обычного эклегидона нечто фиолетовое и шуршащее, Буслов же на этот раз надел какую-то нелепейшую поддевку с короткими рукавами, откуда руки торчали совсем нехорошо. О галстуке Редкозубова умолчу, чтоб не упоминать и о своем:

один и тот же черт любовного сумасшествия толкнул нас обоих на эту пошлость.

В числе многих трудностей, препятствующих перу моему легко и привольно резвиться по бумаге, самая главная — незнание мое, сколько строк я должен отдать появлению Раисы Сергевны... Будет мало, если я упомяну лишь о ее темном платье, в длинных рукавчиках которого как бы прятались пальцы. И будет еще менее, если я остановлюсь на скромной ямочке в левой щеке, оставшейся как бы после подавленной улыбки. Ничего особенного или чудесного не было в ее лице, но только в окружении глаз ее было нескончаемо грустно. Вместе с тем я ощутил какую-то виноватость перед ней и за приплюснутость Ионина носа, и за жирное худосочие манюкинского лица, и за столь нахальную самостоятельность моего галстука, что я чувствовал себя лишь придатком этого своего собственного придатка. Она, видимо, заметила все перечисленные особенности наши, потому что...

И вот уже меня отвлекают от наблюдений моих. Пылающий Редкозубов трубным голосом пригласил гостей к столу, причем я по глупой поспешности сел раньше времени и тут только заметил соседок моих: слева — старшую Агнию, пахнущую тараканами и пудрой, справа — супругу Ионы. Обе кусали губы: первая от кокетства, вторая из ревности, ибо Иона, накладывая гостье на тарелку, такое выделывал с лицом своим, будто на гармошке играл. Я перекинул глаза на странного редкозубовского знакомого, все продолжавшего есть и есть с педантичностью мясорубки. И тут услышал я явственный шепот моей соседки слева, показывавший, что в ее обычае брать быка прямо за рога.

— Как вас зовут? — спросила она, нагибаясь ко мне, причем я почти уткнулся длинным носом своим в жилистую и сухую ее шею.

— Меня зовут Павлом, — отрезал я.

— А я сегодня без корсета, — подумав, сказала она.

— Отчего ж это вы так? — покосился я, скрежеща зубами.

— А я когда в плохом настроении, всегда без корсета! — улыбнулась она. И тут мое удивление превзошло

все меры отвращения моего — я прекрасно различил пожатие моего колена.

— Виноват, это моя коленка, — почти визгнул я Агнии.

— Это не я, — испугалась та.

— Это я, извиняюсь, — сказал редкозубовский приятель, просовываясь через Агнию ко мне. — Не дадите ли мне хвостик?

— Какой хвостик? — Я тупо поводил глазами, подозревая нарочное издевательство.

— Рыбки вон той... рыбий! — очень вежливо, но грубым голосом пояснил он.

Со смущением я прислушивался к начинающимся разговорам. Гости вели беседу попарно и так тихо, точно опасались подслушиванья, но я обострил слух. Ларион упрашивал Илью не стесняться его присутствием, но по лицу Ильи было видно, что он думает о нем столько же, сколь о ножке своей кровати. Младшая Агния, волнуясь и хорошея до чрезвычайности, выспрашивала у Раисы, в моде ли теперь вельветовые платья с гипюровыми воротниками. Манюкин, весь горя, повествовал о чем-то Буслову, а тот деланно улыбался и хрипел:

— Ну-у вре-ошь! Бекасиной, брат, дробью дупеля на сто шагов не возьмешь...

— Ей-богу взял! — рвался Манюкин.

Радофиникины, мудро пренебрегая разговором, поглощали яства, взроможденные на стол. Тут были и грибки, и рыбки, и страннейшие паштеты из чего-то оленьего, плоды хитрейшей выдумки изобретательного Ильи. Сам он сидел за самоваром, очень похожим, к слову сказать, на хозяина: такие же впадины в облезлую никелировку, такая же смешная длина; даже формой ручек, обезображенных унтиловским лудильщиком, слишком дерзко любившим красоту, напоминал он хозяина. Жареная птица, утопавшая в морошковом варенье, украшена была флажком, а по флажку надпись: «Увлечение приносит нам наслаждение». На обороте же: «Кушайте меня, я мягкий». Ни одной закуски не было без какого-нибудь выверта, так что вполне понятно было мне Ионино любопытство к съедобной части вечера. Илья спросил Раису о причинах отсутствия ее мужа. Она замялась, и уши ее немнож-

ко затлели. Я же, размышляя об одной из своих догадок, проворонил начало завязавшегося разговора.

— Вот болею все, — скорбно произнес Пресловутый, легко и просто разгрызая птичью голову и высасывая содержимое. — Ходячий нерв болит! — прибавил он уже при полной тишине.

— Это у вас идея только, а вы здоровы, — осмелился Илья.

— Да, болею все! Разрежьте мне горло, и вы увидите, — придал голосу звенящую твердость Пресловутый и брыкнулся под столом. Лицо его отобразило короткую вспышку негодования. — И вот из этого я выношу, что всякая наука ни к чему. Говорю это вам как ученому человеку. Вы хотя и проходили науку, а ходите при рваных локтях-с! — Впрочем, относя свои слова к Манюкину, Ларион поглядывал и на Буслова, и на его бывшую жену.

— Позвольте, — искривился Манюкин, зеленея в щеках, — я не умею выделывать серебряных рублей!..

— Серебряные рубли... — сощурился Пресловутый, самодовольно приглаживая виски. — Дворянством своим кичитесь. Не кичитесь, каждый сам себе дворянин. А чего-с. Вашему деду рвали ноздри? А нашему рвали, железом-с, без остатка-с! Мы, бывало, в Сибири уже, «Дедушка, — спросим, а где у тебя носик?» — а носика-то и нету! Ну-с, кто вострей? Молчите. Мы на чистоте деньги делаем, по пятому колену-с. И животы мы никому не лижем, а сидим себе в подвальчиках...

— Ларион Петрович! — взмолился Илья. — Тут же дамы, а ты про животы.

— Молчи, ты льешь чай на скатерть! — брыкнулся Ларион, попав, видимо, на своего конька. — И потом, сколько вас? — в пароксизме наступательного неистовства шипел Ларион. — А нас всего семнадцать на всю Россию — поняли? Найдите и спросите: кто у вас третий по счету? И вам ответят про меня! Однако вот болею, и наука не может исцелить меня. Я пришел к нему... — Ларион едко похохотал, фортеляя под столом ногами, — прихожу к нему, а он велит мне проглотить сто пилюль... Сто пилюль третьему в России человеку!

— Однако, хоть вы и порицаете науку, сами-то вы учились же чему-нибудь! — подольстился Радофиникин.

— Это не наука, а обучение делу! — кричал Пресловутый, яростно брыкаясь. — А какая теперь наука! Травки собирают по полям да жучков через задний проход случают!..

— Ну уж это в некотором смысле, — весь багровый от стыда за гостя, воскликнул хозяин, выкидывая руки над головой. — Ларион Петрович... такие слова... Дамы... конфузно...

— Говори слитно и не махай руками, — строго велел Пресловутый. — Что, ты хочешь сказать...

— Нет, так нельзя... Виктор Григорьич, воспретите же...

— Ну да, — откликнулся Иона, но не договорил и громко обернулся к супруге. — Чего ты меня щипаешь? Не щипай...

И тут растерянность наша сменилась смехом. Ларион в последний раз брыкнулся под столом, и оттуда послышался сухой лай бусловского Хвака. Выскочив из-за стола со смятенным лицом, Ларион отмахивался носовым платком от наседавшего на него бусловского пуделя. Скандал, набухавший все время вечера, теперь взорвался и грозил разнести в клочья редкозубовское счастье в самом его зарожденье.

— Ага, так! — вскричал Ларион, всем естеством своим выражая гнев. — Ты зазвал меня, чтоб насмехаться, и травишь меня зверями! Он кусает мои больные ноги, а ты молчишь... пьянствуешь и молчишь! Убей собаку, убей! Она закусает меня!.. — В таком крике исходил Пресловутый, третий в России человек, и все мы восхищенно молчали.

Но Илья только пучил глаза на Хвака, потешавшегося ото всей собачьей души; он пучил их, точно собирался вылезти через них наружу...

— Кусай, кусай, Хвак! Кусай хитрого дядю за ноги! — прокричал я, топая ногами от удовольствия.

— Хвак, Хвак!.. — надрывался Буслов. — Ведь у тебя даже и зубов нету!

— Пыпаш... а ты его ногой. Полосни его, пыпаш, ногой! — шипела старшая Агния, наливаясь как бы лиловой жидкостью; младшая же стояла с опущенной головой, и руки ее заметно дрожали.

— Хорошо же, — сказал Ларион, едва надоело Хваку стращать Пресловутого. — Я не желаю родниться с таким... Я ухожу. Кто проводит меня? — И глядел на Буслова, косясь вместе с тем и на Илью.

Но Илья созерцательно уставился в собственное отражение в самоваре.

— Нынче склизко. Я упаду и прошибу себе голову, — вторично намекнул Ларион, держась уже за скобку двери.

— Нет, сегодня снежку подвалило, — и, отведя занавеску, показал на падавший в темноте снег. — Идти будет мягко.

— Дочки проводят, — сказала Радофиникина с набитым ртом.

И опять Илья был молчаливей Лотовой жены, а Ларионовы дочки уже пробирались к дверям.

— Ну, прощайте, надсмешники! — с уничтожающей мягкостью бросил Пресловутый, и враз не стало ни его, ни его приплода.

Илья сорвался с места и полетел в прихожую, едва хлопнула дверь. Выйдя тотчас же вслед за ним, я нашел его как бы в раздумье.

— Все кончено, Паша! — торжественно объявил он мне. — Так отлично началось и так смешно кончилось. Я ведь подавлен, расстроен до мозга костей... — отчаянно вырывалось у него.

— Любовь, милый, любовь. Любовь, миленький, что бес. Она горами двигает! — вспомнилось мне как будто из Священного Писания.

— Какая любовь? Ты с ума сошел! — вздрогнул Илья и дико посмотрел на меня.

Мы сидели за столом в подавленном безмолвии, и Иона, имея вообще немало глупых привычек, раздумчиво ковырял пальцем в носу, причем даже как-то странно изгибался для удобства. Скука продолжалась, а самовар сипел, отходя.

— Бросьте ковырять, батюшка, — впервые заговорил редкозубовский приятель и жарко покраснел. Подбодренный моим взглядом, он продолжил: Ежели все ковырять станут, так что же из этого может получиться!

Смеху, впрочем, не воспоследовало, а стояло прежнее, то есть потрескиванье лампового фитиля да пенье

самовара. Последнее, очевидно, и надоумило Виктора Григорьича.

— Сыграй, Илья! — попросил он просто.

Илья, посидев еще с минутку, вдруг щелкнул себя по коленке с видом, свидетельствовавшим о всяческом отречении от прошлого, снял со стены гитару. Одновременно в руках у редкозубовского приятеля различил я предмет, оказавшийся потом губной гармоникой. Илья подстроил два баска и тут смутился.

— Этово... — сказал он, впервые улыбаясь после Ларионова ухода. — С Аполлосом-то я не познакомил вас, эх! — Он кивнул на человека, прилаживавшего к губам губную гармонику. — Его звать Аполлос Осипыч, он на губной играет. Но вы не смотрите, что она маленькая...

— ...в ней у меня тыща семьсот один звук сидит! — докончил за Илью этот самый Аполлос, улыбаясь.

КОНЕЦ МЕЛКОГО ЧЕЛОВЕКА

I

Поздним вечером одной зимы, когда, после долгих и бесплодных поисков какой-нибудь пищи, тащился он домой бесцельно, встречен был им неожиданный человек с лошадиной головой под мышкой. Фёдор Андреич на месте остолбенел при мысли, что именно ему в конце концов суждено, быть может, стать счастливым обладателем упомянутой головы.

Небывалым прыжком, тяжко дыша и размахивая руками, подскочил он к неожиданному тому человеку, чтоб с разбегу предложить ему за голову мильона полтора-два. Но, очевидно, парабола прыжка была так невероятна, а вид Фёдора Андреича так свиреп, что неожиданный человек тот немедленно выбросил лошадиную голову в снег и, как бы с шипеньем, пустился бежать от огромного и взъерошенного человека, каким в снежном сумраке представился ему Фёдор Андреич. Бегал он неплохо, даже удивительная для того времени резвость была у него в ногах, — скоро и совсем исчез он в густой копотной мути завечеревшего переулка.

Фёдор Андреич добросовестно проводил его недоуменными глазами, а потом потуже запахнул старое свое, среднего цвета, пальтецо, подобрал лошадиную голову и, прижимая ее к себе, побежал тяжелым, гулким бегом в обратную сторону. Без особого греха можно было бы сказать, что бежал он вприпрыжку даже, если бы не противоречило это представлению нашему о наружном виде и о внутреннем состоянии Фёдора Андреича.

Был в отца — крутоват Фёдор Андреич, — был, ибо с некоторых пор вся его грузность внезапно пропала, усту-

пив место даже чрезвычайной худобе, а жировые вместилища на щеках повисли смешно и необыкновенно жалко над немытым воротником; характернейшей чертой тогдашних настроений Фёдора Андреича было полное, в наружности и мыслях, пренебрежение к благообразию. Росту он был выше среднего, особых примет не имел, а просто всем видом напоминал того дикого бесполезного в конце концов медведя, о вымирании которого никто не думал, никто не плакал в ту лихую пору.

Лишь остановившись у двери своей, отдышался он первым делом, а потом постарался во мгле длинного лестничного проема, шахтой уходящего вверх, разглядеть голову, приобретенную им так счастливо и неблаговидно. Голова оказалась уже ободранной, и одного в ней глаза совсем недоставало, а другой ледяным, равнодушным зраком наблюдал высокое плечо нашего Фёдора Андреича.

На мгновенье задержалась тут у него неладная мысль, что ведь голову-то мог бы съесть и сам тот неожиданный и пугливый человек из Мухина переулка, но это продолжалось именно не более одного мгновения. Вслед за тем внутренний голос шепнул Фёдору Андреичу, что ничего безнравственного в подобном способе добывания пищи нет, да и быть не может, ибо не только глупо, но и вредно голодному разбираться в моральности своих поступков. Потому-то по приходе домой сразу и принялся Фёдор Андреич за варку головы без всяких самоупреков и угрызений совести.

Тут и сказалось прирожденное неуменье Фёдора Андреича и сестры его обращаться с лошадиными головами. Во-первых, не был положен в котел лавровый лист или другое что-либо пахучее. А во-вторых, улучив подходящую минутку, когда сестра вышла ненадолго, кинул он на глазомер горстки полторы соды в котел, в видах экономии пары-другой поленьев, так как сода весьма способствует быстрому развариванию совершенно твердых предметов.

Сода была уже непростительным промахом. Получилась в котле этакая лошадиная каша дикого цвета и мыльного запаха, да и голова-то, в довершение всего,

оказалась с душком. Впрочем, Фёдор Андреич и сестра его ели с таким удовольствием, что только потом обратили внимание на вкусовую причудливость блюда. И потому, в меру посмеявшись необычайности ужина, они провели остаток вечера в беседе, наполненной воспоминаниями.

После беседы Елена Андревна прилегла часика на два в своей комнатушке, не раздеваясь: стоял на квартире у них зверский холод, а в три нужно было ей идти занимать масляную очередь. Были то жестокие в смысле масляном и хлебном времена.

Вслед за ее уходом и произошел с Фёдором Андреичем припадок. Во время сна стал у него в груди пошевеливаться дикий хрип, и в привычной тоске налетевшего смерчем удушья медленно похолодели концы пальцев. Его разбудило собственное же дыханье, рвавшееся знойно и бешено, как через барьеры обезумевший конь. Фёдор Андреич рывком раскрыл глаза и не увидел окна, синеющего ночью.

Мрак висел в комнате острой, ясно ощутимой пылью. Потому-то стало его дыханье клокочущим и быстрым, как дым, пробегающий в широкий дымоход при хорошей буревой тяге.

Сперва показалось, что правой стены в комнате нет, а вместо нее длинный, пугающий черным коридор. Фёдор Андреич мучительно пошарил там обострившимся взглядом, и, когда наткнулся взгляд его на нечто, пошевелившееся спиной, больно и сильно укололось сердце о знакомый неумолимый шип.

Он колыхнулся всем телом, кольнуло вторым больным уколом в сердце, — хотел закрыть глаза, но они, разбухшие жестоко, не закрывались. Все нервы натянулись до предела, за которым разрыв, и тогда без труда различил Фёдор Андреич на дрожащей неспокойной синеве окна, ромбически скошенного и налитого ночью, четкий силуэт прокрадывающегося ферта. Казался неслышным и скользким шаг его, направленный к нему по кривой из коридора, — отчетливо рисовалась знакомая лошадиность в линиях широкой фертовой челюсти и высокого не по-хорошему лба.

— Здравствуй, — отрывисто сказал ферт, подходя шага на полтора и пристально всматриваясь в лицо Фёдора Андреича, сморщенное мукой. Тогда сердце его, ущемленное тоской, прыгнуло куда-то в пустоту, и синее окно с маху задернулось черной занавеской.

II

Фамилия Фёдору Андреичу была Лихарев, а лет ему было... Затруднительно сказать, сколько было Лихареву лет.

С того самого дня, как над Россией прозвенело стальное крыло небывалых сотрясений, и понеслась она из мрака в иную, огнедышащую новь, где, подобно быкам, ревут громовые трубы, земля стала в двенадцать раз быстрей обращаться вокруг солнца, а дома и люди, по той же причине, научились стариться скорее ровно в двенадцать раз...

Вследствие таких причин, если Лихареву до начала, скажем, поры этого медного быка было пятьдесят два, то в дни рассказа нашего было ему пятьдесят два с пребольшущим хвостиком.

Эти свои пятьдесят два не истратил Фёдор Андреич как ни попадя, впустую, без следа. Длительным напряжением ума и воли он так глубоко проникнул в неисповедимые глубины палеонтологической и других, родственных этой, наук, что, пожалуй, и жил все время там, в допотопном где-то, считая настоящее за нестоящее отражение тех невозвратных времен.

Фёдор Андреич умел работать, почти не уставая, как хороший семижильный вол. А если припомнить попутно, что и дарованьем не был он обижен, станет понятным, почему научное имя его ценилось так высоко у нас и как будто даже за границей. А за год приблизительно до медного быка Лихарев, гуляя на закате в окрестностях одного курортного городишка, нашел в рыжем, размытом овраге некоторый камень серого цвета, неприличной формы, без запаха и как будто с носом даже. Находка эта так вдохновила Лихарева, что он, ни минуты не мед-

ля, перетащил камень к себе и, водворив его на почетное место между фотографией матери и гипсовым Томсеном, в ближайшую же ночь начал писать обширный по размерам и значению для человечества труд о климате мезозойской эпохи.

Труд этот, который, к слову сказать, должен был вызвать крупнейшие толки, а может быть, и раскол в ученых кругах, подвигался успешно, и вдохновенный Лихарев, кроме всего прочего, ухитрился даже восстановить новое ископаемое неслыханной величины по совершенно ничтожным и весьма своеобразным данным окаменелости. Об этой работе Фёдора Андреича много в свое время говорили, ожидая появления ее в свет с непрерываемым интересом. Однако к самому моменту окончания, когда к печати были готовы почти все двадцать два листа, быками заревели трубы, и вся сокрушительная суть мезозоя стремительно надвинулась на тихое бытие города в самых характерных особенностях, подробно описанных Лихаревым.

Одновременно участились припадки сердечной болезни. Да и все здоровье Фёдора Андреича, требовавшее основательной поправки где-нибудь на теплом берегу голубого моря, перестало позволять ему, как прежде, просиживать ночи напролет за изучением носатого камня. Что-то с кровью оторвалось внутри, что-то утерялось навеки, — стал камень жить своей мезозойской жизнью, а Лихарев настоящей и сильно неладной своей. Не подоспей сестра вовремя, — давно перестала бы ползти к зениту лихарёвская звезда.

Елена Андревна в первой молодости была печальной, но там, внутри, очень жизнеодаренной, как все печальные девушки, — жила у тетки в провинции, писала белые стихи про королевичей, у которых во лбу звезда, и про всякое тому подобное... И все ждала она неустанно одного такого, чтоб пришел издалека и сжег душу ей горячей лаской всю, без жалости и без остатка.

Но время шло, — «бурьянами одиноких лет стала зарастать девушкина душа, как зарастает нежилой, весь белый, над рекою старый дом», — так описывала она себя в своем дневничке той поры. Негаданно стукнуло ей двадцать пять, потом сразу двадцать семь, потом три

года подряд твердила всем и сама старалась верить, что ей двадцать шесть. Ясно обнаружилась бесцельность бытия ее здесь, на подлунной. Потом ударило тридцать, и тут она заметалась. «Никому я не нужна... а королевичи перевелись, а завтра мне тридцать...» — горько записала она в той же толстой своей тетрадке, набухшей невыплаканными слезами, невысказанными обидами, несбывшимися снами. Тогда, гуляя с подругами, совсем нечаянно ушла она за сосновую рощу, где безвестно куда струилась железная дорога, и там, едва зашлепало вдалеке гулкое дыханье паровоза, легла на рельсы. А в поезде попортилось что-то, как на грех, и паровоз остановился шагах в сорока от лежавшей на рельсах. Получилось смешно, фальшиво и целительно поэтому.

Спокойная, сутулая немножко, встала Елена с земли, уже холодевшей вечерне, и медленно пошла домой, где ждали ее за веселым самоваром. Больше она не пела песенок про королевичей, больше не ложилась на рельсы. Годы, мелькавшие доныне, как встречные поезду, в широком поле, поезда, стали неторопливыми, перестав быть непосильной ношей для Елены.

Как раз это исцеление Елены от мечты как нельзя лучше поправило неважный быт Фёдора Андреича, старшего брата, профессора, вылитого отца по нелюдимости, по серьезности отношения к жизни, по непокорному спереди клоку волос, вздыбленных седым фонтаном. Этот медвежий человек, погруженный в глухие льды и безбурные затишья допотопных пор, не любивший никого, кроме своих ископаемых чудищ, жил одиноко и тускло, если поглядеть со стороны, как живут многие проходящие жизнь бочком, чтоб не задеть никого и самому не ушибиться.

Вдруг тетка в провинции умерла. Жить одной стало Елене невмоготу в этой «суконной дыре, где в трехоконных домишках, похожих на керосинки, войлочные души, как мухи, сидят, — где лишь раз в неделю кудрявым колокольным трезвоном прерывается утробный храп...» — так с пафосом горечи и стыда описывала она теткин город на последней страничке законченного дневника. Сестра послала брату телеграмму: «Еду», — брат ответил: «Место найду». И вот Елена Андревна прочно водворилась

в бытие профессора Лихарева, сделавшись ему столь же необходимой, как стакан крепкого чаю по утрам, как пузатая стеклянная чернильница, верная собеседница лихаревских ночей.

Они переехали на Шестаковскую улицу, в нижний этаж большого безалаберного дома, населенного всякою людскою мелочью. Квартирка им попалась небольшая, и комнаты, заставленные чем попало, деревянным, на гвоздях, бедно и раскосо глядели на улицу, длинную-длинную, скучную-скучную, кривую, Шестаковскую.

Фёдор Андреич неладно зажил в последнее время, хотя и помогал Лихаревым переходить через этот медный кусок времени некий Исаак Иванович Мухолович. Стерся ныне из памяти душевный облик этого человека, столь утомительно-подвижного, что рябило в глазах, в проштопанной фуфаечке под пиджаком, с постоянным мешочком благодетельной пши в руке. Растроганный однажды приношением Фёдор Андреич высказал ироническую мысль, что имя его сохранится в веках как покровителя палеонтологической науки.

III

Утром, когда проснулся, было очень холодно, и мокрая сыпь на потолке и на стене, защищающей от улицы, заметно усилилась. На замерзших сплошь окнах выпукло заплелись расцветшие за ночь диковинные мезозойские цветы, — разноцветно играло в них холодное декабрьское солнце. Тут как раз дверь щелкнула ключиком, Елена из очереди пришла.

Оказалось, масла в очереди не дождались, а выдали всем по фунтику крупки неизвестного происхождения.

Сидели в то утро и пили чай, покуда трещали над керосинкой и дымили вкусно ржаного теста рваные куски. Фёдор Андреич жаловался на ночную историю, рассказывал ее колко во всех, за исключением ферта лишь, подробностях, и получалась такая из его слов видимость, что именно Елена виновата во всей истории своим несвоевременным уходом.

Елена давно свыклась с мыслью, что брат, всего себя отдающий науке, естественно, имеет право быть иногда немножко несправедливым, и молчала, решив, однако, осторожно надоумить брата сходить к врачу.

— Ты, Фёдор Андреич, — она так и звала его, Фёдор Андреичем, а Федей очень редко, — ты пошел бы к врачу! Вот Елков, он давно познакомиться с тобой хотел, мне Бибихины говорили, даже зайти собирался. — Лихарев молчал и хмурился. — Ты ужасно похудел за последние дни, как-то опустился весь...

Насупясь глядел Лихарев, как пар из чайного стакана, такой приятный по утрам, правда, отдающий пареной морковью, подымается обильно к потолку. Ржаной колобок лежал возле, — из разломанной обугленной корки уныло выглядывало непропеченное кислое тесто.

— Э, не в том дело! — с тоскою, чтоб отделаться, ответил Фёдор Андреич. — Тут твоему Елкову делать нечего, тут уехать надо. Уехать к теплому морю, подальше от греха уехать,— повторил он, возвышая голос, но тотчас же стих. — У нас от головы-то осталось что-нибудь? — спросил он, о чем-то соображая. — Ты бы подогрела мне к вечерку, я пройтись пойду.

Елена казалась смущенной:

— Керосин у нас, Фёдор Андреич, весь вышел. На вечер-то, пожалуй, и хватит. Я вот насчет завтра хотела тебя спросить, как... — Она закашлялась и порозовела.

Лихарев зябко потер руки.

— А Мухолович не приходил еще? — Уже не тоска, а раздражение промелькнуло в голосе у Фёдора Андреича. — Удивляют меня подобные люди: шляются, распинаются в любвях к наукам — черт бы их брал!.. а как вплотную, то и не разобрать тогда, — где ему, Мухоловичу твоему, начало и дряни рыночной конец!

Елена попробовала робко, но горячо вступиться за Мухоловича:

— Я бы не стала на твоем месте... нельзя так. Мухолович редкий в наше время человек, может быть, единственный. — Она подчеркнула последнее слово. — И потом, не кажется ли тебе, Федя, — Федей она называла его в минуты, когда требовалась убедительность, когда и жалела и

боялась за брата, — что Исак Иваныч и так уж очень много сделал для нас. Ведь если бы не он, то, в сущности...

Лихарев недовольно поднялся. В улице проехал, сотрясая воздух, редкий для той поры грузовик.

—Ты мне, сестра, перестань об этом. Должен же меня кормить кто-нибудь! — отчаянно крикнул он. — Ведь не лодырь же я в самом деле, ведь работал же всю жизнь, для них же работал! — Он ткнул пальцем в улицу, слабо гудящую за морозным стеклом. — Я-то виноват, что им потребовалось весь этот перекувырк устраивать? Ведь вот вчера, когда этот ферт... — Лихарев остановился, смущенный своим признаньем.

У Елены дугами удивленья поднялись брови.

—Ты про какого это ферта? Ты мне не говорил...

—А так, пустяки... я спутал... — Фёдор Андреич смешался и покраснел; не хотелось ему дальше признаваться в ферте, он встал. — Ну... я пойду, пищи вокруг порыскаю.

Сестра с тревогой, такой понятной и женской, смотрела ему вслед.

— Ты вернешься когда?.. чтоб голову разогреть ко времени...

— К трем разогревай,— ответил Лихарев, запихивая ногу в продырявленную калошу. — Может быть, на обратном пути я зайду к твоему Елкову,— сказал он в знак примирения.

— Адрес-то его знаешь? — спросила сестра.

—Записан где-то... помню, — невпопад соврал Фёдор Андреич и вышел не простившись, как всегда, вон.

IV

Лихарев ходил не быстро, — при первом же сильном движении впивалась жаба в сердце, а беспрерывно колющее сосание ее кончалось потерей сознания. Он ходил не быстро, затем, чтоб не растрачивать зря калории, и по той же причине самосохранения старался не видеть ничего. Но улица помимо воли ухитрялась залезать в мозг и хозяйничала там, и галдела разнозвучно, и смешивала мысли, как кости на столе.

Так же вот и нынче. Возле лошади, брошенной посреди улицы, стояло много людей, и один матерой мужичище все старался увести от лежащей с откинутой головой матери маленького сосунка, тощего и быстрого, но тот выгибал спину месяцем и не хотел уходить, упираясь в незаезженную мостовую всеми четырьмя. Лихарев сообразил, что мужичище одолеет, конечно, конюшонка, и прошел мимо. Увидел еще двух мальчишек, которые дрались, и какого-то человека неопределенной сущности, который блестящим, остановившимся взглядом наблюдал их. Человек тронул лихаревское плечо и сказал, не глядя на него:

— Обратите внимание... ведь в кровь, в кровь!..

То был хороший морозный день. Иней запушил и тонкие, охваченные солнцем нити проводов, и негибкие ветви деревьев розовыми и голубыми соболями. Паром и колким снегом отовсюду выбивался мороз. И даже дощечка эмалированная, с фамилией доктора Елкова и часами приема, замеченная случайно, тоже поголубела вся в тончайшем налете утреннего инея.

Лихарев постоял перед ней, перебирая в голове невнятные, вялые мысли. Мороз обжигал лицо, а делать было нечего. Он решил зайти.

Поднявшись в третий этаж, Фёдор Андреич остановился перевести дух и постучал, не доверяя звонковой кнопке. На стук дверь открылась, и чрезвычайно худая дама, оказавшаяся женой Елкова, рассеянно указала пальцем Лихареву, куда пройти.

Комната, предназначенная для приемной, была большим, нетопленным пространством, — свету сюда падало достаточно через огромное, полторы сажени в квадрате, окно. Поэтому ледяность воздуха была здесь досиня прозрачная, насквозь проникнутая острым солнечным морозцем.

Снова приподняв опущенный было воротник своего пальто на уши, Фёдор Андреич присел на стул возле круглого, облупленного столика. На нем, как это сразу попало в поле его зрения, валялась грязная варежка, широко вздувшаяся от чьей-то подпухшей ладони; огромный палец ее, перештопанный во многих направлениях, раздражил Лихарева своим видом. Фёдор Андреич задви-

гал носом и сделал движения рукой, чтоб смахнуть ненавистную варежку в угол, но огляделся вовремя и заметил тогда в дверной щели, куда упадало солнце, рыжеватую бородку и круглый глаз, подозрительно наблюдающий за ним, Лихаревым.

— Да-да, я к вам... здравствуйте! — заторопился Фёдор Андреич, но глаз отскочил и спрятался поспешно, а затем раздались осторожные, на цыпочках, шаги отбегающего человека. Лихарев едва не погрозил кулаком в сквозящую светом щель и хотел снова усесться, но дверь отворилась, на этот раз совсем, и сам Елков в продранном коричневом пиджаке и в клетчатой шали, накинутой поверх, неопределенным жестом попросил Лихарева войти.

В кабинете Елкова стоял некоторым образом содом. Частью происходило это от печки, брюзжащей грязно-серым дымом, частью же и от самого Елкова, расставившего вещи так, словно хотел взять от них минимум их полезности и максимум неудобства. Перед Фёдором Андреичем в колеблющихся слоях дыма повисло бледное, узкое лицо с вытянутым, неприятным носом, с рыжеватым взбитым пухом на лбу.

— Садитесь, — распялилось в улыбке лицо и дернулось вперед, потягивая за собой тощее и короткое туловище.

— Я сяду, сяду... не беспокойтесь... — оторопело заявил Лихарев, оставаясь стоять.

В кабинете было гораздо меньше света, чем в приемной, благодаря гобеленовой гардине, которая, казалось, невыразимо неловко чувствовала себя среди всех этих новых, наглых вещей: дырявого мешка с картошкой, салазок, давно отслуживших санный век и чиненных медным проводом, топора — зазубренного, кургузого, и, наконец, печки — непрерывно кашлявшей едким, тяжелым дымом.

— Садитесь же, — повторил Елков и сам сел в плюшевое когда-то кресло, вонзаясь в пациента пронзительным, неспокойным взглядом.

— Что это вы так в меня уставились? — спросил с любопытством Фёдор Андреич, садясь в другое кресло, и вдруг полетел вместе с креслом на пол.

— Ах, чудак вы, вы не то кресло взяли, — у этого ножка от сырости отпала! Вот на этом, нате, без риску можно сидеть, присаживайтесь,— с усмешечкой заскрипел Елков, подставляя Лихареву новое из темноты в простенке кресло, явившее в оконном свете свой убогий и обтрепанный вид. — Чего уставился-то? А уставился потому, что вид у вас аховый, в глазах у вас этакое... — Елков обозначил рукою в воздухе то неприятное, что он успел разглядеть в тусклых измученных глазах Лихарева. — А ведь я знаю вас, — заспешил куда-то Елков, встряхивая пухом на лбу, — давно знаю! Вы ведь Лихарев? Ну да, так и знал, помню, помню... как же! Был раз на докладе вашем в геологическом, кажется, обществе, — о четвертичном периоде изволили читать. До войны еще было, в августе! Тогда еще братец мой, нежнейшая душа, кузен — как говорится, Пирожков, Валерьян Михайлович, с вами насчет ледникового периода поспорил, а вы его невежей при всех выбранили... Да ничего, ничего, не морщитесь, — другой и в физию бы прямо въехал,— чего там, ради высокой Науки...

Лихарев досадливо дернул плечами.

— Ну, и что ж из того, я вас спрашиваю, что вы хотите этим сказать? Он и есть невежда. Он ведь такую в тот раз чушь смолол, что... — Лихарев чихнул. — Простите, имени-отчества вашего не знаю?

— Иван Павлыч! — подскочил словами с разбегу Елков, — но также Иван Петропавлычем величают...

— Петропавлычем-то для чего же? — грубо подивился Фёдор Андреич.

— А вот! — страшно дергаясь, пропел Елков, — на матушку клевещут. Может быть, и правда, мне ведь неудобно спросить... — Он задумался. — Нет, неправда, года не сходятся, — вскричал он через минуту раздумья. — Пётр Аркадьич тогда в Самаре жил! Впрочем, я ведь потому вам это привел, чтоб людей въяве показать, — волки, сущие волки, тем и кормятся! Дикий готтентот черепа сбирает для коллекцийки, встретит себе подобного, сейчас — «разрешите вашу черепушку залобанить»... Так ведь он дикий, даже себя самого не видит, а наши... — Лихарев приглядывался к Елкову и ничего не понимал. — А ведь это только теперь они распоясались, потому что услож-

няется кругооборот вещей! — доверительно сообщил Елков собеседнику, постукав пальцем по его коленке. — Э, да что там мымрить, давайте я вам лучше веселую историйку расскажу, — на днях случилась. Видите ли, я теперь, в целях заработка, по всем отраслям практикую: и акушером действую, и зубы рву... Так вот на днях... Виноват, вы не курите? Ну, как хотите, я тоже не курю, дрянь в груди завелась... Приходит мальчик, безусый, знаете, — Колюнчик, Сергунчик, что-нибудь вроде. Садится, плачет. Осматриваю... — Елков выгнулся из кресла и шепнул нехорошее, шипящее слово на ухо Лихареву. — Ну, я ему и сообщаю, что, мол, так вот и так, молодой человек! А он на крик: лжете, кричит, лжете, я никогда, никогда... ни разу еще! А потом тихонько и со стыдом: разве, говорит, во сне только... Что ж, в наши дни, говорю я ему, и во сне налететь можно! Ужасное паденье нравственности... скорблю и ужасаюсь, однако уповаю! — передразнил он кого-то, Лихареву не известного.

«Сильно же тебя заездили, — подумал Фёдор Андреич, — весь ты как на ниточках». Так подумав, он решил было ничего Елкову не говорить о себе. Но Елков, развинтившись совсем, и не дал бы ему ничего сказать.

— Как хотите, — балаболил он, — а ведь неимоверные вещи проистекают, потому что всеобщий заворот мозгов-с... всеобщий-с! — Елков хотел вздохнуть, но поперхнулся, опомнился, сжался и в упор ударил сухим вопросом: — Ладно, что у вас?., не в гости же вы ко мне притащились, с больным-то сердцем, да на третий еще этаж! Ну и глаза-то у вас, право, словно тараканы, которых перстом... запятыми по стене! — Он сделал соответствующий жест пальцами. — Ну, рассказывайте, чего ж греха таить?!

Елков приготовился слушать, а Фёдор Андреич, странно покоряясь этой прыгающей машинке, собрался скрепя сердце рассказывать, но вошла к ним давешняя худая дама. Нажимая на слова так, что каждое слово свистело обидой, она заговорила резким и жалобным тоном:

— Ваня, когда ж ты мне дров дашь? Я же шить не могу, у меня руки пухнут! Нельзя же так, мне стыдно за тебя, Иван!..

— Ну, ладно, ладно, принесу сейчас... Вот только с Фёдором Андреичем покончу и принесу,— вы не знакомы? — посуетился Елков, делая плачущее лицо, но суету изображал он не сходя с места. — Экая ты торопыга, все бы тебе в карьер... Ну, ступай, ступай!

— Мне надоело это, Иван, — раздраженно перебила та мужа, — сейчас давай, я сама отнесу. Верите ли, — обратилась она к Лихареву, — он от меня дрова в книжный шкаф прячет, книгами их заставил... а когда уходит — запирает. А мне шить надо!.. Право же, я собственным дыханием комнату отапливаю, — еще горше прибавила она, переполняясь слезами; повторялось это, видимо, каждый день.

— Да сейчас, сказал тебе — сейчас. — И даже ногой гневно топнул Елков. — Вы извините, это ей пусть будет стыдно, — бросил он Фёдору Андреичу, уходя в угол, где нетрудно было разглядеть, несмотря на второе, занавешенное окно, большой книжный с дверцами шкаф. — Ни минуты покоя не дадут, волчьё! — слышалось оттуда елковское ворчанье.

Чтоб не мешать им, опять о чем-то вполголоса заспорившим, Лихарев встал и пошел к окну, покуда муж со скрежетом отсчитывал женины поленья.

Возле самого окна висела большая фотография, изображавшая человек сорок разных мужчин, сидевших и стоявших. В центре были самые толстые и добрые, а чем дальше — тем обиднее складывались улыбки, и самые крайние тоскливо выглядывали из-за чужих спин, как бы стыдясь своего скучного и заезженного вида. Фёдор Андреич от нечего делать разыскал и самого Елкова, — тот, довольный и пухлый, лежал у чьих-то ног в очень такой непринужденной позе и держал для приличия толстую книгу в правой руке.

— Бойкая баба... трын-баба, между нами говоря! — затрещал сбоку Елков и состроил гримасу, словно зуб заболел. — Вы простите, что так вышло, — но ведь теперь и в каждой семье собачник! Так что чем богаты, тем и... Вы временем-то располагаете? Ведь не работаете теперь? Да и какая теперь может быть работа! Тут плюхнуться в кровать впору, высунуть язык на плечо и лежать, покуда

весь дух выйдет. В вас есть дух? Вот иглокожие уверяют, что нет, а просто так, пшик... А, да-а... — сделал вид, что спохватился, он, — я и забыл, что вы по делу ко мне... Головные боли, с сердцем нелады, так, что ли?

Лихарева начинали сердить мучительные судороги Елкова.

— Не с сердцем, а вот что... — решил ошарашить его залпом Фёдор Андреич. — Ферт ко мне начал заходить, вот!

Хозяин мгновенно спрятал улыбку и сел в кресло. До этого признанья он стоял перед Фёдором Андреичем, спиной к окну.

— Фе-ерт! — протянул Елков, выпятив губу. Потом погрозил гостю пальцем и подошел поближе. — Вы когда, батенька, в последний-то раз у врача были?

— Ночью приходил... — вспоминая и не слушая, сказал Лихарев.

— Ночью? Ну да, когда же ему и приходить, как не ночью. А вы что же... — Елков кивнул головой в сидящего перед ним и снова, в раздумье, подогнул палец. — Вы, тово, разговаривали с ним?

— Такая гнусь... — отвернувшись, продолжал вспоминать Лихарев, — руки в боки, морда плюгавая и этакое плебейство во всей фигуре... с души воротит! А хуже всего то, что я и сам не знаю, откуда я его взял... плохое дело!

— Кого взяли?.. — переспросил Елков, тыкаясь в гостя мутным взглядом.

— Да его, его, я же говорил вам... вы где были? — рассердился Фёдор Андреич.

Елков придвинул кресло еще ближе.

— Так, значит, ферт? Так-таки уж и ферт? — тихим шепотом осведомился он.

— Фе-ерт... — странно протянул Лихарев.

Их глаза блуждали, и у того и у другого. Взгляды встретились. Как бы пробужденный, Елков вскочил и постучал себя пальцем по лбу:

— Да и все мы теперь тронутые, знаете...

Лихарев вспылил, поднимаясь с места:

— Как это... тронутые? Сходите себе с ума на здоровье, коли охота, — я тут ни при чем. Вам самому доктор

нужен, вот что, — черт меня к вам понес в такую несуразную пору...

— Ах, да не сердитесь вы, Фёдор Андреич... или Фёдор Иваныч? Ну, значит, не ошибся. Я ему всего два слова сказал, а он уж и на дыбы! Ну, сядьте же, прошу вас. Не пойму, на что еще в наше время обижаться можно! Успокойтесь, а я вам за это еще историйку расскажу, тоже — дальше ехать некуда. Вчера посетил меня экземпляр. Пришел, сел сюда вот, где вы сидите — и в рев. Плачет, да ведь как плачет-то, глядеть на него больно. Я, говорит, чихать не умею. Я ему: ну что ж, говорю, и не чихайте себе на здоровье! А он еще пуще заливается: с самого детства, говорит, не чихнул ни разу, и насморка даже ни разу не было, что ж, по-другому устроен я, что ли? Каково, а? Ведь — прямо вынь да положь ему чихание! — Елков выпятил руки вперед, как бы представляя любезному вниманию Лихарева этот особый вид головного вывиха.

Но, рассказывая это, сам Елков вертелся и кидал слова то вверх, то вниз, то туда, то сюда, словно не один, а дюжина Лихаревых была распихана и развешена по комнате там и сям.

— И гляжу я на него, — продолжал хозяин, — и знаю: вот сидит человек в слабости души своей, а подойди да не поверь, либо еще что-нибудь такое, — так ведь укусит, как бог свят, укусит! А обратили вы внимание, народец-то какой стал, скулы-то у них как вылезли, — словно у каждого татары казанские в роду! А вот третьего дня иду по улице...

Фёдор Андреич решительно встал, боясь, что ему станет плохо в конце концов от елковских наскоков, — рассерженный и злой.

— Я у вас совета хотел попросить, доктор. Слушайте, вы — доктор? Вы не военного времени доктор? Были и такие, кажется... — Лихарев поежился. — Разговоры у вас такие, словно непременно хотите, чтоб спятил ваш пациент.

— Да, да, прохладно... но способствует работоспособности, — запутался Елков, обратив внимание только на то, что гость его зябко поежился. — Так не работаете вы? А я вот все работаю, все работаю, — великое дело —

труд! Фактики теперь собираю. Они так и бегут ко мне, фактики!.. На ловца, как говорится, и зверь... Человечек повесился, а я его под номерок; лошадка упала на улице,— а я ее под номерок: такого-то и такого-то, мол, числа и так далее. Юношу за чрезмерную пылкость грохнули, — мы и его пометим. Ах, — с болью и стоном вырвалось у Елкова, — соберу я книжечку пальца в два, да в Европу туда, ко всем этим, как их... Как поленом шарахну я их книжечкой! — Елков трясся, клетчатая шаль сбилась ему под ноги, но он не замечал. — Глядите, как мы дохнем, дохнем, — мы просияли в муках наших! И ведь мы не только для себя, но и для вас! И, быть может, даже из-за вас, дьяволы... У нас дворняжка последняя больше всех вас выстрадала. И назовем мы книжечку — Преображение России, вот... Впрочем, пустяки, — так закончил он свой малосвязный поток. — Исключительно самобичевание и расхлябанность,— иглокожие правы! Ах да, кстати, — вдруг перескочил он и весело прищелкнул себя пальцем по лбу, — забегайте ко мне вечерком, как стемнеет, около восьми, в пятницу... Люди духом отощали, так вот я собрал их у себя, наиболее обалделых, и граммофончиком потчую. Такой, знаете, паноптикум у меня, такой зверинец, просто антик! Вам это вместо лекарства, на них без смеха и глядеть нельзя... Ах, смех — великое дело. Каменные стены смехом ломаются, да-да! У вас ферт, значит? Как хотите, а под номерок и вас поставлю. Так и запомните, нумеро ваше — семьсот тринадцатое. Фамилию, конечно, называть не буду, тайна, тайна! — Он сделал страшную рожу и потрепал Фёдора Андреича по плечу, — а под номерок занесу. Не могу — бисер под ногами валяется... Вы уже идете? Постойте, я вам рецептик накатаю, один момент, с рецептиком легче! Он присел к столу и заскрипел пером. — А ферта вы не бойтесь, еще и пострашнее бывает... — говорил он, записывая узкую полоску бумаги сверху донизу и ставя вихрастый росчерк в конце. Он встал и уже смеялся. — У меня, знаете, вчера утром чернила замерзли. Встал, тюкнул пальцем, а льда-то и не проколотишь! — Он похохотал еще, зорко высматривая внутренние движения гостя.

Уже в прихожей, где Фёдор Андреич угрюмо метился разношенным штиблетом в калошу, снова набросился на своего редкостного пациента Елков.

— Ведь вы не знаете, откуда вам знать!.. Бессмыслица, а не целесообразность. Где ж он — центр-то мирозданья, это я-то центр? Враки, враки, — кто вокруг меня, жеваного, ходить будет? Я, Фёдор Андреич, сами видите, корчусь, а кому они, корчи эти мои, нужны? Я спрашиваю, кому они понадобились? Черту лысому они нужны — вот кому! — Елковское неистовство вдруг обратилось в робкое отчаяние. — Я... месяц назад... братишку схоронил. Поехал за картошкой, а привез сыпнячок. Послушайте, вы знаете, что это значит, — близкого схоронить? Вы попробуйте, вы попробуйте тогда из себя выдавить — «да будет воля твоя», попробуйте! — Он хрустнул руками и повернулся боком.

Было Лихареву и жалко и тошно.

— Мириться нужно,— мир так устроен, что все переплелось. Щепочку вытянуть — и развалится все, — неумело рассуждал Фёдор Андреич.

— Правильно, правильно, — чтоб и розы пахли, и покойнички? Не хочу, не хочу-у! — процедил исступленно хозяин.

Но Лихарев уже сходил вниз по лестнице. Ему, склоняясь в пролет, крикнул, видимо, оправившись, Елков:

— В пятницу приходите!

Оттуда, из глубины, черневшей колодцем, долетел к ушам Елкова отголосок своего же:

— ...ите.

Елков постоял и плюнул вниз. Белое пятнышко скользнуло во мрак колодца, и через мгновение долетел обратно четкий звук шлепка. Потом Елков покрутил плечами, втянул голову и вскочил проворно в свою холодную, нетопленную конуру.

V

Дома Лихарев застал у себя Мухоловича.

— Я у вас вот уже часик посиживаю, хе-хе... — Мухолович всегда был жизнерадостен, но в смехе своем

экономен. — Я вас тут ждал-ждал, думал-таки конец профессору. Вы, господин-товарищ Лихарев, не надо хмуриться. Меня давеча Сара спрашивает: ты куда ушел, Мухолович? Я ей отвечаю: к профессору Лихареву. Она меня спрашивает: что ты будешь говорить профессору Лихареву, ты ж глуп! Я, говорю я ей, глуп только в профиль, а в три четверти так очень даже ничего себе, хе-хе... Сара, если хотите знать, она ж добрая женщина, но она... — Мухолович лукаво нарисовал восьмерку перед самым своим лбом, — она ничего не соображает в культуре! Ну, чего она может понимать в слове «культура»? Ничего! — отведя ладошку в сторону и пожимая плечами, пропел Мухолович и стих.

Лихарев улыбнулся, не мог он не улыбнуться, хотя настроение у него после Елкова было дрянное.

— С чего это вы такой разбитной сегодня, вы не именинник ли нынче?.. У вас как, — бывают именинники? Завидую я вам, Мухолович, право, — этакая живучесть в вас! — Лихарев всегда говорил с Мухоловичем немножко свысока, и всегда как с ребенком.

— О! Я и сам давеча себя спрашиваю: чему ты, рваный Мухолович, радуешься?.. меня раз собакой травили... — доверчиво сообщил он Лихареву. — Был один такой в России господин, с воображением, знаете, так они меня чуточку не разорвали! На мне тогда теплые штаны были, хе-хе... Так вот: чему, говорю, ты, разорва́нный Мухолович, радуешься? Или солнце светит для тебя одного? Я ему тогда так: зачем мне только? — Мухолович, точно отказываясь, выставил обе ладони вперед. — Его на всех хватит!..

— Кому ж это ему? — поинтересовался Лихарев: было всегда любопытно Лихареву, как текут мысли в этом маленьком человечке.

— Как кому? — удивился тот, — другому Мухоловичу! Так ведь их же у меня двое сидят, словно компаньоны в каком-нибудь магазине, сидят и спорят. Когда один говорит, так другой ругается... ах! — вскричал Мухолович, — как они нехорошо ругаются промежду собою! Один говорит: Исаак, ты — падаль, ты два раза падаль!.. А другой вот: Исаак, не верь ему, он же дрянь,— для тебя тоже солнце

светит, — ходи веселей! А я слушаю-слушаю, да и говорю им: кому ж, говорю, Мухолович нужен, раз один вовсе не подает руки Мухоловичу, а другой насылает на тебя собак? — И вдруг Мухолович сделал умильное, целящееся лицо, — второй-то мне говорит: Исаак, слушай, Исаак, ты культуре нужен, о! — Мухолович поднял перст, дважды погрозил им кому-то и с внезапной стыдливостью спрятал назад, в кармашек.

Фёдору Андреичу стало неловко от Мухоловичевой откровенности, и, словно желая исправить получившееся молчание, Мухолович вынул из кармана маленький какой-то пакетик и с осторожностью подсунул его на колено Лихареву.

— Что это? — спросил Фёдор Андреич, все еще улыбаясь и шаря рассеянно в жилетном кармане.

— Это? О, культура! — Опять перст Мухоловича величественно проткнул невидимую плоскость перед самым носом и опять с неловкостью спрятался в карман. — А это... это пуговицы, чтоб удобней было... А вы почему смеетесь? То вы должны сидеть и себе шить, шить... А то вы наставляете вот эту головку вот так, чик и... — Мухолович с восторгом сощелкнул механическую пуговицу и на ладошке протянул Лихареву.

— Эх, вы, чудак, — посмеялся ему Фёдор Андреич, — какой вы! Неужто ж вся культура только в том, чтоб с меня брюки не упали! Разве человек на земле ради пуговицы живет?

Мухолович стесненно молчал. Только постояв несколько минут, он снова заговорил — о новом для Лихарева, не высказанном ему еще ни разу. Оглянувшись на кухню, откуда был слышен плеск, — сестра занялась стиркой, — Мухолович подошел вплотную к Фёдору Андреичу.

— У нас будет небольшой взаимный разговор... — с обычными ужимками почтения начал он, притворив дверь на кухню. — Ваша сестра очень больной человек, ее беречь надо, однажды может не вернуться из очереди... Сейчас разогревала на завтрак вам лошадиную голову и сказала, что вы писали большой труд об этом... ай, забыл! Я же не ученый, я — человек дела...

— Ну, о мезозойском климате, скажем, писать не ко времени пришлось! А в чем дело? — уже не раздражаясь, отозвался Фёдор Андреич.

— У меня правило копейки не доверять людям, они над тобой же смеяться будут. А Мухоловичу же неинтересно, чтобы над ним смеялся профессор Лихарев. Вот, мы заключаем с вами договор без наклейки марок: вы пишете дальше свой труд, а я вам за это ношу всего... ну не всего, конечно! Где достанешь для профессора портвейн или ветчину, когда и мыло по карточкам. Просто все падает из рук...

За месяц их знакомства Фёдору Андреичу как-то не приходилось вникать в душевные побужденья своего благодетеля; приношения Мухоловича, сельдь и пшено, доставлялись через задний ход и там же, на кухне поступали в разделку. Внешне поведение Мухоловича вполне удовлетворительно объяснялось полагающимся благоговением последнего перед культурой. Но с некоторого времени Фёдор Андреич начал испытывать неловкость при произнесении этого хоть и высокого, но слишком отвлеченного пароля, содержавшего сомнительное право на чужой паек.

— Простите, Исак Иваныч... разумеется, это глупо — выяснять происхождение каши, которую в полупещерных условиях тебе дарует судьба, — нетерпеливо забормотал Фёдор Андреич, — однако не скрою, до смерти интересно узнать, какого черта ради вы расстаетесь с имуществом, составляющим первоочередную, даже философскую ценность нашего времени?

Тот вполоборота, не без испытующего лукавства, покосился на любознательного профессора:

— А культура?

— Культура... — немедленно раздражился тот, — есть совокупность всех духовных и материальных приобретений нации... это в обоих смыслах — состояние народное! И оно не может, черт возьми, держаться иждивением частных лиц.

Мухолович помолчал, и вдруг поразительные перемены стали происходить в его облике, и прежде всего исчез анекдотический акцент, как только сквозь манеру

поведенья стала просматриваться душа. Впервые Фёдор Андреич различил уже совсем немолодой возраст и неказистый облик самого волшебника, должно быть, немало навидавшиеся горя, с насупленными бровями глаза, и вот, машинально сравнивая, даже коснулся своих запущенных, как ни странно — таких же, как у Мухоловича, серых и впалых — щек.

— Вы хотите начистоту?.. не знаю, попробую! — пожал плечами Мухолович, не спуская с Фёдора Андреича странно проблеснувших глаз. — Я вам скажу: сколько лет, и уж дети, а еще вижу во сне, как я бегу по двору от спущенной собаки, и такой симпатичный, знаете, господин в халате с кисточками наблюдает мне вдогонку. Это, наверно, очень смешно смотреть, как человек в чем-то длинном, как в мешке, убегает вприпрыжку... ну, как же она называется, эта зверская порода, когда морда как чугунный замок и немножко набок? О, не-ет, теплые штаны даже и летом полезная вещь. И тогда у меня открылась странная психология, после того переживания: мне ужасно захотелось, чтобы профессор Лихарев написал свою книгу про то, чего нет...

— Чувствую в вашем рассказе что-то бесконечно болезненное, даже дерзкое, но, простите, не понимаю, — мучительно тянул Фёдор Андреич.

— А вам непременно надо все понимать? Это никакой головы не хватит, если все понимать! — И снова потешный акцент зазвучал в речи Мухоловича. — В конце концов пшено же — это более нормально для человека, чем лошадиная голова. Не думайте, чтобы я принципиально возражал против конины... Говорят, это даже характерно в переходные, к счастью, эпохи! Но только лошадиная голова... лично я как-то не могу считать лошадиную голову за хорошее питание, это скорее историческая необходимость. Я бы сказал, для нее, кроме аппетита, нужен еще героизм и даже немножко зверство!

Разогретый воспоминаньем, он стал разматывать с шеи грязный вязаный шарф.

— Много у вас детей? — помедлив, размышляя о сказанном окольным путем, спросил Фёдор Андреич.

— Трое... но не думайте о моих детях! Это моя забота... — так же тихо отвечал Мухолович и напрасно ждал очередного, всеразъясняющего вопроса хотя бы, для начала, только о месте происшествия.

Откинувшись спиной к стене, Фёдор Андреич рассеянно глядел па мезозойский камень, причудливо освещенный помаргивающей лампой. Очень болело где-то под лопаткой. Свечерело совсем.

— Вот что, Мухолович. Когда у меня будет тепло и мне не нужно будет красть лошадиные головы в темных переулках, я и сам начну работать, но пока не обещаю. У меня все вразброд разбежалось, — нужно еще собирать их, мысли, с год... да мне и немного осталось... не жить, а писать немного осталось! — резко поправился он.

— Можно на минутку к вам? — просунулась в дверь голова сестры; не дожидаясь ответа, она вошла, торжественно неся в руке сковородку с поджаренной рыбой и стакан настоящего, судя по запаху, кофе.

— Это давеча Исак Иваныч принес. Оп прямо волшебник у нас, Исак Иваныч, — вся сияя, заговорила она. — Федя, ты попросил бы, кстати, у Исаак Иваныча дровец достать, а то...

И тут оно накатило вновь, как всегда без предупреждения.

— К черту... — шепотом рванулся достигший какой-то внутренней точки Фёдор Андреич и в ярости вышиб кулаком завтрак из рук Елены. Рыба, с легкостью для нее неожиданной, взлетела вверх, переломилась в воздухе и шлепнулась к ногам испуганного Мухоловича.

— А где же культура!— жалобно вскричал Мухолович, подымаясь на цыпочки.

Одновременно с криком знакомо обозначился у Фёдора Андреича укол глубоко под ребрами. Елена с Мухоловичем исчезли за пелену внезапного тумана, а из окна, сереющего ранним вечером, вылез не спеша ферт.

— Чего ты ему позволяешь, спустил бы собак на паршивца! — ухмыльнулся ферт, подбочениваясь. — И охота же тебе этакие воды психологии разводить!..

Закрывая лицо руками и сгибаясь всеми костями, Фёдор Андреич повалился на кровать.

VI

Был когда-то Фёдор Андреич совсем маленьким, славным был бутузом-карапузом, кушал кашку, не знал ничего. А когда на ночь, бывало, не хотел ложиться Феденька, брыкал няньку барской ножкой, показывала та сурово костяным пальцем в окно, за которым, вдоль и поперек полей сугробных, искала баба-вьюга нетеряную кладь... И боялся, и детским сердцем обожал ту непутную бабу Феденька.

Происходил Фёдор Андреич из краев, что особо славятся буранами, и до зрелых лет воздыхал с сожалением о былых поездках из Пензы в Городище, к бобылю-отцу на рождественские каникулы; обычно дорога выпадала на ночь. И всякий год, помнится, везло Феденьке на снежную непогоду: завернув ноги в веретье, по маковку в пушистом сне да сене, качался он всю полсотню верст в уютных тамошних розваленках, положась на ямщицкую смекалку и крестьянского коня. И чем разбойнее свистали белые вихри-дядьки над головой, тем слаще удовольствие: никто в уезде, мороз в том числе, не посмел бы обидеть, не по чести обойтись с сынком всемогущего, по старинке крутого исправника Лихарева.

Но то ли грудная жаба да суставный ревматизм, только с годами поослабло у Фёдора Андреича романтическое рвение к российским снегопадам. Да, видно, и снежок не тот стал, и когда отправлялся Фёдор Андреич к ненавистному Елкову в гости, просто мокрая липучая гадость тяжкими хлопьями летела ему навстречу, поминутно залепляя глаза.

Улицы той пятницы были темны, и никого в них, кроме шагающего неторопливо Фёдора Андреича. Он шел, наслеживая огромными калошами по пухлым снежным поверхностям и время от времени протирая рукавицей глаза. В душе он очень досадовал на себя, что опять потащился к Елкову, и, чтоб сократить время досадования своего, заметно ускорил шаг.

Его, поднимающегося по лестнице, казавшейся шаткой из-за темноты, перегнал некто тяжелый и пыхтящий. Состояние Фёдора Андреича было таково, что ему

непременно требовалось если не увидеть, то, по крайней мере, услышать голос этого, перегоняющего.

— Скажите, в котором... в котором этаже квартира доктора Елкова? — спросил он, чтоб только спросить о чем-нибудь.

Из тьмы прозвучали размашисто сказанные слова:

— Елкова? А-а... вы, значит, тоже к Ивану Павлычу? Так это нам вместе, вы держитесь за мной!..

Но уже через полминутки тот же, невидимый, разделяя вопросительными промежутками слова, осведомился:

— А вам, извиняюсь, зачем... туда?

— Да так, от одиночества людского... — признался Лихарев.

Тотчас же тот, невидимый, зажег спичку, и в ее мерцающем туманном круге клубами двух дыханий наметились два лица: второе принадлежало ширококостному, приземистому, с бородишкой, человеку в простенькой, серошинельной поддевочке. Лицо Лихарева рассеяло страх, прятавшийся в глазах незнакомца, — последний засмеялся, протягивая руку в варежке:

— Водянов... Сергей Трофимович, — разрешите рекомендоваться. На граммофончик изволите? Позвольте, я сейчас еще спичечку вздую, чтоб видней. Вы не профессор ли будете? Иван Павлыч так и обещался, что новый номерок явится. — Он подсмеялся, скаля большие, желтые в свете спички, зубы.

— Да-а, на граммофончик иду, — тоже с чего-то заулыбался Лихарев, при свете третьей спички оглядывая нового знакомца.

— Э, да вы не глядите так на мои наряды. Мы это при первой возможности снять можем. Мы это, чтоб на жулика походить, сейчас обязательно надоть под жулика. Но мы хоть и пугаем, а нас пугаться, извините, не следует: мы ж люди безобидные! Безобидному-то и нужно под жулика рядиться, чтоб не обидели, истинно говорю... Ну, вот мы, кажется, и доехали, — сказал Водянов, стуча в дверь четыре раза и потом еще один.

Они вошли в уже знакомую Лихареву прихожую. Встретил их сам Иван Павлыч, ставший вдвое оживленнее потирать руки при виде входящего Лихарева.

— Пришли же? — с радостным упреком и поиграв тощими бровями, кинул Елков, вешая лихаревскую шубу поверх целого вороха разных одежд. — Ну вот и прекрасно, вот и прекрасно, — я знал, что придете! — повертелся он. — А поленце принесли? — обратился Елков к Водянову, тотчас же поясняя Фёдору Андреичу: — У нас, видите, порядок — по поленцу! За обозревание паноптикума платы не взимается, но, в виде компенсации, за беспокойство... — Елков игриво тряхнул пальчиком,— по поленцу. Даже и в наши времена это не разорительно, раз-то в неделю!.. А позвольте, я вам помогу, — наклонился он к огромному водяновскому карману, откуда беспомощно и тупо выглядывало круглое березовое поленце. — Ну-с, прошу, кавалеры!

— Дело-то в том, что я порядков ваших не знал, полена не принес. Возмещу потом... в долг поверите? — засмеялся Лихарев.

— Ну, вот еще, пустяки какие! — отмахнулся хозяин. — Вы в нашем зверинце самый крупный будете, чудище, с позволения сказать... мезозавр!.. — рассыпался смехом Елков. — Ну, теперь ввожу, приготовьтесь, — что это вы карманы ощупываете?

— Носовой платок дома забыл... — вставил в елковскую трескотню Лихарев.

— А я уж решил было, что вы это из предосторожности... всех мастей карты в моей колоде имеются. Обратите вниманье на того битюга, Грещенко... обладает полумистической способностью хвосты у всех видеть. В наше, говорит, время бесхвостых нету, вывелись! А рядом, с ликом святителя выдающийся спекулянт по гороховой части, Носов. Тоже малость чем-то тронутый, только не разгаданный пока, иначе не тянулся бы ко мне... Дальше сами разбирайтесь, ступайте знакомиться! — Елков выдернул руку из-под лихаревского локтя и как-то мгновенно истаял в саднящем слоистом чаду.

В комнате, — это был елковский кабинет, — было дымно, и потом ошарашивала махорочная тошнотворность. Махоркой дымил усатый, которого Елков назвал Носовым, — усатый сидел в углу, за столиком, и спорил с печкой, кто больше напустит дыма.

Лихарев, разобравшись в лицах, плававших в дыму, пошел знакомиться.

— Кромулин, Алексей Георгиевич, поэт... — произнес настороженно пегий юноша, поджимая вдавленную грудь; пригладив прилизанный пробор, он шаркнул ножкой, повалил стул, вспыхнул и обиделся.

— Лихарев, профессор... — в тон ему ответил Фёдор Андреич.

— Сиволап,— сказал другой и протянул квадратную ладонь Лихареву, не сразу догадавшемуся, что это фамилию свою произнес стоящий перед ним массивный человек.

— Титус! — назвался третий мужчина, длинный и тонкий, вылезая из дыма. — Вы не щурьтесь,— вызывающе резко добавил он, — не псевдоним, настоящая! Моя фамилия — большая редкость, пожалуйста. Бывший капитан и рубака, а ныне тлен и раб прохвоста Елкова... — пожаловался он потише, щекотнув бакенбардами ухо Фёдора Андреича.

— Рытова, — с интонацией обиженного достоинства назвалась немолодая дама с волосатыми родинками по лицу. — Очень приятно.

Лихарева устрашили сидевшие дальше, на диванчике, мрачные люди, и он ограничился общим поклоном.

— Господа, — закричал Елков, когда все уселись, — все познакомились с Лихаревым, Фёдором Андреичем? Ну и ладно. А теперь попросим Алексея Георгича продолжать чтение своих стихов: подыхать, так с музыкой! — гримасничая, через всю комнату пояснил он Фёдору Андреичу.

— Я больше читать не буду, — покраснел юноша, останавливая близорукий взгляд на новоприбывшем.

— Почитайте, ну что с вами?.. Почему вы не хотите доставить удовольствие? — затараторила сморщенная старушка, выплывая из соседней комнаты.

— Это мамаша моя, — подхватил ее под руку Елков, — та самая... А это Фёдор Андреич, профессор бывших наук, — знакомьтесь, мамаша! Ничего, Фёдор Андреич, не краснейте, — она ж понимает... — сказал Елков нахмурившемуся Лихареву. Сунул по дороге поленце в печку и отскочил в сторону, легко, как в танце.

— Не знаю, что это с Ваней делается, ума не приложу, — жалобно зашептала старушка, усаживаясь возле Лихарева. — По ночам все кричит во сне, днем с этими мазуриками связался... Словно в сумасшедшем доме живу. Вы меня Анной Евгеньевной зовите... меня Анной Евгеньевной зовут,— сокрушенно объявила она.

— Конечно, конечно, почитай, — что тебе стоит! — басом затрубил волосатый Косов. — У меня вот письмоводитель был, необыкновенный зуд к стихам имел. Раз казенное письмо в стихах исполнил, со службы выгнали, запил и сгиб. А что? — спросил он при общем смехе, — разве смешно? — И сам засмеялся.

Кромулин украдкой бросил вопросительный взгляд на Лихарева.

— Простите... Алексей Георгич, кажется? Читайте, читайте, прошу вас... — заспешил Лихарев. — Я, правда, незнаком с нынешними направлениями...

— Я без направления, — глухо сказал Кромулин, — но читать не буду.

— В прошлый раз обещал, Алёша, — укорительно бросил Елков.

— Не могу, не хочется, — отвернулся тот.

— А про что же он больше пишет? — начал свой разговор со старушкой Фёдор Андреич.

— Как про что? — обиделась та. — Про Россию, батюшка, про Россию, господин профессор. В слезу вгонит, жалостно. Я уж и то намедни говорю, выкладывай все про Россию, не жалей меня, старуху... Он еще и про любовь пишет, только у него про любовь хуже выходит. Да и какая нынче любовь!

Старушка кивнула головой и, заметив, что невестка за каким-то делом зовет ее, пугливо тараща глаза, поднялась и уплыла.

— Так что же может он написать про Россию? — недоуменно и вслух протянул Лихарев.

— Виноват, что вы сказали? — грузно придвинулся к нему вместе со стулом Сиволап.

— Да вот удивляюсь, — пожал плечами Фёдор Андреич, — удивляюсь, что можно написать про Россию с таким лицом!.. Уж очень вид-то у него... пробор этот к тому же.

— А-а! — одобрительно отозвался Сиволап. — Вы про племянничка елковского? Так себе, горемыка бумажная, глаза б мои не глядели! Россия, можно сказать, родит в исторических, жизнеопасных муках, заметьте... потому что дите-то, чего доброго, может побольше матери оказаться на поверку... тогда плохо дело! Да тут песни требуются, литавры, в трубы пламенные надо трубить, чтобы, белые рубахи чистые надемши, сходились отовсюду народы к нам в место главного сборища... А они, пташки экие, вокруг порхают, свиристят невесть что! Мне бы их под начал, я бы... — Он осекся, закашлялся, приметив устремленные на себя насторожившиеся взоры елковских гостей, и отправился к столику посреди, где вместо угощения поставлен был графин с подкрашенной сиропом водицей и рядом полосатенький такой стаканчик.

— Некипяченая... — откуда-то и с понятной целью сказала старушка.

— Ничего, меня нонешняя зараза не берет! — туда же, в дым, кинул Сиволап и, нацедив, выпил два стакана разом.

Тут оказалось, Елков давно уж сидит возле Фёдора Андреича.

— Ну-с, какова коллекция? — похвастался хозяин. — Стоит поманить только, и идут. Страшно одному в пустыне-то ночной, вот и летят отовсюду на огонек... мошки разные, этакие жуки хватательные. И знаете, иной раз занятные штучки залетают...

— А кстати, кто вон тот, в валенках? — негромко спросил Фёдор Андреич, показав глазами на Сиволапа. — Из прозревающих, что ли?

— О, присмотритесь, коллега... распервейший враг мой. Но тянет нас друг к дружке взаимно, ни пятницы не пропустил... как, впрочем, и вы отныне станете ходить, хотя порою и со скрежетцем! — смешливо поскрипел Елков. — Ветеринар он, однако теперь вместо скотов и нашего брата, двуногих, по необходимости пользует... хотя все лекарства по-прежнему в лошадиных дозах предпочитает. Под номером сто десятым числится в моем собрании... Любопытную теорийку сочинил, будто птички, зайчики там, вообще скоты и есть нормальное колесо в

колымаге природы... человечество же, напротив, есть колесо с оси соскочившее, которое вот и мчится по буеракам вдоль столбовой дороги и вопреки видимой логике, пока не успокоится в какой-нибудь канаве. Колымага же, видимо, и дальше проследует в нескончаемые века.

— Занимательно, непременно расспрошу поподробней при оказии... — приглядываясь к домодельному философу, заметил Фёдор Андреич. — А тот дальше, с бакенбардами, тоже из свихнувшихся мыслителей будет?

— Это Титус-то? О, любопытнейшая карта в моей колоде! — обрадовался Елков. — Имеет загадочный камень на душе, значительного веса и, видимо, причудливого содержания. Все стряхнуть хочет, а не может... плохо кончит, по-моему. Позвольте, никак началось... давно откровения от него жду!

Толкая новичка под локоток, хозяин повел Фёдора Андреича в угол, где в окружении небольшой аудитории, сосредоточась в одной точке и с недобрым блеском в глазах, долго, словно в дальнюю дорогу, набивал себе трубку Титус.

— Можно и нам, Сергей Яковлич? — присаживаясь в компанию, спросил Елков.

— Отчего же... — чуть поморщился тот, — только ведь я так, пустячок один. Мы тут спор завели насчет подсознательных человеческих побуждений, и так у нас получается, что все вроде ни к чему!

— Это в смысле добра и злодейства, что ли? — ловко вплелся в рассуждение Елков. — Так ведь эти вещи лишь на мелких, частных примерах людского поведения проследить возможно. А ежели в историческом разрезе да с близкого расстоянья взять...

— Начинайте же! — закричали со всех сторон. Неверной рукой Титус поднес спичку к отверстию трубки, пустил клуб-другой махорочного дымка, потом дал спичке догореть в пальцах.

— Был у нас в Тридцать восьмой артиллерийской бригаде забияка один, Жеромский, крайне неприятный господин. Из оригинальности маску демоническую сочинил себе и, сплетничали, будто средневековый яд в перстне носил...

— Вот такие головорезы и прут с Деникиным на матушку Москву. Дай им волю... — начал было Сиволап и замолк, зашиканный со всех сторон.

— А этот напротив, — вкось огрызнулся Титус, — хоть и с игрой был, однако над весьма многим задумывался, христианство критиковал, даже пытался искать правду жизни... в меру умственных способностей, разумеется! Незадолго до войны, поздней осенью все случилось, перед самым снежком. Стоял наш дивизион в ужасной одной дыре, каких и в России немного: до офицерского собрания — от квартиры триста сорок шагов всего — в седле приходилось добираться. Ну, кто чем занимался в этакой тоске да грязище, — пили, банчишком баловались... мой Жеромский очень выпукло рыцарскую любовь к командирской дочке изображал, причем имел в этой части достойного себе партнера и соперника. В житейском обиходе, кстати, этот самый соперник Варнавин, много моложе его, довольно застенчивый и приятный юноша был. Началось у них, как всегда, с ерунды, с несогласия по поводу погоды и постепенно докатилось до неукротимой обоюдной ненависти. И так как нужна им была точка, ось для взаимного кругового преследования, то и выбрали ту чрезвычайно худосочную девицу с бархатной ленточкой на шее. Вертушка была и уже довольно зрелая, но за отсутствием других женщин и в обстановке постоянного боготворения чертовски расцветала иногда. Видать, оба холостяка ей нравились, но, как тоже часто случается, все тянула с выбором, промахнуться опасалась... И тут прибыл к нам, помнится, на учения инспектор артиллерийский: гаубичный бас, борода в аршин, самого только на лафете возить. Вечерком после муторных учебных занятий сидим за кофейком в собрании, балаболим, в карты режемся, кто что... Варнавин близ своей девицы, сидевшей с котенком на коленях, гитару щипет. Время позднее... и тут поднимается вдруг мой Кукович, внушительно просит всеобщей тишины...

— Вы его вначале Жеромским назвали, — вразумительно напомнил Кромулин.

— Пардон, словесная осечка... — с гримаской досады поправился Титус. — Подходит он к Варнавину с

двумя бокалами, в один высыпает на глазах у всех содержимое из перстня, производит путаную рокировку бокалов раз и два, после чего предлагает противнику, поскольку дуэли запрещены, выпить наудачу за здоровье прекрасной дамы и тем самым под благовидным бескровным предлогом разрубить затянувшийся спор. «Не угодно ли, Владимир Каэтанович? — спрашивает. — Берите любую, мне — оставшаяся!» Тот заметно бледнеет от неожиданности одной. «Бросьте, Жеромский, — примирительно отвечает,— вы просто в карты продулись сейчас и лишнего глотнули... а вообще нам всем на боковую пора». — «Вот разопьем по последней, — цедит сквозь зубы Жеромский, — и разойдемся действительно в разные сторонки! Ну, полно трусить, прелестный вьюнош... ай кишка слаба?» Тут всеобщее замешательство, потому что все это бесконечно глупо, а во-вторых, у Варнавина, как оно положено в таких историях, престарелые родители, сестрица неизлечимая и неугасимый талант к музыке. Вдруг наша барышня с черным ошейником поворачивает головку к Варнавину да капризно так: «Неужели вы божьего суда боитесь, Костя?» Ну, дура, дура!.. Наступает всеобщая похоронная тишина, слышно, как муха крылышки чистит...

— Какая же муха перед снежком-то! — почти любовно усовестил Елков.

— Специально посадил, ваше внимание проверить... — с выраженьем злого вдохновения в лице усмехнулся Титус. — «Ну, раз отказываетесь от моего тоста, я тогда оба за нашу даму выпью», — Жеромский-то говорит и, прежде чем кто успел из руки выбить, опрокидывает залпом один бокал за другим, после чего садится на стул, начинает трубку раскуривать... Между прочим, перед командиром батареи, этакий апоплексический толстяк был!.. рюмка перед ним стояла,— по окончании разжал он ладонь, а она в крови вся от раздавленного стекла... вон как! И хотя впоследствии почти все возмущены были подобным вызовом, тем не менее ужасное дело сделано, и яд внутри начал свое действие, все смотрят осудительными глазами на притихшего Варнавина, который вслед за тем стремительно убегает. А по прошествии минут двух

поднимается со стула и наш несостоявшийся покойник. «Действительно, расходиться всем нам пора, говорит, а за здоровье мое не бойтесь, поскольку это была всего лишь шутка... обычная сода была: после вчерашнего перепоя зверская изжога гложет!» И, представьте, ушел как ни в чем не бывало...

— А Варнавин этот? — спросил кто-то со стороны изменившимся голосом.

— Помнится, застрелился он тут же, как ушел... неустойчивая натура был. Кроме того, с легкими у него было наследственное неблагополучие, — с неудовольствием ответил Титус. — Но я все это к тому лишь рассказывал, чтобы показать на примере моего Жеромского истинные потемки человеческой души...

Все в молчании курили, сосредоточенно сердясь на что-то.

— А видно, дрянное у вас офицерство было, коли никто вас за это как сучку не пристрелил! — после паузы с одышкой презрения подвел итоги Сиволап, снова и шумно отправляясь по воду.

— Да кто вам дал право думать, что это я, черт вас возьми? — в спину ему разъярился Титус.

— Господа, господа... — хлопотал среди галдевших гостей хозяин, — вступайте в дискуссии, однако же без драки, прошу вас...

— Вот и я тоже, поскольку вы заняли вниманье наше, хотел бы выяснить смысл как содеянного вашим Жеромским преступления, так равно и басни вашей в целом, — раздельно вставил Водянов.

— Ишь чего захотел, — жарко вступился за рассказчика Елков, — этак вам нынче маленькую цель подай, а завтра вам вообще высшей мудрости, а то и бога в этой червоточине захочется. Нельзя, батенька, быть столь привередливым, особливо в наши дни! А скажите, во всей истории людской, в Астиагах этих и Дариях, в героях корсиканских и македонских виден вам какой-нибудь единый замысел?.. в непрерывных злодействах во имя целей, так и не осуществленных никогда, во имя креста, полумесяца и других геометрических фигур, означающих личное благоденствие... в мультисожжениях и сажа-

ниях на кол по три тыщи в шеренге, в расстрелах, резнях и потоплениях... Словом, сквозь всю эту кровцу и уголек просматривается вами какая-нибудь высшая мораль, мысль творческая? Ибо за все эти благородные порывы кровью сполна вперед уплачено. Вот вы на историю не злитесь, а на отдельную особь наваливаетесь, потому что в истории-то взять не с кого. А не надо бы, понимаете?.. не надо!

— Чего, чего не надо? — хоть и в драку готовый подступил Сиволап.

— Не надо, говорю, смысла искать в этом бурленье вещества... переселениях, извержениях вулканов, нашествиях саранчи, во всемирно-эпохальных преступлениях... — стал отступать Елков.

— А что надо тогда? — допытывался тот со сжатыми кулаками.

Оба они взирали теперь друг на друга с такой ненавистью, что уж вовсе необъяснима была и бессмысленна сила, соединившая их здесь.

— Из-за чего вы сцепились с ним, Елков? — засмеялся Фёдор Андреич. — Выходит, вы же целиком согласны с ним, что человечество не что иное, как сорвавшееся с оси и покатившееся самостоятельно под откос природы колесо!

— А ну вас к черту всех, — после паузы махнул рукой хозяин.— Давайте лучше музыку слушать... Господа, прошу внимания, завожу,— возгласил он. — Перед вами, господа, предстает сам профессор Вергилий Ранзато со скрипкой,— прошу!..

Граммофон щелкнул пружиной, крякнул на повороте и, входя мало-помалу в силу, томно засвистел неистовой скрипкой. Выходило нечто румынское, но с писком. Елков, опустив голову, с неспокойным и усталым лицом думал о чем-то постороннем. Кромулин сосредоточенно грыз ноготь. Косов взволнованно бормотал что-то на ухо Титусу. Порой, когда Ранзато разделывал пьяниссимо, можно было услышать: «За кого же он меня принимает?»

— Ну, как вам эта адажийка нравится? — вновь лихорадочно оживился Елков, когда Вергилий Ранзато досвистел до конца свое соло. — Ну, а теперь я вам по-

ставлю... знаете, кого я вам поставлю? — нескупо поулыбался он, — ха, вы себе даже представить не можете! Теперь вот из этой самой дырки будет петь... сам Тита Руффо! Да-да, тот самый, настоящий. Темперамента, зною в нем — казарму отапливать можно! Да нет, кроме шуток! Я на днях и грелся этим итальянцем, дрова все вышли...

Граммофон снова издал вначале несколько глухих непривлекательных звуков, и вот засевший внутри господин, верно, с богатыми усами, запел, несмотря на тесноту ящика, нечто длительное и безутешное.

— Как, милейший Фёдор Андреич, нравится? — с гордостью обладателя спрашивал Елков, пока певец то возносился на недоступные обычному голосу высоты, то морским прибоем, с воркотанием, разбивался у ног роскошной красотки. — Подумать только, какой сытости была эпоха, чтобы с подобной, главное безответной беспечностью тратить жизненно необходимые соки по таким сущим пустякам...

— Какой у вас кот, я бы сказал, благоприятный... — невпопад пошутил тот, беря на руки вышедшего из-под кресла крайне упитанного кота. — На него и глядеть-то, знаете, даже слюна бежит непроизвольно. Отличный съедобный экземпляр! А что, если зажарить такого по поводу какого-нибудь там очередного торжества?

— Как у вас язык не сломается от подобного употребленья... — пугливо вскинулся Елков, отбирая на всякий случай у гостя своего любимца. — Матушка моя только для него и живет. — И вдруг задумался: — ...Вот, кстати, как полагаете, не совестно для кота жить?

— А чего ж стесняться? При ваших взглядах на цель существованья...

— Я так полагаю, что, направляясь в неизвестность, ни с чем не стыдно идти,— уклоняясь в свою мысль, перебил Елков. — Да и куда с ними, с такими вот людишками, идти? Да разве можно, голубчик, грязными-то ихними руками да деликатные зданья возводить! Да они, извините, весь этот деликатный домик по кирпичику растащат! Чего смеетесь? Посмотрите годиков через пять, сами увидите. Выпороть если их предварительно всех по разу, тогда, может быть, и... нет, по разу не хватит, по два

надо! Впрочем, и тогда не выйдет ничего! — заключил он тихо.

— Но позвольте, — собрался возражать Лихарев, но Елков, рукой махнув и крикнув: «Заводу не хватило, кстати, извините, я иголочку переменю»,— побежал к граммофону. Тита Руффо стал хрипеть, и являлось опасение, не сломается ли от этого вся машина.

— Ну, как? — покрывал гуденье всего зверинца Елков, когда знойный итальянец, воспарив к небу, томно и жалобно спустился оттуда, как бы на обломанном крыле... — Силища ведь! Эх, как это говорится: если бы я не был Цезарем, хотел бы я быть Титой Руффой.

Косов сказал басом:

— Да, музыка колоссальная. Дивно, прямо дивно.

Некто из глубины откликнулся тенором:

— Действительно, вещь хорошая, но самый голос как будто подпитой.

Водянов горячо докончил:

— Нет, голос отчетливый, истинно говорю.

Елков с видимым наслаждением приглядывался ко всем троим. Фёдор Андреич поднялся и стал прощаться. К нему подошел Титус:

— Мы вместе идем, кажется... Нам ведь по дороге?

— Не знаю, мне налево.

— Как, разве налево? Ну, все равно... Не прощаюсь, значит.

Все выходили в прихожую.

— Сергей Яковлич! — громко, среди всеобщего шарканья, окликнул Титуса хозяин с выраженьем охотничьего лукавства в лице, — что это я вас хотел спросить?.. Вы тут упомянули, что в Тридцать восьмой служили, кажется?

— Ну, — ждал Титус.

— А долго ль вы там побыли?

Титус вскинул на мучителя мутные, красные глаза.

— Служил сколько? Сейчас, э-э... Полтора года служил.

— Полтора? — повторил Елков. — А не знавали ли вы там прапорщика Ишменецкого, Казимира Игнатьевича... двоюродного брата моего?

— Так разве он вам брат двоюродный? Вот ка-ак... — протянул Титус, осторожно берясь за скобку двери, — как же, как же! Умный малый, только горячка такой...

— Вот и поздравляю, не было у меня там никакого Ишменецкого, не было-с! — Верхние веки Елкова, опущенные низко, наполовину срезали зрачки. — Как же тогда-то?

— Я ведь и не настаиваю, не настаиваю, — забормотал невнятно при общем молчании Титус и, рванув скобку, исчез за дверью.

К Лихареву, как бы затем, чтоб оправдаться, подошел Елков.

— Видали, экземплярец какой?.. Объясните его поведение! Главное в том, что ведь он и действительно в Тридцать восьмой служил, я уверен, что так. Приходите-ка в пятницу, — поленца можете не приносить, вы еще покуда гостем у нас... Мезозавр Андреич. Еще не такие фортеля увидите!

— Нет, — грубо ответил Лихарев, надевая калоши, — не приду, пожалуй.

— Придете, Мезозавр Андреич... зачем неправду говорить? — с укоризной заметил Елков.

— Врешь, черт, не приду!! — бросил Лихарев, надвинул шапку и вышел.

Внизу, в темноте под лестницей, ждал его Титус.

— Вы мне вот что... — начал он, шаря пуговицу на лихаревском пальто. — Вы мне верьте, это не я Варнавина сгубил!

— Я вам и верю, отчего не верить?.. — с непонятным отвращением отозвался Лихарев в темноте, чувствуя, как вибрирует каждым кусочком нервов странный этот экземпляр елковского паноптикума.

— Вы, может быть, думаете, что я просто так, жулик, а я ужасно как мучаюсь... и даже хотел у вас попросить...

— Да излагайте же, в чем дело, черт вас возьми: торчим с вами на сквозняке...

— Видите, какое у меня дельце... как-то не позаботился вот с утра, и к вечеру оказался без единого рублишка. А мне при моих обстоятельствах без денег возвращаться просто зарез. У меня, знаете, дома очень нехорошо!

А давеча что-то на редкость симпатичное в вашей манере... ну, подкупило меня! Вот я и решил: у профессора и перехвачу. Не окажете ли на несколько дней доверие?

Голос Титуса звучал заискивающе, но выражения глаз не прочесть было в потемках.

— Правду сказать, я и сам не при деньгах, — замялся Фёдор Андреич. — Много ли надо-то вам?.. надо посчитать сперва, может, и наскребу немножко.

Нашлась спичка, при ее желтом шарахающемся свете Фёдор Андреич коченеющими непослушными пальцами принялся расправлять смятые бумажки из кармана. Между прочим, он обратил внимание, что Титус смотрел не на руки ему, как теперь полагалось бы, а испытующим взором в самое его лицо.

— Мне бы мильонов хоть сорок на первое время... — сказал Титус.

— Вот здесь их ровно пятьдесят восемь, половина ваша! — и, на глазок разделив свое сверхэпохальное богатство пополам, протянул половину Титусу.

— Вот спасибо... мне как раз за починку сапог платить и еще текущие расходы! Я вам их вскорости же, в очередную пятницу и возвращу...

Сразу хлопнула за ним выходная дверь... и вдруг Фёдору Андреичу показалось, что не деньги нужны были Титусу, а замаскированная в просьбу потребность выяснить отношение к себе постороннего, сурового и порядочного человека. И Фёдору Андреичу стало смешно, что кто-то на свете еще мог дорожить его мнением о своей особе.

VII

Фёдору Андреичу отперла Елена, держащая лампочку с приспущенным фитилем, несказанно бледная и дрожащая. Но Фёдор Андреич не увидел ее, весь сосредоточенный на своем. Еще на улице стало больней сжиматься сердце, а тоска, всегдашняя спутница удуший, затемняла разум.

— Я там тебе на столе покушать оставила, закуси, а чай холодный в чайнике синем,—сказала сестра, запахиваясь в шубку и неудержимо кашляя.

В комнате было темно. Елена внесла лампочку и поставила на стол, но тьма обступала по-прежнему чадный керосиновый огонь. Есть не хотелось. Фёдор Андреич отодвинул стул от стола и сел.

В сердце совсем перестало колоть. Где-то под столом, в уголке, поцарапалось коготком. Фёдор Андреич напряженно вгляделся и увидел крохотную мышку, которая блеснула глазком и метко скользнула в еле заметную дырочку, темневшую у плинтуса стены.

«Какая маленькая», — подумал Лихарев про мышку и снова ждал, забывая даже ногу за ногу заложить. Снова она, мышка, перебежала к шкафу и обнюхала краешек, на котором уже виднелись острых зубок ее белые следы. «Меня боится, — мелькнуло у Фёдора Андреича, и потом еще: — Небось, и потомство есть, она для них ищет...»

Нечаянно появилась хитрая мысль, что ведь мышку нетрудно поймать и рассмотреть вблизи, что за мышка. Фёдор Андреич, прикидывая возможности, сощурил левый глаз. Делать было все равно нечего, а ложиться Фёдор Андреич боялся, припадок мог застать его на кровати и в темноте. Мало ли какие мысли приходят наедине с собою!

В соседней комнате с глухим кашлем проснулась сестра. Фёдор Андреич подождал две минутки, пока затихло, потом взял со стола коробку от макарон, принесенных Мухоловичем, выправил промятое дно. Мышка мгновенно спряталась. Лихарев стал на коленки и полез под стол. «Как выскочит, так и накрою, никто не видит».

Окно было по-прежнему подернуто перегнувшимися туда и сюда мезозойскими листьями. В комнате стояла тишина, везде вокруг тоже была абсолютная недвижность: все жадно насыщалось сном. Сделав губы калачиком, Фёдор Андреич затаил дыхание и приподнял край коробки: «Вот я ее сейчас и прикрою...»

— Только сразу нужно накрывать, а то убежит! — сказал кто-то сзади знакомым голосом.

Лихарев дрогнул и, разжимая руку, выглянул из-под стола. На кровати, заложив ногу на ногу, сидел ферт. Свет, скошенный абажуром по кривой, упадал на сложенные руки ферта, — лицо его, ухмыляющееся ехидно,

оставалось в тени. Дверь в кухню и, помнится, на улицу оставалась незаперта.

Фёдор Андреич выполз и поднялся. Мозг работал с отчаянным напряжением, в висках мерно и глухо пульсировала кровь. Бочком, чтоб не выпускать ферта из поля зрения, Лихарев направился к двери.

«Дверь была открыта... Сестра забыла ее закрыть», — сказал он, берясь за скобку.

«Нет... это я, — пройти прошел, а затворить забыл», — возразил ферт и, соскочив с кровати, перед самым носом Фёдора Андреича прихлопнул дверь.

За скобку они держались вместе, рука ферта была как лед. Отходя, ферт задел неосторожно локтем прямо в бок Фёдора Андреича, под самое сердце.

«Ну, это уж хамство!» — с озлоблением выкрикнул Лихарев и покривился от болезненного душевного вывиха, похожего на тот, какой бывает в плече от удара в пустоту.

«Слава богу, сдвинулись...» — фыркнул ферт; не рассчитывая на ответ, он снова уселся на кровать.

Лихарев не отвечал и все глядел с презрительной усмешкой в убогое, испитое лицо ферта.

Ферта никакого он и знать не хотел, но мысль о том, что кто-то, хотя бы этот несуществующий, видел его на четвереньках, была ему обидна и болезненна.

«Вы меня не опасайтесь, Фёдор Андреич, я никому про это болтать не стану... Да у меня и память прескверная, все равно забуду! — не переставал лезть с разговором ферт. — Но только и вы уж никому тогда не говорите — вот и будет у нас маленькая, наша, тайна...» — В этом месте ферт даже улыбнулся, фамильярно распялив губы.

Фёдор Андреич не менял своего решения молчать и не замечать ферта, — но глядел и глядел, не отрываясь. Невольно, вспомнив елковские слова, подумал Лихарев, что, пожалуй, и вправду не перестать ему, Лихареву, ходить по пятницам в елковский застенок.

«С Россией-то что делается!..» — опять с лукавостью начал ферт.

«Да что с ней делается? Ничего с ней не делается...» — не выдержал Лихарев.

«Помилуйте, Фёдор Андреич! — радостно зашептал ферт, ерзая по кровати, так что одеяло должно было бы сбиваться на сторону. — Что вы, Фёдор Андреич, миленький, да ведь экзамен, так сказать, держат. — Ферт патетически всплеснул руками. — Мелкий человек экзамен держит, коленки дрожат, сердчишко трепыхается, — а вдруг да выдержит? — Тут ферт даже с кровати привстал. — Вот Елков уверяет, что, мол, кирпичик по кирпичику растащат, а вдруг да врет пошляк Елков? Он гибели хочет, потому что в ней все его оправдание!.. Нет, а кроме шуток, — вот возьмут да и не растащат. Ведь какие дела-то сотворятся! Все наизнанку вывернется, — светопреставление, смерть мухам... К несчастью, у нас с тобой, Фёдор Андреич, уж больно размах-то нечеловечий... Вот пойдет завтра он, Ванька наш, кирпичики класть, сооружать деликатное-то зданье свету всему на удивленье и на устрашение миллионам Елковых, черт бы их взял, а?.. Класть будем и плакать будем... Слезами прозренья мир затопим, Фёдор ты мой Андреич, родненький. Вот дела-то сотворятся, эпо́пия!..» — Ферт, уже не сдерживаясь, затрясся весь в беззвучном смехе.

«Ты это не хорошо делаешь, что смеешься, — поморщился всем телом Фёдор Андреич, внимательно, впрочем, прислушиваясь. — Про такие вещи стоя надо говорить, а ты морду строишь...»

«Стоя? Это нам-то с тобой стоя? Да бог меня упаси! Я ж все это тебе для смеху болтал... чтоб тебе же веселей стало. Ты думаешь, и в самом деле не растащат? Да разве ж это люди? Пузыри, на вековой тине пузыри, и вонь внутри... точно! Ах, Фёдор Андреич, ах, милый, — нельзя же в наши дни таким ребенком быть. Зачем правды бояться? Человечина — штука земная, зачем с нее разных там благородных штук спрашивать!»

«Каких это штук?» — переспросил Лихарев и тотчас же вспомнил, что уже слышал где-то этот же самый вопрос.

«Человечности, человечности, милостивый государь, вот чего! За благородство, за правду кровью платить надо, а кровь — она дороже всяких правд стоит...» — Тут ферт присвистнул даже.

«Брось, брось, это все елковские выверты!» — сумрачно вставил Лихарев.

«А какие же тут выверты: растащат по слабости человеческой, как пить дать!.. Между нами-то говоря, и сам ты... пускай один какой-нибудь кирпичик, но предпочтительно из фундамента, тоже утащишь... заместо бювара на стол положить!»

«Кто же это мне позволит, из фундамента?» — покосился через силу Фёдор Андреич.

«А никто... сам же, чуть подоспеет случай, так и возьмешь под тем предлогом, что из-за одного-то вся махина не рухнет, не развалится. Ведь и у каждого так на уме!.. люди как дети, дети, они и есть самый жестокий и распотешный народ на земле... и в том, пожалуй, единственный смысл и оправдание всемирной истории всей. Сперва воздвигнут что-нибудь этакое из зыбкого песочку, а после сами же ножкой и сровняют с землей... и нечего с них спрашивать. Я так думаю, Лихарев, ничего нет вреднее для людей, как лучше думать о них, чем они есть. И не лесть им воспевательская, не гнев за великие провинности или жалость за безмерные страдания, — им голая, стопроцентной крепости справедливость нужна, из десяти пунктов комендантское расписание, как у Моисея! Конечно, иных похвалить, иных постегать придется, как же без того! Да одного твоего папашку взять: ведь степенный был, душа общества, покровитель трезвости и благомыслия, а ведь при случае подвернись ему под руку благодетель твой, Мухолович, скажем... так он бы его знаешь как?..»

«Ты отца моего не тронь, — рванулся Лихарев и чуть не до полу согнулся, запуская гипсовым Томсеном в ферта. — Пошел вон...»

Тот ускользнул, успел просочиться в дверь, и бросившийся вдогонку Фёдор Андреич чуть не рухнул на разбуженную этой перепалкой сестру.

— С кем ты воюешь, Федя?.. что с тобой?

— Я ему покажу, как хамить со мной, — с сумеречным, невидящим взором рвался вперед Фёдор Андреич. — Пусти меня к нему...

— С кем ты, с кем? — не понимая ничего, жалкая и зябнущая, твердила сестра.

Фёдор Андреич только ахнул в ответ и, качнувшись дважды, упал на пороге в коридорчике. Сердце его оку-

нулось в колючую, непереносимую боль и, казалось, перестало колотиться.

Войдя в комнату брата, Елена увидела несчастного Томсена и догадалась. Она потерянно обвела глазами мрачные, сырые, в плесенной сыпи стены и закашлялась. Это в первый раз за все время с переезда к брату она кашляла так больно и длительно. Это в первый раз с той минуты, когда закончился дневничок, у Елены горлом показалась кровь.

VIII

В очередную пятницу тем объяснял себе Лихарев свое намерение навестить елковский зверинец, что нужно же, мол, проветриться и с Титуса должок получить, очень необходимый вследствие случившейся у Лихарева денежной заминки.

Все уже в сборе были, когда вошел Фёдор Андреич, — все, за исключением Титуса. А из граммофона надрывался уже русского происхождения горластый мужчина про какой-то крест, висящий у него на груди.

Лихарев поклонился, перхая от дыма, — сообразил, что за руку можно и не здороваться, огляделся и сел в уголок. И почти тотчас же возле него оказался Кромулин.

— Простите, Фёдор Иваныч, на минутку займу ваше внимание... — заговорил он чахлым, прерывающимся голосом.

— Андреич... — сухо поправил Лихарев, недоброжелательно косясь на граммофон.

— Разве Андреичем? А мне Иван Павлыч так сказал, что Иванычем... извините, — кромулинские уши загорелись красным, а сам он заискивающе и виновато заглянул в глаза Фёдора Андреича. — Я ваши книжки читал, очень вас за них уважаю, и вот о чем сказать хотел вам... об этом вот...

— О чем же таком именно... об этом? — раздражаясь его суетливостью, спросил Лихарев.

— А вот о чем, — начал Кромулин, пытаясь выбирать слова пожестче и попроще, чтоб не так ему, Кромулину,

стыдно было; таилось в нем нечто готовое в любую минуту распуститься неутешными ребячьими слезами. — Вы... прошлый раз, когда вон там сидели... вы подумали... подумали, что я дрянь, что я даже...

— Позвольте, да откуда же вы взяли? — недоуменно выпячивая нижнюю губу, попытался остановить кромулинский наскок Фёдор Андреич.

— Да-да, я знаю, вы не отнекивайтесь, — поэт задвигал носом, а руки его стали еще подвижнее. — Вы в прошлый раз Сиволапу говорили, что я не чувствую России, не понимаю...

— Положим... — терпеливо ждал Лихарев.

— А я вам хочу сказать, что я не дрянь, потому что я ее понимаю... чувствую... — с дрожанием в голосе закончил Кромулин. — А я не могу даже жить, когда знаю, что обо мне кто-нибудь плохое думает...

— Ну и слава богу, — вторично попробовал отвязаться от навязчивого молодого человека Фёдор Андреич. — Ее, Россию-то, главным образом и нужно понимать... а еще того лучше — понимать и молчать о ней. Молчание наилучший разговор-с!

— Зачем же вы презираете меня? — вспыхнул Кромулин. — Позвольте... я вам сейчас стихи прочту, я для вас нарочно и писал... Вы тогда увидите всего меня, увидите!

— Ну, что ж, спасибо... Только вы напрасно беспокоились, я ведь в стихах... не особенно. — Лихарев пожалел его и потому согласился. — Ладно, читайте уж.

— Ничего, у меня понятные! Я только что написал их... не отшлифовал еще как следует. Называются они: Тебе, Россия.

Лихарев переспросил, с усталости закрывая глаза:

— Как, как называются?

— Тебе, Россия! — Ответив так, Кромулин подвинулся к Лихареву поближе, кинул досадливый взгляд на Сиволапа, который жевал собственный ус, прислушиваясь, и начал нараспев, по моде тех лет, читать в лихаревское ухо:

В тот страшный вечер перестанут
Слепые ветры гнать судьбу;

Сберутся птицы и заглянут
На возлежащую в гробу...
И, поднимаясь с грозным криком,
Отчаянным, как в дни Суда,
Они расскажут всем о диком
Конце...

Я тут рифму пока не подобрал... но самый смысл-то — вы понимаете? — смутясь, заговорил Кромулин.

— Ну-ну, читайте же дальше! — Фёдор Андреич яростно покрутил головой.

Кромулин продолжал окрепшим и бодрым голосом:

Но с полюсов и с Гималаев,
Крутясь столбами, в дальний путь
Пойдут снега, чтобы, растаяв,
Тебя в кольцо свое замкнуть.
И вновь, как встарь, ледник возляжет
На ветровой твоей груди...
Россия, — кто кому расскажет
О том, что было позади?..

— Все? — спросил Фёдор Андреич, когда Кромулин затих и щурил глаза на сиволаповский валенок, притопывавший, словно кого-нибудь давил. — Что ж, стихи у вас ладные вышли, — хотя ветровая грудь мне не шибко нравится. А во-вторых, вы, что ж, под Гималаями Китай, что ли, подразумеваете?.. Китайцы — темка, большого размышления достойная!..

— Нет... это в поэтическом смысле, — увильнул, ужасно багровея, Кромулин.

— Угу, та-ак... — со вздохом протянул Фёдор Андреич. — У вас что, чахотка, что ли?..

— Да, у меня оба затронуты... а вы как об этом догадались? — Кромулин, сутулясь, робко поднял на Лихарева голубоватые, цвета линялого ситца, приговор ожидающие глаза.

— Оно и по стишкам видно! — не выдержав, вмешался Сиволап и подошел ближе. — Вы, молодой человек, по России... — он поправил выглядывавшее из кармашка пенсне, словно собирался в рукопашную, — не убивай-

тесь! У вас Россия не в сердце, а на языке. Вы б пописывали про напрасную любовь, и безвредно и жалобно, куда вам! Уж больно всем вам хочется, чтоб прежде вас умерла, а она назло тебе возьмет да и выживет. Ведь непременно хочешь, — настойчиво продолжал Сиволап, хотя Кромулин только одного хотел, чтоб отодвинулась от него эта липкая, грузная гора человечины, — хочешь, чтоб унизилась паче меры! А когда унизится — сядешь, возьмешь лиру и восплачешь... — взъярился Сиволап. — В тебе сердце такое, что в наперсток влезет, крохотное!.. И кабы пришли да вспороли всех нас, мужиков и баб, просвещенные усмирители, ты бы ожил тогда!..

— Бросьте, нехорошо вы говорите, — поморщился Лихарев и задвигался на стуле.

— Да нет, чего уж там... А ты тайгу нашу знаешь?.. ты видел ее, тайгу?.. — перекрикивая граммофон, щетинился Сиволап.

— А вы, господин, вы в Чеке не служите? — мелко дрожа и с сощуренными глазами прошипел Кромулин, порываясь вскочить на обидчика.

— Я? Эх ты, бычок несуразный... Михрютка... — совсем запьянев пафосом, грохотал Сиволап шатающемуся Кромулину. — Ты поди сам голыми-то руками поля пахать, — вот тогда и пой...

— А ты сам пашешь? — напряженно улыбаясь, спросил через всю комнату слушавший все это Елков.

— Что ж, кабы не возраст поганый да сердце, может, и впрягся бы... — издалека откуда-то откликнулся Сиволап. — Впрочем, пока еще есть время впереди...

— Вот как холку-то пособьют тебе, приползай лечиться тогда! — как-то звеняще кинул Елков.

Тут разгульная и немолодая, видимо, дамочка стала покрикивать из граммофона с приглашением улететь в дальний край ради свободы, любви и наслажденья.

Никто, кроме Фёдора Андреича, не приметил, как в дверь, неслышно при поднявшемся гаме, заглянул Титус. По тому, как он неискусно шатнулся было на пороге, напустив на лицо выраженье бесшабашного удальства, вначале, кажется, было у него намеренье выдать себя за пьяного, — но быстро спохватился, так что, когда и осталь-

ные обратили на него вниманье, он выглядел, пожалуй, даже слишком трезво для подобной компании. Как если бы только его и ждали все, ссора тотчас была забыта и все замолкли враз, кроме разволновавшейся певички; кто-то из вблизи стоящих нажатьем рычажка остановил пластинку.

Не снимая шапки, еще со снежком на плечах, Титус прямиком проследовал к печке и, наклонясь, грел руки у раскаленной докрасна чугунной стенки.

— А мы уж, признаться, решили, что ты и не заявишься к нам боле после того вечерка, — почти дружественно обратился к нему Водянов, верно, в надежде на столь же занимательное продолжение рассказа.

Тот не ответил, словно не слышал. И уже бежали про него сниженные до шепота разговоры вокруг:

— Это он на костерок забрел. Атавистическая привычка, не может человек отказаться от огня: пускай хоть стружечка махонькая полыхает, а ведь как-никак все же — щепотка солнца в ней.

— Да я сюда, господи, только ради этой печки и хожу... по нынешнему времени — королевское сооружение, цены нет!

— А как он пожухнул-то с прошлого раза!.. — и не могу уловить, чего это изменилось в нем? Видать, имеет нарыв на душе...

— Это хвост у него подрос... вот на нем он и задавится!

Сейчас все уж откровенно ждали продолжения от Титуса, кто-то даже подставил ему стул для удобства. Он сидел перед открытой печной дверцей, свесив меж колен руки, на которых багрово играли отблески огня, ловко уплетавшего полено. Что-то непоправимое происходило с этим человеком, и если только не сыпным тифом заболевал, значит, бывают и другие недуги, что сопровождаются подобным же помутненьем взора, чернотой глазниц, безразличием к окружающему. Но, что бы ни происходило с ним, значит, даже на людях, в мучительной обстановке перекрестного любопытства, было ему все же легче, чем наедине с собой.

— Вот и начнем, пожалуй, наш большой разговор... — с аппетитом приступил к делу хозяин. — В тот раз, Сер-

гей Яковлич, после вашего ухода, долго мы еще тут обсуждали ваше любопытнейшее недоразумение с Варнавиным. И волей-неволей пришли к такому заключению, что главную-то часть вы нам и не досказали... утаили от общества, так сказать. И решили тогда отложить вопрос до новой пятницы... если в настроении окажетесь!

Титус обвел всех медленным отсутствующим взором:

— У меня дома, кроме всего прочего... окно без стекол, одеялом забито, — чуть не по слогам, как в лихорадке, произнес он. — И надо всю ночь ходить... и вот я ходил всю прошлую ночь.

— А может, лучше музыку послушаем? — пожалел его Кромулин.

— Музыка завсегда при нас, вон она! — кивнув на ящик, настаивал Водянов. — А тут живое слово... Да ты чего жалеешь-то ее, накипь с души?

— Может, стыдно ему самое главное-то открывать... — высказал кто-то догадку со стороны.

— Э, сейчас, милые, уж никому ни про что не стыдно, — махнул рукой Водянов. — Да ты слышишь ли нас, Сергей Яковлич?

Тот поднял, верно от непогоды и гляденья в огонь, покрасневшие глаза:

— Я же сказал вам тогда, что было, а мне возразили, что не было... — с трудом проговорил он.

— Так ведь Ишменецкого-то черт этот, Елков, действительно для проверки, вроде мухи вашей, выдумал, а мы сейчас про Тридцать восьмую бригаду говорим... — добивался чего-то Водянов.

— Тридцать восьмой не было, — тускло отвечал Титус. Водянов быстро переглянулся с Елковым, словно нуждаясь в быстрой медицинской справке.

— Это нам и без того ясно, Сергей Яковлич, что из понятных соображений изменили вы и номер бригады, и фамилии участников, — тихо, как к ребенку, обратился Елков. — Но мы ведь и добиваемся всего лишь этого... постигнуть истинную пружину описанного вами происшествия. Жеромский-то был ведь?

— Жеромского не было, — качнул головой Титус, не отрываясь от огня.

— Правильно, поскольку под Жеромским скрывается некоторое иное лицо, но ведь Варнавин-то...

— И Варнавина не было. Они все умерли, их никто не помнит... — запинаясь бормотал Титус. — А чего уж не помнит никто, значит, того и не было...

— Блестящая мысль... — в колено толкнув Фёдора Андреича, чтоб не отрываться от допроса, вскользь шепнул ему Елков. — То, чего не помнит никто, того могло и не быть... отсюда все существует, пока есть кому помнить... и кто знает, может быть, бесчисленное множество, кроме памятных нам, осталось позади криков, убиений и мечтаний!.. но вот все вчистую померли, кому полагалось бы благоговейно помнить это... и, значит, когда-нибудь также канут в ничто и наши нынешние судороги и воздыханья. Так что вот уже и нет ничего, и вот вам весь чертов смысл истории, и вот уже можно, кому нравится, начинать ее наново... Приступайте, уважаемые потомки!.. Обратите вниманье, господа, кажется, все мы довольно успешно начинаем сходить с ума... довольно щекотное ощущенье, не правда ли? — Вдруг он по-сумасшедшему невидящим взором уперся в недвижное лицо Титуса. — Но ведь вы-то, Сергей Яковлич, вот он, пощупайте себя... вы же себя-то помните пока, значит, существуете... ну!

— Нет, — шевельнулся тот, — я тоже умер. Никого не осталось.

Здесь полагалось быть самой интересной страничке того вечера, «о резекции души!» — как доверительно пошутил Фёдору Андреичу сквозь зубы Елков... и, очевидно, следовало ждать от приходившего в себя Титуса хотя бы частичного пояснения его недуга, но вдруг произошел переполох — из-за внезапного, чреватого многими последствиями во вьюжные ночи тех лет, нетерпеливого стука в заднюю дверь. От предчувствия наихудших неприятностей все повскакали с мест и замерли, пока трясущаяся со страху хозяйка ходила открывать почти крепостной у Елковых засов. Вслед за тем взволнованный девчоночий голосишко громко назвал на кухне фамилию Лихарева, и тогда все разом осмелились загалдеть, каждый на свой лад. Оказалось, Елене стало очень плохо, у нее шибко пошла горлом кровь... При уходах Фёдор Андреич

неизменно оставлял адрес, где его искать при нужде, хотя возможность этой внезапной потребности в нем совпадала в сознании Лихарева с понятием чуда, и вот перепуганная соседка, несмотря на поздний час и вопреки сопротивлению больной, послала дочку на его поиски. Только высшая душевная привязанность к обреченной лихаревской родственнице могла толкнуть обеих, мать и дочь, на столь беззаветный, по ночному времени, подвиг.

И настолько интересный оборот с Титусом намечался как раз, что Фёдор Андреич направился в прихожую не без некоторого сожаления; признаться, имелась и другая, не для широкого оповещения, причина, тормозившая, казалось бы, естественный для брата порыв души. При всей общепризнанной порядочности Лихарева, возможно, несколько преувеличенной его незаурядной научной репутацией, нередко странное темноватое чувство этак подобно ледку сковывало его — как раз в моменты, когда требовалось поделиться частицей сердечного тепла с кем-нибудь из близких, попавших в беду; экономя свое душевное равновесие, необходимое ему для свершений на поприще науки, Фёдор Андреич как-то и не пытался никогда рассматривать эту гадковатую свою особенность... Словом, не столько долг и совесть, а скорее стыд перед почтительно взиравшей на него, вконец зазябшей девочкой заставил Фёдора Андреича столь быстро покинуть натопленную, насквозь пропитанную уютным, наводящим дремоту дымком, до ненависти пришедшуюся ему по сердцу елковскую дыру.

В три небрежных маха Лихарев разыскал свое пальто в ворохе сваленной прямо на пол чужой одежды, всадил с ходу ноги в громадные, хлюпающие на ходу фетровые ботинки и опрометью ринулся вниз по лестнице. По счастью, никто не попался ему навстречу.

IX

За руку девчонку прихватив, чтоб не отбилась в ночном, хуже пустыни страшном городе, Фёдор Андреич мчался домой по каким-то извилистым и, как положено

быть во всякой червоточине, темным улицам, мчался во весь дух — даже порой с риском вызвать преждевременный припадок, мчался, на бегу выспрашивая у маленькой спутницы своей, при каких оно обстоятельствах случилось, посредством чего обнаружили. И правду сказать, смысл его допроса заключался не столько в стремлении выяснить состояние Елены, а — в каком приблизительно масштабе ожидают его хлопоты по возвращении на квартиру.

Постепенно прояснялось, что соседка постучалась к Лихаревым вернуть взятые накануне десять спичек, но дверь стояла незапертая, так что, войдя на кухню, она прямо и наткнулась на Елену Андревну в ее шубке, лежащую, подогнувшись на бочку, с лужей крови возле головы и рядом пшенца тюричок, рассыпанного при паденье. Можно было подумать, что это грабители, так почудилось сперва при жалком свете коптилки, а уже на крик соседкин ворвалась и ее девочка, рассказчица, и таким образом всякий жуткий пустячок в описанье случившегося, вроде бегавших по крупке мышек, следовало считать вполне достоверным свидетельством очевидицы.

Фёдор Андреич, конечно, и без нее знал, что положение сестры безнадежное, и это несколько облегчало ему досадное чувство вины, что в суматохе упустил из виду прихватить с собою доктора Елкова, а бежать за ним три улицы назад — просто и духу не хватило бы! Словом, обстоятельства сложились так, что Фёдору Андреичу можно было и не торопиться. В сущности, абсолютно ничем теперь помочь сестре он уже не сможет, да и самой Елене при ее просто неописуемом душевном благородстве приятнее будет отмучиться, уйти из проклятой жизни совсем тихонечко, не причиняя затруднений никому; впрочем, Фёдор Андреич и сам был согласен, чтобы и с ним оно произошло без посторонних свидетелей. В силу всего этого он даже остановился передохнуть посреди одной горбылем вздувшейся площади и в одышке стоял без шапки, глядел в бессмысленную высь, пока снег лепился ему в глазницы и на седую, вспотевшую от бега голову.

Так он выстоял никак не меньше полминуты с невыразимо острым и целительным ощущеньем, как по-

степенно, затягиваясь благодетельной пленкой времени, становится прошлым почти невыносимое настоящее. Уже согласованные между собою, еще роились давешние мысли, и на первом месте — о необходимости сбережения души для предстоящих впереди свершений... он опять повторил себе, что и самой Елене Андревне при ее исключительной душевной щедрости было бы приятней, чтобы брат не тратился на бесполезное отныне состраданье к ней, а лучше бы, согласясь на предложенье Мухоловича, сохранял бы силы для продолженья великого труда о климате мезозоя... Но тут ему представилось вдруг — а что же будет, если вся его нация от моря до моря превратится в этакую мертвую груду окаменившихся сердец, и кому тогда к черту понадобится его ученая ахинея! И так на мгновенье стыдно стало Фёдору Андреичу, так жалко одинокой, в насквозь промороженной квартире, всегда такой безответной сестры, что, чертыхнувшись и всхлипнув чуть не навзрыд, с новой тоской ринулся в оставшийся путь.

Сам Фёдор Андреич, в сущности, никогда всерьез не болел и оттого имел преувеличенный страх перед любым нездоровьем, и потому по мере приближенья к дому воображение рисовало ему невероятные картины Елениной поломки, состоявшие из крови, крика и кромешной боли. Тем более насторожила его стоявшая в квартире тишина, оглашаемая лишь стуком пудового маятника из его рабочего кабинета. Только свежеподмытое пятно на кухонном полу выдавало приключившуюся, уже часа два назад, неприятность с сестрой. Елена Андревна лежала у себя в нише, на коечке, для тепла накрытая поверх одеяла старенькой теткиной шубкой с лисьим воротником. Нетронутый стаканчик чая стоял в головах у ней, на столике, и только что заправленная лампа, керосиновая. У водопроводной раковины выжимала мокрую тряпку соседка, которая заодно произвела небольшую приборку в квартире, хотя, в сущности, сора в ту зиму нигде не бывало. При появлении Фёдора Андреича она неслышно, с опущенным от почтения взором, скользнула в дверь, так как, по-видимому, наслышана была от больной о его первостепенно важном для культуры мезозойском труде.

Именно это печальное благообразие и подчеркивало происшедшую катастрофу, значения которой для будущего лучше было даже не устанавливать пока; очевидно, и сестру терзала та же мысль о завтрашнем дне профессора Лихарева... Заслышав шорох на пороге, Елена попыталась повернуть голову, но из-за слабости сделать это ей не удалось, и брат сам догадался войти в поле ее зрения.

— Ну, поотвлекся немножечко? — так проникновенно и приветливо спросила сестра, что у брата непрошеные слезы встали в горле. — Вот далеко только, а то неплохо где-нибудь душу-то отвести...

Он придвинул табурет к койке Елены:

— Слушай, да как же так произошло все это?.. ведь раньше-то крови у тебя не случалось!

— Нет, и раньше бывала, Федя, скрывала я, чтоб зря тебя не расстраивать, — кротко пояснила Елена Андревна. — На юру стояла в очереди, с вечера еще продрогла вся... ну, как номер-то начертили мне в ладошку чернильным карандашом, так и побежала домой горяченького хлебнуть... да тут запершило сперва, потом сразу теплота в гортани обозначилась... и вдруг такая приятность, знаешь, словно в длинной люльке понесло меня куда-то! Очнулась уж на полу...

— Ничего, к утру встанешь... — грубым голосом, чтоб не разреветься, для поддержания скорей себя, чем сестры, сказал Фёдор Андреич.

— Хорошо бы, кабы подняться-то мне! А то в очереди завтра сальце обещали по шестому талону выдавать... Постирать тебе собиралась, а не могу, извини!

— Вот я к тебе завтра Елкова приведу, чтобы прописал тебе что следует...

— Что ж Елков-то, ведь он не бог! — улыбнулась Елена Андревна.

И такая честная, жгучая правда заключалась в ее словах, что опять не по себе стало Фёдору Андреичу. Вдруг он взял обвисшую до полу руку сестры и разглядывал вблизи этот маленький чудесный инструмент, которым так много было сделано в его жизни. По мелким жилкам, просиневшим под кожей наподобие весенних ручьев, можно стало судить о состоянии ее истощенного, умирающего тела.

Потом повернул обратной стороной и глядел на жирные, три, лиловые цифры в ладони, обозначавшие порядковый номер в очереди, пока сама Елена не выдернула у брата своей руки.

— Ты не падай духом-то, Федя, держись... все наладится. Сначала всегда трудновато бывает... первое время и соседка тебе поможет. У ней муж слесарь на фронте, а гляди, как и без него по дому управляется... — Она понизила голос до шепота. — Ладно, устала я чего-то, Федя, спать ступай...

Голос ее звучал совсем спокойно. Последние месяцы из-за каждодневного ночного стоянья на убийственных уличных сквозняках, с чем было сопряжено добыванье пищи, болезнь ее потекла втрое быстрей, но скорая развязка уже не пугала ее. Кабы не мысль о брате, о предстоящем ему сиротстве, с которой и засыпала нехорошим потным сном, и просыпалась на окрашенной кровью подушке, лучше и не придумать было, как растаять по весне, утечь вместе с речкой в милые материнские моря и уж оттуда изредка проплывать бы облачком над самыми родными местами на земле!

И так все отчетливо предстало перед Фёдором Андреичем, собравшимся уходить, что не решился переступить порога.

— Ты уж не умирай... ради бога, не умирай, Елена! — попросил он с закушенными губами. — Ну, пожалуйста...

— Ну, что ты, Федя, — ну, зачем же умирать... мне и самой не хочется! Я встану. — Голос ее дрожал и звучал не слишком убежденно, по почему-то даже это было очень утешительно для Фёдора Андреича.

Утром Елена не поднялась, и когда Фёдор Андреич вошел на кухню, она уже проснулась, а может быть, вовсе не спала, — и лежала, как и накануне, лицом вверх, с какой-то особой за ночь появившейся пристальностью во взгляде. Попозже обошлось, едва печку затопили, даже улыбнулась дважды, к великой воскрешающей надежде Фёдора Андреича, и лежа руководила приготовлением завтрака, причем пошутила снисходительно над удивительным неумением мужчин в отношении легчайших, казалось бы, мелочей жизни. Потом вдруг попросила

брата подойти поближе, чтобы в предстоящем разговоре глазами досказать то самое, чего не посмеет языком.

— Ты, Федя, все же сходи в очередь-то... жалко, если сальце пропадет. — Она запнулась от мысли о возможности такой потери. — Можешь стульчик себе взять... там многие сидят на стульчиках! Тебе вообще первое время придется самому заняться этим... ну по хозяйству! — и озабоченным взором, по частям, окинула зачем-то все помещение, в котором находилась. — Я, конечно, отлежусь вот немножко и встану... буду тебе хоть штопать, печку топить. А глядишь там, и обед тебе иной раз сварить сумею...

— Но я сам тебе вставать не разрешу... — забубнил безоговорочно Фёдор Андреич, тревожно вглядываясь в чуть изменившееся, не то чтобы постаревшее, а вдруг какое-то отсутствующее лицо сестры. — Где у нас, кстати, тот мешок с картошкой... помнишь, у того краснобая на мой летний костюм выменяли? Я, знаешь, деловой... как за дело примусь, только шелуха полетит...

Елена Андревна усмехнулась его беспомощности:

— Так ведь он давно кончился, мешок твой... на одной картошке весь месяц и жили!

— Тогда позволь... как же нам быть тогда? — растерялся в предвестье наихудших бед Фёдор Андреич.

Однако вскоре положение несколько улучшилось, когда удалось выменять стоячие кабинетные часы в саркофаге мореного дуба на древнюю, особо прочную, следовательно, экономную фасоль, тем уже одним удобную, что много на голодный желудок не съешь из-за опасности вовсе расстаться с жизнью... кроме того, и Мухолович кое-что принес, пока сам Фёдор Андреич стоял в очереди за керосином. Иногда Елена Андревна действительно находила в себе героическую решимость подниматься с кровати, но приготовлением пищи, как и добыванием ее, занялся в меру способностей сам Фёдор Андреич. Соответственно весь лихаревский обиход подвергся стремительному упрощению. В частности, горячая пища отныне приготовлялась впрок, на неделю вперед, и так как, ввиду особо холодной зимы, отлично сохранялась между рамами от порчи, то по здравому смыслу она и не нужда-

лась в разогреванье, содержа в самой себе необходимые для своего освоения калории. Все же обнаружилось через некоторое время, что наличные запасы доедены, спасительная сода израсходована и пожжены остатки дров. То самое, отвлеченное и мезозойское, о чем писал в своем сочинении и от чего грудью обороняла брата Елена, теперь просунулось прямо в лихаревское бытие.

Благодаря всем этим переменам Фёдор Андреич имел возможность произвести над собою большой познавательной ценности опыт — насколько выросший в условиях современной цивилизации человек способен отказаться от некоторых насущных потребностей, удовлетворение которых недавно считалось желательным, обязательным и даже, смешно сказать, жизненно необходимым; трудней и, пожалуй, унизительней всего оказалось привыкать к недостатку пищи. Но и в этом направлении человеческая воля, при небольшом усилии, проявила способность к преодолению и голода — в числе прочих атавистических навыков. Стоило лишь улечься поудобней, чтобы не тратиться на бесполезные теперь мускульные усилия, и сосредоточиться на какой-нибудь идее в ее графическом начертании или, еще лучше, на особо запомнившемся эпизоде прошлого — разменяв его на составляющие элементы для большей длительности действия, чтобы больше копеек было!.. — можно было надолго отключаться от действительности и связанных с нею низменно-томительных желудочных ощущений. При навыке упражнение это почти всегда приводило к приятной дремоте... Выяснялось попутно, что мысль — наиболее экономный вид горения, и мозгу для принятия величайших решений требуется несоизмеримо меньше энергии, чем, скажем, руке почесать бок. И в том, что собственное умирание свое Фёдор Андреич как бы делал объектом научного исследования, сам он хотел видеть архимедовское, по его убеждению, высокомерие к действительности.

С недавнего времени в целях прояснения своих отношений с окружающими и, как ни странно, с Мухоловичем в особенности, Фёдор Андреич все чаще стал оживлять в памяти одну давнюю картинку детства: квадратный, подавляющий, как пустыня, мощенный булыж-

ником двор в городищенской усадьбе отца. Гимназист Федя, гостивший там на летних каникулах, всякий раз испытывал щемящую тоску, пересекая это щербатое бездарное пространство от крыльца до ворот — какое, к слову, нередко подвертывается всем нам на житейском пути. Там, в глубине двора, на террасе — такого крохотного из-за расстояния! — одноэтажного дома сиживал в часы вечернего затишья исправник Лихарев, и в ожидании его повелений пыхтела невдалеке здоровая дворняга со свешенным для проветривания адским языком. Не хватало какого-то легчайшего толчка, чтобы привести в движение этот заржавевший цепной механизм, где роль звеньев играли — отец в халате, готовый к действию пес на цепи, поникшая от засухи листва желтой акации вдоль забора, степной, как бы с кочевым дымочком, застойный воздух городка и еще кто-то там, — в нерешительности застывший на улице, кому оставалось только толкнуть ногой калитку...

Но вместо того, который вовсе не выходил теперь из мыслей и чье появление полностью подтвердило бы некоторые догадки Фёдора Андреича, совсем другой, неожиданный и непохожий, заглянул к нему сквозь портьерку: оказалось, наконец-то доктор по приглашению пришел больную навестить.

— Вон где наш медведь валяется... — потирая руки с холоду, тоном старой дружбы затрещал Елков и с ходу сделал попытку удержать хозяина на диване в лежачем положении. — Не подымались бы, нонче деликатности можно побоку... я хотел сказать, ведь и по-римски, лежа на боку, можно беседовать! Не посетуйте, в срок получил открытку вашу, да все как-то непопутный ветерок. Вроде и пациенты повывелись, а некогда... Дорогою открыл сейчас, что цивилизацию страны, кроме мыла и всего прочего, можно мерить и количеством времени, какое приходится тратить на непроизводительные пустяки. А вы совсем опустились, батенька, видать вовсе на людях перестали показываться...

— Воротник можете отогнуть... здесь у меня потише, чем на улице, но вот раздеваться не советую. Как, ветрено нынче?

— ...опять же бородищу запустили, печь топить — не топите, хотя со всех сторон в дровишках! Роскошные дрова... — не слушая, трещал Елков, прохаживаясь, поглаживая, пальцем пощелкивая массивную мебель, чему-то все посмеиваясь; он задержался лишь у письменного стола с аккуратной, вершка в два, кипою намелко исписанной бумаги. — Ага, вот оно, знаменитое лихаревское сочинение, которого так и не дождалось человечество в своей пещере! Тоже, имейте в виду, славно горит, если все время палкой в печке помешивать, поковыривать... словари, фолианты всякие! хотя, правду сказать, от культурных ценностей тепло получается шибко второй сорт: нервное, неровное, ненадежное в смысле биологической стойкости тепло. И даже дверь перестали запирать, товарищ Лихарев, а в первом этаже живете... только слабых людей на грех наводите! Как врач, делаю вам замечание: в большие морозы, как нынешний, не переставайте двигаться, а то, знаете, — был фонтан — сосулькой стал. Так где у вас больная-то?.. — вдруг оборвал он.

Фёдор Андреич провел доктора на кухню, откуда ни за что не желала перебираться в комнаты сестра — под предлогом близости к мнимому, давно остывшему очагу. Елков тотчас велел хозяину оставить его наедине с больною, и о чем они там восемь минут беседовали, так и не узнал никто. Все это время Фёдор Андреич простоял над столом, на выбор пробегая глазами четкие, убористо исписанные странички рукописи. Плохо верилось, что все это, глыбистое и бесконечно сложное, сработано собственным его мозгом и рукой, временами даже пугала слишком уж неузнаваемая давность самого почерка, иные слова вовсе не удавалось разобрать. Когда с кухни показался Елков, неестественно оживленный, чем-то затуманенный слегка, ему пришлось дважды окликнуть Фёдора Андреича, чтобы воротить к действительности.

— Так вот, как старый эскулап, упорно настаиваю на этом... — с разбегу приступил он, словно и не прерывался у них разговор, — никак нельзя, батенька, в кроватку раньше времени укладываться... держаться надо. Вон токаришку с завода на днях в квартиру ко мне вселили... так по личным наблюдениям доложу я вам, что

пайки и харчи у них там тоже далеко не важные, к тому же потомства у жильца моего что песку морского... заметьте, природа всегда атакует грядущую неизвестность мельчайшим множеством!.. так вот и младенцы ихние, представьте, тоже безотказно и безжалобно сосут оную всемирно-историческую воблу... мудрецы ведь, а? Вот народище: стенкой стоит, не гнется, черт его возьми, да еще на фронтах мировым державам по сусалам выдают... хе, с подтянутым-то животишком. А ведь тех, на той-то сторонке, кормят знаете как?.. небось, пищу в нутро под давлением вводят, судя по лоснящейся добротности коекого из них. Не-ет... самое главное нынче, миляга вы мой, не поддаваться на жалость к себе, интереса к жизни не утрачивать — ни в очереди, ни под дулом, ни в узилище подвальном... нигде! А то не успеешь оглянуться, а тебя уж в салазках под рогожкой волокут. И первым делом — жрать, жрать... Откуда пропитание-то достаете?

— Все время Елена у меня по этой части вертелась, доставала... — пожал плечами Фёдор Андреич, скорее из странного смущенья, нежели из эгоистической осторожности решив не упоминать о Мухоловиче и наводя внимание на сестру. — Вот, слегла, знаете, не ко времени...

— Итак, жечь все подряд и жрать... Вон у вас коврище какой на стене, а ведь он тоже съедобный. Конечно, нормальная моль и за семь лет его не слопает, а отощавшему человеку едва на завтрак по-нонешнему... Э, я и сам знаю, батенька, что тяжелый! — перехватил он возражение Фёдора Андреича, рукою подавив его сопротивляющийся жест. — Да вам и не придется самому на рынок его тащить. У меня тут личность одна ногастая подвернулась... непременно расстреляют со временем, а жаль: самый выдающийся спекулянт и мародер всех времен и народов. Все скупает, подозреваю — даже души человеческие, хотя не щедрей как по гривеннику за штуку. Вот я завтра и подошлю его, ногастого, он вам тут живо почистит... а уж вы зато побалуйте чем-нибудь ее, сестрицу-то свою, чтобы самому на закате не каяться. Эх вы, Байбак Мезозаврыч этакий... — ткнул он пальцем в бок Фёдору Андреичу, чтобы скрасить шуткой мрачное свое предостереженье.

Было что-то пугающе-тревожное в зловещей настойчивости, с какою он, придя единственно ради этой цели, обходил молчанием положение больной. Тем страшнее было самому Фёдору Андреичу — среди бегучих вопросов о том о сем, о видах на будущее, о фамилии мародера осторожно справиться о неминуемом теперь, роковом сроке события, которое страшился обозначить и которое для него, самого Лихарева, также становилось концом мира.

Как раз с кухни послышался призывающий, по имени, голос сестры, и он был так слаб, что невольно наводил на худшие предположения.

— Вас зовет... — с неожиданно серьезным лицом прислушался Елков.

— Вы тут посидите, почитайте пока, — окончательно растерялся Фёдор Андреич, выбегая.

И опять, к мучительному стыду своему, он ошибся, — состояние Елены Андревны было еще далеко от той заключительной фазы, с которой он так бессильно и поспешно примирялся — не в первый уже раз на протяжении недели. Сестра встретила Фёдора Андреича извиняющейся улыбкой:

— Все отрываю тебя, Федя, а вот какое дело... — и закрыла глаза, словно забыла, что́ именно сказать хотела, а Фёдору Андреичу заодно показалось, что и пару выбивается у ней изо рта гораздо меньше, чем это положено в нетопленном помещении... и опять постыдно ошибался он. — Вот, уж выдам тебе мой секрет, все равно теперь. У меня там сухари насушены, короб, спрятано в книжном шкафу... ты угости Елкова-то, чайку ему дай и сам погрейся. Добрый он... я и не знала, что в нем душевность такая.

— Что же мне делать, господи, что мне делать с тобой... — содрогнулся от ее слов Фёдор Андреич и как-то шепотом заплакал, закусив зубами рукав.

— Ну, перестань, как тебе не стыдно, Федя, а еще профессор... — с укором сказала Елена и опять закрыла глаза.

Когда, пооправившись, Фёдор Андреич вышел к гостю, глаза у него были окончательно сухие, а голос твердый, только погрубевший очень.

— Беспокоится, чаю не хотите ли.

— Да нет, мне уж пора, мерси... делишки всякие.

— Лицо у ней какое-то прозеленелое, знаете... мне показалось.

— Э, все нормально, милейший Фёдор Андреич... — уклонился от прямого ответа доктор Елков, рассчитывая на понятливость интеллигентного человека.

— И еще: там у ней на подушке кровь немножко... ничего?

— А, словом, все ничего теперь! — Елков стал было прощаться, но, сочтя бесчеловечным покидать эту растерявшуюся глыбу в ее равнодушной недвижности, воротился с полдороги к двери. — Чуть не забыл... поразвлекайтесь тут разгадкой ребуса. Титус-то наш... помните, с бакенбардами? Видно, внутрь у него нарыв-то прорвался...

— Позвольте мне, я сяду,— без выражения сказал Фёдор Андреич, наугад шаря сиденье за собой.

— Отдохните, ничего... да я и сам уж опаздываю. Так вот, Титус-то пулю себе в лоб пустил и письмо довольно смутное прислал накануне... так, одна поверх другой, никуда не доползшие строки. И для вас одна, насчет какого-то должка: извинитесь, пишет, что задержу до будущей ассамблеи в небесах... Да и кто теперь истинную причину разберет, интервью с покойника не сымешь. Может, так называемая историческая обреченность докопала, либо бытовые затруднения, а по мне — не попался ли он на мушку тому Варнавину? О, я и сам помню... — заранее перебил Елков, заметив отдаленное несогласие в лихаревском взгляде, — но тогда он страстно желаемое за действительное выдавал. Ведь ежели Варнавин умен да чист был, то, на шваль окружающую наглядевшись, на кой ляд ему стреляться было... мог и похлеще выбор сделать, в живых остаться, например... только в другом лагере. А нонешняя-то бурная волна знаете как быстро в зенит возносит? Вот, может, и рассмотрел внизу старого дружка со своих соколиных, дозорных высот... Наверно, оно страсть как приятно, батенька, историческую-то справедливость да собственноручно осуществлять... как вы думаете? А впрочем, пустяки, все бесплодная выдумка одна: никак концовочку к тому его рассказцу не подберу,

а зудит, признаться, зудит. Живому существу под названьем человек всегда не терпелось как-нибудь истолковать мироздание... и странное дело, ему на всех этапах развития вполне хватало знаний для объяснения всего на свете: даже в своей мезозойской пещере он думал, что понимает все. Интересно, какую заключительную виньетку под нас с вами летописцы приспособят? Ну, ладно, — пора мне.

На прощанье, бегло касаясь лихаревской огромной, на колено положенной руки, доктор вскользь заглянул в его словно невидящие глаза. Ненадолго объявился там тусклый блеск, подобный зорьке гаснущего дня, потом снова стали смыкаться тучи.

— Вот насчет сестры я хотел... может, рецепт ей прописать? — неуклюже, в отмену непроизнесенного диагноза, спросил Фёдор Андреич.

— Ведь это вы, батенька, для себя рецепт хотите, — деликатно возразил Елков. — А ей бы всего только морковочку теперь... давеча у меня спрашивала по секрету, чего у меня в сумке, не морковочка ли. Эх, я и захватил бы, кабы знать... Ну, адье, и мужества, мужества больше, Фёдор Андреич!

После его ухода долгое и спасительное оцепенение накатило на Лихарева. Он сидел на кровати, уставясь в коврик под ногами, и что-то происходило в нем, но не мысли, а как бы разглядывал с бесконечного расстояния нечто там, далеко внизу, сливавшееся в мерцающую полосу. Она не то что двигалась, а будто кто-то где-то, оставаясь на месте, куда-то направлялся во множестве, и среди прочих тоже профессор Лихарев. Когда он осознал это, в окнах уже смерклось, пора стало лампу зажигать. По плесканью внутри ясно стало, что хватит лишь на вечер — и то не весь, отчего вспомнился вчерашний еще наказ сестры, непременно не пропустить очереди за керосином, но в какой день — он теперь забыл... и тотчас же разоряющая мысль об этом заслонилась необходимостью найти спички. Это было приятное, выключающее мысли занятие — ходить и трогать бесполезные уже вещи, — на поиск тоже ушло неопределенное время, которое порою как бы тяготило Фёдора Андреича. Под предлогом чтоб

не будить сестру, — если задремала, слава богу! — Фёдор Андреич не понес лампу на кухню, а решил всего лишь справиться вполголоса о здоровье: ему хотелось верить, что после одной там поворотной точки дело пойдет на выздоровление.

Никто не ответил Фёдору Андреичу, пришлось для верности повторить вопрос. По первому впечатлению, во всей обманчивой тишине мира только и было звуку, что скреблась мышь.

— А, кто там... а? — как бы сквозь забытье сорвавшимся голосом отозвалась Елена. — А... чего тебе?

Видимо, она опять чем-то слишком занята была, что так долго не отвечала, а может быть, по ее состоянию требовалось всякий раз для ответа силу поднакопить.

— Подойди, Федя, сюда... мне тебя не видно. Пожалуйста... не бойся меня... смешной какой! Мне ведь и самой не хочется. Виню себя, что за работу не засадила... старалась. И я уже, знаешь, ни на бога, ни на кого не сержусь...

— Где у тебя болит? — придумал он спросить.

— Нет, хорошо... ну, ты ступай теперь погулять! Ладно, ступай...

Он боялся вглядываться туда, в нишу, словно обжечь глаза боялся, а избрал для этого белевший в потемках незнакомый предмет, который оказался тарелкою с нетронутой пищей, которую он еще утром поставил ей на табуретке; новой пока не требовалось. Сравнительно связная, хотя временами с паузами, речь сестры не внушала пока повода для беспокойства. Фёдор Андреич и вправду в последнюю неделю почти не выходил из дому, так почему было не принять еще одной жертвы этой несчастной великодушной женщины, которая хотела освободить брата от неминуемых теперь переживаний...

— Может, мне в самом деле к Елковым за морковочкой сходить? Я быстро обернусь... — воровато засуетился Фёдор Андреич, то ли добиваясь повторного дозволения сестры на это, то ли желая подтверждения, что она дождется его прихода.

— Ступай... — как бы превозмогая сон и сквозь сжатые губы сказала Елена Андревна.

Еще колеблясь, а пуще боясь, что сестра сквозь свою смертную истому разгадает путаницу его побуждений, из которых не все же подряд подловатые были! — он, пошаркивая слегка, стал уходить с кухни и неожиданно в коридоре носом к носу столкнулся с незнакомым человеком. Какое-то время они стояли так в потемках с сердцебиеньем и придерживая друг друга за плечи. Когда же по-прежнему, не разжимая кулаков, приблизились они к свету, этот упитанный когда-то, судя по свисавшей одежке, коротыш оказался полузнакомой личностью из домкома.

— Извините, от занятий отрываю, я насчет воды... можно мне к вам? Во всем доме замерзло... опасаюсь, не пришлось бы главный стояк отогревать!

— У меня сестра умирает... — неожиданно для себя проговорил Фёдор Андреич.

Он и произнес-то это, лишь бы отбиться от несвоевременного вторжения, и сам похолодел от смысла слов, что подсознательно сорвались у него с языка, и даже запрятал бы их обратно, кабы не поздно стало.

— А я... — неукротимо визгнул тот на очередное обывательское сопротивление, — а я живой, по-вашему, раз на собственных катушках стою? А кроме домкома, еще в должности орудую, да и на субботниках за троих откозыриваю... — Но случайно взглянул вверх, на лицо стоявшего в помрачении Фёдора Андреича, вспомнил, кстати, и тихую, бессловесную женщину, раз в месяц приходившую к нему в подвал за карточками, и мгновенно переменился, — да вы не опасайтесь, не нашумим, не звери же... Где она у вас умирает-то?

— На кухне, — пальцем показал Фёдор Андреич.

— Ну мы тогда в ванную пройдем!

Обстоятельное исследование стояка подтвердило предположения домкомского товарища, и кажется, увенчавшая его поиски находка заметно улучшила его настроенье.

— Не беспокойтесь, нас Елена Андревна и не услышит... вы только завесьте дверь туда чем-нибудь да снизу поплотнее заложите... для заглушки звуков! а я пока за водопроводчиком смотаюсь...

...Человек восемь довольно щуплых домовых активистов, зато с громадными тенями на промороженных стенах, наблюдали за чумазым неразговорчивым человеком, как взад-вперед водил он по трубе в уборной неистовым пламенным языком. Бензинка урчала, но не сдавалась и труба, а домком все совался пощупать чугун, так что водопроводчик даже оборвал его, тоже шепотом: «уйди, черт-вертяк, с-под руки...» Все в доме уже знали, что за дверью умирает хозяинова сестра. Однако, когда через час пошла вода, натерпевшиеся люди со всех этажей бросились с ведрами в лихаревскую квартиру, и потом два часа длилась эта бесчеловечная, сопровождаемая плеском воды, почти оргией, нестерпимая топотня... но, странно, едва схлынул переполох, Фёдор Андреич ощутил почти тройную тяжесть на душе. Ужасно страшно стало войти на кухню... Но сразу пришло в голову, что только сейчас, в полной тишине, оглашаемой размеренной баюкающей капелью разбуженной воды, только теперь и могла наконец задремать Елена Андревна... и поэтому не стоило будить ее ради пустяков. Другое дело, кабы хоть морковочка в руке была!.. и вдруг вспомнилось, к пущему потрясению Фёдора Андреича, что, как только слегла в постель, она вот так же вскользь, стесняясь, попросила его принести ей соленый огурчик... и он даже на улицу вышел, помнится, с этой целью, но встретил кого-то и все безжалостно забыл за разговором. А это единственная возможность была прижизненно отплатить должок Елене, и главное, чтобы бог помедлил с его сестрой, пока профессор Лихарев не добудет в мире помянутой морковки, без чего ему предстояло бы гадко каяться всю последующую жизнь. Фёдор Андреич даже прислушался из кабинета, не закашляется ли — тем обычным в последнее время надрывным кашлем, словно шестерня срывалась с зубьев, и еще прислушался... но опять нет, не кашлянула. И уже не из-за сестры жутко стало оставаться в квартире, а с собою наедине, из-за необходимости заглянуть в себя и ужаснуться своему смятению.

«Так почему же все-таки эта святая, кроткая, неслышная душа к чужому человеку, да и то секретно, порешилась обратиться, с последней грошовой прось-

бицей, не к брату кровному, которому подарила... хотя, возможно, за ненадобностью?.. жизнь свою. Неужели же он, без труда раздобывший лошадиную голову, когда всерьез проголодался, неужели не достал бы ей морковочки в таком огромном городе, пускай даже погребенном под корою тысячелетнего ледника! Да ты просто обязан был, животное Лихарев, одним зноем благодарной души протаять ходы, все подполья его излазить, как мышь это делает зимой, а ты придумываешь отговорки — как все они, эти гадкие удачники на земле, — лишь бы не коснуться смерти... все бежишь и бежишь, от совести своей бежишь, дурак, а не от смерти, которая как раз только и дожидается тебя вон за тем углом. Да и сейчас уж изобретаешь втайне от себя очередную уловку...» Фёдор Андреич так и не понял, вслух произнес он все это или же лишь сквозь мысли пропустил.

Тотчас ему быстро убедить себя удалось, что еще поспеет взад-вперед смахать к Елкову, если же спать улеглись по позднему времени, то непременно достучится, весь дом поднимет на ноги ради такого случая.

X

На ходу вдеваясь в рукава с оторванной подкладкой, Фёдор Андреич без шапки бросился на улицу, в подъезде с ног едва не сшиб какую-то женщину со свертком, которая надолго и по-мужски зачертыхалась ему вдогонку. И потом побежал если и не с завидной прытью, то — какая лишь возможна в его возрасте, часто останавливаясь для передышки у водостоков и фонарей, иной раз в обнимку с ними. Примораживало, и луна показывалась изредка, отчего мертвой и зыбкой выглядела окрестность, как на дне ледяного моря... а дома были там вовсе ни при чем! И уже с первого перекрестка что-то неудержимой тоской перехватило горло Фёдору Андреичу, так что ничего сразу не жалко стало — ни себя, ни надломленного здоровья своего, ни начатой работы про особенности мезозойского климата... Вдруг живо представив себе Елену, он заплакал на бегу — так сладко и безутешно, как с

детства самого не плакал никогда, — даже удивительно приятно, так как после многих десятилетий напряжения смягчалось что-то внутри, затвердевшее панцирной, недоступной для человечности кожурой. Словом, так все и бежал, обильными слезами заливаясь, облизывая обындевелые на морозе усы.

Кто-то шарахнулся от него в подворотню, в другой сам притаился, пока двое с закутанным младенцем мимо не прошли. По прошествии кое-какого времени он уже шагом дальше отправился, потому что и без того теперь припадка ночного было не миновать, шел, бормоча навзрыд сквозь закушенные усы: «Прости мне все, моя милая Лена... может быть, всех милых милее на свете, которых я из той же подлой приверженности к бумаге и чернилам старательно, сторонкой обходил. Просто мне все некогда было, прости, все думал — потом, потом, сразу вывалю ей все слова хорошие, которые между делом накопил... вот еще, еще хоть немножко, когда руки совсем остынут и с последней рукописью развяжусь!»

Походка его постепенно замедлялась... и вдруг какое-то обострившееся чувство одиночества, похожее на дуновенье сквозняка, до костей прохватило Фёдора Андреича. То, чего смертельно боялся, случилось наконец. Дальше растрачивать сердце было ни к чему, однако из честности перед покойницей он дотащился кое-как до конца улицы. А всего их, этих мертвых уличных тоннелей, до Елкова оставалось никак не меньше восьми, в другой половине города. Пора стало домой: поскользнувшись, может, и не поднялся бы совсем. Возвращался с померкшим сознанием и, несмотря на это, мокрый от изнурения, поторчал минутку на противоположной стороне. Полный мрак стоял у Лихарева в окнах, как и в прочих этажах, время было за полночь. Дверь стояла настежь распахнутая... закричал бы от одного падения песчинки... кто-то ждал Фёдора Андреича в кабинете.

Из хитрости Фёдор Андреич сперва прошел мимо и, хоть головы не повертывал, знал в точности — тот уже сидел бочком на подоконнике, свесив одну ногу до полу, ждал. Ничего не оставалось, как войти теперь.

«Нехорошо как получилось с сестрой-то...» — начал ферт.

«Ладно, ладно... все прошло теперь!»

«Она тебя звала... очень дивилась твоему поведенью».

«Врешь... — весь от гнева и физической боли перекосился Фёдор Андреич. — Знаешь, знаешь, какая она у меня была?»

«Сам слышал».

«Как же ты слышать мог, если нет тебя?»

Ферт замолчал, видимо, обиделся.

«Правда, я всю жизнь много работал, вот даже семьи не успел завести, — стал оправдываться Фёдор Андреич. — Но я голоса никогда не поднял на Елену!»

«Правда ли? — ощерился ферт, и Фёдор Андреич даже внимание не обратил, что силуэт его вдруг так четко прорисовался на фоне посветлевшего окна. — А тогда, на позапрошлой неделе?»

Фёдор Андреич и сам живо помнил тот случай, когда, поздно вернувшись от Елковых, как-то в особенности постыдно визгнул на кутавшуюся в шубку сестру по поводу незавешенных окон. Она вся сникла от несправедливости, ей тогда уже трудно было подыматься на табуретку.

«Окна надо завешивать на ночь... чужие, недобрые смотрят, кроме того, тепло сквозь стекла уходит, — непримиримо сказал Фёдор Андреич, даже кольнуло в сердце. — Ишь опять как простыло!»

«А ты затопи, — подсказал ферт. — Для себя же одного теперь».

Следуя подсказке, Фёдор Андреич с зажженной спичкой оглядел кабинет, фолианты в простенке, слишком толстые для отверстия печурки, еще какую-то непонятного назначения вещь. Так и не узнал осенившей его когда-то идеями окаменелости, из которой сейчас, если бы вложить во впадинку зерно фасоли, получался профиль как бы человекообразного существа. Привыкнув, что сестра даже ночью нередко поднималась печурку протопить, Фёдор Андреич не знал теперь, с чего начать. Следовало давеча попросить тех, с ведрами, чтобы сломали ему на топливо хоть диван.

«Сломай-ка мне диван, — на пробу, из хитрости, сказал Фёдор Андреич. — Ну-ка, принимайся...»

«Как же я примусь, раз меня нет! Сам и ломай... — усмехнулся ферт. — Но на твоем месте я бы с мелкой бумаги начал».

Явно он намекал на стопку рукописи поблизости, стоило руку протянуть, но, значит, прежде чем совершиться этому, должна была закончиться какая-то нитка его жизни и раздумий. Ферт на время пропал, пока Фёдор Андреич собирал где придется старые брошюры и пропылившиеся черновики... Скоро обои и потолок озарились неверным, попрыгивающим багрецом.

«Сегодня керосин выдавали, а ты так и не собрался», — напомнил подобравшийся сзади ферт.

«Тише, сестра услышит».

«Не услышит теперь. А тебе и не надо никуда ходить, пусть мир о тебе заботится, если еще нужна ему соль земли. Старая, а правильная твоя мыслишка, Фёдор Андреич: среди нового инструмента у человечества имеются топоры и бритвы... и пока топор под лавкой валяется, бритва должна в футляре лежать, и не следует их путать. Иначе либо ценный клинок безвозвратно попортишь, либо физиономию повредишь!»

Фёдор Андреич собрался что-то возразить насчет пребывания топора под лавкой, но как-то незаметно для себя забыл.

Так, на скамеечке перед печкой сидя, железной линейкой пламенный тлен шевеля, Фёдор Андреич листок за листком посовывал в огонь бумажную ветошь, и с каждой вспышкой все глубже, через колени, вступала в тело блаженная немота забытья.

«Ну, хорошо тебе... хорошо ведь? — снова нашептывал сзади ферт. — А ведь занятно-то как, что лучшие, самые главные свои мечты, священные вдохновенья свои, плоды ночей бессонных человек от века доверял не стали, не граниту, а такому, в сущности, нестойкому коварному другу, как бумага. Не зря поэтому темное зудящее искушенье охватывало древних-то вояк при виде беззащитных пергаментов... стоит спичку поднести, а уж там ветерок порастащит их по пеплинке на все четыре сторо-

ны... и вот уж нет ничего, как ничего и не должно быть, если помнить про это некому... как и от самих вояк ничего потом не останется! Потому-то в великие эпохи веселей всего полыхает исписанная чужими мыслями бумага. Твои — тоже для них чужие, не жалей...»

То была уж чрезмерная даже в их отношениях фамильярность.

— Уйди... — свистящим шепотом закричал Фёдор Андреич, замахиваясь на мрак своей железкой. Не удержавшись, он упал на железную обивку перед печуркой, началось удушье. Так и остался здесь до утра, поднять его было некому.

XI

Утром Фёдор Андреич застал себя сидящим в кресле. Он долго смотрел в окно, на солнечный свет, радужно дробившийся в ледяных листьях зимы, пока не припомнил все происшедшее накануне. И не то чтобы уже примиренье у него наступило с жизнью или смиренная человечность снизошла в душу ему, — без понуждения сходил к сестре, даже заглянул к ней за занавеску, приспущенную теперь. Все обстояло сурово, непоправимо, ничуть не страшно... Потом Фёдор Андреич сходил в домком с заявлением, что в квартире номер два ночью умер человек. Выяснилось после длительных переговоров, что если управятся, то попозже приедут, заберут. К вечеру двое в миткалевых халатах поверх полушубков вынесли закутанную в простыню Елену Андревну, — брат проводил ее лишь до повозки, дальше не позволило сердце.

Трое там еще стояли с непокрытыми головами, пока грузили, и добросердечная соседка перечисляла им простуженно, без слез, однако, жалостные житейские обстоятельства Елены Андревны, с которой столько мерзлых ночек напролет выстояли в очередях.

— Кровью барышня-то залилась... Она из хорошего семейства, видите ли, а вот утехи-то и не получилося! Чахотная она была...

Вернувшись к себе, продрогший до костей Фёдор Андреич тоже не плакал на этот раз, только, с раскрытым

ртом, как в одышке, высидел часа два в полюбившемся ему кресле, после чего произнес вдруг особым, несвойственным ему тоном:

— Леночка, Лена, пойди сюда... мне нехорошо.

Никто не подошел, однако, и на повторный зов, к чему следовало теперь привыкать понемножку. И Фёдор Андреич привык — за счет каких-то неминуемых смещений в характере, потребностях, даже в распорядке дня. Как и предсказывала сестра, все наладилось после ее отъезда, хотя и не в такой мере, как ей хотелось бы. Крайнее безразличие, почти лень овладела профессором Лихаревым: он просто отвык от многого того, к чему, правду сказать, никогда не чувствовал в себе ни пристрастия — пользоваться, ни таланта — добывать. Что касается наружности, то он еще в молодости, если работалось, научился обходиться без зеркала. Впрочем, следуя заветам сестры, он попытался разок постоять в очереди за мылом, но занятие это ему как-то не понравилось, он вернулся ни с чем. К счастью, кроме тех сухарей, насушенных ею из утаенного от общего их хлебного пайка, отыскалось еще кое-что в разных тайничках. Она по горстке раскладывала повсюду, словно предвидела, как приятно будет Фёдору Андреичу делать эти маленькие, в самых неожиданных местах продовольственные находки, следы ее посмертной заботки о знаменитом брате-профессоре.

Никто не навещал теперь Фёдора Андреича, даже ферт, избегавший своих визитов в присутствии Елены Андревны. Таким образом, и некому было рассказать Лихареву, как горестно поблек он, осунулся, постарел, причем сам нисколько не замечал происходивших с ним подготовительных к заключительной фазе изменений. В общем, все шло вполне равномерно, правильно, только уж быстро очень, хотя ни разу не подвертывалось ни малейшего повода для прежних, раздражительных неудовольствий, которые когда-то, к великому огорчению сестры, столь портили ему рабочее настроенье. Былой страх смерти выродился в смешное опасенье, как бы вездесущие теперь мышки, пользуясь слабостью хозяина, не пробрались к его запасам. Вследствие их почти безудержного нахальства Фёдор Андреич как крупку, так и

прочие остатки Мухоловичевых приношений культуре подвесил над кроватью у себя, количество же оставшихся картошин записал мелком на стене... В особенности откровенно носилась мышиная разведка по ночам, и это означало, что теперь совсем уж скоро вся полярная мгла, гудя и воя буранами, ринется приступом на последнюю крепость профессора Лихарева.

По счастью, сознанье как бы выключалось порой чуть не на сутки, так что, проснувшись в тот предпоследний денек еще в рассветной мгле, он очнулся, лишь когда вечерние сумерки снова затянули окно, очнулся скорей от пронизывающей стужи, чем от голода... и тут сразу оказалось, что ферт уже давно посматривает на него, небрежно опершись о локоток и враскидку полулежа на кровати.

«Ну, заморозил меня совсем, затапливай. Нечем, что ли?»

«Вот сам и топи...» — огрызнулся Фёдор Андреич, в точности зная, о чем речь.

«Раз меня нет, значит, кроме тебя, некому... Давай тащи ее к печке!.. Кому нынче нужна твоя бумага. Кабы еще чистая была...»

«Как кому? России!»

Кажется, некоторое время ферт раздумывал:

«Больно охота ей всякий хлам в будущее тащить. Да может, она стоит сейчас и зрит нечто перед собой отверстыми очами... Теперь в гору пойдет, небо зальет в железобетон, шоссе через него прокинет. Да она теперь, Фёдор ты мой Андреич, хлеб станет делать из воздуха, на трамваях по небу раскатывать, в бархатных штанах ходить: жисть! А с тебя какой ей навар? Не более как лошадиная голова... Ну, помочь, что ли?»

«Я сам... — отбился Фёдор Андреич и взял было рукопись со стола, но одумался на полдороге к печке. — Постой, кажется, спичек нет...»

«У меня тоже нет... но вон в той коробке найдется парочка».

Первая затравка на вчерашней золе загоралась туго и вяло, — огонь брезгливо, с обеих сторон разглядывал страницу, которую предстояло ему пожрать. Лишь

с восьмого приблизительно листа двинулось не в пример дружнее. Стылый чугун постепенно разогревался, и, когда Фёдор Андреич сунул в пасть ему небольшую пачку в палец толщиной, заметно потеплело вокруг. Весело урчало в накалившемся докрасна дымоходном колене, но пепла скопилось уже по самое устье, огонь не успевал справляться с участившимися подачками... и тут при одной затяжной вспышке Фёдор Андреич попытался выяснить, до какого же именно места добрался он в своей расправе. Пригнувшись так, что опаляло жаром лицо, он разбирал верхнюю полустроку. Ага, шла полемика с двумя там легкомысленными французами по поводу принадлежности и датирования некоего бронированного ископаемого, отысканного в одной пустыне, так и не выясненной, потому что стало гаснуть пламя и засветившийся было дымоход снова растворился во мраке. Тогда Фёдор Андреич помешал кишевшую искрами золу и со стоном подкинул оставшуюся пачку. На этот раз стало сразу так жарко, что пришлось откинуться назад, но и так страшно, когда разохотившееся пламя вырвалось наружу, оставив по себе на полу кучку мелких суетливых огоньков.

Никогда раньше в голову не взбредало, что пятьсот намелко исписанных страниц — так долго и мало. Долго — потому что на создание их потребовалось больше чем тридцатилетняя работа, мало — потому что снова стал зябнуть, прежде чем последняя искра спряталась в золе. Нигде не болело, все прошло удачно, и помнить обо всем этом, слава богу, было некому. Перед дыркой, в которой только что бесследно растворилась человеческая личность и местонахождение которой угадывалось во мраке лишь по исходившей оттуда теплой и тошной гари, сидел потухший вместе с этим пламенем, даже небольшой сравнительно с прошлым старичок. В ту ночь великое умиротворение снизошло наконец ему в сердце и заодно та самая мудрая человечность, которой так недоставало ему всю жизнь, чтобы умереть без крика.

«Слушай, пусти-ка меня, братец, на постель, а сам пересядь сюда... я устал», — пожаловался бывший Фёдор Андреич.

Он стал зажигать спички, чтобы при свете добраться до кровати. Когда над третьей закачалось худосочное пламя, распространявшее сильную серную вонь, стало видно, что место на кровати свободно. Остальное он забыл, ему ничего не снилось в ту ночь, и вообще — легкость такая, будто никогда ничего и не было. Когда же открыл глаза, окно было как бы насквозь пролито солнцем, так что радужно искрились ледяные отпечатки мезозойских папоротников на стекле. Видно, уж давно стучали в дверь, и за ней оказался как раз покровитель культуры Мухолович.

— А... — только и сказал ему бывший Фёдор Андреич, — давненько не бывали!

Тот вошел с кухни во всеоружии своих потешных ужимок, которые, наверно, помогали скрывать какую-то однажды навеки сконфуженную, никогда не получившую утоленья мысль. Он всегда робел в присутствии знаменитого профессора и теперь, предпочитая общество его сестры, прежде всего спросил о здоровье Елены Андревны. Неожиданно ласковым, даже пугающе кротким тоном Фёдор Андреич отвечал, что сестра с квартиры уехала, и тот не посмел переспросить. Но тень неверия, почти подозрения, скользнула по лицу Мухоловича, и он даже перестал ненадолго извлекать из карманов очередную дань культуре в виде мелких пакетиков с самой разнообразной снедью.

— Вы не поверите, товарищ Лихарев, как я люблю солнце! Может быть, что-то такое происходит в моем организме, я не знаю, но последнее время, знаете, я буквально не могу без слез смотреть на солнце. Меня все спрашивают, что с вами, Мухолович: вы за всякий пустяк стали такой нервный? А я все хожу действительно, смотрю на солнце и плачу! — И вдруг осведомился вскользь: — Скажите, а она далеко уехала?

— Очень далеко... — тем же тоном примирения отвечал Фёдор Андреич, все кивая, кивая и по-стариковски присаживаясь, чтобы не устать.

Все поражало теперь пытливый, все более беспокойный взор гостя — какая-то запущенная, неживая, хуже всякого беспорядка, чистота на кухне, никак не запол-

ненная человеческим присутствием, такая же мертвенная пустынность квартиры, куда, не переставая говорить, заглянул Мухолович, самый вид опустившегося за столь короткий срок Фёдора Андреича — его порванная у ворота фуфайка, давно не знавший гребенки клок надо лбом, самые его глаза — один заметно меньше другого. Какая-то ужасная катастрофа, возможно, даже убийство произошло здесь буквально перед самым его приходом, и вот Мухоловичу оставалось лишь найти какую-нибудь изобличающую улику.

Но приходилось беспрерывно говорить, чтобы не выдать все усиливавшейся тревоги:

— Уж я не мальчик, прямо надо сказать... но, знаете, я так напугался в прошлый раз... когда, помните, моя рыба полетела на воздух. Мне не так жалко самую рыбу, как вас... хотя это была очень свежая вещь. Допускаю, что бывает рыба лучше, но и в судаке все-таки что-то есть. Вы не думаете? В прошлый раз, как я гляжу, вы были немножко не в своей тарелке... а как теперь?

Лишь сейчас он приметил возле чугунной печурки совсем свежую кучку такого легчайшего пепла, что даже шевелился, как живой, от почти неприметных колебаний воздуха, даже от ветерка произносимых ими слов. Гость нагнулся и поднял немножко на пробу, и хотя никаких особых примет не содержалось в щепотке этого невесомого, только замаравшего пальцы вещества, самое молчание Фёдора Андреича подтверждало его догадку.

И, значит, перед тем как погаснуть навсегда, разум Лихарева испытал прилив какой-то предельной ясности, похожей на последний луч в закате.

— Да-с, именно так, любезный Мухолович... — тоном старческого высокомерия заговорил Фёдор Андреич в ответ на испуганный, осуждающий взгляд своего благодетеля. — Не надо жалеть, не надо обременять собою память счастливых потомков. Этот дом покрасят заново, в нем будут жить новые жильцы. Что ж, они случались и раньше, смены геологических формаций! Нас будут считать исторической ошибкой, а ошибки надо поправлять...

— Боже, и это ваша рукопись? — вскричал Мухолович. — Но зачем?

— Ну, любезный, нам почти не удается вникнуть в истоки человеческих... и прочих побуждений!.. и прежде всего зачем такое множество оттуда торопится войти в мир. Вернее, мы всегда умираем чуть раньше, чем узнаем причину... Кстати, и я тоже пытался выяснить на досуге ваши собственные побуждения... ну, вот всех этих благодеяний! — махнул он рукой на расставленные по столу пакетики с пищей. — И знаете, к чему я пришел? Скажите, любезный, вы не живали в Городище?.. не знавали в молодости моего отца там, а?

Затем взор его стал быстро меркнуть, гораздо быстрее, чем меркнет день, так что устрашенному Мухоловичу была предоставлена возможность наблюдать начальную фазу умиранья. Что-то непоправимо сдвинулось в чертах лица у Фёдора Андреича, и вот уже стало вполне бессмысленно и отвечать на его вопрос, и даже прощаться перед уходом.

Оставшись один, Фёдор Андреич прошел к кровати и лег. Мысли его спутались, линии взаимно перечеркнулись. На улице были день, мороз и солнце, внутри — ночь, удушье и конец. Такая наступала отовсюду ночь, что к вечеру у него хватило воли и разуменья зажечь лампу на столе. Это было его последнее исправное солнце, тьма попятилась от него, возможно стало и подремать немного... Лихарев прикрыл глаза от невыносимого биенья в груди: последнее время, приходя, ферт никогда не стучал в дверь, а всегда в сердце.

«Притащился... что, пора?» — спросил Фёдор Андреич, присаживаясь и спуская ноги.

Тот не раскрывал рта, стоял возле, все смотрел грустными глазами, как Фёдор Андреич пошаркал ногами, надевая старомодные профессорские ботинки. Придерживая лихаревское пальто, ферт еще раз нечаянно толкнул локтем в бок его владельца, а локоть у ферта был острый, черный, длинный, как рапира.

«Не дергай так, — плаксиво пожаловался Фёдор Андреич, — ты же знаешь, здесь болит».

«Ладно, нечего уж тут... — только и сказал в тот вечер ферт. — Пошли!»

«Погоди, отдохну только... опять забилось», — попросил Фёдор Андреич, присаживаясь на минутку, потому что вдруг не стало больше воздуху.

С удивленьем, как новинку, оглядел он все: чадившую лампу с последним керосинцем, когда-то опрокинутый стул, корзинку сестры на диване, зияющий пустотами стол — ящики были сожжены. Потом беззвучным шагом поплелся к двери, и ферт шел следом, важный и черный, как китайская тень на стене.

Выйдя из подъезда на улицу, Фёдор Андреич раз и два оглянулся по сторонам, но ферта возле него уже не было. Тогда, в поисках провожатого своего, он подобрался к окну своего кабинета и приплющился к стеклу. В ту ночь особенно густые, пушистые на окнах образовались узоры, но ему-то все было видно насквозь. Там, в запятнанной желтым жидким светом комнате, на полусъехавшем тканьевом одеяле и закинувшись к стене, сидел поперек кровати бывший Фёдор Андреич и глядел в этого, приплюснутого любопытством к окну, расширенными незрячими глазами.

Декабрь 1922 г., май 1960 г.

ЗАПИСИ НЕКОТОРЫХ ЭПИЗОДОВ, СДЕЛАННЫЕ В ГОРОДЕ ГУГОЛЕВЕ АНДРЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ КОВЯКИНЫМ

Предисловие

25 июня 1920 года меня посетил С. П. Ковякин, брат милого моего знакомца, Андрея Петровича Ковякина. Он принес мне печатаемые ниже выдержки из записок брата. Полностью записи Ковякина не могут быть напечатаны по причинам особых свойств. Вместе с тем С. П. сообщил мне грустную весть: в ночь на 18 июня Андрей Петрович бесследно исчез из Гогулева.

«Я еще накануне был у него. Он ходил по своему чердачку, полностью в дорожном виде, за плечами котомочка. Что, спрашиваю, чудишь все, братец? Но он поглядел на меня, как будто не узнавая, и глаза у него были как две дырки без ничего. Тут он и передал мне свои писания...» — таковы подлинные слова С. П. о канунном дне ухода Андрея Петровича из Гогулева. М. И. Бибин, старший сторож клуба «Парижской коммуны», у которого квартировал в последнее время Андрей Петрович, передавал С. П-у, что часто заставал Ковякина за «стенографией» — за рисованием голым пальцем каких-то линий по закопченной стене. На вопрос, что это он делает, Андрей Петрович отвечал: «Ищу выхода из плана жизни...» Страдал ли Андрей Петрович последние дни душевной болезнью, неизвестно. Во всяком случае, из помещенного ниже письма видно, что бесповоротное решение его уйти из родного города возникло в нем не совсем уж неожиданно, под несомненным влиянием какого-то значительного, не упомянутого им «эпизода».

Сам я знавал А. П. Ковякина простым по уму, но душевным и милым старичком, — бородка метелочкой, зоркие голубоватые глаза, синяя поддевочка, сутливость и

быстрая, забавная, ручьистая речь. Тогда же, в 1919 году, он и обещал мне прислать свои записи.

Ему, ушедшему из Гогулева навсегда, мое последнее дружеское — прости.

Письмо А. П. Ковякина

Любезный друг мой!

Во первых строках кланяюсь и благодарю за истинную память, а именно: 10 ф. сахару, пару фуфаечного белья, калоши (истинно, у нас осенью без калош нельзя), и потом — книга Библии, чтоб читать о бедствиях прошлых времен. Перечисляю потому, что за почту очень опасаюсь. Еще раз спасибочки, истинный друг мой. Очень вы меня, горемыку, посылкой этой порадовали.

С братцем моим (его Сергей Петрович зовут, по служебным делам едет) посылаю вам свои записи. Я их наново написал и выбрал некоторые, которые стоящие или опровергают. А остальные будут на сохраненье у М. Бибина. Там — «Как ловили Афоньку по прозвищу Жох», «Сватовство Татарникова», «Зверская смерть городового Десяткина», «Укус Матвея Александровича», «Машина гнусного шума» и другие еще. Также оставляю у Бибина сочинение мое, которое я писал шесть лет, а именно: «Размышление по поводу хода вещей».

Вы мне в том сентябре поминали, что можно бы даже и отпечатовать. Это очень бы хорошо. Только потом вы пришлите мне книжечки три. Я одну о. Ивану в Пензу пошлю, другую в расход пущу, а третью в сундучок. Только отпечатовайте лучше под чужим фамилием, будто не я. Например: Скользаев. Это гармоничней и непонятней, больше обратят внимание. Опять же в нонешнее время, как я вывел, не очень-то за писания похваливают. По новому веянию могут и в заключение посадить. А ведь мне, друг милый, шестой десяток Андреева дня кончится.

Нет у нас особливых новостей никаких. Да и удивляться перестал народ. Хоть небо на землю упади, а мы скажем «будьте здоровы». Вот Дища, бывшего нотариуса

(студнистый такой!), мы от своей компании отдалили: все сооружать собирается. По-моему, так с ума соскочил, хотя в наше время и не отличить. Потом у Пчёлкиных собака забесилась и покусала троих. Жары у нас очень сильные стояли. Дождя и ветру никакого, а круглый день жара. Пчёлкин — это сапожник у нас, сосед. Может, и собаку-то его помните? Названье Трезор, белая.

Председателя нашего Сеновалова сместили. Говорят, будто хотел бани в Гогулеве снести, а на том месте — Дворец труда. Главное дело, он уж и плотников нанял 9 человек, а его тут и сняли. Новый все грозится, что электричество в каждый дом проведет, чтоб проверять, кто и что делает. Но у нас не боятся, а пуще опасаются, как бы налога нового не назначили. За все теперь берут, с каждого деревца по лычку. У Бибина в палисадничке яблонька стояла, анисовый цвет. Ему сказали, что 3 меры за нее, так он и спилил утречком ее от греха. Да хорошо еще, что догадался. Также болтают, что даже за вид из окна будут брать. Но это уж, конечно, пустое злоязычие без результату. До этого не дойдут.

Вот и все, извините. Так вот и живем, а цивилизации по-прежнему никакой. Напротив, поясницу, например, еще больше ломит. Но мы не ропщем, а притихли и молчим. Кряхтим и лезем. Нога вот тоже пухнуть стала. Бибин говорит, что от старости. Не от старости, милый друг, а от дурной мысли!

Вот, кстати, примите во внимание, тленность. Бибин теперь при собственном же домике заместо пса цепного. Да еще заставляют в политграмоту ходить по вечерам. Намедни, однако, в ихний праздник, выдали ему сахарку фунтик и бумазеи на нижнюю половину. Бумазея ничего себе, в розовую клеточку. Но пристало ли, искреннейший друг мой, престарелому гогулевцу в бумазейных ходить? Да некоторые уже и ходят: не узнать Гогулева, перерядился, бельма на лоб. Прежняя гогулевская порода вся вышла. Много значущих поубавилось...

И потом всё смерти, смерти. Марья Ивановна Смирнова (Пушкарский конец, собств. дом), у которой вы свое временное местопребывание имели, умерла. Умер Василий Васильевич от простуды. Также догорела

печальная жизнь Димитрия Терлюкова. И даже при несчастных обстоятельствах, а именно: утоп. Многие умирают, чтобы облегчиться от жизни. Многие просто болеют, вследствие видоизменений судьбы. И болезни у нас пошли новые, мы таких не знали в свое время. Э, да что там! Спустишься иной раз к Михайле Ивановичу, сядешь наискосочек, да и шепчешь ему в глаза: эхоньки, глупые мы с тобой два! Ну, да ладно, — ишь строки-то кривые какие пошли, словно тетеров крылом по снегу.

А всякие эпизоды по четвергам у нас случаться теперь стали. В прошлом — свинья в Нижних Тарасах ребенка заела, девочку. А в позапрошлый — вышел на площадь живой человек и закричал караул. Значит, до точки дошел человек, и точка его поглотила. Чем-то нас будущий четвержок хватит, — каким концом, по какому месту...

Еще раз благодарю за истинную память, добрый друг мой. А книжечки вы шлите мне по такому адресу. Вы, может, и помните адресок-то мой, но на всякий случай вот: гор. Гогулев, ул. Розы Люксембург (бывшая наша Огородная), дом бывшего Михайлы Бибина, для передачи мне.

Остаюсь, благословляя пути ваши, гогулевский друг ваш, проводящий стариковскую жизнь, Андрей Петрович Ковякин.

Начальные стишки

Подай мне, господи, терпенья
На трудный мой писанья труд,
Дабы Ковякина Андрея
Не осмеял какой-нибудь.

Так все уныло в этом мире
Под грузом разных там забот,
Вот царь Давид: играл на лире,
А ты крушил его врагов.

И благотворны были звуки
В устах Давидова псалма,

Пусть, несмотря на вражеские штуки,
Я все же не сойду с ума.

Итак, во славу Гогулева
Кладу начало я труду,
Чтоб не забыть судьбу былова,
А благодарности не жду.

Записи А. П. Ковякина

Да ведают потомки...

Пимен

Что есть город Гогулев

Мы город степной. Мы город тихий, заштатный, обделенный. От нас на север простирается степь, а к востоку — татаре вперемежку с лесом и мордва. На юг же — я и сам не знаю что. Вообще же очень много кругом нас голого места. Нас, между прочим, упрекают, что пьем мы много и неурочно. Это правда, пьем. Но ведь нельзя же и не пить, кто глядит по справедливости, на голом-то месте. Даже хотя это и порок человека. То же самое и небеса. Небеса над нами крутые, большие, круглые. И такая по веснам в них синь, что до трепета в коленках. Но они, небеса, тоже совсем пустые. В небе, как известно, березки не растут, а в летние месяцы и облачко в них редкий гость. Но мы не ропщем. Мы даже привыкли и любим.

Отсюда и жары у нас лютые. Как зажарит с поутрия, так и до поздней ночи. Многие принуждены спасаться в банях, у кого есть. У нас до того доходят жары, что не только собаки, а куры бесятся. Люди же, купаясь, гибнут прямо в речке, несмотря на мелкоту вод.

Зато и зелени в Гогулеве много, особливо по Полынной улице. Вы на названье не смотрите, что полынь, а это сплошной сад целиком. В апрелях, когда черемухам пора, так даже по улицам ходить нельзя, очень хорошо, до тошноты. Но зелень не только ласкает взгляд, — насту-

пление смерти предотвращается рукою зелени. Напротив меня висит вывеска на зеленом доме: «**Различные гроба. Я. Вертушкин**». Но зелень прилегающей липы заслоняет от меня означенный вид. Кроме того, зелень предохраняет от распространения пожара. В этом главная ее заслуга и польза. Правда, землетрясений у нас отродясь не бывало. Но пожар о сухую пору — это почище трясений, как я гляжу. О, пожары! Они грызут наш Гогулев во все бока. Кой раз сгорало у нас по 115 дворов в сутки, а горим мы ежегодно. Гогулев же стоит незыблемо. Очень на нас красиво глядеть со стороны!

И вся она, зелень наша, населена веселейшими жильцами. Скворец, воробей, ласточка — вот наша птица. Я ворон и галок как-то не считаю за птиц. Тоже и насчет коршунов: это уж зверь, а не птица. А воробья я очень люблю за его веселость. У нас воробей совсем домашний, мало-мало в курятник нестись не ходит. Ласточку же я уважаю за пользу, она ест мух. У нас мух от жары невыносимое количество, цельные табуны, прямо голова от них гудит. Вот если бы все ласточки съели всех мух.

Навещают нас и соловьи. Соловей мне приятен во всех отношениях: пищи ест мало, а поет замечательно. Кроме того, он крупный. Охотники сказывают, что иной до 2 фунтов доходит, но я не верю. Охотники уж кровей таких, завиральных. А живут у нас соловьи где попало. В третьем годе цельное лето у дьякона Куликова (наше названье ему — Шурыга) в саду соловей жил. Весь город ходил слушать, особливо неженатая молодежь. Но попутно обрывали с деревьев, особливо с вишен, недозрелые цветы, которые тут же не стеснялись прикалывать на грудь и так вилять по улицам. Дьякон принужден был тайно разыскать гнездо и разрушить (а по-моему, так просто по нежеланию красоты).

А подумать, так что в том! Потому и ходили гогулевцы соловья слушать, что театров, например, у нас никаких нет. Приезжал в 1904 году цирк, но там только лошади, хотя и ученые, но интересу никакого. Забрался к нам также, просто с дороги сбился, фокусник один, Леонори. Но у него же только глотание огня и потом яишница в шляпе. А чего-нибудь научного ни на грошик. Как-

никак мы и ему рады были, очень в нем представительность была: росту длинного, в лакированных сапогах, а по фраку — звезды.

Однако фокусник подружился с Василовым, после чего сошел с кругу целиком. Он остался навсегда в Гогулеве и стал чинить посуду, также полудка самоваров. Пробовал он и жениться, однако нет. Причем оказалось, что и не Леонори он, а просто Лукьян Маркыч Татарников. Чему мы все были довольны, что православный, а не лютеранского, например, происхождения. Зворыкин, хозяин мой, часто приходил к нему, когда освоился и привык, клал рубль на табуретку и спрашивал: «Сделай мне яишницу в шляпе!» Тот делал, а Зворыкин с удивлением съедал и просил еще (доходя до 3—4 рублей). Мы очень такому смеялись, что, мол, он тебя, Козьма Григорьич, и газеты научит глотать! Зворыкин же — ничего. Под названием второй кабацкой затычины (1-я затычина — Василов) Татарников и доселе живет в Гогулеве, даже располнел. Так Гогулев действует на приезжих артистов.

Есть у нас земская больница. Купец Мяуков выстроил, отдал в земство. Есть Гогулевское коммерческое училище (четырехклассное). Также церковноприходские — 3. Была и прогимназия, но ее закрыли за ненадобностью, после того как гимназист укусил незамужнюю барышню, дочь городового старосты Копытина. В этом наша драма, люди не могут удержаться от чувств.

Кроме того, существует Семейное собрание. Здесь проводят время семейные из значущих, упражняясь в биллиард. Холостые допускаются танцевать без принесения напитков. Есть также клуб Вольной пожарной дружины. Там действуют наши музыканты, но, кроме музыки, любительские спектакли, особливо балы. В пятилетие Обувайлиной свадьбы состоялась драма «**Мать преступника**», жуткая драма, 5 частей. Роль главного преступника играл Губов А. И., местный фотографщик, он же аптекарь, он же баритон (да и по винной части тоже хороший баритон!). Имелось у нас еще Общество любителей церковного пения, но там процветал, к полнейшему сожалению, форменный картеж, и даже хуже того — спиритизм, то есть разговоры с покойниками. Булдасов

Степан (сын Григ. Григ.), главный гогулевский фат и женский покоритель, нам признавался под пьяную руку, что это он сам крутит столы, кроме того стуки. Однако ему никто не верит, хоть он и божился. Матвей Матвеевич Мяуков так ему при мне говорил: «Не ври, не ври, братец, будто сам крутишь! Ты уж лучше бабам своим головы крути. Мы с тобой в пустоту заглянуть не можем, потому что пустоты как будто и нет. А может быть, в ней что и есть?» Общество существовало до 1906 года, когда умер С. А. Копытин (78 лет), главный любитель церковного пения.

Теперь упомяну о нашем пятне. Это пятно есть Гогулевское общество трезвости. Зачем вызываться на то, чего не можешь, не понимаю! Всякий непьющий, вступающий в общество, начинал пить и допивался до столпов, целиком. Уж одно то, что председателем у них состоял богоявленский регент Васильев (Сергей Васильев. Был еще Тихон Васильев, тоже регент, с бельмом — это не тот). Васильев же — это человек, известный непоправимыми наклонностями. Раз до того допились, что сапоги с них всех стащили, и никто не видал. Сторож же, Яков-младший, сам без задних ног, то есть вповалку лежал. Я им предлагал в 1907 году переименоваться в Гогулевское общество скандалистов (для очистки совести), однако ироники моей никто не понял. Только с 1911 года стали они называться Гогулевским обществом спорта. Это все-таки лучше, по-моему, так как спорт — это по-разному можно понимать!

Не миную я и врагов наших. Врагов у нас много, все больше завистники, что сытно да прочно живем. Про нас они и сказки складывают, и даже довольно низкого свойства. Ругаются же — гогулятниками. Но мне это только смешно, и больше ничего. Так, например, вот. Сорвался бык из стада, поддел борону на рога и мчит на город прямо. Купцы-гогулятники тому напугались, вышли навстречу с Крестным ходом и молят, хоругвями-то оземь: «Пресвята мати Гогуля, не ешь ты нашего города Гогулева!» Бык же, вишь, остановился, да так и прыснул с хохоту. По-моему, так это даже не смешно, а только глупая выдумка. Чего только не наплетут. Вот уж делать-то людям нечего!

Потом вот еще. Как разлилась Сарынка, то накрыло будто с верхом Прасковьину слободку. В одну избу заплыл рыба-сом, да так и остался там, в печи. Гогулятники пришли, когда полые воды спали, заглянули в печь, видят — черная морда и усы. «Это, — говорят, — беспременно есть сапожник, от страху в печку залез и дратву держит» (это усы-то!). А другие не согласны: «Нет, — говорят, — это есть либо старый голубь, либо молодой медведь». Семь лет спорили, а кот пробрался за это время, да и съел сома целиком.

Этим враги хотят уколоть, что пьяными бельмами пречистую мать от быка, а голубя от медведя отличить не можем. Но даже и придумать кстати не сумели, кощунники. Какой же это сапожник (если только он сапожник, а не анчуткин пасынок!) со страху в печь полезет? Какие пустяки! Я на эти прибаутки и складки не серчаю, а только глупо. Мы не хуже других городов и не меньшим прославлены. Поднесь в городовой книге запись красуется, как отбивали мы Стеньку и других ногайцев. Также хранится похвальная бумага от самого царя Алексея, где нам приказано держать Русь, так как мы-то и есть главный рычаг опоры. Кроме того, во времена совсем темные воевода наш Абрам Алтунович Гогуль получил голубого песца на шапку и 4 рубля серебром, деньги в то время немалые. Про это тоже в книге полностью есть. А сколько знаменитых людей, прямо тузов, вышло из нашего Гогулева на всю Россию. Вспомните, граждане, Егора Бобоедова, который умер за человечество, или Артемия Траву, который предсказал всякие события на пятьдесят лет, а мог бы и больше! Бумаги не хватит, чтобы всех героев записать. И после этого смеют еще клевету поднимать враги наши?

Враги, на нас не клевещите
И не завидуйте врагу:
По справедливости глядите
На каждом жизненном шагу!

Точка вам, врагам нашим!

Самоописание личности

Я родился при несчастном совпадении обстоятельств. Это событие произошло 10 числа апреля месяца 1860 года. Рядом с нами загорелся дом. Матушка моя, Варвара Алексеевна Ковякина, будучи здоровья хлипкого, от напуга разрешилась мною. Я потому и получился росту небольшого и наружности не особенной, что эпизод рождения моего произошел до предназначенного срока.

Однако радости моих родителей не было конца, так как я был первенцем. На крестины было призвано много гостей, и, несмотря на скудость достатков, был устроен пир горой. Упомяну, что по тогдашнему времени было истрачено семнадцать рублей с полтинником, не считая съестных припасов. (Покойник дядя Ефим приволок живого барана. Игната же Семёныча угораздило притащить крендель, по рассказам, доходивший до 30 фунтов.) Сам я затрудняюсь вспомнить, хотя это и интересно удостоверить для истории. Описать всего пира я не сумею, хотя было очень весело. Мои восприемники были: по женской линии отцовской тетки золовка, Катерина Васильевна Пулина, женщина высокого смысла; по мужской — Иван Платоныч, 35 лет.

Мы тогда жили на Почтамтской. Отец, Пётр Иннокентьич, был слабого характера и владел мелочной лавочкой. Но, кроме бакалеи, можно было достать у него и пуговицы, и колесные ободья, а также мыло и шурупы к замкам, — это во всякое время. Однако с открытием подобной же лавки местным жителем Басовым, человеком так себе, отец пришел в форменный упадок. Дела его пошатнулись, здоровье тоже. Он стал неустойчивым к вину и умер преждевременно в 1868 году, 30 апреля. Ему тогда не было и сорока трех полных лет. Умирая, отец сказал: «Андрей, уважай!..» Но кого уважать, он не пояснил, потому что умер. Тогда черемухи цвели, воздухи хорошие, умирать было легко.

Мне было уже 8 лет, и я начинал грамоте, к которой был прилежен, понимая пользу. Тут я приглянулся местному мануфактурщику Зворыкину Козьме Григорьичу.

Ему было написано стать полным моим благодетелем, то есть вторым отцом. Он, будучи купеческого сословия, был самый почти состоятельный в Гогулеве человек. Целый квартал — полная его собственность, не считаю еще мануфактурной торговли, которая давала значительный барыш. Он принял меня в ученье, платя матушке по целковому в месяц. Это было ей подмогой. Времена шли, и я стал главным доверенным его коммерческого дела. Свои успехи я объясняю честностью натуры. Я человека зря не обижу, как некоторые, о которых умолчу. Человека обидеть — это есть природное скотство, как я гляжу. Взять хозяйское, я тоже никогда не возьму, если даже дело может остаться в тени. Это я проявлял еще с пеленок.

Также почти с пеленок стал я учиться музыке. У отца была цитра без двух струн. Я очень хотел на ней выучиться, однако дела и болезненность сложения постоянно отдаляли меня от этого занятия. Все же я и теперь, при случае, сумею сыграть какой-нибудь танец, а потом романс: «**Ты причаль, моя рыбачка**». Этот последний могу также и с пением, хотя напев голоса у меня особенный. К нему ранее нужно еще привыкнуть.

У Козьмы Григорьича прожил я 49 лет, не дослужа всего 1 год до 50 и, следственно, до юбилея. Подошла смута, которая подорвала течение судьбы. Двадцатипятилетнего юбилея также не было справлено. Козьма Григорьич был по делам в губернии, а потом справлял свою серебряную свадьбу. О, вот пир был! сколько одного александрийского листа пошло! — весь у Губова скупили. 3 дня весь Гогулев шатался, хотя, как известно, земля у нас стоит ровно. Я же оставался в тени и нес дела по магазину.

В те времена очень я любил девицу одну, Наташу Суропову. Она была чудная блондинка, с замечательными волосами и от хороших родителей. Голос у нее был очень хороший, и она пела в хоре у Василова, где я и познакомился, будучи ктитором. Все шло гладко, но вдруг приехал из Барнаула ходатай Фиглев, он закружил Наташу. Увезя ее из Гогулева к себе, дело кончилось печально. Мне даже писать об этом факте трудно, так как слезы застилают мне глаза целиком. Ах, Наташа, что со

мной тогда делалось! Я 3 дня есть ничего не мог. После чего я решил не жениться, не хотелось как-то сатану на душу себе принимать. Поэтому никогда у меня домашнего дела и не было.

Живучи в Гогулеве почти безвыездно, разве только по хозяйским делам в Самару, я молчать на события текущей жизни не хотел. Все свободное время посвящал я участию в торжественных эпизодах города. А потом записывал их письменно. Это я стал делать по стопам моего покойного отца. Он тоже вел летопись города Гогулева, так как у него тоже бродили в голове романтические герои, также идеалы. Но почерк у него был кривой, мысли тоже. Кроме того, тетрадки его у меня украли в марте месяце 1901 года, неизвестно кто.

Писал я в секрете, опасаясь происков врагов. Никому я писаний моих и не показывал, почитая за пустяк. Но люди стороной разузнали, и я прослыл чудаком. Ну, какой я чудак, я просто так, человек!

Также маракую я и стишки, но это уж совсем потихонечку и по мере возникновения чувств. Душа запросит, я и пишу. Как сын города, я сочиняю также кантаты на особливо торжественные факты. Это я могу. А также романс или куплет под веселую руку (хотя я почти не пью, этого у меня нет в натуре).

Козьма Григорьич, будучи меня старше целиком на 21 год, мне неоднократно, выпимши, говаривал, что все на свете есть одна сплошная чушь, плавающая в тумане жизни. «Описание же этой пустопорожней чуши есть токмо дело столичных брехунков, которые ни к какому коммерческому делу не причастны, а только так себе. К тому же у тебя и воображение страдает в полной мере отсутствием...» — так пенял он мне, уже тверезый. Что ж, это и правда! Сызмальства моего учен я больше недоброкачественные ситцы да сатинеты аршином перестегивать, нежели заниматься описанием истории или проникать в причины судьбы. Однако мне К. Г. не резон. Мануфактура — это одно, а записание достопамятного, чтоб не погибло, — это совсем другое.

В гор. Гогулеве я занимал только такие должности, где требовались качества, кроме того сметка, которые у

меня есть: помощник ктитора Богоявленского храма, почетный член клуба Вольной пожарной гогулевской дружины, доверенный Зворыкинской мануфактуры, член комиссии по учету недвижимости в 1911 году и тому подобное. Кроме того, меня однажды чуть не выбрали в выборщики. Также участвовал я в Гогулевском сиротском суде, в любительских спектаклях, изображая роли, и был дважды присяжным заседателем.

Теперь я стою на склоне и доживаю дни. События текущего момента целиком отставили меня от жизни. Первоначальный смысл поколебался в устоях, зрение померкает час от часу. Я усмирился, стоя в тени людского забвения, молчу и внимаю. У меня давно уже в одном стишке сказано:

Паук нам ткет забвенья сети,
А мы стоим, сплошные дети,
И горько-горько гибнуть нам!..

Не отрекаюсь, а подписываюсь целиком. Под видом паука изобразил я время, которое идет неисчислимо. О, время! Воистину оно подобно маляру. Нынче красит стену (предположим) баканом, завтра же траурным тоном. И скорей выгорает под солнцем бакан нашей радости, нежели траурный колер горя!

Посвящение Н. П. Суроповой

(когда уезжала в Барнаул, 15 окт. 1890 г.)

Когда бы не болела глотка,
Я спел бы вам тогда, красотка,
Всем сердцем искренним романс
О том, как полюбил я вас.

Вы от обедни шли, Наташа,
Был дождь, а на базаре каша.
Вы б в грязь тогда могли упасть,
Я поддержал. Отсюда страсть.

Я не просил у вас свиданья,
Но я к окну твоему ходил.
И там, как нищий подаянья,
Я взгляда вашего просил.

Я на все готов для милой Тали,
А вам любовь моя смешки,
Хотя конфеты принимали
И улыбнулись на стишки![1]

Мольбу отторгли вы поэта.
Он вас давно простил за это.
Андрей Ковякин к вам не строг.
Прощайте же, прости вас бог!

Повешение колокола к Богоявлению

Колокол этот мы вешали на собственный счет. У нас и раньше там колокол в 150 пудов висел, но на Пасху треснул. С тех пор стал он испускать звук глухой и скучный. Враги даже прибаутку на нас составили: когда отцы-гогулятники в таз забьют. Это значит — под праздник. И нам от этого обидно, да и церковному делу поругание.

Слава города в его колоколах, ибо колокола вещают его славу. Поэтому стали делать сборы. Матвей Матвеевич Мяуков (мы его потом в гор. старосты выбрали) дал на это дело ровно тысячу рублей, Зворыкин тоже тысячу. Остальные — кто сколько мог, по достатку. Таким образом, собрались большие деньги. Больше всех участвовал в этом деле Бибин М. И., гогулевский купец-стеаринщик (стеариновые свечи, а также мыло). Он отвалил цельных 1650 рублей наличными, по обещанию, которое произошло вот каким манером.

Будучи немного не в своем виде, Михайло Иваныч ехал утром в декабре месяце по Дворянской, где его дом, и встретил о. Геннадия Горностаева (личность тоже значи-

---

[1] Здесь вот еще как было вставлено, но я вынул такой куплет:
Скажи мне, скольких обманула?
Но адвокат из Барнаула
Тебя житьем переманул,
И вот ты едешь в Барнаул!

тельная, и ростом, и вообще). Завидев Бибина, он поклонился и хотел пройти мимо. Бибин же во хмелю не всегда был тих. Быстро выскочил он из саночек (Гогулев очень своими санями славится, большие мастера!) и положительно сграбастал о. Геннадия за плечи. «Докажи, — вскричал он дерзко, — докажи, что земля тоже на ось надета!..» О. Геннадий сразу сообразил, что Бибин с мухой, и отвечал благоразумно, как подобает сану: «Завтра, приходи вечерком завтра, — завтра и докажу». — «Врешь, врешь, долгогривый, врешь, надувало!» — пуще закричал М. И., расходясь как бы для боя (даже кулаком потрясал перед самым носом почтенного протоиерея). Тогда о. Геннадий отшатнул его легонько и ушел.

Вечером того дня о. Геннадий отрешил Бибина от приятия вина и говядины. «Иначе же, — велел он передать Бибину, — я тебя, турецкого остолопа, и в храм не пущу!» Несмотря на такой факт, Бибин стал упорствовать. Неоднократно, приходя под самое окно о. Геннадия, пил он пиво в успеньев пост прямо из бутылки, закусывая скоромным. В такой момент я и видел его. Так и рвал он зубами колбасу, сидя в траве и в неопрятном виде, и подмигивал в окно о. Геннадию. Тот же пил в окне чай и грозил пальцем. Дело все длилось, и Бибин окончательно впал в ерунду. Он завел себе огромную соломенную шляпу и стал так ходить, пугая всех. Тогда купечество угрозило отставить его от кредита. Пятое—десятое, М. И. попрыгал и сделал пас. Он ходил ночью к о. Геннадию. Все окончилось к полному результату, а именно: помирились к утру на колоколе.

Колокол получился в 227 пудов и был необычайно благозвучен из-за присутствия в большой доле серебра. Его звон был веский и далекий. Многие даже из иногородних, приезжая, любили зайти к подножью и вблизи послушать его медный голос. При большом стечении колокол ввезли в город. Его встретили за версту и ввозили с пением подобающих песнословий. Но еще больше стечения наблюдалось в день его повешения на соборной колокольне. Не только хуторские, но даже иноверные слобожане сошлись посмотреть, каким образом будет происходить дело.

К повешению ждали г. губернатора, которому посылали приглашение на розовой бумаге с массой многих подписей (в том числе — я). Но он так и не приехал, хотя ждали три часа с половиной и успели дважды чаю напиться по случаю жары. Надо сознаться, губернатор нас не посещал ни разу. Наверно, боялся осиротить свою семью по причинам плохих дорог. Это справедливо, дорога наша состоит из сплошных ям, сущая опасность для жизни, ехать затруднительно. Осенью же, так думается, 18 верст в месяц не проедешь. Губернатор же, известно, не птица, летать не приспособлен.

Возле колокольни соорудили помост со ступеньками. Все наши значущие стояли на нем, а также верховоды, в том числе — я. Остальные же и прочая публика помещалась внизу. О. Геннадий начал водосвятный молебен, но тут небо внезапно сгустилось, и пошел сильнейший дождь. Молебна, конечно, не прерывали, хоть лило, как из бочки, если не хуже. Все ужасно промокли, особливо две приехавшие игуменьи: на них жалко было глядеть и даже нехорошо. О. Геннадия и о. Ивана, а также Шурыгу в значительной степени от промокания предохраняли ризы. Очень немногие дамы захватили с собою зонтики.

К сожалению, и слово о. Геннадию не вполне удалось. Хотя начал он благозвучно и даже красноречиво. Когда же он упомянул, что, мол, свет ведет к истине, тут все поняли, что светом он намекает на главного жертвователя, у которого стеариновый завод. По-моему, так, конечно, не к месту было на Бибина указать, хотя Бибин и прекрасный человек. Тем более что стеарин в церковном деле и не употребляется, а только чистый воск. Слово поэтому мало кому понравилось, хотя тут выглянуло солнце и стало обсушивать народ, который не расходился. Ответную речь держал местный учитель Амос Котопахин. Но он так долго и непонятно говорил, что никто не уразумел ни слова. Ипполит же Сергеич (Хрыщ, наш становой управитель) хотел даже прекратить, чтобы не вышло возбуждения.

Затем выступил я. Вышло недлинно, но очень недурно и с теплым участием. Даже произошла давка.

Все хотели подойти поближе, чтоб слышать, хотя я говорил достаточно громко. Этим моим выступлением была окончательно исправлена сильная неловкость дождя.

После чего о. Геннадий попросил собравшуюся публику, особливо малоимущих, пожертвовать хотя бы трудом в смысле поднятия. Призыв встретил отклик. Всякий поспешил подымать, давка усилилась. Однако несчастные случаи были на сей раз избегнуты благодаря моей находчивости. Я выступил на самый край и обратился к народу. «Господа, — сказал я, — прошу не напирать! Здесь не цирк, а христианская церковь». Народ отступил. О. Геннадий вслух одобрил мой поступок в зависть врагам.

Все же, едва колокол поднялся аршина на полтора, сызнова произошло замешательство (по малокультурности приезжих). Колокол оборвался и упал, благодаря чему совершенно передавило ноги выше коленных суставов ямщику Прасковьиной слободы, Степану Синеву. Несмотря на скорую помощь, которую оказал ему наш врач С. Б. Зенит, ноги Синеву пришлось потом отнять. Упомяну, что удавился Степан через пять после того месяцев, хотя, в сущности говоря, ямщику ноги и не нужны.

При поднятии всех очень насмешил сам М. И. Бибин. Он успел где-то клюнуть и все просил, чтоб его посадили на колокол и так подымали. К тому же он явился в своей пугающей шляпе, удивляя игумений. Пришлось допоить, чтобы не мешал.

Весь тот день стоял непрерывный звон, все наши верховоды-купцы перебывали на колокольне и обновили покупку. Многих же, пожилых, можно было видеть гуляющими по улицам и слушающими звон.

Вечером после того знаменательного эпизода был устроен торговый банкет в доме моего хозяина К. Г. Между каждым блюдом я говорил собственные стишки вплоть до самых 5 часов утра, когда все устали и разошлись спать. Перед рассветом разбудили фотографа Губова, и он снял фотографию. (Я стою в первом ряду и читаю как бы по тетрадке.)

Я очень потрудился в тот день, но устал меньше всех, так как умственный труд для меня не утомителен. Я был тогда уже в зрелом возрасте и выдавался качествами. Вот стишки на повешение колокола. Называется: «Крик моего восторга по случаю нового колокола в городе Гогулеве».

Крик моего восторга

(Сокращенное название)

Хохочет дико враг надменный,
И точит он на нас клыки,
Долой, долой их род презренный
Одним движением руки!

Давно на нас вы клеветали,
Но Гогулев-город стоит.
И чтобы все вы это знали,
Пусть этот колокол звучит.

В нем 227 п., немного,
Но медь отличная пошла,
И вышиной, скажу вам строго,
Он полных 33 вершка.

Но голос у него отменный,
Когда забьет он языком.
Звучи, звучи нам бесконечно
И в божий храм зови притом!

Теперь я речь свою покончу.
Уж расходиться нам пора.
И тем стишки свои покончу,
Что крикну колоколу ура!

Тут все подхватили мой призыв, и громкое ура трижды охватило весь город. Говорят, что даже в Репьевке был отчетливо слышен этот звук народного ликования. Многие с этой поры дали зарок не пить. Столь обширно влияние искусства на простые души.

Проезд архиепископа Амфилохия мимо нашего города

Все главнейшие события жизни у нас приходились как-то на лето большей частью. Зимой уж очень в сон клонит вследствие холодов. Правда, летом тоже клонит (из-за жары!), но зимой больше. Потому все события мы, по силе возможности, подгоняли к летнему времени.

Как было упомянуто, нас высокие лица ни разу не навещали. Только один раз, и то — ночью, когда все спали, проехал мимо нас губернаторов зять (умница, по словам Дищевой свояченицы, шатен, 38 л.). Но это, в сущности, не эпизод. О нем и поминать смешно.

Как вдруг И. С. Хрыщ (становой) получил уведомление, что в Ольгин день (воскресенье было) проедет мимо города его преосвященство архиерей Амфилохий по делам церковного служения. У нас быстро образовалась торжественная комиссия, в которую на полных правах члена вошел и я. К сожалению, это была суббота, каждому хотелось попариться в бане. Поэтому на собрание пришел только я один, да еще Игнат Семёныч (отец нашего С. И. Обувайлы), человек почтенной наружности, но престарелого ума. Мы с ним поговорили о разном, но постановления не приняли, по малочисленности. Я же, как на грех, не успел составить подходящих стишков, что всего печальнее. Словно со струны соскочило. Вертелись в голове всего три строчки:

Владыка божий, зри на нас:
Погрязли мы в грехах и грязи,
Благословенье дай тотчас...

Но трех строк для архиерея мало! Да, кроме того, и думать не пришлось дальше. Пришлось бежать за доктором Зенитом для Козьмы Григорьича. Он отправился в баню прямо от обеда, причем изрядно перепарился: его вынесли на руках. Поднялась рвота, количество пульсов ослабело. Очень страдал, на крик. Опасались, что погибнет (63 года).

Становой же не спал, как прочие. Пользу дела сумел сочетать с высокоторжественностью дня. Супруга его, Ольга Николаевна, была в тот день именинница. Кроме

того, она занимала, несмотря что женщина, пост гогулевского покровительства животным. Становой и придумал ей подарок. Он приказал допускать на Козью горку (откуда возможно было наблюдать архипастыря безо всякой даже трубы) не даром, а взимая по четвертаку с персоны. Это вышло очень действительно в смысле дела и красиво в смысле публики. Конечно, сапожник, например, Савелька Галунов четвертака за вид архиерея не даст. Чем и достигается чистота публики! На горку были вынесены все лавки из Сусанинского сада. На них, заплативши четвертак, можно было сидеть и, несмотря на это, видеть все целиком.

Сумма дошла своим размером до шестидесяти двух рублей, на каковые был устроен впоследствии бал-маскарад в пользу животных. Упомяну, что бал превосходил все виденное размером содержания и веселостью постановки. Бибин тогда оделся обезьяной, Обувайло — слоном (он вместо хобота держал в зубах кусок пожарной кишки, в которую и трубил). Фотограф Губов — крокодилом, и ползал, как бы грызя. Остальные — кто во что горазд. Дамы — цветками и плодами. Василов же замаскировался чертом, но с таким неприличием, что его вывели. Он тогда переоделся фруктом, но его опять вывели. Ольга же Николаевна, как покровительница, дарила на этом бале каждому гостю по котенку. В этом она подражала своему мужу, И. С., который, чтоб легче ему было дома жить, всучивал по кошке каждому посетителю в своей канцелярии. По-моему, этак можно даже повредить отношения с населением. Например, я, — я холостой, к чему же мне кошка?

И до чего ведь дойти человек может. Я в 1903 году зашел к Хрыщам, Ольга Николаевна как раз молодых котят топила (которых не сумела раздарить). Вижу — сердится, что вода на керосинке долго не кипит. «Что ж вы, — спрашиваю, — надутые такие?» — «Да вот, — отвечает, — вода для котяток никак не поспевает». Я удивился: «К чему ж, — говорю, — воду-то теплую, раз все равно топить?» Она же мне так: «Какое у вас сердце жестокое, Андрей Петрович, ведь в холодной воде неприятно. Попробуйте сами в холодную воду лезть!» Господа, при чем тут жестокость, но это несовместимо, несовместимо никак!

Однако вернусь к описанию. В этот день стояла прямо вавилонская жара. Все были как сваренные раки. Очень немногие догадались захватить бутылки с водой, чтобы пить и мочить голову. Мозги положительно варились в собственном соку, такая была жара.

Кусок местности, где дорога, был оцеплен урядниками. Хрыщ сидел на коне. Все оделись в белые кителя и при шпагах. Мальчишкам было запрещено пускать змеи, дабы не напугать архипастыря или его лошадей. Вдруг вдали облако пыли. Все воспрянули и закричали ура. Но это оказался, к сожалению, не архиерей, а воз сена. Все упали духом. Некоторые даже хотели отправиться домой. Как вдруг в пыли показалась коляска. Все по знаку станового (свисток) стали махать белыми платками и кричать ура с удесятеренной силой. Что было шуму! Владыка по врожденной скромности смутился таким приемом. Он хотел отвечать и даже поднялся с места, а кучер задержал лошадей. Но такой взрыв народного восторга поднялся тут, что бомбы не было бы слышно, если бы, положим, случилось. С. И. Обувайло прямо рычал от восторга души, сидя в 1-м ряду на Козьей горке. Но никому это не показалось странным, а даже напротив. Только опять чуть всего дела не подгадил Бибин. Он, придя в шляпе, принес трещотку (для птиц на огородах) и все время невыносимо трещал, не стесняясь соседних дам.

Я же находился не на горке, а у самой дороги, в переднем ряду. Будучи гораздо более молодым, я кричал до хрипоты в горле. Столь велик был народный подъем. Владыка обратил на меня внимание. «Кто это?» — спросил он, указуя в меня архипастырским жезлом и прищуриваясь. О. Геннадий, который знал меня по ктиторству и по эпизодам жизни, моментально нашелся ответить: «Старший доверенный Зворыкинской мануфактуры, Ковякин Андрей!» — «Православный?» — спросил владыка, покачивая головой. «Точно, православный, ваше преосвященство!» — ответил, не смутясь нисколько, о. Геннадий. Тогда владыка произнес с удивлением: «Глотка какая!»

Тут эпизод. Кучер слез поправить шлею. Владыка, сидя, благословил собравшихся. Это было причиной нового восторга. Все пришли в полнейший экстаз. Поднялся

страшный крик, многие махали платками, палками, шляпами и зонтиками. Некоторые стали даже хлопать в ладоши. Но это уж ни к чему: архиерей не скоморох, а слуга вышнего. Соображай и в момент восторга!

Этот народный восторг толпы чуть не стоил жизни владыке. Лошади чего-то напугались и понесли. Кучер-монашек упал, получив оглоблей в плечо. Только благодаря чудесному геройству городового Десяткина удалось остановить коляску. Владыка был так растроган, что даже не мог говорить. Лошади могли попасть в речку со всего обрыва, что кончилось бы форменным капутом. Отъезжая, владыка долго оглядывался на нас, мы тоже.

Архиерей Амфилохий оставил во мне очень большое впечатление, так же, как и я в нем. Сожалею, однако, что не успел я сложить стишков, вышло бы еще торжественнее. Обратно владыка ехал уже другим путем, и я не мог исправить своего упущения.

Вечером, на именинах О. Н. мне рассказывали (о. Иван Люминарский), что у владыки есть отпечатованные труды. Это — «Собрание проповедей на праздничные темы». Кроме того, обширное сочинение (190 стр.): «Противоречит ли устройство кита понятию о промысле божием». Интересно бы познакомиться. Я тоже много думал об узости китового горла и даже собирался послать в Св. синод свое незначительное соображение на этот счет (21 стр., с рисунком от руки).

Владыку Амфилохия к нам перевели из Тобольской епархии. До него у нас был епископ Ириней. Но он выпал из коляски, ударился головой о тумбу и от этого помер (но больше, пожалуй, по преклонности возраста — 71 год).

Письмо Наташе в Барнаул

(Не послано из-за перемены в настроении)

Вы с Фиглевым уехали, Наташа,
Быть может, и ребенок есть у вас,
А в Гогулеве тихом имя ваше
Все вспоминаем мы почти что каждый час.

У дьякона Семёна Куликова
Цветет сирень в саду, и яблоня цветет...
Наташенька, ответствуй мне хоть слово,
Ведь год прошел, почти что целый год!

Василов пьет. Сергей Иваныч помер,
Булдасов крутит с Дищевой женой,
А Бибин нам на днях такой поставил номер,
Что просто со святыми упокой.

А в домик с петушком, что на Гончарной,
Вселилася учительша-вдова...
Я мимо шел и в ужас впал кошмарный,
И даже закружилась голова.

Наташа, Барнаул тебя погубит,
Хотя я в Барнауле и не жил...
Наталья Павловна, пусть Фиглев так вас любит,
Как и Андрей Петрович вас любил!

Малокультурность нашей страны

Я этого совершенно не переношу. Два года тому назад посылали мы бумагу в Петербург, чтобы у нас открыли университет для образования малокультурных людей и развития ихнего образования. Но ответа мы так и не получили, ожидая с нетерпением. Чему о. Геннадий радовался, говоря: «Нечего, нечего излишнюю влажность в мозгу разводить!»

Но у наших жителей низшего сословия мозги и без того какие-то сырые. Они никак не хотят понять, что нечистая сила в высшей степени не существует. Я о боге не касаюсь, бог — это другое дело. Но уж черта, извините, никакого нет! Это есть пустое суеверие и даже смешно. Я еще однажды мальчишкой из-за огорчения (К. Г. поучил, на руку был он и скор и крепок) хотел душу черту продать. Но как я его ни призывал, он так и не явился. Теперь-то я уже, конечно, и рад, что не явился. Что бы я теперь-то стал делать, на склоне-то! Это вам раз.

А вот два! У нас две недели подряд говорили, что одна баба (Лукерья Анютина) собственноручными вила-

ми пропорола черту бок. Черт исчез, а на его месте дырка с горячей водой. Я тогда отпросился у К. Г. и поехал во Вьяс выяснить, что за чушь. Нашел Лукерью, баба высоченная, притворился, стал выспрашивать. «Да, — отвечает, — точно, только это не черт, а дьявол был». — «Какая ж, — спрашиваю, — разница?» — «А такая, — отвечает, — что на дьяволе шерсть не в ту сторону растет!» Я тогда велел ей полностью рассказать. Она стала рассказывать: «Намедни возили навоз. Грунька к ребенку побежала, — закричал. Я вилами поддела навоз, он тут и выскочил. Весь темно-рыжий и визжал, как теленок (несуразность какая!). Он в навоз на зиму залег. В навозе ему мягко, а дух тяжелый ему нипочем». Я в этом месте и смекнул, что в бабиных словах огромная примесь. «А дырка с горячей водой где?» — спрашиваю. Баба же мне так: «Сам ты дырка горячая».

Вечером того же дня я выступил с речью (на дне рождения Зои Алексеевны, Дищевой жены). Все мне были очень благодарны, что я вскрыл нарыв нашей отсталости от других стран, например от Англии (у них давно уж литер, а у нас все фунт. В этом и заключается суть).

Суеверия наши до ужасного смехотворства доходят. Например, будто если спорыньи толченой на пороге у жениха в Крещенье посыпать, то все волосы у него повернутся внутрь расти и он умирает в страшных мучениях. Меня прямо даже смех душит. Я даже попробовал это на одном человеке из незначащих, — ничего подобного. Так растолстел, что кровь по лицу прыщом пошла. Потом вот еще: под троицкую пятницу тулуп с черта стащить, будет тулуп как живой и расскажет, кто на ком женится в тот год. Господа, ну какой же черт, если он черт, а не постный дурак, о троицкую пятницу (когда небо от жары трескается!) станет тулуп таскать. Вот чушь! И кто это сидит на печи да выдумывает такие вещи?

Все же подобные суеверия претворяются в жизнь. Агафья Ильинишна Куняхина (Почтамтская, собств. дом) имеет сонник и черноватенького кота (никакой породы, главное дело), при помощи которых всем приходящим разгадывает сны, а также наводит на зеркало,

причем берет деньги. Вот на эти деньги да и закатить бы университет! А Илларион-извозчик всюду видит анчуток, которые им понукают целиком. В пятом годе явилась к нему полусабельная сноха посередь зимы, велела в Самару идти печенкой торговать. Он рассчитался у Мяукова и ушел. А его на дороге, у Сухого озера, волки и застигли. Мне вот и хочется вас спросить: ну, не глуп ли Илларион?

Господа, дело и не до того доходит! Бабка Прасковья Уткина с Лабазного проулка и доныне гадает на воде, на пшеничном квасе, и даже с человеческой костью (мне очевидцы передавали, я сам и не поверил сперва!). Она также предсказывает будущую судьбу и кражи. Мало того, она осмеливается лечить живых людей! Осенью позапрошлого года кто вылечил у вознесенского старосты куриную слепоту, получившуюся вследствие нечаянного опития самогоном? Она! Она же вылечила соседкина Ваську, давая ему пить можжучный квас с сургучом. Причем всенахально уверяла, что у парнишки молоки болят! Правда, Васька через сутки бегать стал, даже окно у Бибина расколотил, но ведь он мог же и умереть. И очень даже свободно, так как сургуч запирает все конечности. И потом, господа же, господа, граждане, товарищи, ведь молок же у человека не бывает, у человека же нет молок, — тем более у такого парнишки!! Сколько раз я твердил про это всем и при любом разговоре: «Господа, господа, запишите в мозгу красными чернилами: до точки мы с этими молоками дойдем и хлопнем!» Однако ноль внимания. Хорошо, я умываю руки.

Отец Геннадий советовал становому (Хрыщу) сажать всех суеверов под замок, в подлежащее место. Я с таким оборотом не согласен. Разве же гогулятник не человек! А человеку, господа, слово да уход нужны. Если же оглоблю в землю сунуть, то оглобля на собственную же голову и вырастет. А процветания от оглобли не жди!

По-моему, как хотите, а тут нужен университет.

Сатира на Гогулев в куплетах

(Для приезжих)

Что за город, удивленье:
8 улиц, 5 домов.
Для приезжих загляденье
Славный город Гогулев!

Предположим, вы идете
По торговой, то как раз
Сразу в лужу попадете,
Не опомнитесь тотчас.

Если ж прогуляться по Гончарной
На себя возьмете труд,
Налетят свиньи оравой,
Все вам ноги обгрызут!

И народ здесь тоже штучка,
Ну и штучка, ну народ:
Он сутки пьет, а сутки дремлет,
Сутки дремлет, сутки пьет.

Каждый денежный излишек
Норовят снести в кабак,
Не читают вовсе книжек,
А боятся как собак!

Одним словом, приезжайте,
И на месте все узнайте!

Мои дела перед городом

Мне, конечно, неловко говорить об этом самому. Это дело настоящему историку в руки, а не мне. Кроме того, и трудно перечислить все мои дела, потребовался бы толстый том. Однако в летописи нечего стесняться и даже нехорошо. Поэтому я попробую очертить только некоторое. Начну с реформ, которые я провел и этим облегчил положение. Во-первых — кладбище.

У нас их три. Одно ископано целиком. На другом (при Борисоглебе) хоронят своих стеаринщики и другие из простого звания. Третье, Гогулевское, самое обширное. Оно отличается богатством памятников и красотой размещения, потому что на горе. Сюда я и направил свою реформу.

Я добился, чтобы усопших клали не как придется, а в строгом порядке. На каждый участок идут покойники по одной только специальности. Купцы к купцам, военные к военным. То же самое насчет священников, деятелей или исторических писателей, как, например, я. Такого порядка, насколько я знаю, нигде еще не случалось. Я даже хотел ввести, чтоб и на участках хоронили не просто, а, предположим, по буквам. Сперва все покойники на букву А, потом Б и так дальше, до отказа. Этому, однако, воспротивились, особливо Хрыщ. Он говорил: «Этак, я всегда в конце буду лежать, а какой-нибудь прохвост нестоящий — спереди. Не согласен, протестую!» Я его уговаривал до полнейшего изнеможения во всем теле, что это только так на земле, для порядку, а там, перед престолом, все равны. Он же возразил: «Престол — престолом, а Хрыщ — Хрыщом!» (А ведь из этого можно было даже вывести, что он просто неверующий!)

Очень жаль, а то могло получиться очень хорошо и неутомительно в смысле хотя бы розысков любимого усопшего. Вы, положим, забыли, где он лежит, Иван Иваныч, и спрашиваете у сторожа Петра: «Где лежит такой-то и такой-то?» Он же спросит только: «Купец, деятель, военный или исторический писатель?» Вы говорите (положим): «Деятель». Он моментально укажет, где и как. Таким образом, кладбище могло бы походить на приходо-расходную книгу, которую я веду у хозяина в его коммерческом деле. Жаль только, что уже прежде похороненных нельзя переложить, хотя я и предлагал для очистки совести (в городском управлении, куда меня выбрали в 1907 году за деятельность). Тогда же я предложил переименовать улицу Канаву в улицу ученого науки Торичелия, чтобы хоть этим немного скрасить ее грязный вид. Таким образом я способствовал благоустройству города.

Также я упразднил ход с тарелками на Благовещенье. Девки кос не заплетают в сей день, тем более обидно собирать трудовую лепту с верующих. Я был тогда помощником ктитора и потому имел права. Я же настоял посадить березки перед больницей, чтобы доставить больным постоянную видимость рощи. Что и было сделано 20 марта 1907 года в числе 7 (семь).

Из домашних событий замечательно, когда я спас почти весь город от пожара. Я спал, вижу сон, будто воры. Моментально вскочив, чувствую гарь. Выскакиваю в кладовую, вижу пламя, достигающее от двух до четырех аршин (попеременно). Не растерявшись, я быстро сбегал за водой и залил начало пожара. Растеряйся я, дело можно считать погибшим. Так и случилось с Бибиным в 1909 году, когда Спиридон Игнатьевич Обувайло опалился весь в высшей степени.

Кроме того, я пишу разные тетради. Вот их перечень:

1. Размышление по поводу хода вещей. 60 страниц мелким почерком. Размер страницы 7 вер. на 5. Эта тетрадь спрятана, может влететь. 2. Перечень домашних приключений. Также описание примет на погоду. Труд пустячный, но занимательно. Кроме того, разные соображения. 3. Подробное описание жизни А. П. Ковякина с подходящим портретом и таблицей, что и когда случилось. В конце — предположения Л. П. К-на о начале мира и о спасении души. Описано все, что известно, также собственные добавления. Предполагаемый план загробного мира. 4. Под названием: «Отсталость нашего народа». Случаи и всевозможные вещи, а также опровержения их разными способами. 51 стр. 5. Домашние советы ближнему, в стишках. Очень интересно, если отпечатовать (31 стр.). Советы расположены по буквам и под номерами. Поучительно даже для детей. 6. Летопись торговых дол. Описание купцов и разные преступления. Опись того и другого. 7. Соображения об узости китового горла и других несообразностях. 31 стр., с изображением внутреннего вида кита. 8. Стишки, оды, романсы собственного сочинения, можно с пением. Все эти труды у меня в сохранности, за исключением №№ 2, 3 и 4, кото-

рые украдены неизвестным вором. Также украдена опись родоначальников.

Из других дел, которые нельзя упустить, упомяну: 1. План, как поймать каторжного Афоньку, по прозвищу Жох. Он зарезал купца Кунина с семейством. Очень смелый план. 2. План обложить всех пьяниц в пользу незаконнорожденных или университета. 3. План водопровода в Гогулев. 4. Покупка трубы на общественный счет, чтоб покрасоваться на лунные горы. 5. План устройства Всероссийского детинца.

Многое и другое можно бы сделать, если бы не смута.

На рождение девочки Наташи

(Наталье Павловне в Барнаул, 10 февр. 1892 г.)

Не ждал Наташи я от вас,
А ждал скорее Гришки:
Не нужны девочки сейчас,
Теперь нужны мальчишки!

Но я от вас не утаю,
И в этом будем дружны,
Позвольте сказать вам мысль мою:
Девицы тоже нужны!..

Хотя от них бывает срам,
Но в них секрет всей жизни:
Не дают погрязнуть нам
В скользком атеизме.

Андрей Петрович вам не врет,
Он любит вас, Наташа:
Пусть как роза расцветет
Таля, дочка ваша!

Пусть оденется она
Бархатом и златом,
Пусть не верит лишь она
Разным адвокатам...

Живи, не старясь, детвора,
Не доходи до точки!
Наталья Павловна, ура
И вам и вашей дочке!!!

Эпизод как я нашел древнюю пушку

Я по археологической науке не знаток. Однако старую вещь могу отличить от новой безо всякого труда. В этом моя особенность.

Едучи в Самару на перекладных, я увидел в стороне от дороги кончик блестящего предмета. Немедленно велев остановиться, я сам вылез освидетельствовать, почему так. Со мной ничего не было такого, кроме хозяйских бумаг (векселя и накладные), у ямщика же топор. Я обчистил предмет с верхней стороны и сразу нашел, что это пушка. Я так и замер. Конечно, пушка принадлежала тем врагам, которые нападали на Русь именно с гогулевской стороны. Мог быть и Стенька. Я даже размечтался, куда ее положить, и остановился на Сусанинском общественном саду. Там вся молодежь гуляет в летнее время. Вот пусть и лежит на виду у них для сравнительного примера.

Тихонько засыпав пушку, я поехал дальше. А на обратном пути, выкопав из-под праха веков, я с полнейшим триумфом привез в Гогулев. Вот был восторг, все меня поздравляли! Одних фотографий сняли 4 штуки (я сижу возле пушки и как бы думаю). Однако тут вступился дьякон Куликов. Он, будучи священнослужителем по должности, был стрекулист в душе. Он возразил, что пушка дрянь, плохая пушка, гривна в базарный день. Это мне было очень обидное оскорбление. Я не сдержался и обозвал его антихристом. Он же впоследствии до того дошел по наклонной плоскости злобы, что в 1909 году гробик на квартиру мне прислал. Не поскупился на издержки человек, чтоб уколоть. Я гробик продал, а ему закатил по почте письмо без никакой подписи.

Под сенью древес
Сидит лютый бес.

А кто он таков?
Да дьякон Семён Куликов!

Несмотря на это, он все же догадался, что это я, и прислал мне записку совсем нестоящую, а только ругань низшего сословия: «Хоть я и дьякон, а ты бы, пес, не вякал. Очень доволен тобой, помолюсь за упокой!» Это настоящий фараон по наружности и отъявленный субъект. Кроме бегающих глаз, имеет он длинный какой-то бурбонский нос, похожий издали на дверную ручку. С таким носом нужно человеку и гулять воспретить, чтоб не пугал. А уж коли на то пошло, я и больше скажу. Не могу утверждать, но есть основания, что почтальона Радугина в 1906 году он убил, а не Афонька. Просто по ехидству мог убить: «Ах, ты почтальон? Так вот тебе!» И убил.

Дома он составил расписание мук на том свете и каждого гогулевца внес, не щадя даже дам. Мне (через посредство его ребенка) известно, что мне он прописал 4 бочки слез.

Я прямо хохочу от смеху, такая глупистика! Таких, как он, нужно бы ссылать прямо в Сибирь. Только вот что голос у него хороший, огромнейший бас, а то бы в мешок да в воду, как кощонка!

Впрочем, я отошел. Когда дело с пушкой стало затихать, я и думаю: эх, думаю, надо быть нахалом в жизни! Взял я да и написал в «Голос», какую я пушку нашел. Через неделю прихожу к Хрыщу, он мне и показывает газету, где про меня отпечатали. Что вот, мол, нашелся культурный человек, г. Ковякин, которому дорога русская старина. Вследствие чего он, г. Ковякин, и открыл пушку. Со слезами обнял я Хрыща. Он то же самое, но не удержался сказать: «Смотри, Андрей Петрович, в газету попал. Процветание — хорошо, однако бойся элементу!»

Я тогда всюду писал (по совету о. Геннадия), чтоб получить аттестат и медаль. Однако мне ни слуху ни духу. Только из Красного Креста прислали конверт (даже без сургуча). В нем было сказано, что не по адресу, а в Имп. Арх. Общ., там специально по пушкам и прочей старине. Я написал и туда со вложением описательных стишков. Пятое—десятое, но дело заглохло целиком. А жаль, такие

поступки населения, как мой, нужно всенародно отличать. Я и не то, может быть, могу еще открыть! У меня давно в голове зудит: «Открой да открой, Ковякин». Пушка же это еще пустяки!

На смерть Наташи

(Не послано никуда. 18 февр. 1892 г.)

Наташенька, ты слышишь ли мой крик?
Единственная ты моя Наташа,
Андрей Ковякин уж целиком постиг,
Как зла и жалостна судьбина наша.

Зачем ты уезжала в Барнаул, —
Иль гогулевские не милы лица?
Ответь, что делать мне, кричать ли караул,
Запить, повеситься или молиться?

Зворыкин говорит, что в наши дни
Любая суть кончается могилой.
Ах, нет, Наташенька, — возьми с собой, возьми
Мою любовь, мою тоску по милой!

И пуст и неприятен Гогулев...
А степь молчит. А сердце ноет больно.
Прости меня, Наташенька, за глупую любовь,
За то, что осудил тебя невольно!

Лишь об одном, любимая, скажи,
Чем я отблагодарить тебя сумею?
Ах, Фиглев, враг мой Фиглев, покажи,
Какие слезы пролил ты над нею!..

Свадьба нашего уважаемого С. И.

Приступая к описыванию этой фигуры, все мое красноречие тускнеет целиком, теряя блеск. Скажу просто: нет слов для подходящей обрисовки С. И. Однако попробую.

Вид Спиридона Игнатьевича был мужествен и значителен ростом. Злые языки врага называли его семафором. Это не подходит, скорее шкап. И он отличался тем, что весь был в волосах, несмотря на молодые годы (42 года). Рост волос не прекращался ни на минуту, они прямо хлестали отовсюду (даже — ужасно! — из-под ногтей). Быстрота же роста была прямо чудесной. В 1910 году (когда Бибин горел) все лицо Обувайлы опалилось до полнейшей голизны. Казалось, наружность его погибла, однако нет. Через неделю он выглядел по-прежнему (снова весь зарос). Нужно видеть, чтоб судить!

Можно бы ожидать, что и голос у него непременно короткий и лютый бас (которому если и петь, то только в местах пустынных). Но, представьте, как можно ошибаться! Колер голоса у него был тонкий и длинный. Иные, когда беседовали с ним, принуждены были оглядываться, подразумевая девочку возле себя, говорящую как бы в шкапе. Ничуть не бывало, это говорил он сам!

Клеветали также, что он не обладает умом. А зачем, скажите, начальнику Гогулевской пожарной дружины ум? Только отягощение голове и вред геройству: умный человек по своей воле в огонь не полезет... А от этого вся Россия в одночасье может сгореть. И останутся умные-то люди на комариной плеши! Что и случилось потом.

Пожар, дым, огонь бьет вверх! Близко не подходи, из боязни обжигания. Люди кричат, плачут и падают, выражая беспокойство по случаю огня. Он же идет, спокойный, как монумент, прямо туда и там делает свое благородное дело под звуки благодарности среди обезумевшей толпы. Видя огонь, он бледнел и начинал гудеть. Как полководец, он протягивал руку, указывая, куда направлять водяные струи. К. Г. мой смеялся, что палец у Обувайлы (средний, на правой руке) был длиннее других от всегдашнего показыванья. Это, конечно, шутка, но действительно энергия хлестала из него прямо фонтаном. Это уж факт без всяких сомнений.

Он женился на дочери местного почтарика Полуямова, человека так себе, но обладавшего дочерью прелестной наружности. Зима тогда выпала умеренная, сне-

гов много. Зимний путь уставился с ранней поры и очень превосходный. Уже прилетели грачи, чем была особливо отличена эта свадьба от других зимних эпизодов.

В церковь пускали по билетам, чтоб не получилось несчастных случаев. Я тоже присутствовал, успевая повсюду. Я пел в обширном хоре (на клиросе, Василов упросил) и разгонял мальчишек от церкви и даже заменял шафера как неженатый мужчина. О. Геннадий весь сиял, как гривенник, сочетая счастливую пару. Но у Куликова был голос не в ударе, уж лучше бы на сей раз и без дьякона. Горборуков, читая Апостола, сорвался в конце и дал журавля. Все это потому, что все волновались, чтоб вышло хорошо.

Я же приготовил стишки, готовясь выступить, но хранил про себя в секрете до подходящего момента. Даже лицом не показал об их существовании! Невеста была росту большого, жениху под стать, но телосложенье хрупкое. Тонкий румянец озабоченной девственности беспрерывно играл по ее лицу.

Несмотря на успех у женского сословия, Спиридон Игнатьевич женился впервые. Поэтому он смущался и чуть не опрокинул аналоя, а невесте прижег воском руку, чем вызвал крик. Однако никто постарался не заметить. Савельев, сын купца, пожарный дружинник по призванию души, будучи шафером, был выпимши и вел неделикатно в отношениях жениха. Например, держа венец, показывал сзади рога. Это я отмечаю. Уважай человека даже и в момент его свадьбы!

Вот венчанье окончилось, все пошли поздравить, я в том числе. При этом я сказал по возможности громче: «Сколько вы, Спиридон Игнатьич, чужих пожаров затушили, а своего так-таки и не могли затушить!..» Все засмеялись, невестин же отец (человек без понимания шутки) обиделся. «Это не ваше дело, — сказал он грубо, — и не суйтесь, а молчите в тряпочку». Я ему не ответил, зная недостаточность его образования (после же высказал).

Выйдя из храма, все сели в сани и помчались на пир к Обувайле. Господи, что это были за кони! Это были не кони, а сплошное безумство. Недаром он примешивал в

овес моченый горох с медом на собственный счет. Оттого и получалась такая роскошь. Кони его положительно рыли землю и грызли все кругом. Мигом домчавшись до Почтамтской, нас встретил торжественный хор певчих. Они исполнили кантату моего сочинения: «Честь и слава брандмайору, собирайтесь, гости, к нам». (Ноты приписал Василов.) Это произвело огромное впечатление. Затем тот же хор девиц от Богоявленья, но уже совокупно с хором пожарной дружины, под общим руководством регента Василова исполнил русские танцы, кроме того, духовные песнопения.

Затем начался обед. Он обошелся в 150 рублей, не считаю выломанных дверей. Из этого, конечно, можно заключить, что это был за пир горой. Я затрудняюсь описывать. Вино текло ручьями, а об закусках не стоит и говорить. Столы ломились под тяжестью закусок и других блюд, которые разносили пожарные при полной форме, то есть в медных касках и с топорами. Оживление было полное! Между прочим, вот некультурность. Все сошлись (весь почти Гогулев) к окнам, чтоб видеть, как идет свадьба. Но по малости окон видеть приходилось не всем. С досады стали выламывать двери. Получилась драка. Вулдасов был с градусом и как бывший военный чуть не убил одного. Едва уговорили не убивать. Наконец вышел Хрыщ и всех успокоил. Все пришло в прежний вид. Двери же завесили тюфяками, чтоб не дуло, хотя и была оттепель.

Вечером весь дом был обвешан богатой иллюминацией. Различного цвета фонарики висели в разных местах, даже там, где их и не ждали. Из них были составлены две буквы С и З (невесту звали Зинаидой). Каланча тоже вся обливалась огнями. Издали очень было хорошо!

Обед тянулся долго. Все говорили поздравления, причем кричали ура полной грудью. Хор духовой музыки исполнял разные марши беспрерывно (по желанию родителей). Было весело, но жаль было жениха. Он, не имея привычки к сюртуку, потел невыносимо. Невеста даже принуждена была нюхать платок, очень конфузясь. Крахмальный воротничок смок на женихе и прилип к шее. В конце концов наш Обувайло рассердился: со-

рвал его и бросил под стол. Вот именно: облегчай себя, поскольку можешь! После этого все оживилось, а я воспользовался случаем и стал читать стишки. На месте, где я говорю, обращаясь к пожару: «Он все равно тебя затушит назло враждебным всем врагам!» — С. И. расплакался, как ребенок, и с криком: «Затушу, верь, затушу!» — благодарно кинулся ко мне на грудь (даже чуть не сшиб с места, такой порыв). Все потряслись в высшей степени, невеста же, выйдя нравом в отца, казалась испуганной. Тут грянула музыка марш, с молодых стали снимать фотографию.

Пришлось говорить и жениху. Музыку приостановили, а фотограф Губов устремился к бутылицам. Жених встал, сказав нижеследующее: «Господа, — сказал он, — не могу. Это со мной впервые, чтоб жениться. Влюблялся 30 раз, но огонь отрывал от долга... Не в этом дело, пустяки! Когда у кого пожар, зовите. Залью, сделайте одолжение! Упивайтесь торжеством! Очень рад. Больше не могу». Я оглянулся: Зворыкин сопел, о. Иван Люминарский плакал, Василов с басистым рычаньем доставал из корзины балыков. Тут я, тронувшись, тоже не удержался и сказал экспромт, то есть сразу, не подумав;

Когда вулкан в груди забьется,
Не заливай его вином:
Зови тотчас же Спиридона,
Его затушит Спиридон!

Экспромт, правда, рифмой не особенно звучит, однако все были поголовно зачарованы. Меня стали качать. Невестин отец, Полуямов, зеленел от зависти, что не его, а меня ждал этот веселый сюрприз. А я назло ему только подкрикивал: выше, выше! Впрочем, во мне было опасение, как бы не уронили. Все уже были в достаточном виде, и я отлично чувствовал нетвердое дрожание рук. Но все кончилось благополучно, только воротник немного порвался. Дьякон Куликов, по ехидству, держал меня за воротник и так встряхивал. Долго еще все, забыв молодых, пожимали мне руки. Я же отвечал как умел. Фокусник

Лукьян Маркыч, чтоб перебить мой успех, наспех зажег газету и съел. Однако никто даже не засмеялся.

Вдруг получилось недоразумение. Мяуков крикнул «горько». Тогда учитель, Амос Котопахин, подошел к невесте и при полном стечении поцеловал. У меня волосы на голове встали при этом факте! Дамы ахнули, а Козьма Григорьич даже сделал вид, будто снимает сапог, и не заметил. Но не в этом дело. Невеста, покраснев и чуть не плача, возвратила поцелуй этому негодяю с куриным фамилием. Положение получилось легавое. Жених тоже растерялся (вот простота!) и ворочал глазами. Но тут произошло действие, которое обернуло весь факт обратной медалью. Невеста взмахнула и хлопнула Амоса прямо по щеке. Все от этого засмеялись. Амос же побежал к дверям, теряя всякое соображение, и проговорил на бегу: «Это ничего... ничего! Пустяки...» — «Хороши пустяки, ежель по мордасам отлупцуют!» — не удержался ему вдогон мой К. Г., багровея от негодования. «Он у меня давно уже на счету!» — проговорился и сам И. С. Хрыщ. Василов же проснулся и сказал такое, что Мяуков, человек смешливый, почти свалился со стула. С ним случился хохотун.

Вскорости невеста Зинаида покинула свадебный стол. Это и правда, духота и теснота, несмотря на выломанные двери, были страшные.

Но веселье не нарушалось. Начались танцы, каковыми управлял сын о. Геннадия, Тимофей Горностаев, учившийся в Пензе на землемера. Он, зная капельку по-французски, приводил дам в неимоверное смущение, наравне с Булдасовым. Но я бы его, на мой вкус, не одобрил.

Сперва станцевали пати-патинер. Жених не танцевал, убежав к новобрачной. И. И. Музин, главный фельдшер в гор. Гогулеве, танцевал попеременно то с Дищевой свояченицей, то с мадам Зенит. Он очень красиво танцует, вставляя штучки собственного сочинения, очень неплохо. Зоя Алексеевна прошлась с Булдасовым, подтверждая сплетню. Прочие мадам — с остальными. Сам я, кроме польки, не танцую. Я, имея белую ленту через плечо, распоряжался по хозяйству. Также разно-

сил я мужчинам прохладительное, дамам — бутерброды. Бибин среди танца пустил шутиху под дамскую половину, и веселье еще больше усилилось. Таких свадеб у нас, в Гогулеве, никогда еще не бывало!

После чего гостям в виде сюрприза была показана пробная тревога пожара. Спиридон Игнатьич сел за стол и делал вид, будто выпимши и закусывает. Внезапно вырастает перед ним пожарный дружинник и кричит: «Ваше благородие, пожар!» — «Какой пожар? — как бы с недоумением спрашивает С. И. и даже не двигается с места. — Не может быть!» — «Никак нет, пламя бушует, дети-сироты, а также дамы, гибнут...» — кричит нарочно обученный таким словам пожарный. «Ах, вот как!» — изумляется Обувайло и вдруг отпихивает балык. Балык падает на пол.

Потом он вскакивает с ужасным криком: «Коня мне! Дружинники, к бою... В момент!» Все приходит в движение, все бегут во двор. Наш Спиридон Игнатьич уже не Спиридон Игнатьич, его уже не узнать. Он на коне, с факелом, который дымится, как на картинках. Все кричат ура от восхищения. С него снимают фотографию, осветив химическим горением. Кони храпят, бочки наготове. Пожарные сидят, ворота настежь. Очень здорово все получилось. Я только возражаю, что не всех предупредили. С. Б. Зениту от неожиданности сделалось нехорошо (даже случился казус). То же самое и с одной свахой. У ней отнялись ноги, и она все время пробной тревоги невыносимо кричала, не слушая никаких резонов. Я вот потому и возражаю. Даже приятным сюрпризом не следует до смерти удивлять!

Теперь опровергну неправды. Враги говорят, что во время пира украли три шубы с самых видных гостей. Это не совсем так. Украли ватную кацавейку, плисовый дипломат у свахи и еще камышовую палку у хозяина, К. Г. Получается: враки, враки и враки!..

Также говорят, что у невесты с Амосом нечисто было. Доподлинно мне разузнать не удалось, хотя я и старался, но только у Амоса глаза золотушные, и сам он полнейший субъект во всех видах. Потом, ежели она его любила, то зачем же тогда любимого-то человека по щекам оха-

живать? Какая ерундистика! И это неправда, что невеста с неохотой шла. Да будь я, А. П. Ковякин, человек пожилой в известном смысле, главный доверенный коммерческого дела, будь я девушкой, да я бы с руками с ногами за него пошла! Да еще благодарить бы стала, потому что для девушки это истинная отрада — под венцом постоять. Плохо вы, враги наши, придумали! Попотейте еще да попридумайте поинтереснее.

А вот уж и совсем пустяк. Будто Бибин М. И. во время пробной тревоги залез на дерево в одном белье и оттуда криком и маханьем рук подражал петуху и другим зверям, чем и напугал родителей невесты. Кричать петухом — кричал, ради шутки и общего интересу. Мы его за это любим и жалуем. Но чтоб в одном белье — это пустяк, пустяк, голая выдумка! Ведь тогда зима была, вы этого и не сообразили? А Васса Егоровна (невестина матушка) разливала в доме чай. Так что пугаться ей было и нечему. А Игнат Семёныч в то время посуду мыл, так что и его зря приплели вы. Ах, как вас бог убил, несообразительность какая! По-моему — лги, но украшай ложь правдой, если хочешь красоты...

Как погибла слава Димитрия Терлюкова

Удар судьбы постиг многих из наших ученых. Некоторые отдают себя в пользу опыта науки, другие гибнут в ссылках и заточениях. Третьи просто тают, как воск, без объяснения причин. Такова история моего Димитрия Никаноровича Терлюкова. Эта личность, жившая в Гогулеве до последней поры (Грязный проезд, дом Бубыкиной), могла бы быть даже знаменитой, если бы не случилось непоправимой очевидности.

По происхождению наш Д. Н. человек как будто невысокий. Отец его простой дьячок и даже хуже того — горький пьяница. Но о сыне его описываю я не с презрением, а с жалостью к человеку, к его утерянной в жертву науки славе.

Димитрий Никаноровичпо своей охоте стал учиться, летами служа в конторщиках и даже в пастухах одно

лето. Таким образом он достиг звания действительного студента Казанского университета. Откуда его если и выключили, то не за неуспешность в науках, а единственно за буйный нрав. Это и правда: гогулятник во хмелю суров и несговорчив. Никакой собачкой тогда его не застращать!

По выключении поселился он у родителя на Грязном проезде, и стали они пить вместе. Однако если сам Никанор Петрович пил из дурного обычая, то наш Димитрий Никанорович от горького своего ума пил. Действительно, ум у него был сумрачного сложения. Часто, проходя мимо его окна по Грязному, видел я его сидящим и думающим о ходе вещей. (Из-за него я и стал писать сочинение свое: «Размышление по поводу хода вещей».), И всегда мне было жалко на него смотреть как на обреченного в жертву опыта науки. Один раз я даже спросил его: «О чем же вы это всё думаете, Д. Н.?» Он отвечал: «Сравниваю судьбы разных людей и поражаюсь безмерности. Концы у меня не сходятся с концами, хотя начала и одинаковы». — «Почему же вы так любопытствуете судьбами людей, Д. Н.? Ведь это даже нехорошо!» — спросил я. «Потому, что боюсь я за человека, — отвечал Димитрий Никанорович. — Вышел человек из обезьяны, в обезьяну и уйдет», Мне стало интересно, хотя и не понял. «Что же вы будете делать теперь, если в обезьяну?» — через силу спросил я, чувствуя прилив необычайной грусти. «Ничего, так», — ответил он тихо и закрыл окно.

Через три недели, вечерком, проходя мимо, вижу — мастерит что-то наш Д. Н. у себя в палисадничке. Как бы большая коробка и медные трубы, а сбоку четыре колеса (одно побольше, а три маленьких). Сам Д. Н. нагонял молотком пятое колесо на деревянную ось, торчащую в виде кулака из другого бока. Несмотря на прохладу вечера, был он весь в поту от усилия. Из-за худобы очень он тут мне высок показался. Однако я не растерялся, а спросил: «Вы, никак, Д. Н., самолет себе смастерить хотите, чтоб летать и прочее?» Он же посмотрел на меня и головой покачал: филя, мол, филя! Я понял и отошел безо всякой обиды целиком.

Вскоре пошел по Гогулеву слух, что терлюковский сын Димитрий собирается опыт показывать на площади и при полном стечении. Что такой за опыт, в точности никто не знал. Сам Д. Н. переселился к тому времени в отцовский сарай, заперся там на засов и не выходил. Отец его, Никанор Петрович, когда не был пьян, совал хлебца ему в подворотню. Тот брал без никакого ответа и стучал молотком.

Через 4 дня собрались мы к городовому старосте на банкет (старостой был у нас тогда Матвей Матвеич Мяуков, хотя и купец, но любивший потолковать). Вот за выпивкой становой и проговорился. «Димитрий, — сказал он, — Терлюков заявление мне подал. Чтобы ему разрешение на предмет показания жителям небывалого опыта науки». Все так и встрепенулись, охваченные интересом. Хрыщ же опрокинул большую рюмку, крякнул, да вдруг как рявкнет со злостью: «Перпетун-мобиль изобрел мне на горе ваш Димитрий Терлюков! И хочет теперь всенародно пустить его в действие». Все мы так и ахнули. Ведь этакой тихий был, и ждать от него нельзя было чего-нибудь такого. У меня даже закружилась голова, едва я понял, в чем тут дело. Хрыщ же, передохнув, стал рассказывать при полной тишине: «Заходил ко мне Терлюков-сын сегодня утром. Это, говорит, такой прибор, перпетун-мобиль, о четырех колесах и восьми клапанах. И нужно, говорит, пороху немножко, чтоб сначала фейерверк был для блеску. От пороху же вся машина пойдет и будет идти до полной бесконечности без никакой причины». — «Я сие подвергаю тяжким сомнениям, — ответил о. Геннадий, — не может действие от ничего происходить. По-моему, так это даже против бога направлено!» Все переглянулись, Ольга Николаевна вскрикнула. Признаться, струхнул и я.

«Нынче посылал я бумагу обыденкой в губернию, — продолжал Хрыщ, — чтоб власти указали, как и что. Оттуда ответ: буде он вынесет машину свою на площадь, то препроводить. Машину же осмотреть с понятыми, разрядить и тоже препроводить». Нетерпение прямо сжигало нас, чем кончится дело. Тут вмешался сам Матвей Матвеич. «Исключительно некультурность

наша, — сказал он. — Это надо поощрять и даже бы пособие. Предлагаю разрешить ему сделать опыт науки у себя в саду. Есть у него сад?» — «Точно, есть! Не фруктовый, но есть!» — подтвердил я сбочку. «Так вот. И публику не извещать, а только свои». Все с этим согласились, на этом и порешили.

Прошло еще три дня. У нас еще завирушка вышла, со склада 4 куска сукна синего украли (русского, но добропорядочного). Неожиданно от Бибина узнаю, что завтра (а назавтра воскресенье выпадало) уже состоится терлюковский опыт. «Трахтир самыкинский, — сказал он мне, — мы на всю ночь откупили, чтоб чествовать. Ты принимай участие, Андрей Петрович. Перпетунмобиль — это не каждый год бывает!» Побежал я к братцу Сергею, а тот уже смеется: «Пьяница-то, сказывают, говорящую блоху завтра будет казать. Семеро нищих о том по Гогулеву поют!» Я еще больше разволновался, вспоминая Егора Бобоедова. Ну, думаю, неужто и впрямь блоха заговорит?

Очень я тревожился также и всю ночь, не зная, составлять мне стишки или не составлять. Если составить, так может случиться, что и не заговорит блоха, а только окажется пустячное круговращение. Если же не написать, упреки врагов могут посыпаться и укоризна друзей. Вот уж где именно мудрость надобна! Хорошее дело легко сделать, трудно решить, к месту ли оно. Однако так и не написал.

Днем, прямо от литургии, забежал домой на минутку, потом лечу в терлюковский сад на всех парах. Там уже все в сборе, посреди — бочка на попа поставлена, а на бочке сам перпетун под рогожкой. Было много дам. Они сидели позади. Напереду же все больше мужчины, как сословье более смелое. Все ждут, но Д. Н. нет как нет. Солнце начинает припекать, как черт, а героя нет. Мы забеспокоились и послали Якова-старшего подсмотреть, что делает герой. Он вернулся, сообщив: «Пуговицы прикрепляют-с на причинное место, ругаются очень...» — «Пьян?» — спросил о. Геннадий шепотом. «Ни в одном глазу, даже в излишней сухости, но слова извергают-с!» — шепотом же отвечал Яков.

Вдруг выходит сам герой. Я сперва и не узнал его. Он был в сюртуке (взятом на подержание у Дища). Нижняя часть его вида была миткалевая, засунутая в длиннющие сапоги. На шее красовался широченнейший голубой шарф, на голове же сидела ермолка (вышитая Зоей Алексеевной, когда была молода. Про это у нас все знают!). Побрившись перед опытом, Д. Н. имел наружность, дышавшую не красотой, но какою-то научной скорбью, если такая есть на свете. Я отошел к сторонке и, вынув бумагу, приготовился записать.

«Господа! — приступил он, сдергивая рогожку со своей машины и поднимая палец. Все прислушались, увидя на бочке самое машину, похожую на веялку, но только в сломанном или разобранном виде. — Перед вами, — продолжал он, — новейшее открытие в науке. Оно в несомненной скорости покорит весь мир и все поставит вверх дном... Я его жертвую человечеству, как сын и друг!» Он остановился. Все вздохнули от наплыва переживаний, несмотря что солнце лезло и в уши, и в нос, и в глаза прямо невыносимо. «Еще древние алхимисты мечтали о перпетун-мобиле. Но это была только ихняя беззвучная мечта. Голландец Фома Бартолин и другие, как, например, Аристотмен Гильдейский, — вот бесплодные зачинатели перпетун-мобиля».

«Да не томи, не мори ты! Уж показывай, показывай! Заморил ты всех», — жалобно вставил мой Козьма Григорьич, обливаясь потом в полнейшей степени.

«Виноват, прошу не торопить! — возразил Димитрий Никанорович. — Машина — не человек какой-нибудь, а машина»; К. Г. после этого уже не выступал, утираясь рукавом. «Итак, мы, взявшись за этот факт науки, твердо нашли, как нужно воплотить в жизнь этот волнующий сон человечества, чтоб все могли есть, пить и ничего не делать, а только гулять и наслаждаться разными видами красоты...». Все слушали со вниманием, стараясь уловить смысл. Димитрий же Никанорович как раз любил замысловатость и некоторым образом затемнение обстоятельств. Я же едва успевал записывать и многое пропустил. «И вот, два месяца тому назад мы открыли, в чем ошибались эти мудрецы науки!» Он отер лоб платком,

где-то полаяла собака, а машина стояла как каменная. «Не скажу, в чем секрет, но намекну. Чугун притягивается к земле неизмеримо крепче, нежели медь... Потому что чугунной руды в земле гораздо больше, нежели меди. Поняли?» — спросил он высоким тоном, закрывая глаза и как бы соображая. «Поняли, поняли!» — послышалось отовсюду, особливо со стороны дам. «Но позвольте, — возразил М. М. Мяуков, желая потолковать, — ведь вы же в недрах земли не бывали, откуда же вам знать, чего в ней больше?» Однако все на него зашикали. «Незнание ваше, — сказал Д. Н. и горько усмехнулся. — Вы почитайте лучше Бартолина, вот тогда узнаете...» Все вздохнули облегченно.

«Вследствие такового чугунного преимущества, — продолжал Д. Н., поглаживая свой перпетун дрожащей рукой, — я взял и открыл этот прибор бесконечного вращения. Теперь я приступаю. Опасности никакой, а только блестящее горение пороха для дам!» Он улыбнулся в дамскую половину. Там покраснели. Зоя Алексеевна взволнованно побаловалась глазками. Тут Димитрий Никанорович достал коробку спичек. «Прошу придвинуться, — сказал он, — чтоб видеть!»

Однако при этих словах привстал Ипполит Сергеич (как становой) и заявил: «Чтоб ближе, то протестую! Машина — вещь темная. Потом мне же влетит. Господа, раздвиньтесь!» Все раздвинулись, изобретатель же, нахмурясь, зажег спичку и сунул ее в отверстие, проделанное в верхней доске. Одновременно там зашипело, и пошел сильный дым. Колесо же не сдвинулось и на полвершка. Все смутились и молча привстали.

Очень удивляясь такому обороту дел, Димитрий Никанорович наклонился над отверстием. Тогда произошел эпизод. Оттуда пальнуло огнем и чем-то черным прямо ему в носовую часть лица. Звук был как от большой пушки. Терлюков молча упал и, казалось, перестал издавать дыхание.

Вслед за тем становой подбежал к несчастному изобретателю, чтоб поглядеть, что такое получилось. Я бы, откровенно говоря, и не порешился на такую смелость! Однако едва он подбежал, то из боковой дырки вторично

хлопнула струя огня и прожгла цельное пятно на его белом кителе. Машина продолжала действовать и стреляла во все стороны.

Мой К. Г. первым выскочил из переднего ряда, крестясь, как от беса. Бибин М. И. просто показал кулак лежащему Терлюкову. А дамы бежали врассыпную и даже с очевидным неприличием перескакивали через ограду палисадника. Особенно туго пришлось одной старой монашене, которая, повиснув на заборе, вблизи от самой стреляющей машины, кричала неимоверным криком. (Монашена эта, как потом разузнали, приехала к Никанору Петровичу погостить, как к брату, из Владычного монастыря. Решив посмотреть на племянникову затею, она и подверглась такой неприятности. Вообще у нас, в Гогулеве, монашенам не везет: которая ни приедет — непременно родит!)

Скоро около Димитрия Никаноровича, поверженного во прах, не осталось ни человека, словно вымерло! И только через час узнали (когда машина вся кончилась, ее разбили камнями!), что изобретателю вышибло глаз и повредило палец. Палец и доныне остался кривой, такая жалость!

Дома хозяин мой, Зворыкин, так про него супруге выразился: «Счастье его, что не мне он дырку прожег. Я б ему такой перпетум показал, родного отца за черта б принял!» А что касается станового, то он, несмотря на мои увещания, целиком был уверен, что Терлюков нарочно все это проделал, в пику правительству. Даже постановили отца его, бывшего дьячка, служившего сторожем при Гогулевской больнице, отрешить от должности в наказание за сына. Хотели даже под суд отдать, но я восстал против такой необдуманности. Однако слава Димитрия Терлюкова погибла навек.

Я не осуждаю. Уж если Бартолин ошибался, нашему Терлюкову и совсем не грех. Да и вообще — при наших обстоятельствах уж лучше не изобретать. Мне его очень жалко, — от науки погиб человек. Но все же нельзя к таким вещам с бухту-барахту подходить. А уж если изобрел, то отходи подальше!

Сатира на регента Василова

Шел вчера он по Базарной
После выпивки одной,
В настроении кошмарном
Пробирался он домой.

Вдруг навстречу идет Булдасов,
Гогулевский наш главный фат,
Говорит он грубым басом:
«А, Василов! Очень рад!

Протяни, приятель, руку!
Пойдем к Самыкину в трахтир,
Там разгоним нашу скуку
И забудем цельный мир!»

Выпить всегда готов Василов,
Он тотчас же руку дал
И к Самыкину трахтиру
Моментально зашагал.

Сели, водочки спросили, —
Пропустили по одной,
Огурчиком закусили, —
Пропустили по другой.

Глядит Василов на соседа.
Да вдруг как пустится в бега:
Из Булдасова, он видит,
Прямо вверх растут рога!

Он очнулся уж под лесом,
И тут лишь только понял он,
Что сидел и трахтире с бесом,
С настоящим целиком.

Дальнейшие события жизни

И вдруг подошла пора... Что это было за времечко! При одном только воспоминании мутить начинает.

Представьте: в пруд бросают камень. От этого рыба, конечно, разбегается, ища себе другого приюту. Потом

долго не умолкают круги. Что есть Гогулев? Тот же пруд без никаких сомнений. И вдруг камень. Именно: кто есть мы? Мы есть рыбы! Не в ругань или осуждение, а для точности смысла обозначу я благодетеля моего через щуку, ибо он длинен телом и любит глубину. И. С. Хрыщ есть осетер, судя по праздничному позументу. Кто назовет Обувайлу кроме как севрюгой? А Михайло Иваныч есть скользкий налим (он быстр на слова и лыс в высшей степени). Ну, одним словом, и так далее. Я же — карасик, как я теперь дошел, об нас разговор только после сковородки. Карась для того и родится, чтоб его жарили. Вышло, будто выловили нас всех и посадили в ведро. Время же то, как мы из Гогулева смотрим, подобно вполне кручению ведра на палке.

В то время у нас война была. Это мы знаем, что война. К. Г. купил билетов военного займа, потому что родина, как-то неловко. Кроме того, рекрутов у нас взяли. Бибин их всех напоил у Самыкина, провожали с музыкой, выдавая каждому бесплатно по иконке (разного содержания), по фунту свеч и по рублю на брата. А я стоял в сторонке, и сердце во мне обливалось кровью целиком. И хотелось мне выйти на Козью горку и закричать на весь свет: «Господа, не убивайте молодых! Никакая кровь не создана, чтоб ею землю мочить... Живите без ерунды!» Но с Козьей горки на весь свет не накричишь, и я смолк в полнейшей тоске. Потом пошла война. До нас вести доходили скудно, да и боязно было как-то узнавать: а вдруг дела плохи? Что мне тогда делать, — мне, Ковякину? Плакать, кусаться, на хвосте скакать? Да у меня и хвоста-то нету!

В 1916 году только тем у нас война и отразилась, что Яков Вертушкин, не прикрывая прежнего (гробового) дела, открыл еще заведение искусственных ног, собирая барыши в свои карманы. Я еще тогда же несообразности одной дивился: взяли у Парфена Бубнова сына на войну (он только что женился). Там его убили (груди вырвали железным снарядом), а жене беременной прислали медаль. Господа, куда ж ее вешать, медаль-то, раз груди-то молодому человеку оторвали? Ведь грудей-то у молодого человека теперь нет, зачем же ему медаль? Грешен человек, тут я и подумал: надо, думаю, изменить человеческие законы. И вдруг — камень!

Дело это началось с предчувствия: Федосьи Тихоновны глухонемая дочь Ольга видела зимой шестнадцатого года сон. Толком рассказать не умела, но изъясняла движениями рук и кривыми показаниями лица, что небеса над ней всю ночь глумились, кроме того тараканы... Тараканов у нас действительно хоть на вывоз. Но при чем же тут небеса? Матери, однако, я тогда же сказал, что от девушкиной сырости такие сны, что ее бы замуж. Любая девушка снами нехорошими дотла может изгнить. Это раз, а два — это тараканы.

Козьмы Григорьича супруга есть женщина чистоплотности невыносимой. У ней в каждой комнате прямо по рукомойнику. И чтоб при таких обстоятельствах таракан, который заводится, как известно, из грязи (и вообще из плесени)? Ни в коем случае. Но вот в январе 1917 года произошло нашествие тараканов на наш дом. Они стали являться к нам обезумевшими ватагами и селились скопом, где попало. Один даже в ухо заполз к супруге К. Г. И это произошло не ночью, а днем! Я это подчеркиваю, что днем. Увидя свое белье загаженным тараканами, я стал с ними бороться, даже раскаленным утюгом, но безуспешно.

Вот после этого-то и камень, то есть переворот. 4 марта Ипполит Сергеич приходил вечером к хозяину и был бледен, напоминая молочный кисель. За чайком сообщил он по секрету и при закрытых ставнях, что царю конец. Не прикончили еще, но близко того. А замешан, мол, во все это дело фатерлянд, который давно уж стремился, чтоб на месте России находилось голое место, безо всяких наших следов.

Было даже поверить затруднительно. Я решил ждать времени. Никогда не спеши, дай отстояться правде, — такое у меня правило. К. Г. не поверил так же, как и я. Супруга стала плакать. Тут я и поверил в предчувствия. Нельзя, господа, не верить, раз указание налицо!

Однако, пятое—десятое, все осталось без изменения. Даже Хрыщ остался на прежнем месте, переименовавшись немножко для порядку. Несчастных случаев тоже не произошло никаких, хотя все притихли и чего-то ждали. Вдруг о. Ивана Люминарского в Пензу перевели и представили к повышению. Очень жаль, истинный го-

гулевец был поп Иван. У Козьмы Григорьича свояк умер в Самаре, тоже мануфактурщик (особливо по ситцам). Он давно уже, впрочем, страдал болезнью в ногах. Потом было у нас убийство: брат брата убил, и даже не в пьяном виде, а затрезво. Пошел кругооборот!..

А вот и смешное. У нас в Гогулеве проживал некий мещанин Сосульников. Это была личность ничтожная (в некотором смысле даже прелюбодей в отношении к своей хозяйке). Он объявил вдруг себя анархистом и вывесил в окне досточку с надписью: «Ничего не признаю точка Александр Сосульников». Я к о. Геннадию — так, мол, и так, анархист завелся. Он объяснил, что это такие люди, которые хотят, чтоб круглым счетом ничего не было. Ну я так и понял: труба. Жил этот субъект дому нашему, зворыкинскому, наперекосок. Это было очень противно для глаза. Поэтому мой К. Г. решил его изводить. Каждый вечер он выставлял в окно граммофон и заводил раз десять одно и то же, а именно «Боже, царя храни». Сосульников из упорства принужден был закрывать окно и даже завешивать одеялом, чтоб не слышать. Почему он и лишался доступа вечерней прохлады (воздух у нас вечерами удивительный и пахнет, как цветок). Досточка же анархистова продолжала висеть.

Когда же граммофон испортился от тараканов, залезших в пружину, Козьма Григорьич давал дворнику Голованову трубу в руки и приказывал кричать прямо в окно субъекту: «Анархистов не признаю точка Козьма Зворыкин». И так до без конца. Сами же мы сидели на лавочке и подзуживали вслух.

Вскорости к хозяйке приехал муж, бывший пять лет в безвестной отлучке. После чего анархист исчез, получив по заслугам в полной мере. Мы устроили домашний банкет. Кроме того, в июле произошел дикий эпизод. Ипполит Сергеич задержал и хотел уже препроводить двух темных элементов. Они со слезой уговаривали стеаринщиков идти вешать всех купцов, какие попадутся. А тем как-то неудобно отказаться было, раз дело в такой степени. Если б, конечно, не задержать, могла получиться кровь. Однако через день прибыла телеграмма, чтоб освободить и даже извиниться. И. С. приходил к К. Г. вечером и сказывал, проглатывая слезы: «Теряюсь в смыслах и не нахожу выво-

да! Элемент, а надо извиняться. Все пошло против течения природы, элементу же дан карт-бляшн...»

Матросы потом какие-то приезжали производить муть. Хрыщ, как начальник гогулевской милиции, ходил к ним ночью и пробовал уговаривать чуть не на коленях, чтоб без греха уезжали. Но они его вышибли, поддавая тузов.

Да тут еще и Бибин объявил себя элементом. Он стал стращать публику, обещая надеть бант и производить волнение. О. Геннадий ходил его отговаривать. «Постыдись! — говорил он ему при мне. — Тебе ли в элементы идти? Ты лысый, а элемент всегда имеет на себе волосы. К лицу ли тебе такая марка? Нехорошо, нехорошо!..» Но Бибин нас напоил и заставил меня стишки говорить, зная слабую струну сердца. Все же, хоть мы и не удержались по отношению к вину, его отговорили.

Многие и другие странные явления стали происходить. Ситец очень стал в цене баловаться, паршивая китайка бархат стала зашибать. А к зиме за ситцем вслед скакнул и сахар. Суконный подвоз совсем прекратился. К тому же, как мы ни торговали, барыши протекали мимо карманов. Пришлось часть товаров спрятать, чтоб переждать. Многие также стали (словно сговорились!) закупать муку, будто к осаде готовились.

Кстати, тут еще Матвея Матвеича в старосты прокатили, а выбрали какого-то Катулинера (весь черный и в волосах). Мы его не знаем, мы даже и не знали, что есть такие. И вдруг на тебе: Катулинер! Кроме того, кот у нас побесился и полдюжины кур (плимутроков) покусал. В одну из таких минут Козьма Григорьич (он все чаще сердиться стал, перестав разговаривать, а как-то тыкал) и обозвал меня запятою. Я не обижаюсь (может, я и вправду на запятую похож?), но только ни к чему упоминать. Не сам себе человек рожу выдумывает, все рожи ведь свыше!

Между прочим, вот тоже эпизод. Семейное собрание Катулинер закрыл и замок повесил. А ночью кто-то ухитрился в замок напакостить. Ведь вишь, на какой винт человеческая голова настроиться может! Вот уж именно: в каждом факте жизни есть прискорбие, только поищи.

И все же это только цветочки были. А как стали падать ягодки, не успевали мы даже, извините за выражение, отряхиваться.

Куплет на закрытие бань

(9 сентября 1917 г. чуть не закрыли бань, потому что дров не стало. До того дело дошло, что камышом два раза бани топили. И лесу кругом достаточно, а вот возьми: нету дров — и все! М. И. Бибин меня и упросил стишки составить, чтобы послать Катулинеру без подписи.)

Удивительное дело
И удивительная весть:
Негде теперь вымыть тело.
Надо в речку прямо лезть! *(Два раза.)*

Нету дров и нету мыла,
Нету денег ни черта.
А не житье теперь — могила,
Одним словом, тру-ля-ля! *(Два раза.)*

Пусть будем все мы, как цыгане,
Катулинеру под стать,
И к чему она вам, баня:
Разве с ней — не умирать? *(Два раза.)*

Нету мыла, нету хлеба,
Нету денег, нету дров.
Но зато осталось небо:
Услаждайся, Гогулев! *(Два раза.)*

Вставши утречком поране,
Можешь небо прямо есть.
Нету бань? К чему нам бани:
Можно в речку прямо лезть!! *(Два раза.)*

(Куплет этот Васильев пел под гитару. Очень недурно вышло, кроме того смешно.)

Неприятность в семейном собрании

И тут приехал к нам бритый человек и сказал: «Я ваш комендант». Мы его, конечно, опросили: «А фамилья, — мол, — вам какая будет?» — «Полковник Барсов». Ну, мы и стихли. Мы раньше и не предполагали, что нам когда-

нибудь комендант понадобится. А раз прислали, — значит, нужно. (Кроме того, у нас на Ногаевом холму казарму деревянную выстроили, в ней поставили жить солдатский полк. Там растительности кругом никакой, и воздух дикий, потому что свалка. Разве можно в таком месте казарму воздвигать! Я даже прошение посылал, чтоб не строили, но выстроили. Потому и было у солдат мрачное недовольство. Отсюда ужасы.) Тот же комендант Барсов и начальником у солдат стал.

Что это был за ягодка, настоящий Занзибар целиком! Чего только он у нас не выкидывал, находясь в постоянном кураже. Так фортелял, что даже Бибин, имеющий склонность к приключениям жизни, ходил весь не в себе. Притом вид его ужасал: лицо — таз тазом, слева припухлость, пальцы по огурцу. Но главное — усы. Они были такие: все усы, усы, усы, и вдруг на концах (полнейшая неожиданность, если глядеть!) рыжие такие бутоны. Девушке даже глядеть на него, по-моему, стыдно. Я его выносить не мог, хотя я и не девушка. И где таких сохраняли до поры до времени? В кладовках, что ли?

Всегда он ходил с денщиком, которому и фамилья была стоящая: Засядко Иван! Это была тварь (извините за выражение, не могу!) высоченнейшего роста и всегда сонный. Он не любил кошек. Едва завидит, как уже мчится, норовя переломить. Вот они-то двое и выкинули коленце, поражая Гогулев.

Наше учительство и значительные люди устраивали бал и гала-спектакль без напитков и в пользу будущего университета в Семейном собрании. Гала-то гала, а вышли и смехи и слезы. Я там присутствовал как член, с полным правом. После спектакля должны были танцы, которыми распоряжался учитель русского языка Суворов (не родственник, а однофамилец). Этот старичок (Семён Антипьевич) и надел себе на руку, как распорядитель, красный бантик.

Прибывает Барсов. Всеобщее движение, музыка — марш, разговор и шарканье ног. С ним — Засядко, полнейшая мумия, даже шапки, стоерос, не снял! Вдруг Барсов глядит на Суворова, видит бант. Моментально глаза закатил и говорит денщику, указывая пальцем: «Того стрекулиста вытряхни и дай ему раза!» Тот мгновенно шага-

ет, Суворова цап за ворот и в дверь, на лестницу. Там он дает ему турмана правым коленком. Наш Суворов, как полнейший старичок, в положительной беспомощности съезжает с лестницы на некотором месте. Одним словом: будь здоров, Капускин! После чего музыка гремит, все переглядываются. У всех так, словно гири на ногах нацепили. Так проходит время, танцев нет.

Вдруг Барсов залютел и поднял бровь. Потом говорит вслух: «Позвать мне вашего председателя». Сам же пощипывает ус, того гляди, губу себе с места своротит, и все шпорами, шпорами. Побежали искать нотариуса Дища. Тот же, засев в известном месте, упирается: «Не пойду, — шепчет, — не пойду... Он и вас всех, голубчиков, переляпает!» Наконец двое привели под руки, нет на нем лица. Барсов и рычит ему в упор: «Начинайте, — рычит, — танцы, я и сам стариной тряхну! Покажите мне, которая у вас тут мазурку может?» А Дищ в страхе шепчет: «Счас, счас, мы счас...» Тут уж Булдасов спас его от казуса. «Ваше превосходительство, — выскочил он и дал ногами мельчайшую дробь, — не могут у нас танцы начинаться. Распорядителя нашего приказали вы того-с!» Все в ужасе ждут, что-то будет.

Но тут уж и Барсов смутился. «Так ведь он же с красным бантом фигулял!» — «Точно, красный, только это распорядительский бант-с!» — напирает Булдасов, усиливая дробь в ногах. «Ах, вот в чем дело! — роняет Барсов в ужасном смущении. — Засядко, немедленно доставь мне того старикана, желаю извиниться». Засядко камнем в дверь. Суворов же сидел в то время на нижней ступеньке, соображая обиду и делая выводы. Бант он спрятал в сапог. Однако, завидя барсовского элемента, он пустился в бег. Тот же, имея шаг более длинный, догнал его на Гончарной. Привыкнув к кошкам, Засядко был легок на рысях. Сцапав Суворова в кучу, он приволок его обратно, награждая словами.

Барсов стал извиняться. «Пардон, — сказал он, — что я вас этак, по-военному. Я не знал. Вижу — бант, значит, и сообразил. Вы не думайте, чтоб я старых убеждений. Я и сам в свое время полностью страдал как революционер. И даже очень! Однако чтоб бант, этого не терплю, чтоб напоказ...» Суворов в слезы от умиления: «Что вы,

что вы, ваше превосходительство! Ничего-с! Это даже любя, по-отечески... пожалуйста!»

Всем вокруг тоже очень понравилось, что без кровопролития. От радости тотчас же повели Засядку в буфет кормить бутербродами, как героя. Музыка заиграла пати-патинер, закружились веселые пары. Что же касается Суворова, то он, покрикивая, принужден был часто сморкаться, чтоб скрыть полную внезапность радостных, от умиления, слез.

Я, придя домой, долго не ложился, а раздумывал. Боже мой, думал я, как мы забывчивы на обиды. Правой рукой нас бей, а левой поглаживай, — мы и тихонькие, как теленочки. А тогда: хочешь — в сапог нас прятай, хочешь — греби лопатой. И как этого враги наши не сообразят? Именно: бей, но не забывай поглаживать!

Мое прошение о нестроении казармы на Ногаевом холму

(Вот мое прошение г. губернатору. Прилагаю для интересу и для сравнения, как я предсказал. Меня за это писание даже хотели освидетельствовать (Хрыщ передавал). Какое непонимание!)

Ваше высокопревосходительство!

У нас в Гогулеве на Ногаевом холму казарму собираются строить. Я против не имею, но только хочу высказаться. Я, ваше превосходительство, не губернатором урожден. Мне суждено было по другой жизненной части пойти. Конечно, Ногаев холм — ваше дело целиком, однако прикажите лучше не строить. Все дело может погибнуть, а выйдет один всероссийский конфуз. Там вокруг расстилается мрачный вид. Там летом собаки даже задыхаются от тяжести температуры. Что же с солдатами сделается?

Я уж больше полувека в Гогулеве живу (Огородная, дом К. Г. Зворыкина). Я дело знаю в точности, проверьте чистосердечное движение моей души. Кроме того, уж поверьте, ваше превосходительство, что не в пику, а по мере теплого участия, как гогулевский деятель. К тому

же солдат есть целиком тот же элемент во всякое время. Пожалейте Гогулев, ваше превосходительство !

Я и вообще, извиняюсь за смелость, против солдат, ваше превосходительство. Я прямо весь сгораю от стыда, когда солдат вижу. Разве ж можно, ваше превосходительство, обучать человека убийству? Ведь тот же самый человек и вас, например, ваше превосходительство, часом в брюшко может пырнуть. И даже с полным на то удовольствием, войдя во вкус, как легко это сделать. Может выйти куролесие. Нет, как хотите, а так нельзя!..

По-моему, знаете, и совсем воевать не нужно. Возьмем меня, — да к чему же мне воевать, раз я человек хороший и мирный. А если не воевать, так это даже выгода государству: мундиров не придется шить. А суконце-то теперь ох как кусается!

А уж если на то пошло, то и государств никаких не надо, чтоб не бунтовали зазря. Сказать всем людям: люди, трудитесь без надувательства, потому что ведь люди же вы, а не скоты, например. Как бы хорошо-то было, и вышло бы счастье всего мира целиком! Ваше превосходительство, снаряд летит, чтоб убить, а ведь он денег стоит. Вы лучше на эти деньги штанишки купите соседкину Ваське, — ведь сколько радости-то будет! Он без штанов так и бегает: и зазорно и холодно.

Я человек маленький, и фамилья у меня не именинная. Я просто травка по сравнению с вами, ваше превосходительство, которое как дуб развесистый (так и в песне поется). Но я жизнь могу отдать, чтоб хорошо вышло, .без крови. Скажите, ваше превосходительство, всем другим превосходительствам с высоты чина и положения: Ковякин, мол, несмотря ни на что, боится за человека. Ковякин страдает, даже тайком слезы льет! И вообще не смейтесь над Гогулевом, ваше превосходительство: смехи слезами запиваются, а слезинки заедаются человечинкой. Петля выходит. Но вы не обижайтесь и не отчаивайтесь: всякое дело поправимо, окромя крови. Пролитой крови, уж извините, в жилы не вернуть.

А уж если строить, то лучше сумасшедший дом. У нас этого товару сколько вам угодно. Это полезнее подходит к делу. Тревожась, как сын, за участь города, в котором живу, остаюсь в надежде на нестроение казармы.

Вашего превосходительства друг и доверенный Зворыкинской мануфактуры А. П. Ковякин.

P. S. Слышал я, что оранжерейками вы на свободке изволили подзаняться. Это очень хорошо (то есть цветочки — хорошо!). Тем более что человек уже перестал быть цветком природы. Он уже более походит на самый фрукт, готовый упасть. Вы еще обратите внимание на помидорки. Лучше всякого цветка — пухленькие, кругленькие, прямо из самой серединки земли лезут. До слез меня трогают эти помидорки!

PP. SS. А лучше всего — университет, если денег хватит. А. П. К.

Эпизод смерти благодетеля моего К. Г. Зворыкина

1 ноября все Козьмы-Демьяны именинники. Мой хозяин тоже. Он как пришел от заутрени, так и говорит: «Беги, — говорит, — Андрей Петрович, скажи Михайле Иванычу, чтобы на грибки вечерком заходил!» (У нас всегда 1 ноября торжество первого засола справляют, очень хорошо.)

Единым духом лечу на Дворянскую, где Бибин жил, спешу, чтоб на завод не успел уехать, застать. Вылетаю на площадь... А тут еще в проулочке слышу набат. Не иначе как Бибин загорелся, думаю. Встревожась, вылетаю на площадь, вижу драму и переполох. Вот вид! Барсов, лютый гогулевский наш командир, лежит на мостовой в беспамятстве, без никаких движений, ровно спит в неудобстве. Вокруг солдаты и кулаки сучат. Я не успел подбежать, чтоб спасти, как один уже перекрестился да камнем в лоб Барсову как цапнет с маху. Зажмурившись, я ахнул. Охватила меня страшная тоска...

На углу 1-й Навозной стол вытащили от Самыкина, на столе живой человек кричит и зубы таращит, кулаками же тычет прямо в небо. А небо такое грустное, цвета голубиного помета. Ну, думаю, держись, Гогулев! Тут оглянулся я на зворыкинский магазин и такое увидел, что так и присел раком, да как заверещу.

Вообразите момент! Каменное помещение благодетеля моего разбито в полнейший дрызг. На окнах ни кусочка материи никакой нет. Внутри же солдаты, и оттуда пулемет. Я к ним подскочил разом и закричал: «Убирайтесь, — кричу, — не то хозяина позову счас!..» А они смехом мне, да и наставляют пулемет, самое дуло, в упор на меня. Визгнул я и помчался. Ноги топнут по колено, а я бегу. Хорошо еще, что вдогон мне не стреляли, я бы умер со страху!

Влетел я на Навозную, еле дух перевожу. И тут только различать стал. Люди суетятся, двери все спешат закрывать. А небо все кап да кап, пометом. Повернул я в Батальонный переулок, а там ведут солдаты самого станового, И. С. Хрыща. Ах, как все изменчиво, особливо людская красота! Никакой в нем представительности, одна была чистая грусть. Растерзанный, встрепанный, без кителя и об одном всего сапоге. В руки же ему, для смеху, флаг красный дали нести. Как завидел он меня, так и кричит (неосторожность какая!): «Прощай, — кричит, — Андрей Петрович, прощай, голубеночек! Убивать ведут...»

Тут один солдат и показал на меня пальцем: «Прихватите, — говорит, — дяденьку-соколика!» Я моментально шмыг в первейшую подворотню, полы раздул, лечу. От неминуемой смерти упасся единственно быстротой тела. Кроме того — дыра в панюшовском заборе: мне давно известна, а им нет.

Прибежал я домой, весь в грязи, ужасающий: хозяйская супруга горшок со сметаной на пол ухнула. К Козьме Григорьичу влетаю, а он чай пьет: сбоку — грибки, с другого — пирожки с печеночкой. «Ты что, — спрашивает, — запятая, анчут-ку встрел?» — сам смеется, пирожок жует да ручкой сзади наподобие хвоста делает. Мне же не до смеха, злость на него, на идола, берет. Стоню я ему ошарашенно, угорелым матом: «Народное, — кричу, — смятение, бунт и каша заварилась!» Он мне: «Не каша, а свадьба небось! У тебя, запятая, двоеточие видеть стало плохо!»

Тут мы слышим выстрелы, гам и грохот, — Гогулев стал как бы сотрясаться. «Полковника-то Барсова, — кричу я ему и плачу сквозь гам, — камнем в лоб... Бибин дом горит... магазин вдрызг... Хрыща убивать повели...» Мой К. Г. встает, блюдце в руке, и делается красный весь прямо до нехорошего. «А шевьот?» — спрашивает он глухо,

а блюдце так и прыгает в руке, чай на пол льется, а глаз подмаргивает левый. (А мы только что заграничного шевьоту партию перекупили, в денежку стукнуло.) «И шевьот, — кричу, — и Хрыщ... камня на камне... Пыль одна!»

Я глаза зажмурил, слышу — трах что-то на пол. Открыл глаза — мой К. Г. на полу лежит, весь лиловый, как туча, даже кресло, вспоминается, опрокинул тяжестью падающего корпуса. Лежит, дрожит и хрипит.

Супруга прибежала, в тесте вся, в руках судочек с подливкой. Сама из астраханских была: рыхлая, белая, кволая. Увидала и застыла тут. Я же разошелся, глаза вылупил, руками туда-сюда машу, все смыслы из меня выскочили. «Вашего, — кричу, — супруга дрожащий Кондратий хватил. Вот он, на полу!!» В этом месте и супруга ахнула, да на пол кубарем, а судочек опрокинулся прямо К. Г. на лицо.

Встал я над ними и стал соображать, какие я дела наделал. Благодетеля подкосил, а супругу целиком вывел из равновесия. Поднялась во мне горечь, прямо сил нет. Брякнулся и я на пол, ползаю по ним, прощенья прошу. Однако поздно дело: Кондратий не изжога, можжевеловой настойкой с красным перцем не изгнать!

На улице одновременно полнейшая суматоха. Рамы прыгают в звон. Бибин действительно загорелся. Обувайло по этому поводу коней настрочил: летит, рычит, давит. Чего тут только не было! Сколько передавлено кур, сколько стекол выбито! Сам я не знаю, как могу записывать недрожащей рукой такие происшествия, случившиеся в Гогулеве, несчастном и мизерном городишке нашем. Но полагаю, однако, что когда Помпея и Геркулес погибали в извержениях Везувия, была у них на улицах такая же муть, а в квартирах ровным счетом недоразумение.

Ода на смерть К. Г. Зворыкина

Преужасная кончина!
Только смута началась,
Великана-исполина
Унесла она от нас.

Наша жизнь — одно мученье!
За весной идет зима.
Все вы видите, без сомненья,
Спит во гробе раб Козьма.

Жил сурово он и просто,
Ни у кого взаймы не просил.
Мог бы жить он лет так со сто,
Но шевьот его скосил.

Пил, но все ж не допивался,
Посвящал себя труду,
Он с супругой обвенчался
На тридцать первом лишь году.

Часто ездил он в Самару
По коммерческим делам.
Жил и прожил без скандалу;
Вот пример достойный вам!

От него бегла зараза,
Не болел почти ни раза,
И погиб, пожалуй, зря
В день 6-го ноября...

Последующее в жизни

Никакая игра воображения тут не сможет проникнуть. Так, например, М. М. Мяуков, последний могикан старокупеческого Гогулева, стал вдруг покойником, как представитель старого режима. Катулинер же исчез. Его очень искали, но прямо между пальцами провалился. Очень жаль, что исчез! А потом чертогон начался какой-то.

Я в первое время после смерти благодетеля жил еще у него в доме, но вскорости пришлось оттуда убираться. Нрав у благодетелевой супруги проявился полный злобы, все норовила сделать рывком, в обиду. Она мне требование предоставила, чтоб я просиживал ее диван, который у меня в каморке, по силе возможности равномерно на всех местах, чтоб не получилось протирания до дырки на видном месте. Я после того плюнул на каверзу и съехал. Однако через три недели ее тоже вышибли. Дом зво-

рыкинский кому-то понадобился (ужасно тесно у нас в Гогулеве стало!). Выдали ей из всего обихода три предмета: шаль, китайскую ручку для чесания спины (К. Г. покойник любил после ужина) и третье такое, о чем умолчу по причинам. Умирая без языка, К. Г. не успел мне жалованья за полгода цельных выдать. Я остался в полной мере на бобах. Спасли меня крохотные мои сбережения про черный случай, ими и перебивался. А квартировать я переехал на голубятню во второй бибинский дом. Холодно там, сквозняки по всем линиям ходят, голуби летают, и рам почти что нет, а так себе, деревяшечки для прилику. Я печурку там сложил, глиной обмазал, да так и жил, ожидая исхода. Базар закрыли, а председателем дали нам Сеновалова.

Это был человечище об одном глазе. Но и одним глазом он стращал так, как я и десятком не сумел бы. К тому же бомба за поясом, в открытую. Настоящий элемент, даже без застежек! Случилось, я тогда пачпорт в сутолоке потерял. Выбрался с голубятни, пошел в Совет, чтоб выдали. Дверку одну отворил: «Здесь пачпортист?» — спрашиваю я. А он, Сеновалов, как зыкнет на меня глазом. Я кубарем, кубариком по лестнице-то, забился в голубятню и дверь поленьями засыпал. Всякое мое соображение было тут утеряно, как и пачпорт. И вдруг, представьте! — узнаю, что у Сеновалова вроде жена и мать есть, вместе и живут. Ведь вот, — даже и не подумаешь!

Поп Порфир, которого нам поставили вместо о. Ивана Люминарского, тоже проявил себя порядком. Прямо сибирский субъект, Куликову под стать. Он ездил прямо по деревням и выменивал ризу на муку, — такая натура. Мы (я, Игнат Семёныч и Горборуков) ходили к Сеновалову жаловаться, но он нам так хохотать стал, что мы, струсив, как бы бомба не разорвалась от сотрясения, поспешили уйти.

Вдруг хлоп — Игнат Семёныч помер, Обувайлин папаша. Варили они конину, а старику не сказывали, боясь потрясти. Но один раз Спиридон Игнатьич и решил проучить папашу: «Папаш, — говорит, — а ведь ты коня ел!» Тот остолбенел сперва, а потом брык под стол. У него все нутро рвотой вывернулось, в одночасье помер. Вот уж именно: словом можно прикончить человека, такие уж слова стали у людей!

Ах, да стоит ли припоминать, да и много ли припомнишь? Высыпали тебе на голову мешок подсолнухов. Который же вам подсолнушек выбрать для описания? Все черноватенькие, все одинаковенькие, а и попадется белый — так червоточинка заместо зерна...

Приключение с Обувайлой

Совсем у нас туго стало в отношениях пищи. Пить у нас, правда, перестали, но зато перестали и закусывать. И повадился тогда народ за грибами ходить. Гриб — он такой! — на него ордер не нацепишь! Но от грибного обилия в пузырях людей одна плесень разводилась, а глаза у них гноиться стали. Кроме того — бессонница.

Вот мы и порешили, трое стариков — я, Василов да Обувайло Спиридон, — на охоту пойти, чтоб добыть пропитание. Василов владел ружьем, у Обувайлы нашелся порох, меня же по давнишней дружбе прихватили. Для охоты наметили мы пруд в Засеках, очень глухое место и в высшей степени уютное (по воспоминаниям). Да нам и нужно-то немного было, по парочке на брата для подкрепления сил в борьбе с жизнью.

К месту мы на рассвете пришли. Василов зарядил. Но утки словно прослышали о нашей затее, ни одна не хотела показываться, несмотря что Василов стрелок вполне замечательный.

Пруд был не совсем заросши. Средина его даже не рябилась, ветру никакого не было. Звуку тоже никакого, но все торчал в ушах словно какой-то крик, ужасно. Мы ходили уже около часа, но результат не приходил. Тогда Спиридон Игнатьич и решил попугать уток. Он пошел на другую сторону пруда и там стал издавать как бы дикий треск горлом. Это он правильно придумал, потому что одна утка тут же взлетела и закачалась на середине пруда. Моментально Василов ружье к плечу и пальнул. Утка быстро исчезла, зато с противоположного берега вдруг раздался жалобный писк. Я крикнул тогда: «Спиридон Игнатьич, что это у вас там?» Однако ответу нет.

Быстро обежав кругом, мы раскрыли орешник и увидели Обувайлу. Он лежал животом на мокрой траве, дер-

жась рукой за некоторое место. Оказалось, что это он сам издавал те слабые писки, корчась от мучений. «Не подходите, не подходите! — застонал он, когда мы наклонились к нему. — Я умираю». Мы с Василовым переглянулись. Однако бывший регент вдруг засмеялся: «Не бойсь, не помрешь, Спиридон, — это в тебя рикошет от воды попал. В которое место попало?» Обувайло умирающим взглядом показал на некоторую второстепенную часть своего тела, где действительно имелись дробовые следы. «Эге, вот как я тебя, в самый раз! — мрачно усмехнулся Василов. — Ну, вставай, лежать тебе тут нечего». Однако Обувайло еще пуще застонал, уверяя, что к нему подошла крайность. «Что ж, будем из тебя дробины вынать, — сказал Василов. — Помоги мне, Андрей Петрович, амуницию снять с него!» Вытащив Обувайлу за ноги (он сильно цеплялся) и разложив его как следует, мы принялись за дело (которое оказалось трудным по причине многих волос).

Что было муки при этом! Обувайло гудел и грыз зубами палку, чтоб не издавать криков своего мучения. Василов же направлял свой садовый кривой ножик прямо в такие места страдальца, где чувствительность тела превосходит все остальное... «Терпи, Спиридон, — хмуро ворчал регент, — будь человеком до конца!» — но С. И. совсем потерял всякую точку опоры. «Скажите Зиночке, — шептал он помертвевшим тоном, — я прощаю ей Амоса». Таким образом мы узнали весь секрет Обувайлиной жизни, беру прежние свои слова назад. Я же чуть не плакал от этого зрелища, покуда регент, упиваясь моментом, кромсал Обувайлино тело. «Не кусайся, черт, — ворчал Василов, сидя у Спиридона на спине. — Возьми его за ногу, Андрей Петрович, ишь дергает. Ну, Спиридон, последняя!» Так, с разговорчиком, мы возвратили Обувайлу к жизни. После чего, промыв водой из фляжки, поставили на ноги.

А возвращались мы из лесу гораздо веселее, чем раньше. Особенно сиял сам пострадавший. «Экий ты! — смеялся он регенту. — Что я теперь жене-то скажу, ведь этакое место!» Я же думал: вот истинное добродушие. В него же всыпали чуть не полвосьмушки дроби, и он же шутит над эпизодом жизни. Хорошая это машина — человек, практикованная.

Переполох моей души

Вот так весь год прошел, и сызнова потом месяцы второпях побежали. Переживая страдания одиночества, я ни в каких событиях жизни участия не принимал. Все сидел я на службе (совнархоз, строительный отдел) и тыкал пером в бумагу. О чем я тыкал, я и сам не знаю, — да и много ли натыкаешь с пустым-то пузырем? Но все кругом меня тоже тыкали, говоря грубым тоном, и нагибались, чтоб не задело.

Бросил кто-то книжечку в уголок, а я подобрал и прочитал ночью вприсест. Объяснялось, будто все существование от обезьяны. Потому, мол, и вышел человек таким, что он от обезьяны! Я прочел, закрыл страничку, и так мне тут обидно стало, сам не знаю отчего. Что ж, думаю, значит, и волос прикрывать не надо, если от обезьяны? Зачем же, думаю, хвастаться-то человеческим голышом? И так сидел я всю ночь как в столбняке. Поясницу ломит, а мысли бегут и бегут все. Даже мне тут холодно стало: какую еще дулю, думаю, поднесут мне, что ж это за эпизоды такие?! И вдруг на рассвете 14 сентября 1918 г. понял я целиком, что стишки мои — это чушь! Я даже понял, что и все чушь! И я чушь, и братец чушь! И всякое, что пищит, тоже чушь, потому что от обезьяны! Цвели на полянке вот там одуванчики, но их вытоптала чушь. Прав ты был, незабвенный благодетель мой, что все на свете есть чушь, плавающая в тумане жизни. Дивлюсь я только, как это над чушью такое небо голубое висит, как не стыдно! Должно быть, я стал сходить с ума...

Что ж, думаю, за дело такое? Где же судьба людей? И вдруг припомнил я Терлюкова, что он еще поране меня над обезьяной голову ломал. Побежал я к нему. Он сидел и пришивал карман к шубе медным проводом (медным — чтоб крепче). Вбегаю к нему, спрашиваю: «Димитрий Никанорович, как же, — говорю, — если все от обезьяны?» А он мне: «Точно, — говорит, — от обезьяны. Но только человек-то от волка повелся!» Обалдел я весь, спрашиваю его тихо, а у самого в горле так и хрипит: «А волк откуда вышел? Отвечай, Димитрий Никанорович, дай ответ сердцу, миленький!» — «А волк, — говорит, — полагаю, от червя, или там от блохи какой!» — и сам хмурится.

«А блоха, блоха, — откуда она, мерзкая, свой корень имеет?» — «Блоха? Полагаю — от сырости блоха завелась», — отвечает Димитрий Никанорович и начинает палец грызть. «А сырость откуда получилась? Не молчи, не молчи, терзай до конца!» — кричу я ему в смятении души. «А сырость от скуки, полагаю, завелась. Было скучно, стало сыро, вот и началась игра...»

Я и глаза раскрыл. Не знаю — реветь, не знаю — драться. Вылетел я от Терлюкова, помчался прямым ходом к о. Геннадию. «Геннадий, — еще в дверях кричу, — неужто мы с тобой от скуки завелись? Разреши сомненья, где тут суть?» А Геннадий засмеялся: «От скуки, говоришь? Это наврал тебе Терлюков. Начало всему есть вышний! А в Терлюкове это толчок неопытного беса!» Ага, думаю, изобретатель одноглазый! — и полетел к Терлюкову. Бегу к нему через весь город, спотыкаюсь, зубами поскрежещиваю. «Врешь ты, — кричу я ему, едва прибежал, — перпетун несчастный! Я от вышнего, а это ты от скуки завелся!» А он, Димитрий-то Никанорович, смеется да так и пронзает меня цельным своим глазом: «Тебе поп наврал, чтоб власть над тобой взять. В наше время всегда так будет: кто лучше врет, тот и властвует! Вышнего никакого нет, а вышний твой тоже от скуки завелся...»

Поняв, что небылицу городил мне всю мою жизнь Геннадий, осатанел я вконец. С криком, как бешеный, помчался я к нему стремглав. «Поп, — кричу, — нет никакого вышнего! И сам твой вышний из сырости произошел. Зачем ты врал мне, Геннадий, которого я считал другом своего сердца!» А Геннадий усмехнулся тонко и говорит: «Что ж, в голенище на небо смотреть, так не то что вышнего, а и луны иной раз не увидишь...»

Я тут хотел «караул» кричать и собственным криком поперхнулся. Скакнул я в дверь, а Геннадий захохотал мне вслед. Даже не помню, как перескочил я через все Геннадиевы пороги. А на другой день я и слег. Сперва мутило, потом знобило, а потом как бы чуркой по голове. Я и провалился. Спасла меня бибинская супруга — добрейшая бабочка, жить ей кротко и безболезно сотню лет! Бывало, очнусь, — Катерина Андреевна рядом сидит, на сундучке. Печка трещит, за окном снег падает, а в голове пустота. И вся она, голубятня моя, дырява, как мышеловка. Тут я

снова провалюсь куда-то, и нет меня. Все Наташу видел я в темной ямке моего бесчувствия, будто я ей стишки написал, а она все отмахивается: «Какие уж тут стишки, все это чушь в полнейшем виде целиком!»

Потом встал я через месяц, все во мне клубилось. Еще больше тоска меня стала прижимать, чем тогда, в те часы, как я от Геннадия к Терлюкову через весь Гогулев петушком бегал. Ах, хуже это Помпеевых трясений — переполох людской души!

Пробовал я потом справки наводить, что это за человек такой был, что до обезьяны додумался? «Великий человек!» — отвечают. Тут я и пожалел о тех временах, когда ни одна личность великая Гогулева не посещала, ни сном ни духом. По-моему, как я дошел, чем больше личностей, тем хуже. Всякая личность такая крови требовает. А мне так кажется, что больше капля крови человеческой стоит, чем вся личность с потрохами целиком. Ох, славно на земле жить будет, когда личности переведутся: тихо и безмятежно! Некому будет допытываться, от которой причины цветы цветут. И птичку никто резать не будет, чтоб узнать, которым она местом поет. Поешь — и пой, и очень превосходно!

Встреча с беглым монахом Феофаном

В эти дни, в канун болезни и в край осени, объявился на деревнях неизвестный чудотвор. Чудес он, правда, не творил никаких, а только ходил по деревням и рассказывал мужикам темные вещи. Никому не понятно, а каждому лестно и любопытно, потому что как хочешь, так и понимай.

Зашел раз вечерком на голубятню ко мне братец Сергей Петрович (он письмоводителем в Совете). Сел противу меня, усмехнулся: «Все пишешь, товарищ?..» — спросил он, посмеиваясь. «Что ж, и пишу!..» — ответил я без обиды, однако перо отложил в сторону. «Голубей-то всех съел?» — спросил он еще. «Голубь не человек, не любит, чтоб его ели...» — так же отвечал я. «Ну, пиши, пиши, пописывай, — сказал он и добавил, помолчав: — Про Феофана-то слышал?» — «Нет, — отвечаю, — не слыхи-

вал. Какой такой Феофан?» — «А чудотвор-то!» — «Про чудотвора, — говорю, — слышал, сказывал Пелевин. Так разве он Феофан?» — «Да-а, Феофан!» — протянул этак братец и смолк. Меня же так и встряхнуло при этих словах: что же это такое, думаю, перст уж или самая десница? Братец потом посидел-посидел, сказал: «Текет у тебя крыша-то?» Я говорю: «Текет, дырок много... К зиме вот бумажкой заклею!» Он усмехнулся опять, посидел полминутки и ушел.

Стал я после него волноваться. Досушил на лампочке свои писания и карандашиком на стенке записал: «Не забыть повидаться с Феофаном». Хотя я и знал, что он есть беглый монах, однако хотелось мне спросить его: конец ли это и где исход. И что юродивец он, то есть человек без прикрепления, я тоже знал: это-то и распаляло мое воображение вконец.

Сеновалов приказал ловить Феофана, ибо от него поднималась муть и сотрясение в умах. Были посланы люди, чтоб поймать, однако Феофана укрывали мужики. То провозили они его в соломе, то рядили в бабское и так охраняли, внимая открытым сердцем безумным Феофановым речам. Люди волновались, грозя вспыхнуть. Все ходили и поддакивали, но во всех были замешательство и содом. А мужик все слушал и все слышал и молчал, Сеновалову на страх.

7 сентября 1919 года пришел ко мне Бибин, М. И. Весь он был в грязи, а глаза торчали из него, как палки. «Почет и уваженье, — сказал он мне, — чуть сапог и даже ног на Базарной не оставил». — «Грязь?» — спросил я, «Грязно и мерзопакостно!» — ответил он и покривился губами. Мы посидели. «Конинки хочешь?» — спросил я. «Я сам себе конинка, — ответил тихо М. И., — скоро так брыкнусь, что щепа полетит!» Жалея его, я замолчал. «А Феофан-то!» — сказал он вдруг, и глаза его углями сверкнули. Я прикинулся, что не понял. «А что Феофан?» — спрашиваю. «А то, что его и во Вьясе, и в Репьевке, и даже в Кирьеве, за семьдесят верст ищут... А он тут, рядышком, на опушке в Засеке сидит, грызет сухарик черный да ждет!» — «Думаешь, дождется?» — тихо спросил я. Но Михайло Иваныч только пальцами в стол постучал и промолчал.

Дальше я не мог больше терпеть никак. В ту же ночь вышел я из Гогулева, имея при себе немножко хлебца. Потому что знал про Феофана, что он как дикий зверь, что его можно приманить хлебцем. Направился по косым линиям к Засеке (если б за мной следить стали), трижды я таким образом весь Гогулев обошел. А потом и пошел. Лес под Гогулевом выходит клином, потом расширяется бесконечно, а мы, гогулятники, как бы на тычке.

Цельных три часа шел я полнейшим ходом по грязям да по кочкам. Стало светать. Птицы какие-то посвистали. Холодало слишком. Заморозком вдарило, идти было легко. Лес объявился мне местами красный, а местами унылый догола. Тут я и сообразил, какую меня чушь сделать угораздило: разве в лесу иголку сыщешь?

Огорченный внезапным таким соображением, я пошел дальше вдоль опушки. В голове моей полыхало, а небо серело над голой землей, как небеленый холст. Пройдя шагов сто, сук треснул. Подняв голову, вижу: на березе сидит огромный, черный, рваный мужик. Я даже испугался. «Ты что? — спрашиваю. — Ты не ворон, — говорю, — на березе-то сидеть!» Он же мне пропел хриплым петухом. Я сразу понял, что это и есть Феофан. «Здравствуй, Феофан!» — прокричал я ему слабо и по земельку поклонился вдруг. Хотя и очень смущала меня такая несообразность, что человек — и на дереве сидит. Он мне опять дал петуха. Так меня в этом месте и бросило в холод, однако спрашиваю: «Хлебца вот, Феофан, не хочешь ли? Слазь, у меня хлебец вот есть черный!» Но он не спускался, а молчал, глядя в меня пустыми черными глазами. «Феофан... просвет где?» — закричал я ему, впадая в слезы. Он же тряхнулся сильно на суке всем телом, словно я каленым обухом его пихнул. Но молчал.

Тут ветер подул низовой, и лист, шурша, посыпался желтый. Потом и все деревья затрепетали, и отовсюду посыпалось. Оголилось все передо мною, и жалко мне себя самого стало. «Феофан, — закричал я опять, — которы же дороги правильны?..» И опять он задергался всем телом, а из рукава рубахи выглянул кусок веревки. Не то утка, не то дерево скрипнуло — звук. И, не понимая Феофанова молчанья, сажусь я на пенек, гляжу в землю и вот начинаю плакать. Не могу удержаться, льюсь слезами без ис-

тока. И сладки мне были горшие полыни глупые слезы мои по уходящей гогулевской старине!..

Так сидели мы почти что час цельный, не обмолвясь и словечком. Я растекался, а Феофан глядел с березы в небо, серое, конца-края нет, зимнее, и ворчал, как пес, изгоняемый отовсюду. И он пригибался и как бы сук грыз, на котором сидел.

Вдруг стало мне и жутко и холодно... Я встал и пошел прочь, не оборачиваясь. Тут мне вдогон колоколом трескучим закричал Феофан: «Пришитая борода грядет!.. грядет...» Я оглянулся в страхе и увидел Феофана. Сойдя с березы, он стоял на пеньке. Ветер бил по нему скоса и с маху, колтуны на Феофановой голове встали по ветру, как сучья. Казалось, что не было у него глаз, а просто в двух темнотах кипит и вертится сама душа, не находя пути. Он махал руками, как заправская ветрянка, и, оскалив зубы, глядел на тучу, бежавшую над головой. Она, то есть туча, и действительно была похожа на бороду без никакого лица.

Тогда взорвался я слезами. Не знаю — уходить, не знаю — оставаться. Он же кричал: «Уходи... уходи...» Не поняв, мне стало нехорошо. Я помчался очень шибко, уже не озираясь. Очнувшись же, застал я себя сидящим на сундучке и прилаживающим петельку. Тут и сломалось. Я огляделся и сунул петлю в огонь, чтоб сгорела.

...Феофана так и не поймали, хотя обшарили окрест каждый кусок — камешек в поле подымали и заглядывали: не сидит ли. В конце же ноября прошлого года видал я сызнова Феофана, во сне. Распухший и черный, волосья по соломине, сидит он на кочке и кричит невыразимым криком. Слов я не помню, да и не интересно. Так как, прикоснувшись к течению цивилизации, это я отлично понимаю, что сны есть не что иное, кроме как отражение на пустоте.

День 16 марта 1920 г.

Я сижу у окна на своей голубятне. На душе спокойно и холодно. Впереди меня стоит дом, окна разбиты в нем, а из окон несется бурно ко мне ихняя музыка.

Вертятся в голове моей стишки:

Прощай же, гогулевская сторонка!
Сижу па голубятне, у окна.
Гляжу и вижу: зелень, жеребенка,
А над Гогулевом небо синее без дна.

Вчера Бибин спрашивал меня: «Что это ты, Андрей Петрович, в архаровца перерядился? Уж не собираешься ли Гогулев поджечь, чтоб золушка одна осталась, а ее ветерком?..» Ведь этакое, милый человек, сгородит. Весна идет, а вот скворцы все еще не прилетали. Может, и боятся скворцы, как бы не съели их в Гогулеве. Эх, Михайло Иваныч, ждет душа скворцов на Благовещенье, а дождется ли — кому весть?

1923

БАРСУКИ

РОМАН

Жили-были
Два брата родные.
Одна мать их вспоила,
Равным счастьем наделила:
Одного-то богатством,
А другого нищетой!

(Слепцы поют)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Егор Иваныч Брыкин женихаться едет

Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем — Егор Брыкин, званьем — торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенье либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки... Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки, — великими делами отметит себя Егорка на земле.

А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным желобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на разращенье его тоски пошла. Тут както, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудив с городским своим приятелем Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой жениться ехать.

Назаровскую, с лихими бубенцами, нанял он со станции тройку, — четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в Суский не ночевать, сел пошире да поскладней

на все сорок четыре скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику речисто и степенно:

— Правь.

Дернул коренник, свистнула по пристяжке вожжа. Трескуче защебетали железные шины по крупному щебню станционного шоссе. Потом свернули в сторону, смягчилась дорога высокой топкой пылью. Куриные домики станционной мелюзги сменились тяжкими ржаными полями. А вокруг двинулись, уплывая назад, старознакомые виды Егоровой стороны.

Плыли мимо глухие овраги, сохраняющие к далекой осени влажный холодок, и рощичка крохотная, о семнадцати березках, стоящих на отлете под пылью и ветром, плыла. Проплывало ленивое и чинное, как ржаной ломоть, все насквозь соломенное Бедряга-село, и полянка резвая убегала, на которой, в гостях у бедрягинского дядьки, игрывал в лапту с ребятами Егорка.

Заяц проскакивал на опушках, и воробьи взлетали со свистом крыл. Старенький попик в заплатанной ряске проползал мимо, кланяясь и сторонясь ко ржи. Бабку обгоняли, бредущую к ровеснице за семь верст — навестить, новости выведать, хлебца откушать, — не погорчал ли у подружки хлеб. И над ними над всеми буйным облаком взвивалась от Егорова поезда густая дорожная пыль.

Любо стало Егору Брыкину озирать с высокого тарантасного сиденья все эти когда-то пешком пройденные, полузабытые места. Вишь — и небушко, милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной ржаной пыльцы. И теленочек, рябенький голубок, у загороды привязан стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к закатной черте. И впрямь отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обвевать!

Взыграла Егорова душа.

— Как, не зажинали еще по волостям? Не слышно?

— Куда ж еще зажинать! — смеется беззлобно ямщик. — Ведь рожь — она как? Она две недели выметывается, да две цветет, да две наливает... а тут она, глянь, еще и не побелела! Вот Гусаки, сказывано, уж и серпы зубрят, — не оборачиваясь, в бороду гудит ямщик.

— Зубря-ат! — степенным гневом вспыхивает Егор. — Ровно татаре аль цыгане там твои Гусаки! И в самый светлый день-крути, Махметка!..

Вожжи вскидываются на потные лошадиные спины. И опять одолевает неустанная назаровская тройка тягучие, ленивые версты. День переменяется на вечер. Холодеют дали кругом. В тонкий пыли посерели лакированные жениховские сапожки.

Приятным дремотным ручейком текут мечтанья сквозь Егорову голову. Как приедет, так и пойдет к Мите Барыкову в гости, с гармонью, на выселки. И как придет, так и сядут они, два, рядышком на крылечке, так и заиграют дружно на двух гармонях, вместо пустых разговоров — как жил, что пил, чем похваляться приехал. А потом, пооткинув гармонь за плечо, вытянет Егорка сапожки свои, Мите в зависть и раздражение, да и вытащит из кармашка ненароком серебряный свой, полных восемьдесят четыре пробы, с голой дамочкой на крышке, портсигар: «Не угодно ли папиросочку тонкого формата, Дмитрий Дорофеич? Табачок самый турецкий, четвертак коробка, в магазине куплено!..»

Замечтавшись, томно клонит голову на плечо Егорка. Сладко жениху предчувствовать собственной свадьбы угарную пьянь. Ох, Егорка, житье твое просторное! Вон сколько места предоставлено земной твоей славе!

— Только б папенька не помер. Всем делам подгадит, — вздыхает вслух Егор Иваныч и опять поникает головой.

— Чего-о?.. — равнодушно тянет ямщик.

— Много ль осталось, спрашиваю! — грубо кричит Егор и косится злым взглядом на морщинистую грязно-красную ямщиковую шею, и ежится, разбуженный от мечтаний, в своем люстриновом пиджачке.

— Да вот сам считай... От Бедряги до Рогозина пяток наберется, да две проехали. Да от Рогозина до Суский десять. Вот тебе и выходит...

А уж меркнет безветренное небо. В краю луга дотлевает за дальними лесами ласковая полоска зари. Подорожные кусты стоят ровно и кругло. Приходит в тот край большой покой трудового сна.

Вдруг стала тройка. Скинулся с козел, вглядывается в сумерки кустов ямщик. Потом, на ходу разминая затек-

шие ноги, идет неспешно к тем кустам. А мать Егора догадливым родила, — кричит Егор Иваныч:

— Ой, никак, ваше степенство, капустки с сыренькой водичкой обхлебались?

Тот будто и не слышит. С возрастающей тревогой подается из тарантаса Егор. Склоняется ямщик к кустам, даже и обрывки его речи не доходят до настороженных Егоровых ушей. Ямщик идет обратно, несет на руках мальца лет тринадцати, легко — точно липового. У мальца губы запеклись, как в болезни, лицо — цвета праха и пыли, а руки висят, словно и нет их, а рукава одни. Обессилевшее тело мальца покорно и гибко в коротких руках ямщика.

— Неужели клад отыскал? Чур, пополам! — трескуче хохочет Егор Иваныч.

— Пополам и придется, — слышит Егор в ответ. — Ну-ко, примости его направо да попридержи: как поедем... не выпал бы!

И, не дожидаясь Егорова согласья, впихивает ямщик найденыша к Егору на сиденье. Малец дрожит, бессильным стебельком клонится на возмущенного Егора.

— Эй, борода! — хорохорится тот и с негодованием отстраняет лакированный сапожок от грязного мальцова лаптя. — Ты меня, кажись, одного нанимался везти. Парень и так добежит. На парня у нас с тобой уговору не было.

Ямщик рывком трогает с места. Смолкает и Егор Иваныч, тронутый внезапным соображением: «Ой, медведя, Егорка, не серди! Места глухие, воровские, болотные. И сгниешь ты, Егорка, со всеми сундучками и турецким табачком в болотной дырке, бесславно и безвестно».

Тут предночной ветерок подул и колыхнул верхушку проползавшей ветлы. Золотое полотенчико померкающей зари порвалось в лиловые клочья. Пыль прилегла, и задымились росы. Неутомимые, на стежках застрекотали ночную песню кузнечные хоры. Опять бегут под колеса сажени и версты, еле успевает переступать по ним разгоряченными ногами коренник.

Село Суския! Маячит в сумерках белый толстый храм торгового села. Горят костры по низкому берегу Мочиловки, — светляки полусонному взгляду Егора Брыкина. Картуз нахлобучивает поглубже Егор Иваныч

и мальца прихватывает к себе, чтоб не слишком бился на ухабах. Опять в неглубокий омут жениховских мечтаний уходит Брыкин с головой.

Как приедет — спать. А с утра оделит Егор Иваныч сродников гостинцами, знакомцев поклонами, степенным щелчком зазевавшегося мальца. Потом, гармонь потуже подтянув к плечу, айдакнет Егор Иваныч к Митьке в гости. А уж к вечеру и повытомит он и статных девок, и крепких вдовух, и засохших вековух и сапогами, и гармонью, и тонкими, немужицкими разговорами, в которых что ни слово — ровно томпаковое кольцо: и блестит, и сердце голубит, и скинуть его с перста не жаль. А что ряб Егор Иваныч, как рогожка, так ведь лицо что? Лицо — что пол: было бы вымыто. Зато как отгуляет он холостые денечки, зашлет свахой Катерину Тимофеевну, попадью и ябеду, к Бабинцовым на двор. И наказа своего повелит не преступать: чтоб не сразу выкладывала Егоров помысел, а почванилась бы вволю, будто невеста с глуховатинкой, будто уж и перины в чулане подопрели, и шубы повылезли, ожидая зятя Григорию Бабинцову, Аннушке — мужа и хранителя. Катерина Тимофеевна в жизни знает толк: толста, и слова у нее круглые. Закуролесит всю волостную округу Брыкин. Все гармони на десять верст округ похрипнут от Егорова веселья. Ой, великое куриное пьянствие, ой, мирская смехота!

— Паренек-то родственничек тебе аль как? — ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.

— Своих не признаешь. Знать, дома давно не бывал? — кряхтит ямщик. — С коровами-то — слышал? — беда вышла.

— Ан и не слыхивал... Какая? У нас, говоришь, в Ворах, беда?

— Все бы нам подешевше, — раздумчиво укоряет ямщик, — а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?

— В пастухах который? Ну! — торопит Егор.

— Заспал на солнышке, по старости... а пастушата — ведь вон экие, их самих пасти впору — дудки резали. Коровы — восемь ли, девять ли голов — спустились на поемку...

— Ой! — пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.

— Вот те и ой. Спустились да веху и обожрались... Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский — Шебякин, что ль? — пузья прокалывать наезжал.

— Выходили? — волнуется Егор, ерзая по сиденью.

— Да не известны мы.

Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.

— ...парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли? — спросил он вдруг мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза. — Задичал! А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем...

Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова — месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не побаловаться. Да еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался...

И тут же в память идет: и их — Егорку, да покойного Алёшу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова — в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого веха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из веха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозвание было дадено: Егорка Тарары.

Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигается последний перелесок, за ним — Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.

— Да уж и то сказать! — рассудительно внушает Брыкин. — Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой текете, а завтра как хлобыснете по священному-то месту... Серость в вас!

— А сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил? — в первый раз оборачивается ямщик; из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.

— Ну-ну, уж не щерься... правь, правь! — рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село. — Ты знай свое дело, чеши бороду!..

Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.

— Э-э-к, вы... собачки зеленые! — с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.

Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.

Ночь.

II. Савелий пристроил ребяток

Превеликим загулом проводил Егор Брыкин холостые свои деньки. Еще и до свадьбы стал Егорка Егор Иванычем зваться, а как оженился, так и совсем возвеличился на всем миру Егор. Играли свадебку в новом доме, в сослужении родственников и свойственников, песенников и попов. Воистину куриная смехота: напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ломился от пляски пол.

А один из наезжих сродников, дикой, невиданный дядя, так балаболил в соседней волости об Егоровом величестве:

— Ой, дедуньки... Гармони пеяли, девки пеяли, попы пеяли. Хошь — кушай, хошь — слушай. А дом! Вот это дом, одна печь вдвое больше избы... Вот уж дом так дом! — и пьяными ногами расписывался в справедливости рассказа своего. Да и не один дядя только.

Погуляв же месяц-другой, собрался Брыкин в город. Правда, горяча и неустанна в любви, как и в пахоте, Аннушка Бабинцова, теперь законная Брыкина жена: и руки у нее мягкие и жадные, и губы сладки, как большая лесная ягода, — скуки с такой женой не ведать, какая длинная ни случись ночь. Но и ларь не ждал: каждый день — заметная убыль, каждый час — рубль. С молодой своей супругой совсем обносился и лицом и карманом

Егор Иваныч. И покуда собирался вернуться к своим крикливым будням, зазвал его к себе Савелий Рахлеев, поротый.

Яишенку смастерив и раздобывшись у соседа настойкой в долг, стал Савелий, руками махая, приклaниваясь и потчуя, рассуждать вслух о разном. Одно в его бестолковых рассужденьях ясно было — совсем его невозможность одолела.

— Да вот и с коровами-те какая провинность! Кто его знал, вех? Растет и растет, явственный факт. И никогда такого не случалось, чтоб на него скотина льстилась. В нем и соку-те, понимаешь, никакого нет, ни кровиночки... одно деревянное стволье! — Савелий в этом месте пошикал на жену, Анисью: — У-у, ровно метелка в углу стоишь. Присударкивай гостя-т, непоклонная!

Егор Иваныч сидел в красном углу, пыхтя от сознанья собственной славы и от тугого воротника. Временами, поддакивая и наморщивая небольшой лбишко, ковырял он ложкой яичницу, посапывал и молчал.

И опять разливался слезой да жалобой Савелий. В такие времена велика трудность в хозяйстве. Мальчонок — не баран, шерсти не настрижешь, а хлеба ест много. Хозяйство бедняет с каждым годом, двор падает, и боров прошлой осенью, ровно назло, сдох.

— Нищаю... А каб была у меня зацепка в городе, отдал бы я мальцов своих туда. Сыт, одет, и не думается. Глядишь, и набежит с каждого хоть по серебряному рублику за три месяца. Хлеба не едят, и то барыш! — жалобно прокричал Савелий и, в бессилье выпучив глаза, присел на лавку.

— Разве у нас там рубль — деньги? — пожал плечами и посклабился Егор Иваныч. — В Москве тыщи цельные по улицам бегают, а от рублей-то мозоли на руках вспухают. Конечное дело, сноровка нужна вовремя рублик попридержать. — Тут Егор Иваныч встал, отпихивая в сторону недогрызенный огурец. — Так вот: ты, Савелий Петрович, готовь подводу к завтрему. Беру мальцов твоих... И меня уж зараз отвезешь.

Проговорив так, поиграл плечиком Егор Иваныч, посмотрел на серебряные часы и вышел. В сенях тащил с колодца бадью с водой хромой Пашка, старший

Савельев. Ему дав одобрительного щелчка, произнес строго Егор Иваныч:

— Ну, хромка, сбирайся в город со мной. Просватали!

Шум поднялся в рахлеевской избе по уходе Брыкина. Мать кричала на отца, а тот отпихивался и отнекивался:

— Что-о? Это я-т, выходит, пьяница? Носоватов, князь, величественный человек, как я в Пажеском-те корпусе служил... «Пей, говорит, Савелий! Питье украшает жизнь, пей!» А я рази для украшенья? Рази тот человек пьяница, который от горя пьет?.. Да и ребят-те я с кровью, может, от сердца отрываю! Не-ет, это ты совсем неверно.

Тем и докончил Савелий, что допил единым духом остатки, мутневшие на донышке, и сбежал от Анисьи на весь вечер в разговоры по мужичкам.

...Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. В то серебряное утро уже стемна ждала у брыкинского крыльца Савельева подвода. Братья, Сенька и Пашка, сидели в телеге, укутанные в самое новое, какое нашлось у матери, тряпье, и пучились на отца. А отец, суетливый и маленький и уже не без пьянцы, все подхихикивал кому-то воображаемому и попрыгивал вокруг своего конька, смешного, усатого, жалкого, как он сам. Черные брыкинские окна тускло тлели красными и желтыми бликами скупой осенней зари.

Тут на крыльцо Егор Иваныч вышел, застегнутый на все пуговицы, заспанный и сердитый. Шея его была обвязана полосатым, толстенной шерсти шарфом — супругин дар. Сзади Брыкина, заплаканная, явилась сама Егорова молодайка.

— Ну, прощай, жена, — сурово сказал Брыкин и тут же не удержался, чтоб не щипнуть жену вдобавок к недавней утехе. — Жди гостинцев, Анна.

— Да хоть на народе-то не мни, мучитель! — отстранилась та. — Замял ты меня совсем.

— А что ж? Не убудет, а любо будет! — притворно засмеялся Брыкин. — Так, что ль, Савель Петрович?

Но Савелий только мигал, и рот его плыл униженной, поддакивающей улыбкой. Пашка угрюмо отвернулся и глядел куда-то в угол, где на выселках горел в

заре пестрою резьбою дом лавочника Сигнибедова. Сеня дремал.

— А что, Савель Петрович, — приступил к делу Брыкин, не выпуская из узкой ладони пухлой жениной руки, — меринко-то подгуляло твое! Уж больно брюхо-то у него отвисло, прямо по земле волочит. Не довезет четверых-то!

— Гэ-э, — затрепыхался в воробьином смехе Савелий, одергивая кушак и смехом же надувая щеки. — Скажешь ты, Егор Иваныч, плешь тебя возьми! Да рази ж в лошади брюхо важно? В хрестьянской лошади, гэ-э, зубы главное! Она зубами пищу принимает, жует, одним словом... Да ноги еще! А брюхо-то, уж извини, это никакого влияния не оказывает...

И он подтягивал узду, бегал всемеро больше, чем того требовала минута, не переставая распевать с пьяным благодушием:

— А зубы у него все целехоньки. У меня, посмотрикось... — он раскрывал темную дырку рта, — все растерял! А у него зубок к зубку, ровно у белки...

Уже садясь в подводу и кутая соломой зябнущие ноги, в последний раз поучал Брыкин жену:

— Не плачь тут попусту. Не мокри дома. И баба должна иметь свое соображение. Полушалок я тебе с первой оказией пошлю. Что обещано, то у меня тверже горы стоит.

— Да я не беспокоюсь, — всхлипнула молодайка. — По мне, хоть и совсем не присылай...

Егор Иваныч достал папиросу, затянулся. Потом деловито тронул Савелия пальцем в плечо:

— Трогай... К поезду надо поспеть.

— Поспеем! — беспричинно захохотал Савелий. Скрипнула на дорожной ямке ось. Еще раз, но громче, всхлипнула Аннушка:

— Полушалок-то с Барыковыми, как поедут, пошли...

Худящий, одряхлевший пес просунулся в плетень, потявкал для прилику. Потом избенки двинулись назад, а Савелий задергался от понуканий, требуя резвых рысей от престарелого Воронка.

Мимо дома проезжали, догнала их у колодца Анисья, мать. Задыхаясь от бега, сунула в колени ребятам две го-

рячих, с подгорелым творогом, лепешки и хотела говорить что-то, не имеющее явственных слов, а только одну боль материнскую расставанья... Тут вдарил Савелий всем кнутовищем вдоль Воронка, и взыграл тот кривыми ногами и обвисшим брюхом. Егор Иваныч сунулся носом в Савельеву спину, чертыхнулся, сломал папироску и погрозил Анисье кулаком. Что-то кричала еще Анисья, а впереди уже начинался лес. Поднимался там снежный парок. Еще пуще здесь, чем в открытом поле, зудило ноздри морозцем. В зимний убор обряжался умирающий лес.

На первой развилине пути — правая шла в Гусаки — выплюнул Егор Иваныч сломанную папироску.

— Бабы бабы и есть! — с досадой отрубил он. — Ну чего ей бегать, ровно бешеной? Ну-ко двинься, малец, не грязни сапога.

— А как же! — охотно откликнулся Савелий. — Вот ты даве меринка моего хаял. Я и говорю, у лошади, говорю, зубы главное. Она зубами пищу принимает. А брюхо — это никакого влияния...

— Ладно, ладно... на пень наедешь! — оборвал его Брыкин. Голые, предзимние леса бежали по сторонам. Шмыгали малые лесные лысинки, мертвенные от проиндевелой зелени. Прошагивали мимо широким шагом темные сосновые стволы. «...И вот переменилась жизнь ваша, Егор Иваныч. Давно ль в холостом виде по земле гулял, и никаких забот, кроме как родителям пятерку в месяц для благолепия дома и во исполнение христианской заповеди. Вот тоже и Аннушка! Девочка была — насмешкой и недобрым словом Егорку шпыняла: и ряб, и мал, и глаза заместо пуговок к штанам бы! Но и тогда Егорка Тарары на бойкую Анку зуб точил. Ах, погодите, Анна Григорьевна, все на свете совсем не окончательно. Почем знать, может, милей всех стану, может, и детеныча спородите от убогого, лупоглазого Егорки!»

...И вот стала Аннушка законной хозяйкой в брыкинском дому. Будет теперь в город к мужу покорные письма слать. Летом — полевые тяготы на Брыкиных; зимами — сидеть будет под оконцем, сиротливая да скучная, в непрестанной тревоге — не завел ли другую — ждать. И от любви московского магазинщика Егора Брыкина

заведется в дому тихонький мальчик. Ему будешь ты, Егор Иваныч, в письмах слать родительское благословение, а в приезды учить пониманию жизни, не снимая кожи, но внедряя покорство и ум. Ах, какие развлечения наполнят житейскую твою скуку, Егор Иваныч!

Страшились шевельнуться Савельевы ребятки, хоть и давил Пашке на ногу ящик с яблоками, а у Сени затекла нога. Боялся вынуть ногу из-под ящика Пашка, словно мог обидеться брыкинский ящик. Сеня дремал, склонясь на Пашкино плечо. Все чудился ему почему-то скворечник, что стоит, привязан к черемухе, перед домом. Во все последующие годы, когда думал о родном селе, скворечник этот, крохотный домок весны, первым вставал в Семёновой памяти.

Не знали братья, что не вернутся в село в прежнем своем виде. Не знали, какие ждут их в городе небывалости. Дома — в каждом деревенской колоколенке укрыться впору. Машины — пожирательницы угля, извергающие с дымом и грохотом вешь из себя. Люди — хлопотливое, толкотливое племя, спешащее надумать больше, чтоб туже людям же на земле стало жить. Не знали и потому не плакали.

III. Зарядье

В Мокром переулке — потому что у Москвы-реки у самой, — на углу Большого Щукина, желто-розовый дом стоит о четырех длинных ярусах. Давно — тому сто лет, и кирпичи и люди крупней были — сшит был каменный дом этот казенным покроем, без улыбки и тех, кто строил, и тех, кому жить в нем. Был он с теченьем времени заботливо прошиваем железными нитками балок и скреп, но все напрасно. Был и без того дом тот в дряхлости своей столетней крепок, как старый николаевский солдат.

Правым боком каменного своего тулова чуть всего Щукина не перегородил. Левым — подпирает тощую древнюю церквушку, осеняющую Мокрый: не дает ей упасть и рассыпаться в легкий ладанный пепелок. «Обопрись, мать, на мою каменную грудь. Крепкая, выдержит», — такое, кажется, говорит он, старый солдат,

притихшей старушке, напуганной гомоном возрастающей жизни.

Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесл: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины. Глухо и торжественно, как под водами большой реки. Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест. Тихо и снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь.

По второму ярусу каменного солдата протянулось синим пояском железное уведомление: помещаются тут трактир, постоялый двор и меблированные комнаты. Название всему заведению чохом — «Венеция», а принадлежит Секретову Петру.

Нетронутой, несуесловной стариной овеян секретовский дом. На обширном здесь проходном дворе рядами выстроились извозчичьи сани. Лошади фыркают и грызут овес. Теплый навоз дымится на снегу. Голубиные стаи, целые облака голубей, лениво вздымаются и снова оседают вокруг лошадиных кормух. Голубь здесь смирный, доверчивый, с руки берет. Голоса — гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят у внутренних складов двери, железные галерейки и стропила, переплетаясь, вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная паутина.

С фасада смотреть — пониже секретовского второе висит железное уведомление. На краях его золоченый крендель, синее казанское мыло, белая сахарная голова. «Бакалейная торговля Быхалова» — здесь теперь Савельевы ребятки. Помещение это сырое и темное, как в сапоге здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки, потому что весь дом на нижнем этаже как на сапогах стоит. Разделены сапоги длинными сквозными воротами: проходит в них ветер, едет извозчик, и обоим не тесно.

Глядят секретовские окна весело: «Слава те, не гробами торгуем!» Быхаловские окна исподлобья глядят.

Зимами, как ныне, уныло мерзнут на них уксусов мрачные бутылки и сухой горчицы скоробленные пачки. Летом мякнут от жары алые ломти арбуза, кучи перезрелых огурцов, горки румяных, как девки, яблок. Целые стаи устремляются тогда к ним жирных, ленивых мух и тощих зарядских ребят. Тогда и запах в Зарядье сменяется на арбузный...

А запахов здесь много, с них бы и нужно начинать. То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада — запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки, притулившейся Быхалову наискосок. То обдаст его, заметавшегося, как помоями из дудинского подвального окошка, а Дудин — скорняк.

А уже за углами сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше и не ходить.

Зарядская суетня — с рассвета. В семь, едва утро, вскакивает Сеня с дощатой койки и бежит отпирать. Холодно и дрожко, а сонные глаза еще трудней отмыкаются, чем тяжелые, забухшие инеем замки. Покуда бежит Пашка в трактир за кипятком для чая, сам Быхалов, Зосим Васильевич, выходит за дверь, на улицу, хрустящую под шагами редких прохожих. Он, обнажая лысину от стеганого ватного картуза, сурово крестится на три стороны, обступающие его бакалею. В одной стороне, направо, розовеет в заре старое золото кремлевских маковок. В другой — за проломом Китайских ворот — стоит неизвестного назначения глухой дом: тридцать восемь лет верится Быхалову — за этим домом восток. В третьей стороне пустует незастроенное место; стоял здесь дрянненький домишко, да подсох в жару, да подмок в осень, да мышки его подгрызли, да из трубы однажды залило, — остатки пожар догрыз. Виден здесь спокойному оку Быхалова огромный клок зимнего неба.

Из тесноты и житейской маеты любо глядеть зарядцу в хрусткое зимнее небо декабря. В нем синие и розовые ленты, словно в брыкинской галантерее, бегут и ширятся слепительными дугами. Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги...

А в переулке синё от снега и пара. Домики в нем, как курносенькие ребята, как пропылившиеся, ветхие старички, как пузатые купчики с ярлыками вывесок, — который чем богат.

...Чинно и молча, вприкуску, пьют густой и вязкий, обжигающий чай. Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел... А тут народ начинает приходить.

Мальчик от сапожника, худой и тоненький, прибегает, смерзшими ногами выбивая дробь. Ему — «рубца на пятачок, за две — огурец, да горчички, да семитку сдачи». Извозчик входит, синей тушой вгоняя холод в лавку.

— У-ух-те, Зосим Васильевич! Пеклеваннички есть? Дудин Ермолай, скорняк, седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем просовывается сюда же.

— Эх, дозволь, дядя Зосим, рассольцу хлебнуть!..

— Чуть свет, а ты уж похмеляться. Эх ты, козырь! Ты б лучше орехи грыз! — гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мохом, обросшую кадь. — И право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.

— Их-х вы какой! — приниженно сипит Дудин, прыгает и хлопает опорками. — Не пить, так это бунт даже против государства... для нас и устроено! — Звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол. — И потом, как это вы сказали? Оре-хи? — Нездоровый дудинский смех разом наполняет всю лавку. — Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него засаривать, а пользы-действия, извините, никакой.

— Ну и козырь! — благодушно дивится Быхалов. — Ты шкурок-то моих смотри не пропей.

Все в лавке начинают подхихикивать. Карасьев, быхаловский молодец, каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, изрядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль, и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.

— Ну, зачем пропивать, — смешно вертится Дудин. — Мы у хороших людей не возьмем. А орехом ты меня не

потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, орехи-то грызть?! Эхе-кхе...

Опять хлопает дверь. Новые приходят люди, новые приносят слова. Катушин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко вразумляет по уходе Дудина:

— Да и как, посудите, не выпить ремесленному человеку! Сынка третьевось схоронил. Вот и проклаждается на радостях, что ослобонился.

Развешивая соль, в тон Катушину, рассуждает ярославец Карасьев:

— У него уж больно дух немыслимый. Всю улицу вонью запрудил. Пройти мимо фортки — очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По-моему, так даже воспретить бы таким!..

Дверь настежь. Пар клубится с пола и на сторону гнетет Николино пламя. Кацавейки влезают и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чиновного умника и купеческой родственницы пудовая шубища-дипломат. Шелестит ссыпаемое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, худеют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тесно. Небыстрыми ручейками течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики московских Никол, пятаки...

В ту пору и само солнце в морозной дымке над Зарядьем — медный, морозом обожженный докрасна пятак.

IV. У Катушина

Всех приходящих лукаво и нелукаво, и слепых и зрячих, и уродов и умников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по буести их.

Робким, задумчивым мальчонком пришел сюда из деревни Катушин, дерзающим и неспокойным — Ермолай Дудин, лукавым и тихим — Петр Секретов. На них, на троих, глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними где-то поместит жизнь и его самого. Все трое

были совсем разные, — это город нашел в них разницу и подразделил их.

Тринадцатилетним, как и Сеню, привела нужда Стёпушку Катушина в Зарядье. И Зарядье в лице шапошника Ралунова Стёпушку не отринуло, а приняло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб спал... И сказало Зарядье Катушину: «Будь шапошником, Степан». И с тех пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой, нестареющей рукой простегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и пробегал всю жизнь чуть ли не в той же самой ушанке, в которой выбросила его деревня.

Он напоминал собою горошинку, — тоже и глаза его, улыбчато бегающие поверх разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного каменного оконца на нетеплые светы предутреннего городского неба, на черные облачные тени, приглушающие день. Кажется, он и не изменился нисколько, только глаза слезиться стали да колени отказываются держать. Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек счастьица, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.

За всю жизнь только и нажито было Катушиным добра: зеленоватый сундучок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье, еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый, еще заново подшитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, обиходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей, миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль катушинской жизни в рублях.

В корзинке другое хранилось. Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обертках с пятнами чужих, незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч, а вокруг него ютились остальные неизвестные певцы про-

стонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собственные катушинские стишки.

Проходили внизу богатые похороны — видел Степан Леонтьич, откладывал шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода... Май стучал в стекла первым дождем — пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют... а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он в стишках своих хоть раз? Он-то и приютил Сеню в своем добром и тесном сердце.

Вечером, как отужинает, мчался Сеня вверх по лестницам, на высокий, подчердачный катушинский этаж, близко к зимнему небу. Сеню обучал Катушин грамоте. Вряд ли бывало у Катушина за всю жизнь большее оживление, чем в тот вечер, когда написал Сеня первые четыре неграмотных слова. То хлопал он себя по заштопанным коленкам, то разглаживал трясущейся рукой твердую пакетную бумагу, то подносил ее к свету.

Сеня сидел тогда у окна, а за окнами затихало Зарядье и перемигивалась огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого возбуждения бежали по его спине, и в скрипе оторванной железки за окном чудился ему неясный и властный зов.

— Книжки теперь бери у меня, — сказал в тот вечер Катушин. — У меня книжки тоненькие, хорошие... Я толстых не читаю, голова от них разламывается. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь. Банька — слабость жизни моей.

Здесь встречал Сеня и Дудина, верного катушинского друга, но столь отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.

Пашка нелюдимым рос. У Быхалова он был на побегушках. Пашка, хромой, широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими не овладел.

— Ты уж больно карточкой-то не вышел. Весь народ мне разгонишь, — сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая для нравоучительности легкий подзатыльник. — Ты мне товар вози. Хром? Так ведь дело неспешное. Съездил раз в день, и то прибыль.

Пашке с детства жить было больно и мучительно. Пашка многое, невидное другому, видел, и потому детство казалось ему глупой нарочной обидой. Когда случилась коровья беда и односельчане били Пашку, половинку человека, Пашка молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду. Он и на мир глядел не просто — птичка летит, а облачко плывет, а береза цветет, — а так, как отражены были все эти благости в темном озере его невыплаканных, не показанных миру слез. Пашка на мир глядел исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему.

Коровья беда докончила ковку человека в Пашке. Без детства, без обычных шалостей Пашка вступил в жизнь. А жизнь поджидала его не медовым пирожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые валенки, впрягался в санки и так, хромой и хмурый, возил по городу быхаловскую кладь, без разбора времени, по мостовой и сугробам, в дождь и снег, лошадиным обычаем.

...Зевал Пашка, сидя у Катушина. В этот день прибавилась еще одна обида к вороху прежних. Карасьев, в припадке игры воображения, посылал его в аптеку купить на пятачок дёру и на гривенник дыму. Пашка не знал, бывают ли подобные товары, а аптекари злы... И до сих пор еще стыдом и болью горели Пашкины уши.

Рассказывал об этом Сеня торопливым, прерывающимся голосом, чуть не плача за брата. Дудин слушал, ерзая и поминутно кашляя, Катушин — с грустью глядя в пол.

— ...главное дело, Иван-то уж и забыл, что послал Пашку. По мне, так я бы... — У него задрожали губы, и руки быстрей затеребили тонкий коломенковый поясок.

— А ты мягчи сердце, не копи обид. Поплачь, если плачется... — заговорил Катушин, ширкая ногтем по лавке, на которой сидел. — Человеку, если помнить про каждый день, сгореть от напрасной злобы.

— Вот я и горю, — резко вставил Дудин и засмеялся.

— И горишь... и сгоришь! Сосчитана твоя сила, Ермолаша, — ласково отвечал Катушин. — Неустроенно ведешь жизнь, смиренья не приобрел, буянишь попусту... — вычитывал Катушин.

— Смиренья?.. — строго спросил Дудин. — Куда же мне больше смиряться, Стёпушка! В трубочку свернуться, что ли?

— Ищи свое в жизни... Запись помни! — указал Катушин.

— Это какую запись, Степан Леонтьич? — шумно вздохнул Сеня.

— А сто восьмого псалма запись, — уверенно и быстро сказал Катушин. — За слезы да за неоплатные долги сто восьмой-то сторожем стоит, — и он мелко-мелко похлопал себя по коленке. — На полях у сто восьмого и ведется запись. Каждому жучку, а своя буква. И люди стираются, и книги стираются, города тают дымком, а запись нерушимо стоит, как стена! Ты в запись верь, Ермолаша, коли не во что уж...

Теперь Катушин, не моргая, глядел в газовую, накаленную добела сетку, словно в слепительном свете ее и развернут был тот свиток со всякими земными печалями и жалобами.

— Ангел, что ль, у тебя заместо писаря? — съязвил Дудин и кашлял с таким звуком, точно раздирали крепкую ткань.

— Ты бурен, Ермолаша, а я тих. Ты оставь мне жить по-моему. Перхаешь, а нет того, чтоб смириться... Все ищешь чего-то! Нетерянного не найдешь.

Дудин помолчал, но только для того, чтоб с большей силой выговорить.

— Вот и я таким же пришел, как они, — зашептал он с болезненной страстностью. — Не хочу, чтоб и они жизнь свою без жизни прожили. Я для них, Стёпушка, ищу...

— Чудной ты... летучий какой-то. Всегда как бы за ребенка тебя почитаю, — засмеялся дудинской горячности Катушин. — А ты, паренек, — обратился он к Пашке, — ты молчи. Вырастешь — сам всему цену узнаешь. Ищи, где тут основа. Нонешнего моего хозяина-то папаша, Гаврила Андреич, царство небесное, — продолжал он, понизив голос, — так он раз меня с лестницы спихнул... Я тогда и сломал себе мизинчик, упамши. А койки наши рядком стояли. Ночью-то спит он, а я сижу вот этак-то с колодкой, с деревянной болвашкой, да и думаю: чему на

свете больше цена — мизинчику моему либо жизни его. Все толкал меня враг в головешку ему стукнуть...

В этом месте Пашка поднялся с табуретки.

— Я спать пойду, — внезапно сказал он и зевнул.

— А и ступай, паренек... Я тебя не держу, привязу тебе нету, — услужливо кинул Катушин и продолжал после Пашкина ухода: — Всю ночь вот и продумал этак-то. Нашел основу — уж светало в окнах. Жена-то его, вишь, с приказчиком связалась, а у приказчика-то язва во рту была...

— Какая язва? — испугался Сеня.

— Ступай и ты спать, милый друг, — как бы просыпаясь от сна, отвел Сеню в сторону Катушин. — А книжечку ты еще раз в бумажку оберни... да на мокрое-то не клади, завянет. Ну, покрой тебя господь! Деревянен братец твой, деревянен... мозги у него прямые какие-то.

Дудин, сосредоточенно бормоча себе под нос, вышел вместе с Сеней. Не обменявшись ни словом, они сошли вниз. Уже в воротах, под тусклым фонарем постоялого двора, Дудин внезапно схватил Сеню за руку.

— В святые Стёпушка лезет... А ты ему не поддавайся! — убежденно зашептал он, тиская в кулаке седую бороденку. — Не должен человек терпеть. Терпенье человеку в насмешку дадено. Воюй, не поддавайся! Человек солдатом родится, на то и зубы даны...

Над головами их мигал желтый фонарь постоялого двора. Шел легкий снежок. Волчки вихрей бесшумно рыскали по уголкам. Сене было холодно в одной рубашке. Лицо Дудина, сведенное в точку бессильной настойчивости, совсем напугало его. Он вырвался из его руки и побежал по снегу.

— Остановись, мальчик... остановись! — умоляюще кричал ему вслед Дудин и шел по Сениным следам.

— Дяденька, ты пьяный! — так же умоляюще защищался Сеня, стуча изо всех сил в запертую дверь быхаловского черного хода.

Оглянувшись из двери, еще раз увидел Сеня в синих, неуверенных сумерках двора длинную фигуру Дудина; он стоял один посреди двора и кашлял, весь сосредоточившись на чем-то невидимом для Сени. Кашель Ермолая Дудина походил на ночной лай большой дворовой собаки.

V. Именины Зосима Быхалова

Апрель был — месяц буйных ручьев и первых цветений, но некому было в Зарядье, кроме черноголовых грачей да великопостных колоколов, кричать о том, что, нежная и робкая, приходит в город весна.

Зосим Васильевич, именинник, видел, возвращаясь от заутрени: на древних кремлевских стенах прозеленели ползучие мхи, а снег в углах протаял дырьями, а лед на реке набух и посинел, готовясь уползать от возрастающей теплыни. Скоро, не сегодня-завтра, вскроются реки по всей стране, и солнце взметнется в голубые высоты лета, пыль понесется вдоль московских улиц, подорожает картофель.

Сделало Зарядье Быхалова человеком непоколебимых смыслов, — в вещь глядел сурово, скукой и тоской не болел, не удивлялся ничему. Но тут захватило ноги предательской слабостью, сжалось сердце непривычно и мучительно, загудело в ушах. Закружила Зосима Васильевича весна.

День мокрый стоял, ветер брызгался влагой с реки. Воздух гудел многими тысячами убыстренных дыханий. Но разгадал Зосим Васильевич, что тревожна звонкость ветра, поющего в столбах, голых деревьях, флюгерах, как ненадежна и всякая радость.

«Текут весны, проходят человеческие годы, и когда-нибудь, через тысячу весен, травки снова заспешат к солнцу, и звонким ветром обсушится первый смолистый листок. Останется от тебя, Зосим Быхалов, единая косточка. Будет ей и сыро, и скучно, и холодно в талой земле лежать. И если тысячная случится бурной — яблони в феврале процветут, а льды полопаются с новогодья, — разроет буреподобный ветер землю до самой кости и спросит ветер: “Чем ты, кость, прославлена? Лежишь — не радуешься”. И кость ему не ответит. Сиротливо будет останку твоему, Зосим Быхалов, в ту последнюю, тысячную...»

Всякое положение принимал со строгой рассудительностью Быхалов, печалясь мало. А тут заболело под сердцем, и захотелось зыкнуть, как на Пашку в лавке: «Остановись, весна!» Не остановилась: все вокруг спешило заполнять назначенные сроки.

Как будто утро было, но уже таилась в нем ночь. Остеклело небо, злился ветер, текла весна. Два ломовых, полубыки, били загнанную лошадь, напрягаясь докрасна, крича. Сани крепко пристыли к обнаженному камню. Коротконогий дворник, увенчанный медной бляхой, торопливо сколачивал с тротуара мягкий ледок, помогая весне. Женщина, спотыкаясь, тащила санки с узлами шитья, — зарядская швейка. Ее лицо огрубело и ожелтело оттого лишь, что проспешила всю жизнь.

Били часы на башне, вызванивалась конка на углу, ехали гурьбой извозчики, обнюхивались собаки.

У часовенки тощий бродяга с вербочками четверть часа уговаривал Матрёну Симанну, секретовскую приживалку:

— Убеждаю вас, тетенька, как истинный христианин... За неделю еще боле запушатся! Овечки, чистые овечки станут... — Голос у него был сиплый и злой.

— Не-ет, — покачивалась в толстой шали на ветру старуха. — Мы за пятак-то горбатимся-горбатимся... Скинь, скинь, касатик, для старушки. Я у тебя зато два пучка возьму...

— Так ведь тут дров одних на гривенник, грымза чертова! — кричал пустым, гулким брюхом парень, замахиваясь всей охапкой товара.

Зосим Васильевич шел мимо с омерзением. Придя домой, щелкнул Сеньку за недочищенный сапог, а дворника, пришедшего поздравить, выругал от всей полноты разгневанного сердца; на покупателя кричал.

Торговали в тот день до полудня, как в праздники, но только к закрытию набежал народ. Быхалов, несмотря на недомоганье, выпрямленный и торжественный, в чистом фартуке, тужился морщинистой шеей, щелкая на счетах, пробуя о мраморный осколок добротность приходящего серебра. Карасьев возился с сахаром и так успевал, как будто был четверорукий. Сеня размашисто работал хлебным ножом, когда дверь в лавку отворилась и вошел еще один.

Вошедший был человек не старый, но как бы изглоданный жестокой болезнью. Обтрепанное осеннее пальтецо, без пуговиц, с торчащей кое-где ватой, осело и приняло форму длинного, худого тела; особенно остро

выделялись плечи и карманы, набитые чем-то сверх меры. В левой руке повис тощий белый узелок.

— Чего прикажете? — сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.

— Это я, папаша... — тихо сказало подобие человека. — Сегодня в половине одиннадцатого выпустили...

Слышно было в тишине, как снова выскользнула и покатилась серебряная монетка.

— В комнату ступай. Сосчитаемся потом, — рывком бросил Быхалов и огляделся, соображая, много ли понято чужими из того, что произошло.

Как сквозь строй проходил через лавку быхаловский сын, сутулясь и запинаясь. Он еще не прошел совсем, зацепившись полой за лопнувший обруч бочки, когда услышал позади себя вопрос. Старик с опухшими глазами, в картузе, похожем на гнездо, спрашивал у Карасьева:

— Сынок, што ль, Зосиму-то Васильичу?

— Не сынок, а сынишше цельное, — поиграл статными плечами Карасьев. — Кончил курс своей науки, сдал экзамент в пастухи!.. — Он не договорил, остановленный злым хозяйским взглядом.

— Запирай! — кричит Быхалов.

Сеня гремит полдюжиной замков, бежит, пробует рукой и глазом, хорошо ли повисли на ставнях. Не успел Зосим Васильич поддевку снять, Карасьев, румяный соблазнитель, долу потупляя круглое играющее око, говорит ярославским напевом:

— Кушать подано, Зосим Васильич. Прикажите начинать...

— Не вертись ты, сатана, — шутливо огрызается хозяин; приход сына и смутные надежды на какую-то решительную перемену в нем делают свое дело. — Успеешь баб своих полапать. Ишь хохол-то зачесал!

— Для красоты-изящества, — отшаркивается Карасьев, поплевывая на ладошку и приглаживая поразительной кривизны кок на лбу. — Это мы, Зосим Васильич, чтоб девушки любили...

— Видал я девок твоих, — ворчит Быхалов, — худящие да мазаные. И не разберешь: живой человек аль труп. Выбрал, нечего сказать.

— Это ничего-с, — вертит плечом, в меру обижаясь, Карасьев. — Я и труп могу полюбить. Любовь из нутра идет, и человек не может знать, куда его сердце прилипнет.

— Балда! — объявляет ему Быхалов, покачивая головой к вящему карасьевскому удовольствию, и садится к столу. На нем замасленный пиджак, надетый поверх снежно-белой рубашки. Он все еще улыбается: в Карасьеве не без удовольствия узнает он молодого себя. — Пётр, есть иди!..

Притихший, с опущенными глазами, выходит из соседней каморки Пётр и садится на краешек табуретки.

— Лоб-то разучился крестить?.. — зорко косясь на сына, ворчит отец. — Запрещают, что ль, у вас там, в тюрьме?

Пётр молчит, как не слышит.

Карасьев с показным усердием машет себя истовым крестом.

— Ты, Петруша, не сердись... — кашляя, говорит отец. — Сам знаешь, за стойкой все стою... Тридцать восемь лет стою. К минуетам вашим не приучен!

Пётр тихо:

— Не надо, папаша. Устал я...

Миска постных щей быстро пустеет. Карасьев жадно набивает рот; румяные его щеки дуются тугими барабанами. Сеня ест робко. Пётр совсем не ест.

— Пашка где? — спрашивает Быхалов, так повышая голос, что Сеня роняет ложку. — Пошел вон из-за стола, если сидеть не умеешь! — резко приказывает Быхалов. — Иван, Пашку ты услал? Простужен он, напрасно ты его... Еще свалится где.

— Я его... — давится Карасьев и с видимым отчаянием глотает непрожеванный кусок, — ...его с утра за уксусной кислотой направил. Очень нужда-с!

На столе пшенная каша, обильно политая маслом. Карасьев первым ныряет ложкой в кашу, но останавливается на полпути ко рту, пуча глаза на хозяина.

— Ешь, ешь, — смеется Быхалов. Петру: — А ты? Аль брезгуешь? Аль тебе отцовская соль солоней острожной? — сухой, горький смешок.

— У меня катар, мне нельзя, — тихо говорит Пётр.

— Ката-ар?.. Хрбж... — фыркает в колени Карасьев, подобострастно взирая на хозяина.

— Эй, холуй! — зло одергивает Быхалов. — Губой-то по полу возишь, занозить не боишься?

Все молчат. Глаза Петра темнеют, как окна в сумерки. Сеня стоит поодаль, грустно глядя, как Карасьев дожирает кашу.

...Сеня моет посуду на подоконнике, широком, в толщину стены.

Обманная весна чертит окно тонкими царапинками мороза. И летом быстро темнеет у Быхалова, а зимами и совсем не бывает дня.

— Ну... рассказывай, — вздыхает Быхалов. — Мне-то про себя рассказывать нечего. Вот мать без тебя скувыркнулась. Ты б ей хоть письмецо написал из тюрьмы-то, она тебя жалела.

— Я знаю, — неясно вторит Пётр.

— То-то, знаешь. Плохо небось в тюрьме-то?

— Да как сказать?.. Неважно. Измотался весь, — глухо говорит Пётр. — В последние дни на рассветах все людей у нас увозили. — Сеня прислушивается и осторожней плещет кипятком. — Часов около трех придут, ключами зазвенят... — однообразно тянет Пётр, — уводят. А он и крикнет на всю тюрьму:

«Прощайте, товарищи!» Тут уж и начинается. Окна бьют, двери колотят... У нас, в Таганке, тюрьма была очень гулкая.

— Что ж, на выпуск, значит, увозили? — ворчливо спрашивает Быхалов-отец, соскабливая ногтем маслянистую корочку обеденной грязи со стола.

— Не на выпуск, папаша, а на повешенье, — спокойно говорит Пётр и повертывает голову к окну.

Сенино лицо строго и бледно, сразу осунулось. Проскакивает воспоминанье: там, в деревне, в Бабашихином лесу, молодые ребята суку вешали. Она долго царапала лапами воздух, воя и подгибаясь вверх. Сеня стоял тогда в стороне от общего веселья и лицом повторял все ее напрасные движения.

— У нас вот тоже собаку вешали... — робко начинает он, глотая обильную слюну.

— Хватит!! — Быхалов ударяет ладонью по столу, весь красный. — Эти побаски ты у меня в квартире оставь, тут тебе хвастаться нечем! Ты мать свою съел и меня съесть хочешь? А я не дамся... не дамся, братец!

— Да ведь я и не хвастаюсь, — горько усмехается Пётр, в какой-то страшной судороге разглаживая себе лицо. — Чем тут хвастаться?.. Разве только тем, что от расправы уцелел? Плохая радость!

— Сенька, заваривай чай! — кричит Быхалов. Заваривают густо. Шуршит в Петровых руках бумажка развертываемой карамельки. Маятник стучит. За окном какой-то шум; отпирает Сеня. В раскрытую дверь городовик проталкивает Пашку багровой ладонью в плечо. Пашкино лицо неподвижно и серо, и он особенно тяжко приседает на хромую ногу. Руки свои, перебинтованные в ладонях, тяжелые и белые, прячет Пашка за спиной.

— Паша, что с тобой? — испуганным полушепотом спрашивает Сеня брата.

— Руки обморозил вот... — отвечает холодно брат.

— Малец врет! — четко возглашает городовик. Часто вскидывая руку к овчинной тулье, он докладывает. — Вез малец две бутыли уксусной кислоты, вез и вез, под горку. А тут подвернулись похороны: зазевался. Сани опрокинулись на тумбу, а вслед упал и сам он, руками в разбитое стекло.

— И так испугался малец ваш, что хозяйское добро погибнет, что голыми руками, без варежек, как был, сунулся в уксусную лужу. Перелить, вишь, хотел хоть горстку в отбитое днище! — осклабился поощрительно городовик. — И только как увидел кровь на руках, тут и закричал.

Хозяин медленно пошел к Пашке, не сводя взгляда с вихра на его стриженой голове. А тот щурился и пятился к стене.

На полпути Быхалов остановился.

— Спать иди, — бросил он сквозь сжатые зубы. Потом Зосим Васильич снял пиджак и полез на свою высокую кровать; он вытянулся, наморщил лоб и вздохнул. И в будни не уставал так Зосим Васильич.

VI. Пашка Рахлеев уходит в жизнь

Быхаловские окна не раскрывались ни разу за все тридцать восемь лет. А как украли шубу у покойницы, вделал в окно железную плетенку Быхалов. Сквозь нее и тончайшей солнечной струйке было не пробраться, вору же ни вовек.

За таким надежным укрытием от солнечных ветерков обитали в плесенном кругу быхаловских стен многообразные запахи: каждому своя щель, свой час. Утрами струится по полу душный запашок сопревающего картофеля и острым холодком перебегает дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого ржаного хлеба. А досидит пришелец до вечера, поласкает ему нос внезапный и непонятный аромат из-под хозяйской кровати, — целая кипа там цветных дешевых мыл. К ночи все остальное вытесняет гниловатый привкус мокрой соли и отсыревших, крашенных масляной зеленью стен.

Огромная печь разгородила надвое темную быхаловскую щель. В правой половине притулилась приножьем к печке, спрятана за ситцевой занавеской, хозяйская кровать. У стены стол, над столом поясной Никола. Сумрачно смотрит он из-за обсиженного мухами стекла на чадную перед собой лампаду. Тридцать восемь лет назад моложе и веселей был: тогда еще не обманывали угодников керосиновыми смесями. А за киотом торчит высохшая вербочка. Облетели барашки, и уже не весенняя благостынька с веселой, шустрой речки, а розга розгой, недоумков стегать.

Правая половина — молодцовская. В сыром углу, у выхода в лавку, сбиты из старых ящиков коечки для Савельевых ребят. Легкие сны, приятные, не зарождаются в таких углах. Карасьев, зарядский красавец, помещается на полатях, где и теплей и благодатней. Сюда пробирались порой на сочное ярославское тело отощавшие на сухожильном Зосиме Васильиче клопы.

В стене, на которой Никола, проделана дырка-дверь, за нею — комнатушка-крохотка, комнатка-сундучок. Стоят такие сундучки под кроватями богаделенных старушек, открываются туго и поют в проржавелых петлях, по

погоде меняя голоса... А таят они в себе молевых червячков, неношеную бабью рухлядь и запахи: прелый — ткани, кислый — железа, горклый — мыла, просфорный — от пыльного божественного сора... Здесь, на сундуке, умерла Быхалова-мать.

Пётр пролежал с полчаса на высоком и твердом подобии кровати, тоскливо поглядывая на полку с недопитыми микстурами, на бескиотную троеручицу в паучином углу; потом поднялся и пошел к отцу. Тот не спал и, лежа на спине, глядел в потолок немигающими глазами.

— Папаша, — тихо сказал Пётр, — я поговорить хочу...

— Эх, да потом, потом! — чуть не хныча, зашевелился отец. — Жалости в вас нету. Сходи вот лучше в подвал, ребята туда убежали. Не наделали бы чего над собой...

— Это в картофельный?.. — покорно спросил Пётр, отходя от отца.

— Да. Спать зови.

Дверь не сразу выводила в подвал. Сперва — сенцы, налево — выход в лавку, направо — четыре темные ступеньки. По ним, знакомо-скользким, прощупывая темноту недоверчивой ногой, спустился Пётр. Последняя, подгнившая, треснула.

Пётр зажег спичку и толкнул низкую дверцу. Спичка потухла, из подвального мрака тянуло плотным теплым ветерком: картофель. Пётр вошел, дверца за ним запахнулась сама. Когда отворял дверь, откуда-то из глубины мрака послышался глухой всхлип. Теперь там стояло совершенное безмолвие.

— Ты кто? — как-то ломко прозвучал Сенин голос и прервался. — Это вот Пашка тебя звал!..

Пётр прислушался. Мрак молчал. Пётр переступил с ноги на ногу, хрустнула раздавленная картофелина.

— Брось, Сенька. Ну, хочешь, я картофелиной в него запущу, — сказала темнота простуженным Пашкиным голосом.

— Ну конечно! — с горячей убедительностью заспешил Пётр. — Что с вами, мальчики? Ведь этого же, что вы подумали, не существует на свете! Вам наговорили глупцы, которые сами ничего не знают. Ну, глядите. Видите, кто я? — Он вспомнил про спички, достал коробок и,

с огнем в вытянутой руке, сделал шаг вперед. — Я Пётр Зосимыч, ваш товарищ, Пётр. Я проведать вас пришел...

Спичка горела неровно, задыхаясь в подвальной духоте, тухла.

— Подсматривать пришел, не воруем ли...

— И совсем не подсматривать, — вспыхнул Пётр. — Зачем ты сказал неправду? Это нехорошо. Ты еще мальчик, я старше тебя.

— Хорош мальчик! Уж оброки за отца с матерью платим! — усмехнулся мрак. — В Сибири уж плодятся такие, сам твой отец говорил.

Петру вдруг стало очень неловко. Уйти было неуместно, молчать — слишком глупо, а говорить, стоя перед ними, сидящими, было всего трудней.

— Мой отец — грубый человек, я знаю, — неловко сознался Пётр. — Но меня-то вы ведь впервые видите. Почему же ты хочешь уколоть меня? Я такой же, как и вы... — Пётр хотел добавить «несчастный», но заменил «угнетенным», а когда нашел это слово, было уже поздно говорить. Пётр готов был заплакать в эту минуту от мучительного недоверия тех, ради кого он шел в тюрьму.

— Ну, хорошо, — спокойно и неумолимо сказал мрак. — Ну-ко, подвинься, Сенька. Откуда ж это ты узнал, что мы тут сидим?

— Отец сказал, — откровенно сознался Пётр.

— Ну вот! Ступай укради тогда у отца... — В голосе Пашки звучала насмешка.

— Что украсть?

— Да хоть часы укради... и принеси сюда. Вот и посмотрим дружбу твою!

— Я не понимаю, я совсем не понимаю тебя!.. — торопливо затвердил Пётр и еще шагнул вперед с вытянутыми руками. — Дайте-ка мне сесть рядом... и давайте поговорим.

— Садись, — тихо произнес Пашка; по движению воздуха Пётр понял, что Пашка встал. — Пойдем, Сенька! И реветь довольно, а то хозяйская картошка загниет...

Молча, стороной, мальчики пошли из подвала. Хлопнула дверь.

Пётр все стоял, оторопев от обиды. Потом он услышал ширкающий звук задвигаемого засова. Пётр кинул-

ся к дверце и сильно толкнул ее. Дверца, глухая к его удару, как толстая чужая спина, не отмыкалась. Скользя на раздавленных картофелинах, Пётр пошел в угол, где сидели мальчики. Там он нащупал полурассыпанный мешок картофеля и сел на него, закрыв лицо руками. Минуты через три он отвел руки, покачал головой и засмеялся.

А Пашку и в самом деле трепала простуда, еще в подвале мутилась голова; все чаще, с утра, накатывал на него бредовый полусон... Он прилег, и тотчас же сознание его потускнело: словно вылили из стаканчика и самый стаканчик разбили. Дыхание захрипело, точно в грудь поместили большие, свирепые часы. Виделось, будто стены раздвинулись, потом лениво покачались, потом пошли на Пашку, грозя смять.

...А вот уже и нет стен, а будто пойма. Сено косят бабы, и Пашке всего восемь лет. День ладный, жаркий; солнце висит над самым теменем. Небо сине до черноты. Восток грозит дождем. Рядами идут осоловелые бабы и бойкое, говорливое девьё. Ребятишки — и Пашка вместе с ними — рыщут по стежкам, выискивая ягоды.

Разморило солнцем Марфушку-дурочку. Рваный белый платок приспустив на румяные щеки, глаза сощуря, заходила с опушки Кривоносова бора, шла — как играла. Мерно выдавались плечо и грудь на взмахе, мерно вздыхали травы, поникая под острым косьем. Тут Пашка перед ней стоит и в траву смотрит.

Марфушка ему:

— Недоброй, отойди!

А Пашка и не слышит. Марфушке прозванье в Ворах — «Дубовый Язык». Опять:

— Уходит-т, я тебе тказала аль нет? Вот я тебя котой! Пашка и в те годы задорен был:

— А не подкосишь!

— Ан и подкоту!

— А ну, подкоси!..

Марфушка взмахнула косой и зубом скрипнула. Пашкин крик был необычен, словно лошадь вздумала закричать. Выглянула из-под платка Марфушка — и впрямь подкосила паренька: из ноги его, повыше бабки, красная ручьится кровь.

Лоскутьем рубахи перетягивали Пашке ногу, несли на рогожке домой. Сознание Пашкино померкло. Потом ночь. Избяная духота пахла телятами. Мухи бились в потолке. Возле сидел Сеня и совал в почернелый от муки Пашкин рот кислый квадратик карамельки. Все забыл Пашка, все съедает, как ржа железо, тупая человеческая боль.

— ...Пашка, вставай... — говорит тихо Сеня, кладя руку на Пашкин лоб.

Но Пашке тошно, Пашка молчит.

— Вставай же, сказано! — грубее приказывает Сеня и тычет перстом в увлажненный испариной Пашкин лоб.

Пашка сердится, глотает скудную слюну, открывает глаза.

Сеня — в жилетке и с бородой, глаза злые: Быхалов. Бреда Пашкина сразу как не бывало, только непокорно слипаются глаза, только руки словно на кусочки порублены, и каждый в отдельности горит.

— Успеешь, говорю, выспаться, — говорит ему Быхалов. — Петр где? Я его за вами посылал.

Пашкина память просыпается лениво. Пашка морщит лоб, рот его тогда открывается сам собой.

— В подвале он...

— В подва-але? — топырит губы Быхалов. Бровь у него бежит вверх недоуменным смешком. — Что ж ему там делать?

Старик берет с полки прокопченную семилинейную лампчонку и отворяет дверь в сенцы. Пашка слышит, как осторожно спускается хозяин по ступенькам, потом отодвигает засов подвальной двери.

— Пётр... Петруша!.. — кричит он в глубь подвала. — Ты здесь, а?

Пётр выходит из подвала, подслеповато щурится на коптилку, улыбается, молчит.

— Как попал сюда?.. — спрашивает отец. — Деньги, что ль, заперся выделывать? Кто тебя запер?

— Да я сам... нечаянно. — Смеющийся голос Петра особенно ненавистен Пашке.

— Не мог же ты снаружи запереться, чего ты мелешь?

— Наверно, мальчики подшутили, — сознается Пётр. — Особенно этот, старший. Ужасно недоверчивый народ, папаша! — И опять, слышно, Пётр смеется.

Быхалов-старик выжидающе молчит, потом сурово подымает голос:

— Ну а если бы он тебя по морде хватил... ты тоже смеяться бы стал?

Близкая к Пашке дверь скрипит: «Ага, каменная стена приближается!» Пашка сжимается в клубок и материной кофтой, в которой приехал, закутывает голову, темя. Снова вперемежку, раздирающей глаза каруселью, несутся: пойма, Марфушка с косой, кровь, рассыпанные ягоды. Звук шагов замолкает рядом.

— Что ты хочешь с ним делать? — слышен Пашке тревожный голос Петра.

Старик, не отвечая и сопя, ищет щелку в кофте. Мальчик глубже зарывается в тряпье, но рука Быхалова протискивается к самой голове и, приноровясь, хватает за ухо...

В то же мгновение Зосим Васильич вскрикивает, более от испуга, чем от боли. Он растерянно трясет рукой, а на конце мизинца повисает темная капелька крови.

Сам Пашка уже стоит ногами на койке, готовый броситься, прижавшись к стене. Его влажные зубы блестят в потемках. Лицо его смутно и серо, но румянец бьет дико, как осенний закат.

— А, вот как! — мычит Зосим Васильич, обсасывая прокушенный палец. — Ну, слезай. Стоять тебе там нечего... — Он идет к кровати, достает из-под подушки клеенчатый бумажник — в нем Пашкина метрика. Кстати обертывает палец в красный носовой платок. — Собирайсь! — решительно командует он.

— Куда, куда ты его гонишь? — умоляюще вступается Пётр, но Быхалову не до Петра.

Пошатываясь, Пашка набивает в линялую, застиранную до дыр наволочку свои убогие пожитки.

— Да ведь ночь же!.. — в отчаянии за Пашку говорит Пётр и делает неопределенное движение рукой, поясняющее, как темна и неприютна весенняя ночь.

— Не мешай, — властно говорит старик Быхалов. — Тут не игрушки тебе, тут жизнь! В жизни всегда ночь. Одновременно Пашка выступает вперед.

— Вы засуньте пачпорт-то в карман мне, — просит он сипло. — У меня руки не действуют... — и выставляется боком, где карман.

— Вот что, братец, — не сразу начинает Быхалов, но по губам Пашки бежит тонкая струйка насмешки, и тот как-то меркнет лицом. — Ведь ты, братец, этак-то и убивать возможешь. А в том, что поучить тебя хотел, особой обиды нет. И сам вот так же учен был. Чем больше, братец, по горбу бьют, тем больше горб и стоит... Причащался ведь я нынче, — прибавляет он через минуту совсем упавшим голосом.

— Прощенья проси! — заплетаясь языком от волнения, шепчет Пётр. — Мальчик, проси прощенья... и все кончено, ну?

— Сам проси, коли охота напала!

Мерно покачиваясь на хромую ногу, Пашка идет к двери. Узел свой он прижимает к груди как-то локтями. С порога оборачивается:

— Там за вами еще полтора рубля оставалось... Сеньке отдайте. Он к Катушину побежал...

— Постой, я тебе сразу выдам, — спешит Зосим Васильич, но Пашка уже ушел.

Дверь притворена неплотно. К ногам бежит морозный холодок. За окном полная ночь.

...Попозже, через час, Пётр заходит к отцу и садится в ногах. Тот лежит по-прежнему, одетый, немигающий. В головах у него как-то особенно намекающе и нравоучительно тикают часы.

— Пришел?.. — жестко спрашивает отец. — Ну, посиди, посиди у меня. Вот так мы и живем, Петруша. Варимся, и поблагодарить некому. Ишь проносились штиблетки-то твои, песок в них и то не удержится! — замечает он, глядя на свесившиеся худые и длинные ноги Петра. — Отнеси завтра к сапожнику, походи в моих пока.

— Папаша, — мягко прерывает его Пётр, обводя пальцем квадратики лоскутного отцовского одеяла, — я все сказать вам хотел, времени вот только не выходило... Меня не совсем еще выпустили. Через две недели второе дело в судебной палате будет слушаться...

— А-а, — холодно внимает отец. — Тянет тебя в тюрьму, Петруша. Жрать, что ли, тебе на свободе нечего?

— Мне-то есть что, — с мягкой настойчивостью отвечает Пётр. — Хотим, чтоб все, папаша, жрали...

Они сидят, не глядя друг на друга. Вдруг Петру кажется, что он сказал грубость. Длинноносое лицо его бледно краснеет.

— Папаша, я и позабыл вас с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!

— Нашел время, Емеля! — тоскующе усмехается отец и легонько толкает сына в плечо. В голосе быхаловском — и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра.

Петр уходит спать.

Еще через час — уже полный сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.

Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто — поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разные стороны...

VII. Девушка в гераневом окне

Каждому цвету свой черед, пришла пора и Сенина. Вот уж и Семёном стал звать Сеню Быхалов: с Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова — кольчиками; никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье.

У Сени глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него до краев налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел: скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая зарядская скудость.

За пять лет житья в бакалейных молодцах не устал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года все катушинские книжки перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Каждая из обтертых, скользких ступенек катушинской лестницы

имела свое обличье и место в Сениной памяти... Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.

Так случилось и в это воскресенье, после закрытия лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, широким снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу с обрезками сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пятне явилась белая Сенина рубашка, даже зажмурился Степан Леонтьич: уж не выносили света его слепнущие глаза.

— Чтой-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли...

— Книжку назад принес. — Улыбка Сенина широка и свободна.

— Всю прочел? — жмурился Катушин.

— Всю-то всю. Сочинение хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.

Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.

— Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь...

— ...спасет, — докончил за Катушина Сеня. — Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь. Я читал... — протянул Сеня. — Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман целого мира. Только, по-моему, все это враки. — И со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.

— Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду? — хитровато посмеивается Катушин. — И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге...

Уже через три минуты от катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминания. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.

— ...Очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить, — сутулясь еще больше, рассказывает Катушин. — Меня тогда дьячок и приютил один, из соседнего села. Я к нему

бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал: «Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!» А дьячок меня и учил... Вот как кончилось обученье, он и говорит мне напоследях, дьячок мой: «Ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плести, хочешь — обучу. А дальше уж ступай, как сам знаешь!»

Сеня смотрит в окно. Ветерок задувает к нему в лицо и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже — в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц. Сеня любит глядеть из катушинского окна: видно много.

Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Предвечернее солнце калило воздух, мягчило асфальт, как воск, оранжевой дымкой одевало пыльную московскую даль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семечки, скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому зарядцу отведено в празднике свое особое место. Дудину — в сыром подвале чокаться с бутылкой, Быхалову — умиляться над киевским патериком, сказаньями о святых подвижниках, Карасьеву — все гулять по переулочкам, перемигиваясь со встречными девушками.

На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вялого любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядье, потечет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста ли, и когда обмелеет — в чьих жизнях затеряется ее конец?

Внезапно услышал Сеня старческий всхлип позади и как бы шуршанье бумаги.

Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки.

— Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый? — кинулся к нему Сеня.

— Ничего... ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою... Дьячка своего вот вспомнил. — Катушин уже улы-

бался, и лицо его, разглаженное улыбкой, походило на последнюю страницу книги, обрызганную слезами. — Весь небось растворился в земельке, года немалые. Как обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну вот и я так же. — Выходило, что не Сеня утешал старика, а скорее старик примирял молодого с необходимостью смерти. — Не тревожься, паренек, будь крепенек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богаделенку меня не примут... Крови я не проливал, родины не спасал. А глаза-то, эвона, покоя хотят. Берешь иглу в руки, а и не видишь иглы-то... и нитки не вижу! Так, паренек милый, пустым местом по пустому и шью. Только вот рука не омма-нывает...

Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий потолок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами ноготок мизинца, как провинившийся мальчик, разбивший то, что дарят человеку однажды в жизни.

Жара за окном сменялась прохладой, предвещающе подуло влагой с реки. День закатывался куда-то за дома, дышавшие душной каменной истомой. Пьяный голос где-то внизу затянул песню, оборвался на высокой точке и умолк. На смену ему из раскрытого окна секретовского трактира запел трубным голосом орган. Задумавшись, Сеня неподвижно глядел в окно.

— ...Все картузы да картузы, а ведь она-то не ждет! Пожалуйте, скажет, мыться да на стол!.. — слышал Сеня совсем издалека.

В двухэтажном доме напротив, в теневой стороне, открылось окно. В ветерке заколыхались кисейные занавески; за ними пылали на подоконнике пушистые ярко-красные герани и жирные бальзамины. Потом в окне явилась женщина или девушка, — было Сене не разглядеть.

Она поправила передничек, оперлась локотком о подоконник и, поглядев вниз, зевнула. Что-то привлекло ее внимание на крыше; раздвинув цветочные горшки, она высунулась из окна.

— Да улетайте же вы, улетайте... — закричала она, беспомощно хлопая в ладоши; вслед за тем она увидела Сеню в окне. — Там кот на голубей охотится, спугните его! Да скорей же, неповоротливый какой...

Она была такая праздничная, зовущая — в нарядном гераневом окне.

— Сейчас мы его уважим, — отвечал Сеня через улицу и успокоительно махнул рукой. — Только не уходи, побудь там еще немножко!

Не дослушав Катушина, он метнулся в дверь и скоро через разбитое чердачное окно вымахнул на крышу, громыхая по железу тяжелыми сапогами.

Опасенья, что уж поздно, оправдались: сытый белорыжий кот держал голубя в зубах, из разорванной шейки капала на раскаленную крышу кровь. В следующее мгновение он жалобно топырил лапы в сжатой Сениной руке... Но вот нога скользнула вниз, и одновременно девичий вскрик раздался в гераневом окне. Если бы не водосточный желоб, игра Сенина была бы проиграна... Покачиваясь, не выпуская добычи, он стоял на самом краю обрыва и силился овладеть пошатнувшимся сознанием...

Сперва он ощутил опасность и отодвинулся на полшага вверх по скату. Извернувшись, кот царапал ему руку, а девушка еще кричала что-то из гераневого окна, и Сеня с удивлением различал в ее голосе сердитые нотки. Все еще кружилась голова — не мог уловить причины ее гнева...

А та нетерпеливо барабанила ладонями по железному отливу подоконника.

— Да отпустите же его, вам говорят... Это наш кот! — И оборачиваясь к кому-то позади: — Матрёна Симанна, он его задушит. Господи, какие дурни бывают на земле!

Он стоял теперь на гребне крыши, держась за кирпичную кладку трубы, большой и смелый, в черно-голубом предгрозовом небе, и расстегнутая у ворота его рубашка оранжево горела в тягучем закатном свете. Едва понял и разжал пальцы, кот мгновенно исчез в чердачном проеме, а девушка все глядела на занятного паренька через улицу, качала головой и смеялась:

— Ну, чего вы сюда уставились! Не глядите на меня, слышите? Не велю...

Ее голос был низок, мягок, звучен: его можно было слушать век. Сеня улыбался ее гневу широко и восторженно; холодки, мурашки и льдинки струились у него по

спине. Крикни она ему — лети! — он без раздумья исполнил бы ее приказание. «Тонкая какая!» — удивился он и вдруг сам испугался за нее:

— Не вылазь, ладно, не вылазь... Переломишься! Старушечья рука захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.

Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. «Тонкая какая!» — повторил он вслух и еще раз посмеялся над необычайностью события. Ветерок задувал за ворот рубашки; Сеня поднял руку застегнуть и нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги: они были тяжелы и неуклюжи. «Бочки, а не сапоги. Капусту в таких осенью квасить, вот что!» — подумал он, вспомнил карасьевские сапожки, топкой кожи, лакированными бутылочками, и огорченно покачал головой...

И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева:

— Ты чего тут балбесничаешь? Пошел домой! — рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить потребность власти. — Чего народ внизу собираешь? Я вот задам тебе, неслуху!..

Но тут случилось нечто совершенно не предвиденное Карасьевым. Сеня засмеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:

— А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину...

— Вот и дурак! — обиделся Карасьев, не решаясь выбраться на крышу. — Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак-то? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!

— В поминанье пропиши! — крикнул ему Сеня вдогонку, но тот уже исчез с той же внезапностью, как и появился.

...Он долго сидел здесь. Чуть не весь город лежал распростертый внизу, как покоренный у ног победителя. Огромной лиловой дугой, прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широкое и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за темные

кремлевские башни, пики и купола... А снизу источались духота, жар, томящая, расслабляющая скука. Небо гасло, и все принимало лилово-синий отсвет тучи, наползавшей с востока. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал молниями иссушенный московский горизонт.

Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, только диким бронзовым румянцем пылали крест и купол Никиты-мученика, что на Вшивой горке. Дальше все размывала мгла.

Напрасно ждал своего питомца Катушин, приготовивший для него последнюю свою, самую сокровенную книжку. Сеня сидел вверху, как раз над ним, чутко впитывая в себя эту непомерную торжественность закатной Москвы. Сердце его стучало быстро, четко и властно; так несется в свою неизвестность, ударяя не кованными еще копытами, молодой жеребенок по гулкой ночной дороге.

VIII. Петр Секретов

У Карасьева план тонкий. И крепко сшитые зарядцы смертью не обижены: как кончится Быхалов, откажет он деньги сыну, если тот к тому времени до полной трухи по тюрьмам не догниет. А лавку — кому ее и оставить, как не Карасьеву, человеку непьющему и обходительному, знающему благодетелям почесть, делу оборот, деньгам счет. Переменит Карасьев вывеску, приоткроет мясное: денежка закопит денежку, рублик погонит рублик, и выйдет из того усидчивого карасьевского нажима под старость каменный домок. И шестерки в козыри выходят: примером тому Секретов Пётр.

Из дырявой полтинки Пётр Филиппыч повелся, а помнит бородатая зарядская мелкота, как пришел он вместе с Ермолашкой Дудиным из деревни, хитроватый, рыжий, изворотливый, гнилыми грушами да квасом с лотка торговать. С Дудиным Петька в решку игрывал и на кулачках дрался, к Катушину книжки ходил читать. Был лопоух, за что и прозвали его Лопухом.

Вдруг пропал Лопух. Где Лопух? Нет Лопуха... Но осенью однажды объявилась москательная в камен-

ной прорешке между двух домов, и вывеска утверждала безграмотно, что москательщик тут — Пётр Секретов. Лопуха в нем признали и свыклись. Стекло ли вставить, масла ли деревянного купить или рожу полюбовнику залить кислотой — шли непременно к Лопуху: у него товар свежий, с ручательством, и запросу нет.

Да раз пошла быхаловская молодайка замазки купить на зимнюю надобу, а москательни-то и нет. Досочками забита прореха, вывеска сорвана: ни товара, ни хозяина. Такая беда, пришлось брюхатой — Петром была покойница на сносях — на Москворецкую тащиться и у незнакомых покупать.

Безусые оженились, бородатых по кладбищам развезли. Слух прошел по Зарядью: желто-розовый дом Берги продают, им в гвардейском полку для поддержания чина и фамилии в деньгах нужда. Смекала голь: какого-то хозяина бог на шею посадит? Вдруг дудинская жена открыла во сне: дом Берги продали, а купил лопоухий барин, бесфамильный, неподслушанный. Дудин тогда же бабу побил, чтобы не суеверила попусту. А через неделю и приехал новый барин с женой. Пригляделись зарядцы — Лопух. Очень тогда Секретова невзлюбили, что помимо Зарядья, окольной статью в люди вышел. Впрочем, Секретов от их злобы ущерба себе не чувствовал.

Ловок был, а на дороге ему купец попался. Имелись у купца и лабазы, и мельницы, и мучные оптовки, а еще дочка Катеринка с глуповатинкой. Секретов к ней и лазил по пожарной лестнице в светелку, обаловал ее, молодую да глупую, небрежной, мимоходной лаской, а на четвертом месяце, как объявилась Катеринкина любовь, деловым, скромным образом предложил Пётр Секретов купцу честной свадебкой Катеринкин грех покрыть.

Купец только бороду почесал да усмехнулся:

— Я умен, а ты еще умней. Такими, как ты да я, вся Сибирь заселена. Бить Катьку не будешь? Прямо говори...

С той поры Секретов поважнел, кланяться перестал, люди ему — как грошики: только тогда им и счет, если в сотню сложатся. Отделал себе квартиру в доме против желто-розового владенья своего и по всем комнатам кнопки провел во избежанье вора.

... Как-то раз в двунадесятый, на безденежье, стало Дудину обидно на приятеля давнего детства. Оделся победней, в самые рваные сапоги, и пошел Петрушу, друга сердца, проведать. Пришел, встал в дверях, головенку набок, улыбается с горьким умиленьем на секретовское благолепие и покачивается, будто с пьянцой. А на самом деле был дико трезв, даже слишком для Ермолая Дудина.

Секретов за чайным столом ватрушку жевал. С одной стороны сидела беременная жена, а с другой — шурин Платон.

— Ты что ж образ-то подобие корчишь? — поднял глаза Секретов, облизывая творог с ватрушки. — Какая у тебя надобность?

— Ватрушечка-то небось вкусная? — погнулся Дудин в пояснице.

— На, — сказал Секретов и протянул облизанную.

— Ноне-то и пузцом обзавелись... а ведь я Петькой помню вас, Пётр Филиппыч, — льстиво забубнил Дудин, пряча ватрушку в карман и там разминая ее в крошки от злобы. — Как, бывало, в ребятишках мы с вами бегали; уж такой вы жулик были, смрадь, можно сказать, и не приведи бог! Я б и еще кое-что про вас сказал, да вон их стесняюсь, — и кивнул на Катерину Ивановну, пугливо замершую с непрожеванной ватрушкой во рту.

Петра Филиппыча в багровость кинуло. Не выходя из-за стола, потискал он кнопку под столом, вскочили в дверь дворники, взяли Дудина в охапку, унесли... Некому было Дудину жаловаться, а жена его, сама хирея день ото дня, замечать стала, что кашлять стал глуше и нудней Ермолай после того, как сходил в гости к другу давней юности.

...А Секретов в гору шел. В новокупленном дому зазвенела трактирная посуда и запел орган. Зарядье — место бойкое, в три быстрых ключа забилась в «Венеции» жизнь. Линии секретовской жизни были грубы, ясны и незатейны, как и на мозолистой руке. Все у него было правильно. Короткая его шея не давала вихляться и млеть головище, не то что у Дудина, длинношеего. Разум свой содержал в чистоте и опрятности, не засаривал его легковесным пустяком, подобно Катушину. Проветриваемая

смешком, не болела его душа ни тоской, ни жалостью, ни изнурительной любовью.

Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Ивановна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и хотя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина и слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Все же переползала от кровати к окну, из-за занавески наблюдая чужую жизнь, стыдясь самой себя.

Ее-то, так же как и Сеня Настю пятнадцать лет спустя, увидел Катушин из окна, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Ивановну, чужую, в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.

Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Ивановну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, венчаться ехала. Двигаться Катерина Ивановна уже не могла, и ухаживала за ней Матрёна Симанна, новоявленная тетка из Можайска. Толстая и ленивая, она и креститься помогала хозяйке малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону бормотание хозяйкиных губ, приходила на помощь и в остальном.

Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.

— Ты меня, Катерина, прости... за все гуртом прости! — сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.

Та лежала, неподвижная, страшная, белая.

— Слышь, жена, прощенья прошу, — повторил терпеливо он, кулаком ударяя себя в грудь, и вдруг завопил на всю квартиру: — Да что ж ты, как башня, лежишь... не ворочаешься? С той поры совсем махнул он рукой на Катерину. Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой воскресной рубахе, садился воз-

ле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда рассказывал слышанное и читанное или смешное что, не получая ответа, да и не нуждаясь в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.

Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:

— Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь. В другой раз осмелился сказать Секретову:

— Что ж ты ее, Пётр Филиппыч, просвирками-то моришь? Ты бы ей щец дал!..

IX. Настюша

Настюша росла девочкой крепенькой, смуглой, как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.

Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил.

Кукла была с фокусом, плакала и моргала. Недолговечны детские утехи: вечером распорола Настюша кукле животик, чтобы узнать секрет куклиной жизни. Там оказалась только пружина да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Чтобы скрыть преступленье, она подкинула останки куклы матери под кровать. Сора оттуда не выметали, чтоб не тревожить больную.

Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. «Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и в расчете, пожалуйста!» — таков был неписаный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали воли, глаза, времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были.

Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:

— Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растете-матереете?

— Ничего, папаня... матереем! — в тон ему пищала восьмилетняя Настасья Петровна.

Вопрос повторялся из праздника в праздник, из года в год... Настюше рано опротивел отцовский дом — грузные пироги с ливером, безмолвие комнат, громадная Матрена Симанна, жующая мятную лепешку для сокрытия винного запаха. Матери Настюша боялась, как страшного сна; когда, по воскресеньям, старуха приводила ее сюда, в тесную, всегда завешенную каморку, девочка робела, мучилась укорами совести, старалась не дышать мертвым запахом чужой болезни и пуще всего страшилась прикосновения белой, из-под одеяла, опухшей руки...

Потом, волнуясь и спеша, она надевала оборванную шубку, дырявый шерстяной платок, чтоб не бранили за порчу, и вихреподобно уносилась на улицу.

Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров, бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой; тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить... В городском училась — детскую мудрость срыву, по-мальчишески, брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их, и старит, и к земле гнетет речной весенний ветер. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело.

Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. Всю ту ночь, думая об этом бесцельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный ветер в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесно стало в весеннем небе облакам... Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег пошел, лужицы затянулись. Так впервые изведала Настя горечь всякой радости и грусть весны.

Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедни возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиму Быхалову от всей полноты души:

— Паренька твоего видал. Хороший, ласковый...

— Законоучитель очень его хвалил: ваш, говорит, сын перстом отмечен, — довольно пробурчал Быхалов.

— Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать, какие жеребьи выпадут... Вдруг да посватается? Негоже будет умному-то мужу да глупую жену! — задорил Пётр Филиппыч.

— Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели? — пощурился и Быхалов. — Только что ж ты ее ровно просвирню водишь? Бабочка славная растет.

— Бабочка славная... — повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.

Сделали новую шубку Настюше — здесь и кончилось детство: в новой не так вольготно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион.

В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати, без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.

— Ну, девка, — заговорил он, усаживая ее на колени, — смотри у меня.

— Я смотрю, — сказала Настюша и поджала губы.

— Да не егозой расти, а яблочком... Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?

— Да! — не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутылки, оставшиеся в углу от прошлого запоя.

— Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо, тем и кормимся...

— А у вас, папаня, — давясь смехом, спросила Настюша, — ухи большие тоже для божьих слов?.. — Она не выдержала и рассмеялась, точно целая связка колокольчиков раскатилась по полу. — Папаня, извините, у меня губы чешутся, — уходя, попросила Настя.

...Тем временем названый жених Настин вступал в университет. Часто, к вящему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волосатыми приятелями, худел и бледнел: не шли Петру впрок его усидчивые занятия. А среди белых пансионских стен, намекавших на девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, напротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря с купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ученицу. Какой-то защелканный многосемейный немец вслух переводил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих перед ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель танцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; казалось, что мать его так в танце и родила.

На четырнадцатом году тронула Настюшу корь. После выздоровления отец долго не пускал Настю в пансион; да тут еще негаданно просунулось шило из мешка. У знакомого зарядского купца дочка Катя, учившаяся вместе с Настей, пополнела от неизвестных причин; под неизвестными причинами был сокрыт от гневного родительского взгляда сам Евграф Жмакин. Пётр Филиппыч был так обрадован своевременным удалением Насти из пансиона, что даже забыл посмеяться над купеческим позором.

Оставлять Настю без образования Секретову было совестно перед друзьями. По совету шурина стал он подумывать о приглашении домашнего учителя. И тут как раз совпало: Пётр после первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение, проживал в Зарядье, у отца. Лучшего случая нанять учителя задешево, а вместе с тем и познакомиться с Петром Быхаловым поближе, если того и в самом деле угораздит посвататься, не представлялось. Пётр согласился, уроки начались почти тотчас же.

Учитель приходил с утра, с книгами и тетрадями под мышкой. И без того сильно сутулясь, теперь он еще вдобавок хмурился, чтоб внушить девочке уважение к особе учителя. Садился за стол, раскрывал книгу на заложенном месте, начинал с одного и того же:

— Ну-с, приступим. Итак...

И в тон ему, щуря глаза, — привычка, перенятая у Кати, — как эхо, вторила Настя:

— Приступим...

Она садилась на самый краешек, точно старалась скорее устать. Первые десять минут все шло чинно. В купеческой тишине слышались только громыханья сковородников и кухаркин голос. Положив локотки на стол, Настя подпирала руками голову и глядела прямо в рот Петру, забавляясь движениями вялого учительского рта.

Потом глаза ее подергивались тоненькой пленкой дремы. Она зевала в самых неожиданных местах, — однажды стала играть полуоторвавшейся пуговицей студенческой тужурки Петра, однажды просто запела. Честное пошевеливанье Петровых губ усыпляло Настю: запела, чтоб не уснуть.

— Слушайте, Пётр Зосимыч, — сказала однажды, — в который раз у вас вижу. Дырка у вас на локте, дырка, — указала Настя. — Давайте я вам зашью... А вы мне лучше потом доскажете.

— Это давняя, я к ней привык... Впрочем, зашейте, — согласился он, стаскивая с себя тесную тужурку.

Напевая, Настя отыскала в ворохе цветных обрезков подходящий лоскуток. Петр сидел молча и глядел на ее быстрые пальцы.

— Скажите, — вкрадчиво начала она, вдевая нитку в иголку — правда это, что вы каторжник?

— То есть как это каторжник? — опешил Пётр. — Что за пустяки! Кто это вам сказал? — И длинный нос его принял ярко-розовый оттенок.

— Вы уже убивали кого-нибудь? — тончайшим голоском спросила Настя, склоняясь над работой.

— А, вот вы про что! Нет, я за другое сидел... — сказал он тихо, косясь на растворенную в коридорчик дверь. Дверь Настиной комнаты, по настоянию Петра Филиппыча, была всегда раскрыта.

Настин взгляд был выспрашивающий и требовательный, и, повинуясь ему, Пётр тихо пояснил, за какие провинности вычеркивают людей из жизни, иногда на время, иногда навсегда. Похоже было, что он приглашал и Настю разделить с ним его судьбу. Настя спешила, доканчивая починку.

— Нате, надевайте, — сказала она, обкусывая нитку. Она встала и отошла к окну. Там падал осенний дождик. Вдруг плечики у Насти запрыгали.

— Что вы, Настя? — испугался Пётр.

— Знаете что?.. Знаете что? — задыхаясь от слез, объявила девочка, откидывая голову назад. — Так вы и знайте... Замуж я за вас не пойду! Вы лучше и не сватайтесь!

— Да почему же? — удивился Пётр.

— У вас нос длинный, и потом у вас с головы белая труха сыплется... — прокричала Настя и выбежала вон.

Весь тот день она просидела в кресле, сжавшись в комок. А вечером решительно вошла в отцовскую спальню. В ожидании ужина Пётр Филиппыч серебряным ключиком заводил часы.

— Я за твоего Петра Зосимыча не пойду. Так и знай! — твердо объявила она и встала боком к отцу. — Не хочу с ним в тюрьму, не хочу!

— Да ну-у?.. — захохотал Секретов, уставляясь руками в бока. — Вот баба... На чью-то неповинную головушку сядешь ты, такая!

Настя подошла ближе и вдруг, припав к груди отца, заплакала. От жилетки пахло обычным трактирным запахом. Отец гладил Настю по спине широкой, почти круглой ладонью.

Так она и заснула в тот вечер на коленях у отца. А в столовой стыл ужин и коптила лампа.

...Через два дня Пётр снова уселся в тюрьму, на этот раз надолго. В мирной сутолоке Зарядья то было немалым событием. Секретову рассказали, будто приезжала за Петром черная карета. Она-то и увезла душегуба Петра в четыре царские стены.

Пётр Филиппыч человек мнительный, тогда же порешил покончить все это дело. В субботу, перед полднем, отправился к Быхалову в лавку и сделал вид, что ненароком зашел.

— Здравствуй, сват, — прищурился Быхалов, зорко присматриваясь ко всем внутренним движениям гостя. — Семён! — закричал он в глубь лавки, скрывая непонятное волнение. — Дай-кось стул большому хозяину... Да стул-то вытри наперед!

— А не трудись, Зосим Васильич. Я мимо тут шел, дай, думаю, навещу, взгляну, чем сосед бога славит.

— Ну, спасибо на добром слове, — упавшим голосом отвечал Быхалов, почуяв неискренность в секретовских словах. — Садись, садись... стоять нам с тобою не пристало.

— А и сяду, — закряхтел Секретов, садясь. — Эх, вот увидел тебя, обрадовался и забыл, зачем шел-то. Время-то не молодит. Эвон как постарел ты, Зосим Васильич. Краше в гроб кладут! Огорчений, должно, много?..

Быхалов морщился недоброй улыбкой.

— Да ведь и ты, сватушка... тоже пухнешь все. Пьешь-то по-прежнему? Я б на улице и не признал тебя. Плесневеть скоро будешь!

— Скажешь тоже, смехотворщик! Я-то еще попрыгаю по земле! Вот у Серпуховских еще трактиришко открываю, сестриного зятя посажу. Да вот домишко еще один к покупке наметил. Сам видишь, дела идут, контора пишет. Эвон я какой, хоть под венец! Моложе тебя года на два всего, а ведь годов на тридцать перепрыгаю!..

Последний покупатель ушел. Наступало послеобеденное затишье.

— Ванька, — глухо приказывает Быхалов новому мальчику, — налей чаю господину. Да сапогами-то не грохай, не в трактире!

— Насчет чаю не беспокойся, соседушко, — степенится Секретов, лукаво разглаживая рыжую круглую бороду. — В чаю-то купаемся!

— Да и нам не покупать. Выпей вот с конфетками. Да смотри не обожгись, горяч у меня чай-то!

На прилавок, у которого сидит Секретов, ставит Зосим Васильич фанерный ящик с конфетами.

— Ах да, вот зачем я пришел... Вспомнил! — приступает Секретов, мешая ложечкой чай, стоящий на самом краю прилавка. — Вот ты сватушкой меня даве называл. Конешно, все это — смехи да выдумки, а только ведь я Настюши своей за сына твоего не отдам... Не посетуй, согласись!

— А что? Почище моего сыскали? Что-то не верится... — скрипит сквозь зубы Быхалов, все пододвигая ящик с конфетами на гостев стакан.

— Так ведь сам посуди, — поигрывая часовой цепкой, говорит Секретов, голос его смеется. — Кому охота дочку за арестанта выдавать? Уж я лучше в печку ее заместо дров суну, и то пользы больше будет...

Оба молчат. Сеня громко щелкает на счетах, — месячный подсчет покупательских книжек. Секретов сидит широко и тяжко, каждому куску своих обширных мяс давая отдохновенье и покой. В стакане дымится чай. Быхалов, уставясь в выручку, все двигает к гостю конфетный ящичек и вдруг выталкивает его на стакан, который колеблется, скользит и опрокидывается к Секретову на колени.

В первое мгновение Секретов неожиданно пищит, подобно мыши в мышеловке, и Быхалов не сдерживает тонкой, как лезвие ножа, усмешки.

— Да ты, никак, ошпарился? Вот какая беда, Пётр Филиппыч, — наклонясь побагровевшей шеей, картузом смахивает с колен дымящийся кипяток.

— Да, захватило чуть-чуть, краешком, — фальшиво улыбается Секретов, твердо снося жестокую боль ожога. — А сынища своего, — вдруг прямится он, — на живодерню отошли, кошек драть!..

— И мы имеем сказать, да помолчим. — И Зосим Васильич поворачивается к гостю спиной.

— И правильно сделаете! А то к сыну в острог влетите... — выкрикивает Секретов. — А на лавку мы вам еще накинем... вы мне тута весь дом сгноите! Счастливо оставаться!

Затем последовал неопределенный взмах руки, и Секретова больше нет. Любил Пётр Филиппыч, чтоб за ним оставалось последнее слово, — отсюда и легкое его порханье.

X. Павел навещает брата

Сеня впоследствии не особенно огорчался безвестным отсутствием брата. Крутая, всегда подчиняющая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, — жизнь стала ему легче. Сеня уже перешел первый, второй и третий рубежи зарядской жизни. Теперь только расти,

ждать случая, верным глазом укрепляться на намеченных целях.

В конце того же лета, когда Катушин вспоминал о дьячке, в воскресенье вышел Сеня из дому, собравшись на Толкучий рынок, к Устьинскому. На подоконнике быхаловского окна, возле самой двери, сидел Павел. Зловеще больно сжалось сердце Сени, — такое бывает, когда видишь во сне непроходимую пропасть. Павел был приодет; черный картуз был налажен на коротко обстриженный Пашкин волос. Все на нем было очень дешевое, но без заплат. Сидя на подоконнике, Пашка писал что-то в записную книжку и не видел вышедшего брата.

— Паша, ты ли?

— А что, испугался? — спокойно обернулся Павел, пряча книжку в карман брюк; глаза его покровительственно улыбнулись. Потом Павел достал из кармана платок и стал сморкаться.

Надоедливо накрапывало. В водосточных желобах стоял глухой шум, капало с крыш.

— Чего ж мне тебя пугаться! — возразил Семён, поддаваясь непонятной тоске, и пожал плечами.

С неловкостью они стояли друг перед другом, ища слов, чтоб начать разговор. Вспыхнувшее было в обоих стремление обняться после пяти лет разлуки теперь показалось им неестественным и ненужным.

— Чего же под дождем-то стоять?.. Пойдем куда-нибудь, — сказал Сеня, выпуская руку Павла, твердую и черную, как из чугуна.

— Да вот в трактир и зайдем. Деньги у меня есть, — сказал Павел.

Она стояли в воротах, продуваемых мокрым сквозняком осени. То и дело въезжали извозчики с поднятыми верхами. Братьев обдавало ветром и брызгами с извозчичьих колес.

— Деньги-то и у нас найдутся, — с готовностью похлопал себя по тощему карману Сеня; там звякнуло серебро.

Они поднялись с черного хода в трактир, второй этаж каменной секретовской громады. Кривая, скользкая лестница, освещенная трепетным газовым языком, вывела их в коридор, а коридор мрачно повел в тусклую,

длинную и шумливую коробку, сплошь заставленную столиками. Под низким потолком висели чад и гул. Все было занято. Зарядская голь перемежалась с синекафтанной массой извозчиков и черными чуйками мелких торгашей; это у них товару на пятак, а разговору на полтину. Несколько бродяг с сонным благодушием сидело тут же, склонив огромные, опухшие лица в густой чайный пар. Осовев от крепкого чая, как от вина, они блаженно молчали, всем телом ощущая домовитую теплоту «Венеции».

Торгаши кричали больше всех, но даже когда вспыхивало в чадной духоте короткое ругательство, снова срастался рассеченный гул и оставался ненарушим.

Лишь извозчики, блестя черными и рыжими, гладко примасленными головами, потребляли чайную благодать в особо сосредоточенном безмолвии; не узнать в них было уличных льстивых, насмешливых крикунов. Спины их были выпрямлены, линия затылка, не сломясь, переходила в линию спины: прямая исконного русского торгового достоинства. Разрумянившись, они сидели парами и тройками, прея в вате, как в бане, обжигающим чаем радуя разопревающую кость. Самые их румянцы были густы, как неспитой цветочный чай.

Дневной свет, разбавленный осенней пасмурью, слабо пробивался сюда сквозь смутную трактирную мглу. Пахло кислой помесью пережаренной селянки с крепким потом лошади, стоялой горечью кухонного чада и радужной сладостью размокающей карамели.

Сеня повел брата в темный уголок, где оставался незанятым столик под картиной, и постучал в стол. Половой, белый и проворный, как зимний ветерок, мигом подлетел к ним, раздуваясь широкими штанами, с целой башней чашек, блюдец и чайников.

— Чего-с?.. — тупо уставился он между двумя столиками.

— Да я не стучал, — рассудительно сказал соседний к Сене извозчик, разгрызая сахар и держа дымящееся блюдце в отставленной руке. — А уж если подошел, так нарежь, парень, колбаски покрупней да поджарь в меру. Горчички прихвати. А сверху поплюй этак перчиком.

— Нам чайку, яишенку тоже, на двоих... Да кстати ситничка, — заказал Сеня и улыбнулся Павлу. — Ты ко мне в гости пришел, я и угощаю!

— Гуди, гуди! — засмеялся Павел. — Небось разбогател, а? За тыщу-то перевалило?

— За десять! — подмигнул и Сеня, радуясь шутке брата, позволявшей ему и весь разговор вести в шутливом тоне.

— Братана-то не забудь, как разбогатеешь! — опять пошутил Павел.

— Да вот за прошлый месяц четыре рубля домой послал... А так — по трешнице. Ни месяца не пропустил, — хвастнул Сеня.

— Смотри, сопьется совсем отец-то! — опередил Павел Сенино хвастовство.

Павел, ворочая под столом хромую ногу, схлебывал с блюдца чай. Лица его не зарумянило чайное тепло. Сеня осматривался; впервые приходил он сюда как равноправный посетитель. Совсем установились сумерки, хотя стрелки круглых трактирных часов стояли только на четырех. У дальней стены, рядом со входом в бильярдную, возвышалась хозяйская стойка. Позади нее громоздился незастекленный шкаф, втесную набитый дешевым чайным прибором. На прилавке отцветали в стеклянных вазах дряблые бумажные цветы. С ними соперничали по цвету разложенные на прилавке ядовито-багровые колбасы, красные и желтые сыры, яркие леденцовые конфетки в стеклянных банках. Больше же всего было тут яиц, — может быть, тысяча, — сваренных вкрутую на дневной расход.

— Что же ты не спросишь, где я устроился... живу как? — спросил Павел, трогая вилкой шипящую яичницу.

— Что? Что ты говоришь? — откликнулся брат.

— На заводе, говорю, устроился, — рассказывал Павел. — Интересно там! Все пищит, скрипит, лезет... Там, брат, не то, что колбасу отпускать! Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был! — сказал он размякшим голосом, дрожащим от гордости своим заводом и всем, что в нем: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено

летящие приводы, разогретая сталь — все сосредоточившееся перед глазами в одном куске железа, которому сообщается жизнь. — Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат. Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно... Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал так-то, не мог отойти. Вот, гляди, сам сделал!.. — И он, вытащив из кармана, протянул брату небольшую шестеренку с матово блестевшими зубцами; Сеня повертел ее в руках и отдал Павлу без единого слова. — Книжки теперь читаю, — продолжал Павел полувраждебно. — Умные есть книжки, про людей... Ах, да много всего накопилось.

— Книжки — это хорошо, — равнодушно ответил Сеня, откидываясь головой к стене.

— Вначале трудно было, да и руки болели... — Павел, обиженный странным невниманием брата, стал рассказывать тише, словно повторял только для самого себя, а Сеня продолжал скользить вялым взглядом по трактирной зале.

Немного поодаль от стойки, чтоб не глушить хозяйских ушей, раздвинулся во весь простенок трактирный орган. Молчавший, поблескивал он в сумерках длинными архангельскими трубами, тонкими пастушьими свирелями, толстыми скоморошьими дудами. Вдруг в нем раздался вздох, потом скрип валов, потом пискнула, выскочив раньше времени, тонкая труба, и наконец, собравшись с силами, он запел что-то тягучее и несогласное, что поют на ярмарках слепцы. Орган был стар; когда струя воздуха попадала на сломанный лад, беспомощно всхлипывало пустое место и шипящий жалобный ветер пробегал по всем трубам враз... Так лилась жестяная песня, и вся «Венеция», словно околдованная, внимала ей. Половые, заложив ногу за ногу, привычно замерли у притолок... Пасмурное небо за окном совсем истощилось и не давало света. Был тот сумеречный час, когда сами вещи, странно преобразясь, излучают непонятное белесое мерцанье.

Как будто раздвигались стены и освобождали взгляду то, что было ими до сей поры заслонено. Великое пространство, голубое с серым, с холмами и пологими скатами, лежало теперь перед Сеней. И Сеня ушел в него,

бродил по нему, огромному полю своих дум, покуда изливался песней орган.

— Очень долго к ночной смене привыкнуть не мог — один раз и самого чуть машина не утащила! — слышит Сеня издалека. — Да ты что, спишь, что ли?

— Нет, нет... ты говори, я слушаю, — откликается Семён. Голос Павла, упругий и настойчивый, теперь все ближе.

— А уж этого нельзя, Сеня, простить...

— Чего нельзя?.. О чем ты? — вникает Сеня.

— Да вот как я в кислоту кинулся... из-за хозяйского добра-то! — голос Павла глух и дрожит сильным чувством.

— Кому, кому? — недоумевает Сеня. — Кому нельзя простить?

— Быхалову и всем им... Да и себе тоже, — тихо говорит Павел. — Гляди вот! — И показывает Сене свои ладони, на которых по неотмываемой черноте бегут красные рубцы давних ожогов.

Глаза Павла темны, губы его редко и четко вздрагивают. Снова Сеня чувствует свинцовую гору, надвигающуюся на него, — волю Павла. Он поднимается с места с тягучим чувством тоски и неприязни.

— Я пойду колбаски подкуплю, — неискренне объявляет он.

— Да мне не хочется... Ты уж досиди со мной! — говорит Павел.

— Да я и сам поесть не прочь. Еще в полдень ведь обедали... — Сеня фальшиво подмигивает брату и пробирается между столиками к трактирной стойке.

Орган все пел, теперь — звуками трудными и громоздкими: будто по каменной основе вышивают чудесные розаны, и они живут, шевелятся, распускаются и цветут...

Сеня подошел к стойке, за которой обычно стоял сам Секретов, неподвижный и надутый, как литургисающий архиерей, и указал на розово-багровую снедь, скрученную в виде больших баранок.

— Эта вот, почем за фунт берете? — спросил он, глядя вниз и доставая из кармана деньги.

— Эта тридцать копеек... а эта вот тридцать пять, — пересиливая орган, сказал женский голос.

Цена была высока. Ту же колбасу Быхалов отдавал за четвертак, да еще с прибавкой горчицы для ослабления лишних запахов. Сеня поднял глаза, и готовое уже возражение замерло у него на губах. Чувство, близкое к восхищению, наполнило его до краев.

Наступили полные сумерки, и в сумерках цвели бумажные цветы на стойке. А за ними стояла та самая, крикунья из гераневого окна... Облегало ее простое платьице из коричневого кашемира; благодаря ему резче выделялась матовая бледность лица, обесцвеченного в ту минуту скукой. Только губы, цвета яркого бумажного цветка, змеились лукавым смешком.

С глазами, раскрытыми на улыбающуюся трактирщицу, Сеня приблизился вплотную, забывая и брата, и первоначальную цель прихода. Полтинка, приготовленная в ладони, скатилась на пол, но он не видел.

— Это вы!.. — сказал он почти с восторгом.

— Как будто я... да. — Она его узнала, иначе не смеялась бы: ей был приятен Сенин полуиспуг.

— Я не знал тогда, что это ваш кот, — виновато сказал он и опять опустил глаза. — Я думал, вы за голубей боялись...

— Эй, малый! — смешливо окликнула соседняя чуйка. — Что же ты деньгами швыряешься? Как полтинку ни сей, рубля не вырастет.

Сеня нагнулся и поднял монету. В эту минуту орган хрустнул последней нотой и остановился. И вновь «Венецию» наполнил обычный трактирный гам и плеск.

— Не серчайте на меня... Ведь на коте отметки-то не было! — проговорил он с опущенной головой.

— Чего-с? — переспросил мужской голос.

— Фунтик мне, — не соображая, сказал Сеня.

— Чего фунтик? Гирьку, что ли, в фунтик? За стойкой, вместо Насти, теперь стоял сам Секретов, насмешливо постукивая по прилавку ножом.

— Нет, мне вот этого, — сказал Сеня, невпопад указывая на яйца.

— Яйца фунтами не продаем. Яйца мы десятками, — сухо поправил Секретов.

— Мне десяток, да, — сказал Сеня, ощущая себя так, словно катился под откос.

— Семнадцать копеек... Товар замечательный. Извольте сдачу... Сеня торопливыми глазами искал ту, из гераневого; ее уже не было. Казалось, весь трактир смотрит только на него и, изнывая от смеха, ждет, что еще выкинет этот потешный малый, набивающий карманы крутыми яйцами.

Когда он добрался до своего столика, брата уже не было. Он не дождался и ушел.

— Эй, земляк! — крикнул Сеня, не особенно огорчаясь уходом Павла. — А ну, получи с меня...

— Заплачено за этот стол, — мельком бросил половой, снова проносясь снежноподобным вихрем.

...Когда Сеня выходил на черную лестницу, по которой и пришел, «Венеция» зажигала огни; здесь и там вспыхивали газовые рожки. Позади снова загрохотал орган, но уже не жалобно, а вприпляс. Похоже было, будто развеселился на Сеню старик и пошел вкруговую, не стыдясь ни хромоты своей, ни обвисшего плеча.

XI. Сперва смеется Настя, а потом Сеня

Словно воды под ударом ветра, разволновалась Сенина душа. Неумолкающие круги, разбуженные первым восторгом, забегали по ее поверхности. Предчувствием любви заиграло Сенино воображение.

Теперь вечерами уже не к Катушину бежал Сеня. Едва запрут — закрытие лавки совпадало теперь как раз с наступлением темноты, — выбегал на осеннюю улицу, чтоб брести, куда поведут глаза, в надежде когда-нибудь повстречать свою Настюшу. Странно милы были ему головокружительное волнение мыслей о ней и ядовитая сладость бесцельных блужданий.

В том году как раз прогремели первые военные вести. Те, которым, как братьям, одну бы песню петь, стояли в больших полях друг против друга, засыпали чужую сторону железом, душили смрадом и уже много народу побили. Брали тогда и брили молоденьких, везли в самые погиблые места, где и земля-то сама, как воск, таяла и гнила стыдом. Тужились стороны, тужилось и Зарядье, посылая молодятину в пороховой чад...

Растеряв все свои ярославские румянцы, унылый и пьяный, выехал на фронт Иван Карасьев. Замело общей волной и Егора Брыкина, не успевшего и наследника по себе оставить. Выехал туда же и Пётр Быхалов с тайными намерениями. Он приходил прощаться к отцу и поцеловал его в жесткую щеку, а отец сказал: «Очистись, Пётр...» Тихо стало в Зарядье. В безмолвие, нарушаемое только звоном праздничных колоколов да похрустываньем жирных пирогов с вязигой, не доходили громы с далеких полей. Уже и до Сениной очереди оставался только год, а он и не думал.

...Была суббота. В зарядскую низинку моросило. Уличный мрак не рассеивался мутным светом убогих зарядских фонарей. Все дремало в предпраздничном отдохновении, когда Сеня вышел из ворот и привычно взглянул в окно противоположного дома, в гераневое. Огня в нем не было, и только Сенин глаз умел найти его в ряду других, таких же.

На тумбе сидел бездомный, с мокрой шерстью, кот. Сеня присвистнул на него, надвинул козырек на самые глаза и пошел вдоль переулка. Пальтецо распахнулось, тонкий сатин рубашки не защищал тела от пронизывающих веяний влаги, но это было приятно. Он уже миновал два переулка и проходил мимо бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый угол Китайгородской стены. Где-то в колоколах свистела непогода. Всенощная отходила, — уже спускались с паперти невнятные подобия людей; их тотчас же поглощала ночная мгла. Внутренность церкви была трепетно и бедно освещена.

Сеня вошел.

Пели уже «Славу в вышних». Наступил тот промежуток в службе, когда в страхе потемок повергается на землю тело человеческой души. Смутное освещение немногих свечей не выпячивало на глаза назойливой церковной позолоты. На амвоне стоял дьякон, склоняя голову вниз, как во сне. Народу было мало. Вправо от себя, в темном углу, увидел Сеня Настю; он уже знал ее по имени. Она стояла, опустив голову, но вдруг обернулась, высоко подняв удивленные брови, и порозовела. По каким-то неуловимым признакам, может быть — биенью сердца, она догадалась о его присутствии.

Шло к концу. Уже давался отпуст, когда Сеня вышел на паперть. Там бежал дощатый заборчик, чуть не заваливаясь на тротуар. Прислонясь к нему, Сеня ждал. Проходившие мимо не замечали его: ближние фонари не горели. Сеня слышал разговоры прихожан.

Двое, борода и без бороды:

— Будто отца Василья-то к митре представили.

— Это что ж, дяденька, вроде как бы «Георгий» у солдат?.. Несколько минут совсем пустых, только ветер; потом старухи:

— Жена и напиши ему: куда мне безрукий? Я себе и с руками найду...

— Скажи-и пожалуйста!.. Наконец знакомые голоса:

— Нечистый-то ему и приказывает: ложись, говорит, спи! А Сергей-то Парамоныч покрестился, глянул, а перед ним пролубь... Он и отвечает: дак ведь это пролубь, говорит...

— А тот что?

— А бес-то и повянул весь. Сеня насторожился:

— ...Так ведь вы, Матрёна Симанна, не видели!.. Две женщины, старая и молодая, подходили. Несмотря на мрак, Сеня сразу узнал свою. Настя шла дальнею от Сени, справа. С забившимся сердцем Сеня выждал, пока они приблизились совсем. Тогда он выступил из своего укрытия и пошел рядом. Старая — Матрёна Симанна — посторонилась было, давая пройти, но Сеня не собирался уходить, шел вместе, взволнованный и смущенный.

— Проходи, проходи, милый, — затрубила баском Матрёна Симанна, неспокойно приглядываясь к подозрительному молодцу. — Я вот людей кликну на тебя! — Она даже оглянулась, но никого не было кругом; из церкви Секретовы вышли последними.

Место здесь самое глухое — кондитерский оптовый склад, ящичное заведение, парикмахерская с подобающей вывеской: человек остригает голову человеку же огромными ножницами... Все это теперь закрыто на замок и отгорожено толстой стеною сна.

— Настя!.. — тихо позвал Сеня; многое хотел сказать, но все мысли, рожденные радостью этой встречи, уже слились в одном слове, и слово это было произнесено. Настя молчала, может быть, смеясь.

— Да отстанешь ли ты, мошенник, или нет?.. — загорячилась старая, пытаясь втолкнуться клином среди молодых. — Ишь какой напористый, — пыхтела она, отпихивая Сеню, отмахивая его, словно чурала, длиннющим рукавом салопа.

Сеня сперва как будто не замечал ее, потом обронил сердито:

— Ты погодь, старушка, не лезь. Что ты тут под ногами шариком вертишься?

— В самом деле, вы ступайте, Матрёна Симанна, позади. Троим тут очень трудно идти, — сказала Настя и впервые близко взглянула на Сеню. — Может, у него дело ко мне есть...

— Какое же, матушка, дело у ночного мошенника? — пуще затарахтела старуха. — Может, он убить нас с тобой хочет!..

— А ты веди себя кротко, не шуми, так и не убьет, — приказала Настя. — Я тебе за это... ну, одним словом, про скляницы твои рассказывать папане не буду!

Ей было и радостно, и чуть-чуть жутко; то и дело вынимала платочек из муфты, маленькой, как черный котенок, и терла зудевшие губы. Сеня шел рядом с ней, плечи их почти соприкасались.

— Так что же вам нужно от меня? — с опущенной головой начала Настя.

— Мне ничего от вас не нужно, — откровенно сознался он и даже приотстал на полшага.

Настя подождала его; игра казалась ей забавной.

— А... вот как! — и закусила губку. — Может, вы к папане в половые хотите поступить?

— Не-ет, — отвечал Сеня, готовый в любую подворотню вскочить от стыда за внезапную немоту свою.

Они уже прошли весь переулок, а еще ничего не было сказано из того, что думали они оба.

— Как вас зовут? — решился он наконец.

— Нас — Аниса Липатовна! — кинула Настя и с неожиданным раздражением обернулась к старухе: — Вы идите, тетя, домой. Скажите там, что к иконам осталась прикладываться!.. Ну, а вас как?

— Нас — Парфением, — резко сказал Сеня, удивляясь, кто дал ей эту власть — вести его за собой, как на веревочке.

— Что же вы замолкли совсем? Приятное что-нибудь скажите, раз уж на улице пристали... или какие у вас мысли про меня? — И, странно, это подергиванье веревочки доставляло Сене острое и неприятное удовольствие.

— Нет у меня никаких мыслей, — угрюмясь, отвечал Сеня.

— А зачем же вам голова дадена?

— Голова для понимания дадена, — из последних сил оборонялся он.

— Вот и слава богу... А я думала, орехи колоть. Они остановились у ворот Настина дома. Матрёна Симанна ушла вперед.

— Ну, спасибо вам за интересный разговор, — сказала Настя, готовясь отворить деревянную глухую калитку.

— Пожалуйста... ничего, очень рад, — с отчаяньем сказал Сеня и снял картуз; ярость раздразненного тела боролась с непонятной робостью.

— Теперь марш спать! — крикнула Настя. — Больше не подходите. Адью!.. — Она прихлопнула за собой калитку и исчезла.

Он все стоял, озадаченный и обозленный происшедшим. Непонятное слово хлестнуло его, как кнут. Мускулы лица перебегали жалкой улыбкой. Вдруг он срыву нахлобучил картуз и ударом ноги распахнул тяжелую калитку. Настя медленно уходила в воротах, — так медленно, как будто ждала чего-то, — не оглядываясь. Он догнал ее почти при самом выходе и больно, по-хозяйски, заломил ей голову назад. В следующую минуту не было ни холодных Настиных губ, ни растрескавшихся губ Сени: все слилось в один темный цветок.

— Пусти меня... — запросила Настя, обессиленная борьбой, прижатая спиной к стене. Голос ее был низок и томителен.

Сенина рука слабнула. Ярость и страсть уступали место нежности; Настя была гибка и хитра, она воспользовалась этим. Ловко извернувшись, она уже стояла в трех шагах от него, прямая и насмешливая, держа в руке сорванный с Сени картуз.

— Лови!.. — крикнула она и швырнула картуз вдоль ворот.

Тот, вертясь, описал дугу и звучно шлепнулся в лужу; сощуренными глазами Сеня проследил его полет.

— Ничего-с. мы другой купим. На картуз у нас найдутся! — сказал он осипшим голосом и обернулся.

Насти уже не было. Жалкий, как озябшая птица, мерцал посаженный в закопченное стекло огонек. Сеня вышел из ворот с пылающими щеками, остановился смахнуть грязь с картуза и вдруг засмеялся. Ночное происшествие представилось ему совсем по-другому, чем за несколько минут перед тем.

...Настю, пришедшую домой, встретил отец.

— Богомолкой стала? — подозрительно заметил он. — Старуха-то уж дома!

— Ботинок развязался в воротах, — сказала Настя.

— Тут к тебе подруга приходила. Приезжая. Я оставлял ждать, не осталась. Минуты три назад вышла.

— Какая она? — встрепенулась Настя. — Не Катя ли?

— Катя не Катя, а очень такая... играет, — неодобрительно заметил Секретов.

«Наверно, видела все, — думала Настя. — Она могла стоять там, за выступом стены, возле кожевенного склада... Бежать догонять, чтоб не проболталась?»

Она прошла к себе, поправила волосы перед зеркалом и тут заметила, каким неугасимым румянцем горело ее лицо. Оставшись наедине с собою, она подошла к окну и поочередно прижимала лоб и щеки к холодному потному стеклу.

XII. Катя

Настя не такого к себе в сердце ждала и даже удивилась Сене, когда вошел он. Но, значит, его и звало к себе в полусне цветенья девическое сердце, иначе не боялась бы, что с крыши упадет... Впрочем, все это было так неточно и неокончательно, что Настя промолчала на Катин вопрос о сердечных привязанностях.

Катя была единственной дочкой у зарядского торговца разным железным хламом; ей было двадцать три. Ясноглазую, пышноволосую и всю какую-то замедленную, Матрёна Симанна прозвала ее клецкой. После жмакинского происшествия Катя уехала к тетке на юг, но и там шалила, приманивала провинциальных жени-

хов и вдруг на званом обеде отшлепала по щекам теткина мужа, который, несмотря на почтенность чина и возраста, сохранял излишнюю живость воображения. И вот в осеннее утро снова прикатила к отцу.

Она пришла к Насте на другой день после истории в воротах, вся шуршащая, дышащая незнакомыми Насте запретными духами, покорительница. Настя, выбежавшая отпереть, даже не узнала ее. Катя стояла на пороге, щурилась и улыбалась.

— Ну да, я, — утвердительно кивнула она. — Здравствуй, крошка! — и протянула руку в тугой перчатке.

Настя так и прыгнула на шею к подруге, но радость ее быстро поблекла.

— Ну, полно, хватит... — смеялась Катя, легонько отпихивая Настю от себя. — Разве можно так! Всю пудру смахнула... Ну, веди меня к себе.

— Вот сюда, за мной. Тут сундук стоит, я всегда коленки об него расшибаю... не зацепись!

Настя провела гостью через темный, с закоулочками, коридорчик и ввела к себе. Керосиновая лампа в фарфоровой подставке горела на комоде, бросая скудный свет из-под бумажного кружка. Катя обвела комнату любопытным взглядом и улыбнулась: в самых неприметных пустячках и подробностях светилась строгая, нетронутая чистота. Это впечатление усиливали цветы в банках, обернутых цветной бумагой, белые глянцевые обои, туго накрахмаленные занавески.

— Я очень рада, что застала тебя. — Катя сняла шляпку и пальто сбросила на спинку стула. — Тут можно?

— Ты садись, садись... Я повешу все! — хлопотала Настя.

— Не торопи, дай оглядеться. — В голосе Кати звучало сознание своего превосходства; она прошлась по комнате, трогая каждую Настину мелочь: повернула ключик в шкатулке, мельком заглянула в книжку на кровати... — А-а, грибок! — сказала она с легким смешком и повертела в руках деревянную бесполезную вещицу.

— Он открывается, я туда пуговицы кладу... — торопливо объяснила Настя, боясь, что подруга осудит ее именно за этот грибок; проходя мимо угла, Настя мимоходом затушила горевшую лампадку.

— Ты прости, что я не писала тебе. Все как-то некогда было. Ах, вот, кстати, и зеркало у тебя есть! — открыла она и пошла поправить волосы; они были, как и вся она, шуршащие и ленивые. — Вот теперь я сяду...

Шумя юбками, она опустилась на Настину кровать, и тотчас же гримаска сдержанного изумления обежала ее грешное лицо.

— Однако! — заметила она. — Ты что, в монашенки готовишься?

— Я люблю спать на твердом, привыкла... — засмеялась Настя, садясь на стул против подруги и пристально всматриваясь в ее лицо.

— Что так глядишь? — улыбнулась Катя.

— Ты красивая стала, — ответила Настя робко.

— Да? — и еще раз окинула себя быстрым взглядом. — Да и ты... выросла тоже. Только уж очень тонкая какая-то... — Катя искала, что еще можно похвалить в подруге, но мальчишеский задор Настина лица ей не нравился. — Нет, а ты, вообще говоря, хорошенькая! — с внезапным хохотом открыла она. — Ты не красней... право же, им такие нравятся! Только вот тут у тебя мало... — мельком указала она на грудь. — Знаешь, ты на Дианочку похожа. У греков такая была, помнишь?.. Ты ешь больше!

— Не говори мне так, — тихо попросила Настя. — Мне стыдно от твоих слов...

— А ты не стыдись. Папенька замуж-то еще не выдает?

— Я сама себе найду, — загоревшись, смутилась Настя.

— А может, уж и нашла?.. Какой-нибудь такой, а? — и подмигнула.

— Катя! — попросила Настя, присаживаясь рядом. — Закрой глаза... я спросить хочу. Ну, закрой...

— Закрыла... Ну?

— Ты вчера видела что-нибудь или нет?

— Нет, не видела. Я мимо прошла... Это в воротах-то? Нет, не видела.

Обе хохотали, белая комнатка повеселела, лампа стала гореть как-то ярче.

— А у тебя тут славно, — все еще смеясь, сказала Катя. — Ты в зеркало-то часто глядишься? Нет, тебе не-

пременно надо больше есть. Глупая, чем ты ребенка-то кормить станешь? Ну, не буду, не буду! — Катя притворно испугалась помрачневшего Настина взгляда.

Вошла Матрёна Симанна.

— Кушать, Настенька, иди, — сказала она. — Папаня сердятся.

— Я потом, не хочу.

Старуха постояла еще с полминуты, потом резко вышла, хлопнув дверью.

— Матрёна Симанна! — крикнула Настя вдогонку. — Вы чего хлопаете... вон захотелось?

Шаркающие, нарочные шаги в коридоре разом стихли.

— Едят целый день, ровно в трубу валят, — сумрачно обронила Настя.

— Если ты и с мужчинами так, это хорошо! — деловито вставила Катя и поиграла кружевной оборкой рукава.

Торопясь, словно за тем и пришла, она стала рассказывать свои приключения последних лет; Настя слушала ее, вся пылая. Но, такой хвастливый вначале, все грустней становился Катин рассказ, и вдруг две продольные полоски обозначились на ее щедро запудренных щеках.

— Чего ж ты плачешь, глупая? — бросилась к ней Настя. — Значит, и у тебя жених есть!

— Он уже женился, — и поднялась. — Ну, прощай... у меня тоже папаша строгий.

— Ведь еще не поздно, — пыталась задержать ее Настя, чувствуя себя старшей в эту минуту.

— Нет, — и высвободила руку. — Проводи меня до дверей.

...Когда Настя разделась и юркнула в жесткую, холодную постель, была полная ночь. Она полежала минут десять, укрывшись с головой и старательно закрывая глаза; сон не приходил. Тогда она просто улеглась на спину, покорная мыслям, сумбурно скользившим в голове.

Вдруг она вскочила с кровати, прошла босыми ногами к комоду, нашарила спички и зажгла свечу. Из зеркала глянула на нее тонкая, с правильным мальчишеским лицом девушка, со свечой в одной руке, другой придерживающая сорочку, чтобы не соскользнула на пол. Обе — и та, которая в зеркале, и та, которая перед ним, — боязливо взглянули в глаза друг другу.

Девушка в зеркале была спокойна, стройна и строга в своей наготе.

Настя улыбнулась ей, та ответила тем же, но вся залилась краской и состроила презрительную гримаску. Настя повторила... С беззвучным смехом Настя подалась губами к зеркалу. Та угадала Настин порыв и тоже протянула Насте свои губы. Настя еще не хотела, но та уже поцеловала ее.

Вспугнутая соображением, что из противоположного дома могут подглядеть ее тайну, она задула свечу и отскочила от окна. С минуту она стояла в темноте, прислушиваясь к шорохам позднего часа. Крупный дождь колотился в окно, и звенело в ушах; больше звуков не было.

Она засмеялась, как в детстве лихой проделке. Зябко ежась, она влезла под одеяло, и тотчас же захлестнуло ее сном. Засыпая, все еще смеялась: сокровеннее всех тайн небесных — нетронутой девушки ночной смех.

XIII. Дудин кричит

Дымное, неспокойное небо, славшее неслышный дождь, ныне бесстрастно и ровно: поздняя осень.

В низине Зарядье стоит, и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь. Воздух дрябнет, известка размокает, сизыми подтеками украшается желто-розовый дом. И даже странно, как не потонул здесь городовик Басов за те сорок лет, которые простоял он на страже зарядской тишины.

Зимним уныньем веет отовсюду, но не нарушен им бег махового зарядского колеса. С утра Ванька открывает лавку, а Семён с подоткнутым фартуком отправляется за свою конторку. Зосима Васильича тронула проседь за последний год, и сам он пополнел: так оплывает догорающая свеча. Сквозь запотевшие окна видно Сене: пирожник Никита Баринов проплыл мимо с двухпудовым лотком на голове — с пирогами на потребу торгового верха. А Чигурин, человек незначительный в сравнении с Бариновым, потчует со своего угла прохожих круглым луковым блинком: сыты будут прохожие — сыта будет и жена его, Чигуриха, и семеро голодных чигурят.

...Снаружи — все по-прежнему. Все тот же грош маячит смутной целью, но приступило иное время: в погоне за грошом на бег и скок променяло Зарядье свой прежний степенный шаг. Тревожно и шатко стало, — кит, на котором стояло зарядское благополучие, закачался... Бровкин, быхаловский племянник, приехал с войны; бросилась к нему на шею жена, а целоваться-то и нечем: губы Василью Андреичу отстрелило немецким осколком вместе с зубами и челюстью. Воротился, полные сроки родине отслужа, Серёга Хренов, зарядский хреновщик; как и прежде, — цельный весь, больших размеров человек, только трястись стал.

...Вдруг городовик Басов помер. Еще вчера покрикивал с поста, а нынче другой, высокий и егозливый, на его место встал.

Всякая радость порохом стада отдавать, а как винишко отменили, и вовсе нечем стало скорбящему человеку душу от горя омыть.

К Быхалову в последний день осени, в последний час дня, забежал Дудин Ермолай за керосином. Следа не оставалось в скорняке от прежнего пьянства, зато весь каким-то черным стал: и пиджачок черненький, и сапожки черные, и в лице какой-то копотный налет. Одна голова торчала расщетинившимся седым ежом.

Даже посмеялся Быхалов:

— Чтой-то принарядился как? Не на войну ли собрался? Там и таким скоро рады будут!

— А и что ж! — заклохтал злым сиплым смехом Дудин. — Не все ли равно, в кого палять! В меня и стреляй-то хорошо. Как выстрельнешь, так и помру... и починки не потребую. Я сухой, без вони. Вот ты если, дядя Зосим, помрешь, так в один час душком повянешь!

— Ну-ну, я твоему пустословию не слушатель! — сердился Быхалов. — Ты, Дудин, известный шипун! Получай товар и отчаливай.

— Погоди, и вовсе отчалю... дай посмотреть, чем дело кончится. Эва, всё льют народную кровцу себе в наживу. Теперь уж не уймутся, пока не выжмут нашего брата досуха.

Быхалов тревожно машет на него руками, поглядывая вокруг, нет ли в лавке людей опасливых, а народ слушает, посмеивается, задорит:

— Кто ж это тебя прижимает-то, Дудин?

— Кто?.. Различные должностные лица.

— Ой, заберут тебя, Ермолашка!

— А и заберут, что со мной поделают? Ежли на колбасу пустить, так у скорняка и мясо-то с тухлиной. Я ни червя, ни царя, ни мухи, ничего не боюсь. А тюрьмы Дудин тоже не страшится... там и получше меня люди живут. Вот ты сынка своего оттолкнул, хозяин, а я преклоняюсь. Мне бы с ним за решеточкой-то посидеть, и я б ума набрался. О, кабы ум-то Дудину, — я б весь мир наискосок поставил. Ка-ак дернул бы за вожжу — стой, становись по-моему!.. — и, скомкав рубаху на груди, дергает с маху за вожжу воображаемую.

Его долго и надрывно треплет кашель; когда перестает, лицо у него измученное, детское, позывающее на жалость. Он рывком хватает керосин и бежит домой, чуть не опрокинув на пороге молоденького офицерика, входящего в лавку.

— Господин Быхалов... вы? — вежливо и сразу спросил тот, едва вошел.

— Господин не я. А Быхалов, Зосим Васильич, действительно мое имя, — вразумительно поправляет бакалейщик.

— Я от сына к вам... — И прапорщик подтянулся, точно рапортовал. — У вас есть сын, Пётр Зосимыч?

— Не ранен ли? — И лоб Зосима Васильича пробороздился морщинками.

— Как вам сказать, — замялся прапорщик. — Я бы попросил дозволения наедине с вами...

— Лавку запирать, — приказывает Быхалов. — А вас попрошу на квартиру ко мне. В скорлупе живем, прошу прощения.

Войдя в задние комнаты, Быхалов стал медленно снимать фартук и замасленную поддевку; потом придвинул гостю табуретку, предварительно обмахнув ее полотенцем.

— Грязь у нас везде... сало, — пояснил он, усаживаясь напротив. — Ну, какие же вы мне новости привезли?

Сумерки сгустились, оба сидели в потемках. Вдруг прапорщик понукающе подергал себя за наплечный ремень.

— Видите, дело совсем просто. Две недели назад...

— Постой, постой, чтоб не забыть! — перебил Зосим Васильич и, не вставая со стула, достал из-под кровати сверток. — Пётр тут в письме шахматную игру просил прислать Да бельеца пары две... Это вы и есть Иевлев? Он мне писал, что Иевлев в отпуск поедет.

— Никак нет, моя фамилия Немолякин, — торопливо поправил прапорщик. — Я с Иевлевым незнаком... и вообще боюсь, что шахматы им больше не потребуются.

— Иевлев-то, значит, не приедет? — оттягивая неприятные вести, прервал Быхалов. — А может, чайку со мной попьете? Я прикажу заварить...

— Нет, нет... — испугался гость, аккуратно выставляя ладони против Быхалова, — я спешу... Видите, предполагалась операция, военная операция, вы понимаете? Мы с вольноопределяющимся, то есть с сыном вашим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое; названье Чертово поле... солдаты так прозвали. Ползем на брюхе... — Прапорщик потеребил огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху. — Налезаем — проволока, в три кола! Вот я вам сейчас чертежик нарисую, как дело было... Вот тут, извольте видеть, холмик небольшой, а тут — фугасное поле. Здесь — пулеметное гнездо, понятно? — сыпал прапорщик, указывая на неразборчивый мохнатый клубок. — Вот тут мы и шли... то есть ползли.

— Погоди, я газ зажгу. Ничего не видно, — тихо остановил Быхалов.

— Не зажигайте... прошу вас! — встрепенулся прапорщик и мгновенно спрятал книжку. — К тому же мне и бежать нужно!..

— А ты не спеши!.. — придержал его Быхалов. — У меня сыновей не каждый день убивают. Уж потешь старика лишней минуткой!

— Ничуть не бывало, ничуть не бывало! Я когда уезжал, Пётр Зосимыч в полном покуда здоровье был, — сказал прапорщик, и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости. — Нет, не могу, виноват!

— Чего не можешь-то, молодой ты человек? Ты все в жизни моги, раз в живых остался.

— Врать не могу, — мотая головой, простонал прапорщик. — Сына вашего все мы очень ценили за прямой,

мягкий характер, а нижние чины души не чаяли... Вот и наказали перед отъездом, чтоб уведомил вас с возможной осторожностью!.. Пётр Зосимыч арестован в конце прошлого месяца: против войны солдатам высказывался. Но вы не расстраивайтесь пока: дело получилось двойное, и есть надежда, что пойдет оно в окружной, а не в военно-полевой суд... — и, вымахнув все начистоту, затеребил кончик наплечного ремня.

— Та-ак, — покачивался на табуретке Быхалов. — Вот и мягок, а упорен был: дотянулся до горькой чаши своей. Что ж, беги и ты... небось повеселиться охота в отпуску-то. Смотри, не бунтуй... скушно поди на веревке-то висеть!

— Так что прошу прощения за печальное известие, — уже оправившись, держа папаху на отлете, поднялся прапорщик.

— Да, уж лучше бы ты мне дом поджег... Кому же мне теперь посылочку-то приспособить? Себе возьми, за услугу. Бери, неловко отказываться. Без креста, без пенья закопают, пусть хоть добрым словцом люди помянут...

Он пошел проводить гостя, цеплявшегося шашкой за ящики, кадушки и чаны, потом долго стоял у проплесневелой стены, сцарапывая с нее бугорки масляной краски. Казалось, жизнь свою тратил скупее всех, по копеечке, а на поверку выходило, что ничего на нее не было куплено.

— ...Эх, Петруша, Петруша! — вслух сказал он, и лицо его сморщилось.

XIV. Один вечер у Кати

Они стали встречаться у Кати, вечерами, по истечении торгового дня.

Настя прибегала, закутанная в платок потемней, с черного хода, всегда раньше Сени; забивалась в угол и ждала. Неясные предчувствия грозных событий, копившиеся в воздухе страны, заставляли ее заранее искать опоры, а никого не было ближе Сени, сильного, дерзкого, готового постоять за себя. Встречи эти, довольно редкие вначале, происходили в присутствии

Кати; чтоб не стеснять подруги, та писала письма или бренчала на гитаре, изредка справляясь о Настином самочувствии.

— Я понимаю, как трудно сейчас с женихами, но ты напрасно так волнуешься. Им и виду нельзя показывать, а то зазнаются... их вот здесь надо держать, — и казала сжатый кулачок. — Однако что ты нашла в нем, в этом кудряше из бакалейной?

— Не знаю... — шептала Настя, кляня себя за малодушье.

— Имей в виду, я могу и уйти... будто за орехами. Только мигни...

— О нет! — Ее глаза ширились испугом, а руки тискали вялые Катины пальцы.

— Я к тому, Дианочка, что ведь год его подходит... могут и в солдаты забрать!

— Молчи...

Сене тоже бывало не по себе в этой душной комнатке с горочными запахами, обставленной с показной купеческой роскошью, среди множества бесполезных и хрупких пустячков, единственный смысл которых, казалось, заключался в том, чтобы сковать естественную широту человеческих движений. Он становился застенчивым, злился, однажды пришел с гармоньей, рассчитывая этим заменить невязавшийся разговор; Катя сказала ему тогда довольно резко, что это не деревенские посиделки, и в городе надлежит вести себя пообходительней.

Иногда, в стремлении скинуть с себя Настин плен, он хвастался своими надеждами на будущее по окончании войны: хозяин все кряхтит, уж монахов зовет на задушевные беседишки... и в конце концов совсем не известно, Карасьеву или ему, Сене, стать наследником быхаловской фирмы. Он говорил отрывисто, полунамеком на счастье той девушки, которая согласится разделить его мечту; краска заливала Настины щеки, и сама Катя украдкой любовалась им в такие минуты.

В другие вечера он обращался к памяткам детства, где таились корни его презренья к городскому укладу; так рассказал он с маху одно самое давнее событие, какое помнил, и смысл его повести был таков:

Про 1905 год

...Бунт был. И приехали с вечера из Попузина сорок три мужика с подводами остатнее в уезде помещичье именье дожигать. Ночевало из них шестеро в Савельевом дому, главари. Ночь напролет, тверезые и темные, скупыми словами перекидывались бунтари. Боролись в них страх и ненависть. Речи их были скользки.

— На что ему земля! — сказал один, с грустными глазами. — Он небось и сам-то не знает, куда ее, землю-то, потреблять. Лепешки из ей месят, либо во щи кладут...

Другой отозвался, глядя в пол:

— Конешное дело, друзья мои! Мы народ смирный, мы на точке закона стоим. Нас не обижай, мы и помалкиваем. Каб, скажем, отдали нам земельку-то всю чохом, в полный наш обиход, мы б и молчок. А ему бы дом остался. Пускай его на поправку к нам ездит, мы не противимся.

Третий сверкал светлыми детскими глазами:

— Во-во! Воздухи у нас в самый раз хорошие! Дыши хочь все лето, и платы никакой не возьмем!..

Потом заснули ребятки на полатях, Пашка и Сенька, не слыхали продолжения разговора. Много ли их сна было — не поняли. Проснулись на исходе ночи. В тишине, одетые и готовые, сидели бунтари.

Крайний бородач царапал ногтем стол. Сосед сказал:

— Хомка... не корябай.

И опять сидели. Потом длинный худой мужик, попузинец, встал и сказал тихо, но пронзительно:

— ...Что ж, мужики? Самое время!

На ходу затягивая кушаки, на глаза надвигая шапки, мужики выходили из избы. Савелий, отец, с ворчаньем шарил под лавкой топор и мешок: топор — рубить, мешок — нести... Пашка вскочил и стал запихивать в валенок хромую ногу. Сеню от возбуждения озноб забил, — так бывает на пасху, когда среди ночи встрепенутся колокола.

С буйным, веселым треском горел на горе свинулинский дом. Дыма и не было совсем; гулко лопались бревна, оттуда выскакивал прятавшийся в них красный огонь. Небо было ровно с грязнотцой, просвечивало се-

рое солнце; воздух был какой-то настороженный. Тонким слоем снега белела ноябрьская земля.

На полпути к свинулинской усадьбе холм торчал. На нем, вокруг размашистой голой березы, замерло в пугливом любопытстве деревенское ребятье. Было ребяткам тревожно и радостно.

Вдруг запрыгал Васька Рублев, белый мальчонок, в отцовских стоптанных сапогах, забил в ладоши и закричал. Из ворот усадьбы, из самого огня, огромный и рыжий, вырвался племенной свинулинский бык. Ослепленно поводя рогами, он остановился и затрубил, жалуясь и грозя. Но в бок ему ударилась головня, метко пущенная со стороны. Тогда, облегченный болью и яростью, к запруде, где стояла когда-то сигнибедовская маслобойка, помчал он свое опаленное тело. Там, в последний раз пронзив рогами невидимого врага, он взревел, обрываясь в воду. Бурное, величественное мычанье донеслось до оцепенелых ребят; потом бучило поглотило быка.

...А через неделю наехали из города пятьдесят чужеспинников, с пиками и ружьями, под синими околышами, откормленные кони их беспрерывно ржали. При полном безмолвии взяли пятерых и отвезли судить, скрученных. А Евграфу Петровичу Подпрятову, да Савелью Рахлееву, да Афанасу Чигунову, как имевшим военные отличия, дали только по горячей сотенке розог, чтобы памятовали накрепко незыблемость помещичьего добра. Молча, с опущенными головами, стояли вокруг согнанные мужики. Голосить по мужьям боялись бабы, но чудился в самом ноябрьском ветре глухой бабий вой.

...И на всю жизнь запомнили ребятки, как натягивал и застегивал перелатанные портки на всем миру Савелий, плача от злобы, боли и стыда. Тянуло с поля мокрым снежком, а мать, босая, как была, выпрямленная и страшная, всю порку простояла на снегу... Кому ж тогда, как не городу, приходящему ночной татью, приносящему закон и кнут, грозил в потемках полатей Сеня негрозным отроческим кулачком?..

— С того-то отец мой Савелий и нищать стал, и к вину ударился. — Так заключил Сеня свой рассказ и, стесняясь, круто опустил голову. — Ничего, сочтемся!

— Я таких вот люблю, — вслух сказала Катя подруге. — Лихого ты себе выбрала, смотри — с лихим горя изведать!

— Любить не люби, а почаще взглядывай, — возбужденно засмеялся Сеня, заметив пристальный, оценивающий Катин взгляд.

— Зачем ты ногти грызешь? — резко спросила Настя у Кати.

— А тебе какое дело? — насмешливо возразила та.

— Есть, значит, дело. Ты вот... — И, склонясь к Катину уху, Настя укоризненно зашептала что-то.

— А как я на него глядела... да что с тобой? — громко обиделась Катя.

— Ну, не надо вслух! — Настя пугливо оглянулась.

— Да нет, я не понимаю... Украла я его, что ли, у тебя?

— Пойдем, Настя, я тебя провожу, — сказал Сеня и встал.

Они вышли, и оба торопились.

— Мне гадко у нее стало, она нехорошая... — говорила Настя уже на лестнице. — И мне не нравится, как ты сегодня говорил. Словно в театре как-то. За что ты городских ненавидишь? Ведь ты и сам городской! В городе и останешься...

— Почем знать? Ноне времена не такие. День против дня выступает, — неопределенно отвечал Сеня. — А вот насчет театра... это уж не театр, если кровь из отца течет. Тут уж, Настюша, драка начинается!

— Я и целовать тебя не хочу сегодня. У тебя и сейчас глаза красные, — сказала Настя тихо и пошла от него, не оглядываясь.

— Всегда глаза красны, коли правду видят! — крикнул ей Сеня вдогонку; потом подошел к стене и с маху ударил в нее кулаком. Мякоть руки расцарапалась шероховатым камнем до крови. «Вот она!» — вслух подумал Сеня, глядя на руку.

Это случилось в пятницу...

...А в субботу Сеня как-то нечаянно написал свой первый и последний стишок. Стоял и щелкал счетами, подсчитывая покупательские книжки. В голове своим чередом бежали разные думки, а среди них вплетались полузабытые стихи из какой-то катушинской книжки.

Оторвавшись от дела, он попробовал на память восстановить утерянную строчку, но получилось как-то совсем иначе. Так, строку за строкой, он придумал все стихотворение сызнова.

Холодея и волнуясь, он стоял над столбцом полуграмотных строк, перечитывал, открывая в них все новые прелести. Ему особенно нравилась концовка стихотворения: «Покой ангелы пусть твой хранят!»

XV. Катушин тоже закричал

...Совсем забыл Сеня Катушина.

Настя была для Сени — жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин — уныние, безволие жизни, недвижность тишины. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.

В обед он поднялся по каменной лестничке наверх прочесть ему свои первые стихи. Приоткрыв дверь, он осмотрелся и не узнал сперва этой непривычно чистой, полуопустелой комнаты. Недобрым предчувствием сжалось Сенино сердце.

Коечка старика была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сонливо вязала чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.

— Тебе что? — спросила она враждебным полушепотом.

— Мне Степана Леонтьича... — просительно сказал Сеня.

— Дверь-то закрой сперва, — заворчала баба. — Если по делу, так вот он тут лежит. — Она кивнула на койку, закрытую пологом. — Уж какие дела к мертвому!

В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из

цветных лоскутков. Когда он перевел взгляд на Сеню, тот поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенном лице не было никакого оживляющего блеска, — может быть, из-за отсутствия очков.

— Здорово, Степан Леонтьич, — сказал Сеня и попробовал улыбнуться.

— Кто? — не узнавая, жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин.

— Это я, Семён. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?.. — Сене стало стыдно, что вот он — здоровый, а Катушин — больной.

— Да, — невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом. — Садись, гость будешь.

— Ты, паренек, посидишь тут? — спросила баба еще, залезая спицей себе за ворот. — Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! — жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под катушинской кровати корзиночку.

— Что ты, дура, мелешь... кого обряжать? — озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.

Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Рвалась старой дружбы нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.

— На табуретку сядь... не тревожь, — сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. — Руки гудут все!

Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.

— Что-то не признаю я тебя, — продолжал Катушин. — Плохо стал людей различать... Все мне лица одинаковые стали.

— Я Семён... от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.

— Помню, — без выражения сказал Катушин, — так ведь тот маленький был!

— Я вырос, Степан Леонтьич, — извиняющимся тоном произнес Сеня и смятенно стал стирать пятно с пола носком сапога.

— Не ширкай, не ширкай... — остановил Катушин и кашлянул разок.

Прежнего задушевного разговора не выходило.

— ...По картузу в день — считай, сколько я их за всю жизнь наделал! — снова начал Катушин, и лицо его на короткое мгновение отразило тоску. — Картузы сносились, вот и я сносился... — Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. — Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню... Я все помню! — Что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в катушинских губах.

— Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? — неловко допрашивал Сеня.

— ...Я тебе тут бельишко оставлю, не отказывайся. Подшить, так и поносишь! — продолжал вести свою мысль Катушин.

— Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано, — заторопился Сеня. — Это баба чулошная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу, — право, турнул бы!..

— Бабу не тронь... она за мной ходит, баба, — поправил Катушин.

Сеня встал и отошел к окну. Он обмахнул рукавом запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Темные окна не пропускали чужого взгляда внутрь.

«Настя... она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты...»

— Паренек... — заворочался Катушин, силясь поднять голову с пролежанной подушки, — дай-кось водицы мне... на окошке стоит.

Старик пил воду, чавкал, точно жевал. Отпив глоток, он внимательно глядел в низкий, прокопченный потолок, потом опять пил.

— ...Четвертого дня просыпаюсь ночью, а он и стоит в уголку, смутительный... дожидается, — сказал Катушин, откидываясь назад.

— Кто в уголку? — и невольно оглянулся в угол.

— Да Никита-т Акинфыч, дьячок-то мой... приходил. Я ему: ты подожди, говорю, деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, подожду.

— Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься... — убежденно сказал Сеня. — Ты не верь. Это истома твоя.

— Никита-т истома? — строго переспросил Катушин. — Не-ет, Никита не истома.

Сеня не знал, что возразить. Он вспомнил: достал исписанный листок и вопросительно поглядел на старика.

— Я тут стишок написал, прочесть тебе хочу. Ты послушай, — и опять глядел с вопросом Сеня, но стариково лицо стало еще неподвижнее.

Не смущаясь этим, Сеня стал читать по листку, но в угасающих глазах старика были только испуг и обида, точно заставляли умирающего бегать за быстроногим.

— Я пойду лучше... — потерянно сказал Сеня и встал. — Прощай покуда, Степан Леонтьич!

...В тот же вечер Матрёна Симанна занесла ему в лавку записку. Тревожными словами Настя просила Сеню прийти в девять к воротам ее дома. Старуха так вся и струилась легчайшими насмешечками, покуда Сеня перечитывал записку.

— Что ж это вы, божья коровка, кривитесь так? — тихо спросил он, постукивая гирькой по прилавку. — Чему бы вам радоваться?..

— Да что, голубчик, какая у старушки радость! — храбро проскрипела Матрёна Симанна. — Старушечья радость скучная! А свадебке как не радоваться... всё на платье подарят. Мне бы черненького, белое-то уж и не к лицу!

...Неслись в сумерки зарядской низины тонкие снежинки, первые вестницы зимы. Сеня присел на тумбу; потом, чтоб провести время, он походил взад и вперед: Настя все не шла.

«Заболела? Тогда не звала бы. Помер кто-нибудь? Тогда к чему я ей!» — так метались мысли. Зловещий намек старухи как-то не дошел до сознания.

У ворот стоял лихач, его только теперь заметил Сеня. О чем-то догадываясь, Сеня с ненавистью поглядел на пустое сиденье лихачовой пролетки. А лихачу, видимо, было скучно...

— Разлюбезненькую поджидаешь? — спросил он с величественным добродушием и поворочался, как на оси, на ватном заду.

— Нет, барина твоего убивать пришел, — озлился Сеня.

— Занозистый! — определил лихач. — А разлюбезненькая-то не придет, — зубоскалил тот певучей скороговоркой. — Я ее даве с солдатом видал. На лавочке в Александровском саду любовь крутят!

— Это ты мамашу свою видал, — съязвил Сеня, отходя от ворот.

В ту минуту скрипнула дверца ворот.

— Ты давно тут?

Она озабоченно смотрела на него из-под приспущенного на глаза белого пухового платка. Черная прядка волос выбилась на бледную щеку. В смутном свете ночи и снежинок был тот локон как-то прощально смел.

— Куда пойдем?.. К Катьке, что ли? — шепотом спросил Семён.

— Не хочу к ней. Пойдем туда... — Она указала глазами в темноту улиц. — Ты знаешь... это его лихач!

Подхватив Сеню под руку, она потащила его в переулок, неясно пестревший снеговыми пятнами. Сзади слышались шаги. Настя почти бежала. Впереди тоже шел кто-то. Они остановились и приникли друг к другу в темном углу двух высоких каменных стен.

— Настя, — горячо зашептал Сеня, привлекая ее к себе, — неужто в самом деле замуж выходишь?.. — и он наклонился к ней губами, нежно и жадно.

— Погоди... дай людям пройти, — быстро и досадливо оборвала Настя, отстраняя его от себя. — Потом.

Двое проходили мимо. Молодой с любопытством вгляделся, а другой, постарше и побессовестней, даже сказал «эге». Еще не дождавшись, пока пройдут, Сеня губами нашарил ее губы под платком. Они были солоны, холодны и влажны.

— Ты плачешь? — догадался он.

— Лихача-то видел? — вместо ответа сказала она.

— А ты как решила?

— Папенька просил... Хочет дело расширять. Он объяснял, я не поняла... — случайно или нарочно избегала Настя прямого ответа.

Вдруг Сеня махом сорвал с себя картуз, провел руками по волосам.

— Что ж, добрая путь вам, Настасья Петровна! — размашисто сказал он. — Зерно к зерну, а рубль к рублю. Хозяйкой будете...

— Он меня в театре увидел... Стал цветы присылать. Папенька смеялся, а я не знала, — рассказывала Настя и притягивала за руку Сеню. — Ну, обними же!

— Ты мне так не говори. Я тебе себя самого в конверте прислал бы, каб знато было... — Сенин голос дрожал.

— Куда пойдем-то? — И сама указала в свистящее вьюжное пространство, за арку Китайских ворот.

Теперь они шли по набережной навстречу снегу. Ветер был в сторону города, городских гулов сюда не доносилось. Место тут глухое. Река стыла и замедляла течение черных и гладких вод. Как огромные латунные подвески, спускались в глубь ее отражения береговых фонарей.

Они оперлись на парапет ограды и глядели в воду. Сенины пальцы гладили сухое, холодное железо решетки.

— На свадьбу-то позови... Калошки там снять понадобится, тарелочку помыть!.. Кто он?

— Мне холодно, — зябко ответила Настя.

Снег усиливался, швы в кладке гранитных камней побелели. На Китайской стене гнулись облетелые стебли сорных трав и хилых березовых кустков, выросших там прихотью ветра.

— Фирму Желтковых знаешь? Вот... оттуда, — сказала Настя и повернулась к нему спиной.

— В лесу бы мне с ним один на один встретиться! — ответил Сеня.

— Что ж, убил бы, что ли? — недоверчиво повернулась Настя.

— Нет. А сжал бы, сколь силы хватит. Выживет — пускай живет, собачья отрава!..

— Ну вот, — эхом сказала Настя, — а я девочкой на Петю Быхалова рассердилась, что никого не убил... — Она кусала губы. — Тебя на войну-то не возьмут?

— А тебе что? Нехорошо чужой невесте о чужом заботиться. Ведь не любишь?

— Право, не знаю... Чудно как-то, — созналась Настя.

XVI. Стёпушка Катушин кончил земные сроки

Шапошник помер ночью, в час, когда Сеня глядел вместе с Настей на стынущие воды реки Москвы.

Сеня не навестил Катушина перед смертью, и теперь его мучило боязливое раскаяние, что не исполнил последнего долга перед стариком. Он не видался в этот день и с Настей, не выходил никуда. Он стал ленив, ему стало все равно. Ему казалось, что вода и воздух пахнут свежей сосновой стружкой, носят горьковато-пресный вкус; его тошнило от еды.

Лишь на другой день, вечером, Сеня вышел из дому и почти на пороге столкнулся с женщиной в белом пуховом платке. Он узнал ее и не сказал ни слова привета.

— А я к тебе шла! — Настин голос был решителен и тверд. — Хоть и навсегда шла... Все равно, не могу больше!

— Ходить, что ль, не можешь? — усмехаясь, спросил он.

— Дома не могу. Всю комнату цветами уставили. Уйти некуда...

— Возьми да выбрось, — равнодушно посоветовал Семён.

— Помолвка завтра... — еле слышно прибавила она. Он оттолкнул ее и хотел пройти мимо.

— Ты не надо так! — резким низким шепотом заговорила она, догнав его у начала катушинской лестницы; губы ее тряслись. — Этим, Сеня, не шутят. А узел завязался, давай вдвоем распутывать.

Опять снежинки крутились в потемках постоялого двора. Где-то в глубине его лениво ругались из-за места извозчики.

— Что ж мне-то распутывать! Я тебе не муж. Мать вот письмо прислала, чтоб женился. По хозяйству дома некому.

— На мне женись, — быстро решила Настя.

— Ты не к дому нам. Деревня, Настя, не город. Что в городе можно, того в деревне нельзя, — тихо сказал Семён. — Ну, пусти... Степан Леонтьич помер, я на панихиду иду.

— Я с тобой пойду. Зачем ты меня гонишь?.. По лестнице, как ни противился Семён, они поднимались

рука об руку. Перед дверью, в темном коридоре, он остановил ее:

— Ты обожди. Я войду, а ты потом. Люди увидят, слух пустят.

— Пускай! — так же грубо, как и Семён, ответила Настя, нащупывая рукой холодную и липкую скобку двери. Она вошла первою.

Пахнуло на них не ладаном, а именно той самой сосновой стружкой, которая мерещилась Сене весь вчерашний день. Мастерская шапошника Галунова была сплошь набита зарядским старичьем: пришли проводить уходящего в век. Служба только что началась. Высокий, кривошеий поп от Николы Мокрого раздавал тощие свечечки, знакомые Сене. Рядом с Катушиным, одетым во все новенькое и дешевое, лежавшим с выпяченной грудью — не трудно мертвому блюсти человеческое достоинство, — шамкал псалтырь неизвестный лысый старик; когда переступал с ноги на ногу, скрипели его сапоги — скрипливые сапоги, новые. Читал он негромко, только для себя да для Катушина, изредка взглядывая на мертвого, чинно ли лежит, внимательно ли слушает горькие слова Давидовой печали.

На носу у чтеца сидели катушинские очки. Сеня догадался: пришел, а очки забыл... Ему и сказали: «Вот Степановы, — надень». Серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы. Стояла душная полутемь. Ее не одолевали три большие свечи, наряженные в банты из катушинской же сарпинки.

Сеня взял две свечи, для себя и для Насти, и прошел к окну. Настя встала рядом с ним и отвела платок с лица назад, точно хотела, чтобы все ее увидели. Это и было замечено, — дьячок, гнуся очередную молитву, обернулся назад и бессовестно разглядывал Настю. Сам он был исконный зарядьевец, и узнать что-либо про секретовскую дочку доставляло ему глубокое душевное удовлетворение.

— Дозвольте... я вам огонька предложу, — шепотком сказал он, протягивая Насте свою свечу, горящую. — Как папашино-то здоровье?

— Вы мне на платье капаете... — сухо заметила Настя.

— Ну и слава богу, слава... — не расслышал или только сделал такой вид дьячок и отбежал подсыпать ладану в кадило.

От свечей посветлело. Лица людей, освещенные снизу, бородатые — мужские и морщинистые — бабьи, имели отпечаток какой-то тупой, несоображающей мудрости. Они не печалились горю и не дивились смерти, они знали: жизнь — не луг со цветами, жить — не цветы с луга рвать. Среди них домовито суетились двое: чулошная баба и Ермолай Дудин, черный, подтянутый, заметно подъедаемый чахоткой. Он то распоряжался острым, приказывающим взглядом, то любовно, как женщина, поправлял подушку или картонные бахилки умершему другу, то оправлял фитиль большой свечи, помогая ей гореть торжественней.

Сосредоточенно, словно в последний раз говорил с Катушиным, стоял Семён, с глазами, опущенными в пол. Что-то белело у него под ногами; он пошевелил ногой и узнал аптечную коробку из-под ладана. «Съел тебя город, Степан Леонтьич, — подумал Семён, — и ладан твой съел. Будь того и другого вдвое больше, и тогда не осталось бы...» Семён кинул взгляд на Катушина; тот сделался теперь как будто еще меньше, потому что, казалось, был напуган всем этим шумом, происходившим ради него. Сеня не отводил глаз и вдруг заметил в поле своего зрения тонкий профиль Насти в свете мерцавшей свечи. Он перевел глаза на нее.

Она почувствовала, в ее похудевшем лице скользнуло движение улыбки.

— Обрати внимание, — шепнула она, касаясь дыханием его лица, — свечи в руках... Точно под венцом стоим.

— Молодой человек! — сказал в самое ухо Сене дьячок. — Свечи собирают... Представление окончилось, молодой человек! — ядовито повторил дьячок и подмигнул Сене пакостно и стыдно.

Перешептываясь, выходили по двое катушинские гости. В раскрытую дверь вползал кислый, холодный воздух, но все еще стойко держался запах тлеющего

фитиля. Кривошеий поп снимал ризу и обстоятельно расспрашивал чернобородого Галунова о катушинском конце. Свечи гасли, темнело.

Сеня уходил почти последним. И опять обернулся он с порога и вспомнил: с того самого места, у окна, где стоял с Настей, он впервые и увидел ее. Но теперь за окном было черно и пусто. Следуя уклону мыслей, он взглянул на свои сапоги: сапоги теперь были красивые, хромовые, приятно глядеть. Все переменяется на свете.

Коечку в углу уже разобрали, угол был пуст и ждал нового постояльца. Только небольшая кучка пыльного сора указывала, что в этом месте обитал хлопотливый человек, — он и насорил.

XVII. Разные события следующего дня

Дальше все пошло, как во сне.

Утром Быхалов сам, идя из города, прочел приказ о дополнительном призыве Сенина года. Сеня встретил сообщение о солдатчине почти равнодушно, — солдатчина сулила ему какой-то выход из положения. Не дослушав, он побежал на катушинские похороны.

Весь обряд похорон показался Сене подчеркнуто обидным. Бумажным пояском закрыли катушинский лоб, едва расправившийся от морщин. Поливали елеем, посыпали песком. Возница, длинный, сутулый верзила в черном, похожий на огромную отмычку для столь же огромного замка, влез на козлы, и похоронные дроги тронулись в путь. Встречные снимали шапки. Над домами кружили голуби. Падал снег и тут же таял. Дальше, когда потянулась чужая Москва, наняли провожатые извозчика. Их было всего двое: Сеня и Дудин. Чулошную бабу видел Сеня только на квартире, утром, — она возилась над катушинским сундучком.

Тут-то и показали тощие клячи всю свою непохоронную прыть. Длиннющими, как жерди, ногами они захватывали большие куски мостовой и неслись, словно боялись людского сглаза, словно обрадовались легкому грузу. За всю жизнь никогда и никуда не спешил так

Катушин. Дудинский извозчик тоже не отставал, — словно на свадьбу мчались. Мразь с неба усилилась и уже не успевала таять. Подняли верх.

За заставой, когда мимо побежали домишки, измельчавшие до последней жалкости, дудинский извозчик стал закуривать и поотстал. Извозчик спросил:

— Нет ли спичечки? Дудин сказал:

— Потерпи, черт, скоро отпустим! Тут Сеня с тоской заметил, что Дудин уже раздобылся где-то винцом.

Могилка проморозилась за ночь, но низина давала себя знать: на дне стояла лужица. Кладбищенский батюшка, олицетворение земного уныния, рассыпаясь на верхних нотках, изобразил надгробное рыдание и помахал потухшим кадилом. Сеня скинул вниз первую горсть вязкой холодной земли; она упала комом. Кладбищенский человек, коротконогий и веселый, усердно закидывал заступом розовый катушинский гробок и все порывался заговорить. Наконец он не выдержал:

— Как хотите, конечно, это на чей вкус... А по-моему, там никакого ада нет! Я вот одиннадцать лет копал, все думал: где же он, ад?.. А на двенадцатый открыл, что он промеж нас и находится... Только мы свыклися и не примечаем!

Борода у него была круглая, рыжая, разбойничья.

— Пьешь? — коротко и с презрением спросил Дудин.

— Пьем... — сознался могильщик. — А что?

— Ничего, ступай! — отвечал Дудин. Когда никого не осталось кругом, Дудин взволнованно вдруг провел рукой по непокорному ершу волос и вздохнул так глубоко, словно собирался последним словом почтить покойного.

— Здесь чайнуха одна есть, с секретом, — неожиданно воровато сказал Дудин. — Вроде поминок закатим... по бестелесном человеке! Пойдем, а?..

Но тут с Дудиным что-то случилось. Он припал к свежему катушинскому холму и весь затрясся. Плакал он всухую, без слез, и с таким звуком, будто в котле клокочет черный и густой сапожный вар... Его прощанье кончилось так же внезапно. Он встал и надел на голову свалившийся картуз.

— Эх, в трясине живем!.. — крикнул он и, не оглядываясь, забывая стряхнуть с колен приставшую землю, пошел с кладбища. Сеня догнал его почти у выхода.

...Чайнуха, набитая воровской мелочью и мастеровой голью, помещалась поблизости, в кривом, с крыльцом, домишке, сзади к нему примыкал пустырь. Уже вечерело, когда они пришли туда. Под черным потолком висела лампа с железным абажуром набекрень.

Они подсели к столику, за которым уже сидел один, — разглядеть его лицо было невозможно. Сеня впервые за всю жизнь пил жгучую противную смесь, не справляясь с отвращением.

Неизвестный, сидевший вместе с ними, глядел внимательно и грустно.

— Что же ты парнишку-то спаиваешь? — спросил он тихо у Дудина, прихлебывая чай из толстого стакана.

— А ты не злись, не подбавляй горечи! — вскочил Дудин. — На-ко выпей за упокой человека...

— За свой, что ль, упокой пьешь? — неодобрительно спросил человек.

— А и за мой выпей, какая разница! — клохчущим смехом зашелся Дудин. — Из каких сам-то — мастеровщинка, что ли?

— На заводе тут, по металлу работаем, — неохотно отвечал тот.

— Снарядики точите? А-а, подлецкое ваше дело! — без обиды заворошился Дудин, подливая в стаканы. — А мы вот человека схоронили. Предобрый старикашка! Ну, скажи, разов восемнадцать я инструмент свой пропивал... Приду к нему, грязный, пьяный — тень человека. «Ваше преподобие, скажу, одолжи три рубля на продолжение жизни!» — «Спустил?» — спросит. «Спустил, ваше преподобие!» Он и даст. Я его преподобием-то, чтоб не так совестно было. Так красненькая я ходила промеж вас всю жизнь. Бестеле-есный!.. — протянул мечтательно Дудин.

— Что ж за заслуга... что пьянству помогал? — усмехнулся незнакомый, свертывая папироску и смачивая край бумажки языком. — Жил-был и помер. Жалеть его не за что. В тихом житии не велика заслуга. Хоть брыкнулся бы!..

Дудин даже отодвинулся, заметно оскорбившись замечанием незнакомого.

— Ко-онешно! — передразвил он, выбрасывая руки вверх. — Зачем жи-ил? А кто ему судья! Ты ему судья? Кто меня судить может, как не я сам? Ну, говори, говори мне!.. А-а, ты молчишь, судья неправедный! А почему ты молчишь?.. А потому, что и сам не знаешь, зачем каждый день сапоги надеваешь!

— Я-то знаю... — засмеялся незнакомый.

— Что ж ты знаешь? Ну, отвечай мне, если можешь!.. Ответа не последовало, да его и не понял бы, может быть, захмелевший Дудин. Кто-то забежал к ним за перегородку и крикнул об облаве. Незнакомый поднялся, Дудин и Сеня побежали за ним. Дом еще не был оцеплен. Черный ход вывел их на пустырь, щедро изрытый канавами, как нарочно, для поломки ног. Люди разбегались во все стороны. Сеня потерял Дудина и двинулся наугад по тихой и длинной улочке, скудно освещенной десятком кривых фонарей. Голова горела от дудинского угощенья, стучала кровь в напрягавшемся кулаке: вот он идет, пьяный и осмеянный, а в Зарядье, за толстой стеной, пропивают Настю.

...Лавку еще не закрывали, когда Сеня вернулся в Зарядье.

— Где это тебя, экого, таскало? По книжкам бы сходил получить! Месяц на исходе... — ворчал Быхалов, когда Сеня нарочито твердой походкой проходил мимо.

— По книжкам?.. — непонимающе переспросил Сеня. Он прошел к конторке, подмигивая внезапному своему решенью, и выбрал книжку, по которой забирал бакалейные товары Секретов.

— Да куда же ты пойдешь в таком виде? — смутился Быхалов. — Спать бы шел.

— Вы думаете, я пьян? — подошел Сеня к прилавку. — Нет, я не пьян.

...Мимо знакомого лихача и нескольких извозчиков, стоявших у ворот, Сеня прошел прямо на секретовскую квартиру, зловеще глядя в точку перед собой. Он поднялся по лестнице и постучал в дверь. За дверью слышны были голоса и вскрики — зарядские помолвки шумные. Сеня постучал еще раз и, не сдержав злости, сильно ударил сапогом в дверь.

— Кто там? — спросил из-за двери испуганный старушечий голос.

— Отвори, Матрёна Симанна! По книжке пришел получить!

— Через часок приди. Вот женихи уедут... — вразумляюще шепнула она, отворяя дверь.

— Велено ждать, — твердо сказал Сеня, почти насильно втискиваясь в прихожую. — Вот я тут, в уголышке, примощусь.

Старуха, боясь затронуть пьяного, металась по прихожей, а Сеня смирно сидел под шубами, держа книжку на отлете в руке. Кажется, он задремал, времени не заметил. Он открыл глаза, когда прихожая наполнилась вдруг шумными возгласами.

Купцы прощались в дверях столовой, посмеиваясь, причмокивая и разводя руками.

— Ну и спасибо, сват, — спокойно говорил один. Другой, похожий на начетчика, одетый поневзрачней, со впалыми висками и с карей проседью в бородке, потирал руки и очень мягко говорил:

— Втроем теперь будем огород городить... С песенкой!

— Честь малому человеку делаете, — чванился Секретов. — А втроем это мы действительно шарахнем!..

— Шарахать-то с толком нужно, — осторожно заметил женихов дядя, невзрачный.

— А мы и с толком. Затрудненья нет! — заметно смутился Секретов, оправляя круглую бороду.

Жениха сразу нашел Сеня. То был мелкого сложения человек, поджарый и напомаженный. Когда смеялся, вся его чистенькая мордочка завязывалась узелком вокруг восторженно выпученного рта. Настя кусала губы. Пётр Филиппыч, разговаривая с гостем, поглядывал на нее просящими, быстрыми глазами.

Пётр Филиппыч сразу заметил, как залилась румянцем Настя, и, проследив ее взгляд, увидел Семёна.

— Зачем пришел, а? — коротко и мягко спросил Секретов Семёна и, подойдя ближе, понюхал воздух.

— Вот! — и щелкнул ладонью по книжке.

— Что это у тебя? — осторожно осведомился Пётр Филиппыч.

— По книжке велено получить, — осипшим голосом произнес Семён.

— По книжке? Ну-ну! — догадался по-своему Секретов и тут же пояснил будущему свату, покачивающемуся на растопыренных чурбаках ног: — Вот народец у нас! Тут я с лавочником в контрах. Так вот он и догадался в такой час потрафить, пьяного прислал. Извините уж, гости дорогие!..

— Да сколь хочешь, пожалуйста, — чванно усмехнулся толстый.

— Ты подожди, парень, — вот гостей провожу... и рассчитаюсь с тобой! — сказал Секретов.

Но он уже не отходил от Семёна, заметив Настино беспокойство. Жених тоже учуял беду и неприметно оглянулся на отцов.

— А я вот что придумал, — вдруг обрадовался Секретов внезапной мысли. — Поступай-ка ты, парень, ко мне в службу... Я тебе и жалованья больше положу... Не век же тебе в мальчишках слоняться. А пока подержи вот шубу женишку... Может, и на чай отвалит, коли не скуп!.. — и подмигнул приглядывавшемуся ко всему с лисьей осторожностью невзрачному свату.

Семён взял шубу из рук жениха и растянул ее в руках, придерживая. Настя окаменело глядела на него, настрого сдвинув брови. Держа кашне в зубах, жених полез руками в рукава, а Семён поднял его, как на дыбу, вместе с шубой; тут-то с женишком и случилось событие, повернувшее всю торжественность помолвки в один непристойный для купеческого дома ералаш.

XVIII. Катина родинка

Сене отперла сама Катя.

— А Насти у нас нет! — сказала она, удивившись позднему его приходу. Впрочем, тотчас же тень какой-то догадки скользнула у нее на губах. — Да что же вы на пороге стоите?.. Входите!

Сеня все так же, без объяснения своего прихода, вошел в переднюю. Судя по тому, как он оглядывался, можно было предположить, что тут только он сообразил, куда завлек его хмель.

— Она обещала прийти? Вы разве не знаете, мы с ней немножко рассорились! Из-за вас вышло... — добавила тихо Катя.

Блузка ее была смята, а волосы растрепаны, — очевидно, дремала, когда раздался Сенин звонок.

— Ну, не в передней же стоять! Пойдемте ко мне, что ли... — объявила Катя и непринужденно потянулась. — Где это вы так?.. Я напугалась даже.

Сеня заговорил не раньше, чем вошел в комнату и сел на стул. Но сел уж не робко, как прежде, а всем телом, вразвалку.

— Спала, что ли? — грубо спросил Сеня, не справляясь с косящим взглядом.

— Да, но... ты сиди, сиди! — тоже на «ты» перешла Катя. — Я ведь все одна... скучаю!

— Жениха сейчас обидел, — жестко сказал Сеня и сделал неопределенное движение рукой.

— Настина жениха? — заинтересовалась Катя. Она расположилась было поудобней на смятых подушках, но тут с любопытством приподнялась. — Как же ты его... так, что ли? — она наотмашь махнула рукой.

— Не... — нехотя отвечал тот, встал и скинул на пол плохонькое свое пальтецо. — Жарко! — и оттянул ворот рубашки, впившейся в смуглую, раскрасневшуюся мякоть шеи; потом он взял попавшийся на глаза гребень и запустил его в волосы, но завитки спутались и не давали гребню прохода.

— Положи, сломаешь! — вскользь заметила Катя. — Так ты, значит, на квартиру к ним приходил?

— Дай воды сперва попить...

— Вон там в графине на подоконнике возьми... Ну и как? Сеня не спеша налил стакан. Рука дрожала и расплескивала воду. Он выпил все в два глотка и опять сел, тупо уставясь перед собою.

— Настькин отец говорит: «Подержи шубу», — начал рассказывать он.

— Кому? — воззрилась, замирая от любопытства, Катя.

— Жениху, конечно! А я его поднял вот этак... не тяжеле мешка, да ка-ак брошу, с шубой вместе. Уж больно я на себя озлился, что шубу ему стал подавать... — Опять попался на глаза гребень, и опять стал расчесывать Сеня

волосы, но гребень хрустнул, и кусок его, выскользнув из волос, упал на пол.

— Ну вот, видишь? Говорила, что сломаешь! — объявила без всякой досады Катя.

— ...Я за нее по кусочку бы себя отдал тогда... — продолжал Сеня, и по всем мускулам его пробежала смятенная волна. — Зачем она за меня в глаза им не вцепилась.

— А Настя что? — допрашивала Катя, закладывая руки за голову.

— Она меня выгнала... как щенка пихнула!

— А ты и ушел?..

— Ушел... а что?

— Хорош, нечего сказать! — Катя тихо засмеялась; смех ее был ровный, щекочущий, осторожный, как кошачья походка. — Значит, Настьку-то с руками этому воробью отдал! Ребят-то не нанимали нянчить?.. — И насмешливо поиграла острым кончиком высоко прошнурованного ботинка.

— Не дразнись, — сказал он, опуская голову. — Зачем меня дразнишь?

Катя лежала с закинутыми руками, головой на подушке, вышитой тяжкими шерстяными розанами.

— А может, я тебя утешить хочу? — И опять смешок ее, обжигающий Сенино самолюбие, прозвучал коротко и смолк. — Ты вот злишься, а может, я слезы тебе хочу утереть... Я ведь добрая!

— Говорят тебе, не дразни, а то уйду! — повторил Семён и поднялся.

— Куда? К Настьке пойдешь? Там тебя отец собаками затравит. Тебя и затравить-то, так простят. Много ли стоишь, кисельное блюдо!

— А я тебе сказал и в третий раз... Не трожь меня! — Сеня угрожающе подошел к Катину диванчику и глядел на нее немигающими глазами. — Смотри, мое слово коротко!..

— А мое длинно! — дразнила Катя. — Ты сильный... Ты вон какой, а тебя девчонка выгнала, так ты и реветь готов.

У Кати в комнате горела лампа с узорчатым абажуром. Катино лицо лежало вне круга света, матово мерцая в потемках.

— Ты не гляди на меня так, — смешливо заговорила она. — Я ведь одна дома. Смотри, не испугай меня... — Вдруг Катино лицо разжалось, распустилось. — Садись вот тут, — приказала она и подвинулась к стенке, чтобы дать место Семёну. — Шаль-то скинь на стул и садись!..

Тот молчал, побежденный в поединке. Голову обволакивал какой-то чугунный хмель. Вдруг ему представилось, что все вещи стали звенеть, каждая по-своему, — звон дурманил.

— Что ж, и сяду! — сказал Семён и нескладно присел на стул.

— Нет, вот сюда садись, — и указала место рядом.

— Ладно, — и сел туда, куда указывала. Катины, с обгрызенными ногтями, пальцы играючи бегали по блузке.

— Смотри, — сказала Катя, распахивая верх блузки. — Видишь?

— Ну, вижу.

— Родинку видишь?.. нравится?

— Ничего себе. Махонькая... — определил Сеня, тяжело уставляясь на Катю. Немного вверх, над грудью, где кожа припухала странной мерцающей голубизной, томилось маленькое темное пятнышко, темный глазок греха.

— Сейчас отец придет, — вслух думала Катя, все еще с раскрытой блузкой. — В десятом собирался вернуться.

— Настьку хочешь обидеть, — сказал Семён. Он и видел Катю и не видел. В висках клокотала разгоряченная кровь. Душе было гадко, а тело безумело и начинало качаться, как маятник. Все вещи дразнили, точно хотелось им, чтобы хватили их о пол и расхрустнули каблуком. Катя двинула плечом, потушила глаза и затихла. Вдруг Семён поднялся и резко засмеялся.

— Время-то течет, как по желобу! — сказал он, обводя усталыми глазами комнату. — Набедокурили мы с тобой! Эх, Катька, Катька...

Катя насмешливо поглядела на него и рывком запахнула блузку. В следующее мгновение она убежала из комнаты и вернулась через минуту.

— Уходи скорей, — зашептала она, не глядя на Семёна. — Я на часы хотела взглянуть... они у отца в спальне. А он уж пришел... молится там! Ступай, — комкала слова Катя.

Семён шел за ней в переднюю намеренно громким шагом. Уже уходя, он попридержал дверь ногой:

— Стыдно тебе небось, а? Замуж-то я тебя все равно не возьму.

— Мужик вахлатый!.. — не сдержалась Катя и захлопнула дверь.

Щелкнул крючок, и Семён остался один в темноте лестницы. Он сошел вниз и поднялся по улице вверх из низины. Нежилым, каменным духом повеяла на него Варварка. Он шел мимо нижних рядов. В провалах глубоких ворот на ящиках дремали в тулупах сторожа. В глухих переулках, соединяющих низ и верх, он пробродил большую часть ночи. К рассвету усталые ноги вывели его на Красную площадь, затянутую робким, нетронутым снежком. Так же медленно он спустился опять в Зарядье. В смятой памяти проходили события минувшего дня: сухонький лобик Катушина, дудинский картуз, валяющийся в грязи, чайная кружка с мутным, тошным ядом, выпученные глаза жениха, гневный и зачужавший взгляд Насти, губы Кати, взбухшие, как нарыв...

Он стоял как раз перед гераневым окном. Оно, занавешенное белым, смотрело на него глухо и безответно. Во рту у Семёна было горько, а внутри совсем пусто.

Город просыпался...

XIX. Конец Зарядья

Семён перед отъездом заходил к Дудину в его подвал проститься. Увидя Семёна в солдатском, похудевшего и подтянутого, еще больше захлопотал Дудин по своей мастерской.

— Сноп-то научился колоть? — резко крикнул Дудин и щепкой, которую держал в руке, почесал седой затылок. — Ты смотри, человек не сноп! Уж там не промахивайся... Ну-ну, воюй, воюй... добывай военное отличье: медаль на брюхо, деревяшку к ноге!

— Прощай, Ермолай Дудин, — сказал Семён, с тоской глядя на мутное дудинское оконце; он так и звал его в разговоре: Ермолай Дудин.

Потом он камнем канул в черную пропасть забвенья и войны...

Зарядье к тому времени уже теряло свое прежнее обличье. Ход махового колеса замедлялся. Смрад войны проникнул и сюда. Как-то и дома стали ниже, и люди темнее, а орган секретовской «Венеции», забравшись на высокий плясовый верх, поломался однажды зимой.

После Семёнова отъезда еще унылей стала Настина жизнь: свадьба расстроилась... Настя поднимает с пола недочитанную книжку, пробует читать. Строчки прыгают, меняются местами буквы, не хотят, чтобы их читали. Настя захлопывает книжку и подходит к окну. Небо серо. На улицах снег. На снегу ворошатся воробьи.

Когда после смерти матери убирали угловую комнатушку, нашла под материной кроватью старую обезображенную куклу. Целый день просидела над ней Настя, навила ей целую охапку пегих кудрей, но прежней молодости было уже кукле не вернуть.

...Грустная, с ноющей спиной, Настя подходила к окну: стыли в вечернем морозце апрельские лужи. В доме напротив кто-то переезжал. У ворот стоял воз, нагруженный доверху.

Матрёну Симанну оставил Пётр Филиппыч до времени жить у себя, в той же угловой комнатушке. Настя идет в угловую... Матрёна Симанна сидит на полосатом матраце, — все, что осталось от материной кровати, — и при входе Насти торопливо прячет что-то за кровать. Возле нее лежат только что купленные вербы.

— Ты не прячь, я видела, — говорит Настя. — Печки надо бы протопить. Сыро у нас, знобит.

— У папеньки уже затопил Григорий, — приглушенно отвечает Матрёна Симанна и, решившись, вынимает из-за кровати черную бутылку. — Мамашенькино место навестить пришла, умница? — робко сменяет она разговор.

Настя берет какой-то темный пузырек, оставшийся на столике, вертит его в руках и вдруг, почти кинув его обратно на столик, трет руки о передничек.

— Чего у тебя там?

— Где, умница?

— В бутылке...

— Мадерка в бутылке, — с унылым страхом сообщает старуха.

— Налей мне!..

Настя отпивает мелкими глотками и оглядывает комнату.

Как неузнаваемо переменилась эта комнатушка! Когда девочкой приходила сюда, казалась она местом страшной тайны, осиянной цветным горением лампад. Полуденный свет, бесстыдно ворвавшийся сюда теперь, обнажил всю ее убогость: оборванные, отопревшие от стены обои, нелепый гардероб в углу, похожий на двухспальную кровать, поставленную дыбом.

— Моли у нас много! — жалуется Матрёна Симанна, прихлопывая одну в руках. — Вот все морильщика жду, не зайдет ли...

Настя уходит. Мысли приятно кружатся. Она накидывает шерстяной платок и бежит на улицу. Ее путь к Кате.

— Можно к тебе?

— Можно, будем чай вместе пить, — с холодком отвечает Катя.

— Нет... я так посижу, не раздеваясь! — говорит Настя.

— Тут тебе письмецо Семён прислал... чуть не забыла! Вторую неделю лежит. Он и тебе и мне по письму прислал... — намекающе смеется Катя, и Настя это замечает.

Настя берет письмо и вскоре уходит.

— Какая ты толстая стала, — говорит она уже в дверях. — Знаешь, ты, если и похудеешь, все равно толстой останешься!

...Все сильнее покрывались будни Зарядья какой-то прочернью. И раньше была в них чернота, но пряталась глубоко, а тут проступила вдруг всюду, словно пятна на зараженном теле. Где-то там, на краю, напрягались последние силы. С багровым лицом, с глазами, расширенными от ужаса и боли в ранах, Россия противостояла врагу. Все еще гудели поля, но уже железная сукровица смерти текла из незаживляемой раны... Только Настя да Дудин ощущали близкий конец. Третий, в ком могла бы столь же неугасимо полыхать тревога, был слишком поглощен собственными печалями.

...Метался Зосим Васильич. И как-то, еще летом, надумал искать последнего приюта в монастыре. Даже справки наводил стороной: можно ли, если все семнадцать тысяч, сумму всего быхаловского жизненного подвига, единовременным вкладом внести, иметь себе пожизненную келью для отдохновенья от жизни, скорби и труда? Но согласиться отдать все семнадцать — значило признаться в своей давнишней, первоначальной ошибке. Сделать это сразу Зосим Васильевич не решался.

Стали к Быхалову монахи ходить, тонкие и толстые, ангелы и хряки. Но у всех равно были замедленные, осторожные движения и вкрадчивая, журчащая речь. Иные пахли ладаном, иные — мылом, иные — смесью меди и селедки. Семья быхаловских запахов в испуге расступалась перед монашьими запахами, неслыханными гостями в быхаловской щели.

Однажды в конце октября сам монастырский казначей пожаловал, сопровождаемый двумя меньшими. Был казначей внушителен, как колокол, шелковая ряса сама собой пела о радостях горних миров, а руки были пухлы и мягки — гладить по душам пасомых. Весь тот день намеревался провести Зосим Васильич в тихих беседословиях о семнадцати заветных тысячах и о человеческой душе.

Спрашивал казначей, обдумал ли Быхалов свое отреченье от мира и тлена. Интересовался также, в процентных ли бумагах у Быхалова все семнадцать или просто так, кредитками. Грозил погибелью низкий казначейский баритон, журчал описаниями покойного райского места.

Гладя себя по волосам, повествовал казначей не слышанное ни разу Быхаловым преданье о Вавиле. Жил Вавила, и ел Вавилу блуд. Ушел в обитель, но и туда вошли грехи. Тогда в самом себе, молчащем, заперся Вавила, замкнувшись засовом необычайного подвига. Но и туда просочились, и там обгладывали. И вот, в одно утро, бессонный и очумелый, ринулся Вавила на беса и откусил ему хвост. А то не хвост был, а...

— ...постигаешь? — и ласкал свою жертву темным повелительным оком.

И распалилась быхаловская душа, и уже примерял в воображении рясу на себя Зосим Васильич, и уже гулял

в ней по монастырскому саду, где клубятся черемухи под девственным небом всеблагой монастырской весны. Там — забыть о напрасной жизни, забыть о сыне, сгоревшем от буйственных помыслов, там утихомириться возрастающему бунту быхаловского сердца.

Было даже удивительно, как неиссякаемо струится из казначея эта сладкая, густая скорбь... И вдруг икнул казначей; Зосим Васильевич вздрогнул и украдкой огляделся. Один из меньших монашков зевал, а другой вяло почесывал у себя под ряской, уныло глядя в окно.

— Что, аль блошка завелась? — резко поворотился к нему Быхалов.

— Новичок еще у нас... на послушанье, — быстро сообразил казначей, строгим взглядом укоряя монашка, покрасневшего до корней волос. — Из таких вот и куем столпы веры!..

— Ну, брат, как тебя ни куй, все равно мощей не выкуешь! — сказал резко Быхалов и встал, прислушиваясь.

В ту минуту над опустелыми улицами Зарядья грохнула первая шрапнель. Настя видела из окна: кошка сидела в подворотне и нюхала старый башмак, лежавший дня три в бездействии. Кошка улизнула, а Настя, отбегая от окна, еще успела заметить, как выскочил из ворот ошалелый Дудин, крича что-то, с руками, поднятыми вверх. Она видела: он перебежал переулок и скрылся за углом.

Зарядье казалось совсем безлюдным. Воздух над ним трещал, как сухое бревно, ломаемое буйной силой пополам. Только у Проломных ворот наскочил Дудин на какого-то в чуйке, бежавшего от ужаса приходящих времен.

— ...Кто? Кто паляет?! — возопил Дудин, пугая чуйку какой-то особенной восторженной решимостью лица.

— Ленин к Москве подступил... — прокричала та, отшатываясь от Дудина.

— Палят-то отколь? — всей грудью закричал Дудин, стараясь перереветь небо.

— ...со Вшивой горы... от Никиты-мученика! По Кремлю разят... — и побежала по кривым переулкам в глубь Зарядья, держась стены.

Дудин проскочил в Проломные ворота. По набережной мимо него быстрым точным шагом прошли юнкера.

А он бежал прямо по мостовой, спотыкаясь и кашляя, прямо туда, за Устьинский, где пушки. Щеки его зашлись от бега синим румянцем, но горели глаза, как у побеждающего солдата. Никто его не останавливал, потому что и некому было его остановить.

Вдруг кровь сильно прилила к голове, и в глазах у Дудина помутилось. Он остановился и присел отдышаться на тумбу.

Вшивая горка стреляла, как вулкан. Отдельные всплески пушечных выстрелов соединялись между собой, как цепочкой, нечастым постукиваньем пулеметов. Начинался Октябрь...

Весь в холодном поту от бега, Дудин посмотрел вверх и почему-то вспомнил незнакомца в чайнухе, год назад. Вдруг в груди заклокотало и запершило в горле. Он отхаркнулся и плюнул перед собой. Мокрота показалась ему необычного цвета. Он отплюнул себе в ладонь и, притихнув, напуганно глядел на большие кровяные сгустки, плававшие в мокроте. Глядел он долго и как-то чересчур внимательно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Аннушка Брыкина изменила

Над огромным, немеряным полем снежное безмолвие висит. Пришел тот вечерний час, когда останавливаются ветры дуть, не находя себе пути в потемках. И впрямь: три леса, плотных и черных, вышли на углы поля, три одинаких, неприступных, как три скалы. Зимние ветры, — сколько их, больших и малых, заплутало безвестно в густых мраках этих лесов, сколько порассеялось снежным прахом, сколько их в мелкие, вьюжные вьюны извелось!

А в сумерки эти ныне падал снег. Не крутясь, не волнисто, а медленно и прямо упадала каждая снежина, будто длинное, снежное протягивалось с неба волокно. На опушке стоять, спиной к ели, — каждому дано услышать легкое шурстенье проползающей зимы. И хоть несла каждая снежина кусочек света с собой, и было их много, — густели сумерки, одолевала ночь.

В сумерках проснулся ветер, к ночи разошелся вовсю. Он и над тремя лесами кружит, он и по дороге бежит — малоезженной, закругленной, словно прочеркнулась взмахом откинутой руки. Да он и без дорог: ветру везде путь. Будет время, будет лето, встанет звонкая рожь по месту снежного безмолвия, — никому и в ум не придет вспомнить, как свирепствовал здесь, в снежной глуши, ветер — хозяин ночного поля. А у хозяина в подслужье и волк, и мороз, и обманная метельная морока, а порой и самая человеческая суть. Ими правит хозяин, хлещет, как ямщик коней... Они-то и влекут за собой событие ночного зимнего поля.

Аннушка Брыкина Сергея Остифеича Половинкина из Гусаков домой везла. Путь длинный и скучный.

Считали бабы от Гусаков двадцать одну версту до села Воры. Бабья верста хоть и не длинная, да по времени и казенной версты длинней: мороз закрепчал, ветер озлился. Колко и резко стало Аннушке глядеть в острую путаницу расходившегося снегового самопляса.

Тут месяц скачливый, непрестанно поспешающий куда-то, прошмыгнул в дымных облаках. Он и глянул мимоходом на ночное поле, о котором речь. Дорога на мгновение прояснела.

Стали видны Аннушкины сани-ошевни, широкие, полны сеном: спать в нем. Так и есть — под овчиной и толстой, затверделой дерюгой полеживал в сене, укрывшись с головой, сам уполномоченный по хлебным делам четырех волостей Половинкин. Ему тепло и мягко, укачали ухабы плотное тело Сергея Остифеича, а запахи согретой овчины и сена приятно щекочут ноздри. Они-то и склонили Половинкина в пушистый овчинный сон.

Мнится Половинкину жаркая сплошная несуразица. Не то сенокосная луговина, не то страдное поле. И на поле том — огромной широты — движется баб неисчислимое количество. А зачем они не косами машут, а серпами траву берут, невдомек подумать Половинкину. Да и не до дум тут: влажные запахи повянувших трав совсем с ума свели Сергея Остифеича кровь. Да и сознание необыкновенной своей должности кружит голову: ходить среди согнутых баб, неуклонно блюсти равномерное производство травяного жнитва, покрикивать время от времени: «Каждой травине счет! Каждой травине...» Да будто и нет никого в белом свете, кроме как Сергей Остифеич... Он, Половинкин, и есть ось мира, а вокруг него ходит кругом благодарная баба-земля.

Сам Половинкин в соку мужик. Он не молод, да и не стар, и не толст, и не тонок: во всех статьях у него мужская мера соблюдена. Волос у Серёги мягкий, играющий, каштанового цвета, бабий ленок. Лицо хоть и с припухлостями, зато взгляд победительный, взмах кнута в нем. Сколько бабьих сердец потаяло напрасной мечтой о Серёге!

В своем овчинном сне подкрался Серёга к одной, да и щипнул, просто из удовольствия: «Не виляй, мол, баба... Бери траву веселей! Каждой травине счет!» Баба

же обернулась да тырк Серёгу в нос. Даже и обидеться не успев, чихнул Серёга и очнулся.

Сенной стебелек, в нос заскользнув, определил окончанье половинкинского сна. Но, не успев еще сообразить толком эту причину, вторично чихнул Сергей Остифеич и окончательно спугнул сладкую истому дремоты; потянулся, овчину пооткинув с лица, выглянул и вспомнил.

Ночь и сон. Вьюга с присвистом сигает через подорожные кусты... Ах да, в Гусаках ссыпной пункт ездил устраивать. Ночь и сон. Ах да, несется в самоплясе снег, а жаркая овчина славно хранит надышанное тепло. Вздремнул. Холодает, холодает к ночи... Экая темь! Ночь и сон.

Половинкин ворочает головой. Ветер ударяет в него целой пригоршней крупных снежин. Они тают и текут по припухшим от сна щекам. Память работает отчетливей. Теперь путь в Воры... готовиться к лету, уламывать мужика, уговаривать, что-де и городу нужен хлеб, грозить... А мужик недвижим, что пень, — какое на него уговорное слово сыщешь?

Сергей Остифеич кряхтит от неприятных воспоминаний, но преодолевает тяготы яви теплое благодушие сна. Ах да, и везет его в Воры Анна Брыкина, та самая, у которой муж затерялся в смертоносных полях. Та самая, у которой и бровь играет, и ноздря играет, и сама вся смехами переливается, как радуга. Закидывает глаза кверху Серёга, за собственный лоб. И тут продолженье недавнего сна. Зад Аннушки, немилосердно утолщенный полушубком, на мешке, над самой Серёгиной головой сидит. Серёга смотрит секунду и кашляет с непоколебимой суровостью: вот так же он по хлебным делам мужиков уговаривает, так же и с начальством говорит.

Только Аннушке невдомек уполномоченская строгость: своим голова забита. Она дергает вожжи, понукает и чмокает, боясь заснуть и вывалиться в рыхлый, разбесившийся снег. А руки стынут и в варежках, а голова склоняется все ниже, пока не коснется подбородок жесткой, промерзлой овчины. И опять помахает кнутовищем, разгоняя застоявшуюся кровь, и опять рванет ошевни рослая брыкинская кобыла, не спешащая в нескончаемую, вертящуюся мглу.

— Уж и спать устал... расчихался! — обернулась Аннушка, хлопая варежками по коленям.

— Едем где?.. — вопрошает Сергей Остифеич и глубже нахлобучивает кожаный картуз. «Вот тоже, в этаком картузе все уши обморозишь! Не по климату такой. А без него нельзя: боятся картуза!» — Отпетово-то проехали?

— Да нет, я верхом поехала. Верхом верней. Я там дороги не знаю.

— Верст небось десять еще осталось? — хмурится Половинкин.

— Да мы шестнадцать считаем... — смеется Аннушка. «Э, черт! Ну и должность! Мотайся тут, ровно дерьмо в проруби!..» — раздумывает Половинкин и пробует забыться. Ночь и сон... но сон уже не приходит. Выбирает на ощупь соломину и обгрызает ее зубами. Зубы у Половинкина белые, смелые, но двух передних недоставать стало после одного военного дня. Когда гневается Серёга, резко свистят через зубную отдушину уполномоченские слова.

— Кто же ты теперь, вдова, аль как?.. — приступает к делу Сергей Остифеич, выплевывая соломину в проползающий снег.

— Ни вдова, ни девица, ни мужняя жена... — Аннушка сердится и резко дергает вожжу.

— Что же это ты так! Ведь этак даже как будто и нехорошо, — выражает сочувствие Сергей Остифеич.

— Совести в нем нету... — говорит Аннушка как бы про себя. — Только и наезжал четыре раза за все года! Зачем и жениться было! А полушалки да платья... к шуту ли они мне! С полушалками, что ли, я жить буду?!

— Неужели четыре раза?.. — просветляется Половинкин. — Вот голова! Меня б коснулось, так я, как лист, прилип бы, да и не отлипал вовек!

Аннушка сидит спиной к Серёге, и не видно, хмурится ли, рада ли Серёгиной шутке.

— Ой ли? — насмешливо роняет она.

— Ан и в самом деле! Да коснись меня... — Половинкин так вздыхает, что кобыла прядает ушами и покорно убыстряет шаг.

Снова наблюдает Сергей Остифеич, как дымится и ползет дорога из-под ошевень. А тут в лесок въехали —

здесь поутих ветер, не хлещет через край. Здесь ходко лошадь бежит, и звуков прибавилось: скрипят полоза, да еще селезенка бьется в лошадином брюхе, да еще осыпается снег с запорошенных ветвей, задеваемых дугой.

Целые охапки снега падают на Аннушку — не замечает, полна обидой на пропавшего мужа. Муж!.. А уж она ли его в думах и в письмах хоть на неделю не призывала! Врала даже, хоть на ребеночка льстилась вызвать. Все некогда. Деревянному мужу дороже жены рубль. Аи, много ли ты, Егор Иваныч, в банке накопил?

Аннушка круто поводит плечом, а кнут свистит злей и пронзительней.

— ...Скучно небось без мужа-то? Молодая, не жила совсем, — зудит Сергей Остифеич, метя как раз в Аннушкину печаль.

— Не тревожь, — обороняется через силу Анна. — Зачем бередишь? Чего тебе деревенская далась! У себя в городу дюжинками, гляди, считаешь.

Чуть не с колыбели знает все прямые и кривые ходы к женскому сердцу Серёга. И уже напрямки идет, нещадно перекручивая ус:

— В городу! Рази у нас в городу такое добро пропадает? У нас строгий учет всему. Каждой травине счет, а уж баба никак не затеряется. Например, я: я б тебя моментально под номер, да и выдал бы герою, вот. Рази же это путно, такой молодке пропадать!

Аннушка молчит, дорога длится нескончаемо. Серёга продолжает:

— У меня вот тоже знакомая бабочка была, тоже Анна. Мужа у ней убили, так и высохла вся... В тридцать лет бабушкой кликали.

— Где его убили? — вздрагивает Аннушка, сторожко прислушиваясь.

— А вот на этой, на войнище на царской... Царь прикажет, а тысяча мужиков поляжет. Да что, убитому-то хорошо, отвонял, и не думается. А вот бабам маета. Я к тому, что ведь и твой, кажется, на войну ушел?

— Взяли... — не своим голосом отвечает Анна. — Может, уж сгнил где!

— И очень возможно, — играет Половинкин. — Ежели, к примеру, летом, так ведь они быстро изводятся.

— Зачем ты меня горячишь? Я тебе не жена, — смутно лепечет Аннушка. — Спи-лежи, скоро Воры будут.

— Да я разве сказал что? Мое дело стороннее, — пожимает плечами Половинкин. — Я только тебя пожалел.

И опять снега идут, снеговой самопляс и путаница. Балуется ветер снегом, пересчитывает, обсушивает каждую снежинку, словно готовит впрок.

— Слушь-ка, Анна... отчество-то забыл: озябла поди, давай я поправлю. А ты на мое место, грейся!

— Ну-к ладно... — не сразу соглашается Анна, а голос ее сам собой просит жалости.

Она передает вожжи и меняется местом со своим седоком. Целые три минуты наполнены скрипом снега, оглобель да вязким хлюпаньем лошадиных ног. Снова в лесу, но дорога совпала с путем ветра. Метет и морозит, ночь и сон. Аннушка, залезшая под овчину, вдруг видит: уполномоченный, намотав вожжи на боковой тычок ошевень, подтыкает разлохматившееся сено.

— Куда тебе?.. — приподнялась Анна.

— Пусти, замерз весь, — отвечал Сергей Остифеич. Все падал снег, и без конца тянулось поле, а лошадь сама, без понуканий, шла. Были Анна и Серёга как будто одной и той же рукой выкованы друг для друга — оба рослые и сильные. Но вырасти б на Аннушкиной совести черному пятну греха, если бы на рассвете, когда убаюкала их овчина дружным любовным сном, не случилась смешная беда. На крутых поворотах всегда передуванье снега. Прикатался поворот и на раскате доходил до сажня. На нем покачнулись ошевни и стали на ребро. Небывалое дело: вылетели при этом оба спящих в глубокий снег. И когда охватило холодом сонную их разгоряченность, засмеялась Аннушка, засмеялся вслед за ней и Половинкин. А там, где смех веселый и беспорочный, там нет греха, а только биенье ключа жизни.

— Что же ты меня, баба, вытряхнула! — скалил дырку в передних зубах Половинкин.

— Сам, грешник, виноват! — смеялась Аннушка и заботливей укрывала Серёгины ноги дерюжкой.

Не чуяла Анна греха в том, что променяла кволого, может, и мертвого, на живого и здорового мужика... Любовь их на лад шла, даже как-то слишком скоро свык-

лась Анна с положением невенчанной жены чужого мужа. А уж все село стало примечать, что зацвела второй любовью Анна. Но в глаза соседкам смотрела Анна без робости, не скрывала от осудительного взгляда растущего своего живота. Заметили также, что, и не потакая вредным стремлениям мужика к утайке хлеба, стал Сергей Остифеич к брыкинскому дому ласковей. Он и в дом к Брыкиным заходил, а однажды обозвал Аннушкину свекровь «мамашей». Ничего та не ответила, только пуще загрохотала ухватами, доставая кашу из печи.

Но по мере того, как возрастал Аннин живот и уходила зима, все больше угрюмилась Анна. Весна борола зиму, и уже выглядывал из брыкинской скворечни домовитый черноголовый скворец, днем носивший к себе разный пушистый сор, вечерами свиристевший о многих веселых разностях: о весне, тающем снеге и о прочей птичьей ерунде.

Весенними вечерами сидела Аннушка на крыльце, неживым, запавшим взглядом глядела на раннюю прозелень деревенского лужка, на крылечный облупившийся столбец, на многие окрестные места, окутанные вешним паром, на безыменную букашку, проснувшуюся для ползанья по земле.

И лицо у Аннушки было такое, какие на иконах матерям пишут: грустное, полное тайны, суровое.

Воздухи, сырые, густые, тяжелые, были полны неумолчного гуденья от прорастающих трав в тот день, когда всплакнула Аннушка, сидя на крыльце. Уехал в объезд по волостям Сергей Остифеич, а разве дано невенчанной право не пускать любимого в дальние пути? Да тут еще ребенок придет, немоленый, незваный. Да тут еще муж придет, убитый, из сердца выгнанный давно. Аннушке ли, в которой упрямая бабинцовская кровь, нелюбимого мужа умаливать, чтоб приблудного ребенка за своего признал?

Свекровь в дверь вышла, поправила повойник, рябенький, как курочка, жгучим взглядом заглянула в Аннушкино лицо. Увидела, как растерянными пальцами перебирает Анна бахрому сносившейся ватной кофты, догадалась, и усмешка явилась на ее неумолимые сухие губы:

— Иди... Ужинать пора. Промолчала Анна.

— На котором времени ходишь-то? — шепотом спросила свекровь.

— Пятым.

Аннушка встала, и вдруг потянуло ее к жизни. Она зевнула во всю широту своей здоровой груди, во всю сласть приходящей весны, и за себя, и за ребенка. Устало от постоянной печали сильное Аннушкино тело.

II. Возвращение в воры

...Не горячие ли Аннушкины слезы послужили причиной безвременного таянья снегов? Все зимнее заспешило уходить. И была одна расхлябанная пора: плакала земля ручьями, а дороги плыли вешними водами.

Уже тетерева играли по утрам, но вдруг переменилась погода. На Гарасима-грачевника мокрым, дрянным снежком помело, а к утру приударило морозцем. Одно лихо другого злей: озимь, жалостно вымокавшую в низинках, заволокло в ту ночь хрусткой ледянкой. Стало скучно глядеть на озими, на желтые проплешины в синих бархатах вымокающих полей.

Начал ветер разгонять хляби, но все еще не умело солнце пробраться к земле. Земля всходила, как на дрожжах, и рассыпалась на ладони душистыми теплыми комьями. Пошел обильный пар. Он-то и завесил небо быстрым рваным облачьем. А тут еще дождички четыре дня шли. После них дикие сквозняки ринулись сломя голову обсушивать поля, — весна.

В один такой неласковый, тягостный день пришел к Ворам по обсохшей дороге простой неизвестный солдат. Совсем у него глаза провалились вовнутрь и были такие, как будто видит ими страшное бессменно — день и ночь. Болталась за спиной у него пустая солдатская сума, а на голове сидела собачья шапка, похожая на вымокшего, зябнущего зверька.

Видно было, что незамеченным хотел пройти. На виду у прохожих прикидывался хромым, подшибленным, а ночевал по-бродяжьи, где попало: на убогом задворке у крайнедеревенца, в развалившейся риге, сколоченной из

одних щелей. А попадался по дороге случайный сена зарод — и там путешествующему солдату место. Приходил незваным гостем, не сказывался, уходил — некого было благодарить.

В Сускии пришлось ему хлебца под окошком просить — глаза закрыл повязкой, а лицо скривил без милости, чтоб не признали земляка. Так он и шел, стыдясь имени своего и званья, воровским обычаем, голодный и пустой, как сума его.

Вот он свернул с дороги, прошел мимо полуразрушенных барских служб, через вырубленную рощицу и еще лесок, обтянутый как бы зеленой кисеей, и вышел на опушку. Здесь был обрыв. Он зарос мажжухой, а за ним распространялась уже знакомая солдату ширь. Стоял он тут долго, прежде чем догадался присесть на разостланную суму. Он снял с себя шапку, обнажая холодному дыханию апреля стриженую голову. Дрожь охватила его, и зазнобило ноги. Он вобрал в себя воздуху, вязкого и тучного, как сама земля, и стал глядеть.

Родимого села обширное поле лежало под ним на виду. В далеком низу, окаймленном отовсюду синебурыми полосками лесов, поднялось нагорье, главенствуя над всеми окружными местами. И нагорье это облепили избенки, как пчелки пенек, выдавшийся из полой воды. Они карабкались по склонам нагорья, чудесным образом повисая на скатах, они отбегали почти к самой речке, круто сломленной здесь пологим мысом холма. Дымки шли, свидетельствуя о жизни, а солдату показалось даже, что и воздух отливал этим горьким домовитым дымком. То и были Воры — село, давшее жизнь солдату, самая родная точка на земле.

Ах, Воры-Воры, мать, воровская милая земля! Все, что было, все прах и сон, а ты единственная явь, незыблемо стоящая от века. Приедаются, видно, и твои не объемлемые умом пространства, — выехал из тебя твой сын в городскую тесноту. На Толкучем ларь купил и на том квадратном аршине пробесновался целые годы, силу свою выбесновал в круглую золотую выгоду. Было время — наезжал Егор Иваныч с бубенцами и тем чванливо хвастался, что мать свою накрепко забыл! А вот исчезла выгода, а рубли, как в забытой сказке, бараньими орешками обернулись

вдруг. Обжевал тебя город, нутро вынул, трухой доложил, дал за верное подслужье тебе старую, вшивого цвета шинель: гуляй в ней, Егор, позабывший о матери!.. А мать не оттолкнет сына. Мать примет, каким бы ни вернулся: «Множься, Егорушка, нет на тебе против матери твоей греха!..»

Долго глядел с такими думами Егор Брыкин на родные места. Вдруг слезы нахлынули, хотел бороться с ними и не совладал. Он вывернул карман, надеясь закурить. Ничего в кармане не было, кроме мелкого махорочного сора, смешанного с хлебными крохами. Он вытряс его на ладошку и швырнул на ветер; тот подхватил и понес вниз. Егор проследил глазищами их полет, и вдруг жадная зависть охватила его. Отщипнув былинку молодого щавеля, стал жевать.

Мужики с сохами копошились на всей широте поля. Било их босые ноги апрельским сквозняком, а домотканые порты, раздутые ветром, стояли как бревна. Много ли оставалось до одуванчикова цвета, а там и сеять. Надо было, чтобы скорей расцветилась зеленями мужицкая полоса...

По стародавней привычке, попахав вдосталь, собирались мужики на межках потолковать и покурить, покуда обсушивал ветер взопревших лошадей. Они присаживались на что попало, наслаждаясь буйностью первовесеннего месяца, стряхивая с себя оцепененье долгих и душных зимних ночей.

В ту минуту, когда Егор Иваныч с горы спускался, отдыхали трое на ближней стежке: двое — балуясь махорочным дымком, третий — просто так отдыхал. Он-то, Савелий Поротый, и заметил прежде других неизвестного солдата.

— Человек идет! — возгласил он, на самом любопытном месте обрывая рассказ о былой службе.

Гарасим-шорник, чернобородый и нестареющий — напоминанье о ловком цыгане, проезжавшем через Воры сорок семь лет назад, — поплевал на свои черные пальцы, обжигаемые тлеющим окурком, и воззрился на бредущего к ним солдата.

— Да, — в который уж раз рассказывал Савелий. — Как в девяносто первом году чествовали нас в Варшаве

обедом... и я тогда в Пажеском корпусе состоял в денщиках...

— Не велико званье, — заметил Евграф Петрович Подпрятов.

— Не в званье дело! — взмахнул Савелий рукой и вновь откинул ее за спину. — Званье — это никакого влияния не оказывает! А лестно при человеке состоять. У него, по-нашему сказать, почетница, ровно барыня, шумит, а он ее почем зря кроет, явственный факт! Вино вот у них, можно сказать, что слабительное, не крепкое, одним словом, — но надпись не по-нашему...

— Ну, а насчет обеда-то как же? — вывел Савелья на прямую дорогу рассказа Гарасим, сидевший на земле.

— Обед? Вот те и обед. Одной посуды что перебили! Там у нас один князь с Кавказа был, очень такой... ну, одним словом, Носоватова моего он потом и прихлопнул. Так он, как блюдо, скажем, отъест, сейчас хлобысь тарелку о пол... Высокий человек!

— Ох ты, мать твоя курица! — захохотал Евграф Подпрятов, человек богомольный, со словом осторожный, восхитясь Савельевым рассказом; даже кривой глаз его усмехнулся.

— Да... — продолжал Савелий. — Вот мой Носоватов-князь подходит и говорит мне полным голосом: «Выпьем, говорит, за меньшую братию!..»

Тут как раз и подошел неизвестный солдат.

— Здорово, мужички! — сказал он, глядя исподлобья. Гарасим косым взглядом обмерил солдатские отрепья, словно в памяти своей подобие такому же отыскивал. Не нашел и сказал:

— Здорово, сума. Правь мимо!

— Как же так, дядя Гарасим, — оскорбленно спросил солдат, — ужли не признаешь? А на свадьбе за моим столом одного вина небось рубля на три выхлестал... Да еще и взаймы брал!

— Не признаю. Голос знакомый, а признать не могу, — прогудел недовольно Гарасим и поглядел на лица собеседников, точно в них надеялся прочесть солдатово имя.

— Егор Иваныч! — взвизгнул вдруг Савелий и с чрезвычайной поспешностью протянул солдату руку. — Отколе

ходишь? Вот уж и не думали, что вернешься. Аннушка-те... — Он сорвался и беспомощно почмокал губами.

— А что Аннушка? — насторожился Брыкин.

— Да все ничего... Одним словом, поживает! — в каком-то оцепенении выпалил Савелий.

— Издалека идем! — торжественно начал Брыкин. — Денику отражал, да вот надоело... — Брыкин воровато подмигнул Гарасиму, но тот не ответил. — Как вам сказать, друзьишки, на двух фронтах помирал! Да ведь солдатскую заслугу разве кто в теперичное время оценит? Как переганивали нас в теплушках, разнылось у меня внутри... Что ж это такое, думаю, людей на мочало лущат! Не могу, да и вся тут. Не хватает моих сил!

— На что не хватает? — тихонько спросил Евграф Подпрятов.

— Жать по чужим указкам не могу, — прошипел Брыкин в ответ. — Не живой я разве, чтоб на мне землю пахать! В нонешное время покойнику втрое больше почета, чем живому...

Гарасим в ответ на это только кашлянул и пошел, не оборачиваясь, к сохе.

— Ты б уж лучше назад шел, а? — сухо намекнул Подпрятов, почесывая здоровый глаз. — Сказывано, строгости будут...

— Насчет чего строгости? — встрепенулся, как угорь, Егор Брыкин.

— Это он говорит, насчет дезертиров у нас плохо, — неожиданно тонким голосом объяснил Савелий. — Эвон, Барыков-то с братом тоже недозволенно вернулись. Зашпыняли их совсем свои же: зачем не убит, не поранен воротился. Уходи, говорят, из-за тебя и нам влетит! Ноне в лесах весь ихний выводок...

— Ты мне не накручивай, — мрачно оборвал Егор Иваныч, но все лицо его померкло. — Ты уж не меня ли за недозволенного принял? Да у меня, может, такой мандат есть, что вот съем всех вас и безо всяких объяснений! — И Брыкин тяжко и фальшиво захохотал. — Вон она, пуля-то... в себе ношу! — и со странной быстротой, задрав до локтя рукав шинели, протянул грязную правую руку Савелию. — На... щупай!

Савелий, опешив, боязливо коснулся пальцем того места, куда указывал Брыкин.

— Да, — поспешно согласился он. — Явственный факт... сидит!

— То-то и оно! — взорвался Брыкин. — Я грудью Денику отшибал! На, гляди... — Он распахнул шинель, сидевшую прямо на голом теле. — А пулька-то, вон она! — И с лихорадочной горячностью он хлопнул себя уже не по правой, а по левой руке.

Савелий заметил и опустил голову. Начинался дождик.

— Ну, пойду, пожалуй! Застоялась кобылка-те, — решился вдруг Савелий, кивая на западный угол неба, откуда ветер и где кружила большая черная птица.

— Дома-то все благополучно у нас? — остановил его Брыкин: недавнего оживленья его как не бывало.

— Дом стоит, ничего себе дом... — отвечал Савелий. — Дом как дом. Большой дом большого хозяина требует. Тимофеевна сказывала, венец подгнил да крыша стала течь. А так, дом как дом. Придешь — починишь.

— Я про жену спрашиваю... — терпеливо ждал Егор.

— Вот ты говоришь — жена-а! А кто чужой жене судья? Рази ты можешь мою жену судить? А я, может, не хочу, чтоб ты мою жену судил. Я сам моей жене хозяин! — И Савелий торопливо пошел прочь.

Брыкин тоже двинулся дальше. Но чем ближе подходил к селу, тем более слабела воля, такая сильная, когда из теплушки ускользал. Он ускорил шаг, на последнем заулке чуть не сбил с ног Фетинью, бабу злую, разговорчивую. Пес у брыкинского дома не полаял... «Сдох», — решил Егор Иваныч.

Всходя на крыльцо, вздрогнул, когда половица скрипнула под ним. На крыльце остановился и окинул все привычно-хозяйским взглядом.

Большой упадок проступал отовсюду. Грязновато было, и лавка, собственноручно крашенная Брыкиным в цвет небесной лазури, была сильно порублена. «Корм свиньям рубили. Эк бесхозяйственно!» — осудил Егор Иваныч, скользя угрюмым взором дальше. Показалось, что нарочно кто-то, злонравный, надругался над красо-

тою брыкинского крыльца. В хвастливых синих и розовых завитках резьбы недоставало целых кусков, местами облупилась краска.

Егор Иваныч перегнулся в палисадник и увидел в луже большой осколок резьбы, совсем уже почернелый, выбитый, быть может, год назад. Озлясь, закусив губы, в порыве хозяйственной заботливости он обежал крыльцо, вынул осколок из воды и торопливо стал прилаживать его в выбоину. Уже не боялся, что кто-нибудь увидит его. Кусок разбух от воды и не входил в гнездо.

Брыкин скинул суму свою на крыльцо и так увлекся делом, что, когда недостало ему молотка, он своеобычно вбежал в сени... Здесь он и встретил Аннушку. Большая и усталая, как-то привычно страдальчески выпятив живот, она шла с подойником в руках прямо на мужа. Увидев, она выставила руки вперед и так стояла, расширив обесцвеченные беременностью глаза.

— Молоток-то где у нас? — нетерпеливо спросил Брыкин и вдруг заметил какую-то незнакомую доселе несуразность в Анниной фигуре.

Они стояли молча друг перед другом: она — пахнущая теплым, коровьим, он — оглушенный, блуждающий среди догадок, одна другой злее.

— Вот как! — сказал с раскрытым ртом Егор Иваныч и как-то зловеще снял с себя шапку. — Ну-к, в избу тогда пойдем. Там и разговор будет.

Она шла впереди, не защищенная с тыла ничем, покорная и сжавшаяся. Войдя, она поставила подойник на лавку и, так же не оборачиваясь, сделала четыре шага вперед. Там она прислонилась к печке и закрыла руками лицо, так что выглядывал сквозь пальцы только один круглый ее глаз, — готовая ко всему.

— Мать где?.. — спросил Егор Иваныч, стоя у двери и блуждая сощуренными глазами, точно выбирал что-то пригодное руке. Вдруг он быстро пригнулся и выхватил из-под лавки круглое тонкое поленце и опять стоял, неподвижный, маленький, сухоростый, вымеривающий время женину греху.

— Преступленье закона! — звонко сказал он и, словно кто-то толкнул его, сделал шаг вперед, отводя полено за спину.

Аннушка все молчала, приковавшись взором к полену в мужниной руке. Когда же полено скрылось за спиной, она точно сразу на голову выросла, и лицо ее как бы распахнулось под сильным порывом ветра.

— Не дамся! — глухо, со стиснутыми зубами, закричала она. — Не дамся тебе! Это ты сам неплодный, холощеный... Меня корил, что у бабы брюхо пустует. А я вон какая. Гляди, вон я какая! Ребеночка теперь рожу... На!.. — и наступала на него животом вперед, смеясь и плача, большая и страшная.

— Ну-ну, утихни, — бормотал оторопелый Брыкин. — Чего ты кричишь! Ну, зачем ты кричишь?

Он в замешательстве сел на лавку; губы его дрожали, и сам он весь дрожал, и полено дрожало у него в руке. Он был несравнимо жалок своим голым телом, видневшимся из-под шинели. Возражений на Аннушкин выпад у него не находилось.

— Люди-то видали, знают? — спросил он, кусая ноготь и глядя на косяк столба.

— Брюхо-те? — со злобой откинулась Анна. — А как же не видать? Ты меня брал — барыней обещал сделать!.. Кобыла рядом со мной — и та барыня! Батрачкой меня сделал. Как же людям не видеть, не слепые! Весь день на глазах у них!.. — Она всхлипывала в промежутках крика и слез не вытирала. — Зачем ты меня заманил, зачем? Ну, показывай, что принес... чего наслужил там, показывай!

Но Егор Иваныч уже отступал по всей линии. Все его рассуждения о жизни, о незыблемом счастье, о семье и человеческом достоинстве были смяты Аннушкиным гневом раз и навсегда.

— Ну что же, — вздохнул он, потерянно вдавливая пальцы в щеки себе. — Все, значит, напрасно... Сам себя обворовывал, а так Егоркой Тарары и остался... Тарары! — засмеялся он. — Все в тарары и просыпалось!..

— Шинель-то хоть сыми... — нечаянно пожалела его Аннушка.

Но он повернулся и вышел на крыльцо. Здесь он постоял с полминуты, осунувшийся до потери сходства с самим собою. Потом подошел в угол крыльца и с маху, коротким, злым ударом сапога ударил в деревянную резьбу крылечной стенки. Кусок резьбы, слабо хрустнув,

вылетел наружу. Егор Иваныч перегнулся через край и с яростным удовлетворением смотрел, как, упав в лужу, заволакивалась резная завитушка серой, взбаламученной грязью.

— Ух ты! — пуще взъярился Егор Иваныч и, уже не помня себя, бил тем же березовым поленом по резьбе. — А-а, розовая? — сквернословил он и остервенело уничтожал то, на что когда-то ушел целиком весь восторг небольшой его души.

Может быть, и от всего дома оставил бы Егор Брыкин только кучку деревянной трухи, самому себе на посмеянье, если б не остановила его новая встреча. Мать бежала к крыльцу по глубоким деревенским грязям, спотыкаясь и скользя.

— Чего ты, мошенник, чужое-то крыльцо сапожищами лупишь! — кричала издали мать.

Он повернулся к ней, но все еще она его не узнавала.

— Я-т тебе, вшивому... — Она не покричала, пораженная бессмысленно-стеклянным взором сына. — Егорушка, голубеночек, ужли ж ты жив?..

— И березу подрубят, так она жива... — надрывно вырвалось у Егора, стоявшего перед матерью с голой грудью.

— Поесть-то нашел себе, голубеночек?

И, повинуясь властной материнской ласке, Егор Иваныч заплакал тут же, сидя с ней вместе на ступеньке крыльца, обо всем, что было в молодости пущено прахом. Мать тоже плакала с ним, что до лихой солдатской ямки докатилось сыновнее яблочко. Об Аннушке они не сказали ни слова, но оба думали о ней...

Пасмурный день тот гудел. Трепались в ветровом потоке голые сучья, оседал снег. На галерейке сигнибедовского амбара, свесив босые ноги вниз, сидела Марфушка Дубовый Язык, известная на всю волостную округу полудурка, и пела негромко и тягуче, в тон ветру. Всю свою дурью жизнь провела Марфушка в глупых мечтаньях о несбыточном женихе. Ее и дразнили, и гнали за это, а она сама слагала ему песни, неразборчивые и темные, как глухонемая речь. Так и теперь: высоко подоткнув грязный подол холстинной грубой юбки, сорокалетняя и

растрепанная, она болтала ногами и гнусила что-то, понятное ей одной.

— Мешок-то твой, что ли? — тихо спросила мать, подбирая со ступенек Егорову суму.

— Мой... — Егор Иваныч с тоской взглянул на сигнибедовский амбар, на Марфушку. — Чтой-то гнусит-то она, ровно отпевает кого? — пожаловался Егор Иваныч.

— Да ведь как!.. — вздохнула мать и морщинистой ладонью вытерла себе лицо. — Глупому всегда песня.

III. История Зинкина луга

Завязался узел спора накрепко, и ни острая чиновная башка, ни тупая урядницкая шашка не могли его одолеть. Шли от узла толстые, витые, перепутанные корешки. Шли в спокойную глубь давнего времени, в людей, в кровь их, в слово их, в обычай их, в каждую травину, из-за которой спор.

Давно, в то смешное, ленивое время, когда еще и второй Александр на Россию не садился, обитал богатейший помещик в этом краю, Иван Андреич Свинулин. По преданию, был Иван Андреич этакий огурец с усами, сердитый и внушительный. Было в его лице понемногу ото всех зверей.

Владел он наследственно и безответственно обширными угодьями, лесами, прудами, лугами, деревнями и пустошами и всем тем, что водилось в них: и зайцами, и волками, и комарами, и мужиками, и водяными блохами. Жил Свинулин сытно, привольно и громко: зайцев и волков собаками травил, комаров просто руками, до водяных блох никакого оброчного дела ему не было, мужики же ему пахали землю.

С самой юности бороли барина Свинулина страсти. После женитьбы выводил тюльпаны самых неестественных кудрявых сортов. После смерти жены, стареющему, приспичили бабы и голуби. И долго рассказывали деды внукам, как на крыше, в одном белье сидя, видный на всю округу, махал Иван Андреич шестом с навязанной на него бабьей новиной... Под конец жизни приступила к Ивану Андреичу страсть редкостная и пагубная — гусиные бои.

В начале зим сзывал соседей со всего уезда Свинулин, и приезжали гости с домочадцами, собачками, попугаями, дурами, гайдуками и, конечно, гусаками, потому что и на соседей перекинулась гусиная зараза. В Николин день рассаживалась гостиная публика по сторонам большого деревянного круга, сделанного наподобие обыкновенного сита, с тою только разницей, что были стенки сита простеганы ватой и обшиты красным бархатом. Гусак — птица нервная, твердого места при бое не выносит, от твердого места рассеивается и теряет злость, вследствие чего и получается меньшая красота боя. До этого путем собственного ума и долгого опыта дошел Свинулин.

Как-то раз приехал на Никольские бои соседний помещик, человечек, похожий как бы на лемура, с той еще особенностью, что чудилось, будто у него под подбородком дырка и оттуда борода круглым торчком; человечек некрупный, но занозистый, одним словом — Эпафродит Иваныч Титкин. Друг дружку невзлюбили с первого взгляда Свинулин и Титкин, но виду не показывали... Шел бой своим чередом. Всех приезжих гусаков вот уже три года побивал, играючи, на первом же круге хозяинов знаменитый гусак, наполитанский боец Нерон; птица замечательная, почти вся голая, плоскоголовая, чистоклювная, в весе не уступала и тулузскому, а по красоте шейного выгиба только с лебедем и сравнить. Глаз у Нерона был особенной, бирюзовой яркости, а если принять во внимание, что количество злостности в гусаке определяют знатоки как раз по голубизне глаз, легко догадаться, что был Нерон пылок, как целый батальон становых.

В самом конце боя привстал тихонько Эпафродит Иваныч и сказал посреди всеобщей тишины:

— Виноват. Не дозволите ли вы теперь, Иван Андреич, моего гусачка к вашему подпустить? Гусачок мой имеет китайскую породу, бойцовую. Богдыханы таких выводят трудами всей жизни, чем и прославлены. Очень любопытно, как Нерон с ним расправится.

Иван Андреич подусники себе расправил и одобрительно засмеялся. Особенностью Ивана Андреича было говорить одними согласными.

— Пжалст, — говорит. — Сделт эдлжение, Пфродит Ванч! Как вашму шлкперу прзванье?

— А прозванье моему щелкоперу Сифунли... Пушистенький, весь в покойника отца. Родитель его еще при жизни два фунта перьев одних дал да пуху полфунта...

— Что ж ты их, щипваешь? — загудел Свинулин. — Пдушки нбиваешь?

— Исключительно с научной целью, для занесения в родословную книгу!

На другой день, после ранней обеденки, и увидели гости китайца Сифунли; тоже полулебедь, светло-серый с прочернью, темно-бурые полоски украшали ему тыльную часть. Голос имел Сифунли грубый, мяса на Сифунли не так уж значительно, зато на носу черная шишка размером с небольшое яблоко. В яблоке этом и находилось средоточие гусиной ярости. Но, что сразу же отметили все присутствующие, позвоночник у Сифунли был еле приметно искривлен, в виде буквы S. Эпафродит Иваныч гусаковых качеств не утаивал и с веселой готовностью сообщил, что это нарочно так богдыханы делают, чтобы придать разнообразие бойцовскому удару, — один в упор, а другой как бы и плашмя.

Нерон, выпущенный к Сифунли, очень ерепенился, глядел на урода с насмешкой, — по крайней мере, одна мелкопоместная барынька утверждала, якобы видела, как усмешка пробежала поперек гусиного лица. Китайский же противник его даже как будто зевал со всей богдыханской спесью, выражая этим неохоту свою состязаться со свинулинским франтом.

Бой начался. Оба огромные, они сходились, как две тучи. Целых два часа, считая перерывы, длился бой. Китаец сердился, а Нерон с ним шутил, клевал его и справа и слева, и даже, перескочив на другую сторону, клюнул ему в совсем непредвиденное место.

На такое глядя, гости замолкли. Только Свинулин и Титкин, сидя рядом, синели от приступов хохота, подъелдыкивая друг друга:

— Что эт ты крхтишь, Пфродит Ванч?

— А это я кашель, извините, задерживаю!.. В это самое время Сифунли налез на Нерона вплотную на средине сита и ударил его семью мелкими ударами. Нерон

упал замертво. Его унесли чуть всего не переломанного, негодного даже к столу. На могиле его впоследствии посажен был тюльпан свинулинской выводки, названный именем покойного Нерона.

Иван Андреич стал страдать от тоски по Нерону и однажды унизился до того, что собственнолично поехал к Титкину за Мочиловку, на его непутные бугры. Там он предложил купить китайского гусака, хотя бы и за большие деньги, хотя бы и серебром.

— Стрдаю... — вздохнул Свинулин.

— Живот пучит? — ехидно переспросил Титкин.

— Нет, от Нерона. Прдай китайца! Титкин засуетился.

— Для соседа — в сраженье готов идти! — вскричал он и помахал ладонью. — А гусачок у самого у меня гвоздем в сердце сидит... Глазунью из китайских яиц могу сделать, очень, знаете, стихийно получается, то есть вкусно! А продать не могу...

— Прдай, Пфродит, — молвил Свинулин.

— Не могу-с. А вот оборотец один имею предложить!

— Гври, — просипел Свинулин. Титкин погладил свинулинское колено.

— Голикову пустошь нужно мне заселить, а мужичков у меня нету. Не дадите ли мне сотенку на вывод, а я вам за это, сверх платы, Сифунли с тремя Сифунлихами на собственных руках предоставлю! Пользуйтесь тогда хоть пареным, хоть жареным, хоть живьем...

Свинулин только посвистел, но уже за порог не мог выступить без Сифунли. Кстати: у Свинулина мужик водился в тысячах, зажиточный и плодовитый. При подобной игре сердца сотня мужиков была Свинулину не расчет. Завтра же разделил Иван Андреич село Архангел пополам и половину, разоренную, ревущую, послал к барину Титкину заселять Голикову пустошь.

Иван Андреич, будучи человеком неукротимых страстей, чтил Сифунли, как живого человека, содержал в гусиной роскоши. Через год, на Никольские же бои, привезла та, мелкопоместная, простого арзамасского гусачка-белячка, с обыкновенными оранжевыми плюснами. Захватила с собой барыня не сильного, но и не слабого, чтоб вдоволь поиздевался над ним Сифунли, прежде чем лишить жизни... Этим она хотела подольститься

к Свинулину, через посредство обширных связей которого положила устроить карьеру сына своего, Петюши. На второй день боев выступил Сифунли против захудалого арзамасца и поплыл на него, стоящего в недоумении, как огромный, затейливый корабль. Сифунли зашипел, расправил крылья, а Свинулин даже пошутил:

— Мня, дрнь, пердразнивт!..

Только когда уж некуда стало арзамасцу отступать, взъершился арзамасец, выкинул шею вперед да, клювом попридержав китайца за шишку, хватил его наотмашь тяжелым своим крылом. Барыня, владелица арзамасца, закричала и повалилась на пол, подражая в этом Сифунли, убитому наповал... По тому же народному преданию, Свинулин стал после того чахнуть и умер в одногодье.

Особых вредов от его смерти никому не случилось, а сынок на отцовских похоронах даже потирал руки и прищелкивал языком. Поминки по отцу справлял он Сифунлихами. Но не в Свинулине и не в Сифунлихах тут дело.

Титкинские земли, а следовательно, и Голикова пустошь, примыкали с востока к владеньям Свинулина, именно — к огромному свинулинскому лугу. Назывался луг — Зинкин луг. Граница между владеньями шла по Мочиловке-реке. После шестьдесят первого года весь тот луг отошел к селу Архангел, ибо было такое стремление — наделять мужиков из помещичьих земель. Проданные же Титкину получили и титкинские земли: кувырки да бугры да овраги, перелесицы да жидкие, нежилые места. От Зинкина же луга не получили титкинские ни вершка, хоть и лежал луг всего в полутора верстах от их села, прямо под окнами. Выходила явная несправедливость, потуже затянулся свинулинский узелок.

Тут как-то, лет через десять после освобожденья, послали титкинские мужики к бывшим свинулинским людей с ходатайством: не отдадут ли миром хотя бы третинку заветного луга, хотя бы и не даром? На свинулинских даже смехота напала.

— Нет, — говорят, — не дадим. Вы — титкинские, на титкинских землях. Не видать вам Зинкина луга!

Посланные люди говорили сперва со смиреньем:

— Нехорошо, землячки. Из одного села, из Архангела, повелись мы с вами. Не наша воля, а злая барская, что выкинула нас на комариные пустоша. Уступите хоть пустяковинку. От нас всего полторы версты, а от вас пятнадцать цельных! У вас земельных статей уйма, а мы на титкинских ровно на пятаке живем.

Свинулинцы свое ладили:

— Не просите, не дадим. Нам чужого добра не нужно, а свое крепко держим. И слез не лейте. Ваша слеза тонкая, нашего крепкого слова не подмоет. Мы и сами, эвона, лесами-то, что бородой, обросли. Ишь лезут! — и махнули рукой на леса. — Там, на лугу, и теперь-то укос самый незначительный. А лет через двадцать и совсем будет кажному едоку по три раза косой махнуть.

Обиделись посланцы:

— Что ж вы нас покосов наших лишаете? Все равно что воровское ваше дело. Мы вас ворами будем звать. Воры вы и есть!

А тем хоть бы что:

— А вы — гусаки. Вас барин на гусака выменял. Гусаки вы, хр-бр-гр...

Так разделился Архангел на Гусаков и Воров. А тут перепись подошла, закрепились прозванья сел в больших царских книгах, привыкли и смирились мужики, стали: одни — Гусаки, другие — Воры. На прозвания смирились, но не в луговой тяжбе. Возник спор, и спор родил злобу, а из злобы и увечья, и смертные случаи вытекали, потому что и до кос неоднократно доходило дело.

А был обширен и обилен Зинкин луг, четыреста пятьдесят десятин, на все четыре стороны вид-небо. Обтекала его Мочиловка, непересыхающая, родниковая, питающаяся из дальних, за Ворами, болот. Место поемное, а над ним солнце ходит, знойное и неистовое. Отсюда в покосы бывает на Зинкином лугу дикая от цветов пестрота, слабому глазу глядеть нестерпимо. Мутит голову парное цветочное дыхание, слабого может даже и убить. А на том берегу, на высоком мочиловском бугру, сидели Гусаки и зарились на уворованную землю.

Стали судиться Гусаки, послали несчетно бумаг, да терялись где-то в зеленом сукне слезные гусаковские прошенья. Воры же, едва про гусаковские бумаги прове-

дали, тотчас наняли прохожего сутягу, и тот им настряпал целую кучу таких же. Их и послали в противовес. Врут-де Гусаки, нет в Зинкином лугу пятисот пятидесяти, а всего триста пятьдесят. А это черная зависть их триста пятьдесят до пятисот пятидесяти возвела. Даже приложена была просьба, чтоб наказали господа судьи непокорных Гусаков за злость, за ябеду, за беспричинное тормошенье высших властей.

Нырнула воровская бумага в зеленое сукно, там и заглохла. А уж время прошло; деды, которые дело затеяли, уже и померли, и травка на их могилках извелась вся. А писали Гусаки и Воры каждый год по бумаге. Не было выхода из тяжбы, как из горящего дома. Стало от бумаг припухать зеленое сукно... Кстати подошло: в те времена, когда третий Александр государил, выискался человек незанятый. Он бумаги вынул, дело обмозговал и рассудил так: послать на Зинкин луг двух землемеров из губернии, чтоб обмерили и дозналась, которая сторона врет.

Приехали землемеры, поставили вехи и приборы свои по линиям Зинкина луга, стали записывать. Записав, принялись клинья рулеткой обмеривать и колышки забивать. Маленькие гусаковские ребятишки, четверо, в Мочиловке купались. Один, самый голопузый, заглянул в трубу — понравилось, потому что все вверх ногами стоит. Насмотревшись, спросил у землемера, который ему в трубу дал глядеть:

— А это что?

— А это рулетка называется.

— А она долга у тебя, дяденька?

— Рулетка-то? — засмеялся землемер. — Долга, малец, долга.

— А до Таисина дома хватит? — спросил мальчишка, обсасывая палец.

— И до Таисина хватит... — рассеянно согласился землемер, записывая в книжку.

Помчались шустрые ребятишки, как четыре резвых ветра, наперегонки, рассказать матерям, какая у дяденек длинная железная веревка, — они ею луг меряют, и еще труба, в которой все наоборот стоит. Матери сказали отцам гусакам, а гусаки тут же порешили не допускать обмера.

— Не допустим! — кричал слепой старый дед Шафран, стуча костылем оземь; звали его Шафраном за медовый цвет плеши. — Земля не ситец, ее мерять нечего. Они, может, тыщу намерят, а на нас штраф за враку наложат. А намерят меньше, так и совсем ничего нам не останется, кроме как речка — утопиться в ней с горя. Не дадим!..

Не успели землемеры третьего колышка забить, как увидели: бегут на них гусаки с косьем да с вилами. Землемерские ноги длинные, как циркули; ими только и спаслись землемеры от увечья, но приборы свои оставили, потому что дороже казенного имущества собственная голова.

Отсюда новое дело началось — об оскорблении должностного лица в неурочное для того время. Новую бумагу захлестнуло зеленое сукно, и опять все затихло до поры.

Но долго еще служила немалой забавой мальчику Акиму Грохотову трубка от землемерского прибора... Всем желающим увидеть баб и девок в опрокинутом состоянии давал он смотреть в трубу, а плату Аким принимал всяко: бабками, яблоками, гвоздями и почему-то галчивыми яйцами, которые копил для неизвестных целей. Под конец бабы и девки, завидев проклятую трубку, стали придерживать подолы во избежание срама, но приток мзды от этого не уменьшался...

Вдруг на тринадцатом году жизни умер мальчик Аким от черной оспы. Трубка перешла по наследству от Акима к Петьке. Петька же зародился неудачливым игроком — променял трубку, уже облупившуюся до неузнаваемости, соседнему Пиньке на четыре гнезда бабок. Пинька был туп, как свая в воде. Он стеклышки из трубки повыковырял гвоздем, трубку же насадил на палку. Палку эту отобрал у него отец его Василий, прозванный Щерба, и употреблял ее, когда отправлялся ходатаем по мирским делам.

Пинька уже поженился, как и младший его брат, а Василий облунел весь, а дед Шафран помер, сказав в свой последний час: «Стерегите землю, ребятки!» — не двинулся ни на вершок спор о Зинкином луге. Все попрежнему закашивали Гусаки воровские покосы и напускали на них скотину. Воры ловили скотину, приводили во дворы, требовали выкупа за потравы. Один раз трид-

цать голов изловили Воры и постановили взять по рублю с головы. А те говорят:

— Мы на рубль-те пуд хлеба купим. А Воры говорят:

— А мы продадим скотину вашу, гуси адовы. А Гусаки:

— А мы вас пожгем, блохастых. И рожь вам сожгем. А Воры:

— А мы вас кровью зальем. Кончилось потравное дело боем, причем и бабы, и мелкие ребята приняли участие, — а гусаковские бабы драчливы, как куры. Пришлось Ворам отпустить скотину запусто, так что напрасно окривел в драке Евграф Подпрятов, богомол и грамотей, напрасно потерял ребро вороватый мужик Лука Бегунов.

...В военный год порешили Гусаки на большом весеннем сходе в последний раз спосылать ходоков к Ворам, не продадут ли хоть четвертинку проклятого луга. Выбран был за главного Василий Щерба — у него и голос и рост длинны и остры, как шилья, хоть хомуты Василием шей. Дали в придачу Василью пятерых мужиков: двух братьев Тимофеевых за неописуемую складность в рассуждениях, да еще Ивана Иваныча, хромого мужа косой жены, первого горлана на весь уезд, чем и гордился, да еще для подкрепления на случай обиды Петю Грохотова, племянника Щербы, и Никиту-шорника, человека русого и медвежьей силы.

Совпало, что и в Ворах и в Гусаках по шорнику было, оба быковаты, оба богатырского сложения, только Гарасим — черный, а Никита — белый. В остальном же как будто передразнить хотел один другого своим обличьем. Едва завидели воры враждебное посольство, обиделись:

— Эх, королей наслали! Да у нас и самих такие-то водятся. Шорником надумали удивить. Шантрапа ваш Никита, вот что!

Да и попали гусаки не во благовременье. Воры на молебствие от мочливой весны собрались. Поп Иван Магнитов вышел на озимое вымокающее поле в сопровождении мужиков и уже разложил на походном налое священнообиходные предметы, приставив к изгороди богородицу и животворящий крест, как вдруг заметил: по бездорожному полю люди идут гуськом.

Гусаки подошли и покрестились для порядка, хоть и слыли за богоотступников, а Щерба разгладил седоватую бороду и выступил вперед:

— Здорово, мужички, богу молясь!

Молчат Воры, уставились кто куда — в чужую спину, в лужу под ногами, в богородицыно, небесного цвета, плечо. Не ведает смущенья Василий:

— Дозвольте, мужички, напредь разговор душевный с вами иметь. А там уже вместе помолимся. Мы вам и петь подтянем!

Тут от Воров Евграф Петрович вышел коротким шажком.

— Нам с Гусаками разговору нет, — сказал он, кривым взглядом окидывая тусклое небо, несущееся в неизвестность весны. — Какой нам с вами разговор? Мы гусиного языка и понимать не можем!..

— А почему бы это и нет? Запрещено, что ли? Аль долгогривый вам наговорил? — пихнул Щерба словом, как шилом, прямо в Ивана Магнитова, торопливо стаскивавшего с себя ризу, и еще крепче оперся Щерба на клюку свою с землемерской трубкой вместо ручки.

— Нет, запрета нам не дадено, — Подпрятов отвечал. — А долгогривого нам не скверни. Мы за долгогривого и постоять можем. А лучше уходите, пока живы, на собственных ногах. Не вводите нас во грех перед Пречистой! Мы когда рассердимся, очень может неприятность выйти.

— Какой ты фордыбак стал, Евграф Подпрятов! Мужик ведь... — вступил в речь Иван Иваныч, Гусак. — Али пороли тебя мало по пятому-те году? Ох, жаль, я тебе в прошлый раз второго глаза не вычкнул, бесу блохастому...

Евграф при этом вздохнул поглубже и обернулся ко всему миру, ища защиты и поддержки, и уже засучивал рукава. Гарасим-шорник, ни слова не говоря, схватился за кол и, выдернув его из земли легко, как перышко, сделал из него себе подпорку на всякий случай. Братья Тимофеевы на этот раз дело спасли.

Выкатились братья, зажурчали, как два тихих, ровных ручейка.

— Не серчайте... — взвились жаворонками братья. — Вы не серчайте на Ивана Иваныча, мужички! Он у нас

с грехом, одним словом — игра природы!.. А мы к вам с добрыми речами пришли: поглядите, эвона, нет у нас за пазухой ножей. Очень мы народ-те тиховатый, главное — простой, как мы понимаем все как есть участвующие дела... — пели братья согласным хором, завидя улыбки на угрюмых лицах воров. — Коне-ешно, Зинкин луг... Зинаида Петровна была баринова угодница... с кучером они здесь были пороты, конешное дело, а потом и утопли совместно в речке от безвременной любви. Мы вам не перечим... Одним словом, молчим. Владейте Зинкиным лугом бесперечь!

— Да мы и владаем! — сумрачно заметил Гарасим, перенося подпорку свою из правой руки в левую.

Петя Грохотов при этом только носом задвигал, дожидаясь своего череда. Никита широко и благодушно улыбнулся.

— Погоди, погоди, Гарася, — пели хитрые братья. — Не мешай яблочку цвести, чужому глупому разуму высказаться! У каждого, миленок, разума свое слово есть, а без слова — тогда чурка простая выйдет! Мы вам и говорим: владайте... потомственно владайте, косите, сушите, наше вам почтение!.. А только вот, — тут братья разом переступили с ноги на ногу и разом поправили одинакие картузы, — земли-то у вас эвона, моря и реки! — И братья дружно взмахнули на вымокающее поле рукавами зипунов. — А у нас делянка-то — бороне узко, не пройти! Мы и хотим любовно с вами!.. И винца выставим, будьте покойны... кажной собачке по чарочке! У нас теперь самогон гонят очень замечательный, без запаху. А с медком — так ровно мадерца!

— Кончай, юла, бормотню свою. Мир дедова не отдаст! — крикнул резко Лука Бегунов, мужик с правым веком ниже левого; сам косноязычный, он злился на невиданное красноречие братьев Тимофеевых.

— На мясо вас продать, дак и то таких денег не насбираешь, сколько наш луг стоит, — съехидил старый Барыков, протирая рубахой глаз.

— Мадерцу-то мы и сами того, тинтиль-винтиль. Вашей не уважит, — проворчал губами степенный Прохор Стафеев, сельский староста, доныне молчавший потому лишь, что держал на руках образ Николая-чудотворца.

День тот был пустой и склизкий. Низкие облака дымились. Падали скоса на богородицыно плечо крупные капли обманного дождя. Ветер охальничал, залезал мужикам в порты, попу под рясу, бабам под подолы. Знойко было в поле...

— Ну, только ведь вот вопрос, — повысил голос Щерба. — Вы уж лучше б продали, клейно бы вышло! Мы ведь вот уже неделю как скотину на лужок выгнали!..

— Уж как ни верти, один кандибобер выходит... — похохотал на высоких нотах Иван Иваныч.

— Да как же это так?.. — визгнула баба бабам. — Как же это так выгнали?!

— Кнутиками выгнали, касатка... кнутиками, как обнакнавенно! А вы как, оглобельками, что ли? — язвил Иван Иваныч, попрыгивая на месте. — Кнутиком подстегнешь, она и бежит, скотинка-те...

Гарасим-шорник молча вышагнул из толпы.

— Так, что ли, вы ее подгоняете? — спросил он и бешено взмахнул колом.

Ивана Иваныча как не бывало, а на его месте стоял, спокойно посмеиваясь, гусаковский шорник.

— Брось кол-те! А давай так, на любака! — сказал Никита, на лету выхватывая у Гарасима кол.

Он бросил его в сторону и полновесно ударил несогласного своего тезку по ремеслу в грудь. Тот шатнулся, тряхнулся и быком пошел вперед. Они сцепились намертво, обвившись руками, и покачивались, грузно обминая взмокшую, взбухшую землю, точно лез из земли необычный, четырехногий гриб. Сплетенье их стало так плотно, а круженье так быстро, что возможно было их различить только по цвету рубах, не вынесших напряжения тел и поползших клочьями по плечам.

— Друзьишки, стой прямо... Не выдавайте! — взревел поросячьим визгом Иван Иваныч, скача вокруг неподвижного Щербы.

Друзьишки и без того не дремали. Стороны сходились для свирепого, неравного боя, числом шестеро на тридцатерых, зуб к зубу, грудь на грудь, как волки из-за волчихи. А земля, черная, вздувшаяся комьем, покорная, требующая Семёни в себя, томилась и млела под оловянным небом запоздалой весны.

Отец Иван, устрашась, наскоро сматывал с себя епитрахиль и вытряхивал остатки ладана из кадила, когда подбежал к нему дьякон с засученными рукавами и с шестериной в руке.

— Дозволь, батя... повозиться с ними, а? — выпалил он, ворочая покрасневшими глазными яблоками.

...Вместе с дьяконом у дерущихся остались и иконы. Ими тотчас же завладели Гусаки и пустили их в ход. Этим разъярились воры. Они лезли плотным скопом на Гусаков, загнанных в крохотную лощинку и все еще отступающих, кричали, грозились, взмывали к небу толстые и тощие кулаки.

Те, напротив, отбивались молча. Никита все еще не устал ломать Гарасима, а Гарасиму приятно было размять сгустевшую за зиму кровь. Василью Щербе очень по руке пришелся посох его с землемерской ручкой, работал он им, как цепом. А Петя Грохотов, хмельной и статный, вдохновенно и легко и часто невпопад поигрывал костяными кулачищами, смехом скаля ровные свои и уже разбитые в кровь зубы. Братья Тимофеевы, наоборот, работали мелко, всегда впопад, пустого тычка не было, не смеялись, а журчали, как два весенних ручейка. Недаром весенние-то и камушки в себе влекут! Бой все расходился.

Так они до сосняка дрались. Потом, перейдя дорогу, березняк идет, — они и там дрались. Иван Иваныч, завладев богородицей, высоко держал ее в руках, стоя на пригорочке с очумелым лицом. И как полез на него Григорий Бабинцов, размахивая крестом, он и хватил Григорья богородицей по темени. Богородиц в том лапотном краю на лафетинах пишут, а лафетина — сосновая доска, полуторный квадрат двухвершковой толщины, вес — по погоде. Григорий Бабинцов высунул язык, постоял и рухнул замертво... Тут лишь отпустили Гусаков.

Григорий Бабинцов так и не оправился, зато вскоре разрешился извечный спор. Стукнуло второй революцией, полетели дедовы лады вверх тормашками. Распалось зеленое сукно, и обнажились горы мужиковской бумаги. Новый человек, из приезжих, подошел к столу, посмотрел в бумагу, и пало на сердце ему сказать так: «Отдать весь Зинкин луг Гусакам. У Воров и своего добра с излишком».

...Даже и сами Гусаки смутились такому скорому окончанию вековой тяжбы. Был послан ходоком в уездный совет улаживать беду Василий Щерба. Надел Щерба кафтан порваней, взял посох с трубкой и пошел.

— Как же вы это так, товаришши, — сказал он в уезде, — с маху рубите! У нас дело кровное, ему скоро век станет. Вы уж пообсудите его как следует, по закону!..

— Так ведь закон-то кто? — засмеялся тот, в уезде. — Вы сами да я в придачу, вот и закон! Мы и отдали вам весь луг. Ведь нужен же вам Зинкин луг?

— Это уж как есть, — грустно почесался Щерба. — Нам без луга такая точка зрения подошла, что хоть ложись да помирай!

— Так в чем же дело? — спросил товарищ, вытирая слезы, проступившие от смеха. — О чем же хлопочешь-то, старина?

— Да как же, — обиделся за весь мир Щерба. — Сто лет спорим, сколько голов пробили... А ты пришел да тяп одним почерком пера. Люди, смотри-ка, осудят. Мы-то молчим, мы что!.. А вот что Воры скажут?.. Ты уж отруби, товарищ, Ворам-то десятин хоть с полсотенки, чтоб не обижались!..

Товарищ думал быстро. Он покачал смешливо головой и приписал в уголке бумаги: «Селу Воры выдать из Зинкина луга двадцать пять десятин обрезков».

...Тогда-то, подобная нарыву на старой ране, и взросла обида у Воров.

— Это они нам милостыньку выдали! — кричал на сходе Прохор Стафеев и топотал сапогами. — Адова родня! Да если нас, тинтиль-винтиль, со всеми нашими животами похоронить, так и то двадцати-то пяти не хватит... Это нарочно гусаки клювоносые подстроили. Бросим-де кость собакам, пускай грызутся... Ничего, смиримся, мужички... В карман не спрячут, останется!..

Отсюда идет последняя распря. Одно село горой стояло за новую власть, другое выжидало любого случая отомстить за отнятые покосы. Об этом не говорили, но этого не забывали ни на час. Даже перестали устраивать рождественские стенки на Мочиловке, куда нарочно ездили биться с Гусаками, не щадя живота и кафтана.

К тому времени, где мы, нет Гусаку ворога злей Вора, нет злей вору ворога, чем Гусак.

...В довершение всего были присланы на святой уполномоченные по разверстке — Серега Половинкин и Петя Грохотов. Оба — исконные гусаки, друг на друга похожи, как братья. Оба в кожаных тужурках, рослые, победительные. С ними полдюжины солдат наехало. Затихли Воры, покосились на винтовки, лукаво перемигнулись с окрестными деревнями.

Как-то раз пошутил Афанас Чигунов Серёге Половинкину, уполномоченному:

— Здорово, товарищ вполовину намоченный! Смотри, как бы тебе совсем у нас не вымокнуть!..

Сощурился Серёга на Афанаса и пощупал наган. Кстати сказать, и правда: имел Сергей Остифеич, кроме баб и хорошей одежи, немалое пристрастие к винишку.

IV. Сергей Остифеич делает шаг назад

Понемногу стал приглядываться к деревенским делам Егор Иваныч. Все оставалось по-прежнему: шевелилось село, как муравейник на пригреве, втягиваясь понемногу в водоворот природы и каждое действие свое сопрягая с солнцем. Нежной ступью май проходил по зеленям, а ночи дышали густой и клейкой березовой прохладой. Приближалось время страд.

Со злым исступленьем, захваченный майской спешкой, накинулся Брыкин на распадающееся хозяйство. Куда ни обращал взгляд, везде он натыкался на гниль, прах, дырку, мышеедину. В омшанике пол закис и разлохматился, а во дворе верхний настил похилился и провис, точно брюхо у сенной клячи; подгнивали венцы. «Развал, совсем развал...» — ожесточенно шептал Егор Иваныч и, не остыв еще от вчерашнего пота, бросался с топором на разросшееся дырье, сам себя готовый извести на латки. А дырки все лезли на него, стремясь доконать, а он оборонялся от них с утроенным рвением и топором и рубанком. Даже и во сне виделись ему дырки...

Егор Иваныч сделался резок и неразговорчив, а на вошедшего не вовремя соседа замахнулся даже. Только и спасла соседа неожиданность: баран просунул голову в развалившийся плетень и заблеял так, будто уговаривал: «Бросьте вы копошиться, Егор Иваныч! Во всякую дырку не наплачешься».

От черноты мыслей своих прятался в работу Егор Иваныч. Ночью все ждал, что придут и возьмут его ночные люди. Днем — сторонился и людского глаза, и людского смеха, страшась людского сочувствия об Аннушке. С нею ни разу не заговорил Егор Иваныч с памятного дня прихода. А она, истомившаяся в бессловесной тоске, с сокрушающей злобой ловила каждый мужнин взгляд. Сердце ее, готовое к гибели, изнывающее от бабьей тревоги, покорно тянулось к Половинкину, как ночная тля к огню. Иной вечер, завидя на селе Сергея Остифеича, прямо шла на него, покачивая живот, мучась от стыда и страха. Он сворачивал от нее в проулок, прижимался к плетню, но изовсюду она выгоняла его жалующимся взглядом.

— Возьми ты меня, Сергей Остифеич, из брыкинского дома, — говорила она, злобная и кроткая. — Как мать тебе буду, ходить за тобой буду. Заместо собаки возьми, дом сторожить. Гляди, что из меня стало!

Безответно щурились зеленые Серёгины глаза, и только курносый нос Серёгин, затерявшийся в румяных припухлостях его обветренного, с красноватыми прожилками лица, казалось, сочувствовал Аннушкину горю. Подергивал витой ремешок нагана Серёга, глядел поверх крыш, поверх деревьев, куда-то в неживую пустоту. И опять молила Аннушка:

— Другая у тебя, знаю. Что ж, слаще она? Медом обмазана? И я до тебя, до гуменного черта, хороша была. В девках красовалась — женихи все пороги обшаркали. Я их гнала, для тебя сохраняла. И не такие были, а ласковые, хоть мосты ими мости... Ну, говори, какая ж она — черная?.. красивая?.. молодая? — и тормошила Сергея Остифеича за плечо.

Отмалчивался и порывался уйти Сергей Остифеич, а однажды, разгорячась, заговорил:

— Эх... схлестнулись мы с вами, Анна Григорьевна, в непутный час! И как вы этого не понимаете, что вся-

кое на свете имеет свой конец! Допускаю, я всем люб, потому что всем нужен. Я обчественный человек, служу обчеству. Меня и то уж товарищи в уезде попрекают, — бабник, мол. Могут, конешно, и накостылять. А какой я бабник? Конешно, есть у меня любопытство к женщине, какая она, одним словом. — Сергей Остифеич в раздражении потер себе нос. — Липнут ко мне бабы, ну, прямо хоть усы сбривай! Ведь до чего доходит-то! Марфутка Дубовая пристала намедни и ко мне и к Петьке: возьмите меня который-нибудь. Я, говорит, девушка очень хорошая. Чуть не пристукнул я ее тогда... А на вашем месте, Анна Григорьевна, плюнул бы я на себя, то есть на меня. Гоняйся, мол, хахаль, за своими любами, а я, мол, выше тебя стою... у меня, мол, муж!

— Сам с ним спи, коли нравится, — гадливо засмеялась Анна. — А дитё свое куда я дену? В исполком отнесу? — И качала головой, осатаневшая и опасная. — Ах ты дрянь-дрянь! Что ж ты со мной делаешь, в омут гонишь?

— Пропустите меня, Анна Григорьевна, к исполнению служебных обязанностей, — сказал в этом месте разговора Сергей Остифеич и, пооттолкнув, пошел прочь, но походка его была уже не прежняя, играющая, фельдфебельская, а какая-то ускоренная иноходь.

С этого удара преломилась надвое Аннушкина душа. Перед мужем затишала Анна, жадно ждала его окрика: гнев сулил прощение. Егор молчал, уединяясь в работу, травя жену молчаньем.

Даже свекровь пожалела Анну, — оценила баба бабью же изменную тоску. На задворки, после пригона скотины, пришла мать к сыну; пилил с утра какие-то плашки Егор. Подойдя, мать почесала переносье.

— С чего это ты распилился тут в темноте? Лучше бы вон сковородник насадил или лопатку... Хлебы эвон нечем доставать.

— Поддержи вон тот край, — приказал сын, останавливаясь вытереть испарину со лба; слышалось в его голосе и неутолимое желание чьего-нибудь сочувствия, и вместе с тем предостережение от него. — Вот допилю...

— Аннушка-те... — начала было мать, коленом придавливая полунадпиленный брус.

— А ты молчи!.. — взвизгнул сын, на всем ходу останавливая пилу, даже скрипнула. — Вы, мамынька, коли не хотите со мной дружбы терять, вы со мной об этом не заговаривайте. Чтоб это в последний раз! Тут, мамынька, вся жизнь обижена. Вся кровь, мамынька, горит, а вы прикасаетесь...

— Да ведь как, Егор, молчать-те! В дому как в гробу. Да ведь и что мне, разве ж я сужу? — испугалась она, увидя устрашающие глаза и дрожащие губы сына.

Он допилил и, сложив разделанные брусья в угол, принялся отстругивать один из них. Мать стояла возле.

— Кто ж так делает?.. Сперва пилил, а потом стругаешь. Наоборот надо, — заметила мать. Она помолчала, наблюдая сына, и, подобрав мгновение, торопливо заговорила, пригибаясь и заглядывая ему в лицо. — Егора, а Егора!.. Ты б ей хоть уж волосы нарвал аль кулаком бы маленечко... Что ты ее молчаньем портишь? Не портил бы, не плохая ведь.

— Уйди! — закричал Егор и с маху ударил рубанком по самодельному верстаку. Со времени прихода мало поправился Брыкин на домашних хлебах, только как-то припухла нездоровая, вялая кожа его лица; тем страшней было его лицо в бешенстве.

Мрак повис над брыкинским домом. Рос Аннин живот, шептались люди, поспевали травы, подходил неостановимый удар. Вдобавок ко всему не знал Егор Иваныч, кто стал ему поперек дороги к жене. У матери спросить совестился. «Стороной дойду!» — думал Егор и все метался с топором и гвоздем, растравляя себя сбивчивыми догадками. Пробовал через мужиков добраться до жениной правды; но слался Митрий на Авдея, а Авдей спихивал на Евграфа — Евграф-де сам видел. А Евграф молчал, как ушат с водой. Видно было, что боялись мужики задеть кого-то. Все же одно время думал Егор на воровского председателя Матвея Лызлова, пастушьего сына. Но и тут не вышло: всего четыре месяца как женился вдовевший Матвей.

Только к Троице разрешилось Егорово недоуменье. Понадобился Егору Иванычу матерьял для деревянного ремонта. Было бы ему в лес и ехать, как все, но не решился. А вдруг накроют: «Кто ты таков есть, лесной вор?» — «А я

Егор Брыкин». — «А кто ты есть таков, Егор Брыкин?» — «А я есть сын своих родителев». — «Ага, родителев сын? Значит, дезертир? Кокошьте его, товарищи!»

Рассудя это со здравым смыслом, отправился Брыкин за разрешением в исполком. В исполкоме и ждала его правда.

V. У Егора Иваныча закружилась голова

Жара стояла, как в печи, и напрасно ошалелые от зноя куры искали уцелевшей лужи, чтоб попить, помочить гребешок и опаленные лапки. Солнца как будто даже и не было, средоточие жара находилось в самом воздухе. Висела какая-то солнечная лень и тонкая желтая истома над Ворами.

Когда приближался к исполкому Брыкин, встретился ему на полдороге Афанас Чигунов, шедший с косами. Он поглядел на Брыкина внимательно, но не спросил, здоров ли, далеко ли зашагал.

— Вот к ним иду... Лесу хочу попросить для капитального ремонта, — само собою сказалось у Брыкина, и он остановился по необъяснимому стремлению задержать свой приход в исполком.

Афанас, в ответ на это, прикинул коротким взглядом Брыкина и остановился, уткнувшись глазами в рассохшуюся, цвета вымытого пола землю.

— Как глядеть!.. Ясно, дерево — не колосина, за пазухой незамеченно не унесешь, — уклонился Чигунов и поковырял косьем ссохшийся катышок конского навоза. — А только... пошто ж тебе по доброй-то воле туда идти? — И он кивнул головой, намекая на что-то, Егору давно известное.

— Да чего ж мне и дома-то сидеть? — загорячился Егор Иваныч. — Что ж я, губитель какой или кулак там? В Красной армии был, а выйти из дому и не позволено! Пулю буржуйскую в себе ношу... — добавил Брыкин робко, но места, где пуля, уже не указал.

— Пуля — дело не маленькое... гнет, одним словом, обремененного труда... — лениво согласился Афанас, выковыривая из колесины навозного жучка. Русые волосы его,

добела обожженные солнцем, свисали на лицо. Брыкину хотелось заглянуть ему в глаза, за скобку волос, знает ли или только напрашивается на бутылку угощенья. — Вот, тоже сказать, и волк... — сказал вдруг Чигунов, поднимая глаза.

— Какой волк?.. — нахмурился глупому слову Егор Иваныч. — К чему у тебя волк?

— Волк-те? А вот у отца зарок был: не затрагивай волка попусту, а уж бросился, так прямо в шею кусай.

Брыкин пристально глядел на Афанасово лицо. Лоб у Афанаса был большой и тяжко висел над несоразмерно маленькой, какой-то бабьей, нижней частью лица. Глаза высматривали из глазниц хитро и зорко, только они одни и посмеивались. Брыкин догадался, о чем думал Афанас.

— У меня вот таким же манером... братишка недавно прибыл. С Андрюшкой Подпрятовым... приятель тебе? Я к нему разом — пачпорт покажи. У него тоже, пачпорт-те, вишь, берестяной, а бересто-т с березы еще не слуплено... Да и береза-то еще не выросла! Я им обоим и наказал: гуляй, говорю, в лесах. Лес человеку очень, говорю, пользительно. Вырой себе ямку и живи в ней.

Брыкин озлился и насильственно заулыбался,

— Должно, шарик у меня не работает. Ты прости, дядя Афанас, а только речь твоя мне не по разуму! И куда ты клонишь — не пойму. Опасный ты, дядя Афанас, человек!

И он крупным, нарочитым шагом дошел до исполкомского крыльца. Исполкомский дом, когда-то сигнибедовский, рублен был на старозаветный манер, неистовствовала пестрота раскраски. У крыльца стояли, привязаны, две лошади, правая — статная кобылка под седлом. «Не вернуться ли?..» — тоскливо мелькнуло последнее соображение. Но, ощутив на спине у себя насмешливый взгляд Афанаса Чигунова, Егор Иваныч, грохая сапогами, поднялся на крыльцо и с остервенением распахнул вторую, в сенях, дверь.

Его охватила духота тесной каморки. Вокруг стола, за которым бойко поскрипывал пером семнадцатилетний парнишка, председателев сын, стояли мужики. Их было шестеро. И у всех шестерых на лицах было написано озабоченное непонимание, даже виноватость. У одного из

них как-то особенно понуро выглядывал грязный клок из дырки на штанах.

Окна были закрыты. В мутное стекло, густо засиженное разными насекомыми, гудливо билась озверевшая синяя муха. Она искала выхода, но выхода ей отсюда не было. Отсутствовал здесь обычный избяной дух, и воздух, какой-то серо-желтый, пахнул чем-то махорочным, солдатским.

Егор Иваныч прошел мимо и уже без прежней решимости взялся за скобку следующей двери.

— Вам куда, товарищ? — сорвался с места председателев сын, второпях бросая ручку на стол и изобразив возможную строгость на безусом своем лице.

— Да я, Васятка, к папаше твоему... Хочу вот леса попросить, не даст ли, — откровенно признался Брыкин и весь стал какого то палевого оттенка.

— Тут Васяток нет, тут общественное место, — бесстрастно отразил паренек. — И папаш тут тоже никаких не имеется! И вообще, товарищ... — Он не договорил, охваченный пожаром нестерпимого смущенья.

— Ну, уж прости дурака, — съязвил Брыкин, манерно кланяясь в пояс. — Не знаю уж, каким тебя благородием и свеличать! Люди, сам знаешь, темные!.. В отдалении живем! — Брыкин так смешно подергал всем туловищем, словно вытряхивая себя из себя самого, что мужики, все шестеро разом, засмеялись, лениво и добродушно.

— Я тебе не благородие, Егор Иваныч... как мы все обитаем землю: трудовой, одним словом... — путался Васятка. — И потом, эта дверь в цейхгауз ведет, а к председателю вот сюда! — И он сам отворил перед Брыкиным дверь.

— Садись уж, записывай... трудовой! Сенокос ведь! — сказал тот, с дыркой на штанах.

— Ты нам вот зимой поболтаешь, дремоту разогнать, — прибавил беззлобно другой.

Егор Иваныч слышал это, но уже не смеялся вместе с мужиками. Он пролез в дверную щель как-то боком и остановился посреди комнаты.

Здесь было покойно, просторно и хорошо. За открытым окном стояли яблони в цвету: Сигнибедов был хозяйствен. Отраженное в глянцевой зелени яблонь

солнце было так сильно, что и на лицах людей, и на всех немногих предметах здесь смутно и приятно поблескивал прохладный зеленоватый отлив. Эта зеленоватость и придавала комнате какую-то необычную чистоту, вначале даже непонятную для глаза. Впечатление чинности создавалось огромной литографией Ленина, висевшей в красном углу.

У левого окна, закрывшись газетой, сидел большой размерами человек в гладких военных сапогах. Лица его не видел Брыкин, зато виден был толстый перстень на крупном пальце, придерживавшем газетный лист. Брыкин не обратил на него особенного внимания, более привлеченный другим. Этот другой, военный комиссар соседней волости, разморясь от жары и изнемогая от зевоты, забавно ловил мух на собственном колене. При появлении Брыкина он как раз бросил обескрыленную муху под лавку и, встав, закурил папироску, торчавшую у него за ухом, в запасе.

— Ну, я поехал, Матвей Максимыч, — сказал он, вытаскивая сквозь зубы струйку дыма. — Я к тебе вечерком заеду, жара спадет... В Попузине-т все Пётр Васильич сидит?

— Пётр... — сказал председатель и рассеянно позевнул.

— Ну вот, я тогда к Петру Васильичу поеду.

Сам председатель был бос и сидел за столом, на котором поверх вороха газет лежала крохотная восьмушка серой бумаги. В нее и вписывал Лызлов тугие свои соображения, тыча время от времени пером в чернильный пузырек. Писал он медленно, водя по бумаге с нарочитой осторожностью, точно боялся неловким нажимом порвать бумагу, причем дыхание он задерживал, так что порой прорывался из его мошной груди тоненький, приглушенный свист. Было чудно и хорошо наблюдать за ним, как он дрожащей от силы рукой преодолевает восьмушку бумаги. Даже и Егор Иваныч, остановясь перед столом, почуял какую-то непреодолимость в пастушьем сыне. Он подождал, пока Лызлов не дописал до конца.

— Чего тебе? — спросил Лызлов, тяжело дыша разинутым ртом на печать, чтобы отчетливей приложилась к бумаге.

— Да вот лесу бы мне, Матвей Максимыч. Пятерику бы штучки три... — заторопился Брыкин. — Разрешеньице бы!

— Лесу, — задумчиво сказал Матвей Лызлов. — Откуда же я его дам тебе, лесу?..

— Да из лесу! Ясно дело, не из речки же... — кинул Брыкин, вытирая пот с лица. — Я сам и съезжу.

— Из лесу... — повторил председатель, так нажимая на печать, что где-то в полу хрустнуло. — Ну вот... — Видимо, и Лызлова одолевала солнечная истома. — Пущу я тебя в лес, а ты там уйму нарубишь. А ведь мне отчет давать. Спросят: где вот с этого пня лесина?

— Да мне хоть сухостойного... Вон еще у школы горбушинник-то гниет. Его и дай! А мне и не пилить, — уныло вздохнул Егор Иваныч, кивая куда-то за окно. — А то бы я и сам срубил... Лес-то, что трава, прет!

— Сколько же тебе надо лесу? — спросил председатель, пряча печать в карман широченных, жухлого цвета штанов.

— Мне бы жердей для сушила да мелочи, скажем... Пятеричку тоже лесин пяток... — осмелев, начал перечислять Брыкин, но Лызлов не дослушал.

— Заявление напиши, — определил Лызлов. — На какой тебе расход лес, занятье свое укажи и кто ты такой, я тебя не знаю!.. Одним словом, там тебе Васятка расскажет.

— Неужто ж забыли вы меня, Матвей Максимыч? — обидчиво поершился Егор Иваныч. — Брыкина, Ивана Гаврилыча, сынок я! Как вы пастушонком, извиняюсь, с отцом своим бегали, мамынька наша, извиняюсь, все шутили, что в печку вас спать положит. Мамынька нам и сказывали... — Очевидно, память у Брыкина была крепче председателевой.

— Ладно уж... Поговаривают о тебе! — нахмурился Лызлов, уткнувшись в новую восьмушку бумаги.

Брыкин, как близко ни касался его лызловский намек, не дослушал. Человек, сидевший за газетой, опустил газетный лист, и Брыкин в нем узнал Сергея Остифеича. Они встретились глазами, и Половинкин, внезапно смутясь, вновь укрылся за газетой. Впрочем, от Брыкина не так-то легко можно было отделаться. Егор Иваныч на

цыпочках перебежал в половинкинский угол. Но не смущенное лицо Сергея Остифеича, а нечто совсем другое и неожиданное привлекло брыкинское внимание.

Одновременно сюда вошли все шестеро давешних мужиков.

Чувствовалось, что принесли они какое-то смятение, даже возбужденность, даже гнев. Волнение их разом передалось и Брыкину, — он задышал усиленней, как перед скачком. Мужики стеснились к председателеву столу.

— Да что ж это, Матвей Максимыч, сынишше твое с нами делает? — яростно возгласил передний мужик с черными блестящими волосами.

— Прямо дух вон! — объявил, быстро моргая, другой.

— Как мы на торфу работали по весне, то есть девки наши, одним словом... — пискливо и звонко объяснял третий, нечесаный. — Нам сказал заведующий-те, что-де с тебя, Прокопий, гужа не потребуют. А ноне, в самый покос, опять в подводы тащут! — Он налезал на председателев стол, шумно хлопая по ладони кулаком, точно в ладони и сидел торфяной заведующий. — Это нам, Матвей Максимыч, не подходит! Мужики — они доверчивы, зачем, скажи, их омманывать?! Мужика не нужно пхать, мужик пригодится. А то ведь мы пойдем счас туды, на фабрику, и трубу уроним, чтоб не было заблужденья... как от трубы все идет, одним словом.

— И уроним, явственно, что уроним, — твердо повторил коренастый, охромевший в прошлую войну, Ефим Супонев. — Что ж такое! Совсем, значит, заанулировать нас хотят. А мы не дадимся. Мы до самого Ленина дойдем... Товарищ, скажем, все с чем боролися и к тому пришли?.. Нам каждая подвода не ко времени — все равно что кровь пролить...

— Во-во, в кровь, в кровь! — не дослышав по глухоте, наскакивал из мужиковской кучи какой-то, самый маленький по росту.

Лызлов, ничего не понимая, вскидывал глаза то на одного, то на другого, а те все напирали, суя слежавшиеся бумажки в председателев нос.

— Погодите, погодите... — начал Лызлов. — Конечно, государство не имеет против вас заднюю цель. А насчет

этого вы к заведующему и обратитесь. Не имел он права вам таких бумажек выдавать, чтоб освобождать от гужа.

— Да ведь он уволен, заведующий-те... — вылез задний.

— Уволен он! — басовито сказал крайний справа, в коротких сапогах, тоже бывший солдат. — Мы уж ходили, там ноне другой сидит.

— Нам ходить некогда... Мы тебе доверили, ты нам и отвечай! — прокричал старик с дыркой в штанах.

...А Егор Иваныч тем временем вел свою острую игру с Серёгой Половинкиным. Он забежал справа, но тот и газету перенес вправо. Тогда Егор Иваныч перебежал влево, но и газета, соответственно, передвинулась влево. Тут Егор Иваныч привстал на носки и заглянул поверх газеты. Лицо Сергея Остифеича вздрагивало подобиями молний, как небо перед бурей, а на лбу проступил пот.

— Ты что, ровно муха, на меня лезешь? — огрызнулся Половинкин, и руки его, вдруг ослабев, сами опустились на колени вместе с газетой.

— Пиджачок-то... — не своим голосом прохрипел Егор Брыкин в самый раскрытый рот уполномоченного, приседая в согнутых коленях, — перешивали пиджачок-то?.. Аль и так подошел?! — и протягивал палец, порезанный вчера и теперь обмотанный грязной тряпицей, прямо к своему пиджаку, сидевшему на Половинкине и правда как-то подозрительно.

Пиджак этот был куплен Егором к свадьбе, куплен с запасом на возможное брюхо и рост, в нем и венчался, хороший пиджак, синий с искоркой, сохранялся под нафталином в Анниной укладке.

— Что ж ты этим хочешь сказать? — подгибая напрягшуюся шею, уставился в Егоров перевязанный палец Половинкин. — Украл я его, что ли?! Сама же твоя и подарила мне... — Он метнул просительный взгляд на председателя, но тому с мужиками было только до самого себя. — Возьми свой пиджак, коли нужен... Он к тому же и тесен мне, в плечах теснит... — неловким голосом предложил Половинкин, делая движения, точно жег плечи ему Аннин подарок, и вытер лоб ладонью.

— Что вы! Что вы!.. — замахал на него руками Егор Иваныч, как в припадке безумья, перегибаясь в пояс-

нице то туда, то сюда. — Денно и нощно за вас, благодетелей, бога молим... что посетили вы сирую домуху мою... не погнушалися! — Он с надрывом ударил себя в грудь и одновременно смахнул с губ пену неистовства. — ОСемёнили, можно сказать!.. Носите... носите на здоровьице пиджачок мой!

— Ну, полно, братец, перестань... Охота тебе по пустякам расстраиваться!

Половинкин высился, как гора над комаром, досадливо звеневшим перед глазами. Все лез комар:

— Погоди! Трепачком заставим вас ходить, животишко мне лизать станешь... Гусак жирный!

— Не доберешься, пожалуй, — пробовал посмеяться Сергей Половинкин, пробуждаясь от своего каменного оцепенения.

— Что ж, петушиное слово знаешь, что ли... что и не доберусь до тебя?.. — ярым шепотом издевался Брыкин. — Хлопушек твоих, думаешь, побоимся? — кивнул он на наган и ручную гранату, подвешенную на ремешке к половинкинскому поясу.

— Не в хлопушках, братец, дело, а высоко, братец ты мой, поставлены! — затеребил усы Половинкин, признак того, что гневался.

— Кем же ты, батюшка, поставлен? — прикинувшись старухой, прошамкал Брыкин. — Богом, что ли?..

— Чертом! — гаркнул, окончательно озлясь, Половинкин и, показав Брыкину язык, прошел в дверь.

Второй конь, статная кобылка, принадлежал, видимо, Половинкину. Через минуту с улицы донесся до Брыкина мерный его топот. Егор Иваныч успел добежать до окна. То, что он увидел, еще больше взъярило его. По пустынной и пыльной улице, залитой неистовым солнцем, уезжал Половинкин. Худущая подпрятовская собачонка надрывалась от лая, вертясь у лошади в ногах. Сергей Остифеич махнул хворостинкой, кобыла рванулась вперед, а собачонка оторопело замерла перед облаком пыли, побитая и растерянная.

Мужики все еще гудели, но уже тише. Матвей Лызлов звучно отчитывал Васятку за не в меру ревностное ведение дел. Васятка глядел мрачно.

— Декрет был про гуж, — в десятый раз оборонялся Васятка. — Третий пункт!

— Третий есть, значит, и четвертый будет! — наступал отец.

— Нет там такого... — все больше румянился Васятка.

...Полдневная жара стихала, но все — и избы за окном, и лица мужиков, и белая председателева рубаха — все было кумачово-красным для выпученных Егоровых глаз; по всему бегали одинаково юркие кружочки головокружения. Даже прохладная зелень яблонь, нагретая зноем, испускала теперь на Егора моргающий красный свет.

Только когда отошел шагов на сто от исполкомского места, пообдуло с него начинавшимся ветерком гневную истому.

VI. Вступает Семён

Вскоре еще одним солдатом прибавилось в Ворах. Последние восемь верст пришлось хромать солдату в ночное время — влекло его неудержимо домой. Был этот солдат громоздкого роста, и на дорогах не напрасно косились люди на его большое лицо, на его нескладный можжевеловый костыль — этакая разбойничья кочерыжка. Поистрепался в жаре военных неурядиц, но и теперь видно было: истовое дитя воровской стороны, костяк широкий, поместительный, есть где сердцу ходить.

Оттого, что приходил он с другого края, чем Брыкин, попадались ему и места иные: лесные, неоткрытые; идти было приятно по холодку. Приятно было возвращаться из тревожных городских зыбей в свою зеленую глушь, где — вон она! — наступает неудержимая лесная лавина, где — вон они! — полянки, не топтанные, кажется, ни человеком, ни конем. Но давала себя знать подраненная нога, залеченная лишь наполовину. Отзывался каждый десятый шаг судорогой на его лице, а на каждом сотом останавливался отдохнуть. Ладно еще, что никогда не бывает утомительна кладь путешествующего в одиночку солдата. Дойдя до опушки, он присел на пенек.

Ночь шла на убыль. Небо прожелтело легонько с восточной стороны, в нижнем слою походя на новину, новокрашенную ольхой. Стояла настороженная тишина, словно всякое прислушивалось из глубины своих нор, с высот своих гнезд к неуловимому началу восхода. Яблоками пахла превосходная та пора, точно горы их были навалены где-то поблизости. Вдруг зарделись земные закраины, заголубела желтизна. Похолодало на одно мгновение, потом воздух вздрогнул — ударили по нему первые быстрые лучи. Не сразу, но вскочил один нечаянный лучик и на письмо, которое разложил солдат у себя на коленях.

Тут разом заворошился лес: все живое запищало, закричало, засвистело, полезло, громоздясь и вопя, на широкую солнечную волю. И месяц, гость ночи зачарованный, не спешил уходить, хоть и сгонял его с неба умножающийся свет.

Впереди текла Курья, в версте за нею сидели Воры на холму. Далеко влево, на взмахе глаза, высились свинулинские развалины. Подул ветерок и донес, не расплескав, к солдату разнозвучные голоса пробуждающегося села. Резкий, как и первый солнечный луч, вплавился в воздух пастуший рожок. Тяжко щелкнул невидимый бич. И вдруг вся тишина наполнилась криками выгоняемого на луг скота, даже тесно стало от звуков. И было понятно, что о том же кричит и корова и овца, о чем и листок, и птица, и всякая лесная мелюзга. Из крайнего заулка бурным потоком высыпали овцы и кони. Воздух был чист, как ключевая вода. Пыль, отяжелевшая за ночь, не подымалась. Не пылят утренние дороги ни под шагом, ни под колесом...

Ущемилось воспоминаньем солдатово сердце. Дым и небылица! Вот так же и он выганивал скотину и все силился выдуть из лызловского рожка хоть четвертинку пастуховской песни. О чем же тогда играл, в давнем детстве, Максим Лызлов? Да обо всем, что видано. Видел бегущую собаку старый Максим, о бегущей собаке и пел рожок!.. Солдат встал и захромал ближе к Курье. Воспоминанья неотступно следовали за ним. Глебовская пойма — здесь резали с Пашкой дудки, а там, под ветлой, дремал Максим. Вон там, где от зимы осталась веха, замычала первая корова. Вот здесь мужики навалились на провинившегося Максима, — все заровнялось, и не

узнать теперь по сочной острой траве, как притоптана она была двенадцать лет назад.

Двенадцать, — небылица и дым! Брыкин его нашел, едучи женихаться. Мать отпаивала молоком и целую неделю прятала Сеню в риге. Потом — Зарядье. Дым и небылица, тоска и боль. Настя, чье письмо теперь в солдатовой руке. Кричит Дудин, и смеется Катушин, жизнь и смерть, дым и небылица. Потом война. Потом еще война и рана в ногу... Как молодой кусток в лесном пожаре, сгорела юность, и вот золой играет ветер, задувает ее в глаза, и глазам больно.

Стадо приблизилось к Семёну, располагаясь по сю сторону Курьи. Опять, под той же ветлой, где и Максим, сидит пастух и плетет обычный лапоть, а пастушата собираются купаться. Вот оно, самое дорогое и повторяемое из века в век! И тут Семёна потянуло к пастуху, и он пошел хромая, а не доходя шагов трех, поздоровался громко и дружелюбно:

— А ну, дед, закурим, что ли?

— Закурим, коли дашь, — спокойнехонько поднял веселые глаза старик, и снова запрыгал шустрый кочеток, прогоняя лыко в петли.

— Из солдат вот иду, — сказал Семён, опускаясь на траву возле пастуха.

— Из солдат?.. Ну, и то дело... А я лапоть вот плету! — согласился старый и покосился на драную Семёнову шинель. — Росисто ноне, не садился бы! Испортишь еще, часом, казенное-те добро...

— Обсушит! — засмеялся Семён, протягивая ему махорку в горстке. — Эк ты ядовитый старичок... ядовитей золовки!

— А что старичок? Не нонешней выделки старичок, прочный!

Они закурили. Сладкие кольчики махорочного дымка, свиваемые поземным ветерком, понеслись на стоявшего невдали быка.

Бык понюхал воздух, подойдя к пастуху, уставился на него ноздрями и рогом.

— Ну-ну! Ступай, товарищ, ступай. Куритель тоже нашелся... — замахал на него лапотной колодкой пастух. — Вишь, бабы-те, гляди, заскучали без тебя... Ступай!

Бык понял и пошел к коровам.

— Комар-то не ест? — спросил Семён, жадной струйкой выпуская дымок.

— До Петрова дни ест, а потом уж ему не воля... потом засыхает. Мы не жалуемся! Сам-то в городе, что ли, жил?

— Да... и в городе, — неохотно отвечал Семён.

— Домой, значит? Очень хорошо... — И опять неторопливый шелест кочетка.

С реки доносились возгласы пастушат, фырканья их и плески. В лесу захлебывалась кукушка. И потом жаворонки, жаворонки, неустанные песенники утренних небес, бултыхались в воздушных ветерках.

— Живете-то теперь как? — спросил Семён как бы вскользь.

— Живем хорошо, ожидаем лучшего... — уклонился пастух.

— А ты не бегай... Ты мне толком скажи, — настаивал Семён и досадливо потрогал длинный пастуховский кнут. — Ведь я вот двенадцать годов дома не был.

— Двена-адцать, ну, скажи-и... — равнодушно подивился тот и переложил кнут на другую сторону, взяв его прямо из Семёновой руки.

— Так как же? — ждал Семён.

— Да что, как есть мы деревенские жители... живем, и всякий нас судит!.. — начал издалека пастух. — Одним словом, босы не ходим! Было б лыко, а сапоги будут, — и подмигнул своему суетливому кочетку. — Се-еньк! — вдруг закричал он подпаску, натягивавшему на себя рубаху после купанья. — Сгони корову с поймы-те!

— Так как же? — все не отступал Семён.

— Да вот и так же! И насчет одежи совсем гоже! В мешок рукава вшил, вот и гуляй. Мужику нашему что! Селедка да самогон есть, вот, значит, и царствие небесное! — хитрил пастух.

— Не об одежде спрашиваю.... Нонешним довольны ли? — глухо сказал Семён, хмурясь от недоверия старика. — На фронте-т говорят-говорят в бывалошнее время, так мозоли на ушах-то вскочут... Я тебя как своего, как мужика, спрашиваю.

Пастух отложил недоконченный лапоть в сторону и бережно потянул из почти докуренной папироски.

— Ты ко мне выходишь, парень, из лесу, в ранний час. Кто ты — не знаю, зачем ты — не пойму. А может, ты меня, парень, на дурном словить хочешь? Может, тебе награду назначут, коли ты старого Фрола за воротник возьмешь?.. — внятно и строго проговорил старик, зорко и неодобрительно оглядывая Семёна. — На-ка, ехали мужики в водополье, подсадили этакого. Так, ничего себе, с хриповатиной только, а чтоб оружие там, так даже и нет. Дорогой-то и брехали... Известно, какие только у мужика слова во рту не живут! И о холоде говорит, а слова жаркие... Человек-то и подкараулил!..

— Савелья знаешь? — прервал его Семён и встал, раздосадованный пастуховской осторожностью.

Самокрутки их докурились, разговор истекал.

— Поротого? Как не знать! Эвось меринко его стоит...

— Ну-к, а я сын его. Ты мне не веришь, а я и сам в пастушатах у Лызлова год проходил... — с обидой сказал Семён, гладя рукой коротко остриженную голову.

— У Максимки, говоришь, ходил? — загорелся разом пастух, и глаза его стали светлы и веселы, как голубое небо. — Помер Максимко-те! Я-те уж Фрол Попов называюсь, а Максимко помер, да-а...

Признав в Семёне своего, старик так разошелся, что даже попросил еще табачку на завертку, но первоначальный Семёнов вопрос так и остался без ответа. Только рассказывая о Зинкином луге, проговорился опасным словом Фрол. Но тотчас же оказалось, что пора подошла перегонять стадо на другое место. Фрол поднялся, уже на ходу успев сказать:

— Эка теснота! Чуть недогляди, а уж в низину прутся. Эк небеса-т просторные, вот бы где Фролу Попову стада свои гонять!..

...Семён шагал. Утро начиналось со зноя, и уже было в воздухе как бы отраженье дальней грозы. Поджарая собака, лежавшая возле новенькой, только что проконопаченной лызловской избы, проводила Семёна стеклянными, осовелыми глазами. У дома вскинул глаза на чере-

муху, возле которой — подсказала память — скворечник. Сломанный шест стоял, а деревянного домика на нем уже не было.

...Савелий обертывал ногу, низко склоняясь с лавки. Анисья доставала горшок из печи. Когда Семён вошел, Анисья, мать, обернулась на дверь, в испуге развела руки, и каша грохнулась на пол.

— Светики! — вскричала Анисья, и полоумной радости исполнились ее глаза.

— О, плешь тебя возьми! — оторопев от восторга души, ставшей в старости податливой на быстрый смех и нечаянные слезы, вскочил и Савелий.

...Он, умытый, блестя обветренной кожей лица, сидел за столом, а мать хлопотала вокруг, то и дело поглядывая на сына.

— Угости отца-то табачком, — шепнула на ухо Анисья. — Мужикам без табаку маета, трубокурам-те...

— Закурим, папаша! — сказал Семён Савелью. А Савелью не сиделось на месте. Он елозил по лавке и все закрывал глаза, соображая что-то, что ему нравилось.

— Дойдем! — вскричал он наконец. — На Людмиле Иванне тебя женим, на поповской дочке! Вот благородно выйдет!

— Нашел, нечего сказать, — смеялась мать. — В просвирку девка ссохлась!

— Дак зато поповна, жена-а! — вразумлял Савелий.

— Уж и забыл! Ведь выдали Людмилу-те Иванну, на Фоминой еще выдали, — укорительно сказала Анисья. — За гусаковского, за нечесаного, выдали! От вековушества своего и вышла... Совсем ты у меня, отец, из ума выжил.

— За гусаковского? — испугался Савелий и сразу погрустнел. — И тут дошли!.. Чем бы ни навернуть, только б пообидней!..

И, опечаленный, он снова стал разматывать онучу, вполслуха внимая неодобрительным Семёновым рассказам о войне и городе, которому подходит ныне непреодоление и разор.

И вдруг захохотал пронзительно и тонко Савелий: ведь экая дуреха, хоть и поповна... променяла такого червонного козыря на лохматого гусаковского попа.

VII. Приезжий из уезда уговаривает мужиков

Все находила на Аннушку сонливость в последние сроки. Оттолкнутая Сергеем Остифеичем и еще не излеченная от любви к нему, окруженная чужими, лежала Анна на лавке в темных сенцах в предродовой болезни. В избе ужинали, в плошке горел жир. Сидел за столом, кроме домашних, Фрол Попов, — уже тяготели ко сну старческие глаза; еще сидела повитуха, бабка Маня Мятла. В молчанье хлебали щи, когда закричала Аннушка... Аннушкина мука была недолгая: скоро держала Маня Мятла мертвенького восьмимесячного.

— Порох, что ли, с водкой пила? — сухо спросила Мятла, наклонясь к уху стонущей Аннушки.

— Не-е... льняными лепешками, — простонала Анна.

Баба пошла с ребенком куда-то за задворки, метя за собой пол подолом — откуда и прозванье, — неодобрительно качала головой.

На четвертый день, до срока, Анна встала и даже не спросила о младенчике, куда зарыли. С утра ушла куда-то. Видали ее в лесу, у лесной избы, видали и над Мочиловским омутом: Курья впадает в Мочиловку в трех верстах от села, здесь омут. Нигде Аннушку не останавливали от дурной мысли, но, видно, так же был силен в ней порыв к жизни, как и к смерти.

Домой она вернулась лишь под вечер, проплутав весь день. Была бледна, как выпитая. Войдя, села на лавку и стала сидеть бездельно. Так сидят соседки в чужом дому и нищие-странницы. В сумерки вошел Егор Иваныч, заметил ее, стал что-то делать у печки. Она встала и пошла к нему, беззвучная и полная неутолимой скорби. Синяя кофточка гладко облегала ее крупные покатые плечи.

— Егор Иваныч... — еле слышно произнесла она, — вот и опросталась я. Суди меня теперя.

— Какой на тебя суд?.. — визгливо прокричал Егор Иваныч. — Ты кошка, ты по рукам пошла... Уходи, не обступай меня!

Словно тронутый каленым железом, он заметался перед Анной, не находя нужного слова, самого оскорбительного, самого губительного из всех. Вдруг он замахнулся, высоко подкинув брови, но не ударил, а выскочил

опять туда, на крыльцо, откуда пришел. Созерцание собственной раны давало ему большее удовлетворение, чем раскаяние Анны.

А та постояла одна в потемках избы, прислушиваясь к начинавшемуся дождю и мычанью недоеной коровы. Вдруг, помимо воли, вспомнила, как семнадцать лет назад — Анна была еще девочкой, многого не понимала — травила тетка Прасковья пьянствующего свекра: пополам с маком запекла рубленую щетину в пироги. Мысль об этом отрезвила Анну и согнала с нее тусклый налет тоски. Она подняла лицо к потолку и, устало улыбнувшись, сказала вслух:

— Что ж ты меня гонишь! Стреляная баба — что собака: кто погладил, тот и хозяин. Эх, Егорка! — Потом она сняла подойник со стены и, переваливаясь бедрами, пошла доить корову.

Вскоре после того как-то случаем встретилась Анна с Петькой Грохотовым: Петька песни пел, как никто, был неженат, невеселых песен не ведал, он-то и убаюкал и приютил бездомное Аннушкино сердце. Снова до самого донышка своей души наполнилась Анна любовью. И уже никто не проведал, что в третий и последний раз цвела Анна.

...Да мир помешал. К жнитву темные слухи разбежались по мужиковским избам: будут церкви закрывать и подвешивать печатки, будут хлеб отнимать весь начисто. И как бы в подтверждение россказней собрали однажды под вечер сход для выслушанья речей уездного человека. Васятка Лызлов ходил по селу и усердно свиристел в тот самый роговой свисток, которым когда-то собирал сходы Прохор Стафеев.

Сельчане собирались лениво, однако пришли все. Став поодаль, они подглядывали из-под козырьков и платков за всеми случайными и неслучайными движениями наезжего. А тот, путаясь в длинных полах своего брезентового пальто, ходил взад и вперед вдоль сигнибедовского амбара, тер руки и сам украдкой разглядывал мужиков. Глаза у него были усталые и чуть-чуть напуганные. Минутами казалось, что он хочет сказать вот тут же сразу что-то очень хорошее, такое, чему не место на митингах, где крик. Он останавливался, вытирал испарину

со лба и снова с утроенным рвением принимался ходить туда и сюда. Матвей Лызлов, председатель, с двумя красноармейцами из трех, приехавших с гостем, притащили из исполкома стол и две табуретки. Исполкомские о чем-то совещались.

А среди девок шли разговоры, чужие и насмешливые:

— Нос-то у него, у моргослепа, глядите, девоньки, ровно молоток! Ишь руки-те натирает.

— С холоду трет! У них теперь в городу-т осьмушкой дразнятся, — фыркала в край головного платка другая, Праскутка.

Третья хохотала совсем не без причины;

— Жара, а он в пальте приехал!..

Бабы сказывали про свое:

— Ой, с чего это глаз у меня обчесался совсем... До дырки дочешу!

— К слезам, бабонька, — чинно говорила брюхатая рублевская молодайка.

Мужики — свое:

— В Попузине на прошлой неделе Серёга обирал. Скажи, хоть бы мешок оставил! Тетерину весь сад перекопал, искамши. Сам и рыл!.. — повествовал Бегунов; опущенное веко придавало ему со стороны вид уснулой рыбы.

— Почему б ему не рыть, не сам ведь сажал. Ишь рожу-т отрастил, в три дни не оплюешь! — сказал не в меру громко другой и, видимо, сам испугался своей решимости.

— Вот и до вас доберутся, — подсказал Семён, стоявший тут же. — Сами и отдадите.

— Да ведь как не отдать-то? — вздохнул тот, смелый. — Ведь требуют!

Тем временем Васятка, сидя с самым насупленным видом за столом, шептал что-то в ухо исполкомскому писарю, Кузьме Мурукову. Муруковский карандаш, понукаемый Васяткой и время от времени обсасываемый владельцем, отчего оставались лиловые пятна на губах, как угорелый носился по бумаге. Васятка тоже имел уже лиловое пятно карандаша на щеке. Тут как раз Лызлов влез на незанятую табуретку — гость предпочитал ходить, — вытянул руку

вперед, переглянулся с гостем, можно ли начинать, цыкнул на воркотливую шепотню баб и предложил выбрать председателя.

— Попа Ивана! — сказал в тишине измененный голос сзади.

— Товарищи, кто это сказал? — закричал Васятка, весь задрожав и подскакивая на табуретку к отцу. — Клеймите, товарищи, таких! Это есть несознание момента...

— Матвея Лызлова, — чернильными губами предложил Муруков, не отрываясь от бумаги.

— Мне нельзя... Из своей среды выбирайте, — сухо отчеканил Лызлов.

— Ну-к, Поболтая! — сказал Фёдор Чигунов, брат Афанаса. «Поболтай что-нибудь» — было прозвищем мужика Пантелея Чмелёва, всегда склонного к рассуждениям как о научном, так и ненаучном.

— Поболтая, Поболтая! — закричали мужики, с хохотом встретив предложение Чигунова.

— Ваську! — сказал Сигнибедов со злостью. — Он идейный... отца с матерью не пожалеет. Ваську!

Васятка слышал и стоял за столом со стиснутыми губами, то краснея, то бледнея. Быстрые глаза его метали молнии в неуязвимую сигнибедовскую толстоту. Рука его рассеянно почесывала щеку, точно догадалась соскоблить чернильное пятно. Он наклонился к чмелевскому уху и настойчиво пошептал ему что-то.

Мужиковский выбор остановился все же на коротконогом Чмелёве, который и не замедлил влезть на табуретку.

— Итак, мужички, я ваш председатель. Очень хорошо, прошу меня слушаться! — начал он, блестя веселыми глазами. — Во-первых, мужички, поступило объявление от одного тут из товарищей... — он покосился на Васятку, как бы спрашивая, правильно ли передает он Васяткины слова, — удалить Сигнибедова гражданина совсем вон отседа. Он как есть бывший кулак и пономарь... Как вы на это, мужички, посмотрите, а?

Мужики молчали. Приезжий гость почесал свой длинный нос и озабоченно скривил губы. Полаяла вдалеке собака. Вздохнула баба. Скрипнул под Чмелёвым табурет.

— Не за то ль ты меня, Васятка, и гонишь, что я тебе в четвертом годе пряников не дал? — спросил, весь багровый, Сигнибедов. — Ну, постой, доживешь до пряничка! — Сигнибедов уходил, не дожидаясь решения схода, и, как у разбитого ударом, подрагивала у него правая, висевшая вдоль тела рука.

— Товарищи, он грозится! Вы слышали, товарищи?.. — горячился Васятка, чуть не плача. — Товарищи, общественное порицание ему...

— Ничего, ничего... уходи, Павел Степаныч. Опосля расскажем! — примирительно закричали мужики вослед уходящему.

Пантелей Чмелёв, закрасневшись так, словно бодягой в этот промежуток щеки натер, залпом выпалил все, вычитанное за неделю из газет, потом тихо и скромно прибавил немного своего, и это бедное свое прозвучало гораздо сильнее всего прежде сказанного им. Мужики внимали, но, стыдясь искренних глаз Чмелёва, скрывали свое внимание смехом.

— Мужик, а петушисто язык подвязан! — восхитился Савелий, толкая сына в бок.

— И какую ты кашу ешь, что ты такой умный? — крикнул Лука Бегунов.

— Про Марсию валяй, — крикнул дядя Лаврен, стоя невдалеке от наезжего гостя, и, заметив удивленный взгляд его, объяснил охотно: — Он все про Марсию нас убеждает, будто и там люди живут... А мы ему не верим, этого и у нас, думаем, вполне хватает, чтоб еще на небо такое же сажать!

— А верно, хвати-ка про Марсию, — посоветовал и сам черный Гарасим, копаясь огромным пальцем в бороде и высматривая исподлобья.

За Чмелёвым вслед влез на табуретку Васятка Лызлов. Но он так разбрыкался в первые же пять минут, что, казалось, вот-вот из себя выскочит и полетит. Отец взял его сзади за рубаху и, стащив с табуретки, попридержал малость, пока не улегся Васяткин пыл. И тотчас же после этого объявил Лызлов-старший, что будет говорить наезжий в Воры гость, уездный продкомиссар.

Все еще широко улыбаясь над Васяткиной неудачей, гость стал говорить, не влезая на табуретку. И с перво-

го же его слова оборвалась веселость у мужиков. Бороды помрачнели, безбородые насупились, сдвигаясь тесным кольцом.

— Про разверстку будет говорить, — предупредил шепотом кто-то, и сообщение это мигом разрослось в шум, а шум почти мгновенно докатился до самых краев сельской площади.

Наезжий, оказавшийся и в самом деле уездным продкомиссаром, в подтверждение чего Муруков издали показал мужикам бумагу, припечатанную не однажды серпом и молотом, не чмелёвского нрава был человек. Говоря, он все время сбивался с сухого тона на какой-то искренний, открытый, и тогда кидал слова сотнями, как одуванчик Семёна на ветер, в слепой надежде, что хоть одно процветет. Мужики видели, что порой продкомиссар вдруг останавливался на полуслове, точно вспоминал какой-то наказ, и начинал говорить по-иному — слова начинал отсчитывать резко и четко, как бусы на нитке. Лицо его тогда из бледного становилось красным и глаза, усталые как бы после тысячи бессонных ночей, начинали виновато моргать. Если Чмелёв любил поиграть непонятным словом, как ребенок играет с незнакомой игрушкой, этот теперь расставлял слова, как солдат перед боем.

...Пути-де к победам трудами выщебенены. Голодает-де рабочий, брат и сын ваш. Люди злые, в трудовой правде не правые, хотят ядовитым зубом взять нас, идут полчищами, несут смерть. Красная-де армия разута и раздета, хлеба у мужика просит: «Дай хлеба, братишка! Отвоюем — отработаем, один у нас с тобой кошель!..» Хлеб нужен. Не будет хлеба — мрак будет. Мрак будет — мор будет. А там и предел всякой гибели: воссядет вновь на мужиковскую спину всякая явная и неявная насекомая тля...

Долго говорил наезжий. Где-то по заоколицам играл повечерие на домодельной свирели Фрол Попов, на ночь приганивая скотину. И уже соглашались Воры, крутя лбами, что и впрямь невыгода отдаваться наново свинулиным в помыканье... Как вдруг, разойдясь и вспомнив наказ из уезда — речи вести твердые и суровые, чтоб не почувствовал мужик какой-либо несвоев-

ременной поблажки, — ругнул наезжий гость проклятых дезертиров, ютившихся в ближних к Ворам лесах, и пригрозил мерами особой строгости всем, кто имеет сношения с ними.

Сход заволновался, бородачи повернулись к гостю чуть не спинами, а Прохор Стафеев, старик белой и аршинной бороды, подошел к наезжему вплотную и, руку положив на плечо ему, сказал спокойно и твердо:

— Ты, федя, тинтиль-винтиль, дезертиров-те не особо ругай. Это все сыновья наши! Как же нам с сыновьями слова не иметь? Ты приехал плести, ну и плети, а грозить не грози. Нас и при царе тяпали, тинтиль-винтиль, да мы не молчали...

Словно только этого и ждали остальные, закричали враз:

— ...сами овсяны высевки жрем, что лошади! — очень тоненько.

— Про это нам дедушка Адам врал, да мы не верили! — хрипучим басом.

— Товарищи, держите тишину!.. — надрывался со своей табуретки Пантелей Чмелёв, с тоской поглядывая на Мурукова, все писавшего и писавшего что-то. — Просите слова, каждому дам высказаться!..

— ...озимь вымокла... капусту улита поела... — неслось с бабьей стороны.

— А у меня тетка вот горбатенька, — деланно сиротливым тоном сказал Фёдор Чигунов, выходя наперед и опираясь на муруковский стол. — И за тетку мне платить?.. — Вдруг он вырвал бумагу из-под руки писаря и, порвав в клочки, бросил себе под ноги. — Довольно тебе писать, Кузьма! Все-то ты пишешь, а про что — не знаем, — сказал Чигунов холодно. — А может, ты донесение на нас пишешь, что-де противится народ?..

Кузьма вскочил и переглядывался с Лызловыми и продкомиссаром. Матвей Лызлов побежал зачем-то к исполкому. Васятка напрасно взывал к мужиковской сознательности, выискивая в гудящей толпе хоть пару сочувствующих глаз. Таких не было, — мужики глядели в землю, некоторые пошли по домам, но у всех на устах была одна и та же мысль, непримиримая и непокорная: мысль о Зинкином луге. Чмелёв ускоренным ходом

заканчивал собрание и сконфуженно читал резолюцию о всемерной поддержке, о сознательном отношении к моменту и о прочем. Те из мужиков, которые оставались в нехорошей задумчивости, чесали бороды, затылки, пазухи и зады. Расходились кучками, по двое и по трое, не дождавшись конца.

Да и сам продкомиссар, сразу поугрюмевший до последней степени, направлялся к исполкому в сопровождении Пети Грохотова, стараясь не обертываться ни на мужиков, ни на старуху, приставшую с чем-то сзади. Продкомиссар был человеком неплохим, добрым и честным, да, на беду свою, деревни не знал; трижды был ранен на гражданских фронтах, и одну пулю носил где-то под дыханием, где мать ребенка носит. Эта третья пуля и придавала ему порой твердость, которой, вообще говоря, в натуре у него не было. Когда был назначен продовольственным комиссаром, понял одно: отбиваться голыми руками от ярых генеральских ватаг легче, чем путешествовать вот так, по деревням, с продовольственным отрядом. К исполкому идя, в который уже раз задавал он себе вопрос вслух, чтоб вслух и ответить: о чем они думают?..

— Кто это? — спросил Петя Грохотов, неся навыкат мощную свою грудь.

— Да мужики... О чем они молчат? — повторил комиссар.

— О чем им думать? — усмехнулся Грохотов. — Им думать-то некогда, они работают... И вообще, без мыслей-то дольше проживешь!

— Вы что, уже пили сегодня? — спросил, морщась, продкомиссар; из Петина рта явственно донесло до него душным сивушным запахом.

— А попробуй тут не выпивать! — с задором вскинул голову Петя. — Я вот уж сколько здесь! В нашем деле не обойтись. Винт, коли его не смазывать, в час при хорошей работе сработаться может. А сколько на тебя гаек, сказать, за неделю-то навернут! Тут уж на то пошло, кто кого переупрямит...

Когда они всходили на крыльцо, продкомиссар обернулся к приставшей старухе:

— Ну, чего тебе, бабка? Метешься, ровно хвост...

— Не хвост, а бабушка тебе, голубчик! Ослобони ты меня, батюшка, от грамоты. Бабы-те засмеяли вконец. Тебя, сказывают, Егоровна, грамоте теперь будут обучать... — зашамкала старуха, отчаявшаяся в своем невиданном горе, и смахнула слезу. — Зубов-то у меня, батюшка, уж нету... Куды мне грамота? А я тебе... — и тут старухино лицо приняло плутоватый оттенок, — ...а я тебе, голубок, чулочки свяжу, тепленькие! Шерстка-то еще осталась у мене...

И от жалости и от смеха где-то в груди защемило у продкомиссара.

— Я не по той части, бабушка! По грамоте — это к другому. Я по хлебу!

— А?.. Прости, батюшка, глуха стала, полудурка совсем... — засуетилась старуха, деловито приставляя свое большое морщинистое ухо к самому продкомиссарову рту.

— Я не по той части... Я по хлебу! — закричал ей в глухое ухо продкомиссар, почему-то избегая жалобного старухина взгляда.

— Ну и ну, лебедочек мой, — успокоенно запела бабка, кивая головой. — А то совсем меня, старую, зашпыняли! И ситчику, слышь, выдавать не будут?

Далеко за полночь горел свет в исполкомской избе. Продкомиссар сидел за лызловским столом, положив голову на руки, и глядел на прямой желтый огонь коптилки. На столе перед ним лежал листок, а на листке был нацарапан донос на Васятку Лызлова:

«...Как я сочувствую... готов помереть, то я и спрашиваю, правильно ли так. Васятка Лызлов гонит самогон в лесной избе, тайно от отца... продает на царские деньги, несмотря, что деньги ничто, кроме как бумага. Я его спросил, зачем ты, Васятка... он объяснил... хочу ехать в город учиться... а как у него денег нет, то и хочет... Как я сочувствую, то и спрашиваю... разве это советская работа... самогон гнать...»

Был этот безграмотный клочок без подписи. А другой клочок, грамотный, мелко исписанный чернильной тиной и лежавший рядом с этим, имел полную подпись продкомиссара и гласил так:

«...прошу отстранить меня... от занимаемой должности... несоответствие. Предлагаю... на гражданский

фронт, принимая во внимание незначительные хотя бы мои заслуги перед... Сам происходя из крестьянского сословия, но оторванный от него городом, затрудняюсь вести работу в крестьянской среде...»

Продкомиссар перечел свое заявление трижды и при третьем разе зачеркнул слово «затрудняюсь», написав поверх его «не могу». Посидев еще минуты три, он перечеркнул слова «не могу», но не сумел подыскать другого слова в замещенье зачеркнутого. Тогда он собрал все остатки чернильной тины на перо и жирно перечеркнул все заявление накрест, резко и необычно властно для него самого.

Он задул свечу и подошел к окну. Светало. Особенно убогой казалась в рассветном свете бедная обстановка исполкома. На улице было полное безветрие. Левая сторона неба набухла розовыми и желтыми купами, словно всходила к недалекому празднику пряничная опара. Посреди пустой улицы стоял бычок, с вечера отбившийся от стада. Он мычал, вытягивая шею к заре. Помычав, прислушивался, как повторяет его отстоявшееся эхо.

...Продкомиссар открыл окно.

VIII. Петя Грохотов в действии

Воры разверстку так и не выплатили, по молчаливому соглашению между собою, ни в один из последующих дней. Нашлись некоторые, принесли в исполком по доброй воле по пуду за едока, — так в сигнибедовском амбаре и стояли только двадцать мешков, потому что уплатили только советские мужики да еще те, кто надеялся откупиться пудом. Ссылались мужики на неурожайность, на мокроту, на сухость, на все тридцать три мужиковских бедствия, до которых уездному начальству как бы и невдомек. Этого исполкомщики и ждали, к этому и готовились. С утра вышел продовольственный отряд в обход по селу.

А на краю Воров жила бессемейная бобылка, бабка Афанаса Пуфла, прозванная так за лицо неестественной широты. Давно уже состояла Пуфла с соседкой тетей Мотей в ссоре из-за куриных яиц, которые нанесла Пуфлина Рябка в Мотином малиннике. Мотя яйца эти оттягала у соседки в свою пользу, а Пуфла положила в

сердце своем прищемить за это Мотю. Она и донесла Пете Грохотову, делавшему обход вместе с председателем и двумя красноармейцами, что в таком-то месте у тети Моти хлеб припрятан, Мотю и прищемили. И, из беды в беду кидаясь, доказала Мотя на другую соседку слева, что и та не без хлеба живет. Так и пошло перекидным огнем, как в пожаре бывает.

Докатилось дело до Фетиньи Босоноговой, у Фетиньи будто бы в дубовом срубе хлеб ссыпан. А врыт-де тот сруб сбоку гумна, три шага от огуречной гряды, отметка — кол из можжухи, а на колу — лапоть. Обливаясь потом от жары, пошли продовольственники к Фетинье, хлеб из сруба погрузили на телегу бесспорно, тихим ладком. И уже направлял было Васятка Лызлов телегу с хлебом на ссыпной пункт, где принимал хлеб приехавший третьего дня комиссар, как вдруг сглупа надоумилась Фетинья на рахлеевскую избу показать: у Рахлеева-де Савелья на пять подвод хватит. Рассказывая во всех подробностях, имела в виду Фетинья, что за ее указку с нее самой разверстку скостят.

Хлеб Фетиньин, однако, Васятка увез, а Петя Грохотов, бывший и на этот раз для придания себе духа бодрости под легчайшим хмельком, не выдержал и укорил бабу в ябеде с пьяной прямотой:

— Экая ты, Фетинья, душевредная. Язык-то у тебя без совести!

— А ты на меня, кобель, не щетинься! Гусак леший, неблагодарный!..

В Пете моментально взыграл хмелевой его задор, и если бы не перехватил вовремя злого короткого взгляда Фетиньина мужа, мужика, похожего на железный шкворень, вымазанный дегтем, может быть, и стукнул бы Петя в загривок сварливую бабу за обиду.

В нескладное время подошли исполкомщики к рахлеевскому двору. Хозяева сидели за обедом. Близился полдень. Докашивать на среднее поле спешил Семён. Он, обжигаясь, глотал пустенькие щи, сидя спиной к раскрытому окну и обсушиваясь от пота. Когда обнажалось днище второй плошки, сказала Анисья изменившимся голосом:

— К нам идут.

— Со звездой путешествуют! — коротко похохотал Савелий, намекая на значок, прицепленный к грохотовской груди.

Семён выглянул в окно. Разверстщики всходили на крыльцо, и уже подъезжала к дому, скрипя в несмазанной оси, исполкомская обширканная телега. Один из красноармейцев имел за поясом топор. Семён встал из-за стола и отошел в угол, под полати.

Первым вошел Грохотов.

— Упарился, — вздохом надул он щеки, обросшие пушком, и грозно сел на лавку. — Ей-ей, ровно с самовара текет. Даже сапоги взопрели, хоть выжимай!

Усевшись, он оглядел всех, наклонился пощупать носок сапога, расстегнул черную тужурку, застегнутую наглухо, и засмеялся, поглядывая на молчавших хозяев.

— А мы к вам в гости пришли, — с добродушной хитрецой произнес он, обращаясь к Анисье, которая дрожащей рукой переставляла с места на место крынки молока.

— Другого-те времени нельзя было выбрать? — тихо спросил Семён. — Поесть не дадите, ходите...

— Нельзя, товарищ, — строго пояснил Грохотов, но строгость не шла к простецкому его лицу. — Вас-то много, а я один всего. — И он показал Семёну свой мизинец, остальные пальцы он прижал к ладони, будто их и не было.

— Это действительно, не много вас! — вслух подумал Семён и нарочно грубо кашлянул.

— Не много, не много, товарищ, — согласился Грохотов. — А нет ли, тетка, попить чего? — Он подмигнул настороженной Анисье. — Квасу там с мятой наварили небось... к Петрову-то дню!

— Было бы что варить-те! — проворчала Анисья, не сводя глаз с крынки молока. — Хлеб-те до последней колосины весь изъели... Прожились совсем!

— Чего и не было, все прожили! — загрохотал Петя и переглянулся с Лызловым, стоявшим у порога. — Ну что ж, пойдем поищем. — И встал.

Он постучал о печку согнутым пальцем, притворившись, будто прислушивается.

— Тут нет ли... Ты как полагаешь, Матвей Максимыч?

— Ищите где хотите, больше нету... — сказала Анисья и сухо поджала губы. — Снесла вам четыре пуда. Нету больше...

— Нету? — в притворной задумчивости повторил Грохотов. — Ну, молись, бабка, Фёдору Студиту... — И, быстро перейдя сени, Грохотов вошел в горену.

Тут было заметно прохладней, не было мух, пахло скиснувшим молоком и лежалым мужиковским скарбом. Молоко стояло в каморке направо.

— Послушь, братишка, — остановил Грохотова Семён. — Говорит мать — нету. Почему не веришь?

Петя не ответил, постоял с полминуты, принюхиваясь, и вдруг указал красноармейцам на пол горены, простеленный домотканой пестрой дерюжкой.

— Вскрывай пол! — сердито приказал он, но обернулся взглянуть на Анисью.

— Зубов-то не скаль, — со злом за мать сказал Семён. — Ты ломай, раз тебе приказано ломать. А зубов не показывай!..

— Не вяжись... — добродушно огрызнулся Грохотов, следя за работой красноармейцев. — Все равно, братишка, сейчас драться не стану. Жарко... вот потом, по холодку!

А те уж делали свое дело быстро и ловко, без особых повреждений; чувствовался навык в их точных и уверенных движениях. Отняв топором боковой плинтус, шедший во всю длину горены, один легко, как спичку, приподнял топором половину. Другой придержал ее и с колен заглянул вовнутрь, почти касаясь щекой чисто выметенного пола.

— Есть! — сказал он без всякого оживления, даже со скукой.

Подошел заглянуть и Матвей Лызлов. Заглянув, покачал головой и отошел назад.

— Много? — лениво спросил Грохотов.

— Да найдется, — отвечал за Лызлова другой красноармеец, рыжеватенький, работая уже над третьей половицей. — Соломой тут укрыто, не видать.

— А клейно работают, — восхитился Савелий их работе. — Я как закладывал, так трое суток заколачивал, пра-а...

Некоторое время только и слышно было поскрипыванье дерева, потом пыхтенье рыжеватенького, выворачивавшего мешки из подполья. Шесть мешков были уже вынесены самим Лызловым и погружены на подводу. На спину ему накладывал рыжеватенький. Когда же рыжеватенький спрятался в подполье, Лызлов просто попросил Семёна поднять мешок, и Семён не отказался.

— Скоро, что ли? — появился Васятка в дверях. — Лошадь не стоит.

— Два еще! — прокряхтел голос рыжеватенького из глубины подполья. — Запиханы далеко.

— Ты подвяжи лошадь-то к палисадничку, — посоветовал Лызлов сыну, выглядывая в окно и вытирая полой рубахи обильный пот.

И в самом деле, лошадь вся была облеплена паутами и слепнями. Она напрасно дергала кожей и била хвостом.

Улица заволакивалась полуденным зноем. Каждый камень горел исступленным теплом, насыщая жаром и без того накаленный воздух. Чьи-то колеса прозвучали сверху, и тотчас же, подымая ленивую, затяжелевшую пыль, хромая в колеях, прокатились вниз брыкинские колесны, управляемые им самим.

— Эй, Егор Брыкин, Егор Брыкин!.. — закричал ему Лызлов, наполовину высунувшись из окна. — Ты куда катишь?

— В лес поехал, — остановился тот, сильно придерживая неспокойную по жаре свою кобылку. — Вот по твоему мандату сучки еду собирать!..

— Ты б не ездил! — крикнул Лызлов. — Мы сейчас к тебе придем, только вот у Савелья управимся.

— Там бабы у меня остались! — отвечал Брыкин и, подхлестнув кобылку, быстро покатился вниз.

— А, ну и ладно, с бабами так с бабами! — вслух согласился Лызлов и, взвалив на спину последний мешок, легко потащил его из горены.

— Ну, нет, уж ты уволь, Матвей Максимыч, — сказал Грохотов ему вдогон, отдуваясь и расправляя плечи. — После полудня уж отправимся... А теперь соснуть бы часок-другой... жару переспать!

Все медленно двинулись вслед за Лызловым вон из горены, на крыльцо.

— Эй, товарищ, — остановил Грохотова Семён голосом придушенным и срывающимся, — а дырку-то кто будет заделывать? — Он показал рукой на развороченный пол.

— Сам и заделаешь! — нехотя откликнулся Грохотов, сбегая с крыльца.

Семён догнал его уже на улице и сильно вскинул руку на грохотовское плечо. Откуда-то уже набралось народу, все глядели, видя по решимости Семёнова лица, что дело впустую не кончится.

— Я тебе велю дырку заделать, — тихо сказал Семён, дыша утрудненней; губы его утончились и стали какого-то горохового цвета.

— Сенюшка... отступи, отступи! — вертелась около него мать, со страхом поглядывая на устроенный в сигнибедовском амбаре ссыпной пункт, о чем гласила и надпись, сделанная дегтем по стене. Оттуда направлялся к месту спора и сам продкомиссар в сопровождении Лызлова. — Брось, Сенюшка, не к спеху дырка... вечером придешь — заколотишь!

— Пусти... — разомлевшим от жары голосом сказал Петя Грохотов, силясь стряхнуть с плеча Семёнову ладонь, но та крепко держалась за влажную мякоть грохотовской кожаной куртки. — Пусти, я тебе губы-зубы наизнанку выверну! — вяло посулил Грохотов и, переменив лень на досаду, отпихнул Семёна в грудь.

— В чем у вас тут дело?.. — подошел в эту минуту продкомиссар, заглядывая Семёну в лицо. — Бросьте, товарищи, ссориться... не время теперь.

Семён глядел в продкомиссарово лицо как-то особенно пристально. Лицо продкомиссара было уже видано когда-то Семёном, но теперь оно походило на оставшееся в памяти, как отраженье в неспокойной воде на глядящегося в воду.

— Да ничего, — сказал Семён, приподымая одну только правую бровь. — Гусачки свое место забыли... Не пройдет ему даром эта дырка.

— Камешком кинешь? — поддразнил Петя Грохотов, разглаживая смятое плечо. — Конечно, обидно, что плохо спрятано было... враз и нашли!

Народ все собирался, но Семён уже ушел.

Дома он взял косу, подвесил к поясу кошелку и отправился на луг. Косил он в тот день с небывалой яростью, — на тройке проехать было в его прокосе. Уже не разнеживало, а жгло солнце стриженую его голову, мутился разум. Был страшен Семён на этой последней своей косьбе.

IX. Непонятное поведение Егора Брыкина

И уже подавала прохладку в село Курья-речка; кудри истомно разметав, меркло солнце на западе, за лесом, — и уже отпел все свои вечерние кукареку горластый Фетиньин петух, когда возвращался Брыкин из лесу.

Видимо, устав немало на лесной рубке, шел он возле своего возка, еле переставляя ноги. В колеснах лежали свежесрубленные деревья. Необрубленные макушки жердей мели дорогу и оставляли за колесами полосу следа.

На взъезде в гору, когда поравнялся с Пуфлиным домом, увидел Егор шумливую ораву деревенского ребятья. Выстроясь в ряд под заколоченными Пуфлиными окошками, дразнили ребята Пуфлу, выпевая согласным хором:

— Баба Афанаса — тупоноса! Баба Афанаса — тупоноса, тупоносищая...

Но, едва завидя под горой въезжающего Брыкина, бросили ребята бабку до времени, поскакали к нему, крича самую последнюю деревенскую новость. Странным образом, еще издали внял Егор ребячьему сообщенью.

— Гусака... гусака убили! Дяденька, гусака убили! — прокричал грязный мальчонок в одной рубахе из мешочной ткани, без штанов, самодельным кнутиком на бегу взбивая пыль.

— Убили... Вот сюда, дяденька, кро-овь! — строго говорила ласковая девчоночка, ясными глазами показывая себе на плечо.

— Кто убил?.. — спросил Брыкин у девчоночки, медлительно поворачивая к ней шею.

— А солдат убил! — оживленно вскричал третий мальчик, самый загорелый из всех, прыгая и подтягивая спадающие штаны.

И тотчас же ребятишки повторили хором:

— Солдат убил!..

— Да солдат-то кто?.. — тихо переспросил Брыкин, стараясь оживить остановившийся в неподвижности взгляд.

Ему это удалось, но тотчас же стали разъезжаться в разные стороны глаза — так бывает, когда хочется спать или когда с обеих сторон достигает опасность. Толкового ответа он так и не получил. На крыльце своей избы объявилась с ведрами бабка Пуфла, и снова полетело ребятье на тупоносую шумным назойливым роем.

Все также медленно Брыкин подымался в гору. Где-то помычала больная корова. Возле долбленой водопойной колоды стоял Афанас Чигунов, поил лошадь. Егор Иваныч знал, что Афанас увидел его, но молчал Афанас, а глядел туда, в замшелую до зелени колоду, полную воды.

У колодца остановил возок Егор Иваныч.

— ...приключилось у вас тута? — спросил Брыкин, трудно ворочая языком и стараясь заглянуть в лицо Афанасу.

— Да парня тут испортили, — неохотно отвечал Афанас и опять глядел в воду, где шумно фыркали лошадиные губы.

— Как же так испортили? — недоуменно колыхнулся Брыкин.

— Да испортить-то испортили... а только кто же так бьет? — коротким, быстрым жестом Чигунов прочеркнул себя от плеча до того места, где сердце. — В голову метить надо было.

— Так, значит, уж плечо подвернулось... Тот, кто метил, знал, куда метил, — осторожно сказал Брыкин, очень сутулясь и глядя туда же, в колоду.

— Счастье его, что Серёга-то уехал. Он бы все село перетряс за товарища! — Лошадь Чигунова перестала пить, и теперь он понукал ее, подсвистывая.

— Какой Серёга? — вздрогнул Брыкин и мгновенно вспотел.

— Да Половинкин... кому ж еще! — И Чигунов стал уходить так неспешно, словно ждал еще вопроса от Брыкина, какого-то самого главного.

Егор Иваныч, не понимающий и сразу обессилевший от пота, скорее ткнул свою кобылку кнутовищем, чем хлестнул, — колесны снова заскрипели, и продолжился до самого дома след неотрубленных макуш. Брыкин, подходя к дому, все обгонял свою кобылку, а обогнав, подтягивал ее к себе за узду.

У дома, едва привязав кобылку к черемухе, взбежал Егор Иваныч на крыльцо, с крыльца оглянулся: улица была странно пуста. Косые оранжевые тени блекли на короткой траве воровского лужка. На выселках стучали: кто-то отбивал косу. Посреди улицы шел Прохор Стафеев, появившись из-за поворота дороги. Точно желая, чтобы именно Стафеев не приметил его оглядывающим село, Егор Иваныч метнулся в избу и сел на лавке. Тут только целиком обнаружилась его усталость. Он стал дышать с открытым ртом, причем все не мог справиться с собственным языком; все вылезал язык наружу. Во всем теле было ощущение вывихнутости.

Дом был пуст, никто Брыкина не окликнул. На столе мокли в лужицах похлебки хлебные крохи, оставшиеся от ужина. Валялась еще опрокинутая солонка, но соли в ней не было, как и во всей волости. Еще стояла плошка с недохлебанным. По всему этому съедобному мусору лениво ползали мухи, сосали из лужиц, объедали размокшие корки, наползали одна на другую — черные и головастые, как показалось Егору Иванычу.

Висела в простенке календарная картонка — барышня в затейливой шляпе. Напряжение Егора Иваныча дошло до такой меры, что на мгновение мелькнуло в голове: вот сейчас эта бледно-розовая, поющая раскроет рот еще шире и закричит во всю волость: «Глядите, какое у него лицо! Глядите, какое лицо у Егора Брыкина! Возьмите Егора Брыкина, лишите его дыхания!» Егор Иваныч огляделся и настороженно засмеялся сам над собой, смеялся — точно всхлипывал. Смех оборвался, когда две мухи, сцепившись, сели перед ним на краешек стола, — Брыкин тупо глядел на них и не понимал. Теперь всякий шорох, даже мушиный, вызывал в нем или мимолетную дрожь, или странно длительную зевоту. Зевалось больно, во весь рот, до вывиха челюсти, до боли в подбородке. Рассудок Егора Иваныча помутился

бы, если бы он в эту минуту услышал свое имя, произнесенное вслух.

Совсем бессознательно он зачерпнул из плошки и проглотил. Со странным чувством удивленного вкусового отвращения он проследил, как идет вовнутрь этот противно-пресный клубок загустевшего картофеля. Вдруг понял, что сделал не то: ему хотелось пить. Едва же понял, что именно пить хочется, жажда сразу утроилась. Неуклюже вылезая из-за стола, он уронил большой нож на пол. Он замер от звука падения и с выпученными глазами зашикал на нож, чтобы не шумел так громко. Ушат был почти пуст, только на дне оставалось немного. Егор Иваныч зачерпнул ковшом и, вытянув жилистую шею, заглянул внутрь ковша. В мутной воде метался головастик. Он бился о железные стенки ковша, отскакивал, и одно уже неудержимое всхлестыванье головастикова хвоста показывало со страшной наглядностью, сколь велик в нем был ужас перед тем твердым и круглым, куда он попал.

Егор Иваныч держал ковш в руке и полоумным взглядом наблюдал эту юркую серую дрянь, еле отличаемую от цвета воды, когда услышал: по улице кто-то едет верхом. Рывком столкнув ковшик на крышку ушата, Брыкин подскочил к окну и ждал, когда покажется из-за деревьев тот, кто ехал. Вдруг, по-жабьи раскрыв рот, Егор Иваныч издал горлом неестественный и короткий звук, какой будет, если мокрым пальцем провести по стеклу. В звуке этом выразилось уже животное недоуменье Егора Брыкина.

По улице, торжественно и властно покачиваясь в седле, ехал в черной тужурке сам он, Сергей Остифеич Половинкин, убитый в Егоровом воображении. Белая его лошадь шла мерным чутким шагом, помахивая подстриженным хвостом. Проскользнуло нечаянное соображение: Серёга ли убит? Но в суматошном метании своем и не заметил этого соображения Брыкин. Каждая частица усталого брыкинского тела кричала, прося пить и пить. Он махом подскочил к ушату и, не отрываясь, осушил весь ковш до дна. Вода даже без бульканья пролилась в его выпрямленное горло, и опять поражающе пресен и неутоляющ был Егору Иванычу вкус воды. Питье рас-

слабило его. Опять напала раздирающая рот зевота. Кое-как он переполз к койке и повалился за ситцевый полог. В последний раз он выглянул на мерцавшее сумерками окошко и упал куда-то в яму.

Яма была пустая и холодная, и казалось, что брыкинское сознание находится в ней где-то посреди, в подвешенном состоянии. Долго ли его сознание пробыло в этой яме, само оно бессильно было определить. Очнулся он уже затемно. Трещала коптилка на столе, задуваемая ночным ветром из окна. Черные тени вещей очумело скакали по выбеленной печке. Полог был уже отведен кем-то в сторону, но опять не было в избе никого... Весь опустелый, не думающий, он лежал на боку, глядя на огонь красными, опухшими, неотдохнувшими глазами. Над огнем летала бабочка-ночница, гораздо менее проворная, чем ее пугающая тень.

Вошел кто-то, чьего лица не понял Егор Иваныч. Лицо вошедшей женщины оставалось в тени. Она пошла затворить окно. «Аннушка! — догадался про нее Егор Иваныч. — Ко мне пришла! Вот она подойдет, и я прощу ее. Дам наставление к жизни и прощу. Теперь все прошло... Ведь его больше нету, нигде нету!» Женщина, закрыв половинку окна, подошла к Егоровой койке и, приподнявшись на носках, села на краешек ее. Егор узнал теперь — это была мать.

Она посидела с полминуты, потом встала и пошла затворить вторую половину окна; потом снова подсела к Егору.

— Ну... что? — спросила она голосом твердым и спокойным.

— Кто убил-то? — приподымаясь на локтях, с тусклым, молящим блеском в глазах спросил Егорка.

— Как кто убил? — крикливой и неубедительной скороговоркой отвечала мать, часто моргая. — Семён и убил... Савельев сын, Семён, убил!

Егор Иваныч с глубоким вздохом опрокинулся обратно. В изголовье у него лежал тулуп покойного отца. Овчина сообщала Егоровой шее приятный холодок. Он закрыл глаза и с минуту лежал совсем неподвижно, почти не дыша. Вдруг он вскочил, почти сбросила его с койки внезапная догадка.

— Топор-те... топор!. — закричал он, поводя выкатившимися глазами. — В колесны вбит... в переднюю лапу!!

— Лежи, лежи, — тихо и по-прежнему сухо сказала мать, по-бабьи засовывая под повойник прядь волос. — Ничего уж, лежи. Замыла я топор те...

Снова расслабев, упал на отцовский тулуп Егорка. Ему вдруг стало легко, так легко, как ни разу в жизни... Никаких забот в жизни больше не стало. Все стало ясно и понятно. Нежданно голова заработала с безумной четкостью. Вспоминалось: ехал по прилегающему к Ворам полю. Там сорный бугор. На бугре стояли репьи, многоголовые, колкие и красные, — репьи в закате. Потом въехал в село, мальчишки бегут... Кто-то стоял у Пуфлиной загороды, гнедой масти: или петух, или собака... нет, петух! Потом девчоночка, у ней соломинка в волосах. Чигунов поит коня, Чигунов знает всегда и все. Мухи ползают по столу. Крепкий, целый и живой едет Половинкин, осязаемый выпученным Егоровым глазом. Потом пил воду...

И вот Егор Иваныч опять поднялся, но уже не надолго.

— Мамынька... — зашептал он по-ребячьи жалобно. — Мамынька, я головастика проглотил!..

Яма уже поджидала его, и он покатился в нее, цепляясь за койку, за овчину, за протянутую погладить сына сухую руку матери. Этот обморок был даже нужен Егорке, как отдых. А мать глядела раскосившимся взором за черное окно, и по лицу ее скакал тот же красноватый, утомляющий свет коптилки.

X. Пантелей Чмелев

Постороннему человеку представлялось это дело так. Тотчас же от Рахлеевых разверстщики пошли обедать к Пантелею Чмелёву. Близилась обеденная пора. Полдень выдался нестерпимый, сжигающий. Немыслимо было ходить в такую жару по избам и вскрывать мужиковские тайники.

Чмелёв сам встретил их — Петра Грохотова, Матвея Лызлова и продкомиссара. Он почтительно и хлопотливо

усаживал их за стол, покрикивал жене подавать скорее. Гости расселись. Матвей Лызлов поглаживал русую круглую бороду, ею заросло у него все лицо. Пётр Грохотов писал что-то в записную книжку. Продкомиссар с неприметным любопытством приглядывался к хозяину. Пантелей Чмелёв и в самом деле стоил продкомиссарова вниманья. Небольшой ростом, он таил под наружным тщедушием своим какую-то тихую внутреннюю силу, видную только через глаза. Она блестела оттуда то короткой вспышкой ума, то какой-то чудесной добротой, то вдруг волей. Был Чмелёв порывист до суетливости, но в суетливость свою вносил он осмысленность, суетливостью своею он не тяготил.

Казалось бы: владеть Пантелею Чмелёву при его трезвости большой, десять на десять, избой с обширными подсобными пристройками, а в четверть избы печь, а в печи всякие мужиковские яства. Да и ходить бы ему не плоше покойного Григорья Бабинцова, который на сход иначе и не выходил, кроме как в жилетке. Не везло Чмелёву; нещадней, чем других, мочалила его жизнь. А ущербы посещали его хозяйство не вследствие какой-нибудь нестройности — у Пантелея глаз щуркий и зоркий, — а по недогаданным причинам, которые как майский снег. То у него вымокало в мокрые весны вчетверо против других, градом выбивало втрое, случалась ползучая дрянь-пожирала вдесятеро, словно слаще было на Чмелёвских полосах. Так и всегда с незадачливым мужиком: сторожит его и в темную непогодную ночь, и в погожий полдень хитрый, несытый враг.

Этот Чмелёв, растеряв двух сыновей на войне, остался жить вместе с женой и глупой Марфушкой. Марфушка Дубовый Язык приходилась ему дальней родней. И оттого, что не оставалось Чмелёву утехи в своем хозяйстве, стал ее искать на стороне Чмелёв и нашел. За те годы большие перемены произошли в стране. Перетасованы были карты заново, пошла новая игра по небывалым правилам, некозырные хлопы побивали заправских королей.

— Явно, теперь мы оправимся, вот как накипь сымем... — говорил за обедом Чмелёв в ответ на продкомиссарский вопрос, как живут. — Суди сам, друг! У нас

до девятьсот пятого один самовар на деревню приходился, а теперь коли уж нет самовара, так, значит, пропили! Тут еще кооперация... опять же наука! Все это предоставлено. Вот как Свинулина погромили, книжек я наменял у мужиков: на курево хотели, да бумага толстая. Очень достойные книжки. Ну, скажем, на всякий предмет есть своя книжка. Очень увлекательные есть! Например, сказать, по нашему делу, по хозяйству. Да и не по нашему, вот, скажем: похождения капитанской дочки! Очень подробно там про Пугачёва и все прочее. Бабы-те мои ругаются, — добавил он улыбчатым доверчивым шепотом, — очень на книгу злы, городская затея, времени отымает много... А как я гляжу, нам без города никуда. Вот ты намедни говорил, что без гвоздя да без ситцу не проживем. Я тогда, конешное дело, промолчал. А только это не так. И мы ходим, штаны-те не гашником назад надеваем. Кузнецы-т да ткачихи и у нас есть. Город нам из других причин нужен. Эвон, третьевось, слышу, соседская баба махонького поучает: в мышу, говорит, костей нет. Он, говорит, не имеет кости, потому и может в любую щель вобраться. Растянется на аршин и лезет. Вот откуда вам идти надо! Заместо старшего брата вы нам нужны. И потом, конечно, понять его нужно, мужика... Без понятия, так лучше уж воду толочь!

Окончив речь, Чмелёв стал со смущением передвигать вещи на столе — тарелку с хлебом, солонку, ложки. Продкомиссар слушал, не пропуская ни слова. Пётр Грохотов зевал, Матвей Лызлов посмеивался.

— Вот так-то заговорит иной раз, так и заснешь под него... — сказал Матвей Лызлов. — А правду говорит. Ты, Пантелей, лучше вот скажи, как ты советским-то сделался. Он до этого любопытен, — тронул он продкомиссара за рукав, — все расспрашивал меня вчера... Вот это ему любопытно узнать. Пускай в городу расскажет!

Продкомиссаровы длинные руки пощипывали бахрому розовой скатерти, нарочно для гостей вынутой из сундука.

— В самом деле, расскажите... — попросил продкомиссар. — Я и вообще очень рад, что познакомился с вами. Только вот в этом пункте я с вами не согласен. Сперва, по-моему, нужно вековую кожуру снять, пред-

рассудки, я хочу сказать, а там уж и дальше ехать. У вас-то как будто наоборот выходит?

— А вот я и скажу, — прищурился Чмелёв, разглаживая шитье скатертки ладонью. — Вот и у меня причина была, и невелика, а затронула!

И, как бы смутясь внимательного взгляда продкомиссара, принялся сурово сцарапывать подсохшую глинку со своих обмоток Чмелёв. Старший Пантелеев сын умер уже в Ворах и одно только оставил в наследство отцу: эти серые солдатские обмотки. Чмелёв накручивал их прямо поверх мужиковских онучей, отчего получались у него ноги невиданной толстоты. Поэтому всегда он помнил о сыне.

Из Пантелеева рассказа выходило приблизительно следующее: прошлым годом ездил Чмелёв в уезд. Поездка долгая, в два конца — неделя, потому что летняя дорога обводила вкруг всего Кривоносова болота. Кривоносово — потому, что и сюда достигали передние Пугачёвы отряды, — руководил ими Кривонос. Он и скрывался в этом болоте, когда двинулись царские войска брать Пугача.

И когда ехал там Чмелёв, подсадил к себе по дороге человека, попавшегося ему под вечер. Видно, что человек хороший, в исполкомах подводы не требовал из-за страдного времени, значит — сочувствующий мужику. Его, так и шедшего от поля до поля, и подобрал Чмелёв.

— Садись, подвезу, — сказал Чмелёв.

— А что ж, и сяду, — отвечал тот.

— А как звать-то? Ишь борода-то черная какая!

— А звать меня Григорьем, — отвечает.

Ночные пути не коротки, а часы вкруг Кривоносова болота долгие. Разговорились оба. Лежал Григорий в телеге на спине, на сене, и, глядя в ночное лунное небо, полное к тому же звезд, принялся рассказывать про всякое: какие в небе звезды, какие им числа, из чего сделаны и как до них люди докинулись умом. Рассказывал Григорий не спеша, голосом тихим, посасывая самодельную трубку. А Чмелёв, хоть и молчал, слушал со всей остротой мужиковского слуха, и, хоть была ночь, вдруг стало жарко Чмелёву от Григорьевых слов.

— Очень дерзко насчет каждой звезды говорил. Я уж потом-то и понял: кажная наука дерзкая!.. Тут я и решил-

ся спросить. «А правда ли, — спрашиваю как бы ненароком, — что до Христова рожденья вот не было звезд показано? А как родился, так и явлена первая?.. Нам деды сказывали».

И уже ждал Чмелёв, что загрохочет Григорий над мужиковской темнотой, над вредной глупостью Пантелеевых дедов, а Григорий не засмеялся. Тем же ровным толком объяснил он так, как сам понимал: ходят звезды по большому мраку... всегда ходили и всегда будут ходить, нигде им не поставлен срок.

— Я и говорю, что-де, может, врешь ты?..

А Григорий вынул из сумки трубку, раздвинул ее и предложил Пантелею самому взглянуть хотя бы на луну. Остановил подводу Чмелёв, посмотрел и тяжело охнул.

— Словно, понимаешь, в сердце оборвалось что. Гляжу, а луна-те рябая! Батюшки мои, думаю... да как же так?! Ну, вот воску на снег вылить, такая же. И очень мне захотелось тут до всего досмотреться, нет ли где-нибудь еще такого... одним словом, ну, непохожего!

Задрав голову, Чмелёв глядел в ночное небо и таким удивляюще прекрасным видел его в первый раз. И уже казалось Пантелею Чмелёву, что врастает он сам головой в эту черную зовущую пучину, в которой вдруг нашелся свой план и смысл.

— Так мы и ехали. Он-те заснул потом, а я все в небо и ротозел. Ротозел-ротозел, да на березу и наехал... — с тихим смешком повествовал Чмелёв. — Береза-то в этом месте на дорогу, вишь, вылезла. Там и объезд был, да я не видел, задравши голову. Очень это замечательный человек Григорий! Все во мне перевернул, а не обидно... В уезде вылезает от меня, да и смеется: «А ведь ты, говорит, большевика вез!» Вот уж тут-то, сознаюсь, и раззял я рот-те!..

— Это агроном с Чекмасовского опытного поля, Григорий Яковлич звать, — вставил свое слово Матвей Лызлов, откусывая хлеб.

— А потом-то встречался с ним? — взволнованно спросил продкомиссар; он ел мало, зато слушал жадно.

— Да наезжает-то часто... Все на картошку меня уговаривает. Он меня учит, а я его, — кто чего не знает. Складно у нас выходит. Он и останавливается у меня.

— То есть как это на картошку уговаривает? — заинтересовался продкомиссар.

— Да ведь местность у нас все больше прямая, как ладонь... Опять же земля такая. Выгодней всего картошка, если, к примеру б, завод тут еще построить... А то далеко возить... Под уездом, там есть терочный один, бывшего Вимба, — объяснил Чмелёв знающим тоном.

Пётр Грохотов пил молоко с хлебом и во все время Пантелеева рассказа подзуживал Марфушку, сидевшую в отдалении. Марфушка уговаривала его взять ее в жены, а Пётр смеялся, что, мол, лицом нехороша.

— А ты мне платье купит, хоротая тану, — тянула Марфушка, кривляясь.

— Э, нарядить тебя, значит? Этак не выйдет. Наряди пень, и пень хорош будет.

— Я не тарая, — твердила Марфушка, и глупое лицо ее на мгновение озарялось настоящей мольбой. — Возьми, Петрутка... Больно мне надоело в девках-то ходить!

— Ладно, вот ужо, через недельку, — пошутил Пётр и встал с лавки. — Вы уж тут рассказывайте, а я поспать пойду, — громко сказал он. — На сеновал к тебе можно, дядя Пантелей? Я ведь некурящий.

— Ах да... Что у вас давеча за скандал вышел? — вспомнил продкомиссар, вопросом наморщивая лоб.

— Это у Рахлеевых? — потягиваясь, спросил Грохотов. — Да так... Каждый день бывает!.. — и пошел.

Уже без Грохотова стал Чмелёв рассказывать, как он объяснял про звезды мужикам, а мужики ему ответили: «Нам ни к чему, мы землю пашем!» — и какие сам почитывает книжки, и как книжки помогают ему жить. Обед уже кончился, и хозяйка, сняв скатерть, вытряхнула ее за окном. Стоял самый разгар полдня. Все живое дремало, даже затихшие в остекленевшем воздухе деревья. Один только Чмелёвский петух, пышнохвостый и с плоским гребнем, ошалело долбил сухую гнилушку под самым окном, ища в ней хоть капельку съедобного смысла...

Скоро ушел и Лызлов, и продкомиссар со Чмелёвым остались с глазу на глаз в пустой избе. Полтора часа длилась их беседа, и все еще не устал слушать Чмелёва его гость. Тут-то и вбежал очень бледный Лызлов и, не глядя ни на кого, сказал:

— Петьку убили.

— Где убили?.. — вскочил Пантелей, обычно прищуриваясь; подбородок его сразу как-то выдался вперед. Для своих лет он проявлял удивительную живость.

— Во ржи нашли... В плечо топором хлестнули!

— Это Семён! Арестовали его?.. — спросил Чмелёв, потерянно шаря рукой по столу.

— Да-да, арестовать нужно, — заторопился продкомиссар изменившимся голосом.

— Семёна-те?.. — проговорил Лызлов. — Убежал Семён. Я послал двух исполкомских за ним... Он у одного винтовку вырвал, а другого повалил.

— Куда же он мог уйти? — потерянно спрашивал продкомиссар.

— Да в лес ушел, к этим... летучим, за Курью! Агафьина девка видала, через мосток бежал...

— Очень плохое дело! — решил Пантелей Чмелёв, наматывая и сматывая какую-то веревочку с пальцев. — Теперь уж не найти... — Чмелёв встал и обернулся к окну.

— Да, уж Семёна не найти... это правда, — согласился Лызлов и потер лоб, как бы стараясь стереть со лба печать заботы и повседневных волнений.

— Я не про Семёна, — резко перебил его Чмелёв. — Я про другое. Утерянного, говорю, не найти. Очень плохое дело. Теперь начнется уж...

Так представлялось это дело человеку со стороны, но не таким было оно в действительности.

XI. Положение усложнилось

С этого дня быстрей пошло колесо.

Село заволновалось, заметалось в целой сети событий и с каждым движением все туже запутывалось в их лукавых петлях. Догадки будоражили мужиковские умы, одна другой непонятней. Ходило смутное указанье, скоро, впрочем, рассеявшееся, что Грохотова убил не Семён, а Фетиньин муж, мужик злопамятный и во хмелю неудержный. Это тем более походило на правду, что и нашли-то Петьку на Фетиньиной полосе. Странную хмельность Фетиньина мужа подтверждала и молодая Аксинья

Рублёва. Спросила Аксинья в тот вечер: «Ты с чего это, Фетиньин муж, куражишься? Вот жена-те намылит тебе голову!» А Фетиньин муж объявил ей на это турка, то есть кукиш с вывертом и с прибавком трех очень неуказанных слов. Подпрятовская старуха утверждала свое: всему писарь Муруков виной! Прислали из уезда на волость три пары обуви: две пары женских полсапожек на высоком каблуке, а третьи — на картонной подошве бахилки, для покойничка. Лызлов Матвей и отдал жене своей пару, чтоб носила за советскую власть, потому что вконец обносилась баба, ходила совсем босая, даже в церкву нечего надеть. Остальные две пары, и в том числе покойницкие, председатель сдал в цейхгауз. А тут Муруков и пришел: «Дай, — говорит, — Матвей, и мне пару за советскую власть. Я все дни напролет пишу, дай и мне». Лызлов выдал ему покойницкие, а Муруков обиделся. Задавали после этого вопрос подпрятовской бабе: «Дура ты, баба! Петька-те при чем же тут?» А Подпрятова так даже и озлилась: «Да какого ты шута с Петькой ко мне лезешь? Како мне до Петьки дело? Хошь бы и всех их, Петек, переколотили!» Третьи, у кого сыновей в лесах не было, проще всех объясняли. Сидели дезертиры, видят — Петька идет. Они и сказали: «Товаришши, гляньте, Петька идет! Не скувырнуть ли нам его с дороги?» Тут и был сужен конец Грохотову. Четвертые такую околесицу несли, что и повторять совестно.

Тяжелей ночи полегла на всех неоткрытая вина. Это потому, что в Семёнову вину сперва не верили. И когда в последующий день встречались с исполкомскими, както особенно сутулились и скользили мимо, прикидываясь невиновными, и в самом деле невиновные, мужики. Сигнибедов где-то выглядел, что послана в уезд красная бумага, какое злодейство учинено над советским человеком в Ворах. «Помяни мое слово, будет бабам вытья!» — сказал Ефим Супонев Гарасиму. Гарасим эти слова крепко в себя принял, стал бережно взращивать чертополошье семя этих слов, хоть и жгло оно душу и, прорастая, звало на дальнейшие дела. Та же самая чернота, что висела месяц назад над брыкинским домом, могуче распростерлась теперь над всем селом.

И верно, была послана в уезд бумага с нарочным красноармейцем. Должностным языком уведомлялось в ней, что приходят на волость события чрезмерной важности, — нужна для предотвращенья их крепкая рука, и рука не пустая. Сообщалось также в бумаге мелким муруковским почерком, что полны окружные леса проходимцев дезертирского звания, а особенно те леса, что зовутся Исаева Сеча и прилегают кольцом как к Ворам, так, с семиверстной долины, и к Попузину. А живут дезертиры охотницкой коммуной, называют себя летучей братией, по утрам звонкими песнями перекликаются с птицами, напоминая прохожим о вредном своем существовании.

И не доле того как в пятницу, в приходский праздник, носили старички самогон своим блудящим сыновьям, с ними и пили. И все село, пятьсот пар ушей, слышало, как наяривала в лесу оголтелая дезертирская гармонь, сопровождаемая балалайками. Вечер тот был из ряда вон чуткий и слышный. А орудует среди них за главного дезертир Михайло Жибанда, удачник в любом непристойном деле. Лишь про то не было указано в муруковском писанье, что пустых среди летучих нет, у каждого винтовка, что имеются у мужиков и пулеметы, наследие от царской войны, и всякий другой, годный для убийства снаряд. Про пулеметы посовестился упомянуть Лызлов, боясь подвести под полный разгром свое богатое село. Куцую, таким образом, бумагу вывез посыльный красноармеец в уезд.

Четыре дня ехал гонец, а события не ждали. Катится колесо, приспущенное с горы, не вбег, а вскачь, — где его опередить квелой мужиковской клячонке! Уже напряглись сердца воров ожиданьем неминуемого. Уже свистел унывно воздух от размаха колом.

На особом исполкомском совещании, происходившем в вечер грохотовского убийства, предлагал Матвей Лызлов не сдаваться на мужиковские угрозы, дабы не показывать очевидной слабости. Продкомиссарово же предложение состояло в том, чтоб отослать часть мужиков с подводами отвозить собранный по разверстке хлеб на железную дорогу. Смысл всего этого — продержаться неделю до прибытия подмоги из уезда, твердо держа

единую линию в поведении, не искривляя ее ни в чем. Мужик Чмелёв во время совещания только головой качал да хмурился. В продкомиссаровых словах виделось ему простое незнание мужиковских настроений.

— Не поедут, — тихо сказал он. — Разве время теперь лошадей занимать? Да и людей тоже. Им тогда еще больше прицепка выйдет. Вы, скажут, нашим же хлебом работать нам мешаете...

Матвей Лызлов, ныне в выцветшей синей рубахе с ластовками, тер руки и все силился вызвать на лице выражение непоколебимого спокойствия. Однако то и дело мысли его выдавала грустная улыбка; в его непрестанном постукиванье по столу тоже звучала некая растерянность. Половинкин сидел у раскрытого окна и безостановочно курил. Один только Муруков все писал и писал, настолько приблизив нос к бумаге, что даже коробился листок от его дыхания. На минутку выходя из избы, он приклеивал хлебным мякишем все новые и новые объявления на исполкомскую доску и притирал рукой, чтоб не сорвало ветром. Вернувшись, он шептался с Лызловым и Половинкиным и писал новое уведомление, просившее мужиков во имя ответственности момента не волноваться, а с подобающим всякому гражданину спокойствием готовить теплые вещи к завтрашнему дню. Что же касается куриного налога, четыре яйца с курицы, то разрешалось заменить яйца медом, и воском, и полотном, и даже хлебом, у кого остался.

Напряженность этого заседания, в котором участвовали восемь человек и которое было последним в Ворах, была усугублена еще тревогой по той причине, что в окружности уже начали пошаливать мужики. Накануне в деревеньке Малюге был убит председатель, мужик грубый, но прямой, которого знали и в уезде. Убийство никакими волнениями не сопровождалось, а просто вывели за околицу и убили ножом, труп же запихнули в трясину, такую тряскую, где тройка с седоками в две минуты уйдет. Малюгинскне недаром за чертей слыли в окружности: живут в местах особо жидких и человека ценят не дороже нового топора.

— Спать теперь придется только по очереди, — сказал Чмелёв тихо. — Они если и полезут, то ночью.

— Ближе двух дней не полезут, — сказал Лызлов, размазывая муруковскую кляксу по столу. — А готовиться, конечно, невредно. Володьку-то Васильева тоже ночью взяли. — Володькой и звали малюгинского убитого.

— Обыскать бы их, — начал Половинкин, сосредоточенно промолчавший все заседание. — Оружие отобрать, а там уж легче...

Он не досказал, окликнутый сзади, из раскрытого окна.

— Извиняюсь за беспокойствие! — сказал кто-то, наполовину появляясь в окне и, очевидно, стоя ногами на завалинке. — Дозвольте прикурить! — и теперь почти весь втянулся с незакуренной цигаркой в окно.

Все увидели. То был среднего роста, уже не парень, с залихватски-палевым цветом лица. Светлые усики казались приклеенными к верхней губе, такое было в них удальство; подбородок чисто выбрит. Фуражка его, замятая и старого образца, чудом держалась на затылке, а на лоб приспускался гладкий завиток русых волос. Прикурив у Половинкина, он спокойно и щурко оглядел всех сидящих вокруг стола.

— Все заседаете? — сочувственно усмехнулся он. — Ну, заседайте! — Потом свистнул, лихо козырнул, и сразу его не стало.

Половинкин собрался было продолжать свои рассуждения о необходимости обыска, но поперхнулся словом, пугаясь оцепенелого вида остальных; Чмелёв переглядывался с Лызловым, Муруков никак не мог вытащить ручку из чернильного пузырька, точно держал ее пузырек зубами. Прочие имели вид такой, словно собирались вспорхнуть и улететь.

Первым пришел в себя Лызлов, выругался и вылетел за дверь. Слышно было, как кричал он что-то часовому и как побежал часовой за угол избы, на ходу щелкая затвором.

— В чем дело? — спросил Половинкин, обводя оставшихся глазами: по мясистому лицу его разом пролегли четыре складки.

Никто ему не ответил. Все настороженно ждали выстрела, но выстрела так и не последовало.

— Так как же?.. — повторил Половинкин, дыша с открытым ртом.

— Вот те и как же! — заворчал Чмелёв. — А ты знаешь, кто у тебя прикуривал?

— Ну? — насторожился продкомиссар.

— Мишка Жибанда... собственной личностью! — отвечал Чмелёв и пошел затворить окно.

Тут вернулся Лызлов и неуверенно встал у притолоки. Первое, что ему бросилось в глаза, — Половинкин пересел от окна, и теперь позади него приходилась стена. Это он увидел и об этом не промолчал.

— Стрелять, Сергей Остифеич, будут, так и сквозь стену достанут! — громко сказал он. — Вертеться теперь нечего, стой до конца! — и, подойдя к столу, полез без спросу за махоркой в половинкинский кисет.

...К ночи заволоклось небо. Ночь вышла душная, темная, неспокойная. Рассвет не принес облегченья. Тучи, словно из гор их вывернули, кремневых цветов, налезали друг на друга. Не упало из них ни капли на истрескавшиеся поля. Где-то за тучами неслышно переползало солнце в знак Льва. Был канун Петрова дня. Цвела рожь. Мужики спешили покосом занять пустопорожнее время между Петровым днем и Казанской. Рожь выходила ранняя. На Курьей пойме, в виду попузинских косцов, косили Воры с самого утра.

Уже четвертина скошена была, когда поустали. Присев кто на чем, развязали узелки, стали есть. Вместо шелестящего посвистывания кос побежали по лугу тихие говорки, но смехов среди них не было. В этот день к Дмитрию Барыкову приставала Марфушка, чтобы замуж взял: «Возьми да возьми. А плохо говорю, так я молчать буду...» К этому времени усилилась в дурьей голове истовая вера в грядущего к ней жениха. Только бы и посмеяться над ней, кудлатой и седой, над постылою всем босотой ее, над ее несвадебным нарядом — холстинная твердая юбка цвета белой лесной плесени. Было не до смехов.

Поприслушаться к говоркам — со страхом услышать: в шумную половодную реку грозили сбежаться малые ручейки. Говорили словами какими-то искривленными до неузнаваемости, маловнятными, но каждое слово таило в себе темный смысл. Двое громче всех спорили: Лука Бегунов и Ефим Супонев. К ним подошли послушать и

сами незаметно для себя вплелись в спор. Через десять минут гудело то место криком и руганью. Собственно говоря, спора не было, все на одном и том же стояли согласно, но нужно было сердцу дать волю гневу, а горлу — крик. Какой-то мужик в веревочных шептунах лез, посовывая в воздух кулаками, напирал на Прохора Стафеева, чертыхаясь и вопя:

— Нельзя! Этак нам никогда из кнута не выйти...

— Умных людей надо ждать! — стоя прямо и твердо, упирался Стафеев. — Тинтиль-винтиль, из палки не выстрелишь!

— Умные-то все с голоду подохли. Мы уж сами! — налезал в шептунах, усиленно суча кулаками.

— Да как же! — метнулась на Прохора баба, решительно проталкиваясь в самую середину людской кучи. — Уродилась у меня на полосе-то лешая щетинка! Ее не обмолотишь... Ячмени совсем не колосятся. Да рази они мне дадут? А я сама-десята! Вот ты и смекай! Как же мне отдать-то!

— Так ведь отдала же! — сипло задорила другая баба, с носом в пол-лица.

Уже получалось подобие схода. Стихало на минутку, но возгоралось вновь. И снова наскакивали друг на друга мужики, замахивались впустую, отскакивали, кружили все неистовей. Природа затихала, прислушиваясь к бурлящему гулу человеческих душ. Тут в самом разгаре кто-то за спинами мужиков сказал чужим голосом: «Смену надо!..»

Слово это, произнесенное с твердостью, хлестнуло, как удар ветра, и сразу заставило умолкнуть гул почти всего луга. Медленно, точно боялись свихнуть шеи, мужики поворачивали головы назад. Вблизи никого не было, зато дальше, держась за тощую полевую рябину левой рукой, стоял Семён Рахлеев. Как больной, он глядел со сдвинутыми бровями куда-то поверх людей и луга, куда-то в пасмурные обширности неба, откуда нависала почти отвесная туча. Не сводя глаз с Семёна, мужики стали отступать от него, пятясь задом.

Вдруг он сорвал с себя картуз и резко, — словно, отчаявшись, землю самое в поруки себе призывал, — ударил им оземь.

— Э-эй, серячки!! — услышали первый его призыв мужики и увидели, как выдался он грудью вперед, точно ставил ее под удар. — Хочу вам рассказать, за что я Петьку убил...

Слова у Семёна были все какие-то подрагивающие, подрагивали и губы. Он уже не останавливался в начатой речи. Рябинка, зажатая в его кулаке, покорно потряхивала листьями при каждом его словесном нажиме. На лицо его, если бы вблизи стояли, было бы трудно глядеть мужикам. Нестерпимой болью, как у Фёдора Стратилата, осенилось его лицо. Он и сам не помнил потом, о чем говорил, потому что говорил как в бреду, но выходило складно, — как если бы с косой шел по цельной траве.

Понуро стояли мужики, слушали с неслыханным вниманием, хоть и не было ни одного сладкого слова в Семёновой речи. Промежутки молчания в ней были как бичи: такими сгоняет воедино разбредшееся стадо пастух. Осью было то, о чем неумолчно болели воровские сердца: Зинкин луг, а вокруг оси вертелись все малые и немалые колеса — и ненасытный город, и прежний опыт, и грядущая расправа за убитого гусака. Первоначальное подозрение мужиков, что хочет Семён взбаламутить мир, чтоб собственное злодейское дело мирским грехом покрыть, теперь рассеялось само собой. Вдруг заплакала маленькая девочка, держась за материн подол. Заплакала потому лишь, что особенно напряженно молчал ее отец, тяжко опершись на косу. Услышав ее плач, мужики неожиданно загудели, чтобы потом так же неожиданно затихнуть.

Именно затишье наступило в Ворах. На улице никто не показывался, назначенных яиц никто не принес. Уже неписано была объявлена война, но обе стороны молчали, выжидая ходов противника. Поп Иван Магнитов, прикинувшись трудноболящим, не служил никакой службы даже и ради Петрова дня, хоть и грозили ему чреватые последствиями мужиковские недоуменья. Даже ребятам своим воспретил Иван Магнитов выбегать на улицу, чтобы не напоминать о существовании в Ворах Магнитова Ивана.

В не меньшей тревоге пребывал и исполком. Дважды ездил Сергей Остифеич в Чекмасово, на телефон, чтоб сговориться с уездом. Провода, пущенные по деревьям,

оказались перерезанными. Из проводов наделала себе летучая братия невиданные запасы балалаечных струн. И в тот день, когда, отчаявшись совсем, в третий раз отправился Половинкин в Чекмасово, весело звенели на девяти дезертирских балалайках те самые советские провода.

...Там, в лесу, выходил на середину пушистой лесной полянки долгоногий верзила Петька Ад. Он обхватывал себя самого длиннющими руками, подбирал полы рваной шинели и, с прыжка, укоротившись в росте, такого плясака показывал, что у толстопятого пензяка Тешки, первого плясуна у себя в Пензенской, зеленело от зависти в глазах.

XII. Удар

Ввиду того, что не только яиц, но и яичной замены никто не принес, решено было пойти по избам. Исполкомская комиссия, в составе продкомиссара, Матвея Лызлова и красноармейца, вышла после обеда второго дня из исполкомской избы и направилась на выселки, откуда предполагалось начать обход. По настоянию продкомиссара выход был сделан без оружия, чтоб не будоражить зря мужиковского воображения. Только красноармеец был снабжен винтовкой, ибо, будучи без винтовки, он скорее возбудил бы подозрение мужиков.

Этот необдуманный шаг и поверг наземь зловещую тишину того дня.

А день выпал удушающий. Низкой облачной паутиной был заткан небесный свод. Парило. В безветренных полях никли цветы: даже и цветам нечем было дышать.

...Кура от века бабьей птицей слыла. И едва пронизала Воры весть, что пошли обходом исполкомщики, побежали бабы к ним навстречу, наспех на щеколды и засовы затворяя дома. Мужиков нигде видно не было, один только высокий бабий стон стоял на широкой улице села. Бабы бежали с пустыми руками, но гневные, встрепанные, похожие на наседок, вспугнутых с гнезда.

Продкомиссар шел небыстро, немного поотстав от Лызлова с красноармейцем, ушедших вперед. Их тотчас окружили и разъединили бабы.

— Нет тебе яиц! — закричали они хором; их предельное возбуждение делало их опасными даже и для взвода солдат, а тут было всего трое безоружных. — Грудные ребята у нас осолодку жрут... а мы тебя, зевластого, яйцами кормить станем?

— ... разор, разор! — безостановочно выла какая-то, напрасно силясь прорваться к продкомиссару сквозь непроницаемое кольцо остальных.

Одни оттирали других назад и сами лезли на продкомиссара, который терпеливо повертывал голову то в одну, то в другою сторону. Какая-то, кривая и бесстыжая, со сбившимся назад платком, кричала пронзительно в самое его ухо, опираясь на его же плечо:

— А у меня вот петух сломался... кур не топчет совсем! Дедку, что ль, закажу, чтоб кур топтал?..

Комиссар не слышал, а когда услышал, то потер себе лоб, чтоб понять и вдуматься, — мешал крик. А когда добрался до смысла петуховой поломки, стало уже поздно. Бабы, атаковавшие двух передних, очевидно, были злей и упористей. Напрасно Лызлов и шуткой и угрозой силился отбиться от бабьего напора. Волна все подымалась, и уже нельзя было уйти из-под волны.

Тут Фетинья, которая жгуче крапивы и горчей полыни, подхватила куру, запутавшуюся в бабьих подолах и напрасно искавшую выхода, и с маху кинула ее красноармейцу в лицо. Это случилось быстро. Тот не успел остеречься, куриная лапа попала прямо ему в глаз. Он зашатался, зажмурился и невольно отпихнулся от баб винтовкой. На беду, в сутолоке бабьего бунта находилась и безвредная рублёвская молодайка, — ходила на шестом месяце. Удар пришелся ей в живот. Она высоко и нелепо взмахнула раскинутыми руками и с пронзительным криком: «Убили!» — повалилась наземь, среди расступившихся в ужасе баб.

Вопль Аксиньи Рублёвой был как бы молнией, гром не замедлил. Сотня бабьих голосов подхватила Аксиньин вопль. Улица стала пустеть. Бабы разбегались. И точно только этого последнего сигнала и ждали мужики. В подворотнях, в плетнях, в углах и закоулках заворошилось живое и рассерженное. Мужики бежали с кольями, косами и топорами. Вынесся откуда-то и Егор Брыкин. Блестя

полоумными глазами, он волочил за собой шестерину, взмахнуть которой все равно у него не хватило б сил.

— В колья... На тетку Коммуну в колья!.. — трубным голосом взывал Сигнибедов и несся снизу в распахнутой жилетке, обливаясь потом и вытаращив глаза.

— ... о-о-о... — ревел Гарасим-черный и несся сверху с поднятым колом в руках, взмывая пыль гулким топом яловочных сапог.

Все трое — Лызлов, красноармеец и продкомиссар, — сбившись в кучу, оцепенело глядели вокруг себя. У Лызлова, как от великой боли, оскалились зубы, и был жуток желтый оскал крепких его зубов. Продкомиссар тер себе подбородок, бормоча что-то непослушными губами. А третий, зажимая ладонью подбитый глаз, с ужасом глядел уцелевшим глазом на бабу, поверженную в прах, и лежавшую рядом с ней винтовку. Красивое лицо рублёвской молодайки синело и зверело от судорог. Отовсюду приближались...

— ...что ж это вы, товарищи, бабу мою обидели? — ядовито прошипел кто-то сзади.

Они обернулись, все трое. Тут-то и наскочил на них, со спины, верхним ястребиным лётом, Гарасим-черный.

XIII. Воры гуляют

Сергей Остифеич провел весь тот день до самого вечера в Чекмасове.

Телефон не действовал, но в трубке как-то звенело, словно кто поддразнивал с другого конца порезанного провода. К вечеру Сергей Остифеич затянул ремень на шинели потуже и выехал в Воры. К этому времени уже совершенно сложился у Сергея Остифеича план: надо заехать в Воры за бумагами и с каким-нибудь поручением уезжать в уезд от начинающихся бесчинств... Ехал он не спеша, потому что небезопасно было шуметь по темени возле этого края Кривоносовых болот. По-разному шалила в тех местах летучая братия над проезжими. А лошадь у Половинкина была белая: хорошая цель в темноте. В одном повороте дороги Сергей Остифеич даже соскочил с лошади и вел ее на поводу, пока не миновался подо-

зрительный осинник. Сергей Остифеич был прав: уже не храбрость, а глупость — подставлять себя под баловную пулю незнакомого удальца.

С самого начала Попузинского луга ударил по Сергею Остифеичу ветер, донес всплески дальнего набата. Место тут было очень просторное. Сергей Остифеич вскочил в седло и хлестнул лошадь. Воры, окруженные лесами, не были видны Сергею Остифеичу: он подъезжал с юга. Тут ему показалось, что видит на облаке отсвет огня. Причина набата стала ясна. Опасности не предвиделось. Сергей Остифеич еще раз подхлестнул свою кобылку.

С опушки, ближней к Ворам, стало видно: пожар. Очевидно, горел какой-нибудь из крайних домов. «Разойтись пожар не может, ветер не в ту сторону. А вместе с тем и хорошо: внимание мужиков хотя бы временно отвлечется на тушенье. А там, может быть, и совсем схлынет, рассеется мужиковское недовольство. Не долог мужиковский гнев!» — так думал Половинкин, трясясь в седле. Набат стал опять слышен. Исступленно и без сопровождения малых колоколов бухал большой, в суматохе утерявший все свое достоинство старшинства. «Должно быть, Пуфла горит!» — подтвердил свои догадки Половинкин и в третий раз подогнал коня.

Он приближался к Ворам бесшумно, тонули в глубокой пыли стуки копыт. И вдруг перед самым селом стало жутко. Он напрягся до багрового стыда и переупрямил страх. Привязав кобылку к перилам моста, он пешком добрался до подъема холма. Попалось на пути подобие водоотводного рва; Половинкин переполз его. К этому времени стало совсем темно, приходилось идти почти на ощупь. Так, в темноте, он нашарил плетень крайнедеревенца. Жгучее, неосознанное любопытство охватило Сергея Остифеича, — вот так же в царскую войну, когда в темноте нужно было миновать вражеский дозор или черный наблюдающий глазок пулеметного гнезда. Это было любопытство здорового человека к смерти. Приникнув к плетню, он выглянул.

Несмотря на потемки, улица была вся видна, освещенная лохматым светом пожара. Горела исполкомская изба, стоявшая чуть-чуть на отлете. Ветер затих, и огонь

выпрямился. Дыма не было, целые рои небыстрых искр порхали в темноте. Красные сумерки стояли над селом. В улицах царило непонятное оживленье. Вдруг оборвался набат. Кто-то, перебегая от дома к дому, кричал хрипло и властно, из последних сил: «Братцы, оружайтесь! Братцы...» Его призыву отвечал неровный гул. Сергей Остифеич не мог оторвать остановившегося взгляда от горящего исполкома. Покорял его и не отпускал идти этот огромный столб почти неподвижного огня.

Упавшее сердце стучало мелко и часто. Казалось бы: бежать, Серёге, шпорить до крови белую кобылу, скакать с донесением в уезд. Но произошло другое. Село стало под знак мятежа. Исполком горел. Все нити подчинения его уезду были порваны. Половинкин ощутил себя освободившимся от всех недавних забот. Теперь он принадлежал себе самому. И целый вихрь осмысленных, здравых решений не одолел одного, неосмысленного. Что-то пошевелилось в груди, и грудь вздохнула, и тотчас же где-то там, на глубине, пощекоталось удивительное желание — побывать там, посреди криков, смятенья и опасности. Не отрезвленный и холодом ночи, он стал пробираться задворками к середине села.

Вдруг совсем вблизи загромыхала подвода. Дорога освещалась тем же огненным столбом. В свете его Половинкин узнал: воровский поп, Иван Магнитов, удирал на телеге, перегруженной доверху поповским скарбом и ребятьем. Сам он сидел на пузатом комоде, держа на коленях в обнимку самовар. После заворота дороги влево все это стало еле приметно, и только в глянце самовара предательски торчал красный отсвет пожара. «Ага, бежишь!» — с насмешливым волнением подумал Половинкин и хотел уже продолжать свое опасное предприятие, но вовремя прижался к черной стене мужиковской бани. В мимо бегущей темной и широкой фигуре, спотыкавшейся и падавшей, узнал Сергей Остифеич попадью. Она догоняла поспешающего мужа, задыхаясь и крича шепотом:

— Отец, отец... поднос-те забыл! Возьми, на-кось, поднос-те... — Так с подносом, прижимая его к груди, и побежала она по склону холма, напрасно взывая к мужу.

Движение на селе необъяснимо усилилось. Горланили мужики, как бабы, а бабы ругались, как мужики. Куриный бунт, куриная смехота разбухли в страшную тучу на всю округу. Ужасом и кровью захлебнулись Воры в тот день. Временами, нежданная, как соглядатай, перебегала оголившуюся полянку неба луна и зарывалась в давящую мякоть облаков. И опять, как и Половинкин, терзаемый смертным любопытством, выскальзывала на долю минуты и опять пугливо пряталась. Было чему пугаться...

Уже вошла в Воры всем количеством летучая братия, доселе укрывавшаяся в лесах. Мужики встречали сыновей, бабы — мужей. Сигнибедов, разойдясь в порыве заметавшегося сердца, потрошил напропалую остатки своей торговли, сооружая угощенье чужакам. Есть никому не хотелось, пропала обычная жадность к еде. Нужно всем было пить, стало красно в мужиковских глазах от сожигающей жажды. Пронырливостью Егора Брыкина был открыт на радость всем целый самогонный завод в омшанике у бабки Мятлы, повитухи. Пили дико, и ковшом, и блюдечком, и прямо так, вприхлебку.

Хмельным и шатким шагом вышел с одного конца села Дмитрий Барыков, неся за плечом гармонь. Возле колодца как раз столкнулся он с Андрюшкой Подпрятовым и Егором Брыкиным, приятелями давнего детства. Вышли они с разных сторон, тоже хмельные, наобум, в неизвестность пьяной тьмы, а за плечами у них тоже повизгивало по гармони. Брыкин пьяным только прикидывался.

Как столкнулись, так остановились недоуменно, разом, по-бараньи выставив лбы.

— Кстати жену пришиб, — самодовольно сказал Егорка и, сорвав картуз, повел им так, словно приветствовал теперешнюю свою хозяйку, самогонную разгульную ночь.

— Ге-е... — проблеял Андрюшка. — До смерти?

— Не, поучил только, — визгливо прохохотал Брыкин. Постояли они и еще немного, носом к носу. Где-то бегали, кто-то кричал. Душило зноем, потому что заперли нахлынувшие тучи все небесные отдушины. Уже не луной, а зарницами поминутно вспыхивало небо, черное, как черный порох. Вдруг Андрюшка крякнул и лов-

ко подернул плечом. Трехрядка его отозвалась нотой и, подобно ученой собачонке, перескочила прямо под руку. То же проделали и приятели. Разом нажали все трое по четыре заветных клапана, разом растянулись гармонные голенищи во весь возможный мах...

Вот так же, давно, когда все трое и без вина бывали пьяны, хаживали они рядком, гудя в самодельные гуделки. Попозже — поживших в городе сильней манила жизнь — вот так же гуляли, выворачиваясь наизнанку в жениховском чванстве, покрикивая песни. Тогда еще пыжилась из них младость: подергивали робкий ус, чтоб рос скорей девкам на сердечную пагубу. И вот снова три неразделимых друга, вкусивших от соблазнов жизни, били злыми пальцами по гармонным ладам, и пели лады плясовым напевом о скорбном, непутном, нерадостном.

Худое лицо свое со впалыми щеками, но распухшее и красное, на сторону завернув до отказа, грянул во всю глотку Митя Барыков:

..... э-эх,
Загуляли заворуи,
Поддавай, старуха, щов!..

А уж по закоулкам бежали к ним однодеревенцы и чужаки из летучих, удалые и тихие, рябые и гладкие, богатей и голь.

— ...пьяно, Тимак! — закричал один из них, маша руками так и сяк.

— На бугре стоим! — отвечал неизвестный Тимак во всю грудь. — Нам что! Мы всяку бяку пьем...

— Миленький... и мухомором упиться можно! — лез первый.

— Котуй, ребятишши... — отупело сказал какой-то, непрестанно топоча ногами в лаптях.

Крики усилились, подходила новая шумливая ватага.

— Поймали... Пленного поймали! — суетливо возглашал Савелий Поротый, тычась впереди; Савельев хмель был всегда мягок и весел.

— Кого пымали?.. — насторожился Брыкин и повел носом, вынюхивая.

— Серёгу-гусака словили, — объявил невеликого роста, но могучего объема в груди человек, летучий Тешка. — Мишки-т Жибанды нет ли тут? Он давно у нас на Серёгу зарился.

Раздались крики:

— Не-е, Мишка там... у Савелья в избе.

— У нас, у нас Мишка. С Семёном моим совещаются, как теперь дело повести, — хвастался от всей души Савелий. — Насчет Расеи обсуждают, брать или не брать!

Куча остановилась; в середине ее стоял, выдаваясь ростом, Серёга Половинкин. Он щупал себе спину и поводил глазами, словно хотел запомнить всякое лицо.

— Хлястик-то оборвался. Поищите, тут где-нибудь... — попросил Половинкин.

— И без хлястика! Все равно теперь... — сказал какой-то, державший Серёгу под руку.

— На комаря его! — запросил кто-то сзади.

— На огонек...

— Мы и без Мишки!

Половинкин посапывал носом и кусал губы, совсем заворачивая их вовнутрь.

Сзади опять закричали:

— На комаря его! На кома-арика-а...

— Комарь-то не ловок теперь, — озабоченно возглашал босой и древний старик, только затем и выползший со своих полатей, чтоб обсудить с молодыми Серёгину казнь. — Какой уж теперь комарь!..

— Ничего, ничего, папаша, — утешал его хлопотливый парнишка, — зато пауту теперь самые времена! Опять же муравей! Хватит зверья...

— К болоту, — завопили задние, которым так и не удалось пробраться до Серёги и хотя бы пощупать его собственноручно.

— А кого впереди-т пустим? — перекричал всех Тешка, напрашиваясь на эту честь.

— Петьку Ада... Петьку! — закричало полдюжины голосов. — Петьку и пустим, у него ноги живые...

— ...в суставах тонкие! — восторженно добавил еще какой-то, немолодой; когда-то, видно, озоровал немало, да отозоровал свою молодость.

Так они, Тешке в раздражение, и пустили впереди Петьку Ада, парня двадцати восьми лет, длинного и тонкого, как жердь. Вышел тот, — кто-то осветил его вздувшейся папироской, — поглядел с виноватостью, вскинул глаза на зарницу, сказал как бы про себя:

— Ишь... летают какие!

Вдруг, словно схватила его смертная судорога, согнулся и разогнулся на одной ноге, а другою выбил мельчайшую дробь.

Эха-ху-ха-ху-ха-ху,
Д'хоть бы плохоньку каку... —

продержал он на одной высокой ноте.

Они уж и пошли было, ведя Сергея Остифеича на смерть, да тут как раз ворвалась в толпу Марфушка Дубовый Язык.

— Мужитьки! — Дурий голос ее умоляюще прерывался. — Дайте его мне, мужитьки... в женитки? Братка у меня убили, так я его жалеть буду... А?

Волосы ее растрепались, топорщилась вымокшая где-то юбка, обминаемая теперь коленями мужиков.

— Пошла ты к черту!.. Бесстыжая...

— Бей ведьму, мать твоя курица!

— Тащи ее туда же... — И кто-то схватил ее за юбку, но она рванулась и умчалась.

Больше никто уже не останавливал их в пути, а Серёга и не пробовал бежать. Сотня рук цепко держала его по клочку, как добычу. Там, где-то в гнилой духоте Кривоносова болота, суждено было Серёге, голому, развязывать свинулинский узелок.

XIV. Хмель

У Семёна в чистой избе сидели вокруг стола люди, верхи летучей братии и вся головка воровского мятежа. У двери толпились, полна людей была изба. На столе лежал большой ворох махорки и целый поднос хрусткой цветной карамели — все, что осталось у бывшего лавочника Сигнибедова. Всякий, кто хотел, подходил и брал.

Сбоку стоял старинный светец; обгорелый уголь со змеиным шипом падал в долбленое корытце, полное воды. Анисья, мать, стояла в переднем ряду и с тревогой слушала разговоры молодых, вершивших теперь дела всей волости. Изредка она цыкала на баб, чтоб поутихли.

Стояла и без того тишина. Заседание шло полным ходом, хмельных тут не было. Порядок заседания не нарушался никаким несвоевременным или вовсе не уместным замечанием, — такого порядка не случалось ни на одном из сходов.

Говорили в строгой очереди, словно ценили за краткость и дельность, а не за хвастливую красоту словесного завитка. И хотя обсуждались вопросы высочайшей важности, не больше часа на все заседание ушло.

Все к одному бесспорно склонялись:

— Нам одним против всей машины не выстоять. Нужно подкрепление звать, чтоб вставали всем миром, и беззубая бабка, и беззубое дите... — Так говорил Семён, щупая подбородок, зараставший бородой.

Тут же решено было послать верховых в Попузино, и в Сускию, и в дальнюю Чегодайку, и в ближнюю Малюгу, и в срединную Дуплю, чудом стоявшую на болоте, и во все окрестные места, где живут, чтоб шли с тем, что первым приглянется глазу. Тотчас, без рассуждений, вышли из толпы девятеро назначенных. Уже ждали их у крыльца девять неоседланных коней. Одновременно вскочили люди, одновременно топнули кони, одновременно на девяти концах села бурливой струйкой взбилась ночная пыль.

Заседание продолжалось. Мишка Жибанда достал из кармана смятую тонкую бумагу и вслух читал список всех советских в волости людей. При каждом утвердительном ответе он ставил возле прочитанной фамилии глубокий крест твердым своим ногтем.

— ...Чмелёв Пантелей, — тихо прочел Жибанда.

— Есть, — печальным голосом ответил Афанас Чигунов, внимательно глядя в пятнышко на столе.

— ...Васька ему косой пол-лица срезал, — эхом шел толк среди баб.

— Шохин... — строго говорил Жибанда, ставя крестик возле Чмелёва. — Бабы, языки оборву!

— Это который же? Двое Шохиных у нас, — как бы невзначай заметил Прохор Стафеев со стороны.

— Двое у меня и записаны... Захар Шохин, а еще Ефим... — пояснил Жибанда, пристальней вглядываясь в бумагу.

— Оба... Оба есть, — сказал Чигунов, не отводя глаз от пятнышка.

И опять эхом откликались бабы:

— ...за окно выскочил об одной штанине. В вас, кричит, сознанья нет... а сам все платок к голове прикладывал.

— Он в сени сунулся... — говорила другая так тихо, словно возле покойника, — а сени-те заперты. Он тоды в подвал залез... А бабы-те, свои же, и кричат: «Захарко, выходи, тебя мужики ищут. Из-за тебя-те и нас всех прикончат...»

— Это за Зинкин покос ему! — сухо отрезала третья. — Как жил, так и получил.

— Василий Лызлов! — продолжал Жибанда.

— Упустили щенка... Наделает беды, горячка-парень! — угрюмо вставил Лука Бегунов и снова замолчал.

— Видели, к речке бежал. Так с берега и кинулся... — виновато сказал Прохор Стафеев. — Всю осоку сапожищами укатали мужики, искамши... а нет.

В этом месте заседания свалился уголь с лучины и зашипел в воде.

— А вот тут не разберу, — сказал Жибанда, прищуриваясь и поднося листок к свету. — Шурупов Кузьма... был такой?

— Дай я, — сказал Семён, взял листок и прочел: — Муруков Кузьма, правильно.

— Его как ранили, он было в рожь на четверне пополз... — вспомнил про писаря старый Подпрятов.

— Нашли во ржи-то? — обратился к нему Жибанда, не спеша ставить крестик возле писаря.

— Да нашли... — с ленивым раздражением отвечал Чигунов, для чего-то протирая глаза рукой; глаза у него и впрямь смыкались, точно утомились видеть столько в один день. — Ты читал бы скорей... чего там размазывать! Дело ясное, из-под топора не уйдешь.

А бабы сообщали подробности муруковского конца:

— ...старуха-те плакалась: зачем, байт, конечка-те бьете? Себе бы хоть взяли! Конечек-то, ровно огуречик, кругленький!

— Нашла, конечка жалеть, — насмешливо сказала высокая баба.

Так до конца прочтен был весь длинный список. И везде, кроме Васятки Лызлова да Серёги Половинкина, процарапал Мишкин ноготь глубокие отметинки смерти. И уже подходило заседание к концу — первоначальное напряжение поспало, и слышались разговоры посмелей, — когда, совсем неожиданно, вывалил Юда целый ворох папирос на стол, жестом предлагая закурить.

— Папирос-то откуда достал? — спросил Семён, покачивая головой.

Юда был один из летучих. Невысокий и складный, он имел улыбку хитрую, скользкую и опутывающую — такою делали ее темные его, гнилые зубы. Лицом он был черноват и приятен, усики у него вились сами. Юдой прозвал его летучий Васька Пекин по неизвестным причинам и уже давно. Все время заседания Юда сидел в стороне, похрустывая сигнибедовские карамельки.

— На обыске нашел, — скромно отвечал Юда, разглядывая собственную узкую, с длинными пальцами, ладонь. — В чейгаузе у них без дела лежали. Одним словом, обчественное достояние.

— Он и баретки достал! — похвалился за Юду коренастый узловатый Тешка, подчинявшийся Юде с первого взгляда и с первого же взгляда улавливавший Юдины помыслы. — А баретки-то бабьи! Весь в бабьем ноня...

В самом деле, одет был Юда в бабью паневку, еще не старую, туго перепоясанную кавказским, с серебряными подвесками, пояском. На ногах он имел ту самую пару женских полсапожек, которую оставил Лызлов в запас из присланного на раздачу по волости. Высокие каблуки были еще не сбиты, и ноги Юды неожиданно походили на копыта.

— У меня нога маленькая. Мне лапти все ноги стерли... — недовольно сказал Юда, надгрызая яблоко, вдруг появившееся у него в руках.

— Яблочко-то откуда взял? — покосился Васька Рублёв.

— А вон мамаша дала! — воровато подернулся Юда и кивнул на Анисью Рахлееву. — На, говорит, сынок, яблочко тебе, похрупай!..

— Брешешь, не давала! Сам стащил... — сердито и сдержанно отозвалась Анисья.

— Не давала-а? — состроил замысловатую рожу Юда. — А я его уж и съел! Что ж мне теперь делать-то, бежать или спасаться? — И он окинул коротким взглядом товарищей, громким хохотом выражавших свой восторг перед словесным удальством Юды.

Больше всех хохотал, конечно, Тешка.

— Ну, спать! — поднялся Семён, неуловимым движением бровей останавливая мать, готовую напасть на Юду по всем бабьим правилам.

— Спать, это правильно... — сказал Гарасим-черный и размашисто зевнул.

— Рот-то покрести! Анчук влезет! — окрикнул его кто-то из летучих,

Но смеху некогда было подняться. Блестя возбужденными глазами, вбежал Егорка в избу. Сзади его затеснились и другие.

— Ребятки... попка поймали! — возбужденно сообщил он.

— Где?.. на ком? — загудела летучая.

— Да как же! Мы Серёгу на комаря привязали... идем, а он во-от кобылу нахлестывает! Он уж было и уехал, да поросенка забыл. За поросенком и вернулся...

— Ну-ну! — тешилась летучая.

— Вот те и ну, баранки гну... Сюда привели! Там же мы и Серёгину кобылу нашли, к мостку привязана.

— Половинкина-то поймали, значит? — сощурился Семён и кивнул Жибанде, но тот и сам уже лез за пазуху, за бумагой, чтоб отметить пойманного крестиком.

— ...сидим этто на завалиночке, — рассказывал, поблескивая чернотою глаз, Фетиньин муж, — разговор ведем, прикидываем, одним словом. Вдруг тут молния-т как полыхнет! Видим — тень. Откуда тень? Из-за угла тень! Ну, мы очень это поняли, сзади его и обошли, Серёгу-те. Он, значит, подслушивать за угол-те встал!..

Толкаясь и громко переговариваясь, мужики вышли на крыльцо. Там уже стояла немалая толпа. В самой середине ее трое летучих держали пленных: один — половинкинскую лошадь, двое других — под руки беглого попа. Без рясы, в домотканых портках, он больше походил на чудного длинноволосого мужика, чем на известного всем Ивана Магнитова.

— Здравствуй, батя! — сказал Семён ему, невнятно пошевеливавшему губами. — Покинуть нас вздумал? Очень нехорошо. Мы с тобой, батя, одной веревочкой связаны... Надо ж, батя, понятие иметь! Ну что ж, иди теперь домой. Отпустите его, — сказал он державшим Магнитова под руки.

Освобожденный Магнитов громко задышал и поводил затекшими плечами, уходить же, видимо, не решался.

— Благослови, отче... — подошел со стороны Юда, пряча за длинными ресницами смех и складывая руки горсточкой.

Тот с излишней поспешной готовностью поднял было руку. В ту же минуту Юда лукаво погрозил ему пальцем перед самым носом.

— Шалишь, батя, Юду благословлять! Рази ж поп в подштанниках бывает? Беги! — гаркнул он ему вдруг и в самое ухо.

— Беги, беги!.. — взволнованно завопили летучие и расступились, давая дорогу.

Магнитов постоял еще минуту, потом сделал неуверенное движение, словно подбирал рясу, и скакнул в сторону с прыткостью, не мыслимой ни для сана его, ни для возраста. Бегу его, очевидно, мешал страх перед неизвестностью. Он упал посреди улицы, сраженный одышкой и ужасом, и закрыл голову руками. Темная ночь висела над ним, и она грозила войти в задыхающееся кровью сердце. Его освещало зарево исполкома.

— Беги!.. — еще раз крикнул металлически звонко Юда и тихой скороговоркой попросил у Семёна: — Дозволь, друг, ружье разрядить. Затвор, вишь, у меня ослаб и пули не держит... — Говоря так, он остановил взгляд на Магнитове, все еще лежавшем в пыли.

Где-то в стороне слышна стала негромкая ругань. Семён оттолкнул Юду в плечо и пошел на спор. Спорили

Афанасий Чигунов и Гарасим-черный из-за половинкинской лошади.

Гарасим сказал:

— Беленькая.

Афанасий ответил:

— И хвост обстрижен.

Гарасим:

— Это моя кобылка. Я давно ее облюбовал! — и прибавил такое, словно ногой топнул.

Чигунов:

— У тебя и без того три, а у меня одна, да и та головы не держит.

Подошедший Семён решил спор коротко. Как первый убивший, Семён занял главенствующее место в восстании.

— Лошадь в обиход пойдет.

Тут кто-то крикнул:

— Бабинцовы угощают...

Толпа побежала на выселки, небо все еще вспыхивало зарницами.

— Ребяты!.. — закричал им вдогонку Семён. — На взъездах, значит, рогатки поставить не забудьте. Михайло нарядит баб в караул. До рассвета караул держать!..

— У-у... баб в караул-ул... — было ответом.

Скоро у избы остались только Семён и Жибанда.

— Миша, спать пойдешь? — спросил Семён.

— Да уж выспаться-то не плохо б. Может, завтра и драться придется...

— Перепьются, а ночью и накроют нас, — выразил свои опасения Семён.

— За ночь не успеют. А поп-то, гляди, убежал!

— Пускай его.

Расходясь, они подали друг другу руки. Пожатье их было сильное и намекало не только на установившуюся дружбу, а и на истинное значение, которое должна была иметь она в будущем.

— Продкомиссар этот... — тихо сказал Жибанда, глядя вниз, — когда лежал уж, я узнал его. Пыли много попристало, а узнал. У нас комиссаром в части был. Нас вместе и ранили, на Колчаке...

Жибандино воспоминание как бы перетряхнуло Семёнову память. Он вырвал руку из Мишкиной руки и спросил быстро:

— Фамилья ему?..

— Быхалов Пётр. А что, встречался? — удивился Мишка Семёнову лицу.

— Вот как... — с раскрытым ртом сказал Семён, набирая воздуху в грудь; теперь он вспомнил, и потому еще сильней душил его расслабляющий воздух этой ночи.

XV. Продолжение ночи

Когда Жибанда потерялся в ночи, Семён вошел в избу и, не раздеваясь, прилег на лавке. Окно над ним было раскрыто.

Полное безветрие. Большое желтое пламя лучины стояло прямо. Гулко бились мухи, подчеркивая томительную тяжесть ночи. На полатях вперемежку с затейливым и длинным похрапыванием бредил Савелий о Людмиле Ивановне. Мнилась, видно, и пьяному поповская дочка.

«Разницы нет, кто у них там... в городу, — вспомнил Семён слова Прохора Стафеева. — Мы-то все одно — мужики! Разве ж может мышь из своей кожи вылезть? Мышь растет, и гора растет, но не сравняется мышь с горой. А если не сравняться мышу с горой, так какая нам тогда разница? Раз-ни-ца... два-ни-ца... три-ни-ца...» От усталости слова начали распадаться в Семёновом сознании, складывались по-иному, теряли первоначальный облик и смысл.

Тут бабочка-ночница ворвалась в окно и заметалась вкруг огня серым неживым пятном. Пятно стало носиться все быстрей, словно для того, чтоб еще больше утомить и без того слипавшиеся Семёновы глаза. Вдруг дверь в избу распахнулась, и долго потом помнил Семён, как бурно, по-живому, закачалось пламя лучины. Четверо взошли и стояли посреди избы. Один, и очевидно, самый главный, встал к Семёну спиной. Лица его не было видно, но что-то мучительно знакомое, неугадываемое, мнилось Семёну в сутуловатой его спине. «Возьмите его!» — тихо сказал этот, и остальные сразу догадались, что речь шла о Семёне.

Семён и не сопротивлялся. Казалось, что все мышцы его стали из вязкого, покорного всякому чуждому хотенью свинца. Его взяли и повели. Человек, скрывший лицо, шел впереди, а вслед за ним те трое, которые вели Семёна куда-то за околицу, в ночь. «В поле ведут!» — подумал Семён и тотчас же решил бежать. Он напряг все свое свинцовое тело и, распихнув людей по сторонам, кинулся бежать наугад. Непонятно подкашивались ноги. Непонятно быстро догоняли сзади и все еще не могли догнать. Семён почувствовал вдруг, что тот, главный, уже обернулся и показывает пальцем ему вслед. Оглянуться — значило увидеть и удовлетворить мучительное незнание об этом, главном. Оглянуться — значило умереть. Семён скакал немыслимыми скачками, торопя непослушные ноги.

Вдруг погоня остановилась, топот ее перестал быть слышным. «Здесь отдышусь», — подумал Семён и, прислонясь к какой-то березе, стал глядеть туда, назад, в черное поле, где осталась погоня. Позади раздался еле уловимый шорох. Семён оглянулся и увидел сперва полуистлевшее в памяти лицо брата Павла, а потом два коротких огня. Семён напрягся понять, пошевелился и стряхнул сон.

Мать, Анисья, присев к нему на лавку, укрывала ему ноги кофтой. Бабья тоска делала ее глаза покорными, а движения медленными, почти ленивыми.

— Не укрывай, и без того в поту весь, — сипло сказал Семён.

— Сенюшка... что ж теперь, лучше аль хуже будет? — тихо спросила она.

Но все еще чудилась Семёну недавняя погоня, все еще застлано было сознание тревожными впечатлениями сна. Ночь уходила. Где-то далеко, в короткой струйке ветерка, прогорланили голоса и гармони. Мухи затихли. Веяло холодком. Семён свесил ноги с лавки и потер лоб рукой. Анисья копошилась с новой лучиной, вставляя ее в светец вместо догоревшей.

— Не зажигай, — светает... — сказал Семён. — Дай водицы попить.

Отпив полковша, Семён вышел из избы. Недавний бред живо стоял в памяти, — неощутимо вкралось жела-

ние увидеть наяву, так же ли черно поле, по которому бежал, стоит ли береза, которая росла в черном кочкастом поле его сна.

На улице была полная тишина, нарушаемая глухими и редкими стуками: караульные бабы стучали мешалками. Небо уже таило в себе белесость близкого рассвета. Когда, сокращая дорогу, перелезал в одном месте через изгородь, увидел на месте исполкома обгорелые и все еще тлеющие бревна, навороченные друг на друга как попало. Уже среди ночи испугались мужики большого огня и попритушили расходившееся пламя. Теперь кое-где среди бревен проползала ленивая искра и так же одиноко гасла.

Семён шел по той же дороге, по которой вели его люди из сна. Но уже ничего сходного с медленно забываемой сонной жутью не было. На черном поле стояла высокая и темная конопля, шумевшая при ветерках. Чем сильней светало, тем невероятней казалась минувшая ночь.

Развязалась обмотка; поставив ногу на жердь конопляной загороды, Семён стал распускать износившуюся, грязную тесемку и тотчас же услышал чей-то гулкий бег. Звуки бега быстро приближались, было в них нечто заставлявшее насторожиться и ждать.

Женщина в городском платье, явившаяся из-за конопли, бежала прямо на него. Напуганная чем-то, она спотыкалась и сбивалась с бега на мелкий неровный шаг, — еще издали стало слышно Семёну ее убыстренное дыханье.

— ...там... гонятся! — прокричала она, хватая Семёна за руку, почти повисая на нем.

Обвитый ее руками, безмолвный от удивленья неожиданностью, он слушал своим сильным сердцем, как колотилось рядом с ним другое, маленькое, у прибежавшей с рассветной стороны. Лицо ее было спрятано у него на груди; но он уже узнал ее по знакомому завитку волос возле уха.

— Откуда бежишь? — угрюмо спросил Семён, отводя взгляд в сторону.

Она подняла глаза на него и оттолкнулась, как от чужого.

— Сеня... — скорее с испугом, чем с радостью, вскричала Настя.

Но и радость Семёна, о которой он вскоре не преминул сказать, была ненастоящей. Неожиданный приход Насти путал его планы, вязал руки в самую трудную минуту. Одновременно тяжкий топот не одной пары сапог и лаптей приблизился к тому месту дороги, где они стояли за коноплей.

— Тута, тута! — кричал кто-то, кто бежал впереди; за плечом его в такт бегу повизгивала гармонь.

— Братишки... и мне оставьте! — подпискивал какой-то из отставших.

— Ладно, ладно... найти сперва, — восторженно откликался третий.

Семён стоял на самом повороте. Первый вылетевший из-за угла наткнулся на Семёна. Семён подался грудью вперед, и тот отлетел в сторону. Впрочем, он тотчас же поднялся и отряхивал пыль с дешевого и узкого ему пиджачка, немало, судя по складкам, пролежавшего в сундуке. Это был Андрюшка Подпрятов.

Теперь он выжидательно смотрел на Настю, стоявшую к ним спиной. Остальные — кто что: грызли ногти, подтягивали пояски, просто водили мутными с похмелья глазами, а один, нагнувшись, оцепенело трогал пальцами оторвавшуюся в беге подошву сапога и качал головой.

— Что ж, приятели... семеро на одное напали? — сдержанно сказал Семён, наступая на преследователей. — Нехорошо ведь!

— Вся власть на местах! — с пьяным упорством отвечал Подпрятов, косясь на остальных и понукая их на дерзость. — Кто ты такой тута? — И опять он тряхнул головой.

— Не лезь, Андрюшка! Дай ему самому побаловаться, — сказал другой, с лицом, опухшим от бессонницы и хмеля.

— Кто я такой? — переспросил Семён, и лицо его напряглось от бешенства. — А вот кто... Становись один на один, я из тебя все потроха вытрясу... ну!

— Хорош, хорош... давал черт грош, да и тот пятился! — в каком то остолбенении и невпопад выпалил

Андрюшка, но тотчас же отступил, едва поднял глаза на Семёна; и уже о полном смирении говорили Андрюшкины за минуту перед тем наглые глаза. — Ладно, не гневись! Сам знаешь, разгулялись... видим, свежатинка бежит... — Он замолчал, сощелкивая пятнышко грязи с картуза.

Поднявшийся ветерок пошевеливал коноплю; она шумела, насыщала окрестность пьянящим духом.

— Да мы к тебе и бежали. Думаешь, за бабой твоей гнались? Своих, что ль, у нас нету? Как же! Мы к тебе с вестью бежали... беда случилась!

— Ну? — Семён собирался уходить вместе с Настей.

— Да вот, Серёга-те гусак... ведь убежал! У Исаевой Сечи привязан был, — глухим, недовольным голосом рассказывал Андрюшка Подпрятов. — Ну, мы и пошли вот сейчас... потешиться хотели. А там даже и веревочки след простыл. Такая беда! Главное, веревочка-те зачем ему?

— Его не иначе как Марфушка спустила, — заговорил другой. — Сейчас встретили, так похвалялась, будто Серёга сватался. Так и Брыкин сказывал. И это очень возможно.

— А сам-то Брыкин где? — спросил Семён, ища его глазами.

— А тут был... тут! Где ж он? — заискал вокруг себя Подпрятов. — Вот и бежал с нами... Поотстал, должно!

Еще с минуту стояли молча, думая о половинкинском побеге. Совсем рассвело. С села доносились ржанье коней и крики петухов. Стороны разошлись, и обе никогда не забыли этой первой размолвки. Одно явствовало: Семён крепко сидел на занятом месте... Настя шла рядом с Семёном и молчала. «По-чужому встретились», — с удивлением думал и Семён. За время разлуки что-то сломалось в их отношениях; любое слово, сказанное искренне, показалось бы фальшивым.

— Я по письму твоему приехала... Ты ведь звал меня! — оправдывающимся тоном произнесла наконец Настя.

— Вот и хорошо сделала, — неловко сказал Семён и до самого дома не задал ей ни одного вопроса.

А те семеро, Настины загонщики, шли в другую сторону. Облачье над лесом прорвалось, и в длинной щели стояло солнце, какое-то чужое, ненастоящее, как вос-

ходная луна. Словно стыдясь самих себя, шли все семеро с опущенными головами. И вот, сперва вполголоса, а потом все громче, затянул один плачевным напевом и на высокой ноте песню. Она была длинна и жалобна, на верхних своих запевах сердце щемила.

Ее слушая, молчало все кругом: даже жаворонки не вертелись, как обычно, над полями в то утро. Да и нечему было радоваться жаворонкам: день вставал угрюмый и недобрый, — как большое распухшее лицо, с глазами, красными от вчерашнего хмеля.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Похмелье

Подобно тому как будит паденье камня отстоявшийся на дне ил, также возмутились стоячие воды воровской тишины. Поднялся ил и обволок небо, солнце скрылось, и как будто даже укоротились дни. Нет веселья в повествовании о черных, похмельных днях Воров.

...Наскакали верховые посланцы на девять окрестных деревень, стали говорить неуказанные речи. Непонятны были чужому уху темные реченья их и про обширность поля, и про шумливость леса, и про великую ширь и воль. А смысл у всех был один: кровь. И еще не закатилось солнце похмельного дня, как взгудели мужики у исполкомов, засвистали колья и камни, нахлынула кровь на кровь. Когда пришла ночь, властительница сна и покоя, застала она на деревнях другую, людскую ночь, бессонную, неспокойную. До рассвета гудела земля от гулливой топотьбы взбесившихся человеческих ног.

Не везде гладко проходило. В Попузине стрелял председатель и подранил жеребеночка. За жеребеночка пуще остервенились мужики, — помереть не дав, потащили за ноги к колодцу. В Малюге обошлось без убийства. Исполкомщики, предупрежденные событиями предыдущих дней, выехали наскоро, в чем были, оставив на месте свой убогий скарб. Даже смутились в своей неутоленной злости мужики: сломали стол в исполкомской избе за то, что-де стол советский, портретикам выкололи глаза. Кстати уж покололи на лучину и образа, найденные у сбежавшего председателя в чулане, а линялый флажок подарили старику Микитаю Соломкину на рубаху

или другое что, в знак уважения молодости к очевидному старшинству.

Но всем тем не исчерпалась расходившаяся сила. Побежали мужики в соседнюю деревню, за четыре версты, в Отпетово, — попали как раз на сход.

— Мы, — кричат малюгинские, — помогать пришли! Вы как, прикончили своих-те, аль еще бегают?

А отпетовцы обсуждали на сходе: убивать им своего председателя в общем порядке или помиловать. Своих грамотных у них по тому времени не нашлось, один только парнишка шестнадцати годков. Он и был выбран тогда в председатели, чтоб сидел и писал казенную бумагу, как и все, за двадцать пудов хлеба в год, — полупастуховская цена. Парнишка и сидел, и никому вреда от него не было; к тому же взрослый работник на письменных пустяках не пропадал, да и воровать в таком возрасте малый еще не обучен.

С прибаутками и шутками проходило обсуждение председателевой участи. Сам председатель стоял тут же, связанный для прилику по ногам, и хныкал, догадываясь, что этак и до порки дело может дойти. Этим он еще более способствовал мирскому веселью.

— Да нам, — отпетовцы отвечают, — и бить-те некого. Офрема-писаря бить, так ведь он — дьякон. А Иван уж больно мужик-те ладный — совестно. Не имеем мы на него злобы...

— Так как же тогда? — оторопели от досады малюгинские. — Побежим тогда к Гончарам всем миром, сообча. У них и покроем!

Тут же, пленного председателя развязав и послав его к Иванихе за бражкой, подняли бородатые отпетовцы обсуждение: идти к Гончарам или не идти? Но тут один вихлявый солдатишко вскочил к ближнему мужику на спину и со спины объявил наспех радостную весть, будто целый полк перешел на сторону Воров, с командирами и котелками.

— Эй вы, черти! — заорал он, вытягивая гусиную шею. — Которые за то, чтоб Гончарам помогать, высунь руку!

— А что делать-то? — спрашивали.

— Поорудуем, уж там видно будет! — толково отвечал солдатишко.

Поднялось семнадцать рук, сосчитанных.

— А кто против, чтоб не идти? — возгласил самозванный председатель.

Опять поднялись руки, корявые и темные, как обломанные сучья на сухой ветле, двадцать рук.

— Да ты что ж, бабка, оба раза руки подымаешь?! — озлился солдат на престарелую, совавшуюся то туда, то сюда.

— Везде, родименький, поспеть хочу. Чтоб не забидели, стара я... — пропела бабка. — Эвося и Никитова бабка оба раза подымала! Нетто хуже я Никитовой-то?

На конец концов решили: пропьянствовать этот день, засчитав его за гуленый, двунадесятый день. А попросят подмоги — отрядить четырех мужиков с топорами, наказав им настрого: до смерти никого не обижать... тем более что и стоит-то Отпетов в сокрытом уголку, в низине: с малого мало и спрашивается.

...Но покуда бушевали кровью и смехотами окрестные Ворам места, сами Воры в суматохе и тревоге проводили похмельный день. Летучая братия и вся молодежь уходили в лес, путеводимые Семёном и Жибандой. Прежнего оживления и хвастливых чаяний не стало.

Вдруг клич прошел: «Запрягай вся деревня!» С полудня заскрипели телеги на гористом спуске из села: начался великий выезд Воров. День выдался ненадежный, облачный, знойко ветреный; пыльные вихри суетились под плетнями, куры чистились к дождю. Стеной встали окрики, понуканья и ядовитые ругательства: каждый старался злей соседа стать.

Уже навален был на телеги ветхий мужиковский обиход. Поверх укладок с неношеным лежало перевязанное мочалом коробье, поверх коробья — иконы, связанные стопкой, ликом к лику, а на стопках сели ревущие от предчувствия родительских бед ребятишки. За подводами шли привязанные коровы, овцы, телки — все это также не молчало. Но выезжали неохотно: не верил сосед соседу в окончательность его решенья покинуть насиженное место жизни. Все же, выезжая навсегда, бросил Афанас Чигунов в колодец убитую накануне лызловскую собаку, срубил Гарасим-черный черемуху перед своим домом, чтоб уж не цвела по веснам на радование враже-

ского взгляда. Бежать от уездной расправы — было целью и причиной великого выезда Воров.

Телеги шли и по две и по три в ряд, где была дорога; но иные заезжали и по конопле и по льну. Не было особой нужды травить и попирать бабье достояние, — нарочно заезжали в самую гущу посева, оставляя глубокую просеку. С тем же чувством горечи и отчаянья разбивал Егор Иваныч Брыкин по приходе в Воры крылечную резьбу, плоды стольких усилий и затрат.

На первую версту с избытком хватило храбрости и удальства; так же хвастает и обреченный, когда ведут его на последнее место, — заламывая шапку набекрень. Дескать, везде земля, от земли не уедешь, и на каждой, незасеянной, лопух растет, и каждую землю заповедано пахать. Но как ни шумели, стараясь крикливым возгласом вызвать кого-то на ответ, ужасное молчание стояло в окружающих полях.

На второй версте поутихла, поослабла мужиковская отвага.

— Зажгут нас... — сказала крепкая баба, ехавшая с больным мужем, и заплакала.

Муж ее, укутанный и похожий на большую сову, ворочал ввалившимися глазами и уже не в силах был остановить женина карканья.

— Сляпала баба каравай!.. — забасил насмешливо хромой дядя Лаврен, свертывая журавлиную ногу, и подхлестнул своего конька. Удар пришелся как-то вкось, взлетели два овода с коньковой спины, но сам конек не прибавил шага, словно понимал, что незачем, нет такой причины в целом свете, уезжать дяде Лаврену от родного поля, по которому ходила еще прадедова соха.

— Хоть врала-те покруглей ба! — продолжал Лаврен. — Мы каждогодне почитай сгораем, на том стоим. Сгорим, построимся и еще ближе к речке подойдем. Покойника Григорья-то Бабинцова дед сказывал: Архандел-село в четырех верстах от Курьи отстояло, а мы, эвон, в версте легли. Зажгу-ут!..

И опять хныкали ребята, скрипели тележные оси, гудели овода, отстукивали устрашенные мужиковские сердца медленные минуты пройденного пути. Третью версту проехали уже в молчанье: верста как верста, радо-

ваться нечему — лужок, по лужку цветочки, в сторонке деревянный крестик по человеке, погибшем невзначай; воробьи на кресту... Четвертая верста выдалась какая-то овражистая, стал накрапывать дождик.

Падали начальные крупные брызги наступающего проливня и в дорожную пылищу, и на колесный обод бессемейной вдовы Пуфлы, и на казанскую укладку бабки Моти.

Упала капля и на кровянистый нос дяде Лаврену. И вдруг увидели мужики: из гуська, выехав в сторону, вспять повернул дядя Лаврен и со чрезмерным усердием застегал конька. Конек брыкнулся и шустро побежал. Возмутились мужики на хромого Лаврена.

— А я, — обернулся с подводы Лаврен, — понимаете, мужички... огонька в лампадке не задул. Не ровен час!.. Уж пускай лучше...

За Лавреном поворотил вдруг и Евграф Подпрятов, косясь на дождящее небо.

— Эй, ты, доможила... — со злобой захохотали вслед ему остающиеся. — Аль тоже лампадку оставил?

Подпрятов только рукой на небо махнул, и затараторила его подвода по иссохшимся комьям пара, как говорливая молодка у чужого крыльца. Остальные продолжали ехать уже с понурыми головами, уже совсем небыстро; в моросящей неверной дали мало виделось утешенья мужиковским глазам.

Дождь усиливался, поднимался ветер. Воздух напрягся, как струна, толстая и густого звука. Кусты пригнулись, как перед скачком. Деревья зашумели о буре. Весь поезд остановился как-то сам собой.

Вдруг на подводе своей, поверх сундуков, вскочил Сигнибедов. Он стоял во весь рост, беспоясный, и ветер задирал ему синюю рубаху, казал людям плотный и волосатый его живот. Ветер же заметал наотмашь ему бороду и еще более обострял жуткий его взгляд.

— Мужички, а мужички!.. — закричал Сигнибедов отчаянным голосом, силясь перекричать бурю. — Мужички... а ведь ехать-те нам некуда!..

Он оборвался, словно дух ему перехватило ветром. И вдруг все сразу поняли, всем нутром, каждой кровинкой истощенного тоскою тела, что впереди нет ничего,

что мужик без своей земли и телега без колес — одно и то же, а позади — теплый дом, на нем крыша, а под крышей печь. Сигнибедов, соскочив на землю, ужасными глазами уставился в дугу своей подводы. И ветру пронзительно подтявкивал привязавшийся откуда-то щенок — такой смешной, с человеческими бровями.

— Гроза идет, — строго сказал Супонев и резко повернул лошадь назад.

Это было знаком к тому, чтобы весь поезд повернул вспять, и через миг загрохотала вся дорога бешеными колесами. Неслись с бурей наперегонки, ссутуленные и прямые, покорные и затаившиеся в тайниках сердца. Иные — грызя конец кнутовища, иные — держа распущенные вожжи в раскинутых накрест руках, иные — окаменело сидя, иные — окаменело стоя, иные с глазами, красными от ужаса, иные и вовсе с закрытыми глазами. Все гнали безжалостно пузатых и беспузых, равно задыхающихся и храпящих клячь. Бабы сидели сжавшись, крепко прижимая к себе ребят, и уже заострились носы у них, и уже побледнели бабьи губы, закушенные зубами изнутри, — беда приблизилась на взмах руки.

И когда прискакали воры на ту самую землю, с которой связаны были потом и кровью столетий, случилось последнее событие того суматошного дня. Откуда-то из-за угла выскочила навстречу им босоногая Марфушка. С непокрытой головой, полной репья и разной колючей пакости, она бежала с горы, прискакивая навстречу несущимся мужикам, с поднятыми руками, но нежность, не указанная дуре, — детская радость удовлетворенной нежности отражена была в ее лице и бровями, жалобно вскинутыми вверх, и изломом рта, потерявшего вдруг всю свою обычную грубость.

— ...Женитка натла... Женитка натла! — верещала она и бежала прямо на храпящих лошадей. — Ноготками отрыла, ноготками!.. — захлебывалась Марфушка и показывала свои огромные руки, скрюченные так, словно и впрямь держала в них красную птицу дурьей радости, порывающуюся улететь. — Мой, мой... хоротый... ненаглядный, ангелотек мой!

Впереди всего поезда мчался в парной подводе черный Гарасим. Кони Гарасимовы — Гарасиму братья по

нраву. Был зол на Марфушку Гарасим-шорник за отпущенного Серёгу Половинкина. Он цыкнул на лошадей, даже не двинув лицом, и те черным вихрем проскочили через Марфушку, проставив только три копытных знака: на ноге, на груди и на лбу.

И уже не удержать было расскакавшихся воров, хоть и в гору. На расправу мчались, и требовали последней удали растерявшиеся сердца.

...После ливня вспомнили о потоптанной конями Марфушке и пошли убрать. Она лежала в водоотводном рву, куда сползла перед смертью, вся переломанная. Кто-то догадался зайти и на Бараний Лоб, где под березой зарыт был Петя Грохотов. Босоногая кричала правду. Петя Грохотов был вынут из могильной неглубокой ямы и сидел, прислоненный к березе.

А перед ним, по мокрой траве, расставлены были в любовном порядке все Марфушкины игрушки: цветные черепки со свинулинской усадьбы, облохмативший кубарик, пучочек васильков и куослепа, обрывок ленты и та ржаная лепешка, которую подал ей утром богомольный Евграф.

Видно, забавляла, как умела, Марфушка молчащего своего жениха. Значит, было суждено Пете Грохотову стать Марфушкиным женихом; положили их вместе. И Сигнибедов, почему-то хлопотавший больше всех, поскидал туда же, в яму, сапогом все ведьмины игрушки. С той поры и звалось высокое место под березой уже не Бараньим Лбом, а Марфушкиной Свадьбой.

II. Рождение Гурея

В утро Настина прихода они долго сидели наедине. Уже были съедены две миски — вчерашних щей и творога, размятого в молоке. Уже были рассказаны Настей подробности всех событий, нагрянувших на Зарядье и изменивших пути его раз и навсегда.

— ...Дудин-то выбежал из ворот, крича. Я не слышала, зимние рамы уже были вставлены у нас...

— ...зеркала из «Венеции» увозили. Папенька и говорит:

«Кто ж так зеркала грузит! На первой яме потрескаются!» А тот обернулся, да и сказал: «Не ваше дело, гражданин!..»

— ...голодали. Шубы ночью украли...

— ...папеньке сказали, что дом наш на Калужской будут на дрова разбирать. Три ночи караулить ходил... Там и простудился.

— ...Катя на службу в Губкожу поступила. Губкожа!

Рассказывая, Настя глядела в пол, словно чувствовала на себе какую-то вину перед Семёном. Но не только неурочность часа разделяла их в то утро. Если б встреча их произошла в городе, все было бы по-иному. И уже не Семён, а Настя была б полна этим странным и трудным чувством отчужденности. Вся история мятежа стояла в причинной зависимости к страху перед городом, вершителем судеб страны. В Настином приходе крылось нарушение прямизны Семёнова пути. Вместе с тем неожиданно явился вопрос у Семёна: да в ней ли та высшая точка жизни, о которой мечтал со сладким трепетом в детстве — у катушинского окна, в юности — на улицах Зарядья, по которым блуждал, полный неопределимых волнующих предчувствий?

Противилась душа и не давала ответа, но в самом отказе ее от ответа уже был ответ.

Анисья, мать, встретила Настю сухо, смутившись ее городским видом. В избу Анисья не вошла ни разу за все время, пока в ней сидела Настя.

Ветер разогнал облачные заслоны, и вот на короткие минуты солнце обняло землю робким, неуверенным теплом. Кусочки солнца падали сквозь растреснутые стекла окна прямо на колени Насте. Точно обрадовавшись солнцу, громче захрапел Савелий, отсыпавшийся после вчерашнего хмеля на полатях. Семён открыл окно. Кучка людей подходила к окну избы.

— Семёна нет ли?

— Тебя!.. — шепотом сказала Настя, с невольным страхом отодвигаясь от окна.

— Посиди, я пойду узнать, — сказал Семён и вышел на крыльцо.

Услыхать, о чем они там говорили, было нельзя, несмотря на раскрытое окно. Настя успокоенно стала огля-

дывать внутренность избы. Изба, каких тысячи: печь, а на веревке, обвисшей с правой стороны, сохли тряпки. Стоптанный валенок высунул нос из печурки. Ползший по нему таракан казался бессонной Насте живым, удивленным глазом.

Вдруг храп сгустился и поутих, но взамен явилось тонкое и пронзительное посвистывание, словно гора дула в тоненькую щелку. Настя удивилась даже, когда скатился к ней с полатей не трехаршинный храпливый молодец, а полусонный мужичонко Савелий. Он постоял немного, потом перевел взгляд на Настю.

— Чево тебе? — спросил он, левой рукой протирая глаза, а правой снимая с веревки грязные свои тряпки и пробуя ощупью, высохли ли.

— ... Я знакомая Семёна, — испугалась Настя прямого вопроса. — А вы?

— Мы отец ему будем. Из Питера, что ли? — деловито спросил он, присаживаясь на порожек, чтоб обуться. — Живали, благородный город.

— Нет, я из Москвы, — сказала Настя и засмеялась его забавным ужимкам.

— Смолол что-нибудь? — появляясь в дверях, спросил Семён, и Настя видела, как сжались и разжались Семёновы кулаки. — На печку, папаша, ступай, пока не управимся, — тихо сказал он отцу.

— Зачем ты его гонишь? — попробовала заступиться Настя. — Он смешной...

— Не зверинец... на зверей-то любоваться! — резко сказал Семён. — Да еще вот... нужно будет тебя в мужика переделать. В леса нынче уходим, сейчас и приходили за этим. Я тебя за брата выдам.

Настя глядела и не понимала.

— Мне переодеться надо?.. А зачем? — Она в задумчивости отвела глаза, и они чуть-чуть раскосились. — Ах да-а! — вдруг деланно засмеялась она. — Ну конечно! А сколько вас идет, много?

— Много, все там, — сказал Семён. — Одних летучих дюжин восемь, да прибавь наших сорок... вот сотни три и наберется.

— Три-то откуда же? — даже оробела Настя.

— А нас-то двоих не считаешь? — Семён пытался шутить, но тон его шутки был для Насти почему-то тягостен. Семёновы глаза слипались, хотели сна. Жилы на висках резко проступили. — Ты посиди пока, я принесу что-нибудь переодеться.

Он ушел, и в ту же минуту с полатей высунулась взлохмаченная голова Савелья.

— Стесняется!.. Это он меня стесняется, — с лукавым смущением зашептал он, подмигивая и укладываясь так, чтобы можно было опереться локтями о край полатей. — А я как служил у господ-те в Пажеском корпусе, так и у меня у самого благородства-те — пей не хочу — было! В Аршаве, в восемьдесят седьмом году, обедом нас потчевали, вот угощенья! Князь Носоватов мой — со старшинством кончил! — очень уж тогда смешлив был. Всему смеялся; увидит, скажем, хоть и меня, сейчас же — и-го-го-го-о! — Савелий изобразил лицом, каково было в смехе носоватовское лицо. — Тут на обеде подходит он ко мне, а в руке, это самое, бакар держит. И уж конечно, весь уже тово, в общем виде! «Пей, говорит, зверь!» Они нас, денщиков, зверями звали, чтоб смешней... — Савелий, войдя во вкус повествования, всеми своими движениями выражал теперь свой бурный восторг перед той замечательной порой. — «Пей, говорит, зверь, за меньшую братию! Но не моргни, говорит, крепкая». — «Это никакого влияния не оказывает, — отвечаю. — Не моргну, ваше сиятельство!» Да и хватил весь бакар до донышка. Четверо суток я опосля этого бакара лежал, не знаю уж, что там было намешано. Так он мне, касатка, собственного дохтора прислал. Очень хорошо лежать было, обиход, одним словом, пища! Я потом и в больнице леживал, да уж где! Две, касатка, противоположных разницы, явственный факт! — прокричал Савелий. И Настя не ошибалась, думая, что и теперь не отказался бы Савелий выпить залпом бокал носоватовской смеси, чтоб полежать в тех же удобствах четыре дня.

— Что же он теперь-то... жив? — осведомилась Настя, неловко отводя глаза от благодушных и тусклых Савельевых глаз.

— Погиб! — торжественно выпалил Савелий.

— На войне, что ли?.. — спросила Настя только для того, чтобы спросить о чем-нибудь.

— На войне-е! — обиделся Савелий. — На войне-те всякий сумеет. На дуели! — и вытаращил глаза. — Из-за утки погиб!..

Даже несмотря на усталость, стало Насте любопытно, как это сгубила утка князя Носоватова, но в сенях раздались поспешные шаги; Савелий мгновенно спрятался. Вошел неизвестный Насте человек. Во всем у него — и в хрусткой свежести холщовой рубахи, и в поблескивании серых глаз, неустрашимо обведенных густыми и короткими ресницами, во всей фигуре, невысокой и плотной, — почувствовалась Насте какая-то редкая удачливость. Когда он вошел, словно ветерком подуло, — стремительный.

— Дома есть кто-нибудь? — Он кинул картуз на лавку, и чуть-чуть сощурились на Настю его глаза. Когда они раскрылись снова, в каждом глазу было по улыбке; казалось, говорили глаза: «Пожалуйста, берите у меня улыбок, сколько вам угодно, у меня на всех хватит!» — Семёна нет? — спросил он, несколько смущаясь.

— Он придет скоро, — произнесла осторожно Настя.

— Подождем, нам не спешно. Будем и без него знакомство сводить. Мещанин, город Ямбург, Михайло Машистов... Жибандой кличут. — И он виновато развел руками, как бы показывая, что неповинен в своем прозвище.

— А я из Москвы приехала. Меня Настя зовут, — уклонилась от прямого ответа Настя, надеясь на догадливость этого размашистого человека.

Мишка ответил не сразу, а сперва как-то покривил плечом.

— Из Москвы? Гниль в сравнении с Петербургом! То есть, одним словом, ездить плохо... улицы кривые! Француз в двенадцатом годе за то и жег, что улицы кривые. Не выжег... Москву нельзя выжечь!

— А вы чем занимались? — не поняла Настя Мишкина подхода к Москве.

— Мы-то-с? Мы — лихачи. Только мы больше по Питеру ездили. В Питере народ крученый, а в Москве тягучий: нам Питер больше подходит, Да-с, поезжено

было! — сказал Жибанда, хлопнул себя по коленкам и встал. — Городской жизни вполне хватили!

Неожиданно для самой себя поднялась и Настя, взволновавшись глупостью, мелькнувшей в голове. Она глядела на Жибанду и знала, что Жибанда старше Семёна, но если Жибанде двадцать восемь, Семёну по виду не меньше сорока. У Семёна усы и борода растут как попало, у Жибанды остались от усов узенькие дорожки. Она смутилась своих неожиданных выводов, когда пришел Семён, принесший небольшой ворох одежды. Начавшиеся вслед за тем сборы к уходу в лес заслонили от Семёнова внимания и странный блеск Настиных глаз, и ее внезапный румянец, и еле уловимую замедленность Жибандиных слов, когда он говорил при Насте.

— Ребята за брыкинской баней собрались, — сказал Жибанда, приглаживая волосы.

— Да я почти готов. Вот только ее переоденем! — Семён коротко заглянул в Мишкины глаза: знает ли? Мишка знал, отвел глаза в сторону.

— С нами барышня пойдет? — приподнял бровь Мишка, не глядя на Семёна.

— С нами, да. — И Семён пожевал усы. — Я тебя попросить хочу, Миша. Пускай она за твоего брата слывет, а?

— Для ребят, что ли? — спросил Жибанда, косясь на боковую каморку, где переодевалась Настя. — Так ведь не поверят, разномастные мы.

— От разных отцов, — наспех придумал Семён.

— Все едино не поверят... в разговоре не выдержать, — неизвестно почему упрямился Жибанда.

— А почему бы и не поверить? — сказал сзади них Настин голос.

Оба обернулись. В дверях каморки стоял статный паренек лет двадцати, Настиного обличья, как бы младший брат ее. Мальчишеское, озорное пересилило женственность ее лица. Широкая Семёнова гимнастерка, ловко перехваченная уздечным ремешком, скрывала женские отличья. Фуражка сидела глубоко на голове, из-под козырька смеялись глаза. Она вышла и подхватила Жибанду под руку.

— Хорош? — кивнула она Семёну.

Жибанда с неловкостью выдернул свою руку из-под Настиной руки.

— Лапотки-т не по тебе, товарищ, — сказал он, оглядывая Настю. — Ну да Фрол и воробьиные сплетет. Одним словом — не робей, Гурей.

— Гурей! — повторила Настя, прислушиваясь к новому, не слыханному ею имени. — Не робей, Гурей, — сказала она еще раз, и усмешка брызнула с ее губ.

... Через полчаса и летучие и воровские уходили в лес. Песня не ладилась, гармони не играли; подпрятовскую украли в ночь разгула, барыковскую облили квасом в ту же ночь, и она осипла, как и человек с перепоя, у брыкинской стали западать лады. Шли и без того бодро, таща в мешках бабьи подарки: разную сносившуюся одежду и кучи немудреной, но сытной деревенской съедобы. Из открытых окон глядели с тоской затихшие бабы и девки.

Когда уходившие скрылись под горою, разом захлопнулись окошки, и безмолвие водворилось в Ворах. Даже, кажется, и петушиного пенья стало меньше.

Шел среди остальных и Гурей, Мишкин брат; понравился летучим этот новоявленный, робкий и безусый мальчишка. Через Курью проходили, сорвало ветром на мосту картуз с Гурея и бросило в воду. Ветер же раздул черные обстриженные Гуреевы волосы

— Черт! — сказал Гурей, Мишкин брат.

— Волосы-то отпустил, в монахи, что ль, готовишься? — пошутил Юда, шедший сбоку.

— В бабы! — досадливо фыркнул Гурей.

— Что ж, переодеть тебя, так вполне за бабу сойдешь! — одобрительно сказал сзади Васька Рублёв.

Юду сразу же странным образом повлекло к женственному юнцу Гурею.

— Лапти великоньки у тебя. Хочешь, давай вот меняться, у меня новехоньки, — предложил он, показывая Насте щегольской, в сравнении с лапотным, носок своего женского ботинка. — Только каблуки вот я отбил... И придачу возьму самую незначительною!

— А какую? — спросил Гурей.

— Там увидим! Не купец, торговаться не буду... Через десять минут совсем освоилась Настя с положением

Мишкина брата. Она догнала Семёна, шедшего впереди всех, рядом с Жибандой.

— А вот и поверили! — посмеялась она.

Только тут увидел Настю без фуражки Семён.

— Волосы-то где же твои? — почти испуганно спросил он.

— А обрезала. Давеча еще обрезала. А тебе что, жаль? — Настя резко засмеялась.

— Пожалуй, и жаль... — протянул он; в глубине же души он одобрял Настин поступок.

III. Сергей Остифеич орудует

Подбегают к самым Ворам с той стороны, куда солнце западает на ночь, глухие дикообразные леса. Никогда Воры закатной тихостью не любовались, потому что вечный в них порыв, мрак, спор. Лес наступал и воевал в этом месте с человеком. Его и рубили прадеды нонешних с гневной неистовостью. Он и горел не однажды, а все стоит, а раны пожогов и порубей восполнялись шустрым молоднячком. Ни разу не видали Воры, что там, в западной стороне. Набегал молоднячок на непаханые поля, на покосы, как бы дразня, что-де нас не перерубить! Впереди бежала березка, а за ней поспешала ель. Так не пропадали ни зола, ни щепа: из праха выбивала жизнь. Лес шагал на Воры. Возле самого колодца, что напротив супоневского палисадника, начала веселенькая березка лезть. Как ни теребили ее бабы на веники, истово кудрявилась каждую весну и не думала, что за дерзость порубит ее какой-нибудь топором.

Выйти за околицу — с трех сторон протянулась густая полоса лесов. На версту шел каемкой веселый лес, белоствольный, с голосистой птицей и быстрым зверем. А за каймой берез становились неприметнее тропы, непроходнее чащи, — с самого корня ели в сук шли. Запирал проходы человеку тут угрюмый сторож, темно-синий можжевел. «Какой у нас лес! Сидяга, цапыга-лес», — со злобой говаривал дядя Лаврен, черным словом припечатывая свои сужденья, и казал след от пули, прошедшей на вершок выше щиколотки. В давней

молодости, сглупа, вздумал от рекрутчины укрываться в этих лесах Лаврен.

Зверь в этих дебрях водился угрюмый, одинокий, робкий. На дедовской памяти оставалось, как наезжал стрелять лосей в этот лес молодой Свинулин с приятелями. Зимами за Дуплею выл волк. Веснами пропадали коровы, отбившиеся от стада, — думали на медведя мужики. А попузинские мальчишки, ближние к лесу, каждогодне притаскивали целые выводки лисенят и другую тощую молодь. Лисенятам обрезали уши и меченых отпускали назад, остальных силились приручить, но дохли звери и птицы, повядая от тоски по лесу.

...За Дуплей пошел взводистый лес, темный и замшелый. В нем песчаные холмы чередуются с оврагами; изрыты они темными хитрыми ходами, заселены ночным зверем, барсуком. Тут солнце редко, — барсучья держава тут. И о чем шумят вершины ночного леса, ведомо только им.

Люди по-барсучьему устроили свою жизнь. Те же земляные норы, только просторнее, отделаны не барсучьей неразумной лапой, а заступом и топором. Окруженное с двух сторон топями, было это место самым безопасным в том краю. Сюда и пришли люди, выходцы из Воров. Было их не больше сотни, но число их скоро увеличилось вследствие обстоятельства, непредвиденного и потому скорбного для уезда.

В уезде знали уже о происшествии в подробностях, рассказанных Васяткой Лызловым. А Васятке Лызлову, самому еле ушедшему от смерти, с гору представлялась и муха, сидевшая на щеке убитого отца. По его словам выходило, что весь почти юго-западный край уезда встал на дыбы и кажет медвежьи когти городу, что у мятежников и пушки и пулеметы, что даже и дети и бабы свирепствуют, идя в тесном строю с мужиками, скрипя зубами и неся смерть. Невидимые уста разносили невозможные слухи и про десять тысяч вооруженного мужичья, и про широкие их планы. Даже являлся в них сам пугачевец Кривонос, якобы воскресший ради такого случая покуролесить среди живых.

Были вывешены соответствующие объявления, а в губернию послано подробнейшее донесение о проис-

шествиях в воровской округе. Перетрусивший товарищ Брозин, составлявший донесение, сам испортил все дело. В телеграфное донесение ради образности слога вставил он нечто о русской Вандее и о мужицком Бонапарте. Также указывалось, что дальнейшее молчание губернии будет несмываемым пятном на их совместной работе.

В губернии же посмотрели косо. Председатель губисполкома, сам мужик, при намеке на Бонапарта покачал головой, на Вандею — пожал плечами, а при упоминанье о пятне даже и засмеялся, вспомнив, что в прежние времена был пятновыводчиком Брозин. В секретном ответе предлагалось справляться собственными средствами, если уже не сумели ладить с мужиками.

Как раз в эту смутную пору, через три дня после прихода Васятки Лызлова, камнем свалился в уезд Сергей Остифеич Половинкин. Спокойный и хмурый, он явился на заседание уездных властей. Там, минуя свою собственную историю и ставя после каждого слова точку, сообщил он, что не о тысячах идет тут речь, а всего о какой-нибудь сотне. Далее товарищ Половинкин предложил дать ему полуроту хотя бы из тех красноармейцев, которые несут гарнизонную службу в уезде. С помощью их надеется он прекратить пожар в самом начале, который, по его словам, не имея за собой никакой политической подоплеки, являет собою только некоторым образом месть за отнятый у села Воры Зинкин луг: так говорилось в протоколе того чрезвычайного заседания. Но в протоколе не упоминалось про один очень такой хлесткий вопрос, заданный товарищем Брозиным в конце заседания: каким образом удалось товарищу Половинкину уйти из подобных неприятностей в живом виде, если все остальные товарищи честно погибли на месте своего долга? Сергей Остифеич вопрос понял и, подойдя к улыбавшемуся Брозину в упор, рывком раздернул на груди гимнастерку. Одна из отлетевших пуговиц ударила Брозина в щеку, и только тут понял Брозин, отчего, рассказывая, Половинкин дышал так тяжело и как-то странно вихлялся телом. Вся грудь Сергея Остифеича, от подбородка до пупка, представляла собой одну взбухшую синюю рану, расцарапанную какой-то неистовою пятернею в кровь. После этого Брозин уже помалкивал.

В самом деле: бывали на памяти у Половинкина жуткие ночи из прошлой войны, когда был фельдфебелем, — ночи, напоенные ужасом, когда рвала, кричала и кусала все кругом одушевленная человеческим безумством сталь. Но страшней сотни их была одна эта, в которой тихо звенели комары, и невнятная зудящая боль подползала к голове, бесила разум. Острей вошло в память, как стоял он голый, привязан к дереву, и косил глаза на собственный нос, на котором медленно, перебирая лапками, набухал комар. Весь мир со всем, что есть в нем, был заслонен тогда от Половинкина красным комариным пузом. Потом, когда его освободили, он бежал, стеная и прискакивая, голый, к Мочиловке, на ходу стирая с себя комаров, облепивших его гладко, как сукно. Тогда еще зарницы совсем опутали небо в горящую порывистую паутину... Знаменитому здоровью Сергея Остифеича был положен предел в ту ночь.

Полуроту Половинкину дали, а Брозин остался наедине со своими неутешительными думами. Количество его объявлений на стенах и заборах сильно сократилось, а оставшиеся размокали в дожде. Уезд погрузился во мрак, безмолвие и трепетное ожидание какого-то последнего удара.

Тем временем Половинкин вел свою полуроту скорым маршем в моросящую даль. Погода переменилась. Дожди разъели дорогу. Обувь половинкинского отряда — лапти, разношенные сапоги и даже разномастные женские ботинки, — годная только для стояния в карауле, пришла в совершенную негодность и только обременяла усталые ноги красноармейцев. Возле Бедряги, тотчас же после перехода железной дороги, начался ропот. От Бедряги до Сускии, восемнадцать верст, шел безмолвный поединок взглядов между людьми и Половинкиным, ехавшим верхом. У Сускии дело разрешилось бескровно и просто.

Суския окружилась рогатками, а на жерди у картофельного поля трепалась в мокром ветре черная тряпка — знак бунта, чумы и всякой иной беды. Прежде славилась богатая Суския огромными конскими торгами, баранками и скобяным товаром, теперь одно лишь осталось от прежней славы: на пригорье Суския стоит. В щелях плетней и по-за

углами Сергей Остифеич увидел выглядывавших мужиков и понял, что и до Сускии, примкнувшей к воровскому делу, докатился людской пожар. Это сулило непредвиденные трудности; Сергей Остифеич подергал ус и, приказав отдохнуть и закурить, у кого есть, отошел в сторонку.

Дождь остановился. День закатывался позади села, и видно было из-под горы всему половинкинскому отряду черное тяжкое пятно сусаковского храма. По низу облачного лилово-розового, с золотцем, неба шли каемкой растяпистые ивы, повыше торчали березы со скворечнями. Превыше всего владычила длинная, тощая колокольня, похожая на Василья Щербу, кто его знал, стоящего как бы в удивлении.

Большинство в отряде было родом как раз из Сускии, все из богатеньких; они мрачно приглядывались к селу, на которое через полчаса предстояло двинуться цепью.

Один покачал головой, сказав:

— Слиняем мы тута.

Другой прищурился, пыхнул дымком, приложил руку к глазам козырьком и вдруг открыл:

— Братцы, а ведь на колокольне-то у них пушка!

В самом деле, на колокольне чернело прямое и длинное, направленное, как показалось открывшему это, прямо в их сторону. Поднялось обсуждение назначения длинного предмета, и потому, что всем им хотелось поспеть домой к празднику, на пироги, было вынесено, без всякого голосования даже, решение, обратившее в бесславную неудачу весь половинкинский поход.

Сергей Остифеич, стоявший поодаль, пробовал стрелять поверх бегущих с поднятыми руками к селу. Но наган запутался в ременном шнурке, а рука тряслась... Кроме того, две осечки, третья пуля покачнула желтый кустик дикой рябины, четвертая разбрызгала лужу, остальные были выпущены еще прежним владельцем нагана.

Закусив усы, Половинкин побежал назад, к ложбинке, где оставил красноармейца с конем. Тот, молоденький и черноусый татарчонок, все еще держал под уздцы половинкинскую лошадь, прядавшую ушами. В бегающих глазах татарчонка светилась блудливая виноватость.

— Небось и ты туда хочешь?.. — проскрипел Половинкин, подскакивая к коноводу.

— Стреляй! — сказал татарчонок и распахнул ватную куртку, надетую прямо на голое тело. — Стреляй, товарищ комиссар, — повторил татарчонок, и в лице его промелькнула как бы тень табуна невзнузданных коней. — Моя село Саруй на та сторона... — и честно кивнул на Сускию.

Половинкин отвернулся. Размокшее картофельное поле душно пахло картофельной же ботвой. Сергей Остифеич сорвал пупавку и растер ее в пальцах.

— Беги, дьявол!.. — сказал он, не глядя на татарчонка, и пихнул его в плечо.

Тот вздрогнул, огляделся и побежал вон из ложбинки, спотыкаясь о гряды и крича что-то на своем языке. Тошнящее, обидное чувство, граничащее со слезами, захватило Сергея Остифеича. Грудь болела, и спина болела, и все болело, — руки отказывались держать поводья. Он так бил коня, точно хотел ускакать от боли, и жалел со всей силой мужицкого размаха, что не осталось ни патрона в железной игрушке, болтавшейся на правом боку.

...А перебежчикам тащила родня творог, сметану, душистые ржаные лепешки. Какая-то древняя и беззубая старушоночка подарила гармонь, оставшуюся от сына, убитого в царскую войну. На ней-то, после двухсуточной гульбы, и играли перебежчики всю дорогу, шестнадцать верст до Воров, вливаясь пополненьем в Семёново войско.

А непонятный предмет на колокольне оказался лестницей, по которой лазил отбивать вечерние благовесты сусаковский пономаренок.

IV. Первая ночь у костра

На том месте, где прозвенел Семёнов топор, обрубивший с ленивого маху сухую ветвину, постояли люди с опущенными головами. Чудесно шумело в вершинах, скупо окрашенных закатом, очень далеко кричала кукушка; люди слушали. И у каждого тоскливо сжалось сердце, когда поняли, чти только один отсюда оставался выход.

Тут же принялись за дело с таким усердием, как не работала нигде никогда никакая артель.

Пугало мшистую тишину бора громкоголосое топориное пенье, и уходила в дальние глуби из этого места тишина. Стремительно врывались люди в барсучьи норы, укрепляя ходы деревянными распорами. Скрипела супесь на заступах, весело брызгалась сырая пахучая щепа. Скоро провалами и ямами глядели лесные пески. Два барсука попались в них. Первый ускользнул прямо между ног у Фёдора Чигунова. Второго зашиб заступом Егор Брыкин и, присев на корточки, долго глядел в глаза по-дыхавшему зверю. Даже напал за это на Брыкина черный Гарасим:

— Брось, Брыкин! Налюбовался, и хватит...

Да Егору Брыкину и самому прискучило глядеть. Не было в барсучьих глазах ничего, кроме непонимания, зачем понадобились тихие и тесные, угрюмые норы этим сильным, не любящим тишины.

Уже веяла мокрым холодом приближавшаяся ночь, все еще шла работа. Но с первым же туманом, истекавшим, казалось, от ближних справа белых березовых стволов, затрещала в кострах береста, и обильный дым обволок расчищенную полянку. Над костром повесили варить общественную кашу в котле, вывороченном из бани Пантелея Чмелёва.

О планах на будущее пробовал заговорить Жибанда, его слушали вяло. Сидя вокруг костра, люди глядели на огонь, перепархивавший по сухой можжевеловой и сосновой хвое. Глядя в огонь, все думали об одном и том же. Об этом и завелся разговор, вопреки стремлению Мишки Жибанды удержать его в плоскости бодрости и надежд.

— Умирать легко, — сказал Прохор Стафеев. — Легко и не горько. Нет в смерти вкуса — ни горько, ни сладко.

Чужаки из летучих с недоуменьем повернули головы к старику. Юда даже пошутил вполслуха, но так, чтобы услышал Прохор:

— Это дедушка тинтиль-винтиль завирается...

Прохор же тронул прямой ладонью белую свою с прожелтью старости бороду и пояснил негромко и внятно:

— Человек — что цветок. Как родился — помирать начал. Он всю жизнь и помирает, отбавляет от себя цвет день за днем. Он затем и родится, чтоб помереть! — И Прохор тихо посмеялся на раскрытый рот одного из летучих, слушавшего с внимательным удивлением. —

Человек — что цветок! И когда притомятся евошние глаза светлый свет видеть, сами они, тинтиль-винтиль, темного света захотят. Иному даже и любопытно, как это бывает! А прыгать ему тут не приходится.

— Ну, про это ты врешь, дядя Прохор, — сказал Юда, прикуривая от дымящейся головни, и губы его враз утончились. — У меня случай был, так что и совсем наоборот!

Ночь сулила длинною быть, а каша еще не закипала. Назначенный общим мнением в кухари первой ночи Ефим Супонев, чертыхаясь от жары, мешал веселкой в котле. Уговаривать Юду не приходилось. Подергивая кавказский свой ремешок, сам начал он свой рассказ

Про руку в окне

— Сибирное время было!..

Гнали нас поездами цельными от моря к морю. По прошлому году случилось. Приходит комиссар раз: «Кончай, говорит, расчеты с бабами, у кого есть. Завтра с вологодских хлебов долой!» Там, вишь, у моря, еще какой-то пупырь царский завелся, его и кончать...

Наша батарея моментальная. С утра — орудия на передки, марш-марш на станцию, по морозцу. Нам теплушка досталась еще цельная: в передней половине — кони, в задней — мы, четыре человека ездовых. Народ как на подбор: в отношении баб аль там выпивки — очень проникновенный. На станции всего двое суток и простояли, а там поплыли по снегам.

Осьмнадцатого декабря, как сейчас помню. Весело ехали, у нас-то и печка и огонек, а за стеной — снега, снега. Дни ветреные — ночами так, кажется, прямо скрипел воздух в поле. Ну, конечно, и бабы красили солдатские ночки. Пристанет иная: «Возьмите да возьмите, просит, к мужу али за хлебом там едем...» Ну, известное дело, солдатишко, сказать по-нашему — свободных взглядов человек.

Раз подъехали к станции, морозный вечер. Снег падал как по мерке: упадет и нет, упадет и нет. Паровозище воду пошел забирать, двое наших дрова воровать отправились. Проснулся, выхожу. «Какая станция?» — спрашиваю. Отвечают, что-то вроде «Бултыхай», не разобрал

спросонья. Тут подтянули нас поближе, стала нас всякая гольтепа осаждать. Какой-то старик, здоровый, черт, чуть не в драку на нас лез:

«Пустите, — кричит и клюкой в дверь грохочет, — хочу умереть на теплых лугах. Я-де право имею, я отечество спасал...» А как глухому объяснишь, что прежние заслуги не дают права на проезд в салон-вагонах вроде нашего! Аристарх у нас был — вот пересмешник! Он подходит да и говорит: «Отойди, папаша, а не то я тебя съем!» Старик тут вирть-вирть бородой: «Меня, кричит, нельзя есть! Три медали имею и крест!» Аристарх в ответ ему: «До медали это нам не касаемо, а крест, коли серебряный, можешь продать, как устарелую вещь, и выпей за наше здоровье!»

Старушоночки тут еще к нам тыркались. Мы и старушоночек тем же аллюром в два креста! Какой со старушонок навар? Вдруг подходят к нам две бабы, вот как бы жидовочки. У матери — усики чуть-чуть, но еще ничего себе. А дочка — барышня, черноватенькая, очень приятная, как пружинка. Опять же носик с игрой. Тут луна взошла, очень я их разглядел обеих. И ничего, главное, при них, кроме как узелок у матери да футлярчик этакой при дочке.

«Не пустите ли, говорят, нас до следующей станции доехать?» — и опять какой-то такой город назвали. Я-то стою вот так же, почесываю за пазухой. Аристарху ж, видно, молоденькая-т по вкусу пришлась. «Влезайте, влезайте, — говорит. — Только вот у нас конем пахнет, да зато наш салон без останову пойдет, и тепло!» Дверь распахнул пошире, все тепло упустил. Я к нему подхожу: «Что ж ты, говорю, без спросу дела вырешаешь? Ты коллективно постановляй!» Аристарх мигает мне: «Останетесь довольны! Не прекословь». Сам же он и втянул их в теплушку: дочку-то понежней, а мать ка-ак саданет за руку, так она, бедная, и растянулась... Шутник был Аристарх! А?

Только мы их забрали, подбегает гимназист в светлой шинели, ученик, одним словом. Годков шестнадцати паренек, за спиной мешочек. Всунул руку в дверную щель, не дает закрыть. За хлебом, вишь, едет. Мать у него там помирала с голода, сестра ли, забыл вот. Дрожмя дрожит весь, ровно битая баба. «Пусти-ите...» Ну, посмеялись мы, такой прыткий!

Не успели мы и печи растопить, тронулся поезд. В поле непогода, снег, свист и луна к тому же, а у нас форменная теплынь. Нигде для меня во всю жизнь так домовито не было, как в теплушке этой: и как-то мутит на душе, и сладко! Подошел я к окошку: «Лунишка-то, говорю, ишь выкрутилась. И чего она, дурища, торчит!» И тут вижу: в окошке рука видна без варежки, в сером рукаве, гимназистова. Я и догадался: не стерпел паренек, ногу поставил на дверной полоз и висит. У нас теплушка такая, «крымского образца» — ребята шутили. Ну, нам что ж! Пускай висит, да и согнать его неоткуда.

Я стал шашкой дрова рубить... Аристарх тотчас мамаше свою койку уступил, сам подсел к дочке на поленья, скручивает ножку, заводит разговор: «Каких родов, каких городов, трыки-брыки... как величать... что у вас там в футлярчике, какой предмет, одним словом?» Барышня-то сперва все на мать косилась, а потом доверилась. Расстегнула футлярчик, у ей там скрипка, на самое ее и похожа, худенькая такая и с носиком, тоненькая. «Наигрываете, значит? — говорит Аристарх, а сам жмурится, ровно кот. — Очень хорошо-с, романец, например. Вон у нас Петров на балалайке тринькает, а выходит, одним словом, серость наша!» — «Зачем же серость-то? — смеется барышня. — Теперь все хорошо будет: одним словом, всеобщее обучение!» — «Да нет уж, — Аристарх говорит, — вы там книжки читаете, а мы огурцы едим!» Барышня со скрипочкой только смеется, платочком носик трет.

Поговорив с ней этак-то, по душам, пошел Аристарх в темноту, к лошадиным кормухам, нас туда же кличет. «Давайте, говорит, на спичках тянуть, кому начинать первому». Мы четыре спички в шапку покидали, за Петруху Иван вынал.

А Петруха тем часом к барышне подсажен был, чтоб не заскучала. К разговору, конечно, был малоспособен Петруха, он и упросил, чтоб на скрипочке поиграла. И только мы спички повынали — мне еще первому досталось! — слышим: звук идет. Я выскочил и оторопел: играет барышня на скрипке и глазами в печурку глядит, на красный уголь. А звук простой и нежный, так и схватывает. Присел я тут на поленце. «Подожду, думаю, пока кончит». К терпенью-то сызмальства приучены.

Чего тут не было! То, понимай, розаны в глазах цветут, то еще что-то такое, приятное и круглое, то есть. Усатая-то уж и храпит, а эта все порхает, порх да порх. Весь я прямо, как облупленное яйцо, сидел, не смею рукой двинуть, совестно. И скрипочка-то — пальцем раздавить, хрусткая, а такой звук! Обидно мне вдруг стало, вот-вот зареву. Сорвался с места, сунулся к Аристарху, а тот стоит с белым лицом, ну ровно вот пузырек встряхнули и осадок всплыл. Тут мы по мосту проезжали, грохочет мост. «Это она про меня играет...» — шепчет мне Аристарх, а я его не слышу: у самого все лицо уж наизнанку вывернуто. Вдруг дернуло меня к окошку. Подошел — вижу, железная перекладина тут, а руки-то и нету...

Так весь перегон и проиграла нам. Мне-то, конечно, всех обидней было... А ветер снаружи действительно очень сильный был. Прямо сквозь щели обжигал...

— Это она из хитрости играла, — сказал Андрюшка Подпрятов.

— Укорить хотела, — прибавил от себя Юда.

— Зряшная бабенка, а мужику рев! — выругался Супонев, выливая топленое сало в кашу.

— Паренек-то соскочил, что ли? — не сразу спросил Прохор Стафеев.

— Да... видно, сам темного свету захотел! — огрызнулся Юда, и желваки насмешки запрыгали у него на щеках.

В кустах, на опушке, кричала ночная птица. Было в птичьих криках такое, что заставляло теснее сдвинуть брови и глядеть пристальней в самую пустячную точку, попавшуюся на глаза.

— Каша поспела! — возгласил кухарь, облизывая дымящуюся вкусным паром веселку.

V. Вторая ночь у костра

Насте таким и нужен был Семён.

Там, в Зарядье, днем и ночью думала о том, что обрушилось каменным дождем на благополучие секретовского дома. Когда вспоминала отца, осунувшегося от напрасных хлопот, над которым издевались, и Секретов молча принимал поношения, — душила Настю горечь,

туманилось и ненавистью темнело сознание, как бы слепнула тогда... но сил для большого размаха мести не было. Настина душа тлела чадно и впустую.

Тогда пришло письмо от Семёна, посланное им тотчас же по приходе в Воры. «Если больно голодно живешь, приезжай, хлеб-то уж каждый день едим!» Она вспомнила его, полузабытого среди постоянных хлопот о куске насущного хлеба, и вдруг приобрела смысл их юношеская игра в любовь. Город все глубже уходил во мглу. Когда, после смерти отца, для Насти открылась возможность покинуть Зарядье, она не рассуждала долго; ехала к Семёну, как в полусне. Память бережно хранила его колючие, полные угроз, речи о городе; она не забыла также его ярости в скандальный вечер помолвки... Издали Семён представлялся ей кудрявым лапотным богатырем с лубочной картинки, разрушающим, подобно Самсону, подпорки советского неба. Там, среди васильковых просторов, пусть потемнеют его глаза от любви к Насте, и чем темней станут, тем злее его сила, тем сытней душе... Словом, ехала оплодотворить Семёна на подвиг ненависти, чтоб взорвался, губя все кругом.

На деле это выглядело иначе.

Правда, в лаптях был, но пахли лапти совсем не так, как предопределялось мечтами. Его стриженая голова удивила и охладила ее в первую же минуту. Зато слова, которые говорил он, жгли Настю сильнее тех, которые придумала для него, стоя в теплушке и глядя под откос. Семён угадал все сразу и холодок свой к Насте сохранил до самого конца.

Да и те пространства, на которых рисовались Настину воображению пламенные, испепеляющие волны мужицкого пожара, совсем не соответствовали действительности. Небо было дичей, чем в мечте, а у мужиков были свои глаза на происходившие события. Мужику было так: Гусаки отняли Зинкин луг. Гусаки — советские. Одна половина города схватила другую за горло. Мужик выжидал, не рассыплется ли город от всей той сокрушительной штуки в окончательную пыль. Тогда оставшееся пустить огоньком, — то-то дружно крапивы примутся пожженные места обрастать! Прищуренным оком мерил мужик близость того дня, когда, пусть через

огонь и кровь, Зинкин луг возвратится в руки законного владельца.

Настя пробовала рассказывать, как ходил Пётр Филиппыч продавать последнее, что оставалось в доме, — Настину шубку. А Семён с необыкновенной яркостью вспоминал другой страшный трехцветный день: белый снег, синие околыши казаков, багрово-красную спину своего отца. Явь никогда не подражает снам, — Настю обманули ее надежды.

Тогда своим немного косящим взглядом Настя заметила Мишку Жибанду. Семён стал скрытен и подозрителен; прозвище Барсука, данное ему впоследствии, как нельзя более подходило к нему. Жибанда был устроен по-иному: душа его имела как бы стеклянную крышку, и Настя видела в нем все, что ей было нужно. Втайне она желала, чтоб именно Семён стал как Жибанда, и с Жибанды она почти не сводила задумчивого взгляда во все продолжение дня.

А весь второй день не умолкали топоры. Началось с самого рассвета. Дятел вверху увидел солнце и ударил клювом. Снизу ему отвечал таким же стуком топор. И опять люди рыли землю, углублялись в дебрь. К вечеру уже были введены два сруба в землю из тридцати намеченных и устроен разведывательный тайничок в дупле горелого дуба.

И снова ночь проводили люди у большого костра. В кухари второй ночи единодушно наметили Луку Бегунова. Он поморгал прищуренным веком и вдруг объявил, что варить будет похлебку, а не кашу: к каше-де у него навыка нет. Бегуновскому намеренью не противились. Разговор с баб перекинулся на город. Мишка Жибанда обтесывал колышек в стороне. При одном из восклицаний он воткнул топор в поваленную ель и, подойдя ближе, стал сказывать

Про немочку Дуню

— ...В лихачах в Питере живал, веселое время! У отца заведенье было, богатый был. Лошадей в две смены пускал — ставить некуда. Разную гниль и возили, но денежную: по полсотне в один конец плачивали! Я у

отца один был, меня отец жалел. Я и вырос вот экий, на дармовых-то хлебах. Столярить начал, одолела лень. Все не мог куска к куску подогнать. Ну, ясно дело, погуливал на сторонке... Бабы-то меня ангелочком звали, за волосы. Это правда, я волосы люблю, волос украшает человека!

Только по двадцать четвертому году стал ангелочек-то запивать. Тут у нас летом Кирьяк рассчитался, старший лихач. Пятнадцать лет у отца на козлах просидел... Как сейчас передо мной тот вечер стоит. Папаша перед киотом молится, а я вечерком из маскарада шел, выряжен красным чертом, пьян. Отец-то про мои дела мало знал. Пришла в голову блажь: к отцу в таком виде в окно влезть. Я пальто под окошечком тут скинул, на дворе, окно растворил потихоньку, ноги вовнутрь свесил и рычу. Папаша последний поклон положил, подходит ко мне. Я еще пуще зарычал, а он меня цап вот сюда, откуда усы растут. Очень неудачная получилась история, а я думал, что смеяться до родимчика буду. Красную кожу, чертову, он с меня содрал и хотел даже приняться за мою собственную... Очень неудачная история, прямо сказать!

На другой день повел он меня на конюшню. Думаю: «Учить хочет»; взял гирьку в карман, это на папашу-то! А он говорит: «Будешь теперь лихачом, привози мне пятерку в день, остальные твои». Я ему в ноги, по обычаю: «Благодарствуйте, тятенька. Я уж, концы с концов, хотел ведь и руки на себя наложить. Заело меня ничтожество!» Сунул мне на это дурака Иван Исаич, засмеялся. Хороший был старичок, с двумя питерскими архиереями в больших дружбах состоял. «Выбирай коня!» — говорит. Я и выбрал себе Кирьякова Кудеяра. Чубарый жеребец, и хвост курчав, и грива курчава, на переборку в высшей степени чисто ходил. Генерал Елизаров фотографию снял с Кудеяровых ног, потом повесил у себя на стенке. Всего только год и поездил на Кудеяре Кирьяк...

Конек был! Ни воды, ни огня не боялся! У иного шлея в ходу на четверть отскакивает, на моем — как пришитая. Зато уж щекотлив был — руки не положить. Да ведь что, без кнута лошадей водили! На таком-то я и выехал, по старым местам сперва, где и Кирьяк возил.

Какого-то доктора возил с Сергиевской, пятьдесят девятый дом. Потом еще баронессу Киль возил. В спине не гнулась, ведьма, а головка малюсенькая — наперсток положить, а уж иголке и тесно станет. Трух да трух, бывало, кости боялась рассыпать. Концы с концов, тошно мне с ними стало. Доктор-то тоже любил по версте в час ездить. Едет и все раскланивается, шику пускает. А килька эта... И сам-то с ними осволочился весь! Перешел я в ночную смену.

Надо сказать, одевался я очень чисто — при манишке и так далее, часы, конечно, персидский кушак, потому что лихачу, что и цыгану, кушак — первое дело. В холод манишки, конечно, и не видать, а уж чин требует. В пище я себе не отказывал — получше тех иной раз ел, которых возил. Ну, конечно, от хорошей жизни душе как-то прытко делается, весело. Кстати, под Кудеяра и коляска у нас замечательная была: из Вены, первый сорт, пятьсот рублей, лакированный верх, металлические кольца... Красота глядеть!

...Раз ночью стою возле Петергова — ресторана. Вдруг выходят двое. Он-то — щенок совсем, гниль, и пьянехонький. Шляпенка на нос слезла, а рожа... Ровно просидел вот хоть Тешка на роже-то у него цельный вечер. А она — барышня маленькая, шустрая такая, огоньковая, — етуаль, по-ихнему. «Можешь, спрашивает, ехать?» Я отвечаю, что-де и лететь могу. Она говорит: «Лети, Микулай, на острова!» Почему Микулай, когда Михайлой крестили, не знаю. Да ведь обидчивости лихачу не полагается. Втащила она щенка своего под руку. «Трогай!» Я только вожжой подшевельнул — наши машистовские кони славились, машистые, одним словом!

Донес их Кудеяр пустячком. Понравилось барышне. Она, должно, немочка была. «Хорошо, говорит, Микулай, ездишь!» А я даже и обиделся: «Что ж, говорю, рази в нас души нет, коли бессловесная наша должность?! Слава те, Столыпину подавали!..» Тут она достает мне карточку. «На, говорит, тебе карточку. Будешь мой», — и ушла. Карточку я заложил за пазуху, там ее и забыл. Ладно, мол, нечего глядеть. Знамо, и твое дело подневольное, собственного имени не имеешь, а только так себе, господская подстилка.

Познакомился я таким манером с ней. И впрямь немочка, Дуней звали. Жила с сестрой, обувала-одевала ее. Та — не то чтоб дурочка, сестра-то, а просто ума на жизнь не хватало. Бедно жили, — гостиница Минтекарлово. Только у них и имущества всего было — гардероб большой да беленькая собачка. А дружелюбно жили с сестрой-то!

Разов семь, по субботам больше, я ее со щенком катал. Щенок-то — домовладелов сын, с Кирочной улицы. Папаша булавками торговал, а домище экое закатил, туча тучей. Концы с концов, быстрехонько она его выветрила. Один я по пятьдесят за конец брал.

Прельстился тут Дуней дровяник один, Веденеев, — сурьезный, дьявол. Небольшого росту, в золотых пенсиях. Баржи дровяные гонял, хорошей езды требовал, зато и деньги платил. Дуне — одна ночка, а ему — почитай четыре баржи дров. Тут и я с боку припека пользовался.

А уж тут стала меня Дуня за сердце забирать. Тоскую, днем спать не могу, тычусь по квартире, — совсем ошалел. Кудеяра раз отстегал шлеей, за что — и сам не помню. Все горевал я, зачем нечестная. А каб честная была, так и, сам знаю, не влекло бы меня к ней. Кудеяра я как брата родного любил. Хоть прощенья на конюшню к нему просить впору идти было.

Ой, за год-то сколько я их перекатал! И в санях, и в коляске. За дровяником верзила пришел. Кокусом заведовал, на фабрики кокус поставлял. Очень причудливый господин — одних волос на нем фунта два. После него офицеришко приспел, — платил бедно, по красненькой. Ради души только и возил его, авось на том свете зачтется! Дуне, знаю, совестно было глядеть на меня. Выйдет, бывало, с ним и отвернется, будто голубей рассматривает. Только на три раза и хватило офицеришки...

Тут война началась. Стала Дуня милосердной сестрицей одеваться, больше шла. А мне она уж совсем как родная стала. Должно, любил — вовнутрь головы не просунешь, у сердца не спросишь! Стою у ворот ночью, весь дрожу, бывало, и все насквозь вижу. Как она за штырмочкой у себя раздевается, а он ждет и папироску курит. Один только Кудеяр мои муки знал, да и тот — жеребец, неразговорчивый!..

Тогда-то и сошлась Дуня с лицеистом одним. Возил я лицеистов, знаю: высокие ребята, в косой фуражке, бравые. Сядет — ровно тыкву везешь. А этот какой-то юбочный, ходит — будто его ячменем окормили, — гниль! А со стеклышком в глазу. Уж очень, сказать, обидно мне стало из-за этого вот стеклышка — гляжу, и коленки дрожат. И тут же сразу по Дуниной тихости увидел: влипла девка. Весь ее огонек любовь к лицеисту этому поела. Махонька жила да слабенька, жила — думала, что уж и нет слабже ее на свете. А как встренулся еще жалчей, так и затрепетала! Тут я и затрещал — пить начал по-крупному, играть еще того крупней. Все, что сберег, в три недели на дно спустил.

Только я приглядываюсь — везде она платит, а он вид делает, будто бумажник дома забыл. А шикарит, гниль! На островах ресторан стоял — корабль на воду поставлен. Названье Бельву, кругом — вода. Там легкачей одних за ночь-то поболе сотни стаивало, и всем хлеб был. Вижу — завертелся лицеист. Из Бельву выходит — кричит на нее, пальцем мне в плечо тычет. Я, бывало, дрожу весь, а Дуня мне шепчет на ухо: «Молчи, Микулай... Ничего, Микулай...» И ведь до чего она меня довела — смирней мерина я стал. Только глазами хлопаю да Кудеяра втихомолку на конюшне истязаю...

Три месяца вот так. Раз везу, а сам слушаю. Кругом поле, луна — ровно бы под вуалькой... завлекательно! Лицеист, спьяну-то, говорит: «Не живи, одним словом, ни с кем, а жди меня». Она очень тихо ему, чтоб я не услышал: «Если ты, Миша, о деньгах, что я тебе давала, беспокоишься, то не беспокойся! У меня денег, пока молода, завсегда свежий приток будет». Он тогда голос переменил и ровно б честь Дуне делает: «Ты, говорит, что теперь из себя являешь?.. А то будешь честная... моя жена будешь! Губернатором стану, будут тебе чиновники ручку целовать и букетами, одним словом, одаривать». И, главное, все только так, для бреху! Дуня еще тише и упористей, а голос дрожит: «Не хочу я за тебя, Миша. Не пара я тебе. А лучше будем так любиться, какие уж есть...» Я Кудеяра попридержал, сам уши навострил. Лицеист тогда и говорит, громко так, даже меня ему нестыдно: «А не хочешь замуж, так получай назад свои деньги!» — и

притворился, будто деньги достает. А она, слышу, плачет и пальчиком мне в спину показывает: «Мишечка! Ведь он все слышит!» До сей поры чувствую я на спине тот холодный Дунин пальчик. Тут лицеист озлился, коляску остановил. «Чувствуй, говорит, ты, дрянь, будешь ехать. А я, дворянин... — моя тетка за итальянским послом! — а я за тобой пешком пойду, по грязи. Вот тебе в наказанье!» И что ж, слез и пошел ведь!

Ровно в ней струнка дрогнула и порвалась. Как крикнет она мне: «Гони, Микулай!» Кудеяр мой ровно ждал, — полетели мы вдвоем, куда Кудеяровы глаза глядят. Верст семь этак-то мчались, уж руки у меня осоломели держать, все по шоссе. Она в себя пришла, велела остановиться. «Вот, говорит, Микулай, какие дела бывают!..» Я обернулся к ней, молчу. Она на сиденье боком сидит и пальчик грызет, в перчатке. Сидим и дрожим оба. А ночка осенняя, сводница... Вдруг она мне говорит: «Целуй меня, Микулай!» А я понимаю, молчу. «Целуй, говорит, Микулай! Никто не увидит, что с дрянью!»

Я-то к ней бросился, утешать сперва хотел... И что тут было! Скажи она: сожги Петербург, Микулай... Кудеяра убей... себя убей!.. — все бы сделал! Она меня в ту ночь все Мишечкой называла, твердила в темноте, а мне и невдомек, что она своего лицеиста треснутым сердцем кликала. Ведь и меня Михайлой зовут, уж я понял потом-то. Так мы до рассвета и ездили. Все сосало во мне, что завладел я ею не прямым путем.

А лицеиста я поймал все-таки. Подкатил я раз к Петергову, а он и выходит с мадамкой; приятненькая, и на шляпе пумпон напереди. По ночному времени садятся они ко мне, не глядя. «Бельву, — он-то говорит, — и быстро!»

Уж я его мчал! Подступило во мне к самому рту. Ровно Дуню перед собой в тот раз видел, будто Дуня бежит впереди. «Дуня, думаю, махонькая ты моя барышня, Дуня!» А сам кнут из-под сиденья достал, привстал да Кудеяра-то все меж ушей, меж ушей, щекотливого-то! Ровно хотелось мне Дуню впереди себя догнать. Еще покуда деревянная мостовая шла, резины с задних колес у меня сорвало. Прямо колеса с осей вывертывались, как змея Кудеяр летел. А уж как за город выехали, тут и

сравнить не с чем. Шляпа с меня слетела, сзади кричат: «Раздавили... держи!» А мы уж за две версты...

Мадамка лицеистова так и култыхается, слышу, потому что ни дороги, ни поля, ничего я тут не видел. Как стало коляску-то подкидывать, тут и лицеист мой отрезвел, голосом закричал: «Стой... ты меня убьешь!..» Обернулся я к нему:

«Действительно, говорю, дорога хромая. Губернатором будешь — вели починить!» Вцепились они в кушак мне, только кряхтят.

Концы с концов, в ужасном я их виде предоставил. «Сколько тебе?» — лицеист спрашивает, а я ему со зла: «Две сотни!» — отвечаю. Он засмеялся и стеклышко стал себе в глаз вправлять. «Дурак, говорит, мало просишь... На!» — да и протягивает мне три сотенных. Тут уж не вытерпел я. «Сам дурак, — говорю. — Ты Миша, я — Миша, так вот тебе, получай!» Да хлобысь его кнутом по глазам, по глазам, и раз, и два, и три, поколе стеклышка не выхлестал. Ух, много тогда шуму было!..

Мишка Жибанда еще с минуту глядел в костер, усмехаясь. Потом стало охлаждаться разгоряченное его лицо, блеск пропал, черты загрубились. Трое пошли за хворостом в лес.

— Вот так барин! До чего довел себя... до мужицкого кнута! — сказал Прохор Стафеев, стоя поблизости Насти.

Настя молчала, щеки ее разрумянились; она спросила, — голос выдавал ее с головой:

— ...и долго ты с ней валандался, с Дунькой своей? И рад небось, что барышня приголубила!..

— Ай да братень! — непонятливо захохотал Петька Ад и беспричинно вскинул ногами; ноги у Петьки жили сами собой и по-своему выражали каждое хозяиново ощущение. — Под самые жаберы братень поддел!

— Недолго, нет, — спокойно отвечал Жибанда. — Она потом-то жить со мной стала... — Жибанда помолчал и с зевком перевел глаза на Настю. — Удрал я от нее, концы с концов. Весь у ней огонек пропал, пить стала. Я с бабами несчастливый. Оставил сотню на столе и удрал! Через окно я от нее удрал, по водосточному желобу...

Первым после наступившего молчанья заговорил Гарасим-черный.

— Конька, значит, спортил в последнюю-то езду? — спросил он хмуро у Жибанды.

— Татарину на другой день отдали... — нехотя бросил Мишка и полез отпробовать бегуновского варева.

Зашуршала лесная темнота. Трое возвращались с хворостом.

VI. Третья ночь у костра

Шумлив и хлопотлив был следующий день. На целых две недели растянулось устройство барсуковских землянок, но именно к ночи третьего дня было готово все основное. На уже выведенные срубы накатывали кругляк, а сверху укрывали землей и дерном. По Семёновой сметке лес был вырублен не сплошь — оставляли отдельные деревья. Подходы к землянкам завалили хворостом — он первым подаст весть о приходе чужих гостей. По краям же вдоволь было нарыто волчьих ям.

Барсуками назвали воровских выходцев сусаковские мужики, пришедшие укрываться в лесах же. И уже облетело это прозванье весь уезд, наравне с известиями о завоевательных намерениях Семёна Барсука. Но сами барсуки и не помышляли выходить покуда из своих нор. Хлеба было достаточно: бабьи приношения не оскудевали. Однако вскоре было решено из военных соображений не допускать баб дальше осинового молодняка, где сторожевой блиндаж.

Самая большая землянка имела две комнаты — так рассказывали мужики по осени другого года. Там у них происходили и собранья, а порой и картеж и пьянство. Там коротали длинные зимние ночи, — называлась зимницей. Сюда поставили остатки мебели со свинулинского пепелища, в том числе — диванчик нарядный, крытый атласом, а по атласу пунцовые линялые завитки. Он долго не хотел входить в узкий и грязный проход зимницы, и уже собирался Лука Бегунов пилой смирить дворянскую спесь дивана, да Фёдор Чигунов спас. Ножки, по его совету, откололи, и потом диван поставили в зимнице на чурбаках.

Сторожевую срубили там, где луг вдавался клином в лес; и потому что не нашлось охотников селиться в одиночку, отдали сторожевую Насте.

— Мы тебя, Гурей, навещать будем! — хлопал Настю по спине Юда и дружественно подмигивал.

Третью ночь все еще проводили у костра под небом. Поднялся разговор о буянстве города против разных величественных вещей, Бога в том числе. Склонялись к тому, что попусту головой в стенку биться: только в смертный час узнаешь, есть ли какая вышняя погонялка всему или только так — тень человека.

— Закон природы! Его не переступишь, — сказал бородач из Отпетова, откидывая голову назад и глядя в точку перед собой.

— На законе-то твоем поезда ходят, — подзадорил Жибанда, стругая ножичком какой-то деревянный пустячок. — На всякий закон наука есть.

— Природа науку одолит, — сказал Прохор Стафеев. — Вот и будет неученому-т горе, а ученому, тинтильвинтиль, два!..

— Пожалуй, одолит природа... — нерешительно протянул Петька Ад, косясь на Жибанду.

— Одолит! — выступил вперед Евграф Подпрятов. — Сыну супротив матери не выстоять.

— Все одно... Мать уж сына не обидит, хоть и на шею он к ней сядет! — усмехнулся Жибанда.

— Это как сказать, — возражал Подпрятов.

Все уже видели, что не спуста ведет свою линию Евграф. А Евграф присел на краешек бревна и стал смотреть в огонь. Стояла полная тишь, и в сердце ее горел костер, а по сторонам его затихли люди. Вдруг тихо засмеялся Евграф Подпрятов, точно вспомнил веселый конец невеселому началу. Речь свою пересыпал он смешками, так что лукаво выходило у него —

Про неистового Калафата

— Дед от прадеда слышал, а прадеду старовер по книге читал.

Древние-т времена — просторные, и воздухи были чище! Поля да птицы, леса да лисицы, а по овражкам

ключи бьют. Державы сидели огромадные, никаких годов не хватит державу обойти. Цари рожались нелюдимые, один другого дичей. Выйдет с утра на башню и глядит поверх лесов, — очень вид хорош открывался: облака бегут, леса шумят, реки катятся. Заест царя скукота, он и заорет с башни: «Все мое! И реки, и леса, и болота, и овраги, и мужики, и медведи, и земля, и поднебесные!..» Мужик и не обижался, хоть и слышал. И петух с жердины про свое хозяйство кричит, а его еще за то и муравьиными яйцами кормят. Шутки-дело, так и сидел царь заместо петуха. Без обиды люди жили...

Посередь тех времен родился у одного такого петуха сыночек. И стал он расти и разумом возвышаться. И по девятому году пришел сынок к папаше: «Ты, говорит, папаша, нескладно живешь. Все твое царство вразброд! А ну, ответь мне, сколько травин в твоем поле, сколько лесин в лесу? Рыб в реках, звезд в небе? Каждой травине счет нужен. Ага, не знаешь!»

Почесался папаша. «Да ведь вот, отвечает, двадцать колен так жили. Ели невпроворот, спали крепко, очень замечательно жили». — «Неправильно, — отвечает сын. — А вот есть наука еометрия, тебе по ней нужно жить. На каждую рыбину поставим номер, тоже и на звезду, тоже и на каждую травину, холостую и цветущую. Вот я ухожу в горы. Там буду еометрию изучать...»

Шутки-дело: взвалил избу на плечи и пошел в горы.

Одиннадцать годков в избе просидел. Другой землицы сколько бы напахал, а этому далась одна еометрия. Одним словом, и доучился до точки. По двадцатому году пришел сын к отцу. «Здравствуй, говорит, папаша, как здоровье?» Напугался отец: «Вырос ты, говорит, очень». А тот и действительно вырос: бывало, выйдет в грозу, помашет шапкой в небе и разгонит тучи. «Вот, — говорит сын, — теперь я тебя отставляю, а буду сам дело вершить. Ныне имя мне будет — Калафат! (По-ихнему значит — «до всего доберусь».) Я теперь знаю, чем мне мир удивить!» Папаша и говорит: «Вы, умные, пойте, а мы, дураки, послушаем!»

Тут папашу он отстранил и стал трудиться в поте лица. На рыб поставил клейма, птицам выдал пачпорта, каждую травину записал в книгу... И все кругом погрустнело. Шутки-дело: полнейший ералаш в природе.

Медведь и тот чахнет, не знает, человек он али зверь, раз пачпорт ему на руки выдаден. А уж Калафат задумал башню строить до небес. «Посмотрю, сказал, какой оттуда вид открывается. Кстати, и звезды поклеймим!» Отсюда, как задумал, так и пошел конец земному шару.

Шутки-дело, зачинаются Калафатовы дни. Мужиков со своей державы собрал, пошел воевать. Семь глухих стран покорил, да две ему так сдались, с голосу. Оттудова шарахнул Калафат к морю. Там народишку прихватил. Все эти военнопленные и должны были башню ему воздвигать.

Только когда с народами-те шел домой, и сустрелся ему лесной старичок, на нем шляпа деревянной коры, в руке лукошко. «Не противься, — говорит старичок. — Распусти всю армию, не делай зла себе, живи в тихости, сапоги шей!» — «Нет, — отвечает, — буду башню строить». — «Так ведь туда и другие дороги есть!» — старичок говорит. «Вырасти хочу!» — отвечает Калафат. «Так ведь уж и так велик. Сказывали, будто воробей у тебя до десяти фунтов распух?..» — «Это еще что! — Калафат похвалился. — У меня вошь и та до пяти фунтов дошла!» Старичок засмеялся: «Зачем же тебе расти, коли и вошь рядом с тобой растет? Ты — с гору, а вошь — с полгоры. Еще боле будет она тебя глодать!» Отвернулся Калафат от старичка — еометрии-де не знает.

И вот тогда все пухнуть стало! Люди пухли силой да яростью, дерево — гордыней, что земное, ночь вдвое против дня распухла; растет Калафатова башня, под самые небеса ушла. Двадцать годов строил! Ему — двадцать годов, нам — двадцать веков. Год нужен ее кругом обойти. Тучи об нее бьются и ручьями вниз по стенке бегут. Тут раз приходит старший каменщик: «Некуда больше, говорит, уперлись. Дальше невмочь... уж больно солнцем макушку жжет... Жулики уж пытаются первыми взлезть!» А это и верно, пока строил башню, уйма жулья развелась, на каждый кирпич по жулику.

Тут по весне раз и собрался Калафат на небо. Семерых жуликов, какие почестнее, выбрал с собой, зашел в башню, все затворы защелкнул, чтобы никто из простонародья, скажем, не мог за ним идти. Тут начинается Калафатово вознесение, шуточки...

Пять годов подымался Калафат, пятеро из жуликов уж и померли: поднебесной жары не вынесли. Все взле-

зает и взлезает. Под конец пятого года заленилось небо вверху. Наддал Калафат жару в ноги и выскочил на самый верх. Огляделся и завыл. Старовер-те сказывал, — ни одна собака травленая так не выла, как царь этот выл. Вся еометрия насмарку пошла.

Покуда подымался царь по башне, не выносила башня Калафатовой тяжести, все уходила в землю. Ни на вершок не поднялся: он — шаг вверх, а башня — шаг вниз, в землю. А вокруг сызнова леса шумят, а в лесах — лисицы. Благоуханно поля цветут, а в полях — птицы. Поскидала с себя природа Калафатовы пачпорта. Так ни к чему и не прикончилось.

... Евграф кончил и опять посмеялся огню.

— Каб ее бетоном сперва залить, землю-те вокруг. Может, и польза б вышла! — сказал Тешка-пензяк.

— Во-во! Может, там, на небе-то, сено растет... Так и не возить, скидывай его прямо сверху, — поддразнил Семён.

— А старичок-те любопытен... — заметил Стафеев. — Добра желал!

— А вот Пантелей Чмелев говорил, будто в звездах всего вдоволь имеется, чего человеку на потребу нужно... Неужто правда это?.. — вспомнил старый Барыков.

Ему никто не ответил. Упоминание о Чмелёве разом повернуло в обратную сторону настроение всех. Пантелей — восторженный и преклоняющийся перед неведомой ему наукой, захлебывающийся словами и бессильный объяснить толком — встал у всех перед глазами. Вдруг Брыкин сказал:

— Гусакам оружье привезли. Будет дело...

— Ты откуда знаешь? — спросил Семён, переглядываясь с Жибандой.

— А вот уж знаю! — хвастливо отвечал Брыкин и, видимо, уже сожалел о своем нечаянном хвастовстве.

VII. Осень

Укоренившись в лесном приволье, как бы в затвор ушли от мира барсуки. Дальше терялась нить жизни их от чужого любопытного взгляда.

В Ворах безвластно стало, бабьим криком вершились дела. Оставшиеся мужики затихли. В молчании возили ржаные крестцы с полей, в молчании же складывали их по ригам. Уверенности в завтрашнем дне не было, работы лениво шли. В отогнание духа смятенья и тревоги посемейно и в складчину варили самогон. Хмель еще больше бередил мужиковскую рану. С нетерпеньем и жаждой ждали любого конца.

Все же однажды утром, когда надоело ждать, застучали гудливые цепы по звонким гумнам, но не дружен был их стук. Хороший умолот не радовал. Дни укорачивались, поздняя осень вступала в права. Среднее поле щетинилось пегим, омертвелым жнивьем. В несжатых полосах Пантелея Чмелёва с шуршаньем рыскали галки, и неслышно точила их полевая мышь. В заводях на Курье зачернели созрелые стебли болотного тростника. Их клонил вечерний ветер, шумел ими, ломал их, сводя ни к чему работу летнего солнца.

Полыни сереют, а собаки злеют, ожесточаются людские сердца. Гарасим, отпросившийся на жнитво домой, стал бить жену. Так бывало у него каждую осень, и крики Гарасимовой жены уже не будоражили соседей.

— Никак, третью в гроб вколачиваешь? — закричал через всю улицу старый Фрол Попов Гарасиму, вышедшему поотдохнуть на крыльцо.

— Наше, — сказал Гарасим. — Мы и бьем, мы и милуем.

— Опосля кнута — завсегда милость, — отвечал Фрол Попов.

— А ты, старый хрен, помалкивай! — ругнулся Гарасим, и Фрол Попов не обиделся.

...Дергали коноплю у свинулинской межи и копали картофель за Мавриным овином. Больше руготни было, чем работы.

Все обильней наползало туч со всех сторон. От приходящих холодов пятилось обессилевшее солнце в Скорпионов знак.

Потом стало поливать все это дождем.

Опустели поля от черных и серых птиц. Глина на дорогах стала злее и прилипчивей. Некуда ехать. Воображение создавало в каждом углу враждебные заставы. Да и незачем

ехать: сусаковские ярмарки, где и конь, бывало, и пряник, и серп, и рукомойник, и ситец, и дуга, — приурочивались к Покрову. А в этот Покров выйти за околицу — один ветер мечется, обжигаясь о крапивы, не в меру расщетинившиеся по осени.

Опять настала пустословная пора. Тот же репей слух — цепок к любому разуму. Обронил мимоезжий мужик, будто гусаки всем миром записались в солдаты, воров искоренять. Да еще говорил, будто принес весть Фрол Попов, ходивший наниматься на лето в Сускию, — но сам Фрол Попов отрекался, — предлагали уездные власти выгоду бедрягинским мужикам:

— Предоставьте нам самого главного, Семёна Барсука. А мы вам земли прирежем.

Бедрягинцы в таких случаях единогласны:

— Дак он вас однех зудит, вы и чешитесь! А нас он не трогает!..

А пастухов подпасок и не такое принес. Месяц назад объявился неизвестного дела человек в штиблетках. Пришел в Каламаево, что то же и в Рогозине, потому что рогожи ткут, и заказал бабам лапти плесть, длиной в один аршин, да еще с прибавкой на обертку. На вопрос одной бабы, кому ж такие надобны, было якобы отвечено, что-де для собственных его братьев во Христе.

— Да уж что, батько, больно ногасты твои-те... уж не черти ли, грехом? — не доверилась баба.

— Нет, — якобы отвечал в штиблетках, давая каждой бабе по серебряной николаевской полтине. — Через два месяца вернусь, выплачу всем вам золотом пятьдесят шестой пробы. Все заберу, что наплетете. Жарьте, одним словом!

Потом скрылся из виду. А бабы горы лаптей наплели. Уж четвертый месяц шел, не являлся заказчик. А трудно было отстать от начатого дела. Все липы в округе извели. И хоть издевалась над каламаевками вся волостная округа, все плели каламаевки, как безумные, свои несосветимые лапти.

Из того слуха целый выводок слушонков повелся. Егоровна доподлинно узнала, что лапотную выдумку нарочно подстроила Советская власть, чтоб не постились, не молились мужики, а жили бы девки с мужиками по

Адамову правилу, нагишом. Другие прибавляли, что это сам барин Свинулин ходит под видом бездельного человека в штиблетках и высматривает, кто из мужиков отстроился из господского леса.

Даже спор был по этому поводу, как быть. Собрать ли выкуп барину по пуду с души, чтоб ушел подалее, не морочил бы мужиковских душ, или же решить дело поиному, поручить подходящему удальцу прикончить этого Свинулина, буде явится за лаптями, а в уплату за службу выдать удальцу вышеуказанные штиблетки; деньги же, если найдутся, отдать на благолепие храма, что во имя Пресвятой троицы в селе Воры.

Такие слухи ходили по всему уезду, не миновали и Гусаков. Захожий в Гусаки нищий солдат, кривой и молодой, но знающий, пояснил, поедая милостынную похлебку в доме у Василия Щербы, что лапти заказаны для войска, отправленного откуда-то в подкрепленье барсукам.

— Тот лапоть одевается прямо на валенец заместо лыжи... — размеренно говорил он, усердно работая ложкой. — В лыже-то по снегам ускользать не в пример способней. Зверь, ему разума не дадено, он потому и гибнет, что без лыж. Он в сугробе тонет! Экось, Шебякин-те Василий — может, слыхивал? — четырех лис этак вон зафрахтовал...

Томленые, вкусные щи, а вслед за ними и каша быстро исчезали в нищем солдате, а рассказу его все еще не предвиделось конца. Щерба, отец нынешнего гусаковского председателя, уже отужинав, сидел прямой, как кол, презрительно угадывая наперед все закоулки, по которым потечет христарадная нищенская выдумка. Впрочем, были у Щербы тяжкие думы. Утром того дня нашли наклеенную на исполкоме записку: «Никто не работай. Нынче ночью придем. Барсуки». Записке этой не особенно поверил Щерба, но все же не мог выгнать тревогу из сердца.

— Вот ты везде ходишь. Вопрос тебе: а барсука главного не встречал ли? — спросил Щерба у нищего как бы ненароком. А нищему было только до каши:

— Да как... Сам видишь, левой-то мой глаз каков... Много ли на кривой-те глаз зрения!

Словно отвечая на свой незаданный вопрос, сказал Щерба:

— Ну да ничего! Вот она, в уголку. Она высторожит! — Он уверенно кивнул на винтовку, прислоненную у стены между койкой и печью.

— Много, сказывают, привезено вам таких-то? — спросил и нищий, припрятывая оставшийся кус хлеба за пазуху.

— Чего это? — вскинулся на нищего Щерба.

— Да этих вон, из чего стреляют-те.

— На воров хватит! — со злостью похвастался Щерба и тряхнул бородой.

Ночевать остался нищий у Щербы.

...Слух о подкреплении барсукам оброс множеством несуразиц. Обнищали парнями деревни; было девкам о чем судачить на посиделках в мокрые осенние вечера. Безнадежно и безвыходно сидели девки в избе, визгливо голосили весь вечер песни, но звучали похоронно и самые развеселые. Все гармони в леса ушли. Перестали невесты того года надеяться на замужество.

— Всех женихов-то перекокошат, шуты зеленые!.. — ворчала Домна, крупная телом, самая красивая и злая в Ворах. — Вот достанется тебе, Праскутка, муж-те без ног. Качай да покачивай культяпки его!..

А Праскутка тянулась змеиным своим телом, заламывая руки над головою, точно звала. Лень было ей и лучину новую в светец заправить, и косу перевить, тугую, русую, выросшую ни для кого. Шумел за окном мелкий, бесконечный дождь.

Вдруг Васёнка зашикала на поющих девок:

— Постойте... ребята идут! Ой, девушки, к нам идут! — закричала она, обливаясь холодком радости. — Ой, да с ружьями!

— К нам ли? — лениво привстала Домна.

Они выискивающе приникли к оконцу, стараясь разобраться в лицах людей, шедших вдоль улицы. В потемках было не разобрать, двадцать их или сорок.

— Далеко ль, товарищи, гуляете? — закричала бойкая Васенка, распахнув окно и выставляясь на дрянную сентябрьскую моросьбу. — Заходите потанцевать. Мы по вас соскучились...

И уже грянули было девки самую развеселую из всех:

Девки тише, тише, тише,
к нам молодчики идут!

Да несогласный был им ответ с хлюпающей улицы:

— Уж без нас танцуйте, красавицы! По делам идем...

— А чьё вы? — не унималась Васёнка, перегибаясь, как кошка, в тугой пояснице.

— Мы заморские! — насмешливо отвечали с улицы.

— Барсуки куда-те пошли... — сказала Васенка, с досадой захлопывая окно. Она достала из кармашка на переднике завалявшийся леденец и сгрызла его со злым, неумолимым хрустом. — Гоняешься, гоняешься за ними... А и достанется пьянчужка какая-нибудь, винное подметало!

— Дьяволы! — звучно сказала Домна и, зевнув, положила голову Васёнке на колени — искаться.

Остальные, менее бойкие, грустно смотрели на этих двух, самых красивых. Дождь шумел. Опять сновали осовелые мухи. Злей вы, мухи осенние, самых злых вековух...

VIII. Первое событие осенней ночи

Среди явившихся из ночи и в ночь же ушедших по хлюпким грязям был и Семён, и Гурей, названный брат Жибанды, и еще двадцать шесть молодцов, понадвинувших картузы да шапки так, что торчали только глаза да усы. Шли без разговоров, мимо девичьей посиделки шли — насупились. Прошли — и ночь за ними следы примела.

Идти недолго было. Поравнявшись с новехонькой избицей, остановил весь отряд Семён:

— Здесь...

Один из летучих постучал в раму окна прикладом. Ответа не было. Несколько барсуков взошли на крыльцо и сюда же втащили от дождя что-то небольшое и грузное. Передний ударил сапогом в тяжелую рубленую дверь. Бабий голос из-за двери тихо и не сразу спросил, зачем и кто.

— Гарасима буди! — сказал в дверь Барыков. — Это я, Митрий.

— Встает Гарасим, — ответствовала баба. Вслед за тем послышался грохот болтов и задвижек. Гарасим-шорник жил, как в крепости, окруженный высоким тыном. Будучи человеком большой силы и крепкого сна, он смеялся над дневной бедой, ночной же беды, расплошной, побаивался. Войдя в сени, Васька Рублёв зажег спичку. Стало видно: каждая тесина, каждое бревно здесь свидетельствовали наглядно о склонности Гарасима к вещам прочным и неколебимым. Поражал своими размерами ушат, перегородивший сени. По стенке удивляло не менее того обилие старой конской упряжи. Жирно пахло дегтем. Больше не дала разглядывать Гарасимова жена.

— Чего вам?.. — спросила она, протирая рукой подбитый глаз и понемногу вытесняя чужих из сеней.

— Скажи Гарасиму, чтоб запрягал, — сказал Семён и хотел еще что-то добавить, но дверь перед ним внезапно запахнулась и загромыхали разнозвучные засовы. Семён только головой покачал.

Барсуки, рассевшись на ступеньках крыльца, ждали. Уже тлели по темноте угольные светлячки самокруток. Неизвестность ночи возбуждала людей, разговоров не заводили. И уже докурились самокрутки, а Гарасима все не было. Время было дорого, минута по цене равнялась часу.

— Разоспался, черт... — сказал Семён. — Брыкин, а ну, стукни еще, повразумительней!

Брыкин не успел стукнуть и разу. Беззатейные, рубленые же Гарасимовы ворота распахнулись, и, дребезжа железными шинами на выщебенной подворотне, выехал Гарасим. Он соскочил с подводы и одернул яркий свой, длиной до подколенок, дубленый кожан, на котором плоско чернел широкий клин бороды.

— Там еще двух возьмите. Ступай кто-нибудь!..

— Мы уже думали, дядя Гарасим, с бабой завозился ты... — льстиво подсмеялся Егор Брыкин.

— Помолчи, раздолбай, — оборвал того Гарасим, оправляя что-то в подводе.

На трех подводах они выезжали за околицу. Село уже спало. Только в избе, где млели девушки в безмужнем

одиночестве, светились окна тусклым желтым светом. Ни одна собака не пролаяла вослед уезжавшим, не встретился ни один живой.

...За околицей их тотчас же охватила непогода. Неистовы осенью ночные поля. Ветер нес скопище водяной пыли. Люди в подводах затеснились друг к другу, все, за исключением Гарасима, вообще мало склонного к какой бы то ни было общительности. Гарасим сидел на краешке, степенно и твердо. Ведя свою подводу переднею, он не махнул кнутом ни разу, не орал на лошадь, он только цокал еле слышно, по-своему, не то подражая цоканью копыт, не то цыганскому говору.

Мало-помалу обвыкли глаза по темноте, но все еще чудился куст человеком и пугал. Когда въехали в лес, еще больше сгустилась тьма. Мокрые вихры нижних ветвей посыпали проезжающих крупным, холодным дождем. Только непутному променять на такое теплую, сухую печку. Чавкала и брызгалась глина в колеях, но не издала Гарасимова телега ни единого скрипа за весь путь. Гарасим даже и от сапога требовал долгой, беспорочной службы. Под стать пудовому Гарасимову сапогу была и телега, которую, хоть с горы роняй, не брала никакая случайность. Под стать телеге был и конь. Коня Гарасим понимал, работы ждал втрое, был с ним ласковей, чем с человеком. Под стать коню был и сам Гарасим. Сколотила его жизнь таким, что пронес тройную тяготу мужиковского существования не сутулясь. Гарасим жил и не старел. Нестареющий, он напоминал собою дуб. Стоят такие, отбившиеся от всего лесного стада, на опушках и в одиночку сносят и беду, и борьбу, и солнечную радость.

Сидя рядом с ним, вспоминал Семён, как двенадцать лет назад по той же дороге увозил его Егор Иваныч в жизнь. В том лишь разница, что тогда с перекрестия отпетовской дороги свернули они влево, а теперь едут прямо. Со сжатыми губами Семён следил за скользящим мимо, сощурив глаза. Ветла в стороне мнилась ему бабой, стоящей в задумчивости, кустки — затаившимся, безыменным, но живым, еле приметно перебегающим поле. Все повторяется: тот же Егор Брыкин жмется к нему сзади и уже не ропщет на тесноту, на неуважительность лаптя

к лакированному сапожку. И вот Семёну неудобна стала брыкинская спина.

— Держись прямей, Егор... — приказывает он с раздражением, — всю спину ты мне протрешь!

— Да ведь некуда, Семён Савельич! — Брыкин угождающе суетится всем телом.

Но опять едут, и опять налегает Егорова спина.

— Подогнать бы кубаря твоего, — говорит Семён Гарасиму, но тот глядит прямо и молчит, как неживой. — Онемел, что ли? — вспыхивает Семён и машет на мерина длинным рукавом полусермяги.

— Не серчай, Семён Савельич... — пугливо вскидывается задремавший было Брыкин. — Приснул маленько...

Мерин пускается вскачь, а Гарасим отводит Семёнову руку в сторону.

— Я тебя вон энтаким за уши трепал, — внятно шепчет Гарасим, не отводя глаз от лошадиной спины, и Семён не знает, укор ли это за дерзость, обещанье ли вспомнить давно прошедшие времена.

Постепенно и Семёном овладевает дремота.

«...и сила, а ответить нет силы, эх! — в сонливом безмолвии думает Семён. Он теряет вожжи от мыслей, и те бегут как придется. — Барсуки, зверье... ума нет. Дерево рубят, а корень оставляют на аршин торчать. На корень — воли не хватает. Город, мужики. У себя там картинки вешают, в театры ходят... а мужику что? Школы нужны, книги нужны! А книги... из города?..» — так напрасно барахтается в тине полусонных мыслей Семён.

Бессилье родит злобу. Был бессилен Семён выпутаться из собственной тины.

«...собрать мильон, да с косами, с копьем... Мы, мол, есть! Может, думаете, что нет нас? А мы есть! Мы даем хлеб, кровь, опору... забыли? Евграф на досуге подсчитывал по календарю: нас если по десять тысяч в сутки крошить да и приплод всякий воспретить кстати, так поболе тридцати годов понадобится, чтобы всех извести. Забыли?.. Мильоном скрипучих сох запашем городское место. Пусть хлебушко на нем колосится и девки глупые свои песни поют».

«...а город не спит, тысячи глаз, на длинных нитках, висят. Вот и рядом — глаз. Не любит пота нашего, не зна-

ет, не понимает души нашей, чужая...» — уже про Настю, сидящую рядом, думает Семён.

Точно ощутив течение Семёновых мыслей, зашевелилась Настя.

— Сеня!.. — почему-то с виноватостью спрашивает она. — Там, на взгорье, не Гусаки ли?..

— Ну... а что тебе?

— Да нет, я только так спросила, — шепчет она и отворачивается.

Теперь ехали уже Голиковой пустошью, — высокое место и ветреное, на правом мочиловском берегу. Дорога поднималась. В белесости левого края неба еле-еле выявились очертанья изб и приземистого храма. Все это искусно пряталось в круглых купах деревьев, в темной пене непогодного неба. То и были Гусаки, крохотная крепость новой власти среди необозримых воровских равнин.

— Гусаки, — вздохнул протяжно Васька Рублёв и пошевелился.

Ехали еще три минуты, умножались кусты. Вдруг круглый куст направо от дороги сказал: «Стой!» Из-за куста вышел человек и подошел к остановившейся подводе.

— Юда? — тихо спросил Семён, прищуриваясь в темень. — Ну, как?

— Он самый и есть! — деланно отвечал тот. — Оружье у них сложено в подвале у старой попадьи. Они нарочно туда запрятали, чтобы и не подумать... Против исполкома живет.

— А Мишка? — спросил Семён. — Ты видался с ним?

— Он у Щербы ночует...

— Чего ж смеешься-то?

— Да смешно! Он утром на исполкоме листок наклеил, что придем.

— Зачем? — нахмурился Семён.

— Так, для страху... — Юда удивился, что Семёну непонятен такой вид удальства.

Люди слезли с подвод и собирались вокруг Семёна. Тот давал последние указания:

— Ты, Митрий, сядешь с пулеметом к концу улицы...

— Дай я сяду... — просительно сказал Гурей, брат Жибанды.

— Ладно... ты садись, — мельком согласился Семён, но вдруг с неопределенной опаской взглянул на Настю. Глаз ее не было видно. Он взял ее за руку и крепко сдавил, силясь выдавить крик. Рука хрустнула, но Настя промолчала. Оба были почти ненавистны друг другу в ту минуту. Семён отбросил ее руку. — Сигнал, когда уходить, дам зажигалкой. Главное, помните, чтоб напугом взять! Стрелять только вверх... Ну, еще что? — он полез за зажигалкой и жестом выразил досаду. — Черт, все карманы дырявые. Ладно, по свистку тогда. Расходись!

Люди с лихорадочной поспешностью побежали в сторону села. Очевидно, имелся у них обдуманный план ночного нападения. Только один кто-то, неосторожный, щелкнул затвором винтовки.

Скоро около лошадей, привязанных к пониклой ивке, не осталось никого. Лошади грызли подброшенное сено, быстро увлажняемое тонкой изморосью. Вдруг они вздыбили уши и перестали жевать. В мокрое посвистывание ветра влился, подобный острому буравчику, настойчивый и тихий свист. Он повторился еще раз, более коротко и глухо.

IX. Второе событие осенней ночи

В непогоду крепче спится. Только двое в Гусаках и слышали свист посреди ночи: пегий щенок тимофеевского дома и сам старый Василий Щерба. Первый был непонятлив, молод и глуп, знал одно: на чужой звук — лаять, на хозяйский — подлизаться, подвильнуть хвостом. Огорчившись своим незнаньем, пегий подвыл.

Щерба же быстро, не по-старчески, свесил ноги с печки и протянул руку в угол, где под кульком стояла винтовка. Рука нашарила пустое место. Не теряя духа, Щерба пошарил по печке. Ничего там не было, кроме пары его старых мокрых сапог. Это он сделал вовремя. Нищий, ночевавший на лавке, пошевелился, и вот мрак тесной избы раздался по сторонам. Чиркнула спичка, и свет ее замерцал желтым слепящим кружком. Старик еще не знал, что нищий и есть Жибанда. За кружком света вместо нищего сидел на лавке коренастый молодой мужик, и кривой его глаз искал чего-

то по стенам не хуже любого зрячего. Винтовка Васильева сына, гусаковского председателя, ночевавшего в ту ночь в исполкоме, лежала возле нищего на лавке.

Все, что происходило потом, происходило решительно и смело. Василий пригнулся и метнул сапог в мерцающий желтый круг. Тот мгновенно померк. Сапог, видимо, попал в цель: нищий охнул и вслед за тем чихнул. Одновременно на улице прозвучал первый выстрел, негулкий, словно доской хлопнули по воде. Щерба, замахнувшийся вторым сапогом, ждал шорохов впотьмах, и вдруг кто-то тихим шарящим движеньем коснулся босой Васильевой ноги. Щерба вскрикнул и ударил сапогом по темноте. И опять удар не пропал, еще раз охнул Жибанда, но Щерба был стар, а Жибанда только притворялся немощным.

— Ну-ка, старый... давай сюда сапоги! Всю харю обил. Еще убьешь невзначай! — говорил Жибанда, стаскивая с койки, подминая под себя Василья и тут же скручивая ему руки назад.

— Не больно крути, — кряхтел Щерба. — Все кости выломаешь, дьявол!..

— А ты не ворчи, папаша, не буянь, не кричи. Твое дело старое, молчаливое. А то и кляп вставлю, — уговаривал Мишка, оставляя связанного на полу и забирая с лавки винтовку.

— Приехали-те зачем? — Щерба напрасно двигал плечами: неодолимы были крепкие Жибандины узлы. — Барсуки, что ли?

— Барсуки, папаша, барсуки... и волки. Исполком поверять приехали, — утвердительно отвечал Жибанда, щупая подбитый нос. — Кстати уж и пушки ваши заберем... Ишь нос-то распух как! Черт тебя угораздил... — Сказав так, Жибанда зажег спичку, рванул на себя дверь и вышел на крыльцо.

Теперь ночь наполнилась криками и руготней. Кто-то проскакал вдоль улицы, таща за собою на коротких обротях четырех, а может быть, и больше, лошадей. Лошади теснились и фыркали, задирая шеи. В немногих окнах горел свет. Окна исполкома были темны. Все смешалось. Вдалеке слышалась редкая и одиночная стрельба. Нельзя было понять, кто нападал. Хлестала изморось

по черноте. Мимо пробежала ватага людей, кажется, пятеро. Чвакала под ними грязная растоптанная трава. Они бежали молча, но один из них упирался, — его тащили под руки, и задний тузил упиравшегося в спину.

— Кто? — окликнули они Жибанду, задерживаясь на минуту.

— Тащите кого? — вместо ответа спросил Жибанда, узнав по голосам своих.

— Пленного взяли в заложники, — взбудораженно объяснил голос Андрея Подпрятова. — Председатель ихний. Прямо с койки взяли, тепленький!

— Туда, к подводам... — приказал Жибанда, рывком опуская руку.

— Слушаю-с! — И Барыков подпихнул коленом пленного. Все четверо молча побежали вниз, и нельзя было подумать, что средний не по своей воле так резво бежит. Вдруг кто-то налетел на Мишку из темноты.

— ...Щерба тута? — полоумно спросил этот.

— А зачем тебе Щерба?.. — Не уверенный в том, что узнал Брыкина, Жибанда шагнул вперед, но тот уже исчез.

Тотчас же забыв про это, все еще потирая подбитый нос, Мишка двинулся вверх по селу. У дома попадьи грузили подводу, вкруг нее копошились барсуки.

— Семён?.. — спросил Жибанда.

— Там Семён, — отвечали из темноты, — в подвале... А мы грузим вот...

В выломанные окна поповского дома подавали винтовки, а трое укладывали их в подводу, поверх патронных ящиков. Жибанда пришел к самому концу погрузки. Скоро он различил Семёна, всего в поту, вытиравшего пот рукавом рубахи. Сермяга его валялась теперь поверх подводы.

— Взмок... — сказал Семён. — Вот спешка была! Тридцать две винтовки зато. Теперь ехать...

— Сейчас встретил, председателя протащили... пленный! — засмеялся Жибанда, но вдруг насторожился.

С верхнего, правого края села донесся топот многих бегущих.

— Мужики бегут! Это с выселок прослышали! — вслух догадался Семён и вскочил в подводу, где уже сидели остальные.

— Дело гниль, — сообразил Жибанда, уже на ходу взбираясь в подводу. — Проскочить-то успеем мимо них?

Ему не ответили. Лошадь рвала, и телега бултыхалась на неровностях сельской поляны. Семён свистел, давая знак отступления. Они уже миновали значительную часть села, но бег мужиков становился громче. Тут стала видна боковая улица, широкий ее рукав.

Мужики приближались молча, пыхтя и сопя, полуодетые. Передний бежал с банкой горящей смолы, подвязанной на палку; огненная гривка шумела на ветру. Видимо, они вооружились тем, что первым попалось под руку в минуту тревоги. Бежавший сбоку держал высоко над головой поблескивающую косу. А какой-то шустрый старичонок, с большой бородой и беспоясый, несся почти впереди всех, прискакивая на буграх, и махал кнутом, свистом разрезая темноту.

Именно к нему приковался взгляд Семёна, — старикову кнуту, которым надеялся отбиться от цепких барсуковских лап. Жалость к старику, несущему смерть на ребячьем кнутике, охватила Семёна... И именно в эту минуту по мужикам прострекотал пулемет. Это было недолго: как если бы палку вставить в спицы развертевшегося колеса. Семён, уже соскакивая с подводы, видел, как, взмахнув в последний раз кнутом, рухнул прямо в грязь старичонок, как кувыркнулся со всего разбегу и тот, который нес на палке слепительный вихор огня. Горящая смола огненными струпьями растекалась по дороге; грязь сопротивлялась им с шипеньем, огонь стал страшней. Точно боясь перескочить через огневую лужу, мужики остановились. И тогда вторично застучал пулемет, уже не останавливаясь, как в первый раз, уже смертоносней.

— ...Настька, сволочь! — надрывно и хрипло кричал Семён и бежал к пулемету, размахивая половинкинским наганом, который держал за ствол. — Не стреляй, зарежу...

Не было иного ответа, кроме как отстукиванье пулемета. Подвода с оружием унеслась вниз, а Семён все бежал, задыхаясь криком и сквернословием, спотыкаясь в грязи, ошалелый от убийства. Распаленные глаза его

одного искали: ненавистного Настина лица, по которому ударить.

Вдруг пулемет замолчал. Несколько мгновений, съежившаяся и насторожившаяся, стояла тишина над поверженными во прах Гусаками. И уже приближался Семён к Насте, чтобы совершить свое правосудие, когда настиг его негаданный удар. Щерба, освобожденный невесткой, с колом в руках, тоже бежал к Насте. Когда он услышал бегущего в темени барсука, он поднял кол и ждал. Щерба метил в голову, но мокрый кол свернулся в руке, и удар пришелся в плечо. Оно хрустнуло, а рука с наганом обвисла. Семёну показалось, что плоскость, по которой он бежал, встала дыбом, отвесной стеной. Удержаться он не мог, попробовал схватиться за воздух обессилевшей рукой, но ущемила жестокая боль, и он упал.

Последнее, что видел Семён уже из черноты обморока, была красная лужа смоляного огня.

X. Третье событие той же ночи

...Вторым соскочил с подводы Жибанда. Он вспомнил про Настю и ринулся назад, где она оставалась. Места он в точности не знал и бежал вслепую. Ветер приносил издалека возбужденный говор, но искажал и смысл и силу приносимых слов.

Мишка почти споткнулся о Настю. Она сидела на корточках у пулемета, свесив и голову и руки. Казалось, она замерла, но в руках ее, как разглядел Мишка, была новая пулеметная лента. Мишка тронул ее за плечо.

— Вставай, бежим скорее...

Она как будто не слышала. Ее зубы мелко стучали, а губы шептали что-то маловнятное.

— Да вставай же, — настойчиво приказал Жибанда, взваливая пулемет на плечо.

В следующую минуту он бросился вниз из села, таща полуживую Настю за руку. Она не сопротивлялась, утеряв всякое соображение и волю, но бежала так легко, словно утеряла вместе с волей и вес. Они миновали сажен тридцать, когда Настя упала руками и лицом в грязь перед собою.

— Сеня... — в задышке зашептала она. — Не могу больше! — Голос ее был низок до неузнаваемости, казалось, что кто-то другой говорит из Насти, не женщина. — Беги один, я отдохну.

Тут только вспомнил Мишка про Семёна. Он не встретил его, когда бежал вверх, и, может быть, Семёна постигла неудача? С сомкнутыми зубами, как бы в припадке неумолимой, скрежещущей боли, оставив Настю в грязи, Мишка шагом вернулся в село. И опять цеплялась к ногам черная грязь, опять человеческим голосом стонала непогода. На чем-то круглом Мишка поскользнулся и упал: то был кол, которым ударил Щерба. Поднявшись, Мишка шел дальше. Из-под сапог брызгалось. «Здесь!» — сказал он сам себе, весь потный. Он медленно прошел по растоптанной лужайке взад и вперед. Ничего не было, только радужные круги переутомленья обильно заплавали в глазах. Он нагнулся и прощупал что-то, на что наступил ногой. То была старая лента из пулемета. Время уходило впустую. Он стиснул зубы и остановился в нерешительности.

И снова ухо уловило недружный, множественный топот. Теперь можно было различить, что мчались и на лошадях. Мишка пустился вниз. По дороге он схватил Настю за руку и бешено повлек ее за собой. Часто останавливаясь, потому что шла без огня, погоня дала возможность этим двум выбежать из села и добраться до кустов, где, Мишка знал, должны были стоять Гарасимовы кони. Подвод на месте не было. Настя как бы сломалась, указать место встречи она не могла. «Вероятно, там, за поворотом...» — сообразил Мишка и ринулся по прямой сквозь мокрые кусты, с утроенной силой стиснув Настину руку. Кустам, казалось, не было конца.

— Га-ра-си-им! — закричал Мишка и свистнул, вложив пальцы в рот.

Кто-то выстрелил наугад на Мишкин голос, но промахнулся. Непогода откликнулась воем и грохотом. Шум погони приблизился. Отчетливо различимы стали фырканье лошадей и заливчатый лай дворняжки. «Вон там...» — соображал Мишка, протискиваясь в кустах, обсыпавших их обоих целыми пригоршнями воды. Он раздвинул последнюю купу кустов и выскочил на круглую поляну,

сажень в длину. Назад бежать было уже нельзя, впереди, в двух шагах, чернел речной обрыв. Ветер подвывал в нем, как щенок.

— Уехали, черти, — полным голосом сказал Мишка, подтаскивая Настю на край обрыва.

— Собаки... — через силу прошептала Настя.

Совсем рядом — а одна даже высунув морду из кустов — заливались лаем собаки. Выхода не стало.

— Прыгай, Настя... прыгай, ничего! — нежно и властно шепнул Мишка, прижимая Настю к себе. — Там вода, ничего. Это нестрашно...

— Боюсь... — прошелестели, может быть, Настины волосы, развеваемые ветром.

— Прыгай! — крикнул Мишка, взмахнув рукой, и голос его прозвучал, как дикое ругательство.

Уже шуршали раздвигаемые и ломаемые лошадьми кусты. Настя, судорожно вздохнув, метнулась вперед. Протяжно и больно свистнул воздух в ее ушах. Дыхание замкнулось, а тело оцепенело, на мгновение повиснув в воздухе. Следом за ней прыгнул и Мишка...

Мочиловка, даже разбухшая и шумливая в осенние дожди, как нынче, все же мелка для таких прыжков. Зато изобиловали подобрывные места ямами, крутоярами и баклушами — в них водилась щука и крутилась вода.

Настя упала ногами как раз в такую баклушу. Черная вода сомкнулась, все стихло. Второго выстрела сверху Настя не слышала. Ее, выброшенную водой наверх, подхватил Мишка.

На берегу, лишенная сознания и страха опасности, она с немым удивлением глядела на черный гусаковский обрыв. А Мишка уже отфыркивался и был весел, отряхиваясь от воды: в темноте белели его зубы.

— Побежим теперь, чтобы согреться... ну!

— Ты тише, — отвечала Настя, приходя в себя. — Стрелять будут.

— А ну их, не достанут, — встряхнулся Мишка. — Беги!

— Куда?

— Да куда б ни было, пока ноги танцуют!

Бежать в намокшей одежде было нелегко. Трудно повиновались застывшие от холода ноги. Вместе с тем

Зинкин луг, по которому бежали, был ровен, как нитка, — ни кочки на нем, ни выбоины.

— Не могу больше... — жалко сказала Настя.

— Еще немножко надо... — твердо сказал Мишка. Он решительно и быстро просунул руку к ней за ворот, к спине; Настино тело было влажно и холодно. — До поту беги... Я вон, ровно в бане, запарился весь!

— Не могу больше... не бежится уж, — задыхаясь, сказала Настя и бессильно осела на траву. — Ты ступай, а я тут останусь...

Версты полторы, по его предположениям, отделяло их теперь от обрыва и погони. Все еще шел луг, — казалось, что и конца ему нет.

— Постой... Сено!

То был зарод старого сена — огромная копна, обветшалая снаружи, а внутри обещавшая пыльные, сухие, душистые слои, куда не проникает непогода. Жибанда с колен принялся разгребать сено руками. Настя догадалась о Мишкиной затее и помогала. Огрубелые травинки кололи и жгли ей руки. Очень медленно выходило в зароде подобие норы. Она влезла туда первой, а Жибанда уже изнутри заложил проход в нору сеном. Было здесь очень сухо, даже тепло, но мелкая сенная пыль разъедала глаза.

— Грейся, грейся... — шептал Жибанда, взволнованный ее близостью. — Ты грейся, грейся теперь... — бормотал он, не смея шевельнуться и лежа, как пласт.

— Я... на пощупай, вся мокрая! — дрожа, жаловалась Настя. — Что делать-то?

Она чуть не плакала.

— Ты об меня грейся, ничего... — повторил Жибанда. — Вали об меня, у меня кровь горячая! До войны в проруби купывался... Вот кабы спички не замокли, можно и костерок бы там, на воле...

— Не надо спичек, — чужим голосом сказала Настя. Он лежал по-прежнему неподвижно, уставясь глазами в черный пахучий свод. Пыль еще. держалась, зудила глаза и нос. Снаружи забушевал ветер. В сенной норе было тихо и спокойно. Вдруг Мишка сильно втянул воздух и чихнул.

— Ты разденься! — настойчиво и с раздражением сказала Настя. — Я застыла вся, пальцы на ногах совсем ничего не чувствуют...

— Дак ведь... я ведь не женщина! — грубо конфузился Мишка. — Неудобно мне.

— Все равно... темно, мне нестыдно.

— Дак ведь... как же так?

— Я умру, Мишка... — и всхлипнула.

— Ничего, не умрешь, жива будешь! — сам не зная чему, захохотал тот, зараженный Настиной лихорадкой.

...И уже передавало его горячее тело свой нестерпимый зной Насте, и уже бурно загорелись Настины щеки и вся вслед за тем. Два сердца начинали биться все согласней.

— Вот вы в городу... все такие, — сказал Мишка, горя необычностью минуты.

— А какие?

— Крови в вас нет, холодные. Вот и Дунька тоже была...

— А-а... — протянула Настя и отодвинулась.

— Чего же ты?.. Грейся!

— Немку-то свою... все помнишь?

— Жалею Дуньку, — просто и твердо сказал Мишка.

— А меня?

— Тебя жалеть нечего... Ты сама по себе. — И вдруг прорвался: — Хорошечка моя! Ты мне, ну, вот... ровно бы холостая папороть. И цвету в тебе нет, а душу с первого взгляда повлекло.

— Я злая стала! — вдруг с большой искренностью сказала Настя. — Я всех злей, вот какая... — и опять заплакала. — Но, смотри, я себя жалеть не дам, я так скручу, что...

— А ты не пугай меня, — говорил Мишка, гладя Настино лицо и прислушиваясь. — Дождь-то, слышишь? — Он нащупал на щеке ее, в ровной горячей коже, крохотную выбоинку. — Что это?.. — мельком спросил он.

— Это от кори осталось... давно. Ты знаешь, я сегодня... не сегодня, а вчера уж... на рассвете журавлей видела. Улетают... — Слезы ее стали спокойнее, то были слезы переутомленья.

Так они и проспали до рассвета в обнимку, как муж и жена. Непогода пела им песни унывные, невенчальные. Сон их был крепок и сытен.

XI. Гусаки повержены во прах

Так зарождаются слухи про всякие небывалые были. Клялась молодка Мавра и пречистую в поруки призывала, что собственными глазами видела нечистого и нечистую его жену.

Когда подъехали к зароду, что оставался у них от прошлого года на Зинкином лугу, увидали: разметано сено, будто носом рылся кто. Мавра и скажи свекровке: матушка, мол, а у нас воры были!

Свекровка спорлива была:

— Не воры, девушка, а ветром накидало... Ночь-те шумлива!

— Ой, бабы, воры! — не верила невестка.

— Ветер, я тебе сказываю! — ладила свекровь.

Но едва она успела произнести последнее слово, распахнулся весь зарод на четыре половинки, а из середки и выскочил сам нечистый, покрупнее лесного, зеленого, зато без волос, вроде мужика. Тут же за ним и баба его...

— ...И не успела я, бабоньки, — сказывала Мавра в кругу баб, обливаясь мурашками воспоминаний, — не успела ахнуть, ка-ак он меня, бабоньки, щипане-ет! Так я и села, на чем стояла...

В подтверждение слов своих казала Мавра родимое пятно пониже правой груди, величиной в двугривенный.

— Скажи-и... — дивилась одна, брюхатая, заправляя волосы под повойник. — Меня б щипанул, тут бы мне и разрешенье.

Тут еще пуще захлебывалась Мавра, вырастая на голову во мненье баб:

— ...ка-ак щипане-ет! Я-то присела, а свекровушка мертвенькой прикинулась, чтоб не затронул. А руки назади крестом выставила... Так и угнали подводу! — В этом месте Мавра начинала плакать.

Гусаковские мужики хмуро чесали бороды и дивились длине бабьего языка: больше их заботило Маврино пятно, чем четверо убитых ночью, не считая пропавшего председателя и семерых раненых. Один только Василий Щерба, крепко скрывая в сердце боль по сыну, в сотый раз спрашивал всех:

— Уползти он не мог. Как я его колом двинул, индо земля захрустела под ним. Вопрос: куда же ему сокрыться, сучьему сыну?..

— Свои и унесли. Ведь темень, дядя Вася. Ты как ударил, вперед побежал, они его тут и захватили... — успокаивал Щербу бровастый племянник. — По темени ты и не видал!..

— Темень, темень... — сердился старик. — Что ж глаза-те свои в бороде твоей посеял я, что ли?.. И убежал-то я ненадолечко, а его уж и нету. Уползти он не мог. Вопрос: где ж он?..

Но никому из гусаков не всходило на ум посмеяться над глупой Маврой, заспорить неудачливого Щербу. Слишком велики были ночные потери и в людях, и в лошадях, и в ином добре... На похороны приехал товарищ Брозин с двумя гусаковцами, занимавшими в уезде большие места. Все трое, сидя за церковной оградой, чинно прокурили то время, пока в сослужении тестя отпевал убитых поповский зять. Когда зарыли, Брозин сказал речь. Говорил он долго и складно, возбуждаясь воем и причитаньями вдов. Но гусаки, как ни велика была их преданность новой власти и ненависть к барсукам, не одобрили брозинской речи.

— Кака там международная гидра! — презрительно усмехнулся тот же Щерба. — Тут наше дело, кровное, земля! За Зинкин луг злобятся. Гидра-а! Она небось и до ветру в щиблетках, а мы и на свадьбу в лапотках.

Впрочем, уехал Брозин с сознанием выполненного долга, увозя в кармане гусаковскую резолюцию о смытии барсуковского пятна с общемужицкого дела.

Потом потекли очередные дни... Доходили новости задним числом: фельдшер чекмасовский пропал. Вскорости за тем кто-то выкрал сапожника из Бедряги. Пропадали самых расхожих ремесел люди, как камешки, скинутые в воду небрежной рукой; только булькали слухи по ним... Вдруг пятеро печников исчезли с инструментом среди белого дня! Догадывались гусаки: враг обзаводится хозяйством... но крепились, выжидая своего времени. Иной, без хмеля во хмелю, подойдя к обрыву, долго и угрюмо глядел в сизую даль, за Зинкин луг, где скитальничали мутные предзимние облака. Длинные

ночи пропитались страхом и тоской. Бородатые воспретили девкам петь. Спать ложились рано. Света не зажигали.

...А Мишка с Настей весь тот день проплутали на украденной подводе. Под конец дня очутились в Попузине. Мишку, как и брата его, щедро накормили попузинцы и оставили ночевать, но не прежде, чем сказались те за барсуков.

Попузино кругом в лесах. Попузинцы печи топят жарко, Настя обрадовалась кислой, домовитой духоте избы. Тотчас же после ужина заснули они на полатях, и Насте снилось, что венчается с Семёном. Будто Семён самой жизнью дан ей в мужья, нельзя отказаться. Он прям и строг, не глядит в глаза невесте. Она еле побарывает свой страх перед ним. Когда целует, холодны его губы, как черная вода прошлой ночи. Вдруг кто-то говорит со стороны: «Так ведь он убит». Настины глаза красны от сна, она выглядывает с полатей. К хозяевам зашла соседка, рассказывает о ком-то, но не о Семёне. Настя все еще не понимает и дрожит.

— Миша... Мишка! Проснись, — в тоске будит она Жибанду, сопящего на высоких нотах.

Тот долго бормочет сонливую неразбериху, прежде чем открыть глаза.

— А?.. что?.. приехали? — и трет слипающиеся глаза. Но Настя уже не хочет говорить.

— Ты спишь?.. — неловко спрашивает она.

— Да-а, сплю, — потягивается Мишка. — А чего тебе?

— Нет, ничего. Спи...

И так всю ночь.

Светало поздно. На рассвете отъезжала их подвода от двора гостеприимного попузинца. Утро пало солнечное. Тучи раздвинулись, обнажая трепетную зеленцу осеннего неба, и стояли в полном безветрии, это только по утрам баловалась осень солнышком. Из лесов попахивало прелостью, а черные птицы над полями кричали о зиме... Зато воздух — густой, горький, не без солонцы — был терпок и приятен, как острый огуречный рассол.

На стоянку барсуков приехали близ обеда, и тотчас обступили их расспросами, словно не видались полгода.

Ночной поход, кончившийся как будто удачей, воодушевил барсуков.

— Надо к Семёну пойти, — сказал Мишка Насте. — Сказали, в большой землянке лежит.

— Не пойду... — решительно и глухо заявила Настя. — Я тебя тут подожду.

— Пойдем! Ты со мной пойдешь. Не бойся, я тебя заслоню.

— Один ступай...

Мишка вместе с другими спустился в землянку.

XII. Разговор с Семёном

Жир пылал в плошке, и пламя его стояло прямо, как часовой. В душном воздухе плавала обильная копоть... Когда вошли, пламя заколебалось в нерешительности, но дверь закрыли — и снова замерло, бросая по сторонам огромные тени людей.

В правом углу, на поленьях, находилось соломенное ложе Семёна. Из-под шинели торчали неподвижные ноги в сапогах, носками врозь, как у мертвого. Возле, положив лицо на руки, дремал чекмасовский фельдшер Шебякин. Самым громким в землянке был фитиль в светильнике. Время от времени, как бы наскучив стоять, он яростно кидался трескучими брызгами огня.

— Здорово, Сеня... — бодрым голосом окликнул Мишка.

— Спит, — остерегающе откликнулся Шебякин, поднимая лицо. Фельдшер был рябой, игра света делала его круглое лицо похожим на луну. — Спит, — повторил фельдшер, — а всю ночь плохо было. Под утро о женщине спрашивал...

— Он, может, про меня спрашивал? — настоятельно сказал Жибанда. — Какая же у него?.. Ведь нету!

— А тебя как? Вас ведь, ровно собак, по кличкам... — Шебякин посмеялся, но мигом перестал, едва взглянул в каменное лицо Жибанды. Тот назвал себя. — Да-да, и тебя поминал, и Мишку, — заторопился Шебякин.

— Так бы сразу и говорил, а то баба., — резко произнес Жибанда и присел на атласный диванчик, уже грязный и провалившийся посредине.

Остальные стояли, хотя и были места сесть: широкие, струганые лавки шли по стене зимницы.

— Долго вы тут меня продержите? — опять опуская лицо на руки, спросил Шебякин. Мишке не нравилось плутоватое выщипанное лицо Шебякина, и он не ответил. — А все-таки, неделю или две?.. — снова зашевелился фельдшер и стал подтыкать выбившуюся из-под Семёна солому.

— Про что это он? — спросил кто-то из стоявших полукругом.

— Домой желает... блудовать! — насмешливо отвечал другой.

— Год продержим, — сказал третий.

— Да вы сами здесь и полгода не продержитесь! — огрызнулся, быстро обернувшись, Шебякин.

— А ты потише, а то зашибу! — с досадой сказал Петька Ад. Сгибаясь в спине, потому что неоднократно уже задевал головой о низкий бревенчатый потолок зимницы, Петька подошел на цыпочках к столу и поубавил огня в плошке. — Копотно, — пояснил он, двигая белесыми бровями.

Вдоволь помучив Шебякина молчанием, Жибанда заговорил:

— Ты вот что. Нам этот парень нужен. — Он кивнул на Семёна. — Ты его нам непременно выправь. Не то чтоб вылечить, он и без тебя встанет... А нам скорее нужно. Скоро подымешь, мы тебе патент выдадим — придворного медика.

— ...проворного? — прикинулся дурачком Шебякин.

— Ты погоди смеяться. А скоренько не вылечишь, сам знаешь, — у нас законы лесные, неписаные. Чик — и нет фершала!

— Отмочил, нечего сказать! — дребезжаще залился Шемякин. — Да я тебе в отцы...

— И молчи, когда уедешь. Держи собаку на цепи, а язык на семи! — вразумлял неспешно Жибанда. — Спросят, что видел? Отвечай, что глаза-де мои старые. Может, и видели что, да не видели.

Совершенно неожиданно в углу раздался громкий чих. Чихнул Петька Ад и сам испуганно зашикал, пучась по сторонам.

— Это от копоти... — пугливо оправдался он. Как раз в это время здоровая рука Семёна шевельнулась.

Шебякин приоткрыл Семёново лицо и возвестил, с видом оскорбленного достоинства взирая на Жибанду:

— Проснулся. Разговаривать с опаской...

Семён сразу же, как открыл глаза, стал глядеть в какую-то несуществующую точку с такой пристальностью, что Петька Ад, и без того очень взволнованный близостью раненого товарища, суеверно оглянулся. Барсуки сдвинулись ближе. Семёново осунувшееся лицо не выражало ничего. Губы были плотно сжаты, как бы ссохлись одна с другой.

— Больно небось?.. — осторожно начал Мишка.

— Не-ет, прошло... — без выражения, нараспев ответил Семён и глядел ему в лоб, словно припоминал что-то. Мишке сразу стало неловко, и краска нахлынула на его обветренное лицо, но не отвел глаз. «Догадываешься, что ли? — думал он. — Так прямо говори. Ну, говори!» Через полминуты ему стало особенно беспокойно.

— А мы искупались тогда, ночью-то! — сказал Мишка и осекся. Семён перевел взгляд со лба на Мишкины зашевелившиеся губы.

— Сколько ходило нас? — спросил вдруг Семён, оставляя в стороне Мишкино сообщение.

— Двадцать восемь, — доложил, вылупливая глаза, Петька Ад; он вытянулся так, как не тянулся ни перед одним капитаном в старую войну. Происходило это от усердия, а усердие — от жалости: сердце в Петьке билось доброе.

— ...вернулось? — с неподвижным же лицом допрашивал Семён.

— Двадцать семь воротилось, — еще жалобней доложил Петька.

— А... — сказал Семён и закрыл глаза. Можно бы было принять его за спящего, если бы не двигались пальцы левой, здоровой руки. Пальцы поочередно прижимались к ладони, ведя какой-то свой счет. — Привезли ее? — спросил Семён.

— Так ведь это Васька Рублёв убит... — заспешил объяснить Жибанда, делая Семёну намекающие глаза.

— Я про него и спрашиваю... привезли? — не сразу догадался Семён, и едва приметное подобие румянца окрасило его выдавшиеся скулы.

— Ваську? Не-ет... — залопотал Петька Ад. Может быть, потому, что был ростом выше всех, почел он именно себя обязанным давать ответы. — Не до Васьки было, товарищи! Все места заняты и для живых-то!.. Гарасим под хлеб подводы занял... Да и куда ж мертвого везти!.. — Петька запинался и потел.

— Это я уж по своему уму решил, — тихо и холодно вступил Гарасим, ударяя себя по бедру высоким картузом. — Хлеба пятьдесят пудов взял, да три коня, два с подводами. Овсеца я еще прихватил, на лошадок. Лошадка, она любит овсеца...

Лицо Семёна меркло по мере того, как высчитывал Гарасим военную добычу. И уже видели барсуки: быть неминуемо грозе. Люди зашептались, заколебалось пламя, быстрей задвигались тени по стене.

— Ты уйди покеда... подыши чистым воздухом! — шепнул Жибанда Шебякину, который притворялся, что дремал.

— Чужое ухо песком засыпать!.. — неожиданно сказал татарчонок из двадцать третьей землянки; только этим и выявил он свое присутствие в зимнице.

— ...конешно, можно и сосновую кору жрать... и другую разную подлятину! — продолжал Гарасим повышенным голосом, когда Шебякин вышел. — На то и барсуки мы... А только, как я поставлен у вас за каптера, так должен я вас, сто семьдесят ртов, кормить. Да ты меня глазами-то не стращай! Царь каторгой, поп адом... куда же мне, серому, и деваться тогда? Даве, каб не лошади, как бы мы тебе фершала доставили?

Гарасим, очевидно, ждал возражений, но Семён молчал. Так они и глядели друг на друга при молчании остальных. Жибанда, подобрав щепочку с пола, расщеплял ее на мелочь и откидывал в сторону.

— Не серчал бы ты, Семён... — снова заговорил Гарасим, опуская глаза, и обмахнул рукой увлажнившийся лоб. — Воры мы, воры и есть... Не могу против лошадок устоять, страсть моя! — Но уже через минуту после

невольного раскаянья мужик спрятался, остался цыган. Снова в глазных впадинах чуждо и непонятно замерцали темные глаза. — Что взядено, те взядено! — крикнул он.

Семён опять закрыл глаза, лоб его наморщился.

— Может, тебе водицы дать? — предложил Жибанда.

— Нет, прошло, — и открыл глаза. — А пленные? — через силу спросил он.

— Так ведь какие же пленные?.. — потерянно заулыбался Петька Ад, водя пальцем по растопыренной ладони. — Один-то сбежал, а другой... Уж больно сквернословил он. Не то чтоб матершинил, а все разные такие предсказания... Юда и рассердился.

— Ну? — и опять закрыл глаза, — Варева-то хоть дали ему?

— А мы его пожгли!.. — просто объявил Дмитрий Барыков; видно, Барыкову надоело молчать, потому и сказал.

Неистово брызгался огненной слюной светильник, а фитиль набух толстым нагаром. Семён лежал неподвижно и совсем безжизненно.

— Уходите, ребята, от греха... Беды наживешь с вами! — замахал руками Жибанда, скося глаза на Семёнову руку, продолжавшую свой непонятный счет.

Те и сами заторопились из зимницы, понурые и уже не радуясь военной удаче. Тяжелая дверца, повешенная чуть наискось, шумно захлопнулась за последним.

— Сеня... — внятно позвал Мишка, плачевно поднимая брови. — Ты смирись, облегчи сердце! Известно, всяко яблочко с кислиной, а в запале не чует себя человек. Ведь этот, председатель-то ихний... ему все равно теперь, не воротишь. А народишка хватит в Расее!

— Молчи, — сквозь зубы сказал Семён, — куда тебе до Расеи, холуй! Еще на простор из волости не вышли, а уж разбоем занялись. Встану, за все с тебя спрошу. — И, прежде чем Мишка удержать его успел, Семён круто приподнялся и с маху уронил себя на сломанное плечо; лишь глухой Семёнов хрип свидетельствовал о боли.

Жибанда не выбежал, а в прыжок выскочил из зимницы. При выходе наткнулся на Шебякина и такое пообещал ему глазами, что тот сразу ощутил непрочность своей жизни и метнулся в землянку. Жибанда бежал по

лесу, мимо землянок, цепляясь ногами за выпученные корневища, за дрова, валявшиеся всюду. Сам не зная, зачем, — он искал Настю; он нашел ее.

Она, разрумяненная и взволнованная, стояла в кругу барсуков, весело скаливших зубы. Против нее, как в поединке, стоял Юда и хитровато гладил себе шею, не сводя с Насти смеющихся глаз. Мишка подбежал в ту минуту, когда Настя длинно и скверно выругалась в ответ на какой-то столь же замысловатый выпад Юды.

— Это что! Это все мелко, а ты покруче загни! — задорил Юда.

— Как это загнуть?.. — как затравленная, озиралась Настя.

— Ругнись то есть... Покрупней ругнись! — И Юда подмигивал своими длинными ресницами.

Тогда Настя выругалась еще страстней, грубым мужским ругательством. Опять громко захохотали обступившие их барсуки, — радостные всякому смеху, откуда бы он ни происходил.

— А знаешь что, Гурей? — улыбался Юда, когда утих взрыв смеха и только Тешкин низкий медленный хохот гудел. — Хочешь, я такое тебе загну, что и завянешь?

— А ну... загни! Сморчковат загибать-то... — храбрилась Настя, но красные пятна на щеках предавали ее.

— А вот и загну... Только на ухо тебе, ладно? — подступал Юда.

— Ну, ну, вали... — И Настя подставляла маленькое ушко, горевшее пожаром стыда.

Юда потер руки, подмигнул барсукам и нарочито грузно налег на Настино плечо.

— А ведь ты баба, я знаю! — шепнул он ей с жарким восхищением похоти.

XIII. Егор Иваныч теряет нить жизни

В первое же воскресенье после Покрова отпросился Брыкин домой съездить. Однако кривую и опасную дорогу выбрал себе Брыкин. Видно, по пути ему было заехать и в Бедрягу, к дядьке. А из Бедряги заезжал на станцию,

хоть и не было к тому особых причин. Со станции только пустился в Воры, домой.

Впрочем, как было не быть причинам: нужно было проехаться, пообдуть себя ветерком. Выпала на брыкинскую долю полная чаша огорчений, и большая часть их шла от жены. После давнего случая, когда в суматохе души проглотил головастика, побил он жену. Тогда сидела в нем уверенность, что наложением рук на повинную голову как бы прощает он Анну и отпускает ей многие ее грехи. Анна приняла побои молча, лежала так, словно не хотела видеть возле себя суетившегося чуть не до обморока мужа. После того ушел Егор Иваныч в лесные берлоги, там жил, там и копошился.

Вдруг узнал: Анна вернулась к матери, в девичий дом. Егор Иваныч попыхтел, попрямился, — все больше сутулилась его спина, словно не в силах была носить тяжелую от дум брыкинскую голову. Жену попытался забыть, а не забывалась. Любовь свою, если б была возможна для нищей его души, давно растоптал бы и надсмеялся. Анна не любовью была; она служила наглядным свидетельством брыкинских успехов и достижений, плодов кропотливой и трезвой жизни.

Когда из барсуков выдвинулись люди, захватившие власть по праву силы и воли, Егор, оскорбленный и потрясенный, остался в тени. Для верховодов был он не более того гвоздика, на который вешал свой картуз Жибанда, приходя домой в совместную с Юдой землянку. Егор злился, его точила дума, что Семён обокрал его, воспользовался его добром, его трудом. И когда носил воду на кухню, приставленный Гарасимом к поваренным делам, сколько раз мечтал он об отраве — до зудящей тупоты в висках, до синих кругов под глазами и до унизительных, необлегчающих слез. Потому-то и ездил по кривым и окольным, что боялся прямых. В тех кривых и заключалось разрешение Егоровой злобы.

На возобновление совместной жизни с Аннушкой глядел он как на первое, с чего следовало начинать восстановление потоптанной людьми славы. Едучи в этот раз в Воры, уже имел в голове готовый план Егор: «Как приеду, так разом на бабинцовский двор. — А где тут законная моя, Анна Григорьевна Брыкина? — Да на гумне. — Ну, мы

и на гумно!.. Здравствуйте, жена моя. Пришел получить дареные вещи! Ноне самому нужны. — Тут же и перечислить: шаль ковровая желткового цвета, посреди черных цветов огненный розан, да еще полушалок шерстяной — серая бахромка, розовые огоньки, да еще хромовые полсапожки на высоком каблуку — восемнадцать рублей, да еще платье темное, шерстяное, на полоске — бусинка, да еще три цветных, шерстяных же, радостных тонов, да еще семь рублей с двумя царями в память трехсотлетия, да еще туфли с самоцветами, да еще...» И уже знал Егор Иваныч, что, недослушав всего списка до конца, забьется в судороге покаянного плача Аннушка. А он наклонится к ней и простит ее по завету доброты, и обнимет, и великодушием своим омоет падшую Аннушкину душу.

Тут кружилась даже голова у Егора Иваныча, — закрывал глаза и кусал губы, видя перед собой как наяву полное, приятное Аннушкино лицо с наливным румянцем упругих щек. И готов был в те минуты голышом на край света идти Егор Иваныч — за бирюзовым колечком, если б вдруг понадобилось Аннушке. Может быть, тут только ощутила убогая Егорова душа неутолимую потребность чьей-нибудь любви.

Распалив себя подобными мечтаньями, в три кнута гнал Брыкин коня, направляясь к Ворам. Помолодевшим соскакивал он с подводы и мать обнимал с небывалой почтительностью. Душу свою ощущал новенькой, как после баньки. Но после обеда подсказало ему благоразумие поглядеть, прежде чем идти к Бабинцовым, впрямь ли истрепала Аннушка все мужнины подарки. Он дождался, пока мать вышла, и, отдернув ситцевую оборку, с колен заглянул под кровать. Предостерегающе сжалось сердце: Аннина укладка с жестяными крашеными ремнями стояла на обычном месте. Он выдвинул ее и в торопливости уже не помнил себя. Засунул косарь в расщелину замка, забил его поленом, потом надавил. Затейный замок звонко хрустнул, а крышка сама подскочила вверх. В щелку вылетела молевая бабочка, — ее полет проследил жалкими глазами Брыкин. Он даже потрогал рукой, не доверяя глазу, даже раскрыл рот. Все было на своем месте. Сверху лежала та, ковровая, рисунком вверх, а в изъеденном розане, в самом огне его, заметно елозили

молевые червячки. И потом еще бегала по ткани в суматохе какая-то быстрая, юркая, серебряного цвета дрянь. Молевые дырки проходили сквозь все Егоровы подарки, — длинные проходы Егоровой беды. Он поворачивал обесцененные тряпки, но горечь обнищания уже померкла перед созерцанием собственной жалкости. Когда вошла мать, Егор сидел за столом как-то боком, к матери спиной. Ел неохотно, но к концу обеда почувствовал голод и возместил пропущенное гречневой размазней. От размазни у него даже покраснели уши, серое же лицо чуть-чуть припухло.

...Он подстерег Аннушку только к вечеру, на бабинцовском гумне, где просидел целых два часа под изморосью. Аннушка прошла мимо него, спрятанного за ометом соломы, в сенной сарай, с корзиной за плечом. Ее не посмел остановить Егор Иваныч, удивленный Аннушкиной переменой: постаревшая, в сереньком, шла, глядя в землю. Она вышла из сарая и заложила ворота засовом.

— Аннушка-а... — сказал он, дрожа от сырости и волнения, не смея заступить ей дорогу.

— Не беспокой меня, Егора, — сказала та спокойно, глядя поверх его головы. — Устала я от тебя...

— С чего ж устать-то... с полюбовников рази? — не сдержался Брыкин, забегая вперед, но она ускорила шаг. — Аннушка!.. — закричал истошным голосом вослед Брыкин. — Аннушка, я тебе подарочек принес... Оглянись!..

Вот оттого-то, возвращаясь по кривой дороге к барсукам, мотался пьяный в телеге, весь в глине и стыде, шумел песню. Налетел ветер, даже и от него клонился Егор Иваныч на сторону. По тому, как тосковало все его тело, угадывал, что близится последняя смертельная точка всей его бессмысленной суете. От того душевного зуда и пелась песня, а смысл ее был тот, что обделила его матушка на братнем пиру. Находило как бы отрезвление порой, и тогда с каким-то ярым безнадежьем впивался взором в проползающий мимо кусок поля с пересохшим репьем, со щетиной жнивья.

— Эх-ха... все вы одинаки! — вздохнул Брыкин и такую рожу скривил, точно хотел напугать птицу, с распластанными крыльями поднимавшуюся по ветру.

Потом опять охватило хмелевое оцепенение, и заныла опустошенная душа, — так гудит пустая бутылка, поставленная на ветру. Чем ближе подъезжал к барсукам, тем горластей орал нескладную свою, тут же в телеге выдуманную песню. Когда проезжал мимо сторожевой землянки, увидел Жибанду, выходившего от Насти. Беспоясый, с расстегнутым воротом, рассерженный, тот напугал бы хоть кого, но не пьяного Егора.

— Чего — разорался?.. аль дорогу кажешь кому? — крикнул Жибанда, замирая, как в столбняке. — Да куда правишь-то! Все колеса, чертило, раздрябаешь...

— Виноват, извиняюсь, господин пыдполковник, ваше благородие... — И Брыкин высунул Мишке язык. Машка глядел с ненавистью, и Брыкин убавил пыла. — Нечего там попрекать, на одной веревке мотаться...

— Ты где напился? — подшагнул Жибанда.

— Где пито, там нас больше нет! — уклонился Егорка и хлестнул по коню.

— Нет, ты погоди, парень... — с нехорошим холодком сказал Мишка, попридержав коня под уздцы. Брыкин бил лошадь, та лишь вздрагивала мокрой спиной. — От меня нескоро убежишь!

— Отпусти... — отрезвляясь, сказал тихо Брыкин. — У меня секретец есть! — А Жибанде показалось, что Егор кивнул на Настину землянку.

— Ты про этот секрет молчи, Брыкин, — сказал Мишка. — И знай про это только один... А то я из тебя гниль сделаю.

— Нашим добром пользуетесь, да еще и молчать? — взвизгнул Брыкин и плюнул так ловко, что пролетело на вершок выше Мишкиного лба.

— Будешь молчать? — спросил Мишка, приближая свое лицо к оскаленному Егорову.

— Вре-ешь, не буду... — прохрипел, не помня себя, Егор. — Вот постреляют вас, чертей...

— Так получи в задаток! — сказал Жибанда и толкнул кулаком в брыкинское лицо.

Брыкин дико вскрикнул, лошадь рванула, и телега понеслась к землянке, колотясь о пни.

— Товарищи!.. — с ходу закричал Егор Иваныч толпившимся барсукам. — Что ж это такое, товарищи? Кому

ж я теперь жалиться, буду... раз он меня сам по физиономии, ровно дрянь какую? Меня нельзя бить. Ведь это я первый-то... — Из углов брыкинского рта брызгала слюна.

— А что бы это ты такое мог первым сделать? — спросил Прохор Стафеев, клепавший поблизости дымоходную трубу.

— Я? — Егор осекся, обкусывая, почти обрывая ногти.

Он съежился, сидя в телеге, поджал голову в колени и зарыдал. Горе его было бесконечно и отталкивающе. Разрешить его выдачей своего секрета он не мог.

— Ну, что же... договаривай! — приказал Стафеев, откладывая в сторонку молоток.

— Э-эх... — в бессильной злобе проскрипел Брыкин и, надкусив краешек ногтя, с маху рванул руку в сторону.

XIV. Мишкина любовь и всякое другое

Были причины Мишке ходить как буря. Каждую ночь приходил Мишка к Насте, садился за стол и с самым неопределенным чувством глядел в ее пепельно-смуглое лицо, на котором еще ярче, чем прежде, тлели губы. Видел одно: горела холостая папороть и звала к себе доверчивое сердце Мишки, и он шел к ней, не зная колдовского слова, и каждую ночь сгорал в ее огне... а утром возникал из пепла; отдавался целиком и, ничего не получая взамен, тосковал над непонятным ему.

— О чем ты молчишь? — неоднократно спрашивал Мишка, когда досказаны были все любовные слова того вечера. — Ну, о чем ты?..

— А ты спроси, я отвечу, — оборонялась Настя.

— Не моя ты... — неуспокоенно ворочался Мишка, готовый и задушить.

— Да уж чего же тебе больше! — намекающе, с холодком смеялась та и глядела, как в печке суетится огонь.

— Клад в тебе лежит. Отдай...

— Бери...

А Мишка не знал, что бывает еще больше того, чем уже владел. В поисках клада торопливыми губами обры-

вал он огненные цветки Настиной папороти, обжигаясь и обманываясь. А Настя не гнала Мишку, потому что ей нужна была Мишкина сила. Чувство к Семёну и было Настиным кладом; образ его, созданный самой Настей, наполнял ее ночи, — его одного хотела.

Так каждый вечер по еле приметной тропе ходил Жибанда в сторожевую землянку и в следах своих не видел Юды. А Юда был ловок и юрок; в Мишкину любовь вплетал он свою поганую игру. Не простое и понятное томление по чужой и красивой, прикрывшейся именем Гурея, не страсть точила Юду и заставляла ежевечерне прослеживать Жибанду, — толкало непреоборимое стремление одолеть его в поединке. В желаниях своих был настойчив и неумолим он, как ребенок. Когда Жибанда входил в землянку и брякал запираемый засов, садился Юда на откос землянки и посиживал там, безобидно и терпеливо. Табак весь вышел у барсуков, а был бы табак у Юды, и совсем неплохи были бы ему его вечера, напитанные глухим шелестом непогоды и томительным плачем сов.

Однажды Мишка забыл запереть дверь. Юда вышел из ивняка и посидел немножко на ступеньках, грызя корку полусырого, барсуковской выпечки, хлеба. Месяцу было время, и Юда, пожевывая, глядел, как сочились его мертвенные лучи сквозь густую еловую хвою, раскачиваемую дуновениями непогоды. Потом Юда откусил еще и растворил дверь в землянку. Было в ней жарко до духоты. Не горела ни лучина, ни коптилка, зато ярко, цветисто и минутно играли на сосновых стенах отблески печного огня. Войдя, Юда откусил еще от корки и стоял, присматриваясь.

— ...Чего тебе? — окликнул его Мишка, второпях выскакивая откуда-то из угла.

— Мне-то? Мне ничего... — кротко улыбался Юда. — Шел мимо... Уж больно из трубы у вас выбивает. Пожара б, думаю, не наделали.

Мишка стоял перед Юдой полуодетый и нахмуренный, уставясь в пол.

— Ну, ладно, не наделаем. Ступай, — решил он и коротко махнул рукой.

— Гостя вон гонишь, — добродушно ответил Юда.

— Я тебя не гоню, — сдержанно сказал Мишка, — и ссориться нам нечего. Иди теперь!

— Да уж и пойду, коль нелюбен пришелся, — сказал Юда, а сам все стоял на том же месте, изредка поглядывая на волосатую Мишкину грудь, черневшую в расстегнутом вороте. — А ссориться нам нечего, правда. Мы друзья с тобой, тесные, — грубо притворялся пьяным Юда, но так, чтоб Мишка видел его притворство. — Мы с тобой хоть и шар земной без шума поделим! Бери, скажу, Миша, праву сторону, а я себя по левой расположу. Ведь человек-то я, ты сам знаешь, сговорчивый, необидчивый...

Жибанда продолжал молчать, а уже становилось ему нестерпимо гадко и унизительно.

— Ступай, ступай... мы с тобой опосле насчет земного шара обсудим! — попробовал пошутить он. — Ведь не пьян же ты, Юда... понимаешь.

— Да я уйду, уж и поговорить не даешь? Ну-к и ласковой ночи вам! — подмигнул Юда, но у двери задержался. — А мне... можно, потом? — спросил он, стоя к Мишке боком и глядя куда-то в сторону.

Мишка ринулся на Юду и, обхватив, махом поднял вверх. Юда ударился головой в низкий накат потолка, покряхтел и промолчал. Но Мишка не кинул его в дверь, как сначала подсказал ему гнев. Он распахнул дверь ногой и легонько вытолкнул Юду в моросящую темноту: осенняя погода переменчива. Юда ушел без лишнего шума, а Мишка, прислушивавшийся у полуотворенной двери, слышал, как посвистывал тот среди мокрых кустов.

— Э, пускай его... — ответил он на вопросительный взор Насти. — Гнилой парень!

Настины ночи только усиливали его тоску, и Мишка стал уезжать со своим небольшим отрядом в озорованье по волостям: нужно было доставать провиант на всю летучую ораву. Об этом скрывали от Семёна, который по-прежнему противился всяким поборам с мужиков.

Едва он уехал, Настя пошла к Семёну. Она точно ждала Мишкиного отъезда, — то, что скопилось в ней, неудержимо искало выхода. Было время ужина. Дежурный барсук, татарчонок из двадцать третьей, пропустил ее, почему-то покачав головой, она почти вбе-

жала. Шебякин отсутствовал, — ужин он получал из общего котла. В зимнице никого не было. Стены без людских теней выглядели голо и пусто. Настя, пришедшая сюда впервые после мочиловского обрыва, проворными глазами обежала землянку. Не в правом углу, на соломе, как рассказывал Жибанда, а в левом, на свинулинском диванчике, полулежал Семён.

— Вот... навестить тебя пришла! — несмело, срывающимся голосом сказала она.

Семён поднял колени под шинелью, молчал. Мерцал свет, блестели глаза, смотревшие в накат потолка.

— Сеня... — шепотом позвала Настя и стояла в нерешимости. — Сеня, прости меня. — Она быстро перешла зимницу, ища сесть, и, не найдя, опустилась на колени возле самого диванчика. — Сразу прости меня, без объяснений... ладно? — и дотронулась до его колена, выдавшегося из-под шинели, словно хотела пробиться сквозь его молчание. — Мне так нехорошо без тебя... — И отвернулась в сторону.

— Сядь вон туда. Вон, на лавку, сядь! — сказал Семён.

Она с покорным лицом отодвинулась и осталась на коленях.

— В плече-то болит все? — спросила она тихо.

— Да нет... вот рука плохо, — сказал и пошевелил коленями.

— Сеня, — помолчав, заговорила Настя, — ты знаешь, ведь меня Мишка спас. Жутко было... Он меня два раза спасал!

— Что теперь, утро или ночь? — с прежней жестокостью в лице спросил он. — Я спал тут...

— Вечер. И ты еще не знаешь всего. Ведь я с Мишкой живу... Вот уж месяц скоро! — Был жалостен и хрупок ее голос, и каждое слово звучало вопросом. — А ведь я одного тебя хотела... — искренне и тихо прибавила она. — Наверно, так всегда в жизни бывает: тянешься к вину, а пьешь воду!

— Я все знаю... — сказал Семён и усмехнулся.

— Откуда знаешь? — дрогнула Настя и придвинулась на коленях. — Юда сказал? Юда — дрянь... Как ему жить нестыдно! Ты ему не верь, не надо!

— Да нет... сам Мишка и рассказал.

Она закусила губы от боли и обиды.

— А ты ему что на это ответил?

— Ты б ушла, Настя. Сама видишь, какой я... — сказал он, приподымаясь на здоровом локте.

— Не уйду. И я знаю, что ты ему сказал, — мельком бросила она. — А ведь я одного тебя хотела! Ты теперь такой, на тебя все смотрят!.. Ты даже и сам себя не знаешь. Тебя описать, так не поверят!.. Я тебя даже в мыслях понять не могу... И ты, если захочешь, ты все можешь! Вот ты убил этого... Грохотова, мне Мишка про него рассказывал. И ты еще можешь, я верю в твою силу, у тебя лицо такое... И мне все в тебе дорого!

— Уйди, прошу тебя... — с темным, непонятным чувством прервал Семён торопливую Настину речь. — Ты когда говоришь, мне вот тут спирает... — И с досадой показал себе на больное плечо. — Уйди!

Настя не уходила и не отвечала. Опустив голову, она чертила пальцем по деревянному наслеженному настилу пола резкий угольчатый узор. В углу висел глиняный рукомойник, из него капало в бадью.

— Ты помнишь... — странным голосом начала она, ломая пальцы. — Ты тогда на крыше стоял, а я подглядывала за тобой из-за занавески. Ужасно боялась, что упадешь... Я ведь тогда не знала тебя, а боялась. Вот и теперь сердце замирает, глазам больно глядеть на тебя... Ты Катушина помнишь? Он к маме ходил, чуть не всю жизнь ходил, ты знал про это? Придет, сядет у кровати и сидит. Я вот таких не понимаю, и Мишку не понимаю — как воск делается от одного слова! По-моему, любовь — это когда жутко. Вот точно птица в клюве твоего любимого несет... а вдруг уронит? — Казалось, она бредила наяву. — Вот и ты не упади смотри!.. Слушай, ты когда убивал, было тебе страшно? Было или нет, говори! Как ты его убил?..

— Не я его убил, другой, — раздельно и полупрезрительно, чтоб навсегда запомнилось, заговорил Семён. — Все бывает в драке, но и разбойник до гроба помнит павших от его кистеня. А ты... сколько ты в ту ночь, в Гусаках, зря положила... и вот, каешься в измене, на которую мне наплевать, слышишь?.. а ни словом не обмолвилась о тех. Нет, мало нас, нельзя мне с Мишкой ссориться, а то бы... — И кулак его добела сжался у Насти на глазах. —

Пустая ты, для забавы, вроде Катьки... Когда-нибудь они меня повесят, но из них любой мне ближе тебя, понятно? Кровь между нами, уходи...

Она неслышно поднялась с колен.

— Так сколько же лет прошло с тех пор, Сеня, как мы с тобой венчались тогда, у Катушина? — И посчитала в уме, улыбаясь своей ошибке. — Немного... А я-то думала, что это на всю жизнь!

К ночи ей показалось вдруг, что все это было сказано им от ревности, от затянувшейся болезни, от невеселых раздумий о будущем; уж вовсе не верила в возможность открытого разговора о ней между Семёном и Жибандой. В последующие дни она еще приходила не раз — прибрать землянку, принести обед, — присаживалась на шебякинский чурбачок близ входа. Семён не замечал ее. Оставалось ждать возвращения Жибанды, чтоб удостовериться в разрыве...

Это и случилось в один из вечеров, в конце поздней осени. К Семёну, в зимницу, собрались барсуки. Жир в черепке пылал ярче и трескучей, чем обычно. Жарко натопленная печь разливала расслабляющую духоту, насыщенную сверх того запахом вчерашней еды, мокрых шинелей и острыми испареньями усталых ног. Весь день прошел в работе: во исполнение Семёнова плана усложняли доступы к барсуковскому месту новыми сетями западней и ям. И потому, что пищей у них были лишь капуста, хлеб да вода, употреблявшиеся в изобилии и во всяких смесях, ныне хмуро мечтали они о мирном житии, о махорке, о женской ласке, о жирных щах. Дмитрий Барыков, босой и нечесаный, лениво растягивал гармонь, но сипела та, как в простуде, и не удавалась песня.

— Брось ты... нехорошо у тебя выходит, — осадил его Гарасим, дожигая накаленным шомполом самодельную трубку. Он сидел на корточках возле печки, шипящие струйки дыма шли от его рук.

Барыков пугливо и тупо скосил на него белесые глаза и сунул гармонь под лавку. Опять заступила место тишина, земляная, самая тихая.

— Эха, бычатинки бы, — вздохнул Петька Ад, сидевший с вытянутыми ногами на полу, и коротко зевнул. — Пострелять бы... долгоухого видал даве.

— Из пальца не выстрелишь... — осадил и этого Гарасим, — а патронов я тебе не дам.

Опять текли минуты скучного, зевотного молчания. Только шипел в древесине Гарасимов шомпол да стучал в стене домовитый древоед. Внезапно — говор и шум за дверью. Люди прислушались. Петька Ад сонно уставился на дверь... Они вошли чуть не все двадцать два сразу, свежие от морозца, отряд Жибанды, — щурились на пламя. Остававшиеся встретили вернувшихся восклицаньями и расспросами. Первым вошел Юда в папахе, заломленной назад.

— Почтение друзьям! — сказал размашисто он, увидел Настю возле Семёна и вздохнул во всю грудь, опуская глаза. — Как попрыгиваешь, дядя Винтиль?

— Попрыгаешь тут... утопа, а не жизнь, — отвечал с ворчаньем Прохор Стафеев. — Курева-то привез хоть, черт табашный?

— Курево, папаша, вредно. С него грудь трескается... — Он больно похлопал Прохора по плечу. — Не плакуй, папаша, привез, привез! И мясца захватил кстати...

— От, истинно табашный черт... — умилился Прохор Юде.

— И спиридончик есть! — подхватил Брыкин, но сообщению его как-то никто не внял.

— Бедрягинцы пожертвовали... — отвечал Юда на вопросительный взгляд Семёна и малыми горстями, точно дразнил, стал высыпать на стол махорку из карманов, из какой-то тряпки — отовсюду, где есть место. — Доброта крестьянского сердца!..

— То-то, тебе пожертвуешь! — понятливо засмеялся Гарасим, двигая бородкой. — Мясо-те вели на кухню отнести.

А уж втаскивали и развязывали укутанные в мягкий хлам бутылки с самогоном. Петька Ад сыпал прибаутками. Через минуту, когда вошел Жибанда, не узнать было зимницы. Колебались тяжкие слои махорочного дыма, даже мешали глазу видеть. Не торопясь ни с мясом, ни с вином — плодами мечтаний мучительно долгих недель, — барсуки наслаждались крепкими затяжками едкого, крупнозернистого самосада. Гул голосов стал глуше и походил

на удовлетворенное урчанье. Всякий из новоприбывших ухитрился найти себе место. Брыкин сидел на вытянутых ногах Петьки Ада, который, лежа прямо на полу, с видом истинного блаженства сосал из огромной, по росту ему самому, самокрутки. И чем обильней валил дым и вспыхивала огнем бумага, тем больше соловели золотушные Петькины глаза.

— Ишь, прямо броненосец себе свернул, — сказал Юда, сидевший на чурбаке над самым Петькой, и толкнул Петьку ногой в бок. Но тот не услышал, вытягиваясь в одну прямую вместе со струйкой дыма. — Всю махорку один выкурит! — И опять толкнул.

— Зашелся, — одобрительно откликнулся Гарасим, ссыпая махорку в мешок. Подобие усмешки расправило ему ненадолго жесткие складки, бежавшие от тонкого носа к широкому рту.

Тем временем Жибанда подошел к Насте.

— Что это ты там за белье у себя развесила? — полушутливо и слышно для Семёна спросил он, крепко пожимая Семёнову руку. — Зашел, а там ровно занавески висят, не пройти...

— Да я тут белье постирала. Сушится, — сухо ответила Настя, и брови, точно под холодным ветерком, набежали одна на другую. Она неумело скручивала самокрутку себе, и пальцы у нее дрожали.

— Так ведь ты недавно мне стирала, — не догадался Мишка, глядя ей на руки.

— Это я ему вот стирала, — небрежно мотнула головой на Семёна Настя и отвернулась прикурить к Тешке-летучему. Тешка сидел неподалеку и, дрыгая ногами, хохотал над очередной выходкой Юды.

— А-а... — спокойно протянул Жибанда, разом уясняя смысл всех прежних Настиных недоговоренностей; понял и о кладе, которого с такой жадной мукой добивался. — Ну-ну, пускай его сушится! Юда, — крикнул он назад, — отвари мясца на закуску... распечатывай угощенье-то!

— Накрали-то много? — жестко пошутил Семён.

— А жрать что станешь, коли не красть, как ты говоришь?.. — отшутился Мишка, укрощая в себе внезапную

вспышку. — В десяти местах просил — не дают. А стукнул раз, ну и потащили всякого добра... Ты свои рассужденья брось, не время теперь! Про отца слышал?

— Нет, а что отец? — Заблестевшими глазами Семён окинул гомонивших барсуков, мешавших слушать.

— Как же, под боком у тебя, а не знаешь? — закуривая, говорил Жибанда. — В гору Савель Петрович попер. Правда ли, а только будто председателем он нонче в Ворах, сказывают. Не знаю, как уж и верить... больно уж врунист бедрягинец тот, что сказывал. Орудует, говорит, наш Савелий...

— Орудует, — покачал головой Семён. — Надоело, значит, в мужиках-то сидеть? А ты не врешь? — прищурился он вдруг и усмехнулся, показывая, что готов принять и за безвредную шутку нешуточное Мишкино сообщение.

— Вру, как и мне врали... — уклонился Мишка. — Юда, друг, передай огоньку... опять затухла! И не в том еще дело, — продолжал Жибанда, — вот, видишь... — Он протянул Семёну свою трепаную папаху.

— Ну что ж, вижу. Шапка твоя... старая шапка, — с непонятной враждебностью сказал Семён.

— Шапка-то старая, да дело-то новое. Дырку видишь? Значит, сзади было стреляно, свои стреляли... Я головой учуял.

— Сзади, — повторил Семён, — думаешь на кого? — и приподнялся на здоровой руке.

— Ты лежи, лежи... — сделала встревоженное лицо Настя.

— Э, ничего ему теперь не будет... — отстранил ее за плечо в сторону Мишка. — Не лезь уж!..

— Ты сам не лезь! — вспыхнула Настя и вдруг поймала острый, наблюдающий сквозь махорочную завесу взгляд Юды. — Смотри!.. — покривилась она и сильно затянулась из папироски.

— Он, что ль, стрелял? — тихо намекнул Семён.

— Да нет, ему не из чего... На Брыкина мне думается. На вершок и промазал-то! Юда без промаха бьет...

— А Воры-то взяты, что ли, были?

— Взяты ли, сами ли сдались... Какая тебе разница?

Тяжко облокотясь на колено, Мишка дымил теперь не меньше Петьки Ада. Волосы на лбу его разлохматились, и слежавшаяся под шапкой прядь с видом обидчивым и детским спадала на бровь. Настя зорко следила за сменой выражений лица у Семёна.

— Слушай, Миша... — сказал вдруг Семён очень тихо и очень внятно. — Ты живи с ней, если... Я вам не разлучник!..

Настя выслушала Семёново признание с каменным лицом; потом встала и пошла к выходу, высоко неся обострившиеся плечи.

— Разве можно такие вещи говорить!.. — взволнованно упрекнул Мишка Семёна и пошел вслед из землянки.

— Гурей, а Гурей! — захохотал вслед Насте Брыкин, с глазами, уже обожженными самогонным паром. — Выпила бы с нами за всех пленных, военных и обиженных, а? — И, не смущаясь строгим взглядом Семёна, шепнул что-то на ухо Юде.

Тот отпихнул его, но не прежде, чем улыбнулся, презрительно соглашаясь.

Взбудораженные щедрыми пробами самогона, барсуки шумели, а на печке уже закипали котелки с мясом. Потехи ради и во удовлетворение расходившейся погани своей Юда послал Брыкина за татарчонком из двадцать третьей. Тот, поднятый со сна, прибежал весь встрепанный и напуганно оглядывал полупьяных верховодов.

— Эй, Махметка, садись вот сюда. Налить ему! Брыкин, отрежь мясца Махметке! — командовал Юда. — А ну, Махметка, рассказывай вали про Адама, ну, про это вот, как ему Бог жену дал! — велел Юда, весело кривясь в пояснице, где бежал кавказский поясок. Как-то подслушал Юда: татарчонок, споря о преимуществах богов, рассказывал бородачам-отпетовцам историю Адамова грехопаденья. И теперь тормошил его Юда, сам весь дрожа, на пьяный посмех барсукам. — Ну, пей сперва, а потом вали... ну!

— Не буду пить, не буду говорить... — отчаянно защищался татарчонок. — Зачем зубы скалишь? Твоя вера, моя вера, одная дорога!..

— Не гоже, не тоже! — подтвердил и Евграф Подпрятов заплетающимся языком. — Зачем тебе на чужого Бога лезть? Ты уж ковыряй своего, как ты своему-то полный хозяин, а в языке у тебя зуд.

— Я жду, Махметка, — пригрозил Юда, меняясь в лице; зрачки у него стали круглы и малы. — Я ведь тарабанить не буду с тобой! — И опять ломался Юда в поясница, точно выскочить хотел из кавказского ремешка.

И татарчонок, повинуясь Юдиным глазам, — а за глазами Юды и всей ораве верховодов, — стал рассказывать, запинаясь и покрываясь пятнами жгучего стыда, словно преступал величайший наказ отца:

— ...вот. Адама была не ваша... Адама была наша. Адама татарин был! Бог говорит: «Адамка, Адамка, ты хороший мужик... вина, свинины не хочешь... Сен-ии-улан! Я тебе бабу дам, все тебе делать будет. Сама, — и татарчонок почмокал с вылупленными от натуги глазами, — сама слаще арбуза!» Вот...

— Ба-абу-у?.. Их-хх... — завалив голову на колени к Андрюхе Подпрятову, затрепетал в беззвучном, оскорбительном смехе Тешка. А вслед за ним пошли хохотом и все остальные. Со стороны казалось: не смех, а что-то гудит, скрипит, сопит и рвется, раздираемое ногами. Смеялся и Евграф Подпрятов, осудительно покачивая головой, округлилась смешком и Гарасимова бурная борода, вытирал слезы смеха Прохор Стафеев, счастливо обнажал крупные, вкось поставленные зубы Петька Ад. Не смеялся только сам Юда.

— А теперь ступай, — сказал он досказавшему все до конца татарчонку, полузакрывая глаза. — Ступай, я тебе сказал!

— Да-ай! — сказал татарчонок, робко кивая на стол.

— Чего тебе дать? — низал его презрительным взглядом Юда.

— Вино дай...

Оцепенев от обиды, дергал себя за мягкий молодой ус татарчонок и глядел поочередно на всех, жалуясь. В его смуглой, нежной глазнице, казавшейся пушистою под изогнутой, как лук, бровью, повисла слеза. Потом она скатилась на алое пятно стыда, тлевшее на щеке.

— Над чем вы это тут? — спросил вошедший в ту минуту Жибанда. — А-а... — Он увидел татарчонка и сам долго, зло хохотал, разливая из бутыли.

XV. Приходит зима

Воры сами сдались, по примеру остальных восставших. Уже в этом таилось предсказание скорого конца, но все волновался в уезде товарищ Брозин, глядя на карту, где красным карандашом была обведена воровская округа.

Над волостями, примкнувшими к барсукам, реяли тревожные предчувствия. Сперва-то и сжились с ними; спали с чутким ухом, не загадывая про завтрашнее. Каждый день, не отмеченный выстрелом, считался напрасной оттяжкой немилостивого срока. Догадывались о первом снеге: по первопутку прискрипят сани из уезда, — памятен будет на долгие годы мужикам первопуток того года. На барсуков смотрели уже с жалостью, а не с доверием, хоть и видели в них свое, сильное, неразумное и по одному тому уже обреченное. Да и мало просачивалось известий о барсуках в затворенные наглухо от страха мужиковские избы.

От попузинцев вышел вкруговую слух, будто принялись барсуки уголь обжигать, названье им отсюда не барсуки, а жоголи. В Сусаковской волости оброс слух как бы бородкой: уголь — в город на продажу возить, набрать уйму денег хотят и уехать в теплые места от скорого советского суда. Семь недель гостевал тот слух по волостям, а все еще не возвращался домой, к досужему попузинцу. Наконец воротился, и не признал в нем неразумного своего детища досужий: жжется уголь для отвода глаз. Мы-де, жоголи, уголь жгем. Мы-де, угольная артель, из пропитанья трудимся. А убивали и разные непотребства творили мужики, воры, их и крошить расправе... Вернулся слух таким после того, как приходил Жибанда выжимать мирскую лепту на барсуковское кормление.

Тут один даже убеждать порешился, что уж нет вовсе барсуков на прежнем месте: ушли из нор, а взамен того стоят снега, а в снегах елки.

— Проехал я, любезненькие, цельных два разка вдоль Бабашихи-т. Скажи, хоть бы следок зайчиный.

— Пуля! Ведь они на лыже в одну тропочку ездиют. Там стоит елиночка, я видал... Она неспроста стоит! — и поднимал указательный перст к носу.

— Дак тропочка-те где ж, мякинная ты голова? Тропочки-те ведь нету!

— А тропочку метелкой заворошило!..

Шли такие разговоры вполслуха. Где-то в окрестностях, по цельным снегам, бродил Половинкин с отрядом добровольцев — мужиков же Гусаковской волости, — народ бородатый, обозленный и потому настойчивый. Первоначально не обретали смысла в его гулянье по снегам даже и присяжные догадчицы:

— Вот ходит, вот ходит... Боже милостивый, и чего он ходит? Чего ему в снегах?..

Вдруг явились смыслы: в Сускии снова утвердилась Советская власть. Сказывано, будто сами сусаки в уезд ходоков спосылали. «Дичаем-де от безвластья. Приходите ворочать нами. Утолите невозможную нашу тоску...» Да и как было не обитать в тревоге: Суския не крепость, не железные дома, не каменные души, мягкие! Половинкин, в метельном поле блуждавшего по бездорожью сусака встретив, настрого ему приказал: «Баловать перестаньте. А иное дело — огнем пущу!» Через неделю, в день приезда уездных комиссий, с видом облегченья вздохнула Суския, тем самым отчеркиваясь от барсуков.

За сусаками пало Отпетово, а за Отпетовом рухнулись на колени Гончары. Призрачно было их покаянье: все сильное и молодое имело свое обитание в лесах. Потому приходил ночами Половинкин, искал виновных и судил их быстро, степень виновности прикидывая на глазок. Или назначал общественное порицание, в знак чего уводил корову с лошадью, или не брал ничего, а выводил бунтовщика за околицу, к овражку, где буйней гудела снежная метелка, и там оканчивал глупую повесть о его бедовых днях. Люди Половинкина были ему самому под стать, крепкие и выдержанные. Перенимает охотник обычай зверя, на которого ходит. Те же барсучьи навы-

ки перенял на себя и Сергей Остифеич. Как и Жибанда, промышлявший хлеб скрытно, удалью и ночным напугом, являлся Половинкин неслышно, барсучьей ступью, по барсучьим же следам.

Так они и бродили, подобные ночным ветрам, не имеющим ни гнезда, ни милосердной угревы. А однажды встретились обе стороны в глухом углу двух лесов. Рассветно алел снег, его разбрызгивали кой-где редкие пули ленивой перестрелки. Нарочно ли в снег стреляли, но ни одна пуля не достигла цели. Похоже, будто встретились два враждебных зверя, обнюхались, тихонько поурчали и разошлись вспять. Все же видел в то утро весь половинкинский отряд самого атамана Жибанду, как он сиплым голосом приказывал перебежку, и Гурея, как он бежал к пулемету по колено в снегу. Таким и представлялся Гурей мужиковскому воображению: красивый, как девка, весь обмотанный пулеметными лентами. Здесь и был источник неиссякаемых сказок в последующее время: «Прозеленятся по весне снежные равнины. По первой зелени и прискачет в подкрепление барсукам Гуреево войско: белые кони, вострые сабли, отчаянные головы...»

Из десяти поднявшихся волостей семь уже примкнули к Половинкину — огонек за огоньком вспыхивал в ночи. Гусаки правили всем уездом со всевозможной мужиковской истовостью. Знать, недаром пророчил как-то впьяне слепой дед Шафран на завалинке: «Вознесутся превыше облак Гусаки и будут землю попирать красными плюснами». Не избежали Шафранова пророчества и Воры: сами сдались.

А уже надвинулась зима. Постепенно удлинялись ночи, заострялись холода. Уже лиховали морозы на бору, и все обильней по утрам валил дым из барсуковских землянок. Восемнадцатого октября, в первый день по ущербе месяца, выпал толстым покровом снег и остался лежать. К обеду потеплело, подтаяли кочки чуть-чуть, тропинками осквернилась девичья белизна снега. Лес стал безрадостный, мокрый. Но уже через две недели, когда впервые вышел Семён из зимницы, был густ воздух того предвечерья, как мороженая вода.

Прямо по снегу Семён прошел к опушке. Пошел, снова стал падать снег. Стоял пенек на опушке, на него и сел Семён. Снежные хлопья падали безветренно на поляну Курьего луга. Казалось, что самые хлопья стоят неподвижно, а все вокруг — и затихший лес со стаями легких синичек, и каждая почернелая травина, просунувшаяся сквозь снег, — все это подымается вверх, в сизую, пестрящую глубину неба.

Все время, пока лежал на соломенном ложе болезни, напряженно думал о начатом Семён. А теперь, когда увидел лес, поле, снеговые пространства, с изнеможением ощутил непрочность всего того, о чем надумалось под душным потолком его зимницы. Он вздохнул глубже, и тотчас же резнул жесткий воздух в верхнем, правом углу груди, куда пришелся удар Щербы: «Все не так, а все проще. Вот снег идет, и стоит дерево, Гусаки отняли покосы, а Воры не хотят. А вот на снегу — тетеревиных крыл след, а по нему четкий след лисы: лиса шла за тетеревом, как рассказывает снег... Просто». Все, порожденное горячностью усталого ума, все это рвалось теперь, как бумажное кружево на ветру. Семён снял шапку и сидел так. Снег рябил в глазах. «Где и думать об удачах! Егоры Брыкины да Гарасимы, Юда да Петька Ад! А Жибанда — вихрь, бесплодный и неосмысленный, как гроза, как боровик, — вырос на дороге и не знает, который растопчет его сапог. А зародится Пантелей Чмелёв, — коли не убьют его раньше времени, вытянет город к себе. Заумнеет чмелёвский сын, познает толк черному и белому, — в ученой спеси своей забудет нищих и темных родичей. Будет чмелёвский сын искать короткую дорогу к звездам, а родичи — ковырять кривыми сохами нищую землю, а в пустопорожнее время — варить тугую пьяную отраву да каторжные песни петь. Эх, то лишь к нам и проберется, что с топором!» — так думала за Семёна его болезнь и усталость.

Синички прыгали над самой Семёновой головой, осыпали снег с ветвей. Он пошел домой. Клейкий снег валил хлопьями, облеплял сапоги, утяжелял шаг. Вечерело. А в голове шумело, как с похмелья.

XVI. Навещанье матери

Все тянуло Семёна в Воры, да не пускал обжившийся Шебякин, грозил бедой.

— Что ж ты меня, ровно дворовую, на привязи держишь? — хмуро шутил Семён.

— Ничего, товарищ, — заслонялся ручкой Шебякин. — Меня приятель твой застращал, что жизни решит, коли я тебя не выправлю... А у меня полна изба писклят, да отец еще жив... одиннадцать ртов! Не пущу. Кусай меня, куды хочешь, а не пущу. Дай суставу срастись, — добавлял строго.

А дни шли. В тот же день, когда повез татарчонок фельдшера в Чекмасово, порешил Семён идти.

— Не ходил бы, — намекал сумрачно Жибанда. — Рано... желтый весь.

Семён не отвечал, собирался: пробовал затвор винтовки, надевал лапти, клал в карман ту самую гранату, что висела когда-то на поясе у Половинкина, брал половинкинский же наган. Отемнело сизое небо, когда вышел Семён в путь, видом своим походя на обычного для тех времен воина-лапотника: драная шинель, шитая наспех и на смех, винтовка без штыка, облезлая папаха, — и шел с голодной ленцой. Воры объявились ему не сразу. Затаясь в потемках, они, казалось, сотнями зорких глаз следили со снежного бугра за каждым его шагом.

Даже как будто шептали: «А-а, ты перешагнул жердину, упавшую от барыковской остожины... А-а, ты перешел мосток!.. А-а, ты смотришь в нас!»

Прислонясь к оснеженным перилам мостка, Семён испытующе глядел в село. Вот так же поглядывал когда-то отсюда же и Половинкин. Снежная улица была пуста, как вымершая. Баба прошла за водой. Колодезная жердь с вороной, сидевшей на верху ее, четко чернела на сизом небе. Рычаг наклонился и заскрипел, ворона слетела, направляясь вдоль села. Мальчик тащил вверх, на село, каталку-решето, обмазанное навозом и политое водой. У горелого исполкомского места он сел в каталку и, гулко вертясь, покатился вниз, и никто из других мальчиков не мешал ему в этом. Мальчик вскрикивал от удоволь-

ствия: и деревья, и избы, и снег, и воздух — все со свистом кружилось вокруг него одного. На подкате к мосту он увидел солдата над собой, пугливо выскочил из решета и собрался удрать.

— Ты не беги, оголец, — сказал солдат, беря его за плечо. — Я тебя не съем. Ты здешний?

— Здешний, — осторожно ответил тот, глядя то на конец винтовки, торчавший из-за солдатова плеча, то на отдувшийся карман солдатской шинели.

— Кто у вас председателем-то теперь? — допрашивал солдат.

— Папанька! — ответил мальчик и своенравно подергал решето за веревку. — А ты кто?

— Из Гусаков вот иду, с приказом. Тебя как звать-то?

— Из Гусаков, так не с той стороны, — подозрительно сообразил мальчик и показал на другой конец села.

— Да я плутал тут, дорога-т малоизвестна.

— У нас чай пить будешь? Папанька гостя ждет... Ты приходи.

— Приду, приду... — вглядывался в сумерки села Семён.

— А коньки умеешь делать? — не отставал мальчик и шел за солдатом. — А что у тебя в кармане, покажи!

Пришлось идти задворками, чтоб отвязаться от мальца. Никто Семёну не встретился, только какая-то девочка в опорках прошлепала мимо него к соседке за огоньком. Сильней защемило в плече от ускоренного дыхания, когда всходил на крыльцо. Снег лежал на лавках, и по нему — явственные следы птичьих ног. В сенях постоял и прислушался. В ушах звенело, а показалось — будто слышит Савельев смех.

Вдруг у соседей закричал петух, и был отраден Семёну его сильный, настойчивый крик. Семён вошел. Мать сидела на лавке с видом нудного, безучастного ожидания кого-то, ужасающе неряшливая, но было чисто прибрано все в избе. На сына, отряхивавшего снег с лаптей, Анисья взглянула равнодушно и опять тупо уставилась в выметенный пол.

— Что же ты грязная какая... — удивился Семён и глядел, пораженный чернотой нечесаных материнских

волос: в них не было ни сединки. Никогда до того не видел матери без повойника или платка. Уже снимая с плеча винтовку и приставляя к столу, все перебирал в уме, не к празднику ли готовилась, но вот устала и села отдохнуть. Праздников не выходило. Тут он опять поймал туповато наблюдающий взгляд матери.

— Отец-то вышел, что ли? — спросил Семён, борясь со смутной тревогой.

— К вечному блаженству, говорю, отошел отец... — заученно сказала мать, точно за минуту перед тем говорила кому-нибудь об этом же. Она поднялась, переставила с места на место две пустые махотки на шестке и опять села, сурово поджимая губы.

— Ждешь, что ли, кого? — спросил Семён и тут заметил, что стал соображать гораздо медленней.

— Обещал и за мной прислать гусак-те, — сказала мать. — Неделю цельную и сижу вот.

— Та-ак, — протянул Семён и понял, что ждет она уже гораздо больше недели. — Что ж, и коровенку забрали? — меняясь в голосе и лице, спросил он.

— Взяли. Просила: хоть жеребеночка-то оставьте. Сиди, сиди, говорит, скоро и за тобой пришлю...

— А, вот какой оборот! — слушал Семён и тер заболевшую шею. Он старался не глядеть на мать, не плачущую, зачерствевшую от недельного ожиданья. А воля злобилась, и бессмысленнейшие сочетанья с дневной яркостью представали Семёнову воображенью.

Семён ел черный хлеб, предложенный матерью, и запивал водой, догадываясь с насильственной внутренней усмешкой, что это и есть помины по его нескладном отце. После еды Семён прилег на лавку и лежал, вытянув ноги, запрокинув голову на доски. К нему подсела мать.

— Я-то местечко во ржи припасла... хлебца там спрятала. Они придут, а я и убегу. Рожь-те шуми-ит!.. — Она говорила тихо-тихо, не видя устрашенных глаз сына. — Все лежал твой-те, мухи его ели! — сказывала Анисья.

— Ты, мать, заговариваться стала! — грубо вскричал Семён и вскочил с лавки, как ударенный. — Какие же мухи зимой? Где ж это рожь в декабре шумит? Что ты забалтываешься!..

Крик Семёна отрезвил мать. Теперь она плакала, без слез, с открытыми неподвижными глазами, и, рассказывая, глядела в окно, затянутое сумерками. Даже пробовала оправить разметавшиеся черные космы непослушной рукой. А Семён глядел, не отрываясь, на ее корявые, неразгибающиеся пальцы. И вот как рассказывала о последних минутах отца, постепенно бессилея от воспоминаний, так и заснула, положив голову на стол. Семён бережно, чтоб не потревожить нечаянного сна, перенес ее на койку, а сам, не решаясь именно теперь покинуть мать, запер двери и прилег на лавку. Винтовку он приставил к столу.

Как ни закрывал глаза, не удавался сон. Мотались в голове дикие и гулкие образы, как камешки в погремушке, — представлялся отец: стоит у ямы и, смешно вихляясь, все убеждает соседей по смерти, Барыкова и Сигнибедова, что все это никакого влияния не оказывает, что и там, в поповском где-то, люди живут... Потом происходила обычная сонная сумятица, расщеплялся сон, вклеивались в него клинья новых. Сон — боль уставшей головы. Когда среди ночи раздался стук в окно, Семён вскочил первым и прислушался. Дрожащий бабий голос с улицы звал Анисью. Остальных бабиных слов было не разобрать из-за зимней рамы. Он окликнул мать, та проснулась и сразу, точно и не спала, покорно пошла в сени.

— Не сразу отпирай... опроси сперва, — шептал в ухо ей Семён, а та слушала спокойно, даже не кивнула, что поняла, уверенная, что пришли за ней самой.

Семён прислушивался и угадывал по звукам: вот мать отперла дверь, и в щель просунулись штыки. Мать вскрикнула, взошли люди. Семён быстро запер дверь избы на засов и огляделся, ища. Скользнула мысль — бросить в сени гранату, но там была мать. Ищущий взгляд его упал на окно, и вот выход был найден.

Сильными ударами винтовочного приклада он выбивал рамы из окна. Рамы были старые, дубовые, — затея домовитого Савелья, когда еще не отпробованы были царские розги. Летели осколки, и уже всходил бодрящий холод в разбитые стекла, — блестела звездами морозная

ночь. Под окнами различил Семён людские тени и тихие переговоры их. «Живьем взять хотят...» — понял Семён и последним ударом, зло усмехаясь, выбил расщепленные остатки рамы.

— Сенюшка... так ведь под окном они! — различил он прерывистый шепот матери из-за двери. И вот Семёну стеснило в груди, едва вспомнил ее сведенные, сухие пальцы.

— Прощай, мамаша! — отчаянно крикнул он и выбросил за окно все тряпье, какое нашлось на койке, завернутое в шинель.

Под окном, среди людей, разом раздались восклицания, и все скрывавшееся по ту сторону окна с неистовой поспешностью навалилось на Семёнову приманку. В середину той живой кучи метнул Семён гранату и разрядил наган. Почти тотчас же он выскочил из окна и побежал. Его спасли глубокие сугробы, молодые ноги и ночь. Два выстрела не достигли его, а погоню было некому устраивать. Лишь за пределом опасности, когда от бега зашлось сердце, он сел прямо на снег и так сидел, трудно дыша и обводя глазами ночное поле. Мягко мерцали звездным светом снега. Где-то за Дуплею — волчий лай. Семён все сидел, прислушиваясь к себе самому, к совершившемуся внутри его перерождению. Все прежние помыслы о крестовой войне с городом были отринуты. Здесь родился другой Семён, именно тот Семён Барсук, о котором впоследствии сами собой сложились песни и распевались на ярмарках, на пьяных гулянках, всюду, где тянут слепцы свои убогие пространные былины.

XVII. Егор Иваныч Брыкин выдает свой секрет

В том и состояло перерождение Семёна, что уже не сдерживала его прежняя осторожность. Как волки, заметались по уезду барсуки. Описывали круги, имея целью и центром советское село Гусаки.

Четыре раза суживались круги, и четыре раза загорались гусаковские овины, — отстаивали; и уже не обходилось без кровопролития каждый раз.

Передавались изустно слова, якобы сказанные старшим барсуком: «Мы председателей в уезде повыведем». Может, и неправда, но три раза до весны безлюдели в округе исполкомы. Выявлялся новый председатель, не больше дней сидел он в нетопленном, запустевшем исполкоме, чем срок, в который дотянуться до него невидимой руке Семёна Барсука. Под конец унылей, чем на мирскую повинность, смотрели Гусаки на возможность править одним из сел той незамиренной округи. Даже выдумал новую угрозу Половинкин непослушным: «Вот я тебя председателем в Сускию посажу».

Отряд Половинкина вырос неузнаваемо, но возрос в неодолимую ораву и барсуковский отряд, путеводимый теперь самим Семёном. Даже и крутые морозы — лопался лед на Мочиловке — не могли остановить враждующих в их безумных круженьях по снегам. Но встречи их редко оканчивались боем: как будто слишком мал был для их обоюдной ненависти разбег. Почти вся барсучья держава жила теперь на походе. В землянках оставалось лишь старичье да болящая команда, возглавляемая Прохором Стафеевым. Кашеварами называла их летучая часть, и те не обижались. Жибанда имел свой отдельный отряд, встречались они с Семёном только дома... То была неправда, к слову сказать, будто председателей убивали. Председателей копили, как деньги, на последний расчет.

А уже с февраля бежали резвые дни, запорошенные мокрым снегом. Все реже смягчала улыбка обострившиеся Семёновы черты, все чаще ходил на опушку сидеть на облюбованном пеньке и угадывать дыхание недалекой весны. Весна означала последнюю ставку, весна сулила исход, оценку всех его предположений и расчетов. В том же феврале и сообщил Жибанда ему, вернувшемуся из похода, новость, повергнувшую Семёна в ярость, тревогу и раздумья.

— А Брыкин-то хорош твой! — сказал Жибанда, отворачивая лицо в сторону и подымая бровь.

Дул мокрый ветер, прояснялось небо, — обещал месяц быть в ту ночь.

— Опять в шапку стрелял? — посмеялся Семён. — Гниль завелась?

— Гниль-то гниль, зубоскаль, пожалуй! Копилка сбежала! — Копилкой и называли ту землянку, где содержались пленные председатели.

— А дозорным кто у дороги стоял? — И кровь прихлынула к Семёнову лицу.

— Васька Пекин стоял... Только ведь они не по дороге пошли. Прямо снегом!

— Лыжи-то откуда же взяли?.. — недоверчиво косился Семён, ускоряя шаг к землянкам.

— У Митьки Барыкова Брыкин брал, будто я велел. А я не велел. Тут еще из Суский наезжал один, много на Брыкина сказывал.

— Ты куда ж посадил-то его? Я к нему схожу, — решил Семён.

— Кого это?

— Да Брыкина.

— Вот непонятливый! Да Брыкин и ушел вместе с ними. Только один там и остался... ну, вот с отмороженной ногой который!

Они входили в зимницу, захолодавшую и засыревшую за время Семёнова отсутствия.

— Затопи, друг, печурку, а? — попросил Семён, проходя к диванчику и валясь на него пластом.

— Можно, — отвечал Мишка и завозился на коленях у печки. Скоро затрещало в ней пламя, усердно раздуваемое Мишкой, и озарились красным светом надутые Мишкины щеки. — Друзьишки, нечего сказать, — говорил Мишка, подкидывая в печку дровяной горючий сор, — прямо на голову гадят! Заочно придется Брыкина твоего судить в острастку: не иначе как по половинкинскому приказу гадил. Гниль парень!

— Что Брыкин! Вот и приятель твой намедни пришел ко мне. Клад, говорит, нашел: баба средь нас. Хочешь, спрашивает, приведу? Бери, а то расхватают!

— Юда? — поднял голову Мишка. — Юда.

Печка трещала вовсю. Мишка сел в ногах у Семёна.

— Семён... — странно было слышать пьяного, говорящего в таком тоне. — Отымешь ты у меня Настюшку?.. Говори прямо, я не боюсь.

Семён не ответил, потому что дверь раскрылась, ударенная снаружи тремя, может быть, сапогами враз, и не-

сколько барсуков проскочило в зимницу. Сильные руки втолкнули вовнутрь что-то, подобие человека, кучу. Озлобленный и глухой галдеж сопровождал происшествие.

— Входи, входи... — крикнул Семён, отстраняясь от Мишки, и голос его был деланно тверд. Сам он подошел к столу и стал зажигать светильник. Фитиль отсырел. Спичка уже жгла пальцы, а огонь все не зажигался. Он положил остаток спички на фитиль, и тот затеплился чадно, скудно и желто. — Дверь-то закройте, все тепло упустите!

— Так как же? — подошел Мишка со стороны. — Решай, Семён Савельич!

— Насладиться хочешь перед смертью, Миша? — Семён оскорбительно обмерил Мишку, но тот заметил, несмотря на хмель, как зарделись Семёновы уши. — Ты, что ль, Егор. Иваныч? — наклонился Семён к сидевшему на полу. — Поди, зови, Мишка, ребят! — И опять наклонился над Брыкиным. — Судить тебя, Егор Иваныч, будем. Сам знаешь, в лесу, без стен, живем... — И уже вторично, уходя, учуял Мишка в Семёновых словах еле приметное волнение.

То были как бы остатки от Брыкина. Его и ударили всего один раз, покуда волокли в зимницу, об этом говорил подбитый глаз, но он сам уже развалился, как зрелый по осени плод. Егорова душа разлагалась заживо, и Брыкин сам созрел к смерти. Светильник потрещал и потух, робкое пламя не справлялось с водой, капельками стоявшей по застывшей поверхности жира. Больше светильника и не зажигали, довольствуясь неспокойным красным светом из печки.

...Зимница была втесную набита барсуками. Все стояли, потому что не было места сесть.

— Ну, зеленые атаманы, начнем теперь... — сказал Семён, а Мишка видел с удивлением: никогда Семён так не заискивал перед барсуками. Только Петька Ад, стоявший впереди, смешливо хмыкнул и тотчас же оглянулся на других.

— В Писании сказано: если рука заболит, руку и отруби... — тихо сказал откуда-то из угла Юда, награжденный тотчас же общим смехом.

И в последний раз подошел Мишка к Семёну.

— Может, прямо разменять его, а? О чем допрашивать, дело ясное! — Но уже видел: лошадь понесла, разбивая таратайку на бездорожье. Губы Семёна раздвинулись, обнажая влажный оскал зубов, зрачки потемнели. Мишка стоял в ожидании ответа, хмель его, казалось, прошел весь.

— Где его нашли? — резко и звучно спросил Семён, оставаясь в тени.

— А вот Подпрятов нашел, — пальнул Петька Ад.

— Подпрятов! — вызвал Семён.

— Он до ветру побежал... — сообщил Юда, и все засмеялись. — Иди, тебя начальник кличет! — потопал Юда на входящего Подпрятова, и опять родился недобрый смех.

— Ты где его нашел? — начал с нарочным безразличием Семён.

— Брыкина-т? — скосил глаза на сидевшего на полу с закрытыми глазами Подпрятов Андрей. — Вышел я до ветру...

— Да с чего ж это ты все до ветру ходишь? Больной, что ли? — вставил унизительно для себя Семён, и точно по сговору, барсуки ответили молчанием на Семёнову шутку.

— ...вышел до ветру, гляжу — чернота в снегу, за кустком, — продолжал Подпрятов, недовольный, что его прервали. — Подошел — человек. Я его тут пихнул ногой маленько, он тут и отвалился. Лежит, и все. Я взглянул, это он и есть, Брыкин!

— Вот, ребята... — начал Семён, поглаживая бороду.

— Земляки! — быстро прервал его Мишка Жибанда. — Может, нам его и без суда кончать?.. Кому суд, а кого и прямо на сук. Полевым судом его... а?

— Зачем! Обсудить надо, — сказал, сопя, Ефим Супонев. — Не горим ведь!

— Вот я и хочу сказать... — овладел вниманием барсуков Семён. — Брыкин — предатель, за то его и судим. А я предложил бы ему снисхождение дать, раз он не бежал... — Говоря, Семён старался поймать блуждавший теперь взгляд самого Егора.

— Ну, это уж совет зеленых атаманов порешит, — неуловимо дразня Семёна, сказал Юда.

— Конешно, чего тама? — сказал бородач в углу.

— Миром! — сказал Прохор Стафеев.

— Не спеша, ребятки, надоть... не спеша! — егозливо выступил приятель бородача и зачем-то поплевал на руки.

— Допрос, значит, можно начинать, товарищи? — спросил Мишка.

— Да уж путлять нечего. Не ужинали еще, — сказал угрюмо Гарасим, и, как только он сказал, все хором вздохнули.

— Начинай, — сказал Семён, и все сразу поняли, что и без Семёнова позволения все равно начался бы допрос.

Жибанда нагнулся к Брыкину и шевельнул его за плечо.

— Ну, подымись, — сказал он спокойно. — Садись вот на обрубок, — и ждал, все еще согнувшись над Брыкиным.

Тот пошевелил головой и застыл в прежнем оцепенении. Тогда Жибанда вскинул бровью, поднял Брыкина с пола и посадил на круглое комлевое полено, стоявшее посреди зимницы. Брыкин качнулся и стал падать с него, как неживой,

— Попридержи, — приказал Жибанда ближайшему.

Ближайшим оказался Гарасим-шорник. Он послушно вытянул руку и, взяв Брыкина за волосы, держал так, вертя брыкинское лицо то к свету, то к тому, кто задавал вопрос. А лицо Егорово было безжизненно, только шевеленье губ его, растрескавшихся и изломанных, показывало, что еще тлеет в нем чадный уголек сознания.

— Не держи за волосья-те! Под руки подержи... — заметил брюзгливо Стафеев.

— А я ему кресло, под руки-те держать? — огрызнулся Гарасим и еще сильнее поддернул Егора за волосы. Темная сила, которой светился Гарасим в ту минуту, была столь велика, что никто не посмел остановить его, а брыкинское лицо продолжало висеть в воздухе, как белая страница, на которой уже написан был приговор барсуков.

— Ну, что же, начнем теперь, — вздохнул Жибанда и помолчал, почесывая ногтем выбритый подбородок. — Ты, Брыкин, слышишь меня? — Он озабоченно глядел на шевеленье брыкинских губ. Опять помолчав, он вдруг приблизил свое лицо к брыкинскому и почти прокричал в упор: — Комиссара Половинкина кто отвязал... ну?

Лицо Брыкина постепенно оживлялось, точно спрыснули его живой водой; подобие румянца окрасило место над правой бровью и левое, странно заострившееся ухо.

— К свету, к свету его поверни... — заворчали барсуки, а Мишка внимательно наблюдал оживленье Брыкина по движеньям его губ.

— Марфушка босонога! — неожиданно громко отвечал Егор, выпрямился, открыл глаза, но снова закрыл их, ослепленный печным огнем. Жизнь, торопливая и суетливая, радостными струйками забегала в несогласных еще между собою мускулах его лица. Брыкин крикнул, и барсуки засмеялись от неожиданности. — Марфушка! — еще раз крикнул Брыкин и вырвал голову из Гарасимовой руки. — Я ее в кустах подслушивал... в клоки хотел стерву изорвать! Она ему, товарищи: «Женись, говорит, на мне, развяжу тогда...» — Глаза брыкинские блестели, он захлебывался своими стремительными словами и радовался тем, которые еще предстояло солгать: каждое слово удлиняло срок его существования среди живых. — Он и говорит ей: «Развяжи, тогда женюсь!» А она: «Напиты, говорит, запитотьку...» — Брыкин, подражая Марфушке, в точности передал выражение Марфушкина лица. — А он говорит: «Так ведь руки-то у меня связаны, как же я напишу?.. Ты развяжи сперва, я потом и напишу». А она: «Нет, тперва напиты». Уж я, батюшки мои, хохотал, вот хохотал... взопрел весь! — И, передернувшись как в судороге, Брыкин с видом какого-то безумного вдохновенья смотрел на барсуков.

— Ладно... — оборвал его Жибанда тоном, зачеркивавшим всю искренность Егорова показанья. И опять качнулся Брыкин на своем чурбаке, и опять шепнул Жибанда Гарасиму: «Попридержи, чтоб не съехал».

— Ну, а потом Марфушка сказала ему: «Ты голый», — и убежала. Так? — спросил Жибанда, щурясь и крутя усы.

— Так... — пошевелились брыкинские губы.

— А потом ты вышел и отвязал комиссара, — жестко вычитывал Жибанда. — Как же ты его отпустил? Ведь он жену у тебя взял.

— Полжизни у меня утащил! — жалобно прокричал Брыкин.

— И как же, без уговору ты его отпускал? — осудительно качнул головой Жибанда, дотрагиваясь пальцем до брыкинского лба. Брыкинский взор отразил испуг, сжатые губы — нехотение говорить.

В зимницу входили новые, становились в круг же. Тишина не нарушалась, но, когда Настя пробилась сквозь плотное кольцо барсуков, побежали шепотки, а Тешка, Юдин прихвостень, вздохнул громко и насмешливо, толкая Евграфа Подпрятова в бок:

— Эх, леденистенькая... куснуть бы!

Подпрятов не ответил.

— Значит, товарищи, выяснено... — голосом покрыл всех Мишка, — ...Брыкин отпустил комиссара по уговору. Что-де вот, отпускаю я тебя, а когда барсуков зачнут крошить, так ты меня выпустишь. Как, вина достаточная, товарищи?..

— Достаточная... хватит.

— Чего его мучить зря!..

— Жрать охота! — такие уже раздавались возгласы отовсюду.

— Погодите, погодите... зеленые атаманы! — с вкрадчивой дерзостью остановил их Юда и протискался вперед.

Общее внимание приковалось теперь к нему, а он глядел на Мишку, взглядом требуя согласия на что-то. Мишка, весь багровый от негодования, чесал себе правую щеку, а левую руку, сжатую в кулак, держал вдоль тела. Юда выжидал, а Брыкин опять стал оседать, точно окончательно сломился тот стержень, на котором держалось его человеческое достоинство. Гарасим переменил руку и опять поддернул Брыкина вверх.

— Скоро, что ль? Вся рука затекла, — недовольно сказал он.

— Счас, счас... Я вот жду, — сказал Юда тихо. — Миша, — прибавил он еще тише. — Я жду! — И все видели, как Мишка отрицательно покачал головой.

Из печки вывалилась горящая ветка и чадно горела на железном листе, набитом перед печкой.

— О чем это ты, Юда? — спросила Настя, и голос ее дрогнул. Она вызывающе смотрела на Юду, но Юда не ответил.

— Ну, раскрой им свою тайну, Егор Иваныч, — властно и в самое ухо, точно будил, сказал Юда.

А уже был брошен последний камень осужденья в Брыкина. Все лежавшее втуне на памяти у барсуков дружно обнажило свои смыслы, остриями направленные в Егорово имя. Вспомнилось, как пропадал он днями в долгих отлучках, а потом хвастливо угощал папиросками соседей по землянке. Как однажды, зайца приняв за человека, убежал в лес и разговаривал с зайцем... И сам Жибанда только тут сообразил о проскользнувшем мимо него брыкинском лице в незабываемую ночь похода на Гусаков. Сам Егор уже не слышал ни отдельных возгласов барсуков, ни точных и упорных вопросов Юды, которыми тот предварял свой последний удар. Расслабленное сознание Брыкина окутывалось дремой. Он открыл глаза и увидел тихие, мягко мерцавшие из-под ресниц глаза Юды. Но они жгли его и побуждали к действию.

— Братишки... — задыхаясь и всхлипывая, вскочил с обрубка своего Брыкин с открытым ртом; он делал руками движенья, точно играл в жмурки, точно не видел уже ничего вокруг себя и ловил наугад. — Братишки... А ведь Петьку-то Грохотова это я убил! Не он, не он, а я... я! — и всем телом вытянулся в жест, указующий в молчащего Семёна. — Не он... Как я уехал в лес, топор забыл. Я и воротился задворками, меня никто не видал... А лошадь в Бабашихиной оставалась. Дома взял топор, побежал рожью назад, в Бабашихину-т рощу. А как бежал, тут и увидел во ржи: мужик с Аннушкой... Я махнул тут топором-те... да все рожью, рожью, в лес! Рожь-те примята была... черная тужурка на ем... со ржи пыль несло... Я-те думал, что в Половинкина попал, ан не Половинкин!.. На топорище-т и осталась кровь... —

Он кричал все пронзительней, мечась по зимнице, и барсуки расступались, давая Брыкину место для последней суетни. — Не он!.. Ограбил ты меня, Семён Савельич! Все ты у меня взял, все... отдай, отдай мне мое! — рыдал Егор, цепляясь и руками и зубами за Семёна. Было нехорошо смотреть на него в ту минуту, как и на Семёна, отпихивавшего Брыкина коленями и кулаками.

Барсуки из чувства стыда за Семёна молчали, и никто не бросил в Семёна на этот раз осудительного слова. Некоторые из барсуков отвернулись даже, только Юда, стоя близко, не сводил глаз с ползавшего Брыкина, точно подбирал минуту, чтоб прекратить этот невозможный для слуха и зрения Егоров исход.

— Сеня, молчи... ничего! Не упади... не упади только... — жарко шептала Настя, уже не скрываясь от барсуков. — Твердо стой. Бей, делай что хочешь... не стой так, ну!

И Семён выстоял.

— Ну, летучая, как же про него порешим? — спросил он, с лицом почти спокойным.

— Чего же его мытарить! — недовольно сказал Фёдор Чигунов, глядя на ноги Семёну. — Нехорошо даже.

— Даже есть расхотелось! — удивленно вздохнул Петька Ад, весь в поту.

— Сам себя человек губит... и никто его не губит, а сам доходит до всего, — проворчал Стафеев.

— Распорядись, Миша! — заключил Семён и пошел вон из зимницы.

Настя пошла за ним.

— Дело поправимое... — намекающе шепнул Юда ей, проходившей мимо.

— О чем это он гнусит?.. — задержал шаг Семён, медленно повертывая к нему лицо.

— Иди, иди... я потом скажу тебе, иди! — просительно шептала Настя. — Я вернусь скоро, ступай!

...Тешка и Фёдор Чигунов подхватили под руки ослабевшего от крика Брыкина и повлекли вон из зимницы. На снежных ступеньках лестницы, сводившей в зимницу, растолкал барсуков Петька Ад.

— Товарички, а товарички... Дозвольте ему покурить, а? — торопливо забормотал он, готовый к тому, что

его осмеют, ударят, прогонят. — Егор, а Егор... — почти умоляюще залепетал он, тряся Брыкина за плечо. — На, закури! На, завтра уже не закуришь, на...

Он старательно натряс из кармана две щепотки махорки, все свое табачное богатство.

— Бумага у меня есть, счас дам... — сказал Юда и хлопнул Петьку по спине. — Вот дрянь... А утром я просил, так не дал!

Барсуки теснились кругом, тайком друг от друга наблюдая, как, присев на мокрый, растоптанный снег, старался Егор завернуть бумажку.

— Дай уж я тебе сверну... — выступил Дмитрий Барыков. — Ишь руки-те у тебя!

Он ловко сделал самокрутку и вставил ее Брыкину в рот. Лука Бегунов поднес огня. Егор курил порывисто, давясь дымом, глотал жадно, точно вместе с дымом хотел заглотнуть как можно больше и этого сумеречного неба, и снега на деревьях, и самих деревьев. Заметно было, что приторно-едкий дым махорки был ему отраднее и сытней холодного широко-снежного воздуха. Так в молчании прошла минута.

— Ну, хватит с тебя, — сказал Юда и уверенным щелчком выбил тлеющий табак из Егоровой самокрутки. Огонек упал в снег и затух.

XVIII. У Насти в плену

По скользким тропкам, еле приметным в сумерках, Настя побежала отыскивать Семёна. Стояла оттепель, снег стал вязок, и даже на утоптанной дорожке проваливался след. Чудилась капель, — таким звуком был напитан воздух.

Она нашла Семёна на том пне, куда, она знала, ходил Семён в минуты участившихся упадков. Чутьем догадавшись, что он тут, она подходила осторожно, точно боялась спугнуть свою добычу шорохом задержанного дыхания. По звуку ей показалось даже, что Семён плачет, но это было неверно: обманчивы сумеречные шелесты леса. Настя, вытянув шею, старалась

рассмотреть его и сломала сучок, на который поставила колено.

— Это ты? — спросил, не оборачиваясь, Семён.

— Да.

И почти одновременно с этим он ощутил властное и спокойное прикосновение холодной Настиной руки.

— Ты — не надо. Все равно уж теперь. Ну, о чем ты? — и продолжала гладить его по щеке любовно и утешающе.

— Проиграли мы, Настя, — неуверенно сказал он и не гнал ласкающую руку. — Расползлись... Подкрепленье обмануло.

— Рано еще. Вот весна придет, по весне и разольемся. В Бедряге, говорят, опять замутилось... — выдумала Настя наугад.

— Не о том, не о том... — раздражился Семён и вдруг, откинув Настину руку с лица, встал. — Ну что ж, пойдем куда-нибудь!

— Ты простил, простил меня... да? — заволновалась Настя и уже влекла его за руку куда-то вдоль опушки по рыхлому, глубокому снегу. Вдруг она обернулась и заглянула ему в глаза: — О чем ты думал сейчас, скажи?

— Не скажу. — И Семён, взяв за сучок, отряс от снега можжевел, стоявший возле них. — Посох для бродяги хороший выйдет! — вслух подумал он и прибавил Насте: — Не о тебе только...

— Ты о Мишке думал, я знаю. Думаешь, уйдет? Нет, — сказала она уверенно. В небе выкатывались звезды, подмораживало. — Мишка весь мой... Ты лучше за меня держись! — Она, кажется, смеялась. — Вот в Юде теперь все дело, он мутит. А Юду убить можно... Но ты сам убей его! — Они опять шли, а Настя раздумчиво обсуждала выходы, которые им оставались.

Так они шли до сторожевой землянки. Уже стемнело. Высокий сугроб лежал поверх наката, и дверь, казалось, вела куда-то в снег. Семён стоял в нерешительности, будто не понимал, зачем на бесцельном их пути встретилась теперь землянка. Тут сухой выстрел раскатился по верхушкам леса, и следом за ним — второй. Семён не слышал Насти, звавшей его из растворенной уже двери.

— Тут одной ступеньки нет, не поскользнись! Ну, скорей же... — Она запирала дверь на засов. — Теперь ты в гостях у меня... в плену! Тебе ничего, что жарко у меня? Я люблю жарко, с детства привыкла... — Она сама обжигающе смеялась, а Семён впервые видел ее такою.

Он стоял у печки и недоверчиво, исподлобья, наблюдал Настю, суетившуюся по землянке. Фитиль коптилки, лениво колыша пламя, с шипеньем облизывал черепок, где уж не оставалось горючего.

— Вот... от обеда осталось. Ты не хочешь есть? Ешь, я разогрею. Нет? Ну, тогда кури. Вот у меня есть, Мишка подарил. — Она положила на крохотный столик папиросы горстью и села против Семёна, вся звеня смехом. — А ты думал, убежишь от меня? От меня нельзя убежать. Ты туда не гляди, — она досадливо кивнула на дверь, — ты на меня гляди! Ведь ты знаешь, я все равно подстерегла бы тебя... не на Брыкине, так...

— Брыкин меня в Москву вез, — вспомнил Семён и барабанил пальцами в лавку, на которой сидел. — Как его захлестнуло-то!

— Брыкин? Что Брыкин! Брыкин — дым. И Мишка — ничто... — Она села на ту же лавку, где сидел Семён. — Ты ведь если захочешь, ты их вот так, вот так... — Она хрустела пальцами и жгла дыханием серое, большое Семёново ухо. — Ты, да вот Юда еще... Но Юду можно убить, я уже говорила тебе. Ты замани его в лес, вот хоть бы в Исаеву Сечу... Или, еще лучше, в Матвейкин сосняк, а там один на один! Хочешь, я Мишке велю?.. Ведь они в одной землянке живут, проще и не придумать... — Она о чем-то напряженно думала. — Но послушай, отчего ты сам не убил этого Петьку?.. И ведь он прав, пожалуй, ведь ты ограбил его, Брыкина! Ведь он только это и свершил за весь свой срок... Ничего, ты не хмурься! Ты мне даже ближе теперь, потому что я знаю про тебя. Ты непонятный, а я понимаю! Ну-ну, не сердись... — Она сделала движение поцеловать его, но Семён откинулся, как в испуге, и поцелуй пришелся в бороду. — Обстриги! — обиженно бросила она, готовая заплакать. Ее взор упал на папиросы, она взяла одну, закурила и тотчас же бросила, недокуренную. — Какие горькие! — сказала она, кашляя с дымом.

— Стучат, кажется... — прислушался Семён.

— Стучат?.. — прислушалась и Настя и побежала к двери. — Это ты, Миша? Здесь у меня Семён, слышишь? Уходи, здесь у меня Семён. Не хочу больше тебя! Беги, ну... — кричала она через дверь.

Больше не слышалось ни звука из-за двери.

— Ушел, — сказала Настя, стоя у двери. За приспущенными ресницами теплилось черное пламя ее глаз.

— Зачем ты так? — поморщился Семён и закрыл лицо руками.

— Не смеет входить, когда ты здесь, — убежденно произнесла Настя. — И все равно теперь! — прибавила она через минуту, садясь рядом.

Семён глядел в ее лицо и впервые видел малую впадинку кори на ее щеке. Вспомнилась родинка Кати, та была выпуклая. Семёну хотелось еще рассмотреть Настину конопатинку; но в ту минуту фитиль отчаянно мигнул и потух.

— Всегда это он у тебя так тухнет? Вовремя... — засмеялся Семён, а голос его был груб и горяч. Теперь ему уже почти безразлично стало все, чем грозила близкая весна.

...Этот выстрел был как бы последним словом, которым мир оценил Егора Брыкина. Похоже, будто бросили Егора со всего размаха в глубокие воды людского забвенья: колыхнулись темные и затихли. Одно лишь осталось в напоминанье: Петька Ад, гонимый по путям жизни добротою большого сердца и суеверьем малого ума, вырубил топором три десятиконечных креста в разлатых елях, возле места Егоровой гибели. Три и десятиконечных — потому, что уже забыл Петька веру отцов и знал одно: чем больше у креста концов, тем истовей крест, и чем больше самих крестов, тем действительней на всякую беду. Февральские морозы хвастливы. Древесина трех елей, обнаженная крестами, проиндевела, и, когда сумерки, мерцали кресты робкой инейной белизной.

Тот же выстрел по Брыкину отметил в мокрых скучных днях начало новой Настиной связи. Была она подобна последней вспышке бурного огня на догорающем пожаре. Имелась какая-то смутная последовательность в

том: когда-то в юности — робкая лампадка в снегу, потом, в снегу же, — холодное горенье папороти, и вот — огонь в снегу; Семён, потерянный и скользящий, целиком отдавался на Настину любовь. Ночи для них стали коротки и недостаточны для неистовств задержанной любви.

А тут еще немного подвалило снега: им-то и обновилась белизна равнин, тронутая кое-где проталями. Расстояния опять удлинились, и мнились Гусаки в столь дальней стороне, куда не доскакать в неделю даже и на Герасимовых конях. Туда теперь уходили Семён и Настя в сопровождении отряда, там и вели свои любовные шалости, по дерзости граничившие с безумством. О Мишке, безвыходно сидевшем в землянках, вспоминали с чувством смущенной жалости. С того вечера, как допрашивал Брыкина, задичал Мишка, стал бросаться в несуразицы, которыми отгораживался от тоски. Сперва хор песенников завел из лежебоков, какие поленивее, — пели во всю глотку, на весь мокроснежный лес, но через неделю надоело: леса доверху не накричишь. Потом собрал артель, — столярили столы с господскими капризами, один затейнее другого: бесилась остановленная в разбеге сила. Потом стал Мишка в одиночку гореть; целые ночи усердничал обломком сапожного ножа над непослушным дубовым поленом. Плохо слушалось дерево, а резал Мишка, в посмешище тоски своей, розан неестественной величины. И все же, едва вечер, шло само собой его воображенье по заветной тропочке, между можжевеловых кустов в пустую землянку Насти.

Однажды — опять пробуждалась весна — домой вернулся Юда поздней ночью:

— Все кромсаешь! Ишь, даже и рукава засучил... — пошутил он, садясь возле, с недоверием глядя на Мишкино изделие; тот не откликнулся и молча закурил предложенную махорку. — Семь пудов мяса раздобыл да еще свинку одну реквизировал! — сообщил Юда. И опять Жибанда не ответил, точил нож на камне, пыхал дымком. — Миша, — заговорил проникновенным голосом Юда, — слушай меня хорошо, Миша. Это ведь я тебе тогда шапку прострелил. Я нарочно так и стрелял, чтобы не убить. Я человек такой, что обиду до конца помню, не

могу простить, забыть — у меня сил не хватает, я и хотел напомнить тебе! А я — открытый человек, я и говорю тебе: меня бойся, Миша! Наши дорожки узкие, муравейные. И очень я тебя люблю, а укараулю... Разобидел ты меня, Миша, до слез разобидел!

— Чем же это? — щурясь от дыма, ползшего из самокрутки, спросил Жибанда и посмеялся.

— Бабу ты свою проворонил, а дружку своему, который ровно брат к тебе, потешиться не дал. Очень плохо! Уж у этого ты теперь не вырвешь, тю-тю. Я бы и сам мог, без спросу, да без спросу не хочется... Все и дело-то в том, чтоб твое дозволеньице иметь. Эх, Мишка...

Жибанда глядел на Юду, так стиснув нож в руке, что досиня напряглась какая-то жила вплоть до самого локтя.

— Вот и теперь обижаешь, — спокойно сказал Юда и покачал головой на нож. — А ударить ты меня все равно не ударишь... нельзя брата прямо с лица бить! Хуже потом для тебя же будет, потому что ты человек совестливый, я знаю.

— Уйди ты, Юда, куда-нибудь... хоть на минутку уйди, — с волнением попросил Жибанда, кривя лицо, точно глотал горькое, противное.

— Не могу уйти, поколь все не выскажу. Баба твоя, прямо скажу, пустяковая. Только кажется, будто есть что-то в ней. Мы таких по прошлому году... Конечно, как бы лампадочка в ней, затушить лестно... Э, да что там!

— Да уйдешь ли ты, чертово дупло?! — завопил Мишка, вскакивая.

Юда все стоял, глядел на дубовый розан, обдергивая поясок.

— Уйду, да... — грустно сказал он. — Пойду, начальнику твоему скажу, новости передам. На станцию я вчерась заходил. Мы-то вот и не знаем еще, а там уже все готово... Броненованного поезда ждут завтра, немаловажный гость на нем. Комиссаром смерти, вишь, его кличут! — И Юда тихо рассмеялся такому небывалому слову. — Ну, ты не горюй, Миша. Не вечно ж нам тут сидеть. Да-кось я тебе махорочки отсыплю... Вот в эту хоть посудинку! — И он горстями стал насыпать махорку в тот резной цветок, над которым четыре ночи протосковал Мишка.

XIX. Антон

Брыкин был щелью, сквозь которую вытекали известия о барсуках в уезд. Но щель заткнули, и даже слухи смолкли. Шло время, набухали почки на деревьях, шумела теплынь в телеграфных столбах, почти обсушились дороги. Тут удар: барсуки сковырнули с насыпи поезд, шедший с продовольствием в уезд. Не прошло дня, новое: барсуки пьянствуют под самым городом, в бывшем монастыре. Еще через день опять: барсуки, числом шестьдесят человек, с песнями прошли по главной улице уезда и скрылись в неизвестности.

Теперь уже ежедневно, даже вошло в привычку, рассылал Брозин тревожные, призывающие жалобы. Не было уже в них никаких словесных украшений, а один сплошной вопль тонущего в бурных водах половодья. Поэтому в губернии вняли наконец брозинским призывам. Из губернии был послан товарищ для обследования. Этот налетел как буря, дал Брозину нагоняй за несообразительность, даже пригрозил сместить. После того товарищ отправился на мотоциклетке в Гусаки, чтобы на месте вникнуть в корень всего дела. Однако до Гусаков он не доехал, расследования не произвел. Барсуки, осведомленные теперь обо всем, протянули через дорогу проволоку, скрученную впятеро, как раз на уровне шеи. Мотоциклет, прокатив после того еще несколько сажен, завяз в ольховнике, пугая необычным треском вечерних воробьев, безмятежным чириканьем встречавших весну.

Весть о гибели товарища была последней, которую прошумели телеграфные провода. На другой день провода оказались перерезанными. Это всколыхнуло губернию. За подписями, более действительными, чем незначительное имя Брозина, было послано сообщение в центр. И не прошло дня, как уже, минуя станции и полустанки, гремя сталью на стрелках, несся поезд туда, где маячило угрозой бунтовское имя Семёна Барсука.

Поезд прокатил мимо остатков разбитого эшелона, лежавших под насыпью, в грязноталом снегу, и остановился на станции, с которой когда-то ехал женихаться в

Воры Брыкин. На станции еще с утра ждали прибытия каротряда сам Брозин и председатель уездного исполкома. Имя приезжающего товарища было уже связано в их представлениях с понятием о спокойной воле и твердой неустрашимости, — то, чего как раз недоставало Брозину. Знали Антона и как неоднократного укротителя многоразличных бурлений, ждали не без некоторого смущенного волнения.

...Закатывалось солнце. Его косые, ленивые лучи равномерно ложились и на вылезший из-под снега песок насыпи, и на дальний бурый лес, и на облезлые стены станционных строений, сообщая всему блекло-оранжевый отлив. Блестело оранжевое же в рельсах, убегавших в холодную весеннюю тишину, блестело в четких паровозных частях, шипящих, дымящих, истекающих смазкой. Поезд был не бронированный, Юда солгал, но паровоз был хороший, чудом уцелевший от паровозной чумы. Пятнадцать новеньких теплушек и один пассажирский вагон не составляли для него какой-либо обузы.

Брозин стоял на станции вместе с предисполкома, рассеянно наблюдавшим, как из теплушек выскакивали Антоновы люди, и глядел на небритую, впалую, с обвисшим усом щеку предисполкома, также окрашенную светом опускающегося солнца. Огромный простор лежал вокруг, и весь он трепетал, казалось, животворным весенним вольным духом. Брозину стало прохладно в кожаной тужурке.

— Сергей Семёныч... — позвал он предисполкома. — Зайдем, что ли, в вагон к нему знакомиться, а?

— Так ведь он сам выйдет сейчас... стоит ли? — колебался предисполкома, пощипывая редкие волоски своей бородки. Он повернул к Брозину скуластое мужицкое лицо, защурились маленькие и грустные его глаза. — Что тебе в нем? Центровик как центровик, и ничего боле!..

— Ну так что ж! — попетушился Брозин и попросил папироску, но папирос у предисполкома не было. — А большого, знаете, размаха человек. В губкоме его очень хвалили, — и пыхнул воображаемым дымком. — В Самаре в неделю справился! — видно было, что он гордится при-

ехавшим Антоном. — Новости московские порасспросим, а? — соблазнял он предисполкома, но тот все глядел, не моргая, на мутневший диск солнца, покидавшего на ночь его уезд.

— А ну и зайдем, пожалуй, — нехотя согласился тот, затопорщив брови и отрываясь от солнца. Он еще шире распахнул свой полушубок. — Жарко становится, — сказал он. — Пойдем, пойдем... я не отказываюсь!

Люди галдели и топтались на защебененной платформе. Один какой-то, рослый и в шапке-кубанке с красным донцем, дружелюбно мял другого, латыша, крупного, невозмутимого, стоявшего, как гора супеси, — обхватывал за плечи, за шею, силился пригнуть к земле. Остальные стояли кругом, задорили, шутливо советовали гнуть ниже, обхватывать плотнее. В стороне несколько хозяйственников щепой и мокрой соломой разводили огонь под чайником, висевшим на штыке; штык был вбит в дерево, уже облепленное весенними почками. Хозяйственники внимательно проводили глазами предисполкомова спутника, побежавшего вперед.

— Посудинка-то уж больно мала у вас, скудна... — сказал предисполкома, кивая на чайник. — Не хватит на всех-то!

— Нам эта посудинка три похода выслужила. Колчака с нею били, — сказал один, самый неказистый с виду, глядя себе за пазуху, за оттянутую гимнастерку. Он поднял глаза на остановившегося возле него предисполкома, и оба засмеялись: маленький сидел на доске, оторванной неизвестно откуда. — Она не нужна там, валялась... — оправдался маленький, плотнее усаживаясь на доску, о которой намекал. — Без дела торчала.

— То-то без дела! — усмехнулся предисполкома и пошел дальше.

...Они поднялись на площадку пассажирского вагона; часовой потребовал документы. Брозинские щеки зарумянились, и пока целых три минуты искал в карманах какой-нибудь бумаги, ощущал особенно ярко, что он совсем не страшный, а даже маленький во всем том урагане, который приходит внезапно и глубоко разрыхляет слежавшиеся, обесплодившиеся слои. Первым проходя

в вагон, он вдруг сгорбился и оглянулся на предисполкома: тот уже застегнул на все крючки свой нагольный полушубок. Что-то поняв, Брозин хотел сделать то же самое, но запутался в пуговицах, застегнул как-то вкось, опять расстегнул, смутился и тут увидел Антона.

Перегородки в вагоне были убраны. Было пусто и просторно. Оранжевые блики на стене, падавшие в окно, служили ныне единственным украшением неприютного Антонова жилища. У задней стены низкая дощатая койка на поленьях была застлана серым одеялом с каемкой. Два окна забиты досками, одно сверх того завешено полосатой матрасной тканью, по четвертому звездами разбегались трещинки, имея центром дырки от пуль. Все говорило о долгих и опасных мытарствах, вынесенных вагоном в путях товарища Антона. Стоял еще стол возле койки, на нем лежала бумага и почему-то горела свечка — пламя ее, еле приметное в солнечном блике, качалось. Ни книг, ни хлеба, ни оружия не лежало больше на столе; даже газеты отсутствовали. Сам Антон, оранжевый от солнца, несмотря на зеленую гимнастерку, неподвижно стоял возле пятого по счету, пыльного и немытого окна и, не моргая, глядел на расстилавшиеся вокруг станции дымчатые, оранжево-голубые пространства.

— На виды наши любуетесь?.. — улыбчато сказал Брозин, ощутив прилив бодрости, потому что справился наконец с пуговицами, прежде чем увидел его Антон.

— Здравствуйте, товарищи! — не сразу произнес Антон и сделал шаг к вошедшим, а Брозин сразу заметил, что приезжий хром.

— Вот... погреться зашли! Замерзли, как два цуцика... — улыбаясь, сказал Брозин и тотчас же упрекнул себя за непозволительную фамильярность тона. — Холодно у нас тут! Весна наша не особенная... — и искал папирос на Антоновом столе, но папирос там не было. — Чего-нибудь курительного нету у вас?.. — заикнулся он, стремясь придать себе простоту и общительность в глазах Антона, но курить ему уже не хотелось.

— Это ты и есть здешний председатель? — не без любопытства спросил Антон, охватывая Брозина коротким взглядом.

— Нет, не я... Это вот он! — испугался чего-то Брозин и обернулся к предисполкома.

Тот стоял в тени, глядя на горевшую без смысла свечу.

— Ну, здравствуй, — сказал Антон, подходя к предисполкома; тот поднял глаза. — Что это вы тут бедокурите?

— Мужики! — вздохнул предисполкома и переступил с ноги на ногу.

— Мужики, чего вы хотите! — повторил сбоку Брозин. — В хвосте революций, товарищ! Возьмите вот хотя бы французскую... Например, Вандея!

— Ты что ж, в газете местной работаешь? Пишешь, что ли? — прервал уже без всякого любопытства Антон, глядя в полуоторванную пуговицу брозинской куртки.

— Статейки иногда... работы много! — заторопился Брозин и ждал, что Антон спросит его о месте службы, но Антон не спросил.

— Будь добр, поди позови сюда начальника станции, — не меняя тона, попросил Антон, все глядя на несчастную пуговицу. — Найди и приведи...

— Часовому сказать?.. — поправил вопросом Брозин.

— Как же часовому? Часовой, значит — ему на часах и стоять. Ты сам сбегай! — убедительно проговорил Антон и отвернулся к предисполкома. — Садись вот тут, поговорим давай... — Антон указал на койку, по которой разлеглись теперь рябые оранжевые полосы. — Кури, если хочешь, сам-то я не мастак по курительному делу. Так, на всякий случай, имею... — и достал из корзиночки, стоявшей под койкой, уже распечатанную пачку папирос. — Возьми себе одну папироску! Это тебя Сергеем зовут? Ну-к, вот тебе Никита кланяться наказывал, он теперь там у нас по военному делу орудует... Помнить велел!.. Сам-то из мужиков, что ли?

— Да, я здешний. Да ведь и Брозин здешний... вы напрасно на него давеча напустились. В нем масштаба, конечно, нет, мужиков опять же не знает! Вот насчет Зинкина луга напутал... А так вообще он хлопотливый, преданный, ничего... — конфузясь, говорил предисполкома. — Я-то на крахмально-терочном тут работал...

— На крахмальном! — Антон помолчал. — Патоку-то ведь там же выделывают? Я вот, кстати, — начал он, уса-

живаясь плотней и разглаживая обшлаг гимнастерки, — давно интересовался... Картофель после варки... что там с ним делают? Мнут, что ль, его как?

— Да его и не варят совсем... — полусмущенно улыбнулся предисполкома, стряхивая в ладонь пепел с папироски. Он недоверчиво заглянул в лицо Антона, но там не было и тени какого-либо заигрыванья. — Такое корыто, как бы винт посреди... он картошку моет и проганивает. А потом в валеру! Там...

— А валера это что? — спросил Антон.

— Валера-т? Ну, чан такой, аршин шесть впоперек, — и опять усмехнулся предисполкома; и опять машинально стряхнул табачный нагар. — А потом вакуум-аппарат... туда, конечно, серная кислота прибавляется...

— Для чего?

— Как для чего? — простодушно удивился вопросу предисполкома. — Для производства!

— А! — сказал Антон и как будто тоже усмехнулся. — Ну, серная кислота...

— Да вот, серная кислота... У меня вот до сих пор ожог от нее. Брызнуло как-то, черт ее знает...

— И у меня тоже ожоги были на руках... только у меня не от серной! — вскользь заметил Антон.

— Так ведь это часто у нас чего-нибудь выходит. У меня вот братеня в этой самой валере замотало. Он полез чистить валеру-те, а там весла такие, картошку с водой мешают. Мастер спьяну пустил машину, ну, братеня и начало хлестать! Как чиркнуло по ногам, он так и перекувырнулся... Его по голове тогда... Он опять перевернулся, и опять его по голове. Обрубок заместо парня вытащили! — Предисполкома становилось говорить гораздо легче, чем вначале; он удивился и опять заглянул Антону в лицо.

Тот был широк в плечах, и всего его, угловатого, плотно и скупо охватывало зеленое сукно. Нигде не видно было ни одной пуговицы: пуговицы были спрятаны у него. Солнце падало ему на коленку, она была широка, со впадиной; чашка была ниже и сильно выдавалась вперед. Лицо Антона было серо, точно всю жизнь в сумерках прожил.

— Много вас там работало? — спросил Антон, и хоть был строг его вопрос, не было от него холодно.

— Пожалуй, около сотни что-нибудь. Да нет... и сотни не выйдет! На крахмальных ведь только по осени и работа, когда картошка. Да и, как сказать, мужики ведь работают. Вот нас оттуда только трое и вышло!..

— Но ведь и другие заводы есть? — спросил Антон.

— Как же! — дернулся вперед предисполкома. — Пеньковых есть два, льнопрядилка еще... Маслобоек вот четыре цельных!

— Лесопильный еще... — спокойно вставил Антон, снимая пылинку с гостева колена.

— Это какой лесопильный? — удивился предисполкома.

— Да Егоровский-то!

— А! Да ведь сгорел Егоровский-те, в позапрошлом году сгорел, — и виновато поиграл пальцами. — А вы что, бывали у нас раньше?

— Приходилось, — неопределенно отвечал Антон и отошел к окну — Ты меня зови на «ты», я не люблю... — прибавил он уже от окна.

Вечер уходил. Оранжевые полосы лениво ползли по вагону. В соседней теплушке пели, — в припевы пламя на столе начинало дрожать: песня была громкая, задорная.

— Там что... Суския виднеется? — спросил вдруг Антон, показывая на белую, в меркнувших потоках солнца церковь.

— Не-ет, это Бедряга! — поправил предисполкома.

— Ну да, забыл! Суския же потом... — чуть заметно смутился Антон.

— Нет, сперва будет Рогозино, четыре версты... а потом уж Суския.

— Верно, верно... — И Антон впервые за все время разговора улыбнулся. Улыбка у него была какая-то губная: улыбались одни губы, глазам же не было никакого дела до губ, у них было свое занятие — глядеть.

Тут щелкнула ручка двери, вошел Брозин, а из-за спины брозинской высматривало красное потное лицо. Брозин был роста высокого, и даже, пожалуй, чересчур.

А потное лицо сунулось вперед, но попало в пучок лучей и тотчас же пугливо откинулось назад.

— Иди сюда, поближе... вот сюда иди! — сказал Антон, не двигаясь от окна. — Это ты начальник станции?

— Нет... я помощник, — взволнованно отвечал тот, отрицательно покачал головой и взмахнул фуражкой. Руку с фуражкой он держал вдоль тела, правую руку держал на ремне; на пальце его блестело обручальное кольцо. Он был в синей ластиковой рубашке, но холодно ему, очевидно, не было.

— А начальник где? — поморщил лоб Антон и почесал руку выше кисти.

— Уехал-с. Телку-с поехал случивать... Хотел заодно уж и к жене заехать, у них там жена живет-с!

— А звать как? — спросил Антон, отходя к столу, где бумага.

— Жену-с? — покосился потный на предисполкома.

— Не жену, а этого вот... начальника твоего.

— Его — Аркадий Петрович, а жену...

— Да нет, не то! Я фамилию хочу узнать. Какой он мне Аркадий Петрович! — без тени раздражения оборвал Антон, наблюдая, как при каждом дыхании помощника двигалась заплата на его рубашке над ремнем.

— Усердов ему фамилия. Аркадий Петрович Усердов! — почти выкрикнул помощник, изнемогая от самых различных ощущений.

— Не больно усерден... — холодно сказал Антон, приписывая что-то на узкую полоску бумаги, уже исписанную на две трети; кстати он пальцем притушил свечу. — Ты, будь добр, не отводи меня на запасный. Ночью съезжу в губернию, а вот утром... там уж твой гость! И потом, там в паровозе неисправно что-то... Сделай услугу, поправь до ночи. Там тебе машинист скажет что. — И только тут заметил: — А кольцо где же? Вот на руке у тебя было?

— Снял-с — с вытаращенными глазами и в ужасе прошептал помощник.

— Зачем же ты снял кольцо, чудак ты, я ведь не украду... — неприязненно улыбался Антон.

— Обручальное-с! Может, думаю, не понравится. Я и снял-с...

— Ты сколько лет на этой дороге служишь? — строго спросил Антон.

— Пятнадцать... — совсем тихо сказал помощник, и заплатка на его груди задвигалась быстрее.

И снова комиссар Антон глядел в окно. Солнца уже не было. Зайчики на стенах потухли. В вагоне сразу наступили сумерки. Брозин, склонясь к уху продисполкома, убеждающе шептал что-то.

— О чем вы там?.. — обернулся Антон. Предисполкома жевал папироску, потом наклонился и взял свою шапку с койки.

— У нас вчера беда тут случилась... — Он поморщился. — Товарищ из губернии... поехал в Гусаки, село у нас такое!.. Ну, а барсуки проволоку протянули. Так вот тело его сейчас привезли... Приказ был доставить в губернию.

— Может быть... — вкрадчиво начал Брозин, и в голосе его проскользнула большая искренняя убежденность. — Я вот тут предлагал митинг бы для ваших ребят устроить по этому поводу, а? Я бы мог выступить, потом вы, да и он тоже...

Антон будто не слышал.

— Пойдем сходим к нему, — сказал он, не выделяя слов, и пошел в угол накинуть на плечи шинель. — Он где?

— Там, за платформой, у дороги... — почти шепнул Брозин.

Они вышли из вагона и перешли платформу. Горели костры под насыпью, толкались у походной кухни люди. В небе, еще не утерявшем голубизны, сияла первая звезда. Стало совсем прохладно и дрожко.

Крестьянская подвода стояла сейчас же за телеграфом, привязанная к столбу, где когда-то стояла иконка, на которую крестился Брыкин в приезды домой. Понурая клячонка вяло жевала сенную труху, кинутую прямо на снег. Несколько человек из приехавших с Антоном стояло кругом. Сам возница, мужик в валяной шляпе и с неразборчивым лицом, отошел за надобностью подальше в поле. Антон подошел к телеге и, приподняв рогожку

с лежавшего под ней, долго глядел. Брозин засматривал через его плечо, хотя места и было достаточно.

— Ишь ведь как они его... догадливо! — как бы про себя и кривя губы сказал Антон и обратился к подошедшему вскоре вознице: — Вы там хоть бы лицо ему отмыли! — тихо упрекнул он.

— Прикасаться не велено! В прежни-то времена так за это бы знаешь как?.. А не токмо что! — с пронзительной готовностью прокричал возница, помахивая снятой шляпой.

— Та-ак, — медлил Антон и все глядел на мертвого. Брозину, забежавшему с другой стороны, показалось, что один глаз у Антона стал меньше другого. — Ты его знал? — спросил Антон у предисполкома.

— На партконференциях встречались... Башковитый, из губкома он!

— А... из губкома, говоришь? — повторил Антон и осторожно опустил рогожу, точно боясь разбудить. Была необычайная торжественность в этом: чужой человек молча приветствовал чужого же, но о котором знал уже, казалось, все, с которым связан был кровней, чем с братом, и которого впервые видел обезображенным. Весенняя тишина была чутка, глубока и холодна, как родниковое озеро. Меркли тени.

— А ну, товарищи, — сказал Антон своим, стоявшим вкруг без шапок. — Вы снесите его ко мне в вагон. Он со мною в губернию поедет. — И, заметней хромая, отошел от подводы.

Какая-то птица пересекла воздух, шумя твердым, негнущимся крылом.

— Мы вон там и присядем, — сказал он уездным и показал на раскиданные возле стрелки шпалы.

— Митинг-то как же?.. Будем устраивать? — настоятельно лез Брозин, падая духом.

— Эк какой нескладный ты! Кого ж ты митинговать-то будешь — меня, что ли? — досадливо повернулся Антон.

— Нет... зачем же вас! — замялся тот. — Вон их... — Он кивнул на пылавшие в отдалении огни.

— Так их нечего уговаривать, — криво усмехнулся Антон, садясь на шпалу. — Они крепче нас с тобою стоят.

Моих пятьдесят человек положение на фронте не раз спасали... понял?

— Понял, — ошеломленно повторил Брозин и, чтоб выйти из неловкости, спросил: — А вот ногу вам... тоже на фронте, значит, подранили?

— Нет, это еще с детства у меня... — недовольно откликнулся Антон и обернулся к предисполкома, досадливо мявшему хрусткий весенний снег в ладонях. — Ну, рассказывай...

XX. Внезапно является Половинкин

...Глубокие снега — малые воды. Не случалось в тот год ни бездорожья, ни долгой пасмури. В неделю сошли льды с Мочиловки, а снега с полей. Засверкал зеленью Зинкин луг, веселая вставала озимь. Потом буйно вскурчавились леса, и дни пошли заметно крупнеть.

Пахали, — хорошо было птицам смотреть сверху на распаханные квадраты земли. Погожие дни не замедляли обычного порядка работ. За пахотой пришел срок посева. Сеялось вольготно, даже радостно, точно яровым хотели заслонить от памяти тяжкий грех минувшей осени. Из-за весенних работ распался сам собою половинкинский отряд: мужиков тянула земля. И хоть никто не тревожил теперь мужиковского сна и совести, владело мужиковскими ночами томленье духа. А события пошли уже со скоростью огня, когда мчится он по сухому полю, подгоняемый ветром.

Поезд Антона стоял по-прежнему на запасном пути. Туда и ездили с докладами и председатели волостей, и власти уездные, и власти заводские: на то имелась бумага у Антона, а на бумаге — самая большая печать. Самого Антона как-то не приходилось видеть никому. Приезжих принимал Половинкин, записывал цифры, хвалил, ворчал, — заменял Антона. А в это время уже были расклеены по волисполкомам короткие уведомления, подписанные самим Антоном. Извещалось полное прощение всем мужикам, преступившим по недомыслию закон и совесть, буде явятся они к Антону, начиная с 12-го сего мая. О дезертирах и барсуках не кинуто было ни одного,

хоть крохотного, хоть сколько-нибудь намекающего на милость слова.

На дуплистой березе, возле самых барсуковских землянок, было обнаружено Юдой точно такое же объявление, только слова в нем стояли какие-то смутные, скользкие: «смотря по вине». Меньше чем через час об этом знали уже все, а через два часа был созван в Семёновой зимнице совет для обсуждения плана действий. Когда расселись верховоды по темноте, — а большая часть толпилась снаружи, за открытой дверью, — уже вторично, при свете спички, зажженной Жибандой, прочел Семён вслух Антоново посланье. И, не давая времени барсукам впадать во вредные раздумья, тут же стал говорить. Первые его слова были встречены дружным ворчаньем, потом слушали внимательней. А Семён говорил в тот раз складно и сильно, как никогда, всего себя вливая в горячие, искренние слова. Лицо его стало как-то сердито и внушительно в черной оправе бороды. Невдалеке стояла Настя, и, чувствуя ее побуждающий взор на себе, еле поспевал Семён за вихрем своих мыслей.

— ...слыхивано, что и в соседних губерниях заварушки вышли. Уж и пушки будто бы... там вплотную сошлись. Так что я и наказывал проезжим, чтоб звали их, всех барсуков, хоть со всего света, к нам, на объединенье. Мы как соединимся, так и вдарим с сорока концов. Коли каждый по камню бросит, и то гора выйдет. А нам на Антонову милость идти не след. Ишь, судом застращал! А какой нам с тобой, к примеру, Евграф Петрович Подпрятов, суд? И тебе тоже, Кирилл, и тебе, Лаврен? Не сами ли вы солому таскали под исполкомские-то стены? А не ты ль, Гарасим, Мурукова вверх подымал да оземь брякал?! Наш суд — пуля, страшный суд!.. Что ж ты, Гарасим, вертишься? Ты у меня, Гарасим, соколом гляди! Не гоже коноводу Гарасиму воробьишка представлять из себя. И на тебя уж готова пуля, лежит в Антоновом кармане! Ужли ж так застращаны, что и до кустов добежать не впору будет? Да еще и кто он есть, Антон!

— Значит, власть настоящую имеет, коли прощенье сулит! — глухо, но слышно вставил рассудительный попузинец. — Какая ты власть! — осмелев от одобритель-

ного молчания остальных, поднял он голос. — Ты наш, свой, мы тебе и повиноваться не можем! А он, эвона, пахать велит...

— Это девствительно... Ничего я из яровых в сей год не запахал, — раздумчиво сказал бородач из двадцать третьей.

— Сказано, наделов будут лишать, — прибавил приятель бородача, ковыряя в затылке.

— Так разве ихняя только власть прощает? — наступал, озлобляясь, Семён. — Вот погодите, придет подкрепленье, скинем ихнюю руку, так и мы прощать будем. Этак-то легко прощать, если кнут в руке держать...

— Не затем воюем, чтобы прощать, — сердито вставил Гарасим.

— Это уж девствительно. Прощенье только людей портит, — добавил бородач из двадцать третьей.

Настроение решительно изменилось в сторону твердой обороны до самой той поры, пока не объявится подкрепленье. Мишка, закуривая, зажег спичку, а Семён искоса взглянул на Настю, и вся сила, отхлынувшая было, вновь прилила к нему, как полая вода, ломающая плотины. Настя сидела в углу с полуоткрытыми глазами, а рукой делала движенья, точно гладила кого-то, стоящего перед ней. Он говорил теперь еще безжалостней, как бы в исступлении, точно пинал и ворочал гору, возлегшую на его пути. Вовсе не слышалось возражений. Задеты были мужиковские сердца, заговорила кровь, сама земля. Гарасим потерянно теребил поясок рубахи. Юда грыз ноготь и умным выжидающим взглядом мерил соотношение смутного, белевшего в потемках Семёнова лица с Настей, еле приметно раскачивавшейся в такт Семёновым словам. Бородач из двадцать третьей, с напряжением выпятивший грудь, выглядел как на исповеди: просветленный, виноватый, необычный. Приятель его, верный подголосок бородача, потряхивал головой, жалко плакал, чесал затылок, оглядывался по сторонам и подтягивал вверх штаны — все это разом.

— Это уж девствительно! — и, хныкая этим словом, занятым в долг у приятеля, толкал соседа в бок.

Какой-то, не особого роста, высунул из толпы кулак и перекричал Семёна: «До конца биться... круши, вали!» Тут-то снаружи раздался вдруг гул голосов. Задние из толпившихся за землянкой куда-то побежали. Кто-то удивленно свистнул, кто-то упал, и над ним засмеялись, кто-то выстрелил, — суматоха и замешательство усилились.

— Тинтиль-винтиль, а ведь это за нами, братцы, пришли, — вслух догадался Стафеев.

— Узнай поди, — дрогнувшим голосом, потому что оборвался на полуслове, велел Семён.

Но Жибанда не успел сделать и трех шагов по тесноте — Петька Ад, длиннорукий и усердный, с искаженным лицом, остановился перед Семёном.

— Ты что?.. — Семён отвел рукою от себя Настю, протеснившуюся к нему.

Петька Ад глубоко вздохнул, высунул язык и снова спрятал его, еще более ширил круглые глаза, а говорить не мог.

— Ой... бег со всех сил, дух заперло... — махом выдохнул он и опять побаловался языком. — Как я разводящий ноне... подхожу к дуплу...

— Там кто часовой?

— Тешка... А он уже и стрелять нацелился!

— Да говори толком, черт! — озлился Семён.

— Счас, счас, вот только дух переведу. Комиссар пришел! — крикнул Петька и бессильно присел тут же на пол.

Семён не успел переспросить. Снаружи раздались крики: «Ведут, ведут».

— А?.. Кого ведут? — всполошился приятель бородача и заметался между барсуками.

— Черта, папаша, поймали. Черт по малину пошел, его тута и сграбастали! — зло и спокойно ответил Юда и похрюкал по-свиному.

— Так какая же малина ноне? Ведь не пора ей, друг! — поверил чистосердечно приятель бородача.

— Огня, огня!.. — прокричал кто-то. Бегунов зажег было светильник, но его тотчас опрокинули, и снова встали потемки. В дверь вводили пойманного на поле.

— Огонька-а бы! — жалобно прокричал тот же голос. Мишка чиркнул спичкой и поднял высоко над головой. Толстые, короткие, уродливые тени испуганно заметались по стенам. Но спичка потухла, и снова на стены нахлынула темь. Наконец кто-то зажег лучину и осветил неизвестного гостя.

— Это ты сейчас и пришел?.. — едко спросил Семён у стоявшего перед ним Половинкина; он узнал его сразу, хотя от прежнего воровского продкомиссара оставалось только несколько неуловимых черт.

— Семён Барсук, это ты? — торжественно спросил Половинкин в упор и громко.

— Я, ну? — чему-то смутился Семён.

— Тебе письмо от брата! — и протягивал на разжатой ладони записку, смятую чуть не в шарик. Лучина потухла, но при ее последней вспышке уже различил Семён насмешку в половинкинских усах.

Общее недоумение охватило всех: еще не совсем забыт был Брыкин. Сам Семён ощутил странное волнение, сходное с тем, какое испытал в давней юности при встрече с Павлом; он взял записку и стиснул ее в кулаке. Никто не видал из-за темноты той жалкой улыбки, которая набежала при этом на Семёново лицо. Опять зажгли лучину. Все молчали, глядели на Семёна ждущими, выспрашивающими глазами. Юда, надув щеки, ловко сыграл на губах, и все поняли, что хотел сказать этим Юда.

— Ну, я пойду, — сказал Половинкин, вопросительно посмотрев на Семёна, и почти повернулся уходить. — А может, убивать будете?.. — вдруг выжидательно на полуобороте задержался он.

— Мы тебя на сей раз не тронем, один ты... — тихо отвечал Семён и знал, что барсуки его слушают так внимательно, как никогда. — Ступай, пожалуй.

— Может, глаза завяжете? — уже с нескрываемой насмешкой спросил Половинкин.

— Нет, так ступай... — сказал Семён, чувствуя, что приступает к горлу гнев: — Брыкина, родню твою, мы прикончили... слышал? — ударил он словом.

— Повесили, что ли?

— Не-ет, просто так... из ружья! — сказал Жибанда, вразвалку подходя со стороны.

— Напрасно... — холодно откликнулся Половинкин. — Не стоило на такого пулю тратить, на сук бы — и все.

— Может, к дружку своему хочешь? Места хватит там! — И Мишка, играя, больно шлепнул Половинкина по спине.

— Да уж что: под землей места просторные, — охотно согласился Половинкин, как бы не приметив Мишкина шлепка. — Ну, я пошел... меня там подвода ждет! — и двинулся из темноты землянки на растворенную дверь.

Барсуки расступались перед ним — негодующие, недоуменные, путающиеся в подозрительных соображениях, уже озлобленные, но безмолвствующие. Они ждали от Семёна приказания... но Половинкин уже уходил, ушел, а Семён все кусал губы, комкал в руке непрочитанную записку, трогал щеки себе, прислушиваясь к чему-то: тысячью почти незаметных движений выдавал свою растерянность.

...Ночью в сторожевую землянку пришел Жибанда. Полуодетая Настя сидела у стола, без сна. Она с вопросом подняла глаза на Мишку и движением головы закинула волосы назад.

— Ты не спишь? — сказал, оглядывая землянку, Мишка. — Что же дверь-то у тебя не заперта стоит? Я поговорить с тобой пришел... Не прогонишь?

— Дверь?.. Гостя жду, — сухо ответила та и, вытянув полуголые руки поперек стола, зевнула. — Длинное будешь говорить?

Мишка глядел ей куда-то в шею.

— А это правда, злая ты! — раздельно и сипло произнес он и подошел ближе. — Красивая, а злая... Ты не бойся, я с тобой в последний раз говорить буду. Ты уж выслушай, а там как знаешь.

— Бежать, что ли, хочешь? — тихо посмеялась Настя и потянулась, сильно выдаваясь грудью вперед.

— Ах, злая, злая... — качал Жибанда головой и не сводил глаз с голой Настиной шеи. — Что это ты, так и сидишь все? Злость копишь?

— Говорю тебе, гостя жду... — и подняла распрямленные брови с досадой, что таким непонятливым стал

Мишка. — Ну садись, чего ж стоять! Рассказывай, куда же ты побежишь?.. Сам к себе в карман спрячешься?

Мишка сильно вздохнул и замахнулся было глазами, но поборол минутную вспышку, — покряхтел и сильно пригладил правый ус.

— А ты не тешься, не игрушка... Смотри, зашибить тебя могу. Раз я тебя люблю, значит, и власть над тобой имею.

— Откуда ж твоя власть? — кусала губы Настя. — Спас ты меня... так ведь я тебе заплатила!.. — Она встала, взяла с гвоздя кожан, накинула на голые плечи и снова села.

— Зачем ты маешь меня, Настенька, так? Я к тебе не без дела пришел!.. Пришел сказать, что полный каюк нам. У мужиков неспокойно, Юда там... — Мишка, точно отчаявшись, скривил губы и погладил усы. — А в соседней губернии и вправду, говорят, начинается. Вот я и говорю тебе, что мне сердце велит! Лето мы с тобой в лесах перекочуем, а потом сызнова гульнем. А здесь нашей свечке неделя сроку, а там потухнет. — Мишка стал говорить тише. — Семён из упрямства не пойдет! Он ровно безумный какой-то теперь... разъела его нуда эта, всемирное подкрепленье! Расея! — сипло захохотал он, а руки держал в боки. — Расея! Словно Расея-то за морем, гора такая... А мы и есть Расея! Я — Расея! — сердито, с раздутыми ноздрями ткнул себя Мишка в грудь. — И откуда он слова-то такие выковыривает, дурак? — Он оглянулся на дверь.

— Ничего, это ветер, — предупредила Настя. — Ты говори, говори... Я его сейчас жду... Вот до его прихода и говори.

Мишка раскачивался на табуретке, как бы томимый жаждой и страстью, глядя на голые руки, и тяжело опускал взор.

— ...Себя обманывает и нас всех в яму ведет. Он тебя не любит. У него свое есть! А ты ему заместо вина, ты пьяная... ты как отрава пьяная, как вино! Ишь как ноздря-то ходит, ишь! Ходи, ходи, бубни-козыри!.. — словно в смертном недуге, выкрикивал Мишка. — А ты мне всякая мила. Ну что ж, и Дунька во мне другого голубила... и ты меня чужими словами травила. На чужих пирах объедки жру, ровно вор какой! — хохотал он с лицом, почти исказившимся.

— Ты где охрип-то так? — спокойно спросила Настя и, заметив тяжкие Мишкины взгляды, зябко запахнулась в кожан.

— Лунища счас светит, холодная... Вот бы в самый раз нам уходить!

Настя встала, подошла к нему и подсела на краешек его табуретки.

— Все сказал? — спросила она и вкрадчиво погладила его волосы.

— А что еще? — насторожился Мишка и отодвинулся чуть-чуть.

— Ну, слушай тогда... я тебя слушала, а теперь ты! — Она движением плеч сбросила кожан на пол и села так, что могла видеть Мишкино лицо. Было такое, словно вычерпывали кувшинами буйную Мишкину волю взмахи отяжелевших Настиных ресниц. — Нет, ты не отвертывайся! Ты мне в лицо гляди, вот так! Видишь, какая я... Хорошая, плохая?.. Ну, отвечай... ты!

— Да-а... — невнятно мычал Мишка. — Приятная.

— Ну вот! Не он убил, а это он у Брыкина украл, я знаю. И теперь все обозлятся, что Половинкина он выпустил, не дал потешиться всей этой... дряни! — прибавила она с трудом и не думала раскаиваться в неосторожно выпрыгнувшем слове. — А я вот жду его, Мишка, и каждая кровиночка во мне тлеет... Сколько кровинок — столько пожаров! Понимаешь? Напрягись и пойми! Ах, ты ведь не знаешь, какой он... Он — как река, вот! Мы не видим всего, потому что маленькие, да он и сам себя не видит!.. — Она, раскачиваясь и заплетя на колене руки, озабоченно опустила глаза и прибавила: — Знаешь, Мишка... ведь ужасно это трудно вот... любить такого!..

И долго еще бредила Настя, безжалостно бередя Мишку. Семён пришел поздно. Когда он здоровался с Мишкой, оба хотели скрыть свое обоюдное замешательство друг перед другом. Настя сказала шумно и радостно:

— Сеня, знаешь... — Она положила руку на плечо Мишки, понуро глядевшего на ползшую по столу землемерку: гусеница, раскачиваясь, ползла от огня, и, по мере удаления ее, удлинялась ее тень. — Он меня тут бежать уговаривал!.. — Настя внимательно следила за Семёном

и, едва тот сделал движение рукой, перебила его: — Но он не уйдет, не бойся. Он с нами будет, до самого конца! Ты знаешь, Сеня... он ведь тоже ужасно хороший, только он — ну вот как бы...

— Жамши меня мать родила... Хлеб в поле жала и родила! Вот я такой и получился! — грубо усмехнулся Мишка и, не взглянув на Настю, пошел вон из землянки.

XXI. Встреча в Можжевеле

Записка, подписанная Павлом, звала Семёна не на переговоры по барсуковским делам, как предполагал Юда, взмучивая барсуковское воображение, а совсем для иного. «Узнал я, что это ты и есть Семён Барсук... слышал о тебе... хочу повидаться, узнать, во что ты вырос». Местом встречи назначалась яминка на опушке Кривоносова бора, сто сорок шагов от дороги, двадцать — от повалившейся сосны. «И приходи по-хорошему, завтра в полдень, без оружия: нам и слов хватит. И без провожатых приходи... и я тоже один приду!» Тон записки был таков, словно Павел и не сомневался в Семёновом согласии.

Воспоминания о брате взволновали Семёна, досада и недоумение охватили его. Ночь, те два часа, что оставались после ухода от Насти до рассвета, он не спал, а просидел на своем пеньке, глядя в пустой луг и ожидая восхода. Солнце взошло как-то сразу и не в меру ретиво, и скоро начала разливаться в воздухе духота, покуда еще смиряемая утренней влагой. Начало дня обещало к исходу своему грозу, — первовесеннюю, проливную. Уже когда Семён выезжал на место свиданья с Павлом, повевало едкой пылью по дорогам, а кусты разлохматились, обвисли, пряча лист от солнца и пыли. Вез Семёна Барыков, но ехал еще и Супонев, не безоружный: под соломой на дне подводы спрятаны две винтовки.

Желтое солнце взбиралось все выше по небу, совсем ровному и синему до синевы мрака, что сразу же и отметил Барыков.

— Ишь какое! — ткнул он кнутом в небо. — Как смертуха...

Супонев откликнулся:

— Широта-а! — И вдруг, в ответ своим мыслям, ото всего сердца обратился к Семёну: — Эх, Семён Савельич, а не понимаешь ты мужиковского сердца!..

Так они и ехали. На седьмой версте от землянок встретили толстую бабу из Попузина, — гремела телега, тряслась баба, и щеки у нее тряслись. Ее расспрашивал Семён, остановив подводу, крепко ли стоит у них Советская власть, не шатается ли. И опять ехали, пока не указал Супонев, лениво копаясь в носу, на поваленное дерево:

— Не там ли?..

Семён соскочил с подводы и огляделся. Никого еще не было здесь, кроме них. На молодой траве не виднелось ни копытного, ни колесного следа. Вправо, в полуверсте, змеился овражек; ближайший его берег полого сходил вниз. Туда и велел Семён съехать Барыкову, там и дожидать — его ли самого, его ли свиста. Сам он недолго постоял у ямины, ковыряя палкой траву, — надоело, да и солнце жгло, несмотря на белую его рубаху. Он подался в лес, бесцельно околачивая палкой сухие сучки елей. А был май, полз копытень под ногами, купена цвела. Ее восковые зеленовато-белые цветы хрупко свисали с наклоненных стеблей, как крохотные ушки, настороженные слушать тишину утра, проникнутую острой лесной прелью. «Еще не приехал, — сообразил Семён. — Можно будет подглядеть, один придет Павел или нет...» И тотчас же эхом отозвалось внутри, что затем и приехал не один, чтобы хоть чем-нибудь воспротивиться надвигающейся издалека жесткой воле брата. Боясь упустить приезд Павла, он ходил по лесу вблизи самой опушки, делая как бы круги. Вдруг понял, что круги эти и есть признак его волненья. Несколько мгновений колебалось в нем неуверенное желание уехать назад, не повидавшись с Павлом. Он остановился и ударил палкой по толстой ели.

Палка сломалась, осколок ее упал невдали. Уже с обломком в руке он продолжал ходить, ощущая в себе какой-то прилив — скорее дерзости, чем силы.

Вверху застучал дятел. Запрокинув голову, Семён глядел, как выколачивал дятел съедобное из сосновой

коры, за кору же и держась, быстрым и ловким клювом. Стук был непрерывен, мелок и быстр. Странное оцепенение нашло на Семёна, кровь прилила к шее, шея затекла, а он все глядел на дятла и на небо, видное за ним. «Ишь ведь как, ровно молотком работаешь! А я не могу так, как дятел, — текла по телу оцепенелая мысль, — потому у меня голова большая, а у тебя маленькая...» Вдруг Семёну стало как-то чудно и любопытно; он подошел к дереву и сам постучал в него лбом, стараясь достигнуть дятловой быстроты и четкости в ударе. Четкость звука, как и быстрота, вовсе не удавалась. Он хотел уже вторично попробовать, но обернулся неожиданно для самого себя и, облившись расслабляющей дрожью, увидел Павла. Он узнал его сразу, несмотря на преграду прошедших лет, стоявшую между ними подобно мутному стеклу. Хромой, живой, настоящий Павел сидел на дереве, положив руки себе на колени, задумчиво следил за бородатым, вздумавшим подражать дятлу...

— Я тебя и не заметил, — в замешательстве сказал Семён, направляясь к брату. — Ты давно тут?

— Да уж минут двадцать сижу... — ответил Павел, вставая. — Я вот здесь и сидел все время.

— Что ж ты меня не окликнул, раз сидел? — обиженно упрекнул Семён.

— Да я думал, что видишь меня, а нарочно показываешь, что не заметил, — просто объяснил Павел. — А сперва-то я и не узнал тебя. Вижу, чудак в белой рубахе...

Оба стояли друг перед другом, забыв поздороваться. Семён все тер лоб себе и с досадой следил, как овладевает им смутительное чувство неловкости.

— А ты здорово изменился, — отметил, подумав, Павел. — Борода эта у тебя... ведь раньше ее не было.

— Это ты правильно, — раздражительно согласился Семён. — Бороды раньше у меня не было... борода выросла потом!

Теперь свистели вверху какие-то незримые птицы. Подуло ветерком, и две сосны заскрипели друг о друга.

— Грибы-то не поспели еще? Что это мне... все грибами пахнет, — как бы и не заметил Семёнова выпада Павел.

— Грибу рано, теперешний гриб червивый... — ответил Семён, помахивая обломком палки. — Вот к жнитву...

— Ну-ну, ведь ты теперь лесной человек, знаешь! — поспешно согласился Павел. — Пойдем куда-нибудь поглубже, хочешь? — и испытующе поглядел на брата. — Вон туда пойдем, — и показал в можжевеловую чащу, где стояли вечные сумерки. И опять взглядом старшего наблюдал за поведением Семёна.

— Пойдем, я не отказываюсь... — И пошли. — Не хочешь, значит, о домашних-то спросить? Оторвался ты от нас совсем, Павел... — сумрачно заметил Семён, обходя рослый куст можжухи.

— А что... умерли? — догадался Павел, на ходу обрывая веточку можжевела и нюхая ее, растертую в пальцах.

— Не отпевай раньше времени. Мать жива еще! — и ударил палкой в развилинку можжевелового ствола. Сучок оторвался и повис на тонком ремешке коры.

Павел точно не замечал всех Семёновых движений, — шел просто, прихрамывая на ногу с высоким искусственным каблуком.

— А шумишь ты крепко! — заговорил он. — Гляди, из Москвы для тебя приехал. За три тыщи ты прослыл в Москве.

— Шумим, да... — подчеркнул Семён. — В борьбе права свои ищем.

— Ты что же, эсер, что ли? — спокойно полюбопытствовал Павел, повертываясь к брату.

— Анархист!.. — насмешливо выпалил Семён и тоже покосился на лицо брата: оно было непонято и холодно, как книга, написанная на чужом языке.

— А-а, ну-ну, вали... — и остановился подтянуть спустившееся голенище сапога.

— Что ты акаешь!.. Прямо говори!

— Да нет, ничего... так. Я люблю анархистов. — Павел как будто смеялся. — У меня в кашеварах анархист один. Ничего, ребята не жалуются, свое дело знает...

— А ты погоди издеваться, — опять сердился Семён. — Рано вы со своим Антоном с победой себя поздравляете! Вот погоди: развернемся, тогда... — Он оборвался, оста-

новленный внимательным взором Павла. — Ну, чего смотришь?

— А много ли вас тут... по правде если? — И тень улыбки коснулась Павловых коротких усов.

— Нас? Да вот одной летучей братии тыща, да еще... — напропалую пошел Семён и снова видел перед собой книгу непроницаемого смысла.

...Они подошли к месту, где когда-то гулял вихрь бури. Здесь, среди огромных можжевелов, гнили одно на другом три дерева, выдранные с корнем из земли. Павел сел на одно из них, но гнилая древесина с хрустом осела под ним. Он пересел ниже и показал Семёну место рядом, но тот остался стоять.

— Ну, а сотня-то есть? — спросил Павел, пробуя прошлогоднюю можжевеловую ягоду на вкус.

— А вот считай три раза по сто, да еще вдесятеро... вот и будет в самый раз! — Семён отвечал, почти не думая.

— Чего ж ты злишься! Драться мы потом будем. Я не за тем пришел! — легонько пожал плечами Павел. — Ты мне уж очень любопытен теперь, Семён... — Голос Павла смягчился до искренности, а Семёна, когда садился, вновь кольнула тревога. — Очень я к тебе любопытен... я ведь сразу узнал, что это ты и есть! Я и вообще к человеку стал любопытен, ты не гляди, что я... — Он запнулся, и лицо его на мгновение омрачилось. — У меня вот в отряде сто сорок жратвенных единиц всего, а среди них дьякон. Да, да, не дивись. Долговолос и теперь, а уж очень в нем такое... когда-нибудь в старое время крепко обижен был. Да я его тебе покажу потом, если захочешь. Вот я гляжу на него и все не могу понять: откуда столько берется в нем?.. Да и вообще в людях, брат, непонятного больше, чем понятного. Мне вот третьего дня в голову пришло: может, и совсем не следует быть человеку?.. Ведь раз образец негоден, значит — насмарку его? Ан нет: чуточку подправить — отличный получится образец! — Павел криво усмехнулся. — Что ты тут поделаешь... человек — это, брат, историческая необходимость!.. — Семён не схватил его мысли, но ему показалось, что лоб у брата стал как-то выпуклей, а губы вяло обвисли. Павел разглядывал жучка, ползшего у него по ладони. — Устал я, что ли, — не

знаю. Но только думать о большом и главном всегда на просторе нужно, под звездным небом, например!

Только последнее — «думать надо на просторе» — и понял Семён; оба теперь думали о разном. Обступавший их можжевел воплощал в себе, казалось, суть их молчанья. Можжевел — дерево скрытное, колкое, не допускающее в себя, замкнутое, строгое к жизни, самое мудрое из наших дерев; голубые и розовые кольца свои кладет скупо, неторопливо, и в каждом кольце запах покоя, молчания, знания. Травы в этом темном можжевеловом месте почти не было. Не нарушаемый человеком, он рос здесь высоко и густо, прозрачно-синих оттенков. На дне глубоких рек такая же безмолвная синева.

Они просидели на тех полусгнивших деревьях еще долго. В высотах звонкая кукушка вела свой непостижимый счет. Павел, все еще глядя на жучка, спросил у Семёна о причинах, толкнувших его на столь предосудительные поступки. Семён заученно повторил все то, что говорил накануне барсукам. Волнуясь, он копал ямку обломком палки, но прежнего недоверия к Павлу как будто уже не оставалось в нем. Когда кончил, ямка в лесном прахе и свидетельствовала о Семёновом волнении.

— Много ты тут наворочал, — заговорил Павел, рассеянно закидывая Семёнову ямку носком сапога. — Я тебя не. уговаривать, конечно, пришел, а уж если зарубил, то и выслушай...

Ямка все заполнялась, скоро она совсем сровнялась с землей, а травинка, засыпанная случайно и торчавшая теперь, как будто убеждала даже, что никогда и не было здесь ямки, а травинка так от века и росла. Потом говорил Семён и опять раскидал ямку, а Павел снова ее засыпал, но ни тот, ни другой не замечали этого. Они поднялись вдруг, словно по уговору, и постояли так с минуту, несогласные. Искусственный каблук Павла пришелся как раз на ямку, только что засыпанную им же.

— А помнишь, Паша, как мы с тобой в подвале плакали вместе?.. — грустно сказал Семён, подымая брови, и отшвырнул далеко обломок палки.

— Что это мне все грибной дух мерещится? — будто и не слышал Павел, идя рядом с Семёном из леса. — Да, вот я и говорю, — продолжал он, — все равно к нам при-

дете... и не потому только, что мы вам землю стережем! Не-ет, без нас деревне дороги нету, сам увидишь! И ты не мной осужен... ты самой жизнью осужен. И я прямо тебе говорю — я твою горсточку разомну! Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь... А вот и грибы! Ты говорил, что нет грибов. — И Павел наклонился над пнем.

— Это поганки... — вскользь заметил Семён и встряхнулся; до опушки они шли молча. — Ну, я свою лошадь там, в овражке привязал! — развязно сказал он, стыдясь перед братом, что приехал не один, нарушив условие.

— И я там же поставил... — и покосился на Семёна.

...Они подошли к скату оврага, тут стоял орешник, и оба сразу насмешливо переглянулись. Павел приехал тоже не один. Но не это удивило обоих. Верховой Павла, малый в кубанке с красным дном, сидел на Семёновой подводе, рядом с барсуками, и что-то оживленно рассказывал, сопровождая слова жестами, обозначавшими размах мыслей и чувства. Оба, Барыков и Супонев, слушали с почтительным вниманием. Все они дружелюбно курили, не было, казалось, никакой причины завтра же, быть может, сходиться на последнюю схватку.

— Вот видишь, как обернулось-то... — поучительно сказал Павел.

— А что, Павел! Чуть мы с тобой в сторонку отошли, и посмотри, как беседуют-то ладно! А что, если бы совсем нас с тобой не было? — подтолкнул брата Семён.

Павел дернул плечами.

— А ты послушай, о чем они беседуют! — холодно возразил он. Судя по обрывкам, высокий в кубанке повествовал об усмирении какого-то дезертирского бунта. — Мой твоих уговаривает! — одними глазами усмехнулся Павел.

— Митька! — закричал во всю грудь Семён, выйдя из-за куста. — Подводу сюда... черт!

Внизу произошло замешательство. Барыков потушил в пальцах недокуренную папироску и окурок сунул себе куда-то в волосы. Рослый в кубанке засуетился у лошадей.

— ...И скажи своему Антону, — крикнул Семён, влезая в подводу, — что-де крепколобы барсуки, нейдут на уговор!

— Ладно, — засмеялся Павел уже верхом на лошади, — скажу!..

Хромая нога Павла не мешала ему ловко сидеть в седле.

XXII. Глава из отрывков

Барыков, чувствовавший себя виноватым, ударил по лошадям.

— Семён Савельич, — обратился Барыков, когда отъехали от оврага версты на две, — на-ко, пригодится там тебе... в обиходе! — и протягивал Семёну наган. — Кобур, вишь, у него расстегнутый был! Ну, вот, и смутило меня...

— Это у высокого, что ли? — усмехнулся Семён своим повеселевшим мыслям и всю дорогу вертел в руках уворованный у кубанца наган.

Дорога шла опушкой. На четвертой версте, где огибала дорога лесной мысок, услышал Семён равномерное поскрипывание луба и лыка за поворотом. И почти одновременно увидел шедших навстречу подводе людей с лубяными котомками за плечами. Их было больше двадцати: бородачи из двадцать третьей, вся двадцать третья целиком. Татарчонок, единственный молоденький среди них, шел с ними молча, как и все.

— Куда?.. — испуганно закричал Семён, соскакивая с подводы.

Бородачи в тяжелых сермягах стояли полукругом, глядели в желто-красный растрескавшийся прах дороги — песок с глиной, — вытирали рукавами лица. Было почти нечем дышать, парило. По небу, какому-то черному, замедленно плыли легкие облачка, похожие на белые лепестки. Но нижние поверхности их были плоски и сизы.

— Замиренье, сказывают!.. — вздохнул русый бородач, тот самый, который накануне с чрезмерной готовностью поддерживал Семёна.

— Землицу-т отвоевали, а пахать некому... — не сразу прибавил его приятель и, вскинув грустные глаза на Семёнову руку, все еще державшую наган, прибавил тихо: — Ты штуку-те эту спрячь... еще выстрелит!

— Что ж, землячки, — заговорил Семён, со смущением пряча наган в солому подводы, — зарубить зарубили, а отрубать кум наедет? — Он искал глазами какой-нибудь пары сочувственных глаз и нашел: татарчонок, не мигая, глядел на Семёна.

— Моя село, Саруй, кончал бунтовать... — с буйной неискренностью вскричал татарчонок и как-то сразу померк.

— Да вот и Половинкин тоже, — укоряюще переступил с ноги на ногу бородач. — Он мне весь дом перерыл, из огорода весь овощ повыкидал. Я и пришел сюда... отсюда, думал, достану. А ты его без никакой пользы отпускаешь! Закона справедливости, Семён Савельич, в тебе нету. Обидел ты меня, ох как обидел, страшно сказать... А уж я ль тебе не служил?

— Ты не мне, Прокофий, служил, — оборвал его Семён. — Дело мирское. А уходить в такую пору нехорошо!

— Это уж конешно, обчество! — недовольно согласился Прокофий и встал боком. — А только мы не нанимались!

— «Нехорошо-о»! — передразнил крепкий, плечистый, в высокой шляпе, и горько покачал головой. — Это мы те нехорошо? Крапивный у тебя лист заместо языка, Семён Савельич! Бумажка подкинута — цену на тебя обещают, деньги дают, каб если мы тебя на суд выдали! А мы тебя рази, скажи вот нам, хоть бы пальцем тронули, ну?..

— ...и, главное, большие деньги! — огорченно вздохнул бородачов приятель.

Семён исподлобья глядел на бородачей.

— Ну, коли так... дороги наши, землячки, разные! — взмахнул плечами и скверно выругался он.

Он медленно влез в подводу, бородачи все стояли. И опять Барыков хлестнул по лошади, и телега помчалась по укатанной дороге, провожаемая понурыми взглядами бородачей. Семён не оглядывался.

— Э-эй... Семён! — закричали сзади, когда подвода уже укатила сажен на сто. Барыков попридержал лошадей. Семён оглянулся. Бородачи стояли на прежнем месте, но выйдя из-за поворота и горячо о чем то споря. Самый мо-

лодой из них, маша руками, бежал к Семёну. — Этого вот... Семён Савельич! Старички велят сказать, что хоть ругаешь их, а они незлопамятны. Велят сказать, что-де, если заминка с хлебом подойдет, ты засылай в Отпетово-те! Уж как-нибудь соберемся всем миром... — Но бородачи кричали что-то еще. — Ой, кричат, о чем бысь? — прислушался посланец и недоумевающе покачал головой. — Вы погодите тута, я мигом слетаю., узнаю счас!

Он побежал назад, и в лубяном коробке гулко сотрясались его пожитки. Семён ждал, царапая ногтем деревянную обивку полка. Наконец посланец вернулся.

— Ой... — закричал он, останавливаясь шагах в десяти от подводы. — Не так, парень, кинулось! Эвось Прокофий-те говорит, лучше не давать тебе хлеба-т! Уж во второй раз не простят ведь. Ты уж не засылай, не дадим. Живи себе с Богом, как знаешь.. — И посланец, сняв шапку, виновато глядел в нее, будто нашел в ней что-то укорительное для себя.

— Гони, Митрий!.. — зыкнул сквозь зубы Семён и, выхватив кнут, сам настегивал лошадей.

Казалось, что он насмерть собрался загнать гусаковских кобылок. Он бил их с яростью крайнего, неутоляемого отчаянья, не глядя, куда придется удар: по крупу, по уху, по дуге, по чересседельнику. Давно уж скрылись бородачи в пыли, а подвода все мчалась по песку, как по деревянному настилу, глухо гремя колесами, осью, винтовками под соломой. За версту до землянок Семён передал вожжи Супоневу.

— На, Ефим, правь... Надоело.

— Да уж чем там править? — ответил Ефим, не принимая вожжей. — Доганивай уж до конца. Чужие ведь!...

На вырубленном пространстве между землянками толпились и кричали барсуки. Еще издали по спинам их угадал Семён, что Мишке, стоявшему на возвышении, образованном накатом поваленной землянки, приходится совсем жарко. Мишка, стоя с грудью навыкат, красный, точно разваренный, напряженно слушал костлявого мужика в разодранной рубахе, налезавшего на него и махавшего растопыренными ладонями. Лицо Мишкино горело, как в огне, лицо костлявого было внушительно и жестко, как кулак. Сбоку, тоже на накате, стоял другой

мужик, в штанах из клетчатой байки, с разбитым лицом. Всхлипывая время от времени, он проводил короткими пальцами себя по лицу и, покачивая головой, рассматривал выпачканные кровью пальцы. Недалеко, окруженный летучими, сдержанно и бледно улыбался Юда, не принимая заметного участия в происходившем разброде.

— Ну, чего вы тут? — окрикнул Семён, появляясь из-за спин. Его встретили решительным и враждебным гулом. Злые и ядовитые замечания сыпались отовсюду, и тут лишь понял Семён, что не следовало ему уезжать в то утро. — Не время теперь меня скидывать! Погодите, сам уйду... — презрительно и гневно бросил Семён и обратился к костлявому в разодранной рубахе: — Ну!

Тот подался назад, как от удара, и тотчас же хлопнул себя по бедрам и, приседая, толкнул на Семёна искровенившегося мужика.

— Дозволено ль? Дозволено ль так живого человека? Кто смеет так живого человека?! — чуть не приплясывал он. — Кровь эвон, видал? Кро-овь!! На, возьми себе... — и, по-хозяйски проворно прикоснувшись пальцами к кровяному лицу соседа, мазнул по белой Семёновой рубахе. — Мужики, эвон, красная... наша! Текет из него...

— Ты постой, не лопоши, земляк... — со спокойствием бешенства остановил того Семён и крепко сжал его за плечо. — Что ты, ровно баба, ровно родишь — орешь.

— Мужички, а мужички... слышали? Хрустнуло! — исступленно кричал костлявый, вертясь ужом в Семёновой руке. — Плечо хочет выломать!.. За правду плечики мои гибнут... Заступитесь! — Барсуки перешептывались, и осуждение, стоявшее в их глазах, было холодное, бесповоротное. Но выступать почему-то не решались.

— В чем тут дело, Миша?.. Объясни мне, — тоном допроса спросил Семён у Жибанды. — Отвечай мне, я тебя тут оставлял. Громко отвечай, чтобы все слышали!..

— Двадцать третья ушла, и девятая ушла, — сказал Мишка, недовольно отворачивая лицо. — И десятая тоже ушла...

— Дальше докладывай! — велел Семён.

— Еще вот от попузинцев мужик наезжал. Подмоги просят. Началось у них еще с вечера... Я вот уговаривал, а они не хотят.

— А этого раскровенил за что?

Мишка молчал, затихли и барсуки. Только тот, в штанах из клетчатой байки, все еще всхлипывал, выразительно глядя по сторонам.

— А давай я расскажу, — предложил вдруг Юда, выходя от летучих.

— Говори, — согласился Семён и только тут, догадавшись, заискал глазами среди барсуков.

— Она в зимнице у тебя... в полной сохранности, — успокоительно и прежде всего сказал Юда, ловя Семёновы глаза; он понизил голос: — О ней и шла тут речь без тебя. Мое дело сторона, а только злобятся, что тайком, украдкой, одним словом, с Мишкой пользуетесь. Я уж и не говорю о том, что не по праву ты место занял! Да и много там за тобой! — Юда, говоря, чистил себе ногти ногтем же — А хочешь по-честному, а? Я их подтяну сейчас, а? — Он коснулся пальцами Семёнова рукава: — По-честному, услуга за услугу! Ну...

— Я тебя застрелю, — осипшим голосом сказал Семён, откидывая Юдину руку, пот с него катился градом.

— В которое место застрелишь-то? — поддразнил Юда и, постояв недолго, пошел прочь.

Барсуки разом загалдели. Костлявый стоял в беспокойной нерешительности, не зная, чем окончились Юдины переговоры. Тот, в штанах из клетчатой байки, стирал в катышки налипшую на нос кровь. Евграф Подпрятов царапал ногтем дерево, показывая, что он тут ни при чем.

— Ну, как же? — спросил Юда, встав на прежнее место.

— А вот как! — насмешливо закричал Семён. — Правда ваша, мужички... Помогать другим да попузинцев поддерживать нам теперь не расчет! — И он посвистал, издеваясь над оторопелостью барсуков. Никогда не бывал Семён столь дерзок со своими людьми.

— Да как же это так?.. — Юда не предвидел такого хода и растерялся. — Ты же сам все о подкрепленье говорил. Теперь вот и надо бы идти.

— А я говорю: не ходить! — возвысил голос Семён и пошел, провожаемый недоуменным гулом барсуков. —

Кончена игра наша... И кто по домам хочет расходиться, могут! — крикнул он уже издалека. — Расходись, вали!..

В зимнице было прохладно, темно, и еще казалось, что тесно.

Настя говорила много и торопливо.

— Я была наверху, когда Мишка ударил. Этот клетчатый сказал обо мне нехорошо. Мишка велел повторить, тот повторил. Я убежала.

В стенках где-то скреблась мышь. Гуденье барсуков сюда не доходило.

— ...Я попузинца видала, верховой... Не-ет, безбородый! Я стала его расспрашивать, он сбился и ускакал. Я не знаю... Утром выходила — набат бил. Долго били, словно нарочно, чтоб мы услышали...

Семён постучал в тесину стены.

— ...Мышку пугаешь? Я вот уже час ее слушаю. Она сперва вон там где-то точила, потом все ближе. Слушай, зачем ты ушел от них? Ты с ними должен быть. Ты теперь ихний.

Приблизились шаги, вошел Жибанда, и дверь снова захлопнулась.

— Вы здесь? — окликнул он еще с порога, дыша точно после рукопашной.

— Ну, что там, — спросила Настя, — кричат все?

— Кричат! — Мишка прошел по темноте и сел, судя по голосу, на печку. Он задел, вероятно, локтем за трубу, трескуче выругался и ударил кулаком по трубе. — Выгнали! — И бурно пошевелился.

— Я пойду к ним... из-за меня началось, — твердо сказала Настя и встала.

— Нет, ты не пойдешь, — упрямо сказал Мишка. — Там теперь гниль начинается. Не пойдешь.

— А и пускай, к чертовой матери все! — отпихнулась от него Настя.

— Сиди, сказано! — прикрикнул строго Мишка, и опять ударил по трубе, и опять ругнулся.

— Сеня... что же ты сам мне не говоришь, чтоб не ходила... а? А ведь я и в самом деле пойду, пожалуй! — каким-то надтреснутым голосом спросила Настя.

Но она не шла, а сидела по-прежнему. Время тянулось. Опять раскрылась дверь. Вошедший, Прохор

Стафеев, припер дверь поленом, чтобы не закрывалась. Желтые и зеленые, отраженные листвой отсветы ринулись в землянку.

— Садись с нами, отец, — хмыкнул Мишка носом. — До ножей-то не дошло еще?

— В поход пошли... — равнодушно, даже вяло проворчал Стафеев и сел на чурбак, сложив руки на коленях. — С песнями.

— Их остановить надо! Остановить... они ж на расстрел пошли! — возбужденно вскочил Семён. — В Попузине все спокойно, это Антон... Мишка, беги, упреди их. Вели назад!

— Не пойду, — не сразу ответил Мишка. — Ну их... — и выругался.

— Я пойду, — тоже не сразу предложила Настя и быстро пошла вон.

— А я сказал, сиди! — крикнул Мишка, догнал ее у самой двери и рванул к себе.

— Мишка, я тебе приказываю идти... — голосом, точно пробовал свои силы, приказал Семён; зеленый блик падал ему на лицо и омертвлял его не менее, чем его закрытые глаза. — Ты слышал?

— Да уж чего там приказывать, парень. Ведь не на войне! Они уж Юду выбрали, теперь уж не ты. Юда и повел! — сказал Стафеев. — Юда... он и вернуться обещал!

— Где уж там вернуться... — слабо сказал Семён, кивая в сторону Мишки. — Побьют ребят.

— Сам бы шел! — ворчливо крикнул Мишка, идя к двери. Настя бросилась за ним что-то сказать.

— ...И давно уж я говорил, что кончать надо, — рассудительно сказал Стафеев, гладя бороду. — Смехота! Рази может пара курей воз сена везти! — и засмеялся.

— Врешь... ты! — подскочил к нему Семён и, зажмурясь, замахнулся. — Врешь ты, ты мне другое говорил!..

— Чего ж ты замахиваешься-те? — спокойно откликнулся Стафеев. — Я же тебе это говорил, ясно дело! Хозяину и хозяйские слова... Дурачинка! — и остался сидеть в зимнице.

План комиссара Антона был совершенно верен. Нужно было разъединить барсуков и сильнейшую часть выманить в открытое попузинское поле. Брать землянки

в лоб было немыслимо: слишком много опасностей таила изрытая земля, а рисковать своими людьми было не в правилах Антона. Одновременно с окружением Юды был предпринят натиск на землянки. Подвигались туда медленно, обыскивая и выстукивая каждый аршин барсуковского леса. Но уже была пройдена линия сторожевой землянки, и никого до тех пор встречено не было: великим даром уговариванья обладал Юда.

С поля доносилась в лес трескотня пулеметов, воздух вспенился от звуков. Настя и Семён стояли у опушки, у березняка, возле брыкинских, сизых теперь, крестов, и слушали. Густое малиновое солнце окрашивало березовые листочки в бурый, мутный цвет. В небе уже повисла готовая низринуться туча.

— ...ты стой тут! — вдруг надумала и решилась Настя. — Я попробую... Я сейчас лошадей приведу! — Семён нетерпеливо отмахнулся, и нельзя было понять: от Насти ли, от надоедливого ли роя комаров, вившегося у самого его лица. — Все равно, ты тут стой... Я быстро! — Она побежала в сторону землянок, не оглядываясь.

Как раз в тот момент лес огласился первым выстрелом, рассыпавшимся на мелкие и ничтожные гулы, словно каждое дерево, каждый сучок, каждая хвоинка повторили его. То на южной стороне землянок Антоновы люди встретили бегущего Жибанду. Жибанда бежал, и за ним бежали. В чаще ему удалось обмануть погоню: подвернулось полено, он бросил полено влево и шумом его падения отвлек погоню в сторону. Сам он почти бесшумно скользнул вправо и через минуту выскочил как раз на то место, где Настя ждала Семёна. Сама она уже сидела верхом на лошади, лицом к опушке, а другую держала в поводу. Она не видела Мишку.

— Вот сюда... на эту садись, — скороговоркой, но почти спокойно кинула она, отпуская повод рыжей кобылки.

Мишка прыжком вскочил на лошадь, и оба одним махом вынеслись из леса в березняк. Тут только Настя увидела Жибанду...

— ...Слезай! — пронзительно закричала она с побелевшим лицом, округленными глазами уставясь в подмененного. — Это для Семёна... Слезай!

— Семён уже там! — махнул рукой куда-то впереди себя Мишка. — Гонятся... — и собственным картузом, козырьком его, ударил по глазам Настину лошадь.

...Их спасла густая заросль березняка; к тому же погоня сразу наткнулась на зимницу и шарила в ней осторожно, как мальчишки в осином гнезде. Было еще несколько выстрелов, но почему-то здесь, в открытом поле, не были они страшны. Лошади несли так, словно знали, зачем и куда...

Шла гроза. Заугрюмевшее солнце оделось в иссиня-черное. Ветер крепчал и нагнетал с востока духоту, зной, сухую, разъедающую пыль. Часть тучи, самая темная, была похожа на ожившую каменную голову. То, что служило бровью ей, приподнялось и все еще приподымалось, как вдруг вся линия горизонта придвинулась и заворчала. Солнца не стало, и свистящая зыбь пронеслась по воздуху.

А двое мчались, не замедляя скорости. Уже хлестало их крупным ливнем, и ветер, как огромная метла, заметал с поля и мелкий сор, и тяжелые обрывки травы. Одновременно шел сплошной дождь из молний. Была сильна и неистова та первовесенняя гроза, как первая, необузданная страсть молодого.

Ливень стихал, а скачка все не прекращалась. Но вот ветер передвинул тучу к западу, небо засинело, долетели до земли последние крупные капли. В синей прорехе неба обнажился вдруг месяц, молодой и веселый, как бы новехонького серебра. Влево, под тусклой радугой, еще видны были серые полосы ливня, косо прочертившего небосклон. А здесь уже теплело. Луга кричали запахами. Шли быстрые сумерки.

— Я не могу больше... Все болит! — прокричала Настя, до нитки мокрая, и, остановив лошадь, стала слезать на мокрую траву. Уже сидя на траве, она вдруг замерла и прислушалась к чему-то, пугливыми глазами в синих кругах глядя себе на живот.

Мишка подсел к ней и взял ее за руку.

— Знаешь, Миша, — растерянно начала она, и слова ее звучали недоуменной жалобой, — я, кажется...

Она не договорила и заплакала.

Так они сидели на траве, оба не думали о Семёне. Шел холод. Лошади паслись на траве.

...Именно теперь, когда все стихло, Семён вышел из глубин леса и пошел к Ворам. Сапоги его, и без того дырявые, размокли в ливне и трудили ноги. Он присел на пень, снял их и кинул в кусты. Потом, уже босой, шел дальше. Ливень загнал в избы Антоновых часовых. Да Антон и не ждал никакого нападенья. После шума грозы настала полная тишь. Везде текли ручьи, возле Пуфлиной избы целый водопад свергался вниз.

Семёна никто не остановил, пока он шел по селу. Воры как бы обезлюдели, даже ребята не бегали, всегдашние охотники посучить ногами вязкую грязь. Огня нигде не было. Избы уныло, как поздней осенью, глядели мраком окон. Попалась старуха Супонева на пути, она отшатнулась от Семёна, но все же ответила на его вопрос. Семён после того пошел на выселки, к бабинцовскому дому. В воздухе было очень сыро.

На большом крыльце стоял стол, на столе — свеча. Пламя ее не колебалось: ночное безветрие. На ступеньках сидел Антон и диктовал что-то Афанасу Чигунову, изъявившему свое согласие потрудиться для Антона в должности временного писаря, — когда-то в штабе писарем состоял Афанас.

— А-а, — сказал Антон без тени удивления. — Пришел же ведь! Ну, вот видишь...

— Сказать пришел, что ты, пожалуй, и прав был нонче утром, в лесу-то, — так же спокойно отвечал Семён.

— Это насчет чего, насчет мужиков-то? — нахмурился Антон и покосился на брата, стоявшего с опущенной головой.

Афанас не глядел на Семёна и грыз ручку пера, которым писал.

— Что это, на ноге-то, кровь у тебя? — спросил Антон, подавшись немного вперед.

— Так! Через ручей переходил, порезался... — равнодушно ответил Семён.

Антон молчал и глядел теперь на то же, на что в эту же минуту смотрели и Настя с Мишкой, — на месяц — свежую березовую стружечку, игрой и удальством ветра занесенную за облака.

1923—1924

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОЖИТОМУ

Эпилог к роману «Барсуки»

Вскоре, вслед за почти немыслимым бегством Мишки Жибанды и Насти Секретовой из безвыходного окружения, произошло еще более загадочное событие — прощальная встреча братьев Рахлеевых, вовсе ничем не объяснимая, кроме повеления судьбы. После трех жутких ночей настороженного затишья без единого выстрела и взамен ожидаемой расправы Семён испытал внезапную, видимо, обоюдную у них тягу сказать друг другу некие прощальные слова, ключевые для понимания русской смуты. Сразу после рассвета по седой траве раннего заморозка он, босой, беспоясный, с непокрытой головой и в посконной рубахе, в какие обряжали усопших в их дальний путь, вышел на прямую дорогу к карательному бронепоезду, в тупике, как оказалось, уже ждал его единокровный враг. Он вышел в направлении на неизвестный пока, впоследствии знаменитый, полустанок. Странно, что нигде не задерживали патрули, а охрана, опознававшая его по каким-то особым приметам, без пароля и обыска отвела Семёна прямиком к служебному вагону своего грозного комиссара. Судя по несмятой койке в углу и количеству окурков в блюдце на краешке стола, хозяин, может быть, с прошлого вечера ждал его прихода. Уже совсем рассвело, свежей прохладой тянуло с реки, не колебля пламя свечи, почти исчезавшей в солнечном потоке. Не поднимаясь с места, в расстегнутом кителе и чуть на бочок склоняя голову, хозяин щурко смотрел на босые ноги брата, а тот — на два главных ордена республики, чуть свисавшие с кармашка на груди.

— Чего уставился, не признаешь? А ведь встречались когда-то в здешних краях! — начал наконец Семён свою историческую для той эпопеи беседу. — Никак, дивишься, что сам за смертью притащился? Думаешь, персонально сам себя обрек на выкуп земляков?

— Да вот любуюсь на твой похоронный маскарад: то ли разжалобить меня собрался, не то сапоги пожалел по-хозяйски, чтобы заодно в землю не закопали? Если разжалобить собрался, то бунтовскую горстку твою я все равно раздавлю. А может, твердость мою испытать захотел? — старший спросил.

— А пришел я, братец, уведомить тебя, что все исполнено к приему дорогого гостя. Старушки с внучатами, родительница наша в том числе, в церкви наглухо заперлися. Заупокойную себе поют. Огненную купель во Христе принять готовятся... А почетные деды, прежних времен водители, при всех крестах и медалях на груди, кои им еще Россией за подвиги их были дадены, с иконами выйдут за околицу прямиком на твою картечь.

— Тогда и ты ответь мне в свой черед, что тебя озлобило замахнуться на родную власть, которая и землю тебе дала, и барское добро от чистого сердца подарила, и заветную лампочку на вечные века вдобавок? А вы что против нее затеяли?

— Лампочкой нас не стыди: тыщу лет с лампадкой да лучиной прожимши, впотьмах не заблудилися. К тому же оная лампочка не для нас, с задним умыслом не для мужика, а для него самого, для благодетеля нашего, придумана. Вишь, тут слушок до нас дошел, будто Ильич на одном заседаньице о пользе электричества при закрытых дверях важным секретом обмолвился, секретцем в том разрезе, что если загалдят, взбунтуются, заволнуются православные, стоит ему только главный рычажок выключить, и мы без него ни ногой. Правду сказал, видать, на века дальновидит, благодетель-то! — усмехнулся Семён, и если до сих пор их беседа походила на мальчишескую перепалку без всякой ненависти покуда, то тут впервые холодок молчания пробежал промеж них.

— Ого, какой фугас в башке носишь. Такого и без пушек в одночасье хватит нашу советскую державу в клочья

разнести. Да и кто же тебе такую чушь на ушко нашептал? — не сразу осведомился брат.

— Как тебе сказать, — улыбнулся младший, — пташка пролетна в окошко накричала.

— А улетела пташка-то, никаких следов по себе не оставила? Не в смысле адреса или фамилии, а просто откуда, кто такая?

На сей раз вопрос остался без ответа. И вдруг вся потешная безоблачность беседы пошла насмарку. Комиссар не то чтоб почернел, а скукожился весь в предчувствии особых для себя последствий впереди.

— Жаль-жаль, — с видом притворного сожаления произнес хозяин, — но, как видишь, беседовать нам больше не о чем.

Трудно понять, что вдохновило усмирителя крупнейших губернских волнений на пригласительную записку мятежному вожаку районного калибра повидаться напоследок без оружия и наедине.

В глазах высшего начальства мероприятие такого рода выглядело бы тактически разумным приемом словить главаря банды в ловушку на основе кровного родства.

Впрочем, старший брат совесть свою не отягчал смертью младшего, который по очевидному неравенству сторон шел добровольно сдаться победителю — как на выкуп у смерти хоть по дюжине мастеровитых старичков и безвинных деток на разживу России, если только выдюжит она.

Замысел старшего брата (кстати, появившегося на свет четырьмя минутами раньше) диктовался жгучей потребностью поплескаться в живительной купели детских воспоминаний и тем самым хоть малость смягчить должностное переутомление последних лет.

Естественно, что в случае неявки Семёна в назначенный срок предстоящая штурмовая операция могла в первой же схватке лишить его целительной беседы с братом, но задержка вспомогательных частей давала ему право перенести операцию на завтрашнее утро.

Всю первую половину оставшегося дня в ожидании встречи железный комиссар провел безвыходно из опорного пункта на вершине холма, с мощным биноклем в руке, всматриваясь в неохватное, казалось бы, и все сжи-

мающееся как петля пространство пяти обреченных деревень, — взглядом соучастия, подгоняя бегущую толпу обезумевшей контры в тесную овражистую западню для скоростного и потому гуманного умерщвления.

Всю вторую — не подымаясь с койки под предлогом недомоганья и с закрытыми глазами, уставясь в потолок, дотемна мысленно бродил по вальяжному когда-то, а ныне без единого освещенного окошка опустелому селу, где в ожидании артиллерийского шквала вся людская живность и прочая безгласная тварь лишь по немощи или предысходному томлению духа как бы приостановилась жить. Даже яблочки на ветвях, пожухшие от страха в садиках кругом, позабыли свалиться наземь, чтобы вместе с Семёнами закопаться в землю вглубь и впрок. Было и еще что-то очень важное, не запомнившееся в той ночной прогулке... И вдруг, как ни противился чему-то, оказался невзначай в двух шагах от родительского дома, который, если не считать разбитого окна, выглядел совсем так, как тот, откуда ушел мальчишкой на столичный завод тридцать восемь лет назад.

Дверь стояла нараспашку, как приглашенье, но во избежание чего-то предпочел, подчиняясь непреодолимой тяге, с трухлявой завалинки заглянуть в жуткую тишину избы. Незнакомая оторопь не допустила его поклониться прошлому в обмен на прощенье.

Было и еще что-то, чего не рассмотрел в потемках детства... Словом, то было ночное скитанье по закоулкам прошлого, полное тягостных сомнений, неизбежных накануне перехода пограничного рубежа в пугающую для него неизвестность.

С некоторых пор Павел стал замечать отчужденность даже ближайших сослуживцев, избегавших глядеть в лицо, боясь выдать брезгливую догадку о его недуге, вслух не называемом у них.

И в самом деле, нередко после рабочего дня, оставаясь с глазу на глаз с самим собою, он машинально оглядывался по углам, ощущая возле себя чье-то неотвязное присутствие. Чуть позже он начинает различать их лица, навсегда запомнившиеся от того кратчайшего знакомства. И потом они навыкают ему — сперва персональными, а потом и групповыми визитами.

Наделенный особыми полномочиями комиссар призраков не боялся как не существующих на свете, но по недоступности для расстреляния весьма опасался оных.

Та памятная ночь целиком ушла на черные раздумья, и лишь к рассвету набрался решимости тотчас по завершении операции в рапорте о достигнутых успехах иносказательно намекнуть на срочную необходимость серьезного ремонта, так сказать, поизносившегося организма. Причем в длительности отпуска не сомневался.

Исходя из расчета, что в дальнейшем, когда революция надолго избавится от его чрезвычайных услуг по отсутствию сопротивления, он наметил жесткий поэтапный план отступления, на покой.

Во-первых, надлежало немедля подыскать для его холостяцкого логова шуструю хозяйку — жену, способную куда искуснее разгонять ораву его привидений, нежели неотступный охранник на табуретке с ружьем. Во-вторых, проваляться месяц-другой на пустынном взморье, пока, под мерный всплеск воды, не растворятся в голубой тишине застрявшие в ушах отголоски последней его бойни. И наконец, остаток дней провести в подмосковном поселке отставных тружеников, уже без чинов, званий и должностей, чтобы неузнаваемо для соседей заняться разведением хризантем, шампиньонов и, скажем, кроликов на мех и мясо.

Кстати, на состоявшейся встрече братьев, когда речь зашла о пресловутой лампочке Ильича, подсознательная готовность его к бегству из революции проявилась в том, что расценил местное восстание лишь как факт мужицкой неблагодарности к вождю. Причем выразил это в смягченной тональности дружеского упрека, что объяснялось не жалостью к обреченным землякам, а как раз наоборот, попыткой самому снискать симпатии у врага, в чем таился криминал прямой измены, караемой смертью. Изначально не было на Руси слова более грозного, чем измена.

И вот уже пороховая искра мятежа наискосок просекает материк от столицы до океана, оставляя позади себя факельные вспышки все новых возгораний, и тогда Революция снова повелевает ему изобильной кровью гасить полыхающую крестьянскую стихию.

Не оставалось и минуты для колебаний, куда и как, любой ценой, бежать из западни напропалую от оравы призраков, которые гонятся за ним в его метаниях по главным пожарищам России, от поганой славы, подобной чугунному ядру на ноге, от багровой эпохи и, значит, от себя.

Но не было иного средства бежать от них, кроме как самоустранением от жизни. Однако, согласно церковному преданию, лишь извне причиняемая гибель и боль, да и то с помощью пролития слез по щиколку, может доставить не святости и помилования, а хотя бы сочувствия потомков.

И тут на выручку приходит маньякальная надежда, что вопреки договоренности о безоружной встрече с братом, младший придет с ножом за пазухой — на случай обороны или мщения. И тогда пусть его милосердная рука поможет старшему освободиться от самого себя...

...К тому времени старший брат стоял уже внизу, в полной готовности, оборотясь спиной к младшему, пока тот одеревенелой ногой шарил по ступенькам приставной лестницы, по которой спускался в ожидании, когда горячая и длинная струйка из-под лопатки смоет с него клеймо ремесла. Что было потом, мы не знаем, но так совпало, что здесь-то прибыли подсобные подразделения для окончательной стерилизации побоища от оставшейся заразы.

1923–1924

ПРИМЕЧАНИЯ

От составителя

Данное собрание не без оснований можно было бы назвать «Неизвестный Леонид Леонов». Многие тексты, вошедшие сюда, широкий читатель увидит и прочтет впервые.

Так, рассказ «Деяния Азлазивона» не входил ни в одну прижизненную книгу Л. Леонова.

Повесть «Унтиловск» впервые была опубликована в журнале «Москва» уже после смерти писателя, и до сих пор в книги Л. Леонова не попадала.

Поэма «Запись на бересте» ни разу не издавалась с 1926 года — со времен первой журнальной публикации.

Фрагменты дневников Л. Леонова также известны лишь по одной журнальной публикации почти десятилетней давности.

Роман «Барсуки» с послесловием, написанным автором в 1993 году, публиковался единственный раз, в составе сборника избранных произведений.

Многие помнят, что был второй вариант знаменитого романа Л. Леонова «Вор», но мало кто знает, что окончательный вариант — третий, и он, смею вас уверить, самый лучший. Выходил в каноническом своем виде «Вор» в первый и последний раз в 1994 году, и с тех пор стал библиографической редкостью. Здесь вы имеете возможность познакомиться с романом в том виде, который завещан нам автором.

То же самое можно сказать о великом романе «Пирамида» — вышедшим в том же, 1994 году, и ни разу, — о, времена! и нравы — о! — не переиздававшемся.

Безо всяких преувеличений можно сказать: у вас в руках уникальное собрание сочинений великого русского писателя.

На сегодняшний день выходило шесть собраний сочинений Л. Леонова:

— Собрание сочинений в пяти томах. Харьков: Пролетарий; М.: ЗИФ, 1928—1930.

— Собрание сочинений в шести томах. М. : Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ), 1953—1955.

— Собрание сочинений в девяти томах. М. : ГИХЛ, 1960—1962.

— Собрание сочинений в десяти томах. М. : Художественная литература, 1969—1972.

— Собрание сочинений в десяти томах. М. : Художественная литература. 1981—1984.

Однако, присутствие в данном собрании главного произведения Л. Леонова, над которым он работал более 40 лет — романа-наваждения «Пирамида», окончательных вариантов других его романов и неизданных текстов позволяет нам на всех основаниях говорить об этом издании, как о не имеющем аналогов.

Отметим, что редакция не ставила целью представить сочинения Л. Леонова в полном составе — это отдельная и кропотливая работа.

Сюда не вошла публицистика Л. Леонова (далеко не полностью представленная в его, изданных при жизни, собраниях сочинений), драматические произведения, киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли», а также, практически неизвестное читателям, эпистолярное наследие: на сегодняшний момент опубликованы только письма Л. Леонова к литературоведу В. Ковалеву («Из творческого наследия русских писателей XX века. М. Шолохов, А. Платонов, Л. Леонов». СПб.: Наука, 1995).

Наконец, в данное собрание не включен ряд его прозаических произведений, самое крупное из которых — роман «Русский лес».

Отсутствие данного романа объясняется в первую очередь тем, что после первого издания («Русский лес». М. : Молодая гвардия, 1954), он публиковался в течение более чем тридцати лет едва ли не ежегодно, причем массовыми тиражами. Так, «Русский лес» входил во второе (дополнительным томом), третье, четвертое и пятое собрания сочинений. Отдельным изданием при жизни писателя выходил в 1955, 1956, 1957 (два издания), 1958, 1961, 1965 (в двух книгах), 1966, 1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1983, 1986, 1988 (два издания) годах.

Переиздавался роман «Русский лес» и в наше время — сначала отдельным изданием («Русский лес». М. : Изд-во Государственного университета леса, 2000), и в составе трехтомника избранных произведений Л. Леонова (Сочинения в трех томах Т. 1: Русский лес. Главы первая—восьмая. Т. 2.: Русский лес. Главы девятая—семнадцатая. Т. 3: Повести. Рассказы. М: Издательский дом «Синергия», 2008).

Таким образом, роман безусловно был известен массовому читателю в советские времена и доступен по сей день.

В то время, как большинство других текстов, составивших это издание, были, так или иначе, удалены с книжных полок (по причинам, которые требуют отдельного разговора) и уже в новейшие времена стали для широкого читателя малодоступными. Например, последнее издание романа повести «Evgenia Ivanovna» относится к 1999 году, роман «Дорога на Океан» не переиздавался с 1987 года, роман «Соть» — с 1985-го.

Восполнению данных и непростительных пробелов служит наше издание.

Актуальность и значимость Л. Леонова, как одного из крупнейших писателей прошлого века, становится все более очевидной.

Одно (из многих других) доказательств того — внесение произведений Л. Леонова в университетский курс обучения (см. История русской литературы XX века. М.: Юрайт, 2013 — учебник рекомендован Министерством образования и науки и является первым изданием, полностью соответствующим Федеральному государственному стандарту).

Таким образом, данное собрание дает возможность для серьезного ознакомления с его произведениями как для учащихся, так и вообще для всякого читателя, еще не потерявшего веру в русское слово и желающего открыть заново — или впервые — одного из крупнейших писателей России.

Рассказы

Бурыга. — Впервые опубликован с посвящением художнику В.Д. Фалилееву в альманахе «Шиповник», 1922, кн. 1.

Входил в том I собрания сочинений Л. Леонова (изд-во «Пролетарий», Харьков, 1928), в сборники его произведений «Рассказы» (М. — Л.: Госиздат, 1926; М.: Никитские субботники, 1927, 2-е изд. 1929) — после чего, в течение почти тридцати лет, не переиздавался.

Впоследствии рассказ «Бурыга» традиционно открывал собрания сочинений Л. Леонова (М.: ГИХЛ, 1960—1962, в девяти томах; М.: Художественная литература, 1969—1972, в десяти томах; М.: Художественная литература, 1981—1984, в десяти томах).

Он входил в состав юбилейного, подготовленного к столетию Л. Леонова сборника его произведений (Избранное; М. : Информпечать, 1999) и, наконец, был опубликован отдельным, снабженным иллюстрациями, изданием для детей («Бурыга»; М.: Издательство ИТРК, 2003).

Как сообщается в комментариях литературоведа О. Михайлова к последнему прижизненному собранию сочинений Л. Леонова, первый вариант рассказа «Бурыга» был написан в 1920 г. и утерян. В январе 1922 года рассказ был восстановлен автором по памяти.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981—1984.

Деяния Азлазивона. — Впервые опубликован в журнале «Наше Наследие» № 58, 2001.

Посвящается Г. А. Рачинскому.

Опубликован по авторизированной машинописи из семейного архива (декабрь 1921). Текст проиллюстрирован рисунками и буквицами Л. Леонова, сделанными им к рукописному варианту рассказа (ноябрь 1921). Предисловие и публикация дочери писателя Н. Л. Леоновой.

Публикуется по данному изданию.

Первая книжная публикация: Ранняя проза. М .: Издательство ОГИ, 2009.

Гибель Егорушки. — Впервые опубликован с посвящением издателю и отцу жены Л. Леонова — М.В. Сабашникову в альманахе «Круг», 1924, кн. 3. Вошел в том I Собрания сочинений и в сборник произвений Леонова «Рассказы» (М. — Л.: Госиздат, 1926).

Затем, в течение 34 лет, не переиздавался.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981-1984.

Туатамур. — Впервые с посвящением С. Ю. Копельману, владельцу издательства «Шиповник», опубликован отдельным изданием: «Туатамур». М.: изд. М. и С. Сабашниковых, 1924. Вошел в том I Собрания сочинений и в сборники произведений Леонова: «Рассказы» (М. — Л.: Госиздат, 1926), «Избранные произведения» (ГИХЛ, 1932; М.: Советская литература, 1934).

Публикуется по изданию: Леонов Л.М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981—1984.

Случай с Яковом Пигунком. — Впервые опубликован в альманахе «Литературная мысль» (Пг., 1923, № 2).

Рассказ написан в июне 1922 г.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981—1984.

При жизни писателя публиковался крайне редко, не входил ни в сборники избранного, ни в первые три собрания сочинений.

Входил в отдельную книгу: Ранняя проза: Повести и рассказы. М.: Современник, 1986.

Повести

Петушихинский пролом. — Впервые с посвящением художнику И. С. Остроухову повесть опубликована отдельным изданием: «Петушихинский пролом». М.: изд. М. и С. Сабашни-ковых, 1923. Вошла в том I Собрания сочинений и в сборники произведений Леонова «Рассказы» (М. — Л.: Госиздат, 1926; изд-во «Никитинские субботники», 1927, 2-е изд. — 1929).

Затем, в течение 31 года, не переиздавалась.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981—1984.

Унтиловск. — Впервые опубликована в журнале «Москва», 1999.

Повесть «Унтиловск» написана Л. М. Леоновым в 1925 году. Позже Леонид Максимович переработал ее в пьесу, поставленную МХАТом в 1928 году, запрещенную на девятнадцатом показе.

«У Леонова "Унтиловск", — отмечала пресса, — ультрареакционное произведение, ибо, если расшифровать его социальный смысл, Унтиловск является выражением неверия в Октябрьскую революцию».

Первая публикация пьесы — «Новый мир», 1928, № 3. Отрывок: «Красная новь», 1926, № 8. Пьеса «Унтиловск» входила в том IV Собрания сочинений (1930) и в сборник «Пьесы» (М.: ГИХЛ, 1935). Затем в течение 25 лет не переиздавалась, впервые появившись в книге: Театр. Драматические произведения. Статьи. Речи. В 2-х томах. Том 1 (М.: «Искусство», 1960).

Повесть, запечатанная автором в конверт и заклеенная, пролежала в архиве писателя 74 года, и была опубликована по инициативе дочери писателя Н. Л. Леоновой.

Первая книжная публикация — в данном издании.

Конец мелкого человека. — Впервые повесть опубликована в журнале «Красная новь», 1924, № 3. В том же году вышло отдельное издание: «Конец мелкого человека». М.: изд. М. и С. Сабашниковых, 1924. Вошла в том I Собрания сочинений и в книгу Л. Леонова «Рассказы» (М. — Л.: Круг, 1925).

При подготовке к публикации после 35-летнего перерыва в составе Собрания сочинений в девяти томах (М.: ГИХЛ, 1960—1962) повесть была существенно переработана.

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981—1984.

Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гуголеве Андреем Петровичем Ковякиным. — Впервые опубликовано в журнале «Русский современник», 1924, кн. 1, 2. Отдельное издание: «Записи Ковякина». М. — Л.: Госиздат, 1925. Вошло в том I

Собрания сочинений и в сборники произведений Леонова: «Рассказы» (М.: — Л. Круг, 1925), «Избранные произведения» (М.: ГИХЛ, 1932; М.: Советская литература, 1934).

Публикуется по изданию: Леонов Л. М. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественная литература, 1981—1984.

Барсуки. Роман. — Впервые роман был опубликован в сокращении в журнале «Красная новь», 1924, № 6, 7—8. Отдельным изданием «Барсуки» вышли в 1925 году (Л.: Госиздат).

Роман «Барсуки» входил во все собрания сочинений Л. Леонова. Кроме того, переиздавался при жизни писателя отдельными изданиями более 20 раз, в том числе в 1926, 1927 (два издания), 1930, 1932, 1933, 1935, 1937, 1947, 1950, 1952 (переработанное издание), 1954, 1957, 1958, 1964, 1969, 1973, 1982 (в сборнике из двух романов: «Соть», «Барсуки»), 1987, 1988, 1990 (репринтное издание).

В августе—октябре 1993 года Л. Леонов подготовил эпилог к роману «Барсуки» под названием «Возвращаясь к прожитому».

Текст со слов *«Лампочкой нас не стыди...»* и до завершения эпилога записан с голоса писателя редактором издательства «Современный писатель» А. А. Трофимовым.

Надо отметить, что, будто бы дождавшись возможности, Л. Леонов свершил со своими главными героями в романах «Вор» (бывший красный офицер Митя Векшин) и «Барсуки» (большевик Павел Рахлеев) то, чего по некоторым причинам не мог сделать раньше: он их убивает. Векшина — морально, а Павла Рахлеева — физически, руками его брата Семена. По сути, эпилоги к обоим романам написаны с почти однозначной целью: окончательно расквитаться с героями, которые, судя по всему, никогда у Л. Леонова не вызывали приязни. Подробнее об этом см. в книге: Захар Прилепин. «Подельник эпохи». М.: Астрель, 2012.

Роман «Барсуки» публикуется по изданию: Л. М. Леонов. Избранное. М.: Информпечать, 1999.

СОДЕРЖАНИЕ

Неизвестный Леонид Леонов. *Захар Прилепин* 5

РАССКАЗЫ

Бурыга 37
Деяния Азлазивона 57
Гибель Егорушки 81
Туатамур 107
Случай с Яковом Пигунком 134

ПОВЕСТИ

Петушининский пролом 155
Унтиловск 200
Конец мелкого человека 263
Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гуголеве Андреем Петровичем Ковякиным 340

БАРСУКИ. *Роман* 411

Примечания 758

Леонид Максимович Леонов

Собрание сочинений в шести томах

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор *О. Хвитько*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректоры *Л. Кузьмина, О. Белова*
Компьютерная верстка *И. Немцева*

Подписано в печать 23.08.13 г.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,32. Уч.-изд. л. 40,81.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su

Отпечатано BALTO print
www.balto.lt
www.baltoprint.ru

Уважаемые читатели!

Если вы желаете приобрести издания Книжного клуба «Книговек», просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».

Вступив в Книжный клуб «Книговек», вы также можете приобретать наши книги и знакомиться с новинками. Только члены Клуба получают 6 раз в год иллюстрированный журнал, в котором представлены развернутые статьи о книгах клубной программы, публикуются отрывки из произведений, новости книжного мира, статьи по истории литературы, факты из истории книги, печатного дела, искусства книги; отдельные рубрики посвящены читателям и писателям. Журнал распространяется по всей стране.

Если вы желаете вступить в Книжный клуб «Книговек», просим обращаться по телефону: (495) 737-04-80; или по адресу: 127206, г. Москва, а/я 24, Книжный клуб «Книговек».

Также вы можете заказать книги в интернет-магазине на сайте www.terra.su или www.knigovek.ru.

По вопросам оптовых закупок просьба обращаться по телефону: (495) 737-04-73.

Мы рады вашим заказам!

Издательство «Книжный Клуб Книговек»
предлагает

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

В десяти томах

Десятитомное собрание сочинений А. С. Пушкина является одним из наиболее полных и представительных среди неакадемических собраний сочинений. В него вошли, помимо самых популярных и любимых стихотворений, поэм, романов и повестей, ранние стихи поэта, его незавершенные произведения и отрывки ранних редакций всем знакомых шедевров, а также исторические статьи и большое эпистолярное наследие великого гения, в том числе его воспоминания о современниках и интереснейшие пометки, которые он оставлял при чтении книг.

Десятитомник А. С. Пушкина займет достойное место в любой домашней библиотеке и станет прекрасным подарком ценителю русской литературы.

*Приобрести издания Книжного клуба «Книговек»
можно по телефону: (495) 737-04-80, или по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24, «Книжный Клуб Книговек».
Также вы можете заказать книгу в интернет-магазине
на сайте www.terra.su*

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0729-3

9 785422 407293